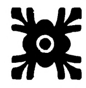
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



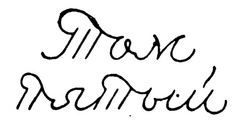
Государственное издательство

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



УГРЮМ-РЕКА

Роман

Том второй

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

Примечания

В. А. БОРИСОВОЙ

УГРЮМ-РЕКА

Роман

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

В Петербурге Прохор Петрович сумел многое сделать. Побывал на огромном машиностроительном заводе, где по одобренным Протасовым чертежам заказал для своей электростанции турбину в пять тысяч киловатт, побывал в горном департаменте, чтоб посоветоваться о выписке из Америки драги для золотых приисков. Наконец разыскал поручика Приперентьева, которому перешел по наследству от брата золотоносный, остолбленный в тайге участок.

Поручик Приперентьев жил в двух комнатах на Моховой, у немки; ход чрез кухню. Неопрятный с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не сразу понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему два рубля, — денщик мгновенно поумнел и побежал доложиться барину.

Поручик принимал Прохора в прокуренной, с кислым запахом комнате. У него одутловатое лицо, черные усы, животик и, не по чину, лысина. Поручик тоже не сразу понял цель визита Прохора и, наконец, кое-что уяснив, сказал:

— Ни-ко-гда-с... Я выхожу в отставку. Впрочем... черт!.. Ну, что ж... У меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца... Словом, понимаете? Да. Выхожу в отставку и еду сам в тайгу, на прииск...

Прохору было очевидно, что поручик ошарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлит, придумывая чепуху.

— Для эксплуатации участка нужен большой капитал. Вы его имеете? — ударил его Прохор вопросом в лоб.

Поручик Приперентьев схватился за лоб, попятился и сел.

— Прошу, присядем. Насчет капиталов — как вам сказать?.. И да и нет... Впрочем... скорей всего — да. Я женюсь... Невеста с приличным состоянием... Сидоренко! Кофе...

Поручик наморщил брови, надул губы и с независимым видом стал набивать трубку.

— Впрочем... Знаете что? Кушайте кофе. Сигару хотите? Впрочем... у меня их нет... Этот осел денщик! Тьфу!.. Знаете что? Приходите-ка сегодня ко мне вечерком поиграть в банчок. В фортуну верите, в звезду? Ага! Можете выиграть участок в карты. Я его ценю в сто тысяч.

— Я бы мог предложить вам тыщу...

— Что? Как?! — Поручик выпучил продувные, с наглинкой глаза и прослезился.

— Тыщу, — хладнокровно сказал Прохор, отодвигая чашку с кофе. — В сущности, вы потеряли на него все права... Эксплуатации не было около двадцати лет, срок давности миновал. Но мне не хочется начинать в департаменте хлопоты об аренде, я желал бы сойтись с вами... Из рук в руки...

— Впрочем... Это какой участок? Вы про какой участок изволите говорить?

— Как — про какой? Да в тайге, золотоносный...

— Ах, тот! — басом закричал поручик и завертел головой. — Семьдесят пять тысяч... Ха-ха... Да мне в прошлом году давали за него двести тысяч... Я был при деньгах, сделкой пренебрег...

— Кто давал?

— Золотопромышленник Пупков, Петр Семенович.

— Такого нет...

— В этом роде что-то такое, понимаете: Пупков, Носков, Хвостов... Знаете, такой с бородкой. Итак, семьдесят пять тысяч...

— Тыщу...

— Я шуток не люблю. Впрочем, я кой с кем посоветуюсь. Позвоните завтра 39-64. Адьё... Мне в полк... Эй, Сидоренко!..

Прохор, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарыч, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом и яишенкой с ветчинкой, выведал от него необходимое. Барин — мот, картежник, пьяница, иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом деньжат по мелочам: то у хозяйки Эмилии Карловны, то у несчастного денщика Сидоренко. Недавно барин сидел на гауптвахте, недавно барина били картежники подсвечником по голове, а на другой день барин избил ни в чем не повинного денщика. Надо бы пожаловаться по начальству, да уж бог с ним.

Рассказывая так, подвыпивший Сидоренко горько плакал.

И ровно в двенадцать Прохор Петрович был на приеме у товарища министра. В новом фраке, с цилиндром в руке, слегка подпудренный, с усами и бородкой, приведенными в культурный вид, он стоял в приемной, любуясь собою в широком, над мраморным камином, зеркале.

— Их превосходительство вас просят.

Прохор, с высоко поднятой головой, вошел в обширный, застланный малиновым ковром кабинет. Сидевший за черным дубовым столом румяный старичок, в партикулярном сюртуке, с орденом Владимира на шее, указал ему на кресло. Прохор поклонился, сел. Старичок метнул на него бывалым взглядом, потеребил крашеную свою бородку, снял очки.

— Я вас принял тотчас же потому, что знаю, кто вы. Излагайте.

Прохор изложил дело устно и подал докладную записку.

— Ага, — сказал старичок и мягко улыбнулся. — Хорошо-с, хорошо-с... Зайдите дня чрез три... Впрочем,

чрез неделю. Вы не торопитесь? Итак, чрез неделю, в четыре часа ровно... — И он сделал в календаре отметку.

Прохор встал. Старик протянул сухую, в рыжих волосинках, руку. Прохор сказал:

— Могу ли я, ваше превосходительство, надеяться, что моя просьба будет уважена?

— Гм... Сразу ответить затрудняюсь. Дело довольно туманное. Знаете, эти военные. Этот ваш, как его... Запиральский...

— Приперентьев, ваше превосходительство.

— Да, да... Приперентьев... Ну-с... — Румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы. — Я передам вашу записку на заключение старшего юрисконсульта, он по этой части дока. Надо надеяться, молодой человек. Надо надеяться.

Ровно через неделю, в четыре часа Прохор вновь был у товарища министра. Старик на этот раз — в вицмундире, со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием.

— Ну-с? Ах, да. Садитесь, — сухо и напыщенно проговорил он. — Вы, кажется... Вы, кажется... По поводу...

— По поводу отобрания от поручика Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство.

— Да, да... Великолепно помню. Столько дел, столько хлопот. Бесконечные заседания, комитеты, совещания... С ума сойти... — Он произнес это скороговоркой, страдальчески сморщившись и потряхивая головой. — По вашему делу, милостивый государь, наводятся некоторые справки. У нас в столице подобные дела вершатся слишком, слишком медленно... Море бумаг, море докладов... Гибнем, гибнем! Придите чрез неделю. Но, предваряю вас: розовых иллюзий себе не стройте — поручик Приперентьев подал встречное ходатайство... А что, у вас большое дело, там, дома?

— По нашим местам солидное...

— Оборотный капитал?

— Миллионов десять — двенадцать, ваше превосходительство.

Сановник вдруг поднял плечи, вытянул шею и быстро повернулся лицом к Прохору, сидевшему слева от него.

— О! — поощрительно воскликнул он, и все величие его растаяло. — Похвально. Очень, оч-чень похвально, милостивый государь. Итак... — Он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора.

Представительный, весь в позументах, в галунах швейцар, подавая пальто, спросил Прохора:

— Ну как, ваша честь, дела, осмелюсь поинтересоваться?

— Неважны, — буркнул Прохор и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филатыча: «Швейцарец научит либо лакей, к нему лезь». Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой ливрее на короля треф, взвешивал опытным взглядом, в каких капиталах барин состоит. Прохор сунул ему четвертной билет и пошел не торопясь к выходу. Швейцар, опередив его, отворил дверь и, низко кланяясь, забормотал:

— Премного, премного благодарен вами, ваша честь. И... дозвольте вам сказать... В прихожей-то неудобственно, народ. Мой вам совет, в случáе неустойки али какого-либо промедления, действуйте чрез женскую, извините, часть... То есть... Ну, да вы сами отлично понимаете: любовный блезир, благородные амуры. Да-с... Например, так. Например, их превосходительство аккредитованы у мадам Замойской.

— Графиня?! — изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули: Нижний-Новгород, ярмарка, зеленый откос кремля, воровская шайка. — Замойская? Графиня?

— Без малого что да. Баронесса-с... И соблаговолите записать их адресок.

Меж тем кончался срок высидки Иннокентия Филатыча. Прохор без него скучал. Яков Назарыч целиком ушел в дела, к нему насчет «прости го-

споди» — не подступись. А тот веселый старикан с выдумкой — авось какое-нибудь легкое безобразие вкупе с ним и сотворили бы. Да, жаль... И угораздило же черта беззубого порядочным людям носы кусать...

Утром постучали в номер. Вошел верзила в форме тюремного ведомства. Морда бычья, с перекосом. Не то улыбнулся, не то сморщился, чтобы чихнуть, и подал розовый, заляпанный масляными пятнами пакетик:

— Письмо-с! От именитого сибирского золотопромышленника Иннокентия Филатыча Груздева с сыновьями.

— У него — дочь вдова. Да и нет такого золотопромышленника. Чего он там?

— Извольте прочесть.

«Милый Прошенька. Прости бога для. Денежки твои — две с половиной тысячи, которые пропили всей тюрьмой. А то скука. Ноги мои опухли, и лик опух, а посторонних людей все-таки узнаю, не сбиваюсь. В эту пятницу привези, пожалуйста, какую-нибудь одежину по росту и сапоги. Еще какой-нито картузишко. А свое все пропито, которое украли, сижу в рестанском халате, вша ест».

— Что же, в пятницу он выходит? — спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарычу.

— Так точно-с... — сказал верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шашку.

— Веселый старик?

— Очень даже-с... Уж на что помощник начальника тюрьмы, а и тот кажинный божий день два раза пьяный в доску-с. И надзиратели пьяные, и вся камера пьяная.

Прохор дал ему три рубля и отпустил. Яков Назарыч хохотал.

В день выхода старца на свободу в вечерней «Биржевке» был напечатан кляузный фельетон: «Веселая тюрьма». Талантливо описывая пьяную вакханалию в одной из петербургских тюрем, автор фельетона требовал немедленного расследования этого неслыханного дела и примерного наказания виновных, во

главе с начальником тюрьмы и героем «всемирного пьянства» сибиряком И. Ф. Груздевым, заключенным в узилище за укушение носа обер-кондуктору Храпову.

Освобожденный Иннокентий Филатыч скупил около сотни номеров этой газеты и разослал ее всем знакомым с наклеенной под заметкой надписью: «На добрую память из Петербурга».

Иннокентий Филатыч чувствовал себя вознесенным на небо. Он ходил по Питеру с видом всесветно известного героя, всем улыбался, заглядывал в глаза, будто хотел сказать: «Читали? Иннокентий Груздев — это я».

2

— А не желаете ль, мадам, прогуляться?

— Отчего ж... С вами всегда рада. Вы вечно заняты, к вам не подступись.

Нина в белом, замазанном свежей землей халате копалась у себя в саду.

— Что? Селекционные опыты, гибриды, американские фокусы? — присел возле нее на скамейку Андрей Андреевич Протасов.

— Да. Вот поглядите, какой удивительный кактус... Совершенно без колючек. Чудо это или нет? Где вы видели без колючек кактусы?.. Ну, ну?

— А какая разница: в колючках эта дрянь или без колючек? Трава — не человек.

— Во-первых, это не трава. А во-вторых...

— А во-вторых, я очень жалею, что у вас, в вашем характере нет ни одной колючки. А не мешало бы...

— Зачем?

— Ну, хотя бы для того, чтоб больно, в кровь колоть. Ну, например... Кого же? Ну, вашего супруга, например... Простите меня... За его беспринципность... За его, я бы сказал... ну, да вы сами знаете, за что...

Нина выпрямилась, бросила железную лопатку, и ее стоптанные рабочие башмаки стали носками круто врозь.

— Да как, как?! — горячо, с горестью воскликнула она. — Ах, если бы он был кактус, жасмин, яблоня!.. Тогда можно было бы привить, облагородить... Но, к сожалению, он человек. Да еще какой: камень, сталь!

— Вы спрашиваете меня — как? Хм. — Протасов улыбнулся и стал в смущении ковырять землю тросточкой. — Важно, чтоб в вашем сознании созрела мысль бить силу силой, убеждения контрубеждениями. А как именно, то есть — вопрос тактики?.. Хм... Простите, я в это не имею права вмешиваться... Уж вы как-нибудь сами, своим умом и сердцем.

Их глаза встретились и быстро разошлись. Нина, вздохнув, сказала:

— Пойдемте, я покажу вам мои успехи.

Они двинулись дорожкой. Инженер Протасов — вяло и расхлябанно, Нина — четкой, быстрой ступью. Миновали две гипсовые статуи Аполлона и Венеры с отбитыми носами, обогнули стоявшую на пригорке китайскую, увитую диким виноградом беседку, очутились в обширном фруктовом саду, обнесенном высоким забором с вышкой для караульного. Длинные, ровные, усаженные ягодами гряды и ряды молодых плодоносных деревьев.

— Где это видано, чтоб в нашем холодном краю могли расти яблоки, вишни, сливы?.. Вот они! Сорвите, покушайте. А вот малина по грецкому ореху, а вот дозревающая ежевика. Особый ее сорт, я очень, очень благодарна мистеру Куку.

— В сущности, не ему, а Лютеру Бёрбанку. Так, кажется?

— Да, главным образом, конечно, и ему — этому знахарю, этому «стихийному дарвинисту», как его называют в Америке. Но если б не мистер Кук, я о существовании Бёрбанка и не подозревала бы.

Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину, заметив в ней склонность к садоводству, еще года три тому выписал из Америки и подарил ей к именинам великолепное, в двенадцати томах, издание «Лютер Бёрбанк, его методы и открытия», с полутора тысячью цветных, художественно исполненных

таблиц, освещающих этапы жизни этого гениального ботаника-самоучки из Калифорнии.

Инженер Протасов о подарке знал и это сочинение с интересом рассматривал, но он не мог подозревать, что вскоре после поднесения подарка мистер Кук, при помощи угроз убить себя, вымолил у Нины вечернее свидание. Тайная, неприятная для Нины встреча состоялась в кедровой роще, недалеко от башни «Гляди в оба». В чистом небе плыл молодой серп месяца, прохладный воздух пах смолой. Мистер Кук поцеловал Нине руку, упал пред нею на колени и заплакал. Нину била лихорадка. Мистер Кук от страшного волнения потерял все русские слова и, припадая высоким лбом к ее запыленным туфелькам, что-то бессвязно бормотал на непонятном Нине языке. Нина подняла несчастного, держала его похолодевшие руки в своих горячих руках, сказала ему:

— Милый Альберт Генрихович, дорогой мой! Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить как славного человека. Не больше.

— О да! О да! На чужой кровать рта не разевать!.. — в исступлении заорал мистер Кук, резко рванулся, выхватил из кармана револьвер и решительно направил его в свой висок. Нина с визгом — на него. Он бросился бежать и на бегу два раза выстрелил из револьвера в воздух, вверх. Вдруг вблизи раздался заполошный женский крик.

— Помогите, помогите! Караул!! — и чрез просветы рощи замелькали пышные оборки платья вездесущей Наденьки, мчавшейся к башне «Гляди в оба».

Об этом странном происшествии инженер Протасов, конечно, ничего не знал. Забыла бы о нем и Нина, если б не шантажистка Наденька. Время от времени она льстивой кошечкой является в дом Громовых, получает от хозяйки то серьги, то колечко, то на платье бархату и всякий раз, прощаясь, говорит:

— Уж больше я вас не потревожу.

А мистер Кук, если б обладал даром провидца, может быть, и не стал бы стрелять из револьвера по-пустому вверх, он, может быть, и сумел бы тогда привесть свою угрозу в исполнение. Он не мог

предполагать, что предмет его неудачных вожделений — Нина — давно таит в своем сердце любовь к счастливому Протасову. Однако это чувство, полузаконное, но прочное, загнано Ниной на душевные задворки, затянуто густым туманом внутренних противоречий разума и сердца, пригнетено тяжелым камнем горестных раздумий над тем, что скажет «свет». Словом, чувство это было странным, страшным и таинственным даже для самой Нины. Не удивительно поэтому, что не только простоватый на жизненные тонкости мистер Кук, но и сам вдумчивый, внимательный Протасов не мог помыслить о том, что таится в сердце всегда такой строгой к самой себе, пуритански настроенной хозяйки. А между тем и сам Андрей Андреевич Протасов был слегка отравлен тем же самым дивным ядом, что и мистер Кук. Но принципы... Прежде всего принцип, целеустремленность, — те самые идеи, в сфере которых он существовал и, скованный иными, чем у Нины, настроениями, он ставил эти захватившие его идеи превыше всяческой любви.

Так существовал скрытый до поры тайный лабиринт пересечений от сердца к сердцу, от ума к уму. А над всем стояла сама жизнь с ее неотвратимыми законами, их же не прейдет ни один живой.

— Да, да... Очень прекрасные яблоки!.. А сливы еще вкусней, — смачно чавкая, говорил Протасов. — Ну что ж... Новая положительная ваша грань... Вообще вы...

— Что?

Инженер Протасов вытер о платок руки, вытер бритый строгий рот и бесстрастно взглянул чрез пенсне в большие, насторожившиеся глаза Нины.

— Вы могли бы быть чистопробным золотом, но в вас еще слишком много лигатуры.

Глаза Нины на мгновенье осветились радостью и снова загрустили.

— Лигатура? То есть то, что нужно сжечь? Например?

— Сжечь то, что вам мешает быть настоящим человеком. Сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во все сверхъестественное, трансцендентное...

— Выгнать отца Александра, церковь обратить в клуб, навсегда ограбить свою душу... Так? Благодарю вас!

— Ваш интеллект, я не скажу — душа, нимало не будет ограблен. Напротив, он обогатится...

— Чем?

— Свободой мировоззрения. Вы станете на высшую ступень человека. Вы не будете подчинять свое «я» выдуманным людьми фетишам, заумным фатаморганам, вы вознесете себя над всем этим. Ведь истина всегда конкретна. Устремления вашего разума сбросят путы, цель вашей жизни приблизится к вам, станет реальной, исполнимой, вы вольной волей забудете себя и вольной волей отдадите свои силы людям, коллективу людей, обществу.

— Друг мой! — с пылом, но сдерживая нарастающее раздражение, воскликнула Нина. — Неужели вы думаете, что я, христианка, не работаю для общества? Моя вера зовет меня, толкает меня, приказывает мне быть среди униженных и оскорбленных. И по мере сил я — с ними. А относительно фетишизма — у меня свой фетиш, у вас — свой.

— У меня — народ.

— У меня тоже.

— У вас муж, семья, сытая жизнь. Чрез голову богатства вам трудно наблюдать нищету, обиду эксплуатируемых.

— Вы желаете, чтоб я отказалась от семьи, от мужа, от богатства? Вы очень многого требуете от меня, Протасов.

— Если не ошибаюсь — ваш Христос как раз требует от вас того, от чего вы не можете отказаться. Значит, или слаб его голос, или слабы вы.

Они давно покинули сад, шли вдоль поселка, к его окраине. Смущенная Нина глядела в землю. Инженер Протасов смысл своих речей внутренне считал большой бестактностью и укорял себя за то, что затеял, в сущности, праздный, неприятный разговор.

Проходили мимо семейного барака. Четыре венца бревен над землею и — на сажень в землю. У дверей толпа играющих ребятишек с тугими животами.

— Я здесь никогда не бывала, — сказала Нина. — Я боюсь этих людей: все золотоискатели — пьяницы и скандалисты.

— Любовь к цветам и вообще к природе выводит человека за пределы его мира. Вот мы с вами сейчас в другом мире, не похожем на наш мир. Может быть, заглянем? — осторожно улыбнулся инженер Протасов.

И они, спустившись по кривым ступенькам, вошли в полуподземное обиталище. Из светлого дня — в барак, как в склеп: темно. Нину шибанул тлетворный, весь в многолетнем смраде воздух. Она зажала раздушенным платком нос и осмотрелась. На сажень земля, могила. Из крохотных окошек чуть брезжит дряблый свет. Вдоль земляных стен — нары. На нарах люди: кто по-праздничному делу спит, кто чинит ветошь, кто, оголив себя, ловит вшей. Мужики, бабы, ребятишки. Шум, гармошка, плевки, перебранка, песня. Люльки, зыбки, две русские печи, ушаты с помоями, собаки, кошки, непомерная грязь и теснота.

— Друзья! — сказала Нина громко. — Почему вы не откроете окон? Бог знает какая вонь у вас. Ведь это страшно вредно...

— Ах, вредно?! — прокричали с трех мест голоса.— Ты кто такая?

— Барыня это, барыня, — предостерегающе зашуршало по бараку, и шум стал смолкать.

— Ах, барыня? Нина Яковлевна? Добро! Садись на чем стоишь. Васкородие, присаживайся и ты. Срамота у нас. Многолюдство... Вши. Не подцепите вшей. Они злобные, кусучие... Вон старик помирает в том углу. А эвот баба сейчас родить будет, мается. Да двенадцать человек хворые, простыли, всё в воде да в воде, а Громов обутки не дает. Жадина!.. Уж ты, барыня, прости. Ты не в него, ты с понятием. Приклоняешься к нам, грешным...

Говорило одновременно человек десять. У Нины горели уши. Не знала, как и что ответить.

— Вот видишь: дохнем! — вырос пред Ниной пьяный, с повязкой по голове, бородач с красными больными веками. — Дохнем, пропадаем! Ты можешь

вверх головой нашу жизнь поставить, чтоб по-людски? Не можешь? Ну, так и убирайся к черту.

— Яшка! Дурак! Что ты?! — набежали на него.

И Протасов сказал, сверкнув сузившимися глазами:

— Слушай, приятель... Будь человеком...

— Здоро́во, барин!.. Не приметил тебя. Темно. Мы тебя, барин, уважаем, ты сам в подчинении. А этих... — заорал он, размахивая тряпкой. — Громовых... Ух, ты!..

— Стой! Яшка, дурак!.. Не пикни! — снова налетели на него. — Ты Нину Яковлевну не моги обижать...

— Все они — гадючье гнездо... — И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, поволокли в угол. — Я правду говорю, — вырывался он. — Десятники нас обманывают, контора обсчитывает, хозяин штрафует да по зубам потчует. Где правда? Где бог? Бей их, иродов! Бей пристава!

Нину прохватила дрожь. Ей хотелось кричать и плакать. Протасов кусал губы. Земляные стены, земляной, в хлюпкой грязи, пол. Возле стола, раздувая перепончатое горло, пыхтела жаба. Девчонка гонялась за торопливо ползущим черно-желтым ужом, била его веником. Уж свертывался в клубок, шипел, стращал девчонку безвредным жалом.

— Палашка! Пошто животную мучишь?.. Я те! — грозилась седая, с провалившимся ртом старуха.

В углу, возле изголовья умирающего, баба зажигала восковые свечи. В другом углу роженица завыла диким воем.

По заплесневелым бревнам ползли ручейки.

Бородач Яшка разбушевался: опрокидывал скамьи, швырял чужие сундуки с добром. На него налегли, будто медведи, такие же пьяные, такие же озверелые, как и он сам:

— Яшка! Что ты... А ну, ребята, вяжи его!.. Волоки в чулан...

К общей ругани присоединила свой громкий плач орава детворы. Стонавшая роженица разразилась таким жутким непереносимым ревом, что Нина, заткнув

уши и вся содрогнувшись, выскочила вон и с жадностью, как освободившись от петли, стала вдыхать свежий воздух.

— Теперь пойдемте в другой барак, к холостякам

— Благодарю вас... Довольно.

«Прохор! Я совсем не получаю от тебя писем. Конторе ты послал пятьдесят две телеграммы, мне — ни звука. Чем это объяснить? Молчат и папа с Груздевым. Пьянствуете, что ли? Вчера я с Андреем Андреевичем побывала в бараке № 21. Обстановка хуже каторжной. Она вызывает справедливый укор хозяину, низведшему людей до состояния скотов, и нехорошие чувства к этим самым людям-рабам, которые способны переносить такую каторжную жизнь и терпят такого жестокосердного хозяина, как ты. Прости за резкость. Но я больше не могу. Я приказала партии лесорубов заготовить материалы для постройки жилых домов, просторных и светлых. Уж ты не взыщи. Делу не убыток от этого, а польза. В крайнем случае половину расходов принимаю на себя. Я больше не могу. Я не хочу участвовать в таком преступном отношении к человеческим жизням. Не сердись, пойми меня и, поняв, прости.

Нина».

Через одиннадцать дней, как отзвук на письмо, получились две телеграммы. На имя инженера Протасова:

«Лесорубам продолжать заготовку бревен для сплава. Никаких бараков не строить. Посторонних вмешательств в ваши распоряжения не допускать.

Громов».

На имя Нины Яковлевны:

«Живы-здоровы. Занимайся дочерью и яблоками. Мерехлюндию оставь при себе. Тон письма новый. Догадываюсь, кем подсказан. По приезде поговорим. До свидания.

Прохор».

А вскоре за этими телеграммами были получены от Иннокентия Филатыча по двенадцати адресам местной знати двенадцать номеров «Биржевки».

Все много смеялись. Анна же Иннокентьевна целую неделю ходила с заплаканными глазами.

8

Прохор Петрович Громов давно известен коммерческим кругам Петербурга. Опытные капиталисты, предсказывая Прохору блестящую судьбу, открывали ему неограниченный кредит. Наиболее тароватые просились в пай. Ведь в Сибири непочатый угол богатств, ему одному не совладать. Но Прохор Петрович предпочитал делать жизнь особняком, он ни в ком не нуждался. Пусть фирма «Прохор Громов» будет греметь на всю Россию. А пройдут сроки, может быть и кичливая заграница поклонится его делам.

Да оно к тому и шло. Щетина, конский волос, мед, драгоценные меха направлялись Прохором непосредственно в Данциг, Гамбург, Ливерпуль. Впрочем, и на долю России оставалось много. С московской фирмой он заключил выгодную сделку на пушнину, на восемьсот тысяч серебром. В Питере взял многомиллионный подряд снабжать одну из железных дорог края лесом, шпалами, штыковой медью, чугуном. Новый золотой прииск тоже сулил ему несметные богатства.

Прохор всегда был крут в поступках, поэтому, не откладывая в долгий ящик начатых хлопот, он в час дня звонил к баронессе Замойской. Он намеренно оделся былинным «добрым молодцем». Великолепно сшитая поддевка, голубая шелковая рубаха, лакированные сапоги. Он нажал кнопку с некоторым внутренним содроганием. Его выводила из равновесия вкоренившаяся мысль, что баронесса Замойская есть та самая графиня, которая обольстила его в Нижнем.

Он передал швейцару карточку с золотым обрезом: *«Прохор Петрович Громов, сибирский золотопромышленник и коммерсант»*. Швейцар прищурился,

прочел, подобострастно поклонился Прохору и позвонил.

— Гость! Отнеси баронессе, — начальственным тоном сказал он выскочившей горничной.

— Какая она из себя? — спросил Прохор, прихорашиваясь у зеркала.

— Да обнаковенная, ваша милость, — сделал швейцар рот ижицей и прикрыл его кончиками пальцев. Он был много проще величественного министерского швейцара: нос пуговкой и ливрея грубого сукна.

— Блондинка, черная?

— Черная, черная!.. Это вы изволили угадать.

— Полная?

— Да, приятная пышность есть.

— Баронесса просит вас пожаловать, — распахнула двери горничная.

Голову вверх, Прохор направился в гостиную. На его мизинце — крупнейший бриллиант.

— Будьте столь добры присесть.

Зеркала в золотых обводах, шкура белого медведя. На потолке — три голые девы и парящие амуры.

Раздвинулась портьера, и, шурша юбками, вышла баронесса. Сердце Прохора упало. Нет, не та. Встал, склонился, крепко чмокнул руку.

— Боже, какой вы огромный!.. И какой... — Она хохотнула себе в нос, оправила кружева на высоком бюсте и произнесла: — Присядем.

Прохор хлюпнулся в крякнувшее под ним кресло.

— Простите, осмелился — так сказать...

— Я очень рада... Вы курите? Пожалуйста. — Она протянула свой золотой портсигарчик гостю и сама закурила.

Прохору было видно, как в соседней комнате лохматая беленькая собачонка повертелась возле стоявшего на полу вазона с цветком и бесстыдно подняла ногу. Прохору стало смешно. Кусая губы, он сказал:

— Какая прекрасная в Петербурге осень.

— Да. Вообще Петербург — чудо. Ну, а как Сибирь? Вы женаты? Большое у вас дело? Надолго ль вы в Питер? А оперу посещаете? Ну, как Шаляпин?

Прохор заикался на каждый вопрос ответом, но баронесса в тот же миг его перебивала.

Подали на подносе чай с лимоном, с розовыми сушками. Почему-то три чашки.

— Доложите Семену Семенычу, что чай готов.

Горничная в накрахмаленном фартуке, выстукивая каблучками, скрылась. Баронесса оправила черные локоны, схваченные над ушами обручем в виде блестящей змейки, и, откинувшись в кресле, облизнула тонкие малиновые губы:

— Позвольте! Так это, верно, про вас говорил Семен Семеныч?

— Простите... Кто такой Семен Семеныч?

Баронесса, заглядывая ему в глаза, пригнула голову к левому плечу, погрозила гостю мизинчиком и захохотала в нос:

— Ая-яй!.. Ая-яй!.. Так вы не знаете генерала, у которого...

— Простите! — обескураженно воскликнул Прохор. — Так-так-так.

В это время чрез соседнюю комнату катился петушком сановник.

— Гоп-ля-гоп! Гоп-ля-гоп! — пощелкивал он пальцами вскинутой руки, а собачонка, встряхивая шерстью и кряхтя, подскакивала в воздухе.

— Семен Семеныч, вы не ожидали гостя?

— Ба! Да... — с распростертыми руками направился он к Прохору, но шагах в трех вдруг остановился. — Что угодно? Ах, это вы? Рекомендую, Нелли... Прекрасный молодой человек. Только о делах ни слова... — затряс он на Прохора кистями рук. — Ни-ни-ни!.. В кабинет-с, в министерство-с... А я здесь... Знаете? Это моя кузина. Жена моя на водах, в Карлсбаде... На минутку-с, на минутку-с... завернул. Что, чай? Прекрасно. А я, кузиночка, уже в путь. Заседания, заседания... Сто тысяч заседаний... Даже в праздники. — И сановник схватился за голову. — С ума сойти.

Он чай выпил на ходу.

— Марта, портфель, перчатки! — Поцеловал баронессе руку, кивнул Прохору. — Итак, чрез недельку...

Но, предупреждаю... Впрочем, нет, нет... О делах ни звука. Адьё! — и от дверей, натягивая левую перчатку, крикнул:

— Кузина! Ради бога... Предложи господину золотопромышленнику подписной лист. Ну сто, ну двести, сколько может... В пользу сирот отставных штаб- и обер-офицеров.

— Ваше превосходительство! — полез Прохор в карман. — Я рад буду подписать не сто, не двести... И в пользу кого угодно. Вот на пятнадцать тысяч чек. — И он положил синенькую бумажку на кремовый бархат круглого стола.

— О! О! О! — И старик, подскользнув, как конькобежец, по паркету к гостю, с небывалым жаром тряс его руку, восклицая: — Это... это... это... Большая жертва с вашей стороны. Еще раз мерси, горячее, горячее спасибо от лица всех облагодетельствованных вами офицерских сирот. Загляните завтра в час... туда... Понятно? Я послезавтра уезжаю по епархии, с осмотрами. У нас там кой-какие... Итак... — Он весь вспыхнул, загрёбисто сунул чек в портфель и, вильнув взглядом по вдруг помрачневшему челу баронессы, с разбегу выехал на подошвах в дверь.

Прохор сидел недолго. Немножко поболтали, но разговор не клеился: мысли баронессы были сбиты, спутаны, глаза печальны, как у обворованной среди бела дня жертвы. Время уходить. Прохор был уверен, что дело завтра будет решено в его пользу. Он встал.

Баронесса, овладев собой, любовалась мощной фигурой Прохора. Черные, подведенные глаза ее горели искрами. Подавая теплую, в кольцах, руку, она сказала:

— Я жду вас послезавтра в семь...

— Утра?

— Ха-ха!.. Смешной!..

— Простите... Вечера, конечно... Рад!

— Прокатимся на острова. А там видно будет, куда еще. Познакомлю с подругой. Эффектная такая, знаете, кустодиевская... Но... — И она вновь загрозилась пальцем. — Но я ревнива...

— Что вы, что вы!.. — смешался Прохор, а хозяйка раскатилась мягким серебряным смехом чуть-чуть в нос. — Но вы все-таки не сказали мне — женаты вы или нет?

— Женат, черт возьми, женат! — вырвалось у Прохора. Забыв поцеловать протянутую руку, он сжал ее так крепко, что хозяйка сморщилась вся и сказала:

— Ой!

— Прииск за мной. Завтра — официально.

— Сколько стоило?

— Пятнадцать.

— Пустяки.

Иннокентий Филатыч вставил новые, хорошо пригнанные зубы и, как грудной младенец, учился говорить с азов. Все как-то не вытанцовывалось — сю-сю, сю-сю, — а когда старик напивался, бормотанье его становилось смешным и непонятным. Но он не унывал. С азартом помогал Прохору в работе, лично бегал на телеграф, производил нужные заготовки, купил и отправил большой скоростью в Сибирь десять вагонов мануфактуры, галантереи, обуви и других товаров. Кой-что подсунуто в общий счет и для своей лавчонки и на изрядную, конечно, сумму, но ведь Прохор Громов не станет же придираться к мелочи, на то он и Прохор Громов. А вечерами сидел где-нибудь в трактире, слушал цыган, певичек или смотрел кино. По субботам и в праздничные дни он посещал храмы. У Спаса на Сенной у него вытащили большущий кошелек, но в нем было всего рубля на три серебра и старые челюсти с лошадиными зубами: Иннокентий Филатыч жалел их выбросить, полагая, что в коммерческом деле и они когда-нибудь да пригодятся.

Красивая, цыганского типа, баронесса в ландо рядом с Авдотьей Фоминишной Праховой, а напротив — Прохор. Экипаж, катившийся чрез Каменноостровский к Стрелке, сильно накренился в ту сторону, где сидела мадам Прахова, да и не мудрено: в этой молодой, но мастодонтистой даме никак не менее

восьми пудов. Бюст выпирал горой: вот-вот лопнут шнурки, распадутся кружева. Прохора разбирало мальчишеское любопытство. А бедра, плечи, свежее, румяное, чуть надменное, чуть властное лицо! А эти рыжие, густые, пронизанные солнцем волосы, а большие серые, влекущие к себе глаза! А полные улыбчивые губы и веселый блеск ровных, как один, зубов. Тьфу, черт! Пропало твое сердце, Прохор...

— Гэп-гэп! — покрикивал лихач, и все мелькало, проносилось, отставало.

В пятом часу вечера инженер Протасов получил записку.

«Миленький А. А. Приходите обедать. Мне почему-то очень, очень грустно. Н. Г.».

Скоро полночь. Пристава нет. А он сидит, сидит. Наденька в смущении. Но эти ее фигли-мигли давно знакомы Владиславу Викентьевичу Парчевскому. Он целует ее оголенную руку, повыше локтя, и слащаво, с дрожью говорит:

— Раз мужа нет, то... В чем же дело?

Наденька оправила подушки, отвернула одеяло. Инженер Парчевский снял с левой ноги сапог.

Часы пробили полночь.

— Ну-с?

— Что?

— Не пора ли домой, миленький сибирячок?

— У меня дом далеко, — ответил Прохор и погладил своей лапой маленькую, с розовыми ногтями кисть руки. — Разрешите два слова по телефону...

Маша, подслеповатая и пожилая — за одну прислугу, — убирала со стола чай, пустые бутылки и закуску. Все трое были порядочно подвыпивши.

— Алло! Филатыч, ты? А я в одном доме задержался у купца Серебрякова. Не жди. Ночую здесь. Ну, до приятного...

Он повесил трубку. Авдотья Фоминишна хохотала с каким-то задорным нахальцем, интригующе.

— Одна-а-ко... Одна-а-ко... — тянула она густым контральто. — Это мне нравится... Ха-ха!.. Так-таки без приглашенья? Одна-а-ко... И не стыдно вам?.. — Она допила бокал шампанского. Влажные губы ее ждали поцелуя. Глаза искрились по-грешному.

Прохор стоял, прислонившись спиной к печке, молчал, дышал, как зверь. Его распаляла страшная внутренняя сила.

Хозяйка подняла брови, пожала наливными плечами и, как бы прося пощады, страдальчески улыбнулась.

— Маша! — капризно крикнула она. — Машь! Приготовьте постель. И — меня нет дома. Я ночую у купца Серебрякова.

Тут все трое, вместе с рассолодевшей Машей, разразились громким смехом.

...Ночью инженер Протасов занес в неписаный дневник своего сердца:

«Удивительная эта женщина, — думал он. — В ней всякого жита по лопате. Святость борется с грехом. Сюда же вплетаются социалистические мысли. Но купеческая православная закваска и влияние отца Александра, этого древа без цветов, доминируют. Сказано: «Клин клином вышибай». Но как, как, если я почти люблю ее, а она влюблена в своего Христа? Разговор (в тысячный раз, на ту же тему):

— Удовлетворены ли вы семейным счастьем?

— Нет. Но принуждаю себя верить, что — да.

— Ради чего хотите обмануть свое сердце?

— Ради клятвы пред алтарем.

— Ну, а ежели встретится человек, который войдет в ваше сердце и вытеснит из него всё, всё целиком, все прежние чувства ваши и привязанности? Все ваши алтари?

— Я пройду мимо такого человека. Я буду страдать до конца, до смерти, до пакибытия...

Она старалась говорить спокойным голосом, не встречаться со мной глазами, но ведь я-то чувствовал, как она вся внутренне дрожала, противоборствуя самой себе. Я тоже пробую бороться с собой. Во имя чего — не знаю. В конце концов мы будем вести сладостную войну друг с другом. За кем победа? Теория вероятности подсказывает ответ. Всяческие комбинации возможны. Любовь дремлет в моем сердце, как в дереве потенциальная сила огня. Черт знает! Чувствую, что в душе моей крепнут чужие и чуждые мне путы. Ушел, поцеловал ей руку. Она поцеловала меня в лоб. От нее исходила какая-то заразительная и согревающая кровь чистота. Божественная женщина!»

В семь часов утра две головы под одеялом повернулись лицом к лицу, повели разговор и разговорчик. Было совсем светло. Поднялось над тайгою солнце.

— Вероятно, дядя назначит сюда жандармского ротмистра. Как ты к этому относишься?

Наденька молчала. Стражник не ночевал сегодня. Надо подыматься, ставить самовар, а неохота...

— Я предан престолу. Мой отец — герой турецкой кампании. Цель моей жизни — разоблачать всяческую сволочь, вроде Протасова. А как думаешь, Нина Яковлевна его любит?

— Пока ничего не могу сказать тебе, Владенька. Потом разнюхаю. Да по всей вероятности, наклевывается что-то...

— Я желал бы, чтоб Кэтти стала моей любовницей. Возможно это?

Наденька, как на булавках, быстро повернулась лицом к стене.

— Пани Надежда! Я ж пошутил.

Наденька, вздохнув, сказала:

— Она влюблена в Протасова, а Протасов у меня в руках. Кой-что знаю про него, про сицилиста. Захочу — тыщу рублей возьму с него, не меньше. Владенька, а когда ж ты мне яду дашь из лыбылатории своей? — И она повернулась к нему лицом.

Парчевский не ответил. Помолчав, спросил:

— Я тебе, кажется, пятьсот должен? Можешь одолжить еще сто рублей?

— А ты меня любишь?

— Нет.

— Дурак!

Парчевский наморщил белый лоб и помигал обиженно.

— Я рабочих по морде бью, а Протасов с ними антимонии разводит. Я предан престолу... Ха-ха! Стачка, забастовка... Сволочи!.. Стрелять надо. А для чего тебе яд?

— Не любишь — и отчаливай. Другого счастливым сделаю. А ты сиди в этой трущобе, сиди, получай свои сто пятьдесят...

— Ты не знаешь, отчего я сижу здесь?

— Нет.

— Дура!

— Сам дурак!

— Дура в квадрате!

— Полячишка тонгоногий!

— Дура в кубе! Я, к великому несчастью, картежник. Проиграл на службе в России казенных тысяч семь. Ну у меня связи, — не судили. Однако со службы выгнали, опубликовали в приказе по министерству. Нигде не берут. Благодаря дяде попал сюда.

Наденька щупала свою бородавочку, соображала.

— Я очень, очень богатая, — сказала она. — Мне довольно. Убегу. И захоровожу себе дружка. В Крым уедем, а нет — на Кавказ. Вот куда.

— Да тебя пристав со дна моря вытащит.

— Либо меня вытащит, либо сам утонет.

Пили чай с вареньем, со свежими оладьями. Парчевский не торопился. Шел дождь, рабочим урок задан, Громова нет дома, — не беда и опоздать, не важно. Он взял сто рублей, надел запасный архалук стражника, поднял башлык и вышел в дождь, в простор. Поди-ка узнай его.

Рабочие пошабашили в семь вечера. В это время в Питере был в исходе лишь второй час дня. Сей дальний бок земли освещался солнцем много позже.

Прохор открыл глаза и осмотрелся. Великолепная спальня карельской березы с бронзой. В широком зеркале отражается кровать, на которой он лежит, и балдахин над нею. Поясной, масляными красками портрет какого-то купца. Под его круглой бородой золотая медаль, а в петлице — орден.

Прохор зевнул, потянулся, бесцеремонно крикнул:

— Дуня! Маша!

В спальню вошла в светло-розовом, без рукавов, пеньюаре Авдотья Фоминишна с горячим кофе на подносе.

— Бонжур, — сказала она хрипловатым контральто.

— Да-да, — промямлил гость, любуясь рослой женщиной, обладательницей здоровой красоты.

— Как почивали? — Она скользнула взглядом к зеркалу и придала лицу невинную девичью улыбку.

— Сладко спал. Видел такие сны, такие сны. Черт бы их драл, какие анафемские, грешные были сны!

С обольстительным жестом розово-белых рук она подала ему закурить.

— Мне снилось, что Авдотья Фоминишна Прахова едет со мной. Я ей строю дом в живописнейшей местности на берегу Угрюм-реки.

— Угрюм-реки? Какие роскошные слова!..

— Обстановка княжеская, пара рысаков, прислуга и двадцать пять тысяч в год...

— А костюмы?

— Костюмы отдельно. По субботам — ванна из шампанского.

— А что ж говорила вам во сне ваша жена?

— Она сказала, что это ее не касается. У нее дочь, райские сады, школа, у меня жизнь, дела. Согласна, Дуня? Сколько тебе платит вот этот? — И Прохор ткнул в бороду портрета.

— Милостивый государь, вы очень грубы! — Грудь женщины вздымалась, как волна, сердце злилось, но серые прекрасные глаза, похожие на милые глаза Анфисы, гладили Прохора по сердцу.

Авдотья Фоминишна, закинув ногу на ногу, сидела на козетке, курила, пускала дым колечками. Под

взбитой челкой, за белым лбом шел бешеный торг; шла купля и продажа, прикидывалось «за» и «против», сводились барыши. Лакированный каблук набитой такими же мыслями туфельки нервно постукивал в ковер.

— Я жду ответа. — И Прохор бросил окурок в недопитый кофе.

— Пожалуйста за ответом через три дня, — скрипнула туфелька, и красные пуговки на пеньюаре улыбнулись.

Хозяйка нюхнула из граненого флакончика нашатырного спирту. Хозяйка с волнением переоценивала ценности. И все в ее мире, там, под этою рыжею челкой, за белым лбом, сорвалось со своих основ, сцепилось, перепуталось: полуседая борода портрета с черными лохмами сибиряка, молодая сила с немощью, величавая Нева с Угрюм-рекой, блеск и шум столицы с мерцающими буднями провинции, реальные величины в настоящем с неведомыми иксами грядущего. Но Авдотья Фоминишна давно забыла математику; предложенного гостем уравнения ей сразу не решить.

— Нет, нет... Только не сейчас... Нет-нет, — звякали золотые обручи в ушах. Авдотья Фоминишна отрицательно потряхивала головой, и, чтоб не упустить бобра, она голубиным голосом проворковала: — Вы мне очень, очень нравитесь. Мне тоже ночью снился сладкий сон.

4

Тем временем Илья Сохатых собирался праздновать день своего рождения. Он разослал по знакомым двенадцать пригласительных карточек.

«Свидетельствуя Вам и всему Вашему семейству отменное почтение, Илья Петрович Сохатых с супругой Февроньей Сидоровной приглашает Вас почтить их своим присутствием по случаю высокоторжественного дня рождения многоуважаемого Ильи Петровича Сохатых».

У него имелись также и поздравительные карточки с «Рождеством Христовым», с «Новым годом», со

«Светлым Христовым воскресением». Подобные же карточки существовали и в обиходе Громовых; Прохор сотнями рассылал их по деловым знакомым всей России. Но у Прохора карточки самые обыкновенные, дешевка. У Ильи же Петровича — с золотым обрезом, с золотой короной наверху. Уж кто-кто, а Илья-то Сохатых правила высшего тона знает, у него всегда «парлеву франсе» на языке.

На сей раз каверзный случай сыграл над ним трагическую шутку: завтра день рожденья, а у него все лицо горой раздуло, и глаза, как у свиньи, закрылись. Всему виной дурак дедка Нил, колдун и чертознай. Ноги ноют, опухают, застарелый ревматизм, доктора нет, фельдшер помер — к кому за помощью идти?

— А вот, сударик, — сказал ему дедка Нил, — шагай благословясь на пасеку, растревожь веничком пчелу, а сам разуйся и портки — долой. И навалятся на голо место пчелы, нажгалят хуже некуда. И — хворь, как рукой.

И вот Сохатых в этакое-то время... Эх! Ведь он у хозяина на большом счету, ведь он доверенный в мануфактурной лавке, а там товару на сто тысяч; три приказчика, два мальчика. Послал Илья досматривать за торговлей свою супругу, сам весь в компрессах, а на стуле — дьякон Ферапонт.

— Я, знаете, отец дьякон, — повествует Илья, — обрадовался такому идиотскому рецепту, снял штаны с кальсонами да ну по ульям веником хвостать. Они и взвились... Я, исходя из теории, к ним задом норовлю да ноги подставляю, они на больные ноги два нуля внимания да как начали мне в морду стегать...

— Хо-хо-хо — в морду? — погромыхивал дьякон Ферапонт.

— Я, понимаете, от их щелчков прямо округовел, не знаю, куда по традиции бежать. Загнул на башку рубаху да во весь дух по лестнице домой. А там — двух девок да солдатку черт принес, девки как взвоют от голого изображения, а тут в хохот. А я уж и очами не могу взирать, оба глаза затекли... И как я не ослеп...

Дьякон раскатисто хохотал, пожирая пятый огурец, и все выпытывал у потерпевшего, не ослепли ль девки.

— Завтра день рожденья... Но это сверх возможности. А я вот что, я сделаю в дне рожденья опечатку на три дня.

Действительно, он чрез подручного разослал новые пригласительные билеты с припиской:

«Вследствие позднейших данных церковной метрики, мой день рождения имеет бытность не в понедельник, а в четверг на той же неделе, т. е. на три дня позже».

Что ж, три дня не срок, и Прохор Петрович явился за ответом. Вместо ответа был полуответ, тире иль новый знак вопроса: тот самый «сам», зримый облик которого запечатлел на полотне искуснейший художник, задержался на Урале дня на четыре, на пять. Она объявила это Прохору, припав пуховой грудью к его стальной груди, и притворно виноватые, но все же милые глаза ее просили снисхождения. Она сказала:

— Я постараюсь, чтоб время, проведенное в моем доме, показалось вам приятным.

Он ласково провел ладонью по ее густым рыжим волосам, закрыл и опять открыл ее глаза, всмотрелся в них, поцеловал:

— Анфиса? Нет, не Анфиса... Та совсем, совсем другая...

— Что с вами?

— Так. Прошло... — Он отмахнул назад свои черные вихры, и глубокий с хрипом вздох упал в наступившее молчание.

Был вечер. Высокая лампа под шелковым сиреневого цвета абажуром горела у стола. Воздух гостиной отдавал застоявшимся сигарным дымом. Прохор вяло спросил:

— У вас были мужчины?

— Да, вчера. Кой-кто из знакомых. Дулись в картишки. Я сейчас прикажу затопить камин...

На звонок пришла опрятно одетая горничная.

— Принесите фрукты и ликер. Затопите камин.

Прохор сидел с закрытыми глазами у стола. Мрачное настроение исподволь охватывало его, давно забытое навязчиво вспоминалось с резкой ясностью. Прохору становилось мучительно и страшно.

— Вам нездоровится?

— Нет... Так... Пьянствую все... Надо бросить.

— Подите прилягте до гостей... Будет князь Черный, граф Резвятников, еще кой-кто. Коммерции советник Буланов...

— Дайте немного коньяку.

Мадам позвонила, и резко позвонили у парадной. Вошли двое.

— Знакомьтесь... Мсье Громов, сибиряк. Лейтенант в отставке Чупрынников, статский советник Дорофеев.

Протянув руку черноусому, с брюшком, Чупрынникову, Прохор сказал:

— Я вас как будто где-то встречал...

— Не припомню, нет, — ответил тот басом и сел.

— Вы не поручик Приперентьев?

— Нимало... Ха-ха... Про такого не слыхал.

— Очень похожи, — сказал хмуро Прохор. — Дело в том, что его золотоносный участок по закону достался мне...

— Ах, вот как? Поздравляю... Ха-ха, — ответил лейтенант в отставке. — Ха-ха!.. Прекрасно. По закону, изволили сказать? Так-с?

Прохор внимательно наблюдал его, с внутренним содроганием вслушивался в его голос: «Что ж это, галлюцинация? Перестаю узнавать людей? Чего доброго, какому-нибудь обер-кондуктору нос откушу? Брошу, брошу пить, брошу». — И, противореча самому себе, он выпил стопку коньяку и потянулся к вазе за цукатами.

Лейтенант в отставке Чупрынников сидел в тени и тоже наблюдал Прохора Петровича. Статский советник Дорофеев — коротконогий, квадратный, апоплексического сложения — открыл рояль, взял не-

сколько аккордов, затем подтянул вверх рукава темно-зеленой визитки и заиграл одну из грустных мелодий Грига.

Пришли еще двое: высокий пожилой актер драмы и вертлявая, в коротеньком, голого фасона, платьице, мадемуазель Лулу. Эта пара сразу внесла смех и общее оживление. Певица затараторила так быстро, как будто у нее четыре проворных языка:

— Послушайте, послушайте, какой скандал. Любовник прима-балерины Зизи, князь Ш., влепил затрещину ее ухажеру, милому мальчику, кадетику Коко. И прелестные получены бананы, да, да, у Елисеева. У бельгийского посла вчера ощенилась сука — дог. Роды были трудные, акушеру пришлось накладывать щипцы, ха-ха, смешно... собака и... щипцы. Тенор Панов на арии «милые женщины» дал петуха, галерка свистала. Сенатору Б. в Английском клубе подменили шинель в бобрах на какой-то драный архалук.

— Ах, сибиряк? Очень, очень лестно... Вы такой же холодный, как и ваша страна?

— Да, такой же.

— Аяй, как это нехорошо. — И Лулу, как зачарованная, влипла горящим взором в бриллиант на мизинце Прохора.

— Что же, перекинемся? — с нетерпением проговорил лейтенант в отставке и прищурился в глаза хозяйки.

— Как, дорогие друзья? — спросила хозяйка. — Может быть, сначала чай?

— И то и другое... Господин Громов, вы, разумеется, играете?

— Конечно же, конечно! — ответил за него хор голосов, голодных, жадных и завистливых.

— Да, играю... — проговорил Прохор, глаза его загорелись злостью. — Мне хотелось бы сразиться с господином, с господином... — И он ткнул пальцем в черные лейтенантские усы. — Простите, с вами...

— Принимаю, принимаю, — ответили усы, радостно подкашлянув.

— Авось мне удастся оттягать у вас золотоносный участок... Вы ж сами предлагали мне эту комбинацию... Впрочем, участок и без того мой.

Левый лейтенантский ус опустился вниз, правый полез кверху, наглые глаза открывались шире, шире:

— Что вы хотите этим, милостивый государь, сказать? Господа, среди вас нет врача?

Вместо врача вошел, поводя плечами, высокий старик с надвое раскинутой седой бородой; его тугой живот весь в золотых цепях, висюльках.

— Добрый вечер, добрый вечер, — круглым, старчески блеклым голосом приветствовал он на ходу гостей.

Хозяйка встала ему навстречу:

— Степан Степаныч Буланов, коммерции советник. А это мой новый друг — сибиряк... Господа, прошу в столовую.

Стол богато сервирован и уставлен закусками и винами. На отдельном, с зеркальной крышкой, столике фасонистый самовар пускал пары.

— Самоварчик, дорогой мой,—блаженно закатил глаза Степан Степанович, купец. — Шумит, фырчит... Хозяюшка, а липовый медок есть к чайку? Спасибо... Да, господа, люблю все русское, все самобытное... Ведь я по убеждениям славянофил... Аксаков, Самарин, Хомяков... Да, да, кой-что и мы читали в дни юности... Ну-с, где прикажете садиться? — Купец подобрал полы сюртука и сел возле хозяйки в кресло.

Звонок телефона. Хозяйка вышла и тотчас же вернулась.

— Прохор Петрович, вас просят к телефону.

Телефон в спальне. Она плотно притворила за собою дверь, положила оголенные руки на плечи Прохора:

— Милый, дорогой, радость моя... Никто тебе не звонил... Прошу тебя, не играй по крупной.

— Я вовсе не буду играть.

— Не будешь? Почему? — И в ее прекрасных глазах промелькнула тревога. — Впрочем, да, ты прав,

Тебе в карты не везет. Тебе в любви везет... — Она надолго, как спрут, впилась в его губы и, оправляя на ходу волосы, вышла.

Чай разливала горничная. Лулу хохотала, тараторила сразу с тремя гостями, чокалась, хлопала рюмку за рюмкой рябиновку, коньяк, мадеру. Купец намазал свежий огурчик медом и хрустел.

Подошли еще два франта. Гостей собралась целая застолица. И среди них, в розовом шелковом платье с искусственными незабудками у левого плеча, очаровательная Наденька. Самого пристава не было, он по делам в отъезде.

Ну что ж, причина уважительная, хотя очень жаль... И новорожденный Илья Петрович предлагает тост:

— За отечественного героя, знаменитого Федора Степаныча господина отдельного пристава Амбреева и вообще за русский либерализм... Урра!!

Отец Александр отсутствовал, поэтому дьякон Ферапонт, не щадя ушей собравшихся, рявкнул «ура» так, что все восторженно захохотали.

Ужин только начался. Пред каждым гостем — меню, отпечатанное в канцелярии на ремингтоне и с нарисованной пером Ильи Петровича короной.

Первым блюдом — три сорта пирогов: с капустой, с осетром и с яйцами. Вторым блюдом — пельмени а ля Громов. Третьим блюдом — дикие утки по-бельгийски. Четвертым — какое-то крошево из оленины, сохатины, рябчиков, под названием «мясной пломбир а ля Илья Сохатых». Потом шли кисели из облепихи, ежевики, клюквы.

— Господа! Прошу великодушно извинить, — кричал подвыпивший новорожденный. — Мороженое, как полагается в порядочных домах, теоретически не вышло, за отсутствием снега. Пожалуйте на ужин в рождество Христово.

Дьякон подарил новорожденному собственной поковки для собаки цепь, Наденька — бисером вышитый кисет «на память». Нина Яковлевна прислала

кожаный портфель с серебряной монограммой, увенчанной короной (хозяйка знала вкусы подчиненного), в портфеле поздравительная записка: «Очень извиняюсь, что лично не могу,. хворает Верочка», а в записке 100 рублей. Анна Иннокентьевна — три пары теплых, собственноручно связанных носков, а супруга — теплый набрюшник из заячьего меха. Илья Петрович все подарки разложил на видном месте, в переднем углу под образами.

Но самый главный дар был от насмешника студента Образцова. Талантливый юноша, зная, что Илья Петрович завзятый любитель всяких «монстров», торжественно преподнес хозяину стариннейшую кожаную деньгу с надписью древнеславянской вязью: «О-враам адна капек». Александр Иваныч Образцов собственноручно изготовил эту редкость из ременного ушка ветхой гармошки, обкорнав его ножницами и с краев залохматив молотком. Но это ничуть не помешало ему с трогательным притворством вручить дар Илье Петровичу Сохатых.

— Монета стоит больших денег. Ей около семи тысяч лет. Времен библейского патриарха Авраама. Но она обошлась мне дешево: я выкрал ее в нумизматическом отделе Эрмитажа.

Илья Петрович открыл рот, прослезился, трижды поцеловал старый кожаный оборвыш, затем взволнованного Сашу Образцова и сказал:

— Господа! Вот дар, достойный именинника...

Вскоре после торжества каверзная проделка студента Образцова широко узналась. Огорченный Илья Сохатых получил среди знакомых кличку «О-враам».

На алюминиевой сковородке, заменяющей серебряный поднос, пачка поздравительных телеграмм и писем из больших сел, двух уездных городов и от Прохора Громова с Иннокентием Филатычем из Петербурга.

В конце трапезы, когда ударит в низкий потолок первая пробка дешевенькой «шипучки», Илья Петрович, оседлав вздернутый нос пенсне, торжественно огласит эти приветствия в честь собственной своей славы.

Но к сведению любезного читателя и по величайшему секрету от Ильи Петровича, автор в совершенно доверительном порядке должен заявить, что все эти приветствия были заблаговременно изготовлены самим Ильей Петровичем Сохатых на разного достоинства бумаге и на телеграфных бланках, когда-то прихваченных у знакомого телеграфиста. Немало потрудился новорожденный над изысканностью и остротою стиля поздравлений и над перепиской их с черновиков левою рукою, дабы не узнан был его собственный кудрявый почерк.

Впрочем, среди этого тщеславного хлама было одно натуральное письмо, облитое солеными слезами. Писала вдова Фекла из села Медведева, где проводил свою первую молодость Илья Петрович. И просила в том письме вдова Фекла хоть сколько-нибудь денег на воспитание приблудного от Ильи Сохатых сына Никанора. И стращала в том горючем письме Фекла — в случае отказа — судом.

На торжественной трапезе это письмо оглашено, конечно, не было. Но мы слишком забежали вперед, до конца ужина еще далече — лишь подан румяный пирог с яйцами, — мы еще как следует не ознакомились с гостями, не слышали их разговоров-разговорчиков.

Присутствовали два приказчика: Пьянов и Полупьянов (между прочим, оба — великие трезвенники и оба — с рыжими бородками), еще громовская горничная Настя в вышедшем из моды, но великолепном платье «барыни». Она и вела себя соответственно, как барыня: на все фыркала, всех вслух критиковала, поджимала губки, разрезала пирог, картинно оттопыривая мизинчики, а когда сосед Насти, дьякон Ферапонт, нечаянно щекотнул ее в бочок, она ойкнула, лягнулась под столом, сказала:

— Пардон, пожалуста... Не распространяйте свои кутейницкие руки...

Два великолепных жандарма — Пряткин и Оглядкин — сидели рядом возле узкого конца стола. Они, подобно Диоскурам — копия один с другого, как двойники; рыжие усы их по-одинаковому закручены

колечками, синие мундиры с аксельбантами — с иголочки. Илья Петрович гордится их присутствием, но в то же время и побаивается их, стараясь высказывать самые патриотические речи:

— Господа унтер-офицеры! Корректно или абстрактно будет провозгласить тост за драгоценное здоровье их императорских величеств?

— Вполне возможно. Урра!.. Ура-ура!!

Между жандармами и горничной Настей — лакей мистера Кука, придурковатый длинноногий Иван. Он во фраке и белых нитяных перчатках; они мешают ему кушать, но он решил блистать во всем параде. Кокетничает с горничной, видимо, влюблен в нее, услуживает ей, вздыхает и закатывает глаза под низкий со вдавленными висками лоб.

— Это что за ужин... Это разве ужин? — брюзжит он в тон соседке. — Вот мы с мистером Куком устроим бал, чертям будет тошно...

— Пожалуйста, не задавайтесь, — улыбается шустрая, черненькая Настя. — Что такое ваш мистер Кук?.. Мистер, мистер, а сам голый вокруг дома бегает.

— Извиняюсь, это в видах здоровья.

— Вот мы устроим у Громовых бал, это да. Ай, не жмите ногу, ну вас!..

— А почему ж ее не жать, раз она под столом? Я, может быть, сплю и вижу вас во сне совсем даже голенькой.

— Глупости какие!.. Воображение. Меня даже сам Прохор Петрович только два раза без ничего видел...

Горбатый, перебитый в драке нос Ивана сразу отсырел.

— Как, в каких смысла́х без ничего?.. — страшно задышал он и вытер нос перчаткой.

— А это уж не ваше дело. Хи-хи-хи!.. Разумеется, нечаянно...

— Исплутатор! — И ревнивый подвыпивший Иван хватил кулаком в тарелку.

Еще среди гостей обращали на себя внимание своей цветущей свежестью Стешенька и Груня,

любовницы Громова на вторых ролях. Одна постарше, другая помоложе; эта попышней, а та посухощавей; эта с челкой и в кудерышках, а та с гладкой прической, как монашка. Обе сидят рядом, обе в жизни дружны, обе попросту, без всяких воздыханий делят ласки повелителя, обе имеют по маленькому домику под железной крышей, обе гадают в карты, для кого Прохор Петрович ставит еще точь-в-точь таких же два домочка, обе по-одинаковому злостно ненавидимы Наденькой, любовницей пристава. Когда появились эти девушки, она сразу надула губы и хотела уйти домой. Новорожденному больших трудов стоило уговорить ее, новорожденный страстно был влюблен и в Стешеньку и в Груню. За эту неразделенную, но часто высказываемую вслух любовь свою он всякий раз получал от собственной властной супруги трепку; тогда кудри его летели, как шерсть дерущихся котов.

Были еще гости: механик лесопилки, почтовый чиновник с супругой и тремя детьми, из коих один грудной, десятник Игнатьев и другие.

Студент Александр Иванович Образцов сидел рядом с семипудовой Февроньей Сидоровной, хозяйкой, увешанной золотыми брошками, серьгами, кольцами, часами и браслетами. Она, назло мужу, всячески ухаживает за студентом, а студент за нею:

— Кушайте икорки, подденьте на вилочку рыжичков... Собственной отварки. Выпейте наливочки... Ах, заходите к нам почаще...

— Благодарю вас... Да, геология вещь сложная. Как я уже вам сказал, петрография — есть наука о камнях.

С юным пылом знатока он рассказывает ей про осадочные и магматические породы, про силурийскую и девонскую системы, о природе золота, а сам все плотней придвигается к сдобной, как слоеный пирог, хозяйке. Та, ничего не понимая в геологии, с женским упоением ловит сладкие звуки его голоса, глядит ему в рот и нарочно громко, чтоб слышал муж, хвалит своего молодого соседа. Но муж глух, не любопытен, муж перестреливается взорами со Стешенькой и Груней.

— Представьте себе — золото... Это ж чудо! Оно самый распространенный по земному шару металл, но в малых дозах. А вы знаете, что самый большой самородок, весом в шесть пудов, был найден в Австралии? А вы знаете, на вас нанизано столько этого драгоценного металла, что можно бы на вашей груди открыть прииск...

— Ха-ха-ха!.. Какие вы, право... Очень красивые... — и на ухо: — Хотите, подарю колечко?

Публика уже изрядно напилась, когда подали в трех мисках горячие пельмени.

— Господа поздравители! — встал, постучал вилкой о тарелку Илья Петрович, и запухшие глазки его широко открылись. — Во всех меня́х, которые лежат перед вами, как в аристократии, пельмени названы мною а ля Громов в честь моего глубокочтимого патрона Прохора Петровича.

— Исплутатор! — крикнул лакей Иван. — Голых наяву видит!.. Девушков!..

— Засохни!.. Вредно, — предупредительно пригрозили ему жандармы.

— Мы с Прохором Петровичем обоюдно ознакомлены, когда они были еще прекрасный вьюнош без бородки, в бытность их папаши, Петра Данилыча, который благодаря бога в сумасшедшем доме...

— Сплутаторы!.. — еще громче заорал лакей.

— Молчи, дурак! — топнул пьяный Илья Петрович. — Сначала привыкни произносить. Такого русского понятия нет, а есть ек-сплу... стой, стой!.. ек-спла...

— Таторы, — подсказал студент и, воспылав юной страстью, погладил под столом мясистую коленку задрожавшей всеми телесами осчастливленной хозяйки.

— Господа поздравители! Прохор Громов это ого-го! Это мериканец из русских подданных...

— Сплутатор! — вскочил Иван и бросил свою тарелку на пол. — Ужо мы с мистером Куком... Надо бунт бунтить! Бей! Ломай! — И он ударил об пол тарелку жандарма Пряткина.

Поднялся шум. Ивану жандармы старались зажать рот. Иван мотал головой, вопил:

— Бастуй, ребята!..

И сразу хохот: дьякон Ферапонт, схватив Ивана за шиворот, молча пронес его в вытянутой руке до выхода, выбросил на улицу, вернулся, швырнул обрывки фрака к печке и так же молча сел.

Тут брякнул в окно камень, и площадная ругань густо ввалилась в разбитое стекло. Чрез мгновение градом посыпались стекла от удара колом в раму. Женщины, как блохи, с визгом повскакали с мест.

Через все лицо Прохора Петровича, от искривившихся губ к мутным, неживым глазам, прокатилась судорога.

— Ваша карта бита...

Где-то там, в меркнувшем сознании, свирепел хохот мадемуазель Лулу и дребезжал бряк пьяного рояля. Волны табачного дыма густо застилали воздух...

Прохор достал последние двадцать новых сторублевок, бросил на стол, сказал:

— Ва-банк!

И танцующие пары, как куклы, проплывали, вихрясь, мимо картежного столика — кавалеры, дамы, валеты, короли, тузы, дамы, дамы... Так много женщин!.. Откуда они взялись? Легкокрылая Лулу в паре с франтом. Она вся в вихре страсти, лицо ее вдоль раскололось пополам: половина в буйном хохоте, половина исказилась в страшном безмолвном вопле. От потолка по диагонали прямо к Прохору двигались скорбные глаза Авдотьи Фоминишны; они улыбались всем и никому, они взмахнули ресницами, исчезли.

Против Прохора похрустывал новою колодой карт отставной лейтенант в ермолке и сдержанно, однако ехидно ухмылялся:

— Ну-с? Вы изволили сказать: ва-банк.

Прохор прекрасно теперь знал, что это не Чупрынников пред ним, а ловко загримированный поручик Приперентьев.

— Итак, ва-банк?

— Да, поручик.

— Нет, лейтенант в отставке, если угодно...

— Приперентьев?

— Чупрынников, Чупрынников.

— Ах да, простите, — сказал Прохор сквозь стиснутые зубы. — Того мерзавца, Приперентьева, часто бьют по башке подсвечником. Он шулер.

— Не знаю-с, не знаю-с.

— Дуня! Авдотья Фоминишна! — крикнул захмелевший Прохор. — Не пускай к себе этого нахала Приперентьева; он мерзавец, он шулер... Моховая, тридцать два. Встречу — убью его... Он на содержании у своей хозяйки, немки... Амалии Карловны...

И все засмеялись.

— Милый сибиряк, — как звук виолончели мягко молвила Авдотья Фоминишна и положила ему белую руку на плечо. — Баста играть.

— Ваша карта бита.

Прохор встал или не встал — не знает. Прохор двигался по комнате, ощущал свое тело, крепко пристукивал каблуками в пол, плыл или плясал, — не понимает, мысль отсутствовала, соображение одрябло, чековая книжка, чеки, валеты, дамы, короли, рука пишет твердо, стол тверд, четырехуголен, на мизинце бриллиант, в уши, как по маслу, змейками вползают звучащие с нулями цифры.

— Благодарю вас. Ну-с?

— Ва-банк!..

Ночь. Часы отбрякали сто раз. И грянула пушка — пробкой в потолок.

— За процветание Сибири! За мой прииск там в тайге, — гнилозубо хихикают усы в ермолке.

— Врете, мерзавцы! Вам не отравить меня...

Часы пробили сто двадцать раз. Грянула вторая пушка.

Пропел петух. Взбрехнула на ветер собачонка. Ночь. Проходя мимо дома Наденьки, дьякон Ферапонт набрал полные легкие черной, как сажа, тьмы и страшно рявкнул по-медвежьи. Привязанная за

столб верховая лошадь стражника взвилась на дыбы, всхрапнула и, выворотив столб, помчалась с ним, взлягивая задом, в сонную тайгу, в гости к настоящему медведю.

5

Прохор проснулся в час дня с непереносимой головной болью. Он подвигал бровями — глаза ломило, обессиливающее недомогание опутывало все тело тугими арканами. В сознании все вчерашнее смешалось в кашу, помутневшая память ничего не могла восстановить — сплошной какой-то бред. Он не помнил, как попал сюда, на этот пуховик под балдахином, в соседство к бородатому портрету на стене.

— Что вы со мной сделали? Я болен.

Сидевшая возле него Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила ему:

— Вы вели себя вчера непозволительно. Вы забылись, вообразили, что вы в тайге, а не в приличном доме. Как же вы осмелились звать меня в свой дикий край, вы, вы, с характером и нравом бандита? Я удивляюсь вам. Я очень, очень скомпрометирована вами в глазах моих друзей.

— Кто ваши друзья? Шулера они, налетчики, или князья, или и то и другое вместе?.. Я что-то помню смутное такое... Впрочем, я все помню ясно. Дайте мой пиджак. Спасибо... Ага, денег нет? Прекрасно! Чековая книжка, где чековая книжка? Так, чек вырезан... Сколько я подписал? Сколько подписал?! Ах, вы не помните, не помните?! Прекрасно!! Все будет доложено прокурору. Вы поплатитесь!

Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отягченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию, лицо стало напыщенно-надменно, в рябых, не скрытых притираниями веснушках, милые Анфисины глаза сделались глазами хищной рыси.

— Прежде чем вы наябедничаете прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Б., которого вы осмелились ударить, и... о, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли, как заяц! — Она уперлась затылком в стену и нахально захохотала, раздувая ноздри. — Вам здесь не Сибирь... Вы очень, очень распоясались...

Прохор задрожал от негодования:

— Если это было бы в Сибири, вы качались бы на первой попавшейся сосне. А от вашего князя Б. остались бы одни усы. Выйдите отсюда! Я одеваюсь.

Он сорвался с кровати, — она ушла. Одеваясь, он обдумывал план действия. Но в больную голову, которая раскалывалась и гудела, не вбредали мысли: сплошной поток обжигающего пламени гулял в душе. Оделся и, не простившись, вышел. Через четверть часа вернулся:

— Позовите барыню!

Он приблизился к ней вплотную, — там, у нее в будуаре, — протянул, ладонями вниз, кисти рук.

— Где мой перстень?

— Я не знаю. — И рябые веснушки на ее лице от волненья потемнели.

— Вы знаете!

— Нет, не знаю.

Тогда он с каким-то сладострастием хлестнул ее по щеке ладонью. Она схватилась за щеку, заплакала и завизжала, как кошка, которой наступили каблуком на хвост.

Вдруг поясной портрет ожил, выросли ноги, надулось брюхо, настежь открылся зубатый рот.

— Этта што?.. Разбой?

Бегемотом вдвинулся портрет в дверь будуара, и черная, с проседью, бородища его распустилась веером.

Авдотья Фоминишна вскрикнула в истерике:

— Митя! Спаси меня! — и упала замертво.

— Вон!! — стукнул в пол палкой, взревел портрет, и два здоровецких кулака встряхнулись под но-

сом Прохора. — Вон, разбойник! Вон, налетчик! Застрелю!.. Эй, кто-нибудь!..

Прохор ударил сапогом в бархатное брюхо, купец ляпнулся пластом, а простоволосый, без шляпы, Прохор, пробежав квартал, упал в пролетку, крикнул:

— Мариинская гостиница, ну! Пятерку!

— Гэп-гэп! — помчал лихач.

Жандарм Пряткин посетил влипшего в неприятности лакея. Иван стоял перед жандармом на коленях, целовал сапоги его, плакал. Жандарм стращал. Иван сбегал «до ветру», вернулся, достал из сундука десять серебряных рублей и коробку украденных у мистера Кука сигар. Жандарм ушел.

Нина Яковлевна совместно с отцом Александром вот уже вторую неделю — от трех до пяти дня — делает обход рабочих жилищ. Всюду одно и то же: грязь, бедность, злоба на хозяев, на себя, на жизнь.

Жалобы, разговоры, душевный мрак, безвыходность потрясали Нину. Она за это время осунулась, потеряла аппетит и крепкий сон. Сердце — как посыпанное солью, мысли — холодные и черные. Молитва — дребезг красивых слов; она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная.

Старик Ермил жалуется Нине:

— Все бы ничего, все бы ладно. Мы привышны ко всему. Дело в том, харч шибко плох — тухлятинка да прель. И, слышь, дорог шибко. А заработок — тьфу!

Нина — глаза в землю — согласно кивает головой, отец Александр преподает деду благословение, назидательно глаголет:

— Терпи, старец праведный, терпи... Господь терпел и нам велел.

— Терплю, батюшка, стисня зубы терплю... А ты, слышь, помолись за нас, за грешных.

— Молюсь, старец праведный Ермил, молюсь.

В бараке многосемейный слесарь Пров возвышает голос свой до крика:

— Нина Яковлевна, хозяйка, посуди сама! Работы наваливают выше головы: десять, двенадцать, пятнадцать часов бьешься — и весь мокрый. Ну, ладно... Мы работы не боимся, я на работу — прямо скажу — сердит. А что мы получаем? Грош! Ну, ладно, надорву силы, состарюсь, куда меня? Вон? Ага! Ты с хозяином жиреешь, а я что? А дети малые, а старуха? Ага! Вот ты встань на мое место, — закашляешь.

Нина мнется, жмется; одолевает досадный стыд. Слесарь Пров ласково, но сильно кладет ей руку на плечо:

— Ты, впрочем сказать, баба ладная. Ты правильная женщина. Нешто мы не видим, не чувствуем? Гараська! Вставай, сукин ты сын, на колени, кланяйся барыне в ножки! Кто тебе, сукин сын, сапоги-то подарил? А? А кто моей Марфутке шаль подарил? А? А кто мою бабу лекарствами пользовал? А? Все ты жа, ты жа, Нина Яковлевна!..

У Прова через втянутые щеки к усам — ручьями признательные слезы; он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит. Нина тоже не может удержаться от нервных всхлипов.

— Ну, что мне делать, что мне делать? — в искреннем отчаянии ломает Нина Яковлевна руки. — Пров, ты умный, научи...

Слесарь отдувается всей грудью, беспомощно сопит. Нина ждет ответа.

— Я, может, и умный, да темный, — говорит он, сгибаясь вдвое и глядя в пол. — Ты ученая, ты на горе, у тебя все дела супруга твоего на виду. Только мы чуем — он над тобой, а не ты над ним. А ты встань над ним! Твои капиталы в деле есть? Есть. Вынь их, отколись от него, начинай свое дело небольшое, мы все к тебе, все до одного. Пускай-ка он попляшет... Уж ты прости, Нина Яковлевна, барыня, а мы дурацким своим умом с товарищами со своими вот этак думаем...

— Пров, милый, дорогой, — прижала Нина обе руки к сердцу. — Говорю тебе, а ты передай своим товарищам: я приложу все силы к тому, чтоб вам,

рабочим, жилось лучше. Я буду требовать, буду воевать с мужем, пока хватит сил... Прощай, Пров!

Отец Александр выдал из походной кассы на семейство Прова двадцать пять рублей, благословил всех и скрылся вслед за Ниной.

Так проходили дни, так сменяли одна другую тяжелые для Нины ночи. Лежа в постели в белой своей спальне, рядом с детской, где пятилетняя Верочка, Нина Яковлевна напрягала мысль, искала выходов, принуждала себя делать так, как повелевал Христос.

«Раздай богатство, возьми крест свой и иди за мной». Ясно, просто, но для сил человеческих неисполнимо. Взять крест свой, то есть — принять на изнеженные плечи грядущие страданья и голой, нищей идти в иной мир, мир самоотверження, подвига, деятельной любви.

— Нет, нет. Это выше наших сил...

Но далекий голос доносится до сердца. «Могий вместити, да вместит...» Да, да, это Христос сказал: «Если можешь так сделать — делай».

А она вот не может вместить, не может отречься от пышной жизни, от славы, от богатства, не может уйти из этого чувственного, полного сладких соблазнов мира в мир иной, в сплошной подвиг, в стремление к пакибытию, в существование которого она, в сущности, и не так-то уж крепко верит.

— Верю, верю! Хочу верить, господи!..

Но монгольское лицо Протасова, язвительно улыбаясь умными черными глазами, медленно проносит себя из тьмы в тьму, и сердце Нины мрет.

И нет Христа, и нет белой спальни. И нет Протасова. Только его мысль, как майский дождь, насквозь пронизывает ее воспаленное сознание и сердце.

Прохор спал как убитый до вечера. Голова все еще шальная, деревянная. Пили чай в номере, из самовара. Прохор во всем признался старикам.

— Ты, Филатыч, справился, сколько мерзавцы по чеку взяли?

— Пятнадцать тыщ ровно,— жалеющим, с жадњинкой, голосом сказал старик.

— Мне денег не жаль, плевать. Деньги — сор.

— Ничего не помнишь? — спросил тесть, поддевая из баночки варенье.

— Ничего не помню... Так кой-что... Может быть, со временем и...

— Эх-хе,— ядовито вздохнул Иннокентий Филатыч.— Жаль кулаков, а надо бить дураков...

— Кого?

— Тебя.

Прохор не обиделся.

— Это тебя, парень, куколем опоили,— сказал тесть.

— Им, им! — подхватил Иннокентий Филатыч.— Нешто не знаешь? Травка такая увечная в хлебе растет. У нас она зовется — бешеные огурцы. Память отбивает.

Решили скандала не подымать, все предать забвению, скорей кончить дела, недельку покрутить, попьянствовать, да и домой.

Не хотелось Якову Назарычу вылезать из удобного халата, но Иннокентий Филатыч все-таки принудил, и все трое пошли осматривать город, не торопясь и в трезвом виде.

С Троицкого моста любовались осенним закатом. Солнце, растопырив огненные перья, садилось за Биржей, как жар-птица в пышную постель. Опалевый, светящийся тон неба, постепенно бледнея, мерк в зените. Врезываясь в разгоравшийся закат, темнели силуэты фабрик. Черный дым, клубясь, густо валил из труб, мрачным трауром оттеняя блеск небес. Группа кудластых облаков угрюмого цвета нейтральтина грустила над Биржей. Весь небосклон на западе стал тревожным. Но вот солнце скрылось, по горизонту, меж потемневшими громадами домов разливанным морем легла ослепительная лента пламени — и все в небе загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками; хмурые, цвета нейтральтина, облака ярко подрумянились с боков, весело

надули щеки. Зеркальные стекла задумчивых дворцов посеребрились белым светом. Вдвинутая в вечные граниты широкая Нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище. Опухшее от пьянства серо-желтое лицо Прохора оживилось. Новые зубы в удивленно разинутом рту Иннокентия Филатыча играли, как жемчуг.

Но вот, постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои линючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтоб не схватить насморка, галоши № 25 и, плотно закутавшись в серый плащ сумерек, с гремящим хохотом исчез в предпощных сизых далях. Гремели трамваи, гремели по мостовым железные колеса ломовых. «Гэп-гэп!» — покрикивал лихач, вихрем пронося двух хохочущих красавиц.

Ловко одураченные мишурной красотой заката, друзья пошли на «Поплавок», подкрепились ушкой из живых стерлядок, выпили «на размер души» две бутылки зверобою и, веселенькие, направились в театр.

Начиналось третье действие. Сибиряки — в первом ряду партера. Иннокентий Филатыч, как петух возле зерна, часто поклевывал носом. Артисты играли с подъемом, хорошо. Прохору понравилась высокая, со стройными ногами «жрица огня», Якову Назарычу — все двенадцать танцовщиц; он усердно молил судьбу, чтоб хотя бы у двух, у трех лопнуло трико. Он не отрывался от бинокля.

Но вот — «ночь спящих». Под мутным светом луны из-за кулис актеры, погруженные в волшебный сон, разметались по полу в живописных позах.

— Спящие, проснитесь! — звонко на весь театр возвещает прекрасная фея с золотыми крылышками.

Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия Филатыча.

— Спящие, проснитесь! — вновь приказывает фея.

Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлер и все «спящие» на сцене кусают губы, чтоб не захохотать. В первых рядах партера сдержанный пересмех и ропот.

— Спящие, проснитесь! — злобно кричит фея и взмахивает магическим жезлом.

Иннокентий Филатыч вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил:

— Будьте здоровы... Что-с?

Вплоть до пятого ряда партер грохнул хохотом.

Так, или примерно так, посещали они зрелища.

6

Прошло три дня. Вечер. Прохор в номере один; звон в ушах, тоска, — нездоровится. Сверяет счета, рассматривает прейскуранты машиностроительных заводов. Слуга подал на подносе два письма.

«Я по-настоящему начинаю открывать глаза на условия жизни наших рабочих, достающих тебе и мне богатство. Условия эти поистине ужасны. И мы с тобой одинаково бесчеловечны и одинаково повинны в этом. Лишь первые два года нашей жизни ты был достаточно внимателен ко мне и к своим рабочим. А потом тебя словно кто-то подменил: ты стал жесток, упрям и алчен.

Прохор, куда ты идешь и в чем у тебя цель жизни? Спроси свою совесть, пока она не совсем заснула. А ежели ты усыпил ее проклятой наркотической фразой: «Мне все дозволено», — бойся своей совести, когда сна проснется. Прохор, ты молод, подумай над всем этим и, пока не поздно, обрадуй меня. Поверь, отныне вся жизнь моя в печали».

Сердце Прохора перевернулось. Он протер глаза, с шумом выдохнул воздух и вновь перечитал письмо. Сидел он и думал, подперев голову рукой. В раздражении побарабанил по столу пальцами: «Дура баба», — и вскрыл пакет Протасова.

Двухнедельный отчет, цифры, сметы, предположения. Разумно, толково, правильно. В конце приписка:

«Рабочие высказывают открытое недовольство тяжелыми условиями труда и слишком низкой заработной платой. Ожидаю Ваших экстренных распоряжений по пунктам улучшения общих условий жизни,

изложенным ниже. Неисполнение или даже затяжка в исполнении этих пунктов может повлечь за собой дезорганизацию работ, а следовательно, и подрыв всего дела.

Пункт первый...»

Прохор внимательно просмотрел все пункты, и глаза его налились желчью. Он порывисто встал и несколько раз прошелся по комнате, ускоряя шаг.

— Ха-ха, ладно, ладно... Посмотрим... Сговорились, сволочи! Ха-ха, отлично.

Позвонил:

— Отнесите сейчас же телеграмму. Срочную.

Когда писал, губы его кривились, брови сдвинулись к переносице, лоб покрылся потом.

«Предоставляю вам право немедленно уволить до 500 человек рабочих. Точка. По соглашению с приставом мерами полиции выселить их за пределы резиденции. Точка. Мной ведутся переговоры по найму партии рабочих на Урале. Точка. О принятых вами мерах срочно донесите. Громов».

Отослав телеграмму, облегченно передохнул. Но волнение в груди не улеглось. За последнее время перестал нравиться ему Протасов: мудрит, заигрывает с рабочими, сбивает с толку Нину. Пусть, дьявол, умоется этой телеграммой, пусть. Прохор оперся спиной о мрамор холодного камина и взбудораженная мысль его самовольно сделала скачок назад.

Перед ним зашелестели страницы записной книжки — там, на Угрюм-реке, в дни вольной юности. Истлевшие, давным-давно вырванные из сердца, забытые, они вновь восстали из времен.

Жаркий, окутанный дымом лесных пожаров день. Политические ссыльные тянут вверх по реке шитик. На шитике, на горе мягких подушек, под зонтиком заплывший жиром прощелыга торгаш Аганес Агабабыч.

— Я бы на вашем месте утопил этого бегемота, что грабит мужиков, — говорит ссыльным Прохор. —

Вот я тоже буду богат, но поведу дело иначе. Я не позволю себе эксплуатировать народ...

Так думал и говорил Прохор-юноша. Но Прохор-муж, Прохор-делец громко теперь хохочет над своими прежними словами.

За окном темно. Он задернул драпировки. Старинные куранты на камине мелодично отзванивают восемь. В дверь стук.

— Да, да.

Вошел в серой шинели военный, с бравой, надвое расчесанной бородой.

«Ага, секундант... Дуэль», — мелькнуло в мыслях Прохора.

— Не вы ли господин Громов из Сибири? Честь имею... генерал Петухов, адъютант градоначальника, — звякнули серебряные шпоры. — Его превосходительство приглашает вас пожаловать к нему для некоторых переговоров.

«Пропал, донесли», — подумал Прохор. Но не испугался.

— К вашим услугам.

Вышли. Крытая карета. В ней два жандарма. Спустили шторы. Поехали.

— Вы не знаете, по какому делу? — спросил Прохор сидевшего рядом с ним генерала Петухова. — Я недавно тут... перенес... одну неприятность...

— Нет, нет, не беспокойтесь... Разговор будет носить чисто деловой характер. Впрочем, я вас должен предупредить... Давайте завернем ко мне и там обсудим.

— Очень рад, — сказал Прохор и шепнул генералу в ухо: — Я за благодарностью не постою...

Минут через десять лошади остановились. Как колодец — двор. Темная, с кошачьим смрадом лестница. Пятый этаж. Небольшой зал, похожий на деловую, коммерческую контору. На стене — поясной портрет Николая II. Четыре письменных стола. Один побольше, понарядней. Под потолком зажженная аляповатая люстра.

— Прошу! — Генерал уселся за большой письменный стол. Прохора усадил напротив себя спиной

к входным дверям, возле которых вытянувшись — два жандарма.

Прохор в замешательстве: не знает, по какому делу он здесь и как ему держаться.

— Ну-с, так-с... — Генерал поправляет очки на горбатом носу, чуть касается бороды кончиками пальцев и в упор смотрит по-серьезному на Прохора.

Прохор ждет неминучей для себя грозы. «Донесли, донесли, влопался, голубчик», — выбрякивает разбитое пьянством сердце. В мыслях Прохора быстро мелькают тени Авдотьи Фоминишны, ее подруги баронессы Замойской и самого градоначальника столицы. Сознание задерживается на понятии «градоначальник», и Прохор леденеет. Ежели вся эта грязная история докатилась до него, Прохору несдобровать.

— Ну-с?.. так-с...

Генерал улыбнулся, нажал звонок, проговорил:

— Что ж... Выпьем по бокальчику. Для храбрости, — и заперхал в высокий красный воротник басистым хохотком.

— Благодарю вас, не могу, — соврал Прохор.

— Ну, как хотите, как хотите, — недовольно протянул генерал и щелчком пальца сшиб с мундира какую-то козявку.

— В сущности... Я бы... Но ведь мы собираемся к...

— Так, правильно. Но дело в том...

Тут из внутреннего помещения, раздвинув плюш портьер, явился человек в ливрее с синими отворотами.

— Лиссабонского! — приказал генерал, человек поклонился, подал вино. — Дело в том... Вы думаете, что сам-то градоначальник трезвенник? Ого! Посмотрели бы вы... Дело в том, что вам назначено там быть без четверти десять, — сейчас сорок две минуты девятого. Времени уйма... Итак... Ваше здоровье!.. — Генерал взял бокал, чокнулся с Прохором.

— Будьте здоровы, ваше превосходительство, — взял бокал и Прохор.

Генерал отхлебнул немного. Прохор залпом, жадно осушил до дна.

— Ага, — сказал генерал и позвонил. — Налей-ка, брат, еще, да балычку, икорочки...

— Может быть, сыр бри угодно вашему превосходительству?

— Давай сыр бри, — повоняй, брат, повоняй.

Человек быстро исполнил приказание и вышел.

— Дело вот в чем... Пейте, пожалуйста, кушайте... Не желаете ли вонючки? Надеюсь, у вас в Сибири этой дряни нет. Живые червяки, мерзость, тьфу, смердит, а между тем — пикантно... Ну-с. Ваше здоровье!

Прохор выпил второй бокал и третий.

— Ну-с, дело вот в чем. Вы, если не ошибаюсь...

Прохор насторожился, но его мысли теперь летели вскачь, в голове гудело.

— Если я не ошибаюсь, вы... Впрочем... Сейчас, сейчас... — Генерал нажал кнопку три раза. — Так-с, так-с. Ага...

В комнату из-за малиновых портьер вошла высокая полная дама в черной, волочащейся по полу мантилье. На голове кружевная наколка с черным закрывающим лицо вуалем.

— Он?

— Он.

Генерал ударил в ладоши. Подскочившие к Прохору жандармы вмиг скрутили ему полотенцем руки назад. Прохор как во сне поднялся. Черная дама откинула с лица вуаль.

— Узнал?

Пораженный Прохор вскрикнул, силясь высвободить связанные руки, стал быстро пятиться в пространство. Ненавидящие, холодные глаза, мстительно сверкая, двигались за ним, настигали его, и вот они оба — лицо в лицо.

— Мерзавец! Бандит!.. Так на ж тебе, так на ж!! — И две ошеломляющие пощечины, от которых качнулся, рухнул потолок, обожгли его сердце до самых глубин. — Узнал?

Прохор ринулся грудью на женщину и упал, оглушенный тупым ударом сзади. Его топтали сапоги,

волочили по полу; генерал, раскорячившись на четвереньках и потеряв накладную свою бороду, орал ему в оба уха, в рот. Но Прохор ничего не видит, ничего не слышит и не чувствует: он где-то там, вне бытия, в пурге, во взмахах снежной бури.

Теплый поздний вечер. Санкт-Петербург в огнях. Он еще не провалился, жив, цветущ. Плоский простор болот до сытости давно набит тяжелым камнем. Что было на верху высоких гор — разбито вдребезги и свалено сюда, в низину. И вот балтийского болота нет, остались лишь непобедимые туманы: седые, желтые, холодные. Они влекут на своих убийственных подолах хмарь, хворь, смерть.

Иннокентий Филатыч, как свекла красный, с серебристой, начисто отмытой бородой пешочком возвращается из бани. Под мышкой веник (подарит приятелю швейцару Мариинской гостиницы), в руке вышитый шерстью старинный саквояж с бельем. Вот чудесно. Хорошо попить чайку. Жаль, Анны нет, вдовухи-дочки. Сейчас бы на затравочку чайку домашнего, сейчас бы самовар, маленький графинчик водки — «год не пей, а после бани — укради, да выпей», поужинал — и спать. А встал — кругом тайга шумит. Вот жизнь!

А тут — шагай, шагай и в брюхо тебе, и в бок, и в спину, того гляди под колеса попадешь, трамваи, извозчики, кареты, да моду взяли эти вонючие фыкалки с огнями по Питеру пускать. Улица, переулок, площадь, улица, еще два переулка. Да туда ли он идет?

Но в это время лязг копыт, карета.

— Что вы! Куда вы меня тащите?.. Караy...

— Цыц! Вы арестованы.

«Господи, помилуй! Господи, помилуй...» Карета мчится в тьму. По бокам — жандармы... «Господи, помилуй, — два жандарма!»

Пятый этаж. На диване — Прохор. Чуть дышит. «Господи, помилуй, господи, помилуй, жив или кончается?»

— Ваш?

— Наш.

Только два жандарма, боле никого.

— А и что случилося с ним?

— Генерал допрашивал. Сильный обморок. Со страху. С непривычки...

— Господи, помилуй... Господи, помилуй... — закрестился на портрет царя.

— После помолишься, папаша... Ну, с богом...

Вниз по лестнице. Шляпа с мотающейся головы Прохора валится. Старик сует шляпу к себе в карман. Белый воротник рубахи Прохора замазан дрянью. Очень скверно пахнет.

— Сыр бри, — поясняет жандарм и приказывает кучеру: — Пшел веселей! — И старику: — Ежели этим господским сыром, папаша, собаке хвост намазать, — сбесится. А баре жрут...

— Господи, помилуй! — крестится старик.

Карета рывком летит вперед, старик то и дело ударяется головой в потолок, картузик переехал козырьком к уху, старик дрожит, Прохор мычит, сухо сплевывает, стонет.

— Мариинская, кажется? На Чернышевом?

— Так точно, — ляскает новыми зубами старец.

Жандарм приоткрыл дверцу, осмотрелся, крикнул:

— Извозчик! Двадцать семь тысяч восьмисотый номер. Стой!

Извозчик — молодой парнишка в синем балахоне, в клеенчатой жесткой, как жесть, шляпе — остановил лошадь:

— Ково?! Ково тебе?

— По приказу господина градоначальника. Больной человек, при нем — сопровождающий папаша. Живо!.. Пшел!..

— Ково?! — закричал парень вслед уносящейся карете.

— По-по-по-поезжай, дружок... Я деньги уплачу... Господи, помилуй! Господи, помилуй!

7

На следующий день в «Петербургском листке» в отделе происшествий появилась заметка:

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА П. П. ГРОМОВА

Дело было так. Прохора внесли в гостиницу. Собралась толпа. Засвистали постовые полицейские, начались звонки по телефону. Случившийся тут юркий вездесущий хроникер впопыхах расспросил трясущегося Иннокентия Филатыча, с его бессвязных слов тут же настрочил заметку и помчался в редакцию, чтобы сдать в набор.

Впрочем, по пути он заехал в жандармское управление. Когда ему сказали там, что никакого ордера на арест Громова не выдавалось, хроникер вполне уверился, что тут дело пахнет уголовщиной.

Донельзя растерявшийся Иннокентий Филатыч стал в этой суматохе совершенно невменяем. Он бегал по гостинице с веником, разыскивал швейцара Петра, приятеля, чтоб вручить подарок. Наконец нашел его в каморке, под лестницей.

— А сегодня не мое дежурство, — сказал Петр. — Ах, ах, какое несчастье приключилось! Десять лет служу, — такого не предвиделось. А ведь про вас жандармы-то спрашивали, пока вашего барина генерал брал: «Куда, мол, старичок ушел, давно ли да в какую баню?»

Иннокентия Филатыча окончательно вышибло из ума. Он обалдело глядел в лицо швейцара, сморкался и твердил:

— Господи, помилуй. Господи, помилуй!

Номер «Петербургского листка» с заметкой был чрез несколько дней получен в резиденции «Громово» инженером Парчевским. Кто прислал — неизвестно. Во всяком случае, ни тесть Прохора, ни Иннокентий Филатыч не присылали.

Читая заметку, Владислав Викентьевич Парчевский едва не лишился сил. Он дважды вспыхивал от

бурного прилива крови, дважды белел как мел. «Умер. Громов умер. Хозяин умер...» Он искал точки опоры — радоваться ему или горевать? — но все под ним качалось, плыло. Трясущимися руками он разболтал в воде порошок брому и залпом выпил.

Черт возьми, как же?.. Нина Яковлевна... Молодая вдова... Ба́рдзо, ба́рдзо... Эх, осел, пся крев, дурак!.. Не мог он, бесов сын, своевременно увлечь хозяйку. Но пес же ее знал, что она так внезапно, так трагически овдовеет. Несчастная Нина, несчастный инженер Парчевский! Все богатство, вся слава теперь, наверное, достанется Протасову. И слепцу видно, в каких он отношениях с хозяйкой.

«Нет, врешь, врешь, пся крев, врешь! Еще мы с тобой поборемся. Я с тобой, милорд Протасов, по мелочам рассчитываться не буду, а сразу, оптом».

Владислав Викентьевич Парчевский схватил фуражку и, позабыв надеть шинель, выскочил на улицу. А был холодный осенний вечер. На улице — ни души. Куда ж бежать? К Нине Яковлевне, к Протасову, к мистеру Куку? Но вот вспомнилась Наденька, и Парчевский, не раздумывая больше, — быстро к ней.

Пристав дома — спал. Шептались в кухне. Наденька всплеснула руками, вся заметалась, бессильно села на скамейку. И тысячи мыслей, сбивая одна другую, забурлили в ее голове.

— Слушай, пойдем на двор.

— Ничего, Владик... Он пьяный, спит.

— Слушай! — лихорадочно зашептал он Наденьке в лицо, крепко прижимая ее руки к своей груди. — Слушай. Я с ума схожу... Слушай! Я должен жениться на хозяйке... Постой, постой, не вырывай своих рук, слушай... Фу, черт!.. Дай воды... Когда женюсь — неужели, ты думаешь, буду ее любить? Клянусь тебе божьей матерью, что ты будешь моей самой близкой, самой дорогой гражданской супругой! А Нину я скручу в бараний рог... Нет, я с ума схожу... О, матка бозка, матка бозка!.. — Он, обессиленный, зашатался и тоже сел на лавку рядом с Наденькой. Та припала к его плечу и тихо заплакала.

— Владик, Владик!.. Милый Владик... — Она высморкалась и, вся содрогаясь, прошептала: — А как же пристав мой? Убьет. Дай мне яду из лыбылатории...

— Не бойся. Мой дядя — губернатор, он немедленно вытребует его к себе, командирует на другое место, за тысячу верст... Устрою... Это не враг, это не враг... Враг мне в этом деле — Протасов... Сейчас же иди к нему, сообщи о смерти хозяина. В столичной газете... Я только что получил. И наблюдай, понимаешь, — тоньше наблюдай, как он, что он...

Нина еще не ложилась: одна пила вечерний чай, читала.

Встревоженно вошел инженер Парчевский. С особой почтительностью поцеловал хозяйке руку, сел.

— А я одна, скучаю... Очень рада вас видеть, — ласково сказала Нина, придвигая гостю чай и варенье. — Почему вы так редко бываете у нас?

Чтоб не выдать волнения, инженер Парчевский весь вспружинился, как бы взял себя в корсет.

— Нина Яковлевна, — задушевно начал он. — Как я смел помыслить вторгаться в вашу жизнь, нарушая ваш покой, который я так... А между тем я бесконечно люблю семейный уют. О, если б мне судьба вручила...

— Что, — хорошую жену? — кокетливо склонив голову, улыбнулась ему хозяйка. — Женитесь на Кэтти. Чем не девушка?..

Парчевский опустил красивую свою голову, мигал, безмолвствовал.

— Что? Любите другую?

Парчевский поднял голову, с тоскующим укором взглянул на Нину полными слез глазами.

— Да... Люблю другую, — глухо, трагическим шепотом выдохнул он, и снова голова его склонилась.

Чувствительная Нина, видя его печаль, и сама готова была прослезиться. Ей в мысль не могло прийти, что причина крайнего смятения Парчевского — ее же собственные миллионы. Не изощренная в тонких разговорах, касающихся щекотливых тем, она не знала, что сказать ему. Она сказала:

— Раз любите другую, то я не вижу причин, заставляющих вас жить порознь. Надеюсь, она свободна?

— Нет! — быстро подняв голову, ответил Парчевский, и горящие щеки его задергались.

Нине инженер Парчевский не был безразличен. Когда ему случалось бывать в обществе Нины, он всякий раз проявлял к ней необычайную любезность. Нина — женщина, ей это льстило. Но она объясняла такое более чем деликатное отношение к ней Парчевского хорошим воспитанием его. «Сразу видно, что человек из общества», — думала она. Однако Нина — все-таки женщина. И тайком от всех, а может быть и от самой себя, она вглядываясь в приятные черты лица Парчевского, иногда мысленно взвешивала его, как интересного мужчину. Но в таких случаях мерилом ее грешных дум всегда вставал облик Андрея Андреевича Протасова, и мысль о Парчевском сразу же смывалась.

Впрочем, во всем и всюду — тормозящие моменты. При иных условиях, может быть, все было бы по-другому. За последнее время тормоз, удерживающий Нину в душевном равновесии, мало-помалу стал сам собой ослабевать. Истинная любовь к мужу заколебалась, в сущности — ее уж нет. Нина держит Прохора в своем сердце лишь как неуживчивого квартиранта, как отца ее Верочки, не больше. И если непрочное звено брачной цепи лопнет, тормоз сдаст, — Нина-женщина может покатиться под гору.

Такой момент помаленьку приближался. Он слегка сквозил теперь в прекрасных опечаленных глазах Нины, в томных складках грусти, лежащих возле губ. Это заметил и талантливый актер Парчевский.

— Нина Яковлевна! Я всегда... совершенно искренне вам говорю, всегда, всегда был очарован вами.

— Спасибо, — потупившись, ответила Нина, и кончикам ушей ее стало жарко. Нина с интересом выжидала.

— Нина Яковлевна! Я всегда изумлялся вашему

уму, вашему доброму, истинно христианскому сердцу. Я католик, но я христианин... И стоит вам сказать слово, — я буду православным.

— Спасибо, — вновь протянула Нина, и печаль в ее взоре явно полиняла. Она теперь прислушивалась к вкрадчивому голосу Парчевского и сердцем и умом. — Вы, кажется, очень религиозны?

— О, без сомнения! — с пафосом воскликнул атеист Парчевский и с великим ликованием сразу ощутил под ногами твердь для дальнейшей атаки Нининого сердца. — Я весь в матушку. Она была русская, — соврал он, — и фанатически религиозна. Я и теперь часто молюсь по ночам, вспоминаю свою святую мать и плачу...

— Какой вы милый! — в христианском сочувствии к нему сказала Нина, и сразу ей стало тепло возле него. — Как жаль, что... — и она не докончила, она хотела пожалеть, что ее близкий друг Протасов не такой. Она мечтательно откинулась в кресле, и горящие глаза ее устремились чрез потухший самовар, чрез вазы с фруктами куда-то вдаль.

Инженера Парчевского забила лихорадка. Он мельком взглянул на стенные английские часы, — они приготовились бить десять, — и решил, что время наступило. Наденька, наверное, уже успела закончить поручение, и Протасов вот-вот может появиться здесь. Итак, смелей! Минута промедления может все сгубить.

— Нина Яковлевна! — Парчевский поднялся во весь рост и сцепил ладони рук своих в замок.

Нина дрогнула духом и быстро повернулась в его сторону.

— Я должен, я должен открыть вам имя той, которая для меня дороже жизни.

Тонкие брови Нины взлетели вверх, рот полуоткрылся. Парчевский отступил полшага назад и безоглядно бросился, как в омут, к ногам Нины.

— Нина! Это — вы!

Нина вскочила и, сверкая испуганным взглядом, с мольбой всплеснула руками в сторону серебряной иконы богоматери.

— Презирайте меня, плюйте на меня! Я тут же покончу с собой у ваших ног. Но я люблю вас!

— Безумец! — вскричала Нина, собираясь бежать из комнаты. — Как вы осмелились мне, замужней женщине...

— Простите великодушно, простите! — заламывая, как провинциальный трагик, руки, полз за нею на коленях Парчевский и рыдающим голосом воскликнул: — Но вы — вдова!..

— Вдова?! — Нервы Нины на мгновенье сомлели, но она тут же рассмеялась каким-то особым злорадно-тихим смехом. — Да-да... В некотором роде — да, вдова. Но это все-таки еще не дает вам права...

Она оборвала и вздрогнула: под самым ухом ее задребезжал телефон (в их доме почти в каждой комнате по аппарату).

Парчевский быстро поднялся, отряхнул платком колени, расправил складки брюк и — замер.

Разговор по телефону:

— Нина Яковлевна? Добрый вечер.

— Добрый вечер. Протасов, вы?

— Я. Скажите, вы ничего не получали из Петербурга?

— Нет.

— Хм... Странно, очень странно...

— А именно?..

— Я имею известие, которое мне кажется совершенно невероятным...

— Приятное, нет?

— Н-н-н... не совсем... Разрешите мне пригласить в ваш дом Парчевского и самому явиться к вам...

— Владислав Викентьич у меня...

— Ах, так вы знаете? Ну, как?

— Ничего не знаю...

— Странно, странно...

— Андрей Андреич, голубчик? Вы меня пугаете, — с надрывом задышала в трубку Нина. — Что-нибудь с мужем?

— Да.

Протасов немедленно приказал заложить лошадь. Меж тем только Нина оторвалась от телефона, ин-

женер Парчевский почтительно подал ей газету, сказав:

— Вы, как христианка, обязаны принять это известие мужественно. Судьбы всевышнего бога над нами. Езус Христус да поможет вам! — И он ткнул перстом в заметку.

Похолодевшая Нина, все забыв, села и скользнула взором по прыгающим строчкам:

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА
П. П. ГРОМОВА

«Вчера, в начале одиннадцатого вечера, на легковом извозчике № 27800 был доставлен в Мариинскую гостиницу со слабыми признаками жизни временно проживающий в гостинице сибирский богач П. П. Громов. Пока переносили его в номер, пострадавший умер. С ним в лучшем номере гостиницы проживали: его родственник, сибирский купец Я. Н. Куприянов и служащий Громова Иннокентий Филатыч, старик, привезший Громова на извозчике. Этот старик, забывший от сильного душевного потрясения свою фамилию, рассказал нам следующее... и т. д.

Заметка заканчивалась так:

Тут, несомненно, налицо уголовное преступление. Вся столичная полиция поставлена на ноги. К открытию гнезда бандитов приняты энергичнейшие меры».

Газета была залита слезами Нины. Без истерики, без воплей, с чувством величайшего самообладания, однако забыв, что в комнате Парчевский, она подошла к переднему углу и стала пред иконой на колени. Инженеру Парчевскому пришлось проделать то же самое. Нина стукалась лбом в землю, Парчевский — тоже, стараясь удариться погромче. Нина вздыхала, вздыхал и Парчевский. Нина шептала молитвы, шептал молитвы и Парчевский.

— Добрый вечер, — сказал Протасов, и пенсне упало с его носа. — Что это?..

Инженер Парчевский вскочил, отпрянул в темноту, где стал тотчас же обмахивать платком брюки и править на них складку, ругаясь в душе: «Черт, лезет без доклада!»

Протасов тоже мысленно выругал его: «Подлец, пресмыкающееся!» — и вслух сказал:

— Простите, Нина Яковлевна. Я с черного хода.

— Я сию минуту, присядьте, Андрей Андреич, — проговорила Нина и вышла освежить лицо.

Протасов сел к столу, Парчевский — на диван. Оба чувствовали себя скверно: один, как вор, другой, как нечаянный, непрошеный свидетель-очевидец. Во всех углах столовой притаилось тревожное молчание. Лишь мерно отбивали такт часы да встряхивалась сонная канарейка. Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив. Парчевский внимательно точил ногти металлической пилочкой в костяной оправе.

— А я, простите, и не знал, что вы такой набожный.

Парчевский, не торопясь, вынул из сердца шпильку недруга и заострил свою:

— Как вам известно, я католик... Бывают обстоятельства, когда, когда... Ну просто, я растерялся, не знал, что делать, когда пани опустилась на колени... Но я никак не ожидал ни подобного вопроса с вашей стороны, ни того, что вы на цыпочках подкрадываетесь, как кошка... И то и другое — моветонно.

Парчевский закинул ногу на ногу и круто отвернулся от Протасова.

— Знаете, — проговорил Протасов, крутя в воздухе пенсне, — задав такой вопрос, я просто интересовался вами, как типом... Вот и все...

— Мерси...

— Да, да. А вы свой менторский тон приберегите для кого-либо другого. Например, для Наденьки.

— Пардон... Для Надежды Васильевны, хотите вы сказать?

— Для той роли, которую вы ей навязали, она слишком примитивна, чтоб не сказать — глупа.

— При чем тут я и при чем тут Наденька? — поднял брови и плечи инженер Парчевский.

— Да, подобный симбиоз дьявольски интересен... Ха-ха-ха!..

Во всем черном вошла Нина.

8

Весть о смерти хозяина разнеслась по всему поселку. Слухи плодились, как крысы: быстро и в геометрической прогрессии.

Отец Александр, хотя с большим сомнением в смерти Громова, все-таки на литургии помянул у божьего престола новопреставленную душу Прохора. «Лучше пересолить, чем недосолить», — по-бурсацки, попросту подумал он. А как служба кончилась, горничная Настя передала ему приглашение барыни «пожаловать на чай».

Домашнее совещание — Нина, отец Александр, Протасов — происходило в кабинете Прохора. На нем присутствовал в качестве немого свидетеля и волк.

У Нины глаза заплаканы, естественный румянец закрыт густым слоем пудры. Отец Александр впервые прочитал заметку и трижды перекрестился.

— По-моему, еще бабушка надвое сказала, — проговорил Протасов, закуривая сигару Прохора. — Я полагаю, что «Петербургский листок» самая желтая, самая скандальезная газета в мире. Бульварщина! На эту тему я уже говорил вчера с Ниной Яковлевной. И думаю, что я прав, утверждая, что тут просто какой-нибудь фортель... Хотя...

— Помилуйте, — крестообразно сложил священник руки на груди. — А имена? Иннокентий Филатыч, папаша Нины Яковлевны... Боюсь быть пророком, но логика заставляет думать, что...

— Вчера мы послали в Петербург экстренные телеграммы в несколько мест, — сказала Нина.

— В редакцию, в градоначальство, в столичную полицию и в адрес Прохора Петровича — в Мариинскую гостиницу, в Чернышевом переулке, — подтвердил Протасов.

При словах «Прохор Петрович» лежавший на кушетке волк навострил уши, позевнул и завилял хвостом. Священник, заметив поведение животного, спросил хозяйку:

— А вы не наблюдали, многочтимая Нина Яковлевна, некоторого душевного, нет, не душевного, конечно, а... как бы это сказать? Ну, вот этот самый зверь, — как он себя вел в то черное число? Может быть, выл, может быть, лаял, сугубо тосковал...

— Не припомню, — сказала Нина. — Голубчик Андрей Андреич, подайте мне шаль, замерзла я... — Она передернула плечами.

— Так, так... А то с сими бессловесными тварями бывает. Чуют, чуют... Ну, что ж. Ежели ничего не произошло такого, это зело утешительно. Во всяком случае, дочь моя, надо уповать на милость божью и духа своего не угашать.

Читая назидания и понюхивая из серебряной табакерки душистый табачок, отец Александр привел несколько известных ему примеров, когда людей живых почитали игрою случая за мертвых.

— Так было, например, с моим наставником преосвященнейшим новгородским и старорусским владыкой Феогностом...

— Или с владыкой американским Марком Твеном, — вставил Протасов, принеся шаль.

— Да-да! Да-да! — с какой-то детской радостью воскликнул священник.

— Я ко всему готова, — кутаясь в шаль, сказала Нина.

— Зело похвально!

Было выяснено, что ни телеграмм, ни писем от хозяина не поступало вот уже десять дней. Это обстоятельство признавалось самым тревожным. В сущности, для всех трагедия была почти достаточно очевидна. Лишь легкие тени надежды мелькали в душе Нины. Они только мучили ее, сбивали, не принося успокоения.

— Во всяком случае, — сказал священник, — я полагал бы целесообразным торжественную панихиду отложить до тех пор, пока факт абстрактный, не дай бог, станет фактом конкретным. — Он почувствовал, что допустил некоторую неловкость, и, чтоб сгладить впечатление, добавил: — Впрочем, я интуитивно чувствую, что Прохор Петрович жив.

Волк опять быстро замолол хвостом и соскочил с кушетки.

— А ежели — да, что мне делать? — Опущенные глаза Нины опять заволоклись слезой. — Ехать в Питер или...

— Или предоставить доставку останков усопшего Иннокентию Филатычу и вашему папаше? — перебил священник. — Я полагал бы, вам бросать дела и хрупкую Верочку не следует.

— Что касается ведения дел, — сказал Протасов, выпустив густые клубы дыма, — то я ручаюсь головой, что дела ни в малой степени не пострадают.

— Я в этом уверена, — попробовала робко, сквозь слезы, улыбнуться ему Нина.

Протасов перехватил улыбку, как луч солнца, по-своему оценил ее и спрятал в сердце. Сердцу стало жутко, страшно и приятно.

Удрученней всех, пожалуй, чувствовала себя Анна Иннокентьевна. Лавку сегодня она не отпирала, а сидела в спальне полураздетая, окруженная кумушками, старушками, шептуньями, и, плача, неистово кричала:

— Папашеньку моего засудят!.. Папашеньку моего засудят!..

В своей искренней печали не отставал от нее и дьякон Ферапонт. Прохор выписал его с Урала как искуснейшего кузнеца. Он всей душой был привязан к Прохору. Сколько раз ходили они вместе с ним на опасную охоту. Однажды медведь смял Прохора, — кузнец взмахом тяжелого топора сразу почти отсек зверю мохнатую башку. Прохор в долгу не остался, — он вдвое увеличил кузнецу жалованье и подарил ему хорошее ружье. Прохор, как и прочие, всегда поражался громоносным его голосом. Однажды стадо коров, напуганное заполошным зыком Ферапонта, примчалось с выгона в поселок, а бык ринулся в болото, завяз там по уши и сдох.

Когда Нина Яковлевна уезжала в гости или на богомолье, Прохор ударялся в гульбу. Он брал

с собой кузнеца в лодку и заставлял петь разбойничьи песни.

Эх, долго ль мне плакать,
Судей умолять, —
Что ж медлят кнутами
Меня на-а-казать...

Песня гудела, ударялась в скалы, неслась во все концы густо и сильно. Рабочие, копошась на работах, на минуту бросали дело, прислушивались, говорили:

— «Сам» с Ферапонтом гуляет.

Чтоб угодить Нине и возвысить кузнеца, Прохор однажды сказал ему:

— Слушай, Ферапонт... А хочешь в дьяконы?

— Мы темные, — с великой надеждой в сердце осклабился кузнец. — Ну, правда, читать-писать умеем хорошо.

Не бросая кузнецкого цеха, он на полгода поступил в обработку к отцу Александру, по настоянию Прохора женился на дочке отца Ипата из Медведева, несколько времени прожил в уездном городе, где и был недавно посвящен в дьяконы. Пред женитьбой кузнец имел такой разговор с Прохором:

— Прохор Петрович, а ведь у меня баба на Урале имеется... жена, Лукерья.

— Дети есть? Любишь ее?

— Никак нет.

— Документы при тебе? Паспорт, метрика...

Кузнец подал. Прохор бросил их в печку, сказал:

— Вот, теперь холостой.

А приставу велел послать Лукерье сто рублей и официальное уведомление, что ее муж «волею божьей помер». Так, по капризу Прохора, Лукерья овдовела, кузнец стал дьяконом, вековуха Манечка, дочь отца Ипата, вышла замуж.

Великие дела может делать Прохор. Так как же темную смерть такого человека не оплакивать?! Дьякон Ферапонт в кузницу не пошел, с утра стал пить, сидел на полу, выпивал по маленькой, закусывал нечищеной картошкой и сквозь слезы заунывно выводил вполголоса:

Вечная па-а-мять...

Курносенькая толстушка Манечка — на аршин меньше его ростом — совсем карманная, имела над великаном-мужем неограниченную власть.

— Садись на пол. Вот тебе бутылка. И больше — не смей. Ори не громко, — народ ходит по улице.

И дьякон, утирая слезы, тихонечко тянул:

Со святыми упо-ко-ой...

А Манечка, засучив рукава, месила тесто.

Илья Петрович Сохатых ночь провел на рыбной ловле; он узнал печальную весть лишь сегодня утром. Ошеломленный, расстроенный бессонной ночью (поймал двух щук и двух язей), он сразу не мог сообразить: грустить ему иль нет? Однако, отложив детальные размышленья на этот счет до послеобеда, он из приличия тоже решил грустить и немедленно же впал в печаль. Но вот беда! Книга «Хороший тон, или как держать себя молодому человеку в обществе» не давала ему должных наставлений. Свадьбы, крестины, именины — этого добра хоть отбавляй, а похорон нету. Тоже, книжица! Хе-хе!.. Он решил действовать по усмотрению, согласуя свои поступки со здравым смыслом. Надел черную пару, приколол к рукаву траурный креп, пред зеркалом напрактиковался, опуская концы губ, делать лицо постным и пошел выразить Нине Яковлевне соболезнование.

С отвислыми губами он влез в кухню, поздоровался за руку с Настей и просил доложить барыне. Тем временем у Нины Яковлевны происходило совещание, — она сказалась больной, не вышла. Илья Петрович помрачнел, вздохнул, вынул свою визитную карточку с золотым обрезом, приписал на ней «убитый горем», попросил вручить вдове, съел предложенный Настей пирожок, сказал «адью» и, посвистывая, удалился.

Рабочие на всех предприятиях, несмотря на окрики десятников и мастеров, на угрозы штрафом, работали сегодня через пень-колоду.

Частые и долгие закурки, разговоры, разговорчики. В глазах, в речах, в движенье мускулов — прущее наружу злорадство.

— Подох — туда ему и дорога. Праздновать надо сегодня, а не спину гнуть. Хуже не будет. В сто разов лучше будет. С того человека, что пристукнул его, все грехи долой. Мы и сами собирались...

— Что? Что, что?!

— Так, ничего. Проехало.

Десятники, приказчики ради своего общественного положения стыдили рабочих, останавливали их, но сами по горло плавали в соблазне радости. «Хозяйка возьмется за дело, лафа будет. При ней — Протасов управитель. А тот — изничтожился и — само хорошо».

С обеда многие не вышли на работу. Приказанием пристава две казенки и пять пивных были закрыты. У шинкарок скуплено рабочими и выпито все вино. Каталага набита битком гуляками: пьяных таскали в бани и в склад чугунных отливок. Урядник и стражники расправлялись с пьяными по-своему. Те отбивались ногами, плевали в ненавистные морды утеснителей, грозились:

— Погоди, сволочи! Теперь все перевернется носом книзу.

Общая масса рабочих, окончив трудовой день, была трезва, буйства не позволяла, но все-таки рабочие пели песни, кричали «ура», даже додумались выбрать депутацию, чтоб идти к хозяйке и Протасову «с поздравкой», — их благоразумно отговорили. На некоторых избах и почти во всех бараках вывешены праздничные флаги. Стражники сбрасывали их, а мальчишки вывешивали вновь.

Альберт Генрихович Кук, будучи в полном здоровье, тоже сегодня забастовал, остался дома. С мистером Куком это небывалый случай. С утра приказал Ивану подать бутылку коньяку и никого не пускать. Иван был крайне удивлен. Не менее Ивана удивлен самим собой и мистер Кук. Такого малодушия, такой дряблости духа с ним никогда не приключалось.

Надо бы немедленно пойти, упасть к ногам ее,

молить, просить. Но воля, мысль — в параличе. «Ну, одну, для храбрости. Ну, другую... Ну, третью. Теперь или никогда, теперь или никогда».

— Иван, новый бутилка! Больван! Вчера ослеп, завтра не видишь?!

«Да, надо идти, надо идти. Во всяком случае — шансы есть. Протасов — социалист, материалист, — долой, не в счет; Парчевский — щенок, дурак, картежник, — долой! Еще кто, еще кто, черт побери?! Итак — шансов на восемьдесят пять процентов».

— Иван! Штиблеты... Очень лючшие.

Он сбрасывает войлочные туфли, но душевный паралич вновь поражает его волю. Звонит телефон, мистер Кук с лихорадочным взором сумасшедшего снимает трубку:

— Кто? Протасов, вы? К черту! Меня нет дома...

«Да-да, надо идти, надо идти... Но я как будто... вы... вы... выпивши».

— Иван! Я пьян?

— Никак нет, васкородие.

Он припоминает ту, давнишнюю встречу с Ниной. О, как он ее любил тогда и как любит по сей день! О, как любит! Так не может любить ни один русский, ни один немец, ни один француз. Даже шекспировский мавр не любил так свою Дездемону, как он любит мадам Громофф... несчастный, как это, ну как это?.. несчастный вдофф... Ради нее, может быть, он и прозябает в этой дикой стране, с этим диким человеком Прохор Громофф...

— Барин, ужинать прикажете?

— Как-как-как? Я еще не очшень позавтракал. Пей!

Иван пьет.

— Иди!

Иван уходит.

Да, да. Он помнит очень хорошо. Роща. Серп месяца справа и — она. Он бросился перед нею на колени, он приник лбом к ее запыленным туфлям. Она подняла его, что-то сказала ему, но он тогда был глух на оба уха, был безумен, он крикнул: «О да, о да», — и выстрелил из револьвера. Он хотел тогда

убить себя. Но — пуля улетела вверх. Несчастный случай. О да! О да! И лишь спустя неделю каким-то чудом он ясно вспомнил все ее слова. Она сказала: «Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить как славного человека». И добавила: «не больше»... Эту ее фразу он навеки выгравировал в своем сердце. Резец был — страсть, смертельная жажда достижения. А последние слова «не больше» (он смысл их понял) спустились из сердца в печень. Они терзают его, они мешают ему спокойно жить, они горьки, как желчь...

Все на свете можно превозмочь. Можно взорвать скалу, можно пустить реку по другому руслу, можно победить самого себя. Но женщина? Как ее возьмешь, каким волшебным ядом приворожишь к себе?.. Кто, кто? Кто ответит?!

— Чего-с?

Пред ним Иван. Он качается вправо-влево, приседает, подпрыгивает к потолку. И все качается, все приседает, все подпрыгивает. Мистер Кук прочно уперся ногами в пол, а руками вцепился в верхнюю доску стола. Но пол колыхался, как качель, а заваленный чертежами письменный стол старался вырваться из хозяйских рук и лететь в пространство. Мистер Кук икнул и уставился Ивану в переносицу.

— Садись, Иван... — сказал он слабым голосом.

Иван повиновался.

— Иван! — Мистер Кук оторвал руки от стола и чуть не упал на пол. — Иван! А вдруг ты и я будем... ну завтра... ну через недель-другой очшень, очшень богаты. О, я сумею поставить дело, поверь, Иван... — Он чуть приоткрыл глаза — Ивана не было, сидел Протасов. Приоткрыл глаза пошире — вместо Протасова — Парчевский, он вытаращил и протер глаза — Парчевский исчез и вместо него он, он, сам мистер Кук, двойник.

— С кем имею честь?

И мистер Кук запустил в самого себя грузным пресс-папье. Зеркало, пред которым он брился утром, — вдребезги и кувырнулось со стола.

— Ха-ха!.. Фено-о-ме-нально!..

Да, да... Все-таки надо идти как можно скорей. Настал последний час, и мистер Кук должен предстать пред своей дамой. Мистер Кук прекрасно воспитан. Мистер Кук вполне уверен, что дама предпочтет именно его. О, мистер Кук скоро, очень, очень скоро будет миллионером. Да-да-да...

— Иван!.. Давай! Очень лючший...

— Чего-с?!

— Брука, брука, брука!

— Помилуйте, господин барин! Какие брюки?! Ночь. Вы две бутылки коньяку изволили вылакать.

— Очшень ты дурак... Рюська хорош пословиц говорит: кто обжегся на молоке, дует водку... Ну, живо, живо, живо!.. Бутилка водки!..

— Не дам, вашскородие... Ей-богу, не дам. Извольте ложиться дрыхнуть.

Мистер Кук с добродушной улыбкой посмотрел на него, прищелкнул пальцами и прилег ухом на стол. Стол гудел, качался. Подошла к мистеру Куку Нина, погладила его волосы и бережно повела его на холостяцкую кушетку.

— О богиня!.. Это вы?..

— Так точно, барин, я...— сказал Иван, поддерживая его под мышки.

Часы пробили двенадцать. А около часу ночи дежуривший в почтовой конторе стражник привез Нине сразу четыре ответные телеграммы.

9

Инженер Парчевский вернулся после вечернего свидания с очаровательной хозяйкой в полном восторге от самого себя. Его небольшая — две комнаты и кухня — квартира была обставлена по-барски: Прохор Петрович из практических целей на это денег не жалел. Пан Парчевский подошел по мягкому ковру к большому зеркалу. На него глянуло счастливое лицо, подбородок и губы улыбались, глаза же, как ни старался он смягчить их выражение, оставались жестки и надменны.

— Вид гордый, самостоятельный и... милый, — сказал он. Зеркало повторило за ним точь-в-точь, как попугай.

Ну конечно. Не седеющей же голове Протасова тягаться с молодым ясновельможным паном, в жилах которого течет кровь, может быть, самого круля Яна Собесского. Он же великолепно подметил отношение хозяйки к этому русскому пентюху Протасову. Простая дружба, выгодная для сторон, все же остальное — глупые бредни полоумной Наденьки. Да иначе и не может быть: в пани Нине слишком сильна вера в бога, Протасов же... Ха-ха!.. Пусть, пусть, тем лучше.

Провожая его до передней, даже дальше, до самой выходной двери, пани Нина благодарным голосом сказала ему:

— Милый, милый Владислав Викентьич. Я очень ценю вашу преданность мне... Только ваше молодое сердце могло понять весь тот ужас, который меня охватил теперь. Так неужели вы любите меня? Спасибо вам. Прощайте, милый.

Положим, пани говорила не те слова, даже совсем другими были ее речи, но она именно сказала бы так, если б этот проклятый смерд Протасов не высунул в дверь свою бульдожью башку, чтоб все подглядеть, все подслушать своими ослиными ушами. О, пся крев!..

— Цо то бендзе, цо то бендзе?..

Хватаясь за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по ковру к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу в Питер.

Эту ночь многие, кто успел узнать траурную новость, не спали вовсе.

Не ложилась спать и Кэтти. Она не могла отважиться одна пойти к Нине. Кэтти жила в просторной комнате у женатого механика. Чистейшая кровать, книги, портреты, всюду цветы — комната благоухает. На подушке, засунув мордочку в пушистый хвост, спит ручная белка Леди.

Девушке нет покоя. Институтка по воспитанию, младшая подруга Нины, она обожает ее. И вся ее внутренняя жизнь в заоблачных мечтах. Она также обожает и Протасова, пожалуй, маленько обожает и Парчевского. Но она много слышала про него дурного, и ее сердце всегда отодвигало его на запасные пути.

Интересно заглянуть в ее дневник. Она отражена в нем — вся.

«*17 июля.* Вчера, завиваясь, обожгла лоб. Ангел Нина подарила мне флакон парижских духов. Я без ума от них. Тонкий, но очень прочный запах.

21 июля. Сегодня мылась вместе с Ниной у них в бане. Я очень похудела, но похорошела. Ноги длинные. Очень жаль, что я не балерина. Хотя поздно. Мне 25 лет. Так полагаю, что похудела от этого несносного А. А. Пр. Мне показалось, что он мне строит глазки. Но, я знаю, он любит Нину, а на такую фифку, как я, — плюет. Он думает, что я — девчоныш.

30 июля. Папочка пишет, что их полк переводят в Рязань. Он назначен командиром полка. Парчевский жал мне руку двусмысленно. Он душка. Он нехорошо снится мне. Нескромно.

1 августа. Протасов никогда не возьмет меня замуж. Хотя Нина уверяет меня в обратном, я вижу по всему, что она неравнодушна к нему, она хитрит со мной. Леди обмочила мне подушку очень желтым, как гуммигут. Как жаль, что здесь нет лимонов. Я очень скучаю по лимонам и апельсинам. Еще скучаю о маме. Зачем она так рано умерла?

23 августа. Очень давно не писала. Протасов в моем присутствии сказал Нине, что он если женится, то на очень молоденькой девушке, наивной, как цветок, и постарается воспитать ее, возвысить до человека. Я заметила, как губы Нины задергались. Протасов сказал: «Но этого никогда не будет». Он какой-то загадочный. Все уверены, что он заодно с рабочими. Какая низость!»

Все в том же роде. И вот сейчас, в эту глухую ночь, она вписала:

«Догорели огни, облетели цветы». Бедное мое сердце чует, что Нина выйдет за Протасова. Она умная. И, кроме того, у меня есть на этот счет данные. А мне, бедненькой, кто ж? Парчевский? Эх, фифка, фифка! Уксусу не хватает в моей жизни. Уксусу!!»

Она разделась, не молившись богу, бросилась в кровать и стала не совсем скромно думать о Парчевском.

А Парчевский меж тем уже два часа сидит у пристава.

Пили поздний чай. Пристав пыхтел. Разговор сразу перешел на событие. Пристав был в шелковой, вышитой Наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабатчика. Поставив на ладонь блюдце, он подул на горячий чай.

— Я вам, Владислав Викентьич, доверяю,— сказал он.— Вы — наш. А этот прохиндей Протасов, ого-го! Это штучка, я вам доложу.

— Вполне согласен...

— И ежели, боже упаси, он вскружит голову хозяйке,— а это вполне возможно,— ну, тогда... сами понимаете... Ни мне, ни вам... Да он меня со свету сживет.

— Не бойтесь,— сказал Парчевский.— Моему дяде кой-что известно про Протасова. Он же якобинец, социалист чистейшей марки.

— Правда, правда,— подхватила Наденька.— Я ж сама видела, как он ночью со сборища выходил...

— Да он ли?

— Он, он, он!.. Что? Меня провести? Фига!

Пан Парчевский чуть поморщился от грубой фразы Наденьки.

— Этот самый Протасов давно мною пойман...— И пристав утер мокрое лицо полотенцем с петухами.— Но... он был под защитой покойного Прохора Петровича.

— Ах, вот как? Странно. Я не знал.

И Парчевский записал в памяти эту фразу пристава.

— И знаете что, милейший Владислав Викентьевич...— Пристав прошелся по комнате, сшиб щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистым усам концами пальцев. Он сел на диванчик, в темноту, и уставился бычьими глазами в упор на Парчевского. — Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викентьич, посоветоваться.

— К вашим услугам, — ответил Парчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке приставу.

— Наденька, сходи в погреб за рыжичками... И... наливочка там... понимаешь, в бочоночке... Нацеди в графинчик. — Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за нею дверь, снова сел в потемки. — Дело вот в чем. Как вам известно, а может быть, неизвестно, покойный Прохор Петрович должен мне сорок пять тысяч рублей. В сущности, пятьдесят, но он пять тысяч оспаривал, ну, да и бог с ними. Тысяч двадцать он взял у меня еще в селе Медведеве, там одно неприятное дельце было, по которому он, после суда, оказался прав. И вот... — У пристава сильно забурлило в животе; он переждал момент. — И вот, представьте, я не имею от него документа. Опростоволосился. Теперь буду говорить прямо. Я должен состряпать фиктивный документишко задним числом с моей подписью и подписью какого-нибудь благородного свидетеля, при котором я вручал Громову деньги. Так как этот документ я представлю в контору для оплаты, а может быть и в суд, то благородный свидетель должен быть человек известный и стоящий вне подозрений. За услуги я уплачиваю свидетелю, невзирая на свою бедность, — пристав икнул, — пять тысяч рублей. Из них тысячу рублей я могу вручить в виде задатка сейчас же, вот сию минуту. — Пристав опять икнул. — Не можете ли порекомендовать мне такого человека?

Теперь забурлило в животе у Парчевского.

— Н-н-н-е знаю, — протянул он и заскрипел стулом. — Надо подумать.

Ему не видно было лица пристава, но пристав-то отлично видел его заюлившие глаза и сразу сообразил, что пан Парчевский думать будет недолго.

Однако он ошибся. В изобретательной, но не быстрой голове Парчевского закружились доводы за и против. Пять тысяч, конечно, деньги, но... Вдруг действительно пани Нина будет его женой. Тогда пришлось бы Парчевскому доплачивать приставу сорок тысяч из своего кармана.

— Разрешите дать вам ответ через некоторое время.

— Сейчас...

— Не могу, увольте.

— Сейчас или никогда. Найду другого...

Парчевского била дрожь. Пристав подошел к нему, достал из кармана широких цыганских штанов бумажник и бросил на стол пачку новых кредитных билетов:

— Сейчас... Ну?

У пана Парчевского румянец со щек быстро переполз на шею. Синица, улетая, чирикнула в небе, и журавль сладко клюнул в сердце. Пять тысяч рублей, поездка в уездный город, клуб, картишки, стотысячный выигрыш.

— Ну-с?

— Давайте!

Наденька постучала в дверь.

— Успеешь, — сказал пристав и подал Парчевскому для подписи бумажку. Тот, как под гипнозом, прочел и подписал.

— Спасибо, — сказал пристав. — Спасибо. Тут ровно тысяча. Извольте убрать. Моей бабе ни гугу. У бабы язык — что ветер. Бойтесь баб... Фу-у! Одышка, понимаете. Ну вот-с, дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор жулик, я жулик, Наденька тоже вроде Соньки «Золотой ручки». Вы, простите за откровенность, тоже жулик...

— Геть! Цыц!! — вскочил пан Парчевский.

— Остыньте, стоп! — И пристав посадил его на место. — Вы ж картежник... Вы ж судились. Вы же переписываетесь с известным в Питере шулером. Ха-ха-ха!.. Думаете, я адресованных к вам писем не читаю! Ого!.. Итак, руку, коллега!

Парчевский, как лунатик, ничего не соображал, потряс протянутую руку, вынул платок и, едва передохнув, отер мокрый лоб и шею. Пристав отпер дверь. Вошла Наденька.

— Ого! Наливочка! Ну, за упокой души новопреставленного. Надюша, наливай!

— Окрópне, окрópне!.. — шепотом ужасался по-польски Парчевский.

10

Так текла Угрюм-река в глухой тайге. Совершенно по-иному шумели невские волны в Петербурге.

Впрочем, прошло уже несколько дней, как Иннокентий Филатыч покинул столицу. Он успел перевалить Урал, проехать пол-Сибири. Вот он в большом городе, вот он идет в окружную психиатрическую лечебницу навестить, по просьбе Нины, Петра Данилыча Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочке:

«Еду домой. Жив-здоров. Отечески целую. Иннокентий Груздев».

Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия Филатыча ввели в зал свиданий. Ясеневая мягкая мебель, в кадках цветы, много света. Чрез широкий коридор видны стеклянные двери; за ними мелькали фигуры группами, парами и в одиночку. Вошел молодой, с быстрым взглядом, доктор в белом халате.

— Вы имеете письменное поручение навестить больного Громова?

— Никак нет. Мне устно велела это сделать его невестка, госпожа Громова.

— А не сын?

— Никак нет.

— Странно. Присядьте.

Доктор приказал сестре принести из шкафа № 10 папку № 35.

— Больной наш странный. Он — больной и не больной. В сущности, его можно бы держать, при

хорошем уходе, и дома. Это передайте там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную околесицу, считая своего сына разбойником и убийцей.

— Ах, какой невежа! — хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатыч и состроил возмущенное лицо. — Нет, уж вы держите его ради бога здесь. Он сумасшедший, обязательно сумасшедший. Вы не верьте ему, господин доктор. Он только прикидывается здоровым. Я его знаю. И болтовне его не верьте. Я по себе понимаю. Я ведь тоже ненадолго сходил с ума.

— Ах, так?

— Да как же! — радостно, во все бородатое лицо заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. — До того наглотался как-то водки да коньяков, что живому человеку едва нос не откусил. Поверьте совести! Людей перестал узнавать в натуре, вот дожрался до чего.

— А кто же вас вылечил? Какими средствами? Нуте, нуте, — заулыбался и доктор. Ему было приятно поболтать со здоровым, веселым стариком.

— А средствия, изволите ли видеть, самые простые. Конечно, пьянством вылечился я.

— Пьянством?!

— Так точно, пьянством...

— Ха-ха-ха! — покатился доктор. — Наперекор стихиям?

— Эта самая стехия,васкородие, так уцапала меня, что...

Сестра принесла портфель.

— Вот, глядите, — сказал доктор и вынул из портфеля полстопы исписанной бумаги. — Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной думы и какому-то Ибрагиму-Оглы.

— Так-так. Черкесец. Я знаю.

— Ах, знаете? А вот еще письмо на тот свет, Анфисе. Тоже знаете?

— Эту не знаю. Эта убита до меня.

— Кем?

— Ибрагимом-Оглы.

Иннокентий Филатыч резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова.

«Ваше императорское величество, царь государь, вникните в это самое положение, разберитесь, пожалуста, во своем великом дворце со всем царствующим домом, как сын-злодей запекарчил меня в сумасшедший дом. А как он есть злодей, то я никому об этом не скажу, никому не скажу, никому не скажу, окромя Анфисы на том свете».

И снова: «Ваше императорское величество» и т. д. слово в слово кругом целый лист. В конце листа сургучная печать с копейкой вверх орлом и подпись.

Прошения министрам начинались так:

«Вельможный сиятельнейший министр господин, вникни в это самое положение» и т. д.

— А вот письмо черкесу, — подсунул доктор другую бумагу.

«Душа моя Ибрагим-Оглы, верный страж мой, а пишет тебе твой благодетель Петр Данилыч Громов понапрасну сумасшедший, через сына Прошку, чрез змееныша. Ведь ты тоже, Ибрагим-Оглы, сидишь в нашем желтом доме, ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркал, а ты кричал на меня: «Цх! Отрезано». Дурак ты, сукин ты сын после всего этого и боле ничего. А ты пиши ответ, седлай коня своего белого, пожалуста, который есть подарок мой. И скачи, пожалуста, к окну. Я выпрыгну, тогда мы ускачем к наиглавнейшему министру. Пиши, дурак, дьявол лысый, црулна окаянная».

Письмо Анфисе:

«Анфиса, ангел самый лучший!
Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не клони главы
Ко земле сырой.

Не верь, матушка моя, не верь, доченька моя холодная, быдто тебя убили. Никому не верь, никому не говори, кто дал тебе конец; одному богу скажи да мне. Здравствуй, Анфиса; прощай, Анфиса? Жди,

жди, жди, жди, жди, жди... Ура! Боже царя храни. А Прошка, змееныш, жив. Мы его должны убить. Огнем убить. Сумасшедшие все умные. И я умный. А ты другой раз не умирай, колпак. Пишет Илья Сохатых за неграмотство. Аминь».

— Надевайте халат. Пойдемте к нему.

И вот Иннокентий Филатыч идет чрез большой зал за доктором. В зале народ.

— Профессор, профессор! Новый профессор!

— К нам, к нам, к нам!.. Я своим рассудком недоволен. Посоветоваться...

— Я не профессор, — говорил на ходу Иннокентий Филатыч. — Меня самого в камеру ведут.

— Ах, спятил, спятил? Ха-ха! Небо и земля, гляди! И этот спятил.

Иннокентий Филатыч и доктор приостановились. По паркетному полу танцевали пары. Бренчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, посматривая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный дьякон в рясе шагает с весьма серьезным видом. Руки воздеты вверх и в стороны, вытаращенные глаза неподвижны. Размеренно возглашает, как по священной книге:

— Твоя правда, моя правда! Твоя правда, моя правда! Правда от Мельхиседека, первая и вторая правда!

Красивая девушка, изогнувшись на бархатной софе, мягко жестикулирует, ведет любовный разговор с воображаемым соседом; в милых, ласковых глазах туман недуга.

— Нет, нет, Дима, вы ошибаетесь. Здесь нет никого, здесь мы одни... Так целуйте же скорее!.. — Она вся подалась вправо, в пустоту, но вдруг схватилась за голову и с ужасом отпрянула: — Мертвый, мертвый, мертвый!..

К ней подбежала сестра.

Иннокентий Филатыч вопросительно уставился на доктора и с робостью подметил в глазах врача неладное: будто он глядит и ничего не видит, будто прислушивается к чему-то далекому, за тысячу верст: «Эге, и он с максимцем!»

— Не троньте меня, не прикасайтесь! — кричал безумный с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, плешивый. Он шел, вдвое перегнувшись и раскорячив ноги. — Осторожно! Сейчас отвалится... — Со смертельным страхом на лице и в голосе он оберегал настороженными руками какую-то висевшую пред ним воображаемую драгоценность. — Осторожней! Мой нос на ниточке. Сейчас отвалится... В нем восемьдесят пудов весу... Смерть тогда, смерть, смерть, смерть! Дорогу!!

Кто-то дико хохотал. Кто-то с великим рыданием пел псалмы. Кто-то выл, как зяблый волк.

Иннокентию Филатычу сначала было любопытно, потом он испугался; вытянулось лицо, задрыгали поджилки.

— Пойдемте, — сказал он доктору. — Мне худо.

Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, два стула, окно очень высоко приподнято над полом. Возле стола в согбенной позе — руки в рукава — совсем не страшный, тихий человек.

— Они?

— Да, он.

Иннокентий Филатыч знавал его лохматым широкоплечим мужиком с густой седеющей гривой, с большой темной бородой, с зычным устрашающим голосом. Теперь пред ним безбородый, безусый, с бритым черепом, узкогрудый человек. Лишь хохлатые седые брови козырьками придавали глазам прежний строптивый вид. Иннокентию Филатычу стало очень жаль его. Иннокентий Филатыч с горечью каялся в душе, что в разговоре с доктором бухнул сдуру такие необдуманные речи про несчастного безумца.

— Здравствуйте, Петр Данилыч батюшка!

— Кто таков? Систент? — мельком взглянул больной на старика.

— Я — Груздев, Иннокентий Филатыч Груздев... Может, помните?

— Как же, как же... Помню. Грузди с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Я буйный.

Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал:

— Совсем вы не буйный. Вы тихий, прекрасный человек.

— Врешь! — выдернул больной свою руку из руки доктора. — А врешь оттого, что тебе Прошка платит большие деньги. Ну, и не ври. Я не люблю, когда врут. Коли был бы я человек прекрасный, не сидел бы в желтом доме у тебя. — Он повернулся к Груздеву и строго спросил: — Кто подослал тебя! Рцы!

— Нина Яковлевна меня просила, супруга Прохора Петровича, — с душевной робостью сказал старик.

— Не поминай Прошку! Не поминай! Убью! Я — буйный.

Вдруг брови Петра Данилыча задвигались, как у филина на огонь, сморщенные щеки одрябли, он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим, лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась. Иннокентий Филатыч расслабленно кашлянул, выхватил красный платок и засморкался. Какой-то удушливый мрак плыл пред его глазами, сердцу становилось невтерпеж. «Эх, Прохор, Прохор, посмотрел бы на своего батьку!» — горестно подумал он.

Петр Данилыч не спеша поднял голову, поморгал глазами, шумно передохнул:

— Уйди, уважь меня, Сергей Митрич, друг... Выйди на минутку.

Доктор вышел, шепнув Груздеву:

— Не бойтесь.

Петр Данилыч подъехал со стулом к гостю, взял за руку, погладил ее:

— А увидишь Прошку, скажи ему: батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит. Нет, нет, нет, не говори! — закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну.

— Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе.

— Был разговор?

— Был, — соврал гость.

Петр Данилыч вскочил, запахнулся в короткий, не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате.

— Сам, сам, сам приеду, — бормотал он. — Я велю приклеить себе усы, бороду, лохмы. А то опять выгонит, а то опять засадит. Сам, сам приеду грозным судией. Дай покурить!..

— Нету-с.

— Дай понюхать!

— Нету-с. Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек. — И старик положил на стол кулек.

— Уважаю. Здесь не дают. Да я и вкус потерял к ним. А съем. — Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол.

— Позвольте, я очищу.

— Очисти, брат Кеша, очисти... — Он подсел к Груздеву и скороговоркой загудел, как шмель. — Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтоб не выгнали, да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать, да боюсь — и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? В петлю? Али к Прошке? Он не примет, опять куда-нито засадит, а нет — убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, укланяй Нину; она добрая. Пусть возьмет. А то спячу и впрямь. Пусть возьмет. В каморке буду жить, внуков пестовать. Ведь у меня деньги, много денег. Где они? У Прошки, у грабителя. А что ж, а что ж?.. Мне еще шестьдесят два года, мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка! За то бог тебя пожалеет. Слезно прошу, слезно прошу. Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас!.. Я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси... Всех попроси... Слушай, слушай! Поезжай в Медведево, по Анфисе панихиду. По жене моей панихиду. А когда вернусь, всех ублаготворю. И слушай — тебе, как другу, — приеду, притаюсь, ласковым прикинусь. А потом, когда час придет, выпущу когти и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу. Без этого не умру. Без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-нощно. Вишь —

какой я? Чем был — чем стал! Злодей он, злодей, как не стыдно его харе! Отца родного... О-т-ца-а-а!..

Тут у него полились слезы, он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать, лицом в подушку.

Вошел доктор с часами в руках и склянкой.

— Должен просить вас удалиться. Больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстурки?

Тот отлягнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филатыча обливалось кровью. Впору самому бы брякнуться на пол и рыдать.

— Прощай, Петр Данилыч, батюшка! Оздоравливайте.

— Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй! Твердо помни все. Не сделаешь — сдохну, а и мертвый ходить к тебе буду, замучаю. Я — буйный.

Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей.

Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы: «Папенька жив-здоров, папеньку не засудили». Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью, еще раз погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален: вчерашние четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места.

Нина Яковлевна внешне выражала большую радость. Но что у нее в душе — никто, никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии «в путь шествующего» раба божия Прохора.

И всякий отнесся к странной игре судьбы посвоему.

Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку.

Вместе с солнцем в лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой! Сейчас же пойдет к своей мадонне и... «Либо буду паном, либо очень пропаду», — попробовал думать он по-русски.

Иван, усерднейше подавая барину халат, сказал:

— Прохор Петрович живы-здоровы. Скоро изволят прибыть.

Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое.

Пятилетняя Верочка втолковывала волку:

— Волченька, серенький... Папочка скоро приедет. Ей-богу! Вот увидишь. Тилиграм пришел.

Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался общим приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник и подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверьтройки.

Да! Всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся Филька Шкворень дал крепкий зарок не пьянствовать, ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда... Влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапонт с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню, на работу. Весь день в радости пил и, чтоб не услыхала Манечка, в четверть голоса славословил бога, спасшего Прохора Петровича от смерти.

Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови.

Рабочие стали молчаливы. Нагоняя пропущенное, работали с усердием. Вздыхали.

Угрюм-река по-прежнему катила свои воды. С виду равнодушная ко всему на свете, широко и плавно стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, где назначена могила каждому.

Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака, пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройства желудка, Иннокентий Филатыч едет, Угрюм-река течет.

Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филатыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору заметку о его смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко, во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился.

Тем же утром автор этой заметки, хроникер желтой газетки Какин, в люстриновом разлетайчике, в длинном, цвета маринованной куропатки галстуке, написал за десятку опровержение, смысл которого был подсказан пострадавшим.

СИБИРСКИЙ КОММЕРСАНТ П. П. ГРОМОВ НЕВРЕДИМ

Во вчерашней заметке о смерти г. Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего И. Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П. П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом Ф. в одном из столичных ресторанов, и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть, и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает г. Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева.

Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение:

Редакция, с своей стороны, считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему отечеству, — здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать.

— Отлично, — сказал Прохор. — Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще двадцать

пять рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной.

Счастливый репортер, елико возможно изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и, в знак высокого почтения к хозяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиною в дверь.

Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх сего ста рублей за беспокойство. Прохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех — невыгодно и глупо. Ну, что ж... всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев, — вперед наука. Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, но ни слова ни тестю, ни Иннокентию Филатычу. Все шито-крыто.

А меж тем впоследствии, и очень скоро, вся подноготная докатилась до Парчевского и, чрез Наденьку, была доведена до всеобщего сведения.

Прохора пользовал первоклассный доктор. Побои сильные, втерпеж разве коню, — но богатырская натура Прохора все превозмогла: чрез неделю он был таким же бодрым, энергичным.

У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах. Заседания, совещания, хлопоты — то в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам. У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того — исполнение взятого подряда: прокладка двух шоссейных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Эта последняя миллионная работа — пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Чрез месяц они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы, завод Сан-Галли — чугунные отливки.

Прохор приказал Иннокентию Филатычу собираться в путь-дорогу.

— А ты?

— Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу.

— Зачем?

— Не знаешь? А еще коммерсантом себя мнишь... Балда!

Все втроем они два дня ходили по магазинам, выбирали подарки домашним. Прохор заказал у фабриканта Мельцера на десять комнат дорогую обстановку ампир, рококо, жакоб — карельской березы, птичьего глаза и красного дерева с бронзой. Иннокентий же Филатыч приобрел в дар Анне Иннокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца — оригинальную никчемушку: на каменном пьедестале бронзовая собачонка; в ее бок вделаны часы, вместо маятника — виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок. Старик мог бы накупить себе всякого добра, но он не при деньгах, а Прохор наотрез отказал ему выдать даже сотню, справедливо опасаясь, что Иннокентий Филатыч может на прощанье закрутить. Поэтому старик — большой любитель зрелищ — последний раз пошел в Александринский театр не в партер, а на балкон. Здесь с ним едва не приключилась большая неприятность. В антракте, перегнувшись чрез барьер, он наблюдал публику внизу. Вдруг:

— Миша! — закричал он. — Миша! Слышь, Миша... Вот глушня...

Миша в сером клетчатом пиджаке — сидел с краешку, в местах за креслами, и читал газету. Иннокентий Филатыч попросил у соседа бинокль, и когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался и тихо поприветствовал:

— Здравствуй, Миша! А я наверху.

Но тот — как истукан. Тогда Иннокентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Мише в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамы. Старик быстро наставил бинокль, и его улыбчивое лицо вдруг вытянулось: вскочившие дама и Миша с негодованием глядели вверх. Отцы родные! Да ведь

это совсем не Миша, не друг-приятель из Апраксина, у которого старик был вчера в гостях; ведь это какой-то бритый дед в очках.

— Ваша фамилия! Пойдемте.

И на плечо Иннокентия Филатыча легла рука квартального.

И там, на лестнице, после строгого замечания, старик за трешку был с честью отпущен на свободу.

— Вот история! Кого же это я огрел? — бранил себя огорченный Иннокентий Филатыч, не успевший досмотреть двух актов «Не в свои сани не садись».

11

Встреча была торжественная, неожиданная даже для самого Прохора. Встречали с колокольным трезвоном, как архиерея, с пушечной пальбой, как царя. День был праздничный. Несколько сот рабочих спозаранок стояли на площади, возле дома Громовых: пригнали их сюда окрики стражников, поощрительное уверенье пристава, что будет выкачена бочка водки, а главное — укрепившаяся в народе басня, что у Прохора выбит правый глаз и по самое плечо вырвана левая рука.

С башни «Гляди в оба» видны все концы. И лишь одноногий бомбардир ахнул в пушку, из церкви, с толпой старух и баб, повалил к месту встречи крестный ход. Отец Александр придумал этот ловкий номер для укрепления в рабочих религиозно-нравственных чувств к своему хозяину.

После первого выстрела и колокольного трезвона сбежался почти весь народ. К общему разочарованию рабочих, Прохор вылез из кибитки цел и невредим. Приложился наскоро к иконе, ко кресту, поздоровался с женой, встретившей мужа по-холодному, поздоровался с дочуркой, со служащими.

— Папочка, а что мне привез? Папочка, волченька запертый сидит...

Ахнула вторая, за нею третья пушка, начался краткий молебен, тут же, на лугу. Меж тем волк,

поняв, в чем дело, с налету вышиб раму, выскочил на улицу и — прямо в толпу. Внезапным прыжком на грудь он сразу опрокинул молящегося Прохора и с радостным визгом, взлаиваньем, ревом бросился дружески лизать своему любимому владыке лицо, руки, волосы. Он мгновенно обсосал его всего, как пьяный плачущий мужик обсасывает своего друга. Минута замешательства прервала молебен. Толпа смешливо фыркала; многие, приседая, хватались за живот. Дьякон Ферапонт, бросив на полуслове ектенью, тихонько хохотал в рукав.

Волк пойман, уведен. Прохор отряхнулся, встал на свое место, на ковер, рядом с пасмурной своей женой, и укорчиво, углами глаз, взглянул в ее лицо. Нина покраснела. Проклятый этот волк!..

Потом пошло все своим чередом: дела, дела, дела. По Угрюм-реке зашумела шуга, и вскоре запорхали по всему простору белые снежинки.

Прохор и слушать не хотел Иннокентия Филатыча и Нину насчет возвращения Петра Данилыча на свободу. Настанет время, он сам поедет в психиатрическую лечебницу и посмотрит, чем дышит батька. А там видно будет.

Но вот до Прохора докатились слухи, что Парчевский многим лицам, даже десятникам и мастерам, показывал какое-то петербургское письмо, где описывалось, как Прохор попал в ловушку и был бит. Он понимал, что теперь по всем предприятиям идет тысячеустная молва о скандальном позорище его. Молчат пред ним как мертвые, а знают, мерзавцы, знают все, даже больше, наверное, чем было.

Будь проклят Питер, этот анафема Парчевский, будь проклята вся жизнь!

Такая уйма дела — голова идет кругом, в волосах Прохора стали появляться ранние сединки. Нина заявляет какие-то там свои права, тихомолком фордыбачат рабочие, а тут еще эта дьявольская неприятность.

Что ж делать? Мигнуть Фильке Шкворню, чтоб раздробил в тайге Парчевскому череп? Рискованно, и значит — глупо. Пережитые Прохором позор, по-

бои клещами ущемили душу, принизили его в своих собственных глазах. Но там, в Петербурге, выше головы заваленный делами, с нервами, взвинченными до предела, он так устал и замотался, что бессильно махнул на все рукой. Неотвязные вопросы: кто был генерал, кто жандармы? — день и ночь мучили его. Дуньку, тварь, Авдотью Фоминишну, ударившую Прохора в лицо, он будет помнить век. А вот кто те? Кто самый главный прощелыга — поджигатель?

Как-то пригласил Наденьку на башню «Гляди в оба». Лицемерные ласки, перстенек, туманные обещанья вновь приблизить ее к себе, — и через три дня нужное петербургское письмо в руках Прохора Петровича. Со смертельной злобой, кусая губы, несколько раз прочел, сказал: «Эге, молодчики!.. Так, так...» — и спрятал в несгораемый шкаф, в тайный ящик.

На званом обеде были все. Был пристав, Парчевский, Наденька и Груздев.

Прохор, как всегда, гостеприимен, старался казаться беспечным, даже веселым. Но это ему плохо удавалось: какие-то тени скользили по лицу. Наконец из неустойчивого равновесия вывел его Протасов, заявивший, что здесь глушь, здесь царство медведей и духовной тьмы.

— Я завидую вам, Прохор Петрович, что вы окунулись, хоть ненадолго, в культуру, побывали в таком блестящем городе, как Петербург.

— Я ненавижу город вообще, а Питер в особенности, — нахмурился Прохор.

— Почему?

— Нахальства в нем много, хамства, какой-то паршивой самоуверенности. Город всю жизнь оседлать хочет. Я про столицу говорю. Город, по-вашему, это все: разум, культура, закон?

— Ну да, культура, цивилизация...

— А остальная земля — болото! Да?

— Ну, не совсем так. — Протасов сбросил пенсне и вытер губы салфеткой, готовясь к спору.

— А я вот нарочно! — запальчиво крикнул Прохор. — На тебе, на тебе, сукин ты сын! Не ты — главное на земле, а сила, воля, природный крепкий ум...

На вспышку хозяина Протасов подчеркнуто тихо ответил:

— Все, что вы создали здесь, дал город.

— Плюю я на город! — еще запальчивей возразил Прохор; кожа на его висках пожелтела. — Я не хочу быть его рабом. В городе что осталось? Песок и камень. Мысли его — песок, жизнь его — песок. Город — это каменный нужник, от которого...

Нина постучала в тарелку вилкой.

— Виноват, — принудил себя извиниться Прохор, провел по лохматым волосам рукой и — к Протасову: — А где там, в вашем городе, спрошу вас, натуральная поэзия? — как бы стараясь угодить нахмурившейся Нине, воскликнул он. — Где религия, воздух, горы, леса, искренние люди? Да ведь они, черти, изолгались там все. Взятка, мошенничество, подвох, обжорство! Сплошной вертеп... Зависть, драка, состязание в подлости, кто кого скорей обманет... Да они готовы друг другу в морды плевать!

Глаза Прохора стали красны. Он залпом выпил стакан холодного вина и как-то растерянно осмотрелся.

— О да, о да! — воскликнул мистер Кук. — Я вполне разделяю ваши мысли. Даже более того... Я...

— Нет, вы не спорьте, Прохор Петрович, — перебил его Протасов. — Вы знаете, что такое большой европейский город?

— Город — это я. Где хочу, там и построю город.

Протасов опустил взор в тарелку и надел пенсне.

— Выпьем за город! — перебила неловкое молчание Нина. — Прохор, налей всем. За город, за Пушкина и... за тайгу!

Все улыбнулись, улыбнулся и Прохор.

— Люблю женскую логику, — сказал он. — Ну что ж, я готов и за город и за Пушкина. Ваше здоровье, господа!

Он вновь повеселел, или, вернее, заставил себя сделать это, желтизна на висках стала сдавать, складка меж бровями распрямилась. Подали глинтвейн. Нина разлила по бокалам. Пристав нетерпеливо

отхлебнул, ожегся и с обидой посмотрел на всех. Парчевский подчеркнуто кашлянул и подмигнул приставу: мол, так тебе, пся крев, и надо.

Прохор шуточным тоном стал рассказывать коечто из своей жизни в Питере; в самых невинных, конечно, красках, рассказал и о том, как с ним однажды случился обморок и что из этого вышло впоследствии, какой неприятный для него казус. Иннокентий Филатыч, ведя тонкую политику, во всем ему поддакивал. Прохор принес из кабинета пачку газет.

— Вот, видите: здесь о моей смерти. А здесь — о воскресении. Ха-ха!.. Вот вам город...

Гости, краснея, смущенно засмеялись.

— Я думаю, что вся эта история в самом искаженном виде докатилась и до наших мест. Есть коекакие слушки, есть... Вот. Поэтому... Я просил бы вас всех взять эти газеты и раздать их по баракам. Пусть рабочие похохочут, как ловко газеты врут. Берите, берите... У меня газет много: Иннокентий Филатыч, спасибо, постарался, пуда два купил.

Прохор со всеми очень любезно попрощался. Но наутро пан Парчевский получил расчет. Огорошенный, однако догадываясь, за что уволен, он не пожелал объясниться с Громовым, а в тот же день, захватив свою полученную от пристава тысячу, поехал в уездный город, за триста верст.

Там живут-поживают толстосумы, есть золотопромышленник. Да и картежная азартная игра теперь проникла и в эту глушь. Значит, все в порядке. Парчевский отведет душу и, чего доброго, станет богачом. Он поместился в тех же самых «Сибирских номерах», где когда-то жил Петр Данилыч Громов, купил двадцать колод карт и восстановил в ловких пальцах утраченную память игрока. Однако прежде всего Парчевский покорился сердцу.

Сердце дано человеку, чтоб всю жизнь, от начала дней до смерти, в непрерывном спасающем себя труде, день и ночь и каждую секунду точными сильными ударами проталкивать живую кровь по всему беспредельному государству-телу. В сердце трепет жизни.

В нем, как в неусыпном центре бытия, — все добродетели и все пороки. В нем мрак и свет. Оно все во взлетах и падениях. Но над всем в порочном сердце человека главенствует месть.

Парчевский всю дорогу обдумывал план мести Прохору. То же самое распаляющее настроение гнездилось и в подсознании Прохора Петровича: бодрствующий разум весь в неотложной суете, а черный паучок непрестанно точит сердце, вьет черную паутину, — вьет, вьет, вьет, но сети рвутся: столичный враг далек, неуязвим.

«...И вот тебе расшифровка этого спектакля с переодеванием: генерал — это управляющий богача Алтынова, П. С. Усачев, хват, каких мало. Жандармы — два приказчика. А дама в черном — любовница Алтынова, известная тебе Дуся Прахова. Главный режиссер и автор пьесы — сам Лукьян Миронович Алтынов».

Прохор весь трясется и горит. Волк поблескивает зелено-желтыми огнями глаз. За окнами башни крутит снег. Холодно.

И, с жадностью напившись горячего чаю, Парчевский раскрывает свой кованый сундук. Вот оно, письмо, в тайном, скрытом на дне, ящичке. А где же копия, которую он хотел отправить дяде-губернатору? Она, кажется, в портфеле. Перетряс портфель, перетряс все вещи — нет. «О, матка бозка... Кто-нибудь украл...» Обескураженный Парчевский перечел петербургское письмо, с минуту подумал и решил послать Нине Яковлевне засвидетельствованную у нотариуса копию.

«Глубокочтимая Нина Яковлевна.

Обращаюсь к вашему ласковому, обильному правдой и милостию, сердцу. Я совершенно отказываюсь нащупать причины, вызвавшие несправедливый гнев ко мне вашего супруга. Я никогда не осмелился бы вторгаться в вашу личную жизнь, глубокочтимая Нина Яковлевна, но та симпатия, даже скажу больше, та неистребимая в моей одинокой душе родственная привязанность к вам заставила меня приподнять тай-

ную завесу над кусочком нечистоплотной жизни того, кого вы, может быть, считаете гениальным человеком и, по незнанию штрихов его характера, любите. Совершенно доверительно и тайно посылаю вам копию письма столичного друга моего, поручика Припереньтева. Прочтите, перестрадайте молча, и пусть господь бог поможет вам выйти из тяжелого, ниспосланного вам, испытания, выйти тропою, может быть и тернистою, но на широкую дорогу свободной жизни. Если б вам потребовалась дружеская крепкая рука помощи, то я, клянусь девой Марией, готов сложить голову у ваших прекрасных ног. Вечно, глубоко и безраздельно преданный вам, несправедливо поруганный и горестно одинокий инженер

В. Парчевский».

Тучи надвигаются над башней. Тучи понадвинулись на Прохора — скоро-скоро он перекочует в свой теплый кабинет, в остывший дом, ближе к ледяному сердцу Нины.

Угрюм-реку по всему ее пространству в минувшую ночь сковало прочным льдом. Холодно кругом. Сердцу Прохора тоже неимоверно зябко: какое-то странное предчувствие гнетет его.

12

Прошли недолгие сроки, а тайга на аршин покрылась снегом.

За это время Парчевский вдребезги проигрался, дважды слегка был бит и с посыпанной пеплом головой явился к Прохору Петровичу. Чуть ли не на коленях, унижая сам себя, втоптав в грязь былое чванство, он, наконец, вымолил у Прохора прощение. Разумеется, Прохор вновь выгнал бы его, но тут в судьбу Парчевского, тайно от него, вмешалась Нина.

— Ежели не примешь Владислава Викентьича, наживешь в губернаторе большого врага.

Призвав Парчевского, Прохор с глазу на глаз сказал ему:

— Хотите, я вас командирую в Петербург?

На этот раз у Парчевского заулыбалось все лицо и жесткие глаза обмякли. Над переносицей Прохора врезалась глубокая складка, а правая бровь приподнялась.

— Мне письмо Приперентьева известно. Что, что? Пожалуйста, без возражений. Да. Итак, вы получите от инженера Протасова инструкцию по командировке, — он схватил телефон. — Алло! Протасов? Будьте добры, ко мне! — и вновь к Парчевскому: — Вместо полутораста, вам назначается жалованье в двести рублей. (Парчевский изогнулся в нижайшем поклоне.) Ну, вот. Теперь ваш друг поручик Приперентьев, купец Алтынов и управитель его Усачев... Еще Дунька, любовница Алтынова. — Прохор пожевал кривившиеся губы, и голос его стал криклив. — Ежели вы представите неопровержимые доказательства, что все они как-нибудь опозорены: тюрьма, битье по зубам в публичном месте, — вы получите от меня... Ну... ну, сколько? Десять тысяч. А ежели Алтынов и Усачев — в особенности Усачев — будут спущены в Неву под лед, получите вдвое больше. Не стройте изумленных глаз и не тряситесь. Вы не девушка. Надо делать свою жизнь. Ну-с, дальше. В письме все наврано. Ни о каких жандармах не может быть и речи. Будьте уверены, что я поднял бы тогда на ноги весь Петербург. Мне министры знакомы. И вся эта сволочь торчала бы теперь на каторге. А просто заманили меня в свой притон, обыграли на большую сумму, а Дунька действительно дала мне, пьяному, невменяемому, по физиономии. Ну-с, жду ответа. Мне нужны преданные люди. Я вас оценю. Будьте смелы!..

Прохор почувствовал, как прокатился по его спине мгновенный озноб и черный опаляющий огонь охватил всю грудь. Кровь ударила в голову, глаза вспыхнули, как угли. Парчевский попятился от этих глаз.

— Согласны?

— Не имею возможности отказаться, — продрожал голосом побелевший инженер.

— Итак, до свиданья, Владислав Викентьевич.

Парчевский вышел.

Руки Прохора тряслись. Скрученная в его душе пружина — после разговора с Парчевским — вдруг стала выпрямляться. Неутолимая жажда мести жгла его. Он уже видел, как «генерал» ныряет вслед за своим хозяином в черный омут, как крутится Дунька, вся ошпаренная серной кислотой. Взгляд его стал жесток и холоден, все сознание переместилось в Питер.

У Прохора стучали зубы. Сжал кулаки и несколько раз выбросил руки вверх и в стороны. Но лихорадка не унималась. Пропала отчетливость соображения, и одна мысль: «лечь, лечь в кровать, укрыться» — владела им.

...Пан Парчевский сразу же от Прохора отправился к Нине. Шел, как автомат, весь в кошмаре. Старался очнуться от ошеломивших его слов хозяина и не мог этого сделать. Огненные глаза Прохора все еще преследовали его, стояли в сердце; черт его сунул так легкомысленно разболтать содержание письма! Но что же ему делать и зачем он, в сущности, хотел видеть Нину? Нет, он должен ее видеть. Командировка в Питер, повышение жалованья и это безумное поручение. Кому? Ему, инженеру Парчевскому... Черт знает что!

Нина просматривала письменные работы школьников. Она одна. Парчевский, припав на колено, поцеловал ей руку. От его подобострастного поцелуя пошел какой-то неприятный ток к сердцу Нины. Она смутилась. Она не знала, как вести себя с этим до крайности взволнованным человеком.

— Сядьте.

Он, запинаясь и потупляя глаза в пол, рассказал ей, что между ним и Прохором Петровичем восстановился «статус-кво», что он командирован хозяином в Петербург. Он говорил ей, что письмо Приперентьева — наполовину ложное письмо, Прохор Петрович его опровергает. Приперентьев же человек ненормальный, пьяница.

— Тогда как же вы...

— Но мое личное письмо к вам есть крик моего сердца! В Петербурге я выясню истину всю и напишу вам.

— Ради бога не пишите, нет, нет... Достаточно того, что мне известно. Я очень страдаю, очень страдаю...

— Я глубоко сочувствую вам... Но, дорогая Нина Яковлевна! Надо делать свою жизнь... Ведь вы не девушка...

Приоткрылась дверь, просунулась голова Прохора и снова спряталась.

— Прохор, ты?

— Нет, не я, — послышалось сквозь крепко захлопнутую дверь.

Вечером помчались за доктором. Прохор слег.

Но время ли Прохору Петровичу хворать? Дела не ждут, надо кипеть в котле беспрерывного труда, надо огребать лопатой барыши. Прохор через полторы недели был уже в седле, в санях, на лыжах. Он звякает золотом, спешит во все места; он здесь, он там, он не спит ночи, вновь надрывает силы, всех тиранит, всех терзает — и сам не существует полюдски и не дает вздохнуть другим. Ему от жизни взять нужно все. И, заглушая в себе совесть, он все берет.

Больших трудов стоило уговорить доктора перейти на службу в резиденцию Громова. Он все-таки сдался на приветливые убеждения Нины, ну, само собой, и на кругленький окладец.

Вот, может быть, теперь рабочим будет легче умирать и выздоравливать. А смерть действительно валила рабочих без всякого стыда, без сожаления; смерть любит помахать косой, побренчать костями, где холод, мрак и нищета. Люди мрут, как на войне, кладбище в лесу растет.

Но смерть иногда и ошибается: нет-нет да и заглянет в палаты богача. Помер на своей родине Яков Назарыч Куприянов: внезапно — трах! — и нету. Хоронить отца Нине ехать не с руки: две тысячи верст на лошадях, — отложила поездку до весны, до первых пароходов. Смерть отца довела Нину до великого отчаянья. Единая наследница большого старинного дела — она не знала, кого туда вместо себя послать.

У Прохора на капиталы Нины разъярились глаза

и сердце: он все бы съел один. Но Нина твердо сказала ему:

— Нет, дружок, что мое, то мое.

К окончательному разговору с женой Прохор подошел не сразу: он знал, что дело пахнет длительной борьбой: Нина упорна и упряма.

Еще не высохли слезы на глазах осиротевшей Нины, как Прохор стал ей делать первые намеки. Нина отмахивалась:

— Ради бога!.. Только не теперь.

Миновало несколько дней. Для Прохора не прошли они даром; он прикидывал «на глазок» наследство Нины, мысленно вводил его в оборот; ему грезились золотые горы барыша.

Пили вечерний чай вдвоем. Прохор — к делу.

— Ты знаешь, — начал он, — наш механический завод я заложил за два миллиона. И уж больше половины денег ухлопано на заказы всяких машин, пароходов, драги. Триста тысяч внесено в залог под обеспечение железнодорожного подряда. Понимаешь, Нина?.. И я теперь в большой нужде.

Губы Нины покривились. Прохор стал доказывать ей свое право на наследство. Нина это право с жесткой логичностью оспаривала. Она, может быть, откроет свое собственное предприятие. Она не особенно-то уверена, что, живя с Прохором, исполняет закон правды.

— Какой еще закон правды?! Бабьи глупости, — было вспылил он, но тотчас же сдержался. — Нет, ты всерьез подумай, родная Нина... Какое бы ты дело ни начала, тебя всяк обманет.

— Я торговлю сдам на откуп, оба парохода сдам в аренду, ежели на то пошло, — стояла на своем Нина. — И свои собственные деньги употреблю, куда хочу...

— Да, да... Церковь новую построишь, колокол в тысячу пудов отольешь.

— Хотя бы.

— А ты мне дай власть, я тебе чрез три года золотой колокол отолью. Нам хватит, детям нашим останется. А мне деньги, повторяю, сейчас нужны.

Нина заговорила быстро, то и дело оправляя сползавшую с плеч шаль.

— Прохор, я тебе писала... Ты мне не дал ответа. Так жить нельзя. Ты ослеплен наживой, ты не видишь, куда идешь. Так оставь же меня в покое! Пока ты не будешь человеком, пока ты не станешь для рабочих добросовестным хозяином, а не разбойником, — прости за резкость, — я не с тобой, а против тебя.

— Дальше...

Нина передернула плечами, отхлебнула остывший чай.

— Запомни, пожалуйста, эти мои слова. И если любишь меня, веди себя так, чтоб мне не пришлось повторять их.

— Дальше! — И Прохор злобно усмехнулся.

У Нины сжалось сердце. Она не знала, что делать с руками. Она скомкала носовой платок и откинулась на кресле. Не в силах удержать себя, она крикнула:

— Я свои деньги все целиком употреблю на облегчение жизни твоих рабочих! Знай!

Правое веко Прохора задергалось, кожа на висках пожелтела. Он вытаращил глаза и, оттопырив губы, нагнулся к Нине:

— Ду-ра-а...

Нина вся взвинтилась и, сверкнув глазами, грохнула чайной чашкой об пол. Прохор легким взмахом руки смахнул на пол стакан. Нина швырнула молочник. Прохор сшиб с самовара чайник. Нина, вся задрожав, сбросила вазу с вареньем, Прохор хватил об пол сахарницу.

Все было перебито. Осколки — словно окаменелый, опавший цвет яблонь. На столе остался лишь тяжелый самовар. Прохор поволок Нину за руку к буфету, раскрыл дверцы:

— Бей! Твоя очередь.

Нина, всхлипнув, швырнула два блюдца. Прохор схватил и грохнул об пол саксонский судок с горчицей и перцем.

Нина истерически взвизгнула:

— Мужик! Нахал! Он всю посуду перебьет...

У нее вырвался долго сдерживаемый стон отчаяния. Закрыв лицо руками, она быстро, быстро — в свою комнату.

Прохор, тяжело отдуваясь, пошел в кабинет, схватил пудовое кресло и с такой силой ударил им в печь, что кресло — в щепы, из печи вылетели два изразца, а волк, вскочив, залаял на хозяина. Прохор три раза огрел его плетью, волк распахнул все двери, опрометью вылетел чрез кухню на улицу и там страшно завыл от боли.

Прохор пил всю ночь один.

Этот скандальный случай назавтра же стал известен многим. Кто разнес худую славу? Наверное, побитый волк.

Ревностный подражатель недосягаемым верхам — Илья Сохатых сделал попытку снять точную копию с печального происшествия. Однако это удалось ему только отчасти.

Пили в кухне вечерний чай вдвоем. Илья Петрович — к делу. Он всячески придирался к своей жене, стараясь, чтоб та первая грохнула об пол чашку. Но уравновешенная, здоровецкая Февронья Сидоровна шальных приемчиков мужа не понимала, а только молча удивлялась, что этакий колпак-мужнишко мог выйти из ее повиновения. Она запихала в рот кусок постного сахару и стала наливать себе седьмую чашку. Илья Петрович вдруг вскипел, как самовар, крикнул:

— Это почему такое самовар пищит, как поросенок?!

— Тебя, дурака, не спросил. О-враам паршивый...

Тогда Илья Петрович молча швырнул свой стакан на пол:

— Ну?! Я спрашиваю!..

Супруга ничего со стола не пожелала сбросить; она усердно дула на горячий чай в блюдце и черным глазом артачливо косилась на Илью.

— Вы не понимаете даже, как в благородных домах скандалят! — взревел он и швырнул на пол вазочку с медом.

Тогда Февронья Сидоровна, выплюнув сахар на ладонь, поставила блюдце, сгребла супруга за густую гриву и дала такого пинка в зад, что Илья Петрович вылетел на свежий воздух и, восскорбев душой, завыл от неприятности подобно волку.

— Чего ты? — спросил проходивший Иннокентий Филатыч.

— Самовар нечаянно опрокинул, руку ожег, снегом хочу... А вы куда?

— Нина Яковлевна требует. Послезавтра еду на ейную родину, по коммерческим делам.

13

Зима проходила в лихорадочной деятельности. Тайга валилась под топорами. Образовалось много «росчистей». Весной они будут выкорчеваны, вспаханы, засеяны пшеницей. Из глубины тайги к реке рубились для новых дорог и железнодорожной ветки просеки. День и ночь, в две смены по двенадцати часов, трудились здесь пятьсот лошадей и полторы тысячи рабочих. Надо было припасти лошадям фураж, людям — тепло и пищу. По всей округе, на сотни верст, скрипел под полозьями снег, крестьяне беспрерывно подвозили на место работ овес и сено. В горных участках приступали к добыче свинцовых и цинковых руд. Деньги из кассы Прохора уплывали как вода, а результаты еле видны. Прохор жил в каких-то душевных корчах, напрягая всю свою мощь.

Трещал мороз, стонала тайга от звяка топоров, ржанья коней, ночных костров, выстрелов и пьяных песен. Звери и зверушки бежали прочь, медведь переворачивался с боку на бок, кряхтя, выпрастывался из берлоги и, поджав уши, уходил на покой подальше.

Лес очищают от ветвей, по примитивным, в три бревна, времянкам свозят к берегам, где уже подводятся под крышу три новых завода: лесопильный, для гонки скипидара и для пропитки шпал.

В трескучий мороз люди жили в брезентовых палатках, в самодельных тунгусских чумах, в землян-

ках, вырытых в склонах падей и распадков. Люди мерзнут, болеют, мрут, люди проклинают десятников и стражников; десятники проклинают техников и инженеров; инженеры заочно проклинают Прохора. Прохор говорит:

— Раз тунгусы живут в чумах, бывают сыты и не дохнут, то почему же рабочий требует себе дворцов? Недовольных гоните в шею. Только стоит свистнуть — пять тысяч новых набежит: отец родной, прими.

Ответ хозяина инженеры передали техникам, техники разъяснили десятникам, десятники и стражники стали запугивать рабочих. Рабочие в сотый раз проклинали Прохора.

— Подстрелить бы его, дьявола! — свирепел горячий.

— Остынь! — останавливал его холодный. — Какая тебе выгода? Ну, подстрелишь. Тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кой-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все ж таки хозяин, будь он трижды через нитку проклят. Потерпи чуток...

— У-у-у! — от яри грыз рукава горячий. — Терпеть? Врешь! Терпелка спортилась! Я пуп сорвал! Мы потроха себе надорвали все... У-ух-ты!..

Однако мороз трещал, нагаечка, грозя, посвистывала в воздухе.

Работы всем и каждому по горло. Машина большого предприятия пущена в ход умелою рукою, и каждый промах, каждая заминка сразу же отражались на всем деле. Но Прохор крут, инженер Протасов опытен и энергичен, машина предприятий шла пока что без перебоя.

Протасов составлял проекты, руководил постройками. В его распоряжении пятнадцать вновь прибывших инженеров и техников. Оберегая свою репутацию делового человека, он всегда осторожен в решении экономических вопросов: прикидывал и так и сяк, теоретически высчитывал, выгодна ли та или иная отрасль дела, и нередко давал совет Прохору бросить это, начать делать то и то. Однако Прохор всегда решал с маху, всегда играл ва-банк.

— Что, убыток? Ерунда! У меня убытку не будет.

Он смело бросал десятки тысяч на заведомо, казалось бы, провальную затею. Но какой-то счастливый случай всегда выручал его, — он становился победителем.

— С конца февраля наступает полоса большого снегопада. Необходимо заготовку леса прекратить. Иначе — снег задавит вас, вы понесете убыток в несколько сот тысяч.

— Нынче снегу не будет, — наобум отвечал Прохор и вдвое увеличивал число рабочих.

И, как по волшебству, вплоть до будущей зимы снегу — ни пушинки. Прохор рад, Прохор мысленно кладет в карман миллионную добычу.

— Ну, знаете, вам везет! — со скрытым недоброжелательством говорит хозяину Протасов.

— Смелым бог владеет, — отвечает опьяненный успехом Прохор и с некоторой грустью добавляет: — А мною, наверно, владеет черт.

— Возможно, возможно. — Протасов очень обидно для Прохора вздыхает и сожалительно причмокивает: — Эхе-хе!.. Да, да...

Прохор, как чрез лупу, насквозь видит настроение Протасова, и разговор сразу обрывается.

Мистер Кук в заботах, в деле, в рвении сильно поморозил себе нос. Вот пассаж! Теперь он долго не сможет показаться Нине. Но ведь он совершенно не в силах без нее существовать.

— Ифан! Больфан! О, виллэн... Где гусиный жир? Зови очшень скорей доктора. Ну!.. Очшень глюпый рюсска поговорка: «Три носа, и все будут ходить...»

— Три к носу — и все пройдет, вашескородие...

— О, какое несчастье!..

Однако все благополучно: доктор утешительно сказал, что нос останется на прежнем месте, формы своей не утратит, хотя надо ожидать, что он будет несколько больше натурального и, к огорчению, приобретет устойчивый слабо-фиолетовый оттенок, как у пьяниц. Послав доктора в душе ко всем чертям и угостив его ямайским ромом, мистер Кук вновь за-

рылся в ворохах дел и неосуществимых своих выдумок. Например, он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтоб получить дешевый «белый уголь». Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал рекогносцировочное обследование реки, составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязная мысль о которой обратилась для него в idée fixe.

К великому сожалению, мистер Громофф был тогда в Питере, затем, к великой радости, мистер Громофф в Петербурге умер. — О! О! О! — наконец-то мистер Кук... а как знать? А как знать?! Может быть, мистер Кук удостоится внимания прекрасной мистрис Нины, может быть, она станет его женой. Недаром же старый хиромант негр Гарри, взглянув на его ладонь, воскликнул: «О, мистер Кук... Вы найдете в России славу. О, счастливейший из смертных, мистер Кук, вас ждут в России миллионы долларов...» Наконец-то его проект осуществится... Да что проект, он тогда составит и проведет в жизнь тысячу проектов. О! О! О!.. Но вот сокрушительный удар: мистер Громофф немножко жив-здоров, а счастливейший из смертных мистер Кук, миллионер, исчез с лица земли, совсем исчез. Гуд хэвенс! О, проклятый Гарри!

И вот мистер Кук с трепетом представляет свой проект всесильному Прохору. И, к своему горячему восторгу, видит, как у Прохора заблистали глаза.

— Вы говорили с Протасовым?

— Официально нет... Я списывался с американской фирмой Ньюпорт-Ньюс... Получил чрезвычайное одобрение.

— А что... Дело ладное. Дело интересное. Надо попытать.

— Мистер Громофф! Вы — гений.

Но приглашенный на совет инженер Протасов сразу же вдребезги разбил проект.

— Стоимость этой почтенной выдумки, я думаю, не менее двух-трех миллионов. Все оборудование и, в особенности турбины, пришлось бы заказывать за

границей. А главное, зачем нам ваш «белый уголь», когда мы захлебнулись океаном тайги? Жги сколько хочешь.

Убийственное уныние растеклось по лицу мистера Кука. Мистер Кук едва не упал со стула.

— Вы, мистер Протасов, гений... Ит из сплендид... — расслабленно прошептал он, потирая вспухший нос.

Прохор видел страшный сон: голое поле, черная яма, из ямы кольцами выползали змеи. «Вот он здесь», — шипели они. — «Я знаю, — отвечал офицер Приперентьев, — я его возьму».

Прохор испугался сна; он вообще стал какой-то нервный и встревоженный. На имя Парчевского тотчас полетела телеграмма:

«По окончании служебной командировки немедля возвращайтесь. Точка. Мои личные поручения отменяются. Громов».

Отчасти сон был в руку. Офицер Приперентьев, узнав от Парчевского подробные сведения о золотоносном участке, возмечтал потягаться с Прохором и возбудить встречную претензию, чтоб вновь приобрести утраченное право на владение забытым прииском. И вышло весьма удачно: колесо фортуны катилось прямо ему в руки; он выиграл большую сумму денег и задумал дать контрвзятку сребролюбивому сановнику. Все это он устроит чрез Авдотью Фоминишну. Скользким бесом она вотрется в дом баронессы Замойской и — дело в шляпе.

В теплой беседе с паном Парчевским, близким другом по зеленому столу, он наобещал ему с три короба.

— Будем работать вместе, как два компаниона. Я имею великолепные связи с золотоприисковым миром. Подберем опытных служащих и раздуем кадило так, что ваш Громов треснет от зависти.

Инженер Парчевский развесил уши, опять потонул в заманчивых мечтах и кончать командировку медлил. Он предпочитал вернуться не служилой сошкой, а полноправным хозяином выгодного дела, где все будет поставлено на гуманных началах, где рабочим предоставятся широкие права на человеческое существование. Пусть пани Нина посравнит условия труда рабочих у них и у себя, пусть сделает из этого соответственные выводы: она, может быть, найдет тогда возможным порвать жизнь с мужем и вступить с своими капиталами в незапятнанную фирму «Парчевский, Приперентьев и Компания». А в дальнейшем, надо полагать, офицеришка сопьется; тогда, пожалуй, можно будет офицеришке и «киселя под зад».

Нина получает от Парчевского четвертое письмо, но с ответом медлит, писать не хочет.

Меж тем подходила масленица. Дни стали лучезарны, кругом звенит капель. А ночами все небо в звездах, и расслабевший дед-мороз, предчувствуя скорую свою кончину, старается напоследок щипануть людишек то за уши, то за нос.

Масленица! Какое странное полуязыческое слово. И каким полнокровным бытием, какой гаммой невинных чувств и наслаждений когда-то звучало оно для Нины-девушки. Блины, смех, тройки, музыка и плясы. Но все это безвозвратно отодвинулось в далекое ничто: теперь у Нины-женщины другие пути, другие задачи и желания.

Иннокентий Филатыч писал ей, что доехал он благополучно, что маменька Нины жива-здорова, правда, печалится очень и ждет весной свою дочь к себе, что на могиле Якова Назарыча отслужил панихиду за упокой его души. Иннокентий Филатыч также сообщал, что из десяти торговых отделений по уезду он успел объехать с учетом только пять, все в полном порядке и благополучии, доверенные — народ весьма надежный. Что же касается денежных дел, то свободной наличности в банке оказалось немного — всего 275 тысяч, из коих 100 тысяч, по приказу Нины, он сегодня переводит ей. Три каменных городских дома, две лавки и три дачи по реке в бору требуют малого

ремонта. Оба парохода и пять барж стоят на зимовке; они законтрактованы на всю навигацию министерством торговли и промышленности за шестьдесят тысяч. «Всего же наследства, совместно с прииском, покойный папенька ваш, царство им небесное, Яков Назарыч, изволил оставить Вам, бесценнейшая Нина Яковлевна, по моим примерным подсчетам, так что больше двух миллиончиков».

Нина сразу почувствовала свою независимость и свой вес в жизни. Она вспомнила недавний разговор с многосемейным слесарем Провом: «Ты баба ладная, ты отколись от мужа, встань над ним, зачинай свое дело небольшое». Спасибо мудрому Прову на совете. Теперь она имеет крупные козыри в руках, чтоб бить любую карту мужа.

Муж рыл для рабочих новые землянки, Нина строила на свои средства светлые бараки. Муж, с согласия губернатора, сооружал на окраине поселка деревянную тюрьму, Нина приступила к постройке больницы на сто коек.

В постройках Нине помогали инженер Протасов и двое передовых, хорошо грамотных десятников из рабочих. Оба они взяли расчет в конторе Громова и перешли на работу к Нине. У нее двести человек собственных рабочих. Она платит им столько же, сколько и Прохор своим людям, но заботится о них, как мать.

Эти деяния Нины все более и более раздражали Прохора. Он никак не ожидал от нее такой прыти. Он удивлен, не по-хорошему взволнован.

— Слушай, мать игуменья, всечестная строительница, — как-то сказал он ей. — А ведь ты мне ножку подставляешь. Ты своих рабочих уж слишком того... Как бы это тебе сказать... пирогами кормишь... Боюсь, что мои роптать начнут.

— А ты поступай так, чтоб не роптали.

— Тебе легко, мне трудно. Ты играешь в благотворительность, а я на них наживаю капитал.

— Зачем тебе он?

— Чтоб расширить и утвердить дело. Я должен же в конце концов забраться на вершину,

— Смотри, чтоб не закружилась голова.

— Моя голова крепкая.

В общем на этот раз кончилось все благополучно. Нина продолжала свое пока небольшое дело, Прохор свое: рубил тайгу, вздымал пласты, опрокидывал скалы. И с горечью в сердце подсмеивался над затеями Нины.

14

Но вот налетела с румяной веселой харей, сдобная, разгульная, в красном сарафане масленица.

На два дня заброшены все заботы и — дым коромыслом над тайгой. Русское разливное гулеванье, как и встарь в селе Медведеве при Петре Данилыче, зачалось с обжорства: чрез всю масленичную неделю катились колесом тысячи блинов. Тайга на много верст кругом пропахла блинным духом. Белка морщилась в дупле, медведь чихал в берлоге. Бродяги, спиртоносы и всякий темный люд, принюхиваясь, раздувая ноздри, спешили из таежных трущоб поближе к веселым людям: авось блинок-другой перепадет, авось подвернется случай кому-нибудь перерезать горло и вывернуть карманы.

Званые вечера, блины, ряженые: цыгане, медведи, турки, а ночью — катанье с гор. Прохор Петрович выстроил с крутого берега реки гору на столбах, она вихрем мчала на своей спине укрытые коврами сани на целую версту. По бокам плыли костры, горели смоляные бочки, факелы и сотни разноцветных фонарей. Вверху, на горе, гремел духовой оркестр. Чтоб музыканты не застыли на морозе, им отпущен бочонок водки. Трубы, флейты под конец начали сбиваться, и два барабана гремели невпопад.

Протасов, Прохор, Нина с Верочкой, мистер Кук и волк катались с горы на одних санях. За ними, на изукрашенной кошевке — Манечка, дьякон Ферапонт и хохотушка Кэтти. В ней большая перемена: она резва, игрива, вовсю кокетничает с дьяконом, а маленькая Манечка ревнует, злится.

— А вот ужо я вас на троечке... О-го-го-го!.. —

гудит дьякон как из бочки. — Вси языцы, восплещите руками!

За дьяконом мчится на санях-самокатах одетый Осман-пашой пьяный Илья Петрович Сохатых. Покачиваясь, он стоит дубом, размахивает бутылкой и орет, как козел на заборе:

— Яман! Якши!.. Ала-ала-ала!..

Его поддерживают за красные штаны и за ворот Февронья Сидоровна с Анной Иннокентьевной, две сдобные, как масленица, бабы.

— Анюта! Анна Иннокентьевна! — взывает захмелевший Прохор. — Мармелад! Залазь к нам...

— Ала-дыра-мура! — козлом блеет Илья Сохатых. — Секим башка!.. Она мой гарем!... — и под озорные крики летит кубарем из саней.

Визг, хохот, веселая пальба из ружей. А за санями еще, еще сани, кошевки, салазки, кучи ребятишек, кучи парней и девок. Писк, шум, песня, поцелуйчики...

— О, о! До чего очшень люблю самый разудалый масленица! — восклицает мистер Кук. — Очшень лючший русский пословиц: «На свои сани не ложись!»

Он не знает, чем и как угодить Нине: и муфту поддержит, и ноги прикроет шубой, и все заглядывает, все заглядывает в ее глаза, тужится заглянуть и в сердце, но сердце богини замкнуто и холодно как лед.

— Берегите нос, — говорит она.

— О да!.. О да... Благодарю вас очшень. Мой нос — мое несчастье, — и утыкается раскрасневшимся лицом в енотовый пушистый воротник.

— Мамочка, волченька хвостик отморозил, — сюсюкает быстроглазка Верочка. — Он лижется.

Прошли два угарных дня, две ночи. С Кэтти что-то случилось; да, да, что-то такое стряслось странное, загадочное. Какие-то игривые грезы во сне и наяву будоражили ее, как хмель. Ох, уж эта масленица! Ох, уж эти двадцать пять тишайших девических годков...

Манечка на целую неделю уехала в гости к тетке в ближайшее село. Ну, что ж, это ничего, это отлично, это замечательно.

Вот и яркая звезда зажглась, вот и месяц серебрит просторные пути. Дьякон Ферапонт нанял ямскую тройку и мчит к заветному крыльцу. Дубом воздвиг себя в санях, как колокольня, шапка набекрень, шуба нараспашку, забрал в левую горсть вожжи, в правой — кнут, в зубах — большая трубка, в передке саней — четвертуха водки и пельмени. Хо-хо, то ли не дьякон Ферапонт!

Может быть, и верно, — отец дьякон, а может, — искусный конокрад-цыган. Гей, гей, Манечка, люди, ямщики, летите за цыганом-похитителем в погоню!

— Ка-хы! — ухмыляясь в бороду, по-цыгански ухает великолепный Ферапонт, и — кони у крыльца.

Стук-бряк в звонкое колечко у ворот. Выходит она, закутанная в беличью, вверх мехом, шубку. Высокая и легкая. На голове пепельно-серая, с лунным голубым отливом, оренбургской шерсти шаль.

— Похищайте, похищайте, злодей, — говорит она и тихо смеется.

Ферапонт не знает, что отвечать, он радостно кричит: «Ка-хы!» И кони, вздрогнув, пляшут.

Вот кнутик свистнул, тройка взвилась и — ходу. Голубая пыль, блестки, бриллианты. Лобастый месяц поднял правую бровь и ухмыльнулся. Колдун ты, месяц! Ты старый облысевший блудень, потатчик любовных шашен и сам первый в грешном мире потаскун...

Меж тем Нина Яковлевна всполошилась: в семь часов назначен оперный спектакль — отрывки из «Снегурочки», где дьякон Ферапонт, с вынужденного благословенья священника, должен играть Берендея.

Было признано, что по внешнему виду дьякон точь-в-точь — царь Берендей. А так как хороших, со сценической внешностью, теноров не нашлось, то волей-неволей решили теноровую партию Берендея спустить на басовой регистр. А что ж такое? Тут не императорский театр... Сойдет!..

Репетиции шли целый месяц, Снегурочку пела молоденькая жена инженера Петропавловского, Купаву — Нина, в Мизгири просился Илья Сохатых, но, по испытании его голосовых средств и слуха, ему запретили даже участвовать в хоре. Роль Мизгиря отдана письмоводителю из ссыльно-политических Парфенову-Раздольскому, бывшему провинциальному певцу. Он главным образом и руководил постановкой пьесы. Церковный хор прекрасно справился со своей задачей. Весьма украсили спектакль и учащиеся в школе.

Представление должно состояться в Народном доме, выстроенном Ниной и вмещающем в себя полтысячи зрителей.

Все сбились с ног в поисках пропавшего дьякона, обошли все тайные притоны, всех шинкарок, стражники колесили по тайге, свистали в свистки с горошинкой, одноногий Федотыч даже брякнул из пушки — авось дьякон услышит, вспомнит. Ах, чтоб его бес задрал!

А месяц с неба лукаво подмигивал бровями: «Знаю, мол, где дьякон, да не больно-то скажу».

...Проскакали гладкою дорогою верст двадцать и свернули к зверовой избушке-зимнику. Взмыленные кони пошли шагом. Зимовье — приземистая избушка с дымовым оконцем и низкой дверью. Звероловы коротают здесь долгие зимние ночи. Возле двери — сухие дрова-смольё. Дьякон берет охапку, разводит в каменке огонь. Зимовье топится по-первобытному: трубы нет, едучий дым набивает избушку сверху донизу, нет сил дышать. Дева сидит в санях, в густом кедровнике, мечтает. Сквозь хвою в черном небе горят далекие миры. «Что вы, кто вы?» — вопрошает она, запрокидывая охваченную жаром голову, но звезды безмолвны, грустны.

Дьякон стоит на карачках возле каменки, дует на костер, горько от дыма плачет. Когда накалятся камни и прочахнут угли, тогда дым выйдет вон, глаза обсохнут, можно пировать. «Дым», — созерцает она и морщит носик. «Дым валит из оконца, из распахнутой двери. А мне хочется есть и... пьянствовать».

Сердце ее сладко замирает: лес, звезды, избушка — колдовство. Может быть, в книжках красивее, но здесь острей. Ха-ха, Ферапонт!.. Надо ж так придумать. Пусть все узнают, пусть Манечка ударит ее по щеке — она готова ко всему. Эксцентрично? Да. Вот в этом-то и весь фокус... «Ха-ха, не правда ли, пикантно?»

Она закрывает глаза, прислушивается к себе. Возле нее — медведь, огромный, черный.

— Сейчас буду варить пельмени, — говорит медведь и вытаскивает из саней два тюричка. — А я как на реках Вавилонских, знаете. Тамо седохом и плакахом. Дым, жар... Аж борода трещит... Ох, ты!

Она не слышит, что говорит медведь. От медведя пахнет дымом и чем-то странным, но слово «пельмени» вызывает в ней обильную слюну. Она открывает глаза.

— Ферапонт Самойлыч, вы дивный.

— Дивны дела твоя, — по-церковному отвечает из зимовья медведь и, помедля, кричит: — Уварились!

Он берет ее на руки и вносит в зимовье. Звезды готовы рассказать свою тайну — «кто вы, что вы?» — но девы в санях нет, звезды рассказывают тайну лошадям. Лошади внимательно слушают, жуют овес.

В избушке горят две свечи. По земляному полу — хвои, на хвоях — ковер. Дева сбрасывает шубу. Дьякон преет в рясе. Пельмени с перцем, уксусом аппетитны, восхитительны. Дьякон жадно пьет водку и каждый раз сплевывает сквозь зубы в угол. Дева хохочет, тоже пьет и тоже пробует сплюнуть сквозь зубы, но это ей не удается; она вытирает подбородок надушенным платком.

— Вы, краса моя, откройте зубки щелочкой и этак язычком — цвык! Я горазд плевать сквозь зубы на девять шагов.

Дьякон восседает на сутунке, как на троне, и все-таки едва не упирается головою в потолок: он могуч, избушка низкоросла.

— Говори мне — ты, говори мне — ты, — кокетничает голосом начинающая хмелеть дева.

— Сану моему не подобает, извините вторично, — упирая на «о», гудит дьякон. — Окромя того, у меня дьяконица... Обретохом яко козу невелику...

Дева хохочет, припадает щекой к рясе Ферапонта, тот конфузливо отодвигается.

— Ах, простите вторично... Вы чуть-чуть опачкали щечку сажей... Дозвольте... — Он смачивает языком ладонь, проводит по девичьей щеке и насухо вытирает сырое место прокоптевшим рукавом. Щека девы покрывается густым слоем копоти. Дьякон готов провалиться сквозь землю, но, скрывая свою неловкость, говорит с хитринкой:

— Вот и побелели, душа моя. Даже совсем чистенькая, как из баньки.

— Ты не Ферапонт... Ты дьякон Ахилла. Лескова читал? Знаешь?

— Лесков? Знаю. Петруха Лесков, как же! Первый пьяница у нас на Урале был.

Она взвизгивает от смеха и норовит обнять необъятную талию дьякона. Тот не сопротивляется, вздыхает: «Охо-хо», — и говорит:

— Греховодница ты, девка.

— Ты любишь жену?

— Известное дело. А как иначе?

— Злой, злой, злой!.. Нехороший ты... — Она стучит кулачком по его тугому колену, кулачок покрывается сажей, а сердце мрет.

— Караул! Пропал я... — вскочил дьякон и крепко ударился головой в потолок. Как черный снег полетели хлопья копоти. — Берендей! Спектакль! Снегурочка!.. Ой, погибла моя башка!

Дева от задорного разжигающего смеха вся распласталась на ковре.

— Ферапонт!.. Нет, вы прекрасны... Ха-ха-ха! А я нарочно... Я знала... Иди сюда, сядь. Там и без тебя сыграют.

...Берендея пришлось играть басу церковного хора Чистякову. Он пьяница, но знал ноты хорошо. В накладном седоволосом парике и бородище, увенчанный короной, в белой мантии, он сидел на троне, держал в руках выписки клавира и, в диалоге со Снегуроч-

кой, помаленьку подвирал. Но хороший аккомпанемент рояля и великолепная Снегурочка спасали дело.

В передних рядах была, во главе с Протасовым, вся знать. Прохор сидел за кулисами, пил коньяк, любезничал с девчонками, отпускал словечки по адресу доморощенных артисток. Рабочие с наслаждением не отрывали от сцены возбужденных глаз. Правда, кой-кто подремывал, кой-кто храпел, а пьяный, затесавшийся в задние ряды золотоискатель Ванька Серенький даже закричал:

— Жулики!.. Нет, вы лучше плату нам прибавьте!

Но его быстро выволокли на свежий воздух.

Купава-Нина внимательно шарила взглядом по рядам, вплоть до галерки, — ее подруги не было.

— А где же Кэтти?

Кэтти утешала неутешно скорбящего дьякона. Оплошавший Ферапонт лежал рядом с нею вниз животом, закрыв ладонями лицо. Голова великана упиралась в угол, а пятки в каменку. Плечи его вздрагивали. Кэтти показалось, что он плачет.

— Рыцарь мой!.. Дон-Жуан... Д'Артаньян... Ахилла! — тормошила она ниц поверженного дьякона. — Не плачь... Что с тобой?..

— Оставь, оставь, живот у меня схватило. Режет, аки ножами булатными.

— Ах, бедненький!.. Атосик мой... Портосик мой...

Дева хохочет, дева тянет из фляжки крепкую, на спирту, наливку.

— Пей!.. Рыцарь мой...

Дьякон, выпростав из-под скамейки голову, пьет наливку, крякает, пьет водку. Свечи догорают, кругом колдовские бродят тени. Слабый звук бубенцов, колокольчик трижды взбрякал — должно быть, лихой тройке наскучило стоять. А в мыслях полуобнаженной девы эти звуки как сладостный соблазн. Вот славные рыцари будто бы проносятся вольной кавалькадой; латы их звенят, бряцают шпаги...

И там, зеленою тайгою, тоже мчится черный всадник... Ближе, ближе. Кони храпят и пляшут, храпит дьякон Ферапонт.

А витязь на крылатом скакуне вдруг — стоп! — припал на одно колено и почтительно преподносит ей букет из белых роз. «Миледи, миледи, — шепчет он и целует ее губы. — Мое сердце, миледи, у ваших ног».

— Милый, — замирает Кэтти, по ее лицу, по телу пробегают волны страсти, она улыбается закрытыми глазами и жарко обнимает Ферапонта. — Ну, целуй же меня, целуй!

Невменяемо пьяный дьякон бьет пяткой в каменку, взлягивает к потолку ногами и бормочет:

— Оставь, оставь, дщерь погибели! Мне сан не дозволяет.

Дева всплескивает руками, дева обильно плачет, пробует встать, но хмель опрокидывает ее.

Весь мир колышется, плывет, голова отделяется от тела, в голове жуть, хаос, сплошные какие-то огни и взмахи; и сердце на качелях — вверх-вниз, вверх-вниз. Деву охватывает жар, страх, смерть. Сейчас конец. Все кувыркается, скачет, гудит. Сильная тошнота терзает деву.

— Мучитель мой, милый мой Ахилла... Ты все... ты всю... Да если б я... Дурак!.. Ведь это ж каприз... Мой каприз... Да, может быть, я семь лет тому... ребенка родила!..

— Сказывай, девушка, сказывай... Сказывай, слушаю, сказывай... — гудит заросшая тайгой басистая пасть Берендея.

...Филька Шкворень слушал, Прохор сказывал:

— Подлец ты, из подлецов подлец. Я знаю, как ты при всем народе срамил меня. Так — кровосос я? Изверг я? А? Что ж, тебя в острог, мерзавца? Тюрьмой тебя не запугаешь. Волка натравить, чтоб глотку перегрыз тебе. Тьфу, черт шершавый!.. Что ж мне с тобой делать-то? А я тебя, признаться, хотел в люди вывести... Поверил дураку. Никакой, брат, в тебе чести нет.

Верзилу от волнения мучило удушье. Он глубоко дышал, втягивая темно-желтые щеки. Потом поднял

на Прохора острые с вывернутыми веками глаза и ударил кулачищем в грудь:

— Прохор Петров!.. Поверишь ли?.. Эх, язви тя!.. Накладывай, как поп, какую хошь питимью, все сполню и не крякну. Да оторвись моя башка с плеч, ежели я...

— Поймай цыгана. Знаешь? Того самого. И доставь сюда...

— Есть!.. Пымаю.

Впрочем, этот разговор происходил давно, вскоре же по приезде Прохора из Питера.

...А сейчас глубокое ночное время — сейчас в доме Громовых самый разгар бала — после «Снегурочки» и доморощенного концерта. Съезд начался в одиннадцать часов. Гремела музыка, крутились танцующие пары, сновали по всем комнатам маскированные, у столов — а ля фуршет, хватай, на что глаза глядят, — всем весело, всем не до сна, а Кэтти спит, не улыбнется.

Ферапонту снится страшное: будто сам владыка-архиерей мчит на тройке, ищет, не находит дьякона, повелевает: — «Властию, мне данною, немедленно расстричь его, лишить сана, обрить полбашки, предать анафеме».

А за владыкой — черный с провалившимся носом всадник. Кто-то переводит стрелку с ночного времени на утро. Безносый черный всадник проскакал и раз и два. И вслед ему чертова собачка весело протявкала: «гам, гам, гам!»

Лай, собачка, лай! Ночь линяет, гаснет. Брякает бубенцами тройка, не стоит.

А как выросла над тайгой весенняя заря, бал кончился, насыщенные вином и снедью гости разбредались, — Кэтти открыла полусонные глаза. В избушке холод. Дьякон Ферапонт храпит с прихлюпкой, сквозь дверные щели льет голубеющий рассвет. Кэтти вздрогнула, быстро надела беличью шубку, отыскала в сумке зеркальце, вышла на волю, ахнула, — возле избушки пустые сани.

— Лошади! Где лошади? Дьякон, да проснитесь же!!

Кэтти беспомощно заплакала: ей больно, горько и обидно.

Так прошла эта лихая ночь. Бродяга-месяц давно закатился в преисподнюю ночлежку на покой. Над миром вечнозеленых лесов блистало солнце.

15

Медленно раскачиваясь, время двигалось вперед, дороги портились, Нина Яковлевна собиралась в отъезд. Прохор о разлуке с женой нимало не грустил, но стал с ней подчеркнуто вежлив и внимателен. Нина по-своему расценивала перемену в нем, она старалась удерживать фальшивые чувства мужа на почтительной от себя дистанции.

Уныло перезванивали великопостные колокола. После шумной гульбы на масленой для рабочих настал теперь великий пост. По приказу Прохора цены во всех его лавках и лабазах привскочили, а ничтожный заработок — в среднем до сорока рублей в месяц — оставался прежний. Шел скрытый в народе ропот.

Когда вздорожали хозяйские товары, полуголодные рабочие стали забирать у частных торгашей. К трем бывшим в поселке вольным лавкам быстро присоседились из дальних мест новые богатенькие прасолы; они доставляли товары на возах, располагались табором в тайге, на приисках, вблизи заводов. Тут же появились спиртоносы. Черный безносый всадник с своей черненькой собачкой, меняя золото на спирт, шмыгал взад-вперед и был неуловим, как ветер.

От Прохора приказ: гнать торгашей в три шеи. Ретивые урядники, получавшие от конторы сверх казенного оклада большие наградные деньги к рождеству и пасхе, круто принялись за дело. Возы с товарами опрокидывались, торгашей выпирали за пределы работ, упорных пороли нагайками. Изгнанные

с одного участка, они перебирались на другой и, побитые, поруганные, превращались силой обстоятельств из покорных верноподданных царя в заядлых крамольников. Тайно продавая с барышом товар, они подзуживали рабочих.

— И чего вы, ребята, смотрите на ефти самые порядки?.. Хозяин — мазурик, урядник с приставом — холуи. Да и вся власть-то, должно быть, что такая...

Судья тоже получал от конторы смазку: имел казенную квартиру с отоплением и освещением да за «особые услуги» наградные. Впрочем, все чины, поставленные от правительства для защиты интересов рабочих: инспектор труда, казенный инженер, судья, следователь, почтово-телеграфные чиновники, нотариус, даже казачий офицер, даже сотня казаков, охраняющих в пути караваны золота, — все они так или иначе были подкуплены Прохором Петровичем, и каждый из них, дорожа своим местом, по мере сил мирволил беззаконию.

Так ловко смазывалась поставленная от правительства машина.

...И совершенно неожиданно, нарушая светлый ход весны, с утра задул западный ветер, поднялась белоснежная пурга. Сначала низом полз поземок, затем ветер нагнал густые тучи — и замело, и закрутило.

Казачий конвой в тридцать всадников выступил в поход. Десять повозок с золотом, сданным Прохором казне, потонули в снежной вьюге. Таежный путь в метель опасен, но кони выносливы, казаки бдительны и зорки.

— С дороги, с дороги! — помахивал нагаечкой гарцевавший впереди каравана казачий офицер.

Встречные огромные, как дом, возы с сеном спешно сворачивали в сторону, мужики удивленно пялили глаза: десять, порожняком, повозок.

— За чем, солдатики, едете? За рыбой, что ль?

— За чем надо, за тем и едем... Проваливай живей!..

Запряженные парами повозки действительно с виду совершенно пусты: лишь в задке небрежно кинута опечатанная свинцовыми пломбами небольшая кожаная сумка, в ней малый слиток золота пудиков на двадцать пять.

Спуск в глубокую глухую балку.

— Слуша-а-а-й!.. Вынуть винтовки из чехлов!..

— Есть! Есть! Есть!

Балку миновали благополучно. Ветер стихал, пурга смягчалась. Но в сердце Кэтти пурга крутила, как в тайге. И внутренне крутясь и припадая перед Прохором на одно колено, печальный дьякон Ферапонт поведал ему о своем великом горе:

— Поехал вчерась прокатиться один на один да изрядно выпил, так в санках и уснул, как зарезанный каплун. А утром продрал глаза, глядь — а коней нет.

Волк улыбнулся. Прохор от души захохотал.

— Скажи ямщику, что деньги за тройку уплатит контора. Я позвоню. — И, подмигнув дьякону, спросил: — Так один, говоришь, ездил-то?

— Как перед богом... Вот!

Значит все шито-крыто. Дьякон — в рот воды. И никто, кроме украденной тройки и серебряного месяца, не знал о проделках Кэтти. Юная с виду Кэтти — почти ровесница своей подруге Нине Громовой. Она безвыездно прожила в тайге четыре года. Затянутая в корсет институтских нравов, эта наивно-мечтательная девушка вдруг с наступлением весны ослабила тесную шнуровку, вдруг открыла свое сердце навстречу новым, опьяняющим ветрам. Ей, созревшей в теплице измышленных условий, надо еще многое вкусить и перечувствовать, чтобы сравняться с Ниной в усладах, в огорчениях жизни. А время не ждет, а кровь бушует. И этот искусный совратитель пан Парчевский не раз склонял ее к греху: «Жизнь коротка, надо пользоваться ее благами». Бедная крошка Кэтти, бедный неопытный ребенок... Что же с нею будет? Парчевский зажег в ней лукавую мечту и скрылся, сердце Протасова занято другой, мистер Кук отморозил нос. А Прохор Громов? О нет, нет, это невозможно: он груб, он душевно грязен, да крошка

Кэтти лучше умрет, лучше кинется головой в прорубь, чем позволит себе предать свою подругу Нину. Нет, нет нет!..

И вот дневник:

«*5 февраля. Суббота.* Ровно две недели до масленицы.

Чувствую по ночам тяжелое томление. Сердце стучит, стучит. Я вся в тоске, вся в слезах.

Кого-то нет, кого-то жаль,
К кому-то сердце мчится вдаль...

Когда лежу в кровати, хочется нежиться и бесконечно мечтать о чем-нибудь высоком. Но вдруг всю меня пронзит какой-то испепеляющий огонь, книга летит к черту, я падаю на грудь, я рву зубами подушку, я вся в адских корчах; хочется орать, свистать, безумствовать. Боже, что со мной? Я сумасшедшая или просто истеричка?

Вечером потянуло к нему. Он один, уставший.

«Конспект разговора»:

Он. А! Вы?! Рад, рад... (поцеловал руку.)

Я. (Бросилась ему на грудь, заплакала.) Я люблю вас, люблю, люблю...

Он. Кэтти, милая, что с вами? (Лицо его вытянулось, он сел.) Зачем же плакать?

Я. Вы любите другую.

Он. Хотя бы... Но, кажется, нет.

Я. Тогда любите меня. Я больше не могу... Я — ваша... (В глазах моих потемнело, я повалилась на кушетку. Когда очнулась, он сидел возле меня, держал в своих руках мои похолодевшие пальцы, целовал их, гладил мои волосы.)

Он. Знаете что, Кэтти, милая?.. Я дам вам брому, это прекрасно успокаивает нервы...

Я. Благодарю вас... Вы трус, вы негодяй...

— За что, за что?

— Вы любите другую...

— Успокойтесь, девочка, успокойтесь, милая...

(Я истерически захохотала, укусила ему палец, стала тормошить его, он стал тормошить меня. Я щелкнула его по руке.)

Он. Не требуйте от меня невозможного. Я могу принадлежать единой. Раз и навсегда. Вы не можете быть моей женой. А я не хочу быть подлецом. (Он, весь красный, с огненными глазами, сердито встал и перешел к столу. И от стола):

— Я не узнаю вас, милая Кармен.

— До свиданья, Протасов!..

И я ушла.

20 февраля. Снятся голые какие-то, горячие сны. Снится дьякон Ферапонт, этот верзила-мученик. Он будто бы вынул меня из теплой ванны, закутал в простыню, посадил на ладонь и шувыкал вверх-вниз, как ребенка. Я упала, вздрогнула, проснулась. А что ж?.. Чем не герой?.. Господи, какая скука! Хоть бы скорей масленица. Всенощная кончилась, трезвон колоколов. Очисти, господи, душу мою. А сердце просится в мир приключений, в мир сказок...

12 марта. Ну вот... Как я буду говеть? Как открою свой грех отцу Александру? Никогда, никогда!.. Я просто скажу, что случайно ночевала в зимовье с каким-то мужиком-охотником... Ходила на лыжах, заблудилась, немножко выпила с ним, нечаянно охмелела. А впрочем, больше ничего и не было. И очень хорошо. И я по-прежнему чиста пред богом и пред самой собой. Великий пост, благовест, капель, грачи кричат. А ты, бедная, бедная мама, спишь на погосте под крестом.

Помоги своей дочке, помоги!»

Кэтти положила перо, горячо перекрестилась, глянула на окно в месячную ночь.

Пурги как не бывало, тишь, гладь, хмурый лес стоит по бокам, и казаки кончают ужин. Кто в повозках, кто у костров на потниках завалился спать. Двое часовых бодрствовали, кружились с дозором возле стана. Время от времени офицер подымал от седла голову:

— Часовые!

— Есть! На месте.

Он молоденький, голоусый. Проведет благополучно караван, получит от казны награду. В тугой

полудреме ему грезится шалунья, любовница пристава Наденька, она подарила ему бирюзовый перстенек, сшила теплый башлык из верблюжьего сукна. Да, жизнь хороша, но... вся в опасностях, дремать нельзя...

— Эй, часовые!

— Есть, на месте!

Тут офицерик вспомнил: Наденька подсунула ему на дорожку коньячку.

— Ребята, хотите для бодрости по стопке? Вот как бы только...

— Дозвольте, ваше благородие. — И часовой Федотов сорвал со стекла сургуч, тукнул дном бутылки о ладонь. — Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом... Пожалте!

Выпили по стопке, по другой. Офицерик поставил остатки коньяка в снежок. Уж месяц подкатился к бахроме тайги, креп озорной морозец-утренник. Коньяк обжигал душу, мутил мысли, голова падала на грудь. Офицерик улыбнулся и заснул. Часовые тоже рады были упасть на снег и захрапеть. Ну, что ж... Ночь проходит, страхи кончились, можно погреться у костра. Оба примостились к огоньку, закурили. И в два голоса, тихонько, фистулой, чтобы не разбудить спящих, замурлыкали:

Эх, жизнь наша копейка-а-а!..
Пропадешь ни за грош...
Сабля лиходе-е-йка-а-а...

Казаки с ямщиками под мороз, под песню часовых захрапели пуще. Лишь один ямщик, Филька Шкворень, позевывая, притворился спящим. Он бородат, велик, лежит на золоте в повозке. Но и его и часовых долит необоримая дрема. Часовые клюют носами, Филька зевает, крестит рот, — но его рука падает, его рука уснула. Крепкий сон свалил и часовых.

И, как из камышей тигры, — мягко прокралась к стану лесная нечисть, рожи у них черные, когти остры. Два всадника, один безносый, другой чернобородый, лохматый, как цыган, — птицами к крайней повозке. Там уже возились пятеро. Дело делалось бесшумно, быстро. Через полминуты кожаная сумка

с золотом моталась посредине крепкой жерди, концы которой лежали на спинах двух верховых коней. Цепко придерживая жердь, оба всадника рысью, ступь в ступь, по дороге назад, к заросшей глухой трущобой балке. И не взлай невпопад чертова собачка, прощайся казаки с золотом, тю-тю. Собачка взлаяла, черный всадник и цыган вытянули коней плетью, Филька Шкворень вскочил и полоумно заорал:

— Ребята!! Грабят!!!

И все до одного, кроме офицера с часовыми, сорвались с мест к винтовкам, к лошадям. Трескучий бандитский залп из-за дерев. Два казака, взмахнув руками, пали навзничь, третий торнулся носом в снег, четвертый перевернулся на бегу через голову, вскочил, опять упал, пополз со стоном. Казаки ответили в темную стену тайги залпом. Оттуда новый залп.

— Ребята! Дуй! Наздогоняй!

Филька Шкворень верхом на незаседланном коне лупит вслед за утекающими. Казаки суетливо седлают коней. Вот один вскочил, несется на подмогу к Фильке, но ошалевший конь под казаком бьет задом, пляшет, дает козла.

— Держи, держи! — орет Шкворень, настигая двух разбойников.

Те шпарят коней плетью, конец жердины выскальзывает из руки цыгана, сумка с золотом падает на дорогу. Тут ловко, на всем ходу брошенная Филькой Шкворнем петля поймала цыгана за шею и разом валит его с коня в снег.

— Есть! Готов!!

Но от быстрого сильного рывка кувырнулся с лошади и Филька Шкворень. Собачка трижды взлаяла, черный всадник, освободившись от золотого груза, вихрем ускакал в предутреннюю тьму, нога цыгана на мгновенье завязла в стремени, цыган упал.

— А-а-а, попался!! — тяжело пыхтя и задыхаясь, бежит к нему Филька Шкворень: в одной руке конец аркана, в другой широкий нож.

Цыган от Фильки в десяти прыжках, сейчас цыгану перережут горло. Но цыган шустро вскочил, сбросил с шеи петлю и исчез в тайге, как дым.

Лишенный сил от приступа удушья, огромный Филька едва держался на ногах. Возле него в снегу — сдернутый с башки арканом цыганский парик и бородища. А там все еще гремела перестрелка, и три казака примчались на конях в помощь Шкворню. Задыхавшийся Филька Шкворень, чтоб освежиться, сглотнул горсть снегу, сбросил тулуп, кой-как залез на свою лошаденку.

— По следу, ребятушки, по следу!.. Сейчас пымаем подлеца... Ой, тяжко мне.

В тайге еще темно, но опытный бродяга Шкворень заметил, куда свернул беглец.

— Ага... Зверючья тропа... Уйдет, сволочь!

Проехали в сторону ленивой рысцой: снеговой наст плохо еще вздымал коня, копыта то и дело проваливались в глубокие сугробы.

— Назад, ребята, не найти, — сквозь хриплый кашель слезливо сказал бродяга. — Он, может, где-нибудь, дьявол, на дереве сидит. Его и с собаками не сыщешь. Вишь — тьма.

Все кончено. Небо белело. Скоро зальет все пути-дороги бодрящий свет. Но в тайге до восхода солнца будет еще чахнуть сумрак. Золото положено на место. Казне убытка нет. Впрочем, Россия потеряла несколько молодых бойцов. Да два убитых бандита чернели на снегу возле опушки леса.

Офицерик и двое часовых только теперь пришли в себя. Их тошнило, они подымались, падали. Офицерика ждет арест. Он готов разразиться громким детским плачем.

— Я не понимаю... Я... я... Что со мной?

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Так что золото цело, наших убито шестеро.

16

...В эту ночь инженер Протасов засиделся у Нины. Прохор дома ночевал не так уж часто. Работа заставляла его иногда коротать ночь где-нибудь на заимке, на заводе, в конторе управляющего прис-

ком «Достань», а то просто в тайге, у костра, по-тунгусски.

— Вы, Андрей, должны сопровождать меня по крайней мере до пристани.

— Не знаю, удобно ли это будет.

— Но не могу ж я ехать одна!

Протасов приостановил свой шаг по мягкому ковру и с особой нежностью взглянул в лицо Нине. Он чувствовал теперь какую-то внутреннюю подчиненность ей, и это новое иго радовало его. Но радость была непрочна, ее быстро смывало сознание ответственности перед высокой революционной идеей, на служение которой он силился обречь себя. Нет, лучше быть до конца свободным!

Нина почти угадала мятущееся настроение его.

— Сядьте, Андрей, — сказала она взволнованно. — Мне нужно о многом с вами поговорить.

— Я боюсь, Нина, что ваш муж будет против моей поездки с вами. — И Протасов, ощущая внутренний разлад в себе, сел поодаль от Нины. — Скоро откроется навигация... Масса дела. Прохор Петрович запротестует.

— Ничего подобного. Я уверена, что муж будет рад...

— Вы думаете? — И Протасов испугался.

— Не думаю, я совершенно убеждена в этом.

Протасов испугался еще больше и сказал:

— Это было бы великолепно.

Прохор вернулся домой на другой день к вечеру. Весь поселок уже знал о нападении в тайге на золотой караван. С утра помчались туда казаки с пожилым офицером, следователь и два урядника.

Пристав явился в поселок только к полудню. Он в ту тревожную ночь будто бы ловил спиртоносов на новом золотоносном участке. Узнав о происшествии, он наскоро перекусил и тоже выехал туда в самом мрачном настроении. Наденька слегла, плакала в кровати, молилась богу: ей жалко было офицерика...

Прошла неделя. Пристав свирепствовал. Поймали в тайге трех спиртоносов, двух бродяг. Пристав пытками заставлял их покаяться в нападении на золотой караван. Опрашивались казаки. Офицерика увезли в город. Тюрьма в поселке еще не готова: увезли в город бродяг и спиртоносов.

В полночь Прохор постучал к приставу.

— Кто там?

— Отопри.

Прохор вошел с волком. Наденька схватилась за голову, она старалась улыбнуться, но широко открытые глаза ее враз налились мутью страха.

— Вы убить меня не можете. — И Прохор сел в угол, за стол. — Волк разорвет вас обоих. Кроме того, я не плохо стреляю и... вообще вас не боюсь... — Он положил возле себя браунинг.

Пристав запахнул халат и переглянулся с Наденькой. Наденька холодела, у пристава шевелились усы и подусники.

— Прости, Прохор Петрович... Но я догадываюсь, что ты сошел с ума.

— С вами сойдешь, — мрачно, однако спокойным голосом ответил Прохор.

— Может быть, чайку с коньячком?

Наденьку не держали ноги, присела на стул.

— Нет, спасибо, — сказал Прохор.—Твоего коньячка боюсь. Я со своим... — Прохор вынул из кармана недопитую молоденьким офицериком бутылку. — Ну-ка, поди-ка сюда... — Он постучал пальцем по этикетке на бутылке. — Марку видишь?

— Вижу,—прошептала белыми губами Наденька.

— Подай две рюмки — себе и Федору Степанычу.

Наденька, переступая ногами, как лунатик, подала. Волк сидел возле хозяина. Прохор налил две рюмки.

— Пей!

Наденька, не дрогнув, защурилась и выпила.

— Федор, пей!..

— Я не могу, уволь.

— Я эту бутылку, найденную на месте нападения, следователю не отдал. Не отдал и твоего, Федор,

парика с бородой и твоей шпоры. Когда тебя зацепил аркан, ты упал и задел шпорой за стремя.

Пристав побагровел, бросился к Прохору и, перекосив рот, ударил кулаком в столешницу. Волк внезапным прыжком опрокинул его на пол. Наденька завизжала. Пристав поднялся, нырнул в другую комнату, захлопнул за собой дверь.

— Надежда, не бойся, — сказал Прохор. — Жена моя надолго уезжает с Протасовым, ты переберешься ко мне сейчас же. Ты будешь моей. Говори, кто цыган?

В глазах, в каждом мускуле, в каждой кровинке Наденьки отразилась страшная внутренняя борьба. Она мучительно искала в себе ответ. Она безмолвствовала.

— Ну?

Она безумно замотала головой и закричала:

— Не знаю!.. Ничего не знаю!.. Миленький мой, Прохор Петрович... Ангел! — Лицо, глаза, губы смеялись, по щекам текли слезы страха и надежды.

Дверь приоткрылась. Через комнату пролетели и упали к ногам Прохора сапоги со шпорами. Дверь опять захлопнулась. За дверью орал, ругался пристав.

— Любишь?

Наденька заплакала пуще, засмеялась, вся посунулась к Прохору, как к магниту сталь. Но волк оскалил зубы.

— Кто цыган?

— Не спрашивай. Не спрашивай... — шептала она, всплеснув руками. — Ведь он меня зарежет.... Я вся в синяках... Спаси меня, миленький...

— Пей!

Через силу, вся замерев, вся содрогнувшись, Наденька отчаянно вонзила в себя вторую рюмку отравы, сморщилась, сплюнула, затрясла головой, и ноги ее подсеклись.

— Ми-лый!..

Прохор, прикасаясь к ней с гадливостью, провел ее к дивану, подошел к закрытой двери, с силой ударил в нее сапогом:

— Федор, иди,

Пристав гордо вышел в парадной форме с медалями, с крестом: гарантия, что Прохор не рискнет «оскорбить мундир».

— Чем могу служить?

— Ничем... Ты мне вообще служить не можешь... — задыхаясь внутренним гневом, раздельно сказал Прохор. Он дрожал, хватался руками за воздух. Он грузно сел.

Пристав стоял у печки; выражение его лица удрученное, злое. Весь вспружиненный, он приготовился к кровавой схватке.

Прохор смотрел на него с ненавистью и минуты две не мог произнести ни слова. Сильный Прохор, непобедимый Прохор — перед ним все трепещут — силою обстоятельств давно порабощен этим человеком. Иметь всю власть, всю мощь, все богатство — и быть под сапогом у мрази!

Прохор едва овладел собой, чтоб не разреветься злобным плачем. Прохор с маху ударил кулаком в стол, заскрипел зубами, и — еще момент — он бы бросился на пристава. Страшные глаза его, которых боялся даже волк, заставили пристава придвинуться ближе к двери.

— Нас никто не слышит. Наденька сама себя отравила, — глухим, каким-то рычащим голосом начал Прохор. — Я хотел тебе сказать, что так жить нельзя. Я больше не могу. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. На ногах моих гири. На сердце камень, на камне — твоя нога. Нам здесь вдвоем не жить. Или ты, или я. Знай, если будешь упрямиться, я тебя уничтожу.

— Нельзя ли без угроз, мой милый, — махнул пристав по усам и, звякнув шпорами, важно сел в кресло. — Я не тебе служу, а служу главным образом государю императору. — И пристав, надув толстые щеки, выпустил целую охапку воздуха.

Прохор издевательски захохотал:

— Подлец, фальшивомонетчик, разбойник при большой дороге — не слуга царю.

— Что, что?! — стукнул пристав шашкой в пол и бычьи глаза его страшно завертелись.

— Давай говорить спокойно. Не ори, — сказал

Прохор. — Я прекрасно понимаю и тебе советую понять, что еще недавно ты, при желании, мог бы погубить меня. Но теперь, когда я узнал, кто ты, не ты меня, а я тебя погублю.

— Не так-то скоро... Ха-ха!..

— В три дня!! — грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил.

Пристав захохотал испуганно, сказал:

— Чудак, барин!

Наденька стонала и поплевывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Вьюга с визгом облизывала окна.

— За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков тебя ждет петля.

— Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли... Ведь подобное предположение можно делать только в белой горячке... Чтоб я... слуга государя... Ха-ха-ха!..

Прохор задымил сигарой и сказал:

— Тысяча, которую ты дал Парчевскому, фальшивая. Он в городишке продул ее в карты. Городскими властями составлен протокол. В моих лавках и в конторе обнаружено много фальшивых денег. Я несу убытки. Фальшивые деньги делаешь ты в Чертовой хате на скале. Ты — цыган. Твой парик, шпора и Наденькин коньяк у меня. Филька Шкворень и два казака крепко тебя заприметили там, на деле: твои усы и твое брюхо. И морду, конечно... Извини... А главное — твой соратник, безносый спиртонос с собачкой пойман и во всем сознался. Обо всем этом, ежели занадобится, я чрез три дня телеграфирую губернатору. Ежели занадобится, повторяю...

Пристав схватился за виски и на подгибающихся ногах стал ходить по комнате. Шпоры пристава позвякивали жалобно, как бы прося пощады. Грудь распиралась подавленным пыхтеньем, отчаянными вздохами, все мысли в голове померкли. Сердце Прохора облилось радостной кровью.

— Уфф!.. — выдохнул пристав и повалился на колени к дивану Наденьки. Он уткнулся головой ей в грудь и дряблым, как жвачка, голосом взывал:

— Надюша!.. Надя!.. Встань. Меня губит близкий друг... Близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок... О, проклятие!..

— Слушай, — встал Прохор и оперся руками о стол. — Нельзя ли без фокусов и без душераздирающих монологов. Меня этим не возьмешь, я не институтка, я не младенец двух лет по третьему... Ты говоришь: друг? Ладно. Спасибо. Слушай внимательно...

Пристав, стоя на коленях все в той же позе, спиной к Прохору, вынул платок, стал вытирать лицо, тихо посмаркиваться.

— За всю мою жизнь... Ты слышишь? Я тебе переплатил больше пятидесяти тысяч рублей. Я считаю, что этой суммы совершенно довольно, чтоб выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов.

Пристав так порывисто вскочил, что опрокинул преддиванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору и, потряхивая кулаками, истерически закричал-затопал:

— Нет у меня документов! Не дам!! Не дам!! И ты врешь, что спиртонос пойман...

— Не дашь?

— Не дам! Я лучше сожру их, как сожрал твой документик Иннокентий Груздев.

— Не дашь?

— Не дам... Они у меня в губернском городе, в сохранном месте...

— Покажи твою железную шкатулку...

— Фига!.. Обыск?

— Не дашь? В последний раз...

— Не дам.

— Тогда прощай.

Прохор взял цепочку волка и пошел с ним к двери. Обернулся. И холодным голосом проговорил:

— Итак, сроку тебе — три дня! Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Мой дружеский совет — стреляйся.

17

В дом Громовых, за четыре дня до отъезда Нины, пришли ранним утром два инженера: Андрей Андреевич Протасов и Николай Николаевич Новиков, седоусый, лысый, — представитель государственного горного надзора. Он не так давно прибыл с ревизией из губернского города.

Шустрая Настя, снимая с Протасова пальто, сказала:

— Прохор Петрович очень даже расстроены. Не знаю, примут ли.

Подошли к кабинету. За плотно закрытой дубовой дверью — тяжелые шаги и грубое хозяйское покашливание. Инженеры постояли, посоветовались, входить или нет.

— Давайте отложим на завтра, — предложил Новиков. Будучи человеком самостоятельным, почти не подчиненным Громову, он не то чтобы побаивался Прохора Петровича, но в его присутствии всегда чувствовал некоторую неловкость. В разговоре с Прохором, как это не раз случалось, легко можно было нарваться на резкий купеческий окрик, на запальчивый жест.

У Протасова заалели кончики ушей, и воротник форменной тужурки стал тесен. Протасов крепко постучал в дверь:

— Прохор Петрович, по делу.

— Войдите!

Высокий, широкоплечий, чуть согнувшийся — Прохор стоял у стола. После объяснения с приставом он всю ночь не спал. Лицо желтое, под глазами мешки.

— Что нужно?

Протасов демонстративно сел без приглашения и с самоуверенным видом закурил папироску. Новиков стоял. Прохор, кряхтя, как старик, опустился в кресло.

— Садитесь, Николай Николаевич. — И Протасов придвинул Новикову стул.

Прохор откинул назад чуб и выжидательно прищурился.

— Мы к вам по делу, — сказал Протасов, открыл портфель, заглянул в него и вновь закрыл. — Наш разговор с вами, Прохор Петрович, довольно продолжительный и, может быть, не совсем для вас приятный.

Ноги Прохора задвигались под столом; он поднял правую бровь и насторожился.

— Дело в том, что мы с Андреем Андреевичем, — начал было инженер Новиков, но Прохор сразу перебил его:

— Уж кто-нибудь один говорите... Не могу же я...

— Николай Николаевич, — в свою очередь перебил Протасов Прохора. — Прошу вас, излагайте...

Прохор приподнялся, подогнул левую ногу, сел на нее.

— Ну-с?

Низенький, сутулый, со втянутой в плечи головой, инженер Новиков оседлал нос большими старинными очками и вынул из портфеля бумагу:

— Вот инструкция... Инструкция, как вам известно, составленная горным департаментом и высочайше утвержденная...

— Ну, знаю... Только не тяните, пожалуйста, мне некогда.

— Простите, Прохор Петрович, — двинулся на стуле Протасов. — Разговор, по поводу которого мы вас беспокоим, в сто раз важнее всех дел, даже дел, не терпящих отлагательства.

— Я, как представитель государственного надзора, — подхватил Новиков, — к сожалению, нахожу, что инструкция эта, ограждающая интересы рабочих, не во всех пунктах вами исполняется.

— Например?

— Для того чтоб иллюстрировать примерами, — сказал Протасов, — надо вам проследовать с нами на место работ.

Всю дальнюю дорогу до прииска «Нового» Прохор был погружен в тяжелые думы. Неустойчивое душевное равновесие ввергало его мысли в какой-то

холодный мрак. Он томился сейчас о поддержке извне, но такой поддержки не было. Между ним и Ниной все темней и темней становился слой внутренних противоречий. Да и к тому же Нина вот-вот уедет, тогда Прохор Петрович остается наедине с собой. И это предстоящее одиночество тревожило его.

— Лисица, лисица! — закричали оба инженера, сидевшие рядом с Прохором в санях.

Но в Прохоре не встрепенулся обычный инстинкт охотника, Прохор и бровью не повел. Тем не менее в его мозгу привычным рефлексом стукнул воображаемый выстрел по зверьку, и все мысли Прохора сразу переключились на другое. «Застрелится пристав или нет? Конечно ж нет. Тогда как же вести себя, что делать с этим гнусным человеком?» И Прохор быстро решил: «Пристава убьет Филька Шкворень».

Расчищенная дорога шла с горы на гору. Снег осел на ней, обильно забурел раздрябший конский помет. В распадках и балках со склонов гольцов стремились неокрепшие мутные потоки.

На прииске «Новом», отвоеванном в прошлом году у Приперентьева, еще с осени открыты надземные в «разрезах» и подземные «шахтовые» работы. Проведены канавы, водостоки, устроены плотины, дорожки для возки вручную песков и крепежных материалов. Теперь шли плотничные и кузнечные работы в механических, еще не вполне законченных мастерских и на электрической станции. Общее впечатление от оборудования прииска: недоделка, дешевка, примитивность. Прохор не был уверен, что прииск «Новый» прочно останется за ним, поэтому он жалел на него денег, все делалось кое-как, лишь бы наспех урвать как можно больше золота, а потом и бросить. Прохор был в этом деле заправским хищником крупного масштаба.

Каменистая, всхолмленная поверхность изборождена выемками, канавами, отвалами отработанных песков. По канавам несутся мутные глинистые воды промывных аппаратов. Кругом — весенний снег, загрязненный копотью, песком, грудами камней, всяким

хламом, человеческими экскрементами. Картина для глаза удручающая. Яркое солнце еще больше подчеркивает убожество рабочей обстановки. Здесь и там вяло двигаются плохо обутые, одетые в рвань люди. Тачечники, землекопы, откатчики, водоливы. Лица их мрачны, болезненны, бескровны. Многие страдают затяжным удушливым кашлем, чахоткой; почти у всех жесточайший ревматизм.

Над каждой шахтой вместо механического крана торчит допотопное сооружение: вертикальный, уродливого вида ворот с конным приводом. Он служит для подъема из шахты бадей с золотоносным песком и для спуска в шахту крепежных материалов.

— Вот, Прохор Петрович, — начал Протасов уверенным, официальным тоном, чтоб внушить Прохору уважение к своим словам. — Эти безобразнейшие махины сооружены по вашему указанию и вашему настойчивому приказу. Теперь представьте: бадья с песком поднята, в вороте поломка, он сдает. Тормоз — бревно. Им трудно быстро справиться. И ежели оплошает человек у ворота, бадья в десять пудов весом грохнет вниз на голову рабочего. Вы понимаете? И такой случай был...

— Это противозаконно, — подтвердил инженер Новиков и отметил в записной книжке.

Прохор помычал что-то под нос и нахохлился.

Из механической мастерской вышел — в звериных шкурах — заведующий прииском практик-золотоискатель Фома Григорьевич Ездаков, рыжебородый, с проседью, горбоносый человек. Великолепный организатор, большой знаток тайги и золотого дела, он обладал необычайным нюхом разгадывать, где скрыто золото. Он когда-то имел свои прииски, однако рабочие, которых он злостно эксплуатировал, выпустили его «в трубу» и решили убить его, но он в ночь утек, бросив рабочих в тайге на произвол судьбы. Началась небывалая трагедия. Стояли сорокаградусные морозы. Есть было нечего. Рабочие разбрелись по бездорожной тайге. Многие замерзли, многие пали в жестокой поножовщине: удар ножа решал, кому жить, кому быть съеденным. Иные

посходили с ума, и почти все они, безвестные труженики, так или иначе погибли. Ездаков был схвачен, судим, попал на каторгу. Но золото наследников скоро освободило его. По другим же сведениям, он, задушив караульного, просто-напросто с каторги бежал.

То было десять лет тому назад; теперь Ездаков вынырнул из неизвестности и попал сюда. Этот звероподобный человек имел на прииске всю полноту власти. Он редко штрафовал рабочих, редко читал им нотации, зато всех бил по зубам. Молодых женщин насиловал, ребятишек тиранил. Протестовать бесполезно, опасно: расчет — и вон. Контора не вступится. Опозоренные женщины по ночам плакали, жаловались мужьям; мужья, стиснув зубы, лупили жен насмерть. Так шла жизнь.

Ездаков быстро подошел к хозяину, сдернул шапку с плешивой головы и сладко улыбался всем красным обветренным лицом, но большие навыкате глаза были злы, жестоки.

— Здравствуйте, батюшка, хозяин, ваше превосходительство, Прохор Петрович! Как ваше драгоценное?

Он схватил руку Прохора в обе свои лапы и, с собачьей преданностью заглядывая в хозяйские глаза, льстиво, долго тряс протянутую руку, даже попробовал прижать ее к своей груди.

Инженеры с брезгливостью глядели на него. Он, виляя глазами во все стороны, ожег их взглядом, наглым и надменным.

— Вот, Фома Григорьич, — сказал Прохор. — Господа инженеры обижать меня надумали...

— Эх, батюшка, Прохор Петрович, сокол ясный!.. — встряхивая длинными рукавами оленьей дохи, запел гнусавым баском Ездаков. — Инженеры для того и родятся, чтоб нашего брата, делового человека, утеснять да за нос водить.

— Надень шапку, — сказал Прохор.

— Слушаю-с.

— Вы, господа, не протестуете, если Ездаков примкнет к нам?

— Его присутствие, как заведующего прииском, необходимо, — сказал Протасов.

— Он несет по своей должности строгую ответственность пред законом, — скрепил Новиков.

— Закон, что дышло, хе-хе, — забубнил Providing Ездаков, — куда повернул — туда и вышло. Законы пишут в канцеляриях. На бумаге все гладко, хорошо... Нет, ты попробуй-ка в тайге... с этим каторжным людом. Надсмеются, голым пустят... Ого! Эти народы опасные. Палец в рот положи — всю руку откусит... В тайге, милые люди, господа ученые, свои законы. Да-с, да-с, да-с... Жестокие, но свои-с...

— Со своими законами можно в каторгу угодить, — буркнул терявший терпение Протасов.

— Каторга? Хе-хе-с. Бывал-с, бывал-с... Знаю, не застращаете. В тайге свои законы, в каторге — свои. Хе-хе, закон?.. Закон говорит: «Гладь рабочего по головке, всячески ублажай его». А царь говорит: «Давай мне больше золота». Кто выше — царь или закон? Ага, то-то...

— Рабочий, поставленный в нормальные условия, будет вдвое старательней, — сказал, кутаясь в шубу, Новиков.

— Черта с два, черта с два! — вскричал Ездаков. — Не оценит-с, поверьте, рабочий не оценит-с... И ежели по правилам поступать, золото-то во сколько обойдется? Что государь-то скажет, а? А рабочий — тьфу! Зверь и зверь. Только хвоста нет. Рабочий сдохнет, а на его место уж двадцать новых народилось. А золото-то, ого-го!.. Золото, я вам скажу, дорогая штучка. Золота в земле мало, а людей, этой плесени, этой мошкары боговой, хоть отбавляй. Да я людишек в грош не ставлю.

— Наглец! — сказал себе под нос инженер Протасов, а Прохору эти подлые речи — как маслом по душе.

Не торопясь, нога за ногу, подошли к главной шахте.

— Прежде чем спуститься в штрек, я должен вам сказать следующее. — И низкорослый инженер Новиков поднял на Прохора глаза и волосатые ноздри. — Здесь самый богатый золотоносный слой идет на

значительной глубине, то есть он простирается в пределах вечной мерзлоты. Значит, что ж? Значит, для облегчения труда приходится прибегать к оттаиванью пород. Как? Вам известно. В забоях и штреках усиленно жгут костры. А вентиляция, где она? Нету вовсе, или самая первобытная — сквознячки. Значит, что? Значит, страшный дым, угар, постоянная угроза здоровью рабочих. Я вам должен заявить, что правительственный надзор этого потерпеть не может.

— Да будет, будет вам песни-то петь, — сладко прищурившись, загнусил Фома Григорьич Ездаков. — Какой угар, какой дым? Да с чего вы взяли, господа? Да вы бы посмотрели, в каком дыму парятся мужики в банях по-черному... И ничего... А курные избы? Вы видели? И ничего — живут. Живут и бога благодарят.

— Мужики могут жить как им угодно и как угодно могут благодарить бога, рабочие же...

— Ну, бросьте, — сказал Прохор. — Давайте спускаться.

В соседней теплушке они надели длинные непромокаемые сапоги, брезентовые пальто и широкополые кожаные шляпы.

Спуск в шахту очень неприятен. Темный, сырой колодец глубиною пятнадцать сажен. Обыкновенная, из жердей лестница, вроде тех приставных лестниц, по которым влезают на крыши. Прохор спускался последним. Было противно хвататься за скользкие ступеньки, густо покрытые липкой грязью. Лестницы расположены по винтовой поверхности и были подвешены почти вертикально. Опасен момент перехода с лестницы на лестницу. Надо уцепиться за скобу, крепко вбитую в стену, прозеваешь — сорвешься в пропасть, в смерть.

— Эй, слушайте! Тут темно... Не вижу, — перетрусил Прохор.

— Хватайтесь за скобу! Осторожней! Не оборвитесь...

Со стен, чрез неплотную обшивку, струилась вода. Снизу шел промозглый холод, сдобренный угарной окисью углерода и парами газов от динамитных

подрывных работ. У Прохора гудело в ушах, кружилась голова.

Спустились в сырой полумрак. Два градуса тепла по Реомюру. Кой-где мерцали электрические лампочки. Под ногами хлюпающая, по щиколотку, грязь. Ноги скользят, вязнут, спотыкаются. Сюда обильно проникают грунтовые воды из окружающих шахту напластований. Сверху, с боков бежит вода — то струйками, то значительным потоком.

С десяток плотников, одетых в непромокаи и широкополые шляпы, напрягая все силы, устраивали из тяжеловесных брусьев крепи. Со всех сторон и сверху их поливало грязной жижей. Вода сочилась в рукава, за воротник. Измокшие плотники, грязные, как черти, работали с надрывом, с проклятиями, с руганью.

— Сколько, ребята, получаете? — нарочно громко спросил Протасов.

— Рубль семьдесят на сутки, будь он проклят! — озлобленно закричали рабочие. — Прямо смерть, что над нами хозяин делает.

— А какова продолжительность рабочего дня?

— Разве вы, Протасов, забыли? — поморщился Прохор.

— Я-то не забыл. Но мне кажется, что об этом забыли вы, — кольнул Протасов.

Плотники, бросив работу, шумели. Плечистый старик крикливо жаловался:

— По одиннадцать часов без передыху дуем. В этакой-то мóкрети... Хвораем, мрем... Господин Протасов, это, кажись, ты? Объясни хозяину. Сил нет.

Неузнанный Прохор надвинул на глаза шляпу, зарылся носом в воротник пальто. Он хотел спрятаться от самого себя. Вид говорившего старика «мазилки» был ужасен. Впалые щеки густо заляпаны мокрой грязью, по седой бороде — грязь; уши, нос, все лицо в грязи, грязные руки в суставных ревматических буграх.

Всюду грязь, кругом грязь, мрак, журчание воды, сплошные хляби. Прохора бил озноб. Прохора одолевал физический холод.

Серыми тенями шмыгали тачечники, ка́тали, бадейщики. Вдали, по коридорчику направо, слышно, как сталь ударяла о камень, въедалась в золотоносную жилу, добывая Прохору славу и богатство. Где-то прогремел взрыв, где-то рушились камни и раздался стон. Вот тоскливая песня пронеслась и смолкла, утонув в проклятии. Пыхтящие вздохи, матерщина, грубый, злобный разговор и — вновь проклятия.

— Пойдемте наверх, — не выдержал Прохор.

Свет солнца ударил в глаза, грудь с жадностью вдохнула в себя бодрящий свежий воздух.

В теплушке переоделись.

— Конечно, не первоклассно, — загугнил, подхехекивая, Ездаков. — Но бывает и хуже... Ох, много, много хуже бывает. А мы что ж, мы в этом прииске работаем внове, еще не оперились... Торопиться нечего. Помаленьку наладим.

Протасов сердито нагнулся к топившейся железной печке и закурил папиросу.

— На месте правительственного надзора, — сказал он, — я бы или закрыл этот прииск, или предложил владельцу в кратчайший срок переоборудовать его.

— Я на этом принужден буду настаивать, — внушительно подтвердил инженер Новиков, подняв на Прохора брови, глаза и ноздри.

— Ха! — раздражительно воскликнул Прохор. — Да вы, господа, кто? Вы социалисты или слуги мои и государевы?

Новиков попятился и разинул рот, бубня:

— При чем тут социализм? Странно, странно.

— Я вашим слугой в прямом смысле никогда не был и не буду, — вспылил Протасов. — Я служу делу. В крайнем случае мы можем в любой момент расстаться.

Прохор испугался: Протасовых на свете мало.

— Андрей Андреич, ради бога, успокойтесь, что вы... Я вами очень дорожу. — И Прохор заискивающе потрепал Протасова по плечу, а на Ездакова крикнул: — Иди, Фома Григорьич, на работы!.. Чего ты тут околачиваешься...

— Слушаю-с...

Наступал вечер. Осмотр остальных предприятий был назначен на ближайшее время. Протасов все-таки настоял, чтоб хозяин с жилищными условиями рабочих ознакомился сегодня же.

— Мы заглянем, хотя бегло, кой в какие бараки, там, в поселке.

Прохор скрепя сердце подчинился.

Двинулись по снежку домой. Уныло звякали бубенцы тройки. Справа черная бахрома тайги дымилась желтоватым светом: всходила ранняя луна. Темным вечером приехали в поселок. Унылый вид бараков и казарм, куда летом Протасов водил Нину, в зимнее время был еще неприглядней. Какие-то кривобокие, подпертые бревнами, они до самых окон и выше были забросаны снегом. Снег поливали водой, утрамбовывали. Это предохраняло от ветра, врывавшегося в плохо проконопаченные пазы. В сильные морозы в бараках нестерпимый холод: мокрые сапоги примерзали к полу, по стенам, в углах, на потолке иней.

Вошли в барак для семейных. Дымно, душно; воздух, как в бане, пропитан испарениями. Над очагами сушились сырые валенки, всюду развешаны мокрые штаны, рубахи, прелые портянки. Вонь, пар. На гвоздях висят облепленные тараканами тухлые куски мяса, вонючая рыба, селедки.

— У нас на работе почти нет теплушек, — сказал Протасов. — Я несколько раз указывал на это Прохору Петровичу. Поэтому, выйдя совершенно мокрым из шахты, рабочий должен бежать домой иногда верст семь. При наших морозах это бесчеловечно. Вот видите, все сырое сушится здесь. А где рабочий моется, где чистится — такой грязный после работ и разбитый? Все здесь же, вот из этих рукомойников.

— На то есть баня, — возразил Прохор.

— В баню рабочие по очереди попадают два раза в год...

— Позор, позор! — пожимая плечами, прошептал Новиков.

Рабочие собрались еще не все, а иные ушли в ночную смену. Те, кто успел поужинать, укладывались

спать. В казарме, когда-то выстроенной на сорок человек, помещалось полтораста. Страшная теснота заставляла многих спать на холодном земляном полу. Там же, поближе к очагам, спали вповалку и дети. Простуда, болезни не выводились. По казарме, вместе с крупной перебранкой, шел затяжной кашель, хрипы, оханье. Казарма напоминала больницу, или, вернее, грязную ночлежку последнего разбора.

Измученные тяжелой работой люди не обращали ни малейшего внимания на комиссию с хозяином во главе. Впрочем, присутствие хозяина-рвача их злило. Многих подмывало сказать ему в глаза дерзость, обложить его крепким словом, но не хватало духу, — трусили. Бабы были смелей. Лишь только Прохор присел возле очага на лавку, как его окружили женщины и наперебой стали зудить ему в уши.

— Я Анна Парамонова, — кричала грязная, но смазливая лицом бабенка. — Твой Ездаков — чтоб ему в неглыбком месте утонуть — назначил меня к себе для увеселительного удовольствия и стал приставать ко мне, я дала отпор, — он потребовал моего мужа в раскомандировочную и выдал немедленно расчет.

— Я Василиса Пестерева, — жаловалась тщедушная, с трясущимися руками женщина. — Меня десятник назначил таскать бревна, а я сказала, что страдаю женскими болезнями, отказалась. Тогда он меня оштрафовал и обозвал нелегальным словом, матерно, и обсволочил.

— А вот запиши, хозяин, — лезла чернобровая со смелыми глазами тетка. — Я Настя Заречная. Меня обходной назначил мыть полы у холостых. Конторщик стал выражаться напротив меня, что нам не надо такую гордую женщину, она не позволяет до себя дотронуться и не хочет понять насчет проституции... И все это мы делаем, то есть моем полы бесплатно. Тьфу ты прорва!

Прохор эту ночь спал плохо, с перебоями. В раздумье подводил итоги всему виденному за день. Сплошной провал в душе. Надо как-нибудь направить

дело иначе. Надо обуздать свою натуру, раздавить в себе дух непомерного стяжания, повернуться сердечной теплотой к народу.

Но ведь цели еще не достигнуты, вершины жизни еще не взяты приступом, война за обладание собственным счастьем еще идет. К черту малодушие, слюнтяйство! И пусть засохнет Нина со своим Протасовым. Только сильные побеждают, а на победителя нет суда, победитель всегда прав.

Итак, беспощадной ступью прямо к цели. Прочь с дороги, страхи, призраки, писанные для дураков законы! Над Прохором едина власть: он сам и — золото.

Гордый, черный, весь во мраке, Прохор, наконец, уснул.

18

Прошло еще два дня. Осмотр закончился. Представитель правительственного надзора инженер Новиков вручил Прохору протокол осмотра с настойчивым требованием приступить к немедленному устранению замеченных в работе упущений. Прохор дал обещание все в точности исполнить, расцеловался с Новиковым, устроил ему прощальный ужин и приказал конторе выписать придирчивому инженеру пятьсот рублей за особые просвещенные его услуги по осмотру громовских предприятий. Инженер Новиков остался всем этим очень доволен и уехал восвояси в центр.

К вечеру была подана быстрая тройка. Нина с Протасовым и Верочкой удобно уселись на мягких, прикрытых коврами подушках. Прохор провожал их опечаленный, растерянный. Взгляд его блуждал от жены к дочке и к Протасову.

— С богом! — махнул он шапкой.

Зверь-тройка, взыграв гривами и медью бубенцов, рванулась. Сердце Прохора Петровича вздрогнуло, заныло. Призрак грустного одиночества дохнул ему в лицо. Прохор постоял на крыльце, надел шапку и,

нога за ногу, поплелся в дом. Сквозная пустота в дому, не слышно четких, легких шагов Нины, не звенит голос щебетушки Верочки.

По сумрачным углам затаились пугающие шорохи и чьи-то вздохи. На Прохора со всех сторон надвинулись шкафы, стулья, портьеры, старинные, в футляре, часы, чьи-то юбки, вонючие валенки, мокрые портки, люди, рабочие, разбойники, спиртоносы, и с присвистом задышала в нос простуженная глотка Фильки Шкворня.

Прохор передернул плечами, быстро зажег люстры, канделябры, бра. И все в мгновенном беге бесшумно отхлынуло от него прочь, все стало на свои места: яркий свет, пышное убранство залы и милая, прощальная улыбка с настенного портрета Нины.

— Нина, Ниночка... Прощай!.. Надолго.

Прохор сел у камина в кресло и зажмурился: зверь-тройка мчится птицей, бубенцы поют, и, посвистывая, напевает ямщичок, Нина улыбается Протасову. Верочка дремлет, убаюканная свежим воздухом и тихим светом луны. Зверь-тройка скачет, скачет, поет ямщик. Протасов целует Нине руку, и кто-то целует руку Прохора.

Прохор вздрогнул и с тяжким вздохом открыл глаза: волк ласково вскочил ему на колени и, размахивая хвостом, стал целовать владыку своего в лицо. Машинальным взмахом руки Прохор сбросил волка, но ему вдруг стало стыдно, подозвал его к себе, обнял и прижался щекой к пушистой шерсти.

— Волчишко, дурачок... Верный зверь мой... Единственный!

Волк кряхтел, переступал лапами, мотал башкой, норовя с ног до головы облизать хозяина.

— Ну, садись... Где Нина?

— Гаф! — ответил волк.

Прохор вынул платок и посморкался.

— Барин, вас к телефону, — бросила пробегавшая Настя. — Разве не слышите?

— Слышу.

Прохор пошел в кабинет.

— Алло! Наденька, ты!

— Я. А мне можно к вам прийти чайку попить? Скука.

— Сейчас нет. Я болен.

— Жаль. Тяжело мне очень. Посоветоваться бы. И как вы могли Нину Яковлевну отпустить с Протасовым, с мужчиной?

— Что ж, по-твоему, в провожатые ей нужно бы послать Фильку Шкворня?

— Зачем? Например, пристава, Федора Степаныча...

— А он еще не застрелился?

— И не думал даже. Он себя стрелять не может. Он кажинный божий день пьян, хоть выжми. Пьет да плачет, пьет да плачет. А сейчас уехавши.

— Когда вернется?

— Обещал быть в эту ночь.

— Скажи ему и самым серьезным образом, — я это требую! Скажи, что завтра в полдень я посылаю с нарочным бумагу губернатору.

И Прохор повесил трубку.

В десять часов вечера в кабинете Прохора было совещание с инженерами и техниками. Вот-вот должна вскрыться река, воды нынче ожидаются высокие, как бы не смыло сложенные на берегу штабеля шпал. Что делать? На двух пароходах и трех паровых буксирах ремонт закончен. Лед возле них одалбливается. Но есть опасение, что при большой воде ледоход может направиться чрез дамбу в затон и перековеркать пароходы. Что делать? Не устроить ли в спешном порядке свайные кусты и ледорезы?

Прохор решал дела быстро, с налету:

— Вода нынче будет средняя. Ледорезы ни к чему. Ответственность принимаю на себя.

Рассматривались чертежи заводских построек, профили и трассы новых взятых с подряда у казны дорог, где работа с наступлением весны должна

развернуться во всю ширь. Решался вопрос о сооружении чрез реку понтонного наплавного моста для соединения железнодорожных веток, ведущих от резиденции «Громово» к главной магистрали. Постройка железных дорог радовала Прохора: будущие пути свяжут все его предприятия с культурным миром; по ним потекут добытые из недр земли сокровища, и Прохор еще более обогатится. Работу эту он вершил на половинных началах с казной и в спешном порядке. Два инженера и техник Матвеев возбудили разговор о том, что срочные работы требуют напряженного труда. Меж тем рабочие, что называется, «бузят», «тянут волынку», от дела не бегут, но работают через пень-колоду. Получается впечатление итальянской забастовки.

— Что вы намерены предпринять? — спросил Прохор собеседников.

— Мне кажется, — сказал техник Матвеев, сделав строгие и в то же время улыбающиеся глаза. — Мне кажется — единственная мера к поднятию в рабочих трудоспособности...

— Стойте! — поднял руку Прохор. — Головку крикунов гоните вон, а старательным сдавайте работы сдельно. Понятно? Кончено. Ну-с, дальше!

Сложные вопросы отложены до следующего совещания. Прохор завалился спать.

В семь с половиной часов утра он был поднят Настей. Контора, заводы, шахты то и дело звонили по телефону. У телефона в кабинете сидел затесавшийся с утра Илья Петрович Сохатых. Прохор, быстро растираясь с ног до головы принесенным Настей снегом, отдавал чрез Илью распоряжения:

— Зачем ты в такую рань прилез? Ведь сегодня праздник, спал бы. Достань-ка сапоги.

Илья Сохатых с поспешностью нырнул под кровать и, подавая хозяину сапоги, весь распустился в улыбке, как сахар в воде:

— Прохор Петрович! Я осмелился принести вам чрезвычайно радостную весть, которая вас должна поразить.

— Что, самородок пудовой, что ли, обнаружился на моих приисках?

— Никак нет, лучше всякого самородка! То есть, согласно биологии, конечно, да. Дело в том, что моя супруга, по истечении восьмого года нашей обоюдной женитьбы, изволила забеременеть дитем.

Стали собираться на совещание инженеры и техники. Илья Сохатых наскоро простился и побежал благовествовать по всем своим знакомым.

К семейной радости Ильи Петровича каждый отнесся по-своему. Наденька фыркнула, Анна Иннокентьевна безнадежно покачала головой:

— И как вам не стыдно об этом говорить?

Кэтти поджала губки и сказала:

— С чем вас и поздравляю.

Мистер Кук поднял палец и обе брови:

— О! Вот это здорово. Ха-ха!..

Его лакей Иван широко осклабился, задвигал, как конь, ушами и, фамильярно пожимая будущему счастливому отцу руку, произнес:

— Желаю счастья, желаю счастья. А кто: мальчик или девочка?

Дьякон Ферапонт едва не задушил Илью в своих объятиях, едва не зацеловал.

— Милый друг! Неужто? Манечка, а коего ж рожна мы-то с тобой зеваем?!

Вернувшись домой, словно на крыльях, Илья Сохатых бросился целовать и в двадцать пятый раз поздравлять жену с чудесным зачатием.

— Дурак, О-враам! — хохотала она. — Ничего подобного. Ведь сегодня первое апреля.

19

Угрюм-река вскрылась пятого апреля. Потоки с гор бешено подпирали воду. Спина реки напружилась, вздулась, посинела. Лед хрустнул в ночь. И целую неделю при мокром снегопаде — ледоход.

Но вновь наступили солнечные дни, белоносые грачи суетливо вили гнезда, вся тварь ожила, всто-

порщилась, славила природу. Приближалась пасха. А назавтра Прохором был объявлен праздник торжественного открытия навигации. Надо ж, черт возьми, встряхнуться! Тоска по Нине в напряженнейших заботах улеглась, жизнь крутится обычным быстрым ходом.

Меж тем Нина успела добраться до реки Большой Поток и «бежит» на пароходе к своей матери. Протасов, проводив хозяйку, неторопливо ждет прибывающие с первым караваном механизмы, котлы, турбины для оборудования громовских заводов. Эти грузы, направленные петербургскими фирмами по железной дороге, плывут теперь водой. Протасову надо организовать сухопутный транспорт. Дело хлопотливое. Потребуется больше сотни лошадей и устройство трех особых телег-повозок, подымающих до тысячи пудов каждая.

На пристани пароходства купца Карманникова были ремонтные мастерские. Протасов решил их использовать. Местная колония политических ссыльных имела и десятников, и техников, и опытных механиков. Вообще в рабочей силе недостатка нет: пристань расположена в знаменитом селе Разбой, с зажиточным, разжиревшим на темных делах людом.

С этим мрачнейшим селом мы еще успеем познакомиться вплотную. Мы прибудем сюда вместе с громовской приискательской «кобылкой», когда она, получив расчет и обогатившись самородками, хлынет в село Разбой, чтоб ехать дальше. Мы раскроем стены изб, лачуг, домищ, мы рыбой нырнем в Большой Поток, мы зорко заглянем в таежные окраины, чтоб все знать, все видеть, чтобы подсчитать число убитых, чтоб взвесить человеческую кровь и цену жизни.

А пока полюбопытствуем, как справляется Прохором водный праздник.

Еще накануне на берегу Угрюм-реки, у пристаней были устроены на тысячу человек дощатые застолицы. Трехцветные флаги на высоких шестах пестрели вблизи будущего пиршества.

Ровно в полдень ударила пушка. Народ повалил к пристани. Солнечный воскресный день. Возле дома Прохора Петровича толпа из двадцати человек десятников, слесарей, кузнецов, плотников. Все, как на подбор, — крепкие, грудастые, непохожие на громовских рабочих. Среди них дьякон Ферапонт и, конечно же, Илья Сохатых. Ватага застучала в окна, заголосила с причетом:

Эй, слуги и всякие звери,
Открывайте дубовые двери,
Впущайте гостей
Со всех волостей
Хозяину с проздравкой!

Гостей впустили в кухню. К ним, как всегда, вышел Прохор. Он совершенно голый, но в валенках и пыжиковой дохе. Вся кухня закричала:

— С проздравкой к тебе, хозяин! Река вскрылась, лед унесло, а нас тихим ветром к тебе принесло. С водичкой тебя!

— Ну что ж, спасибо. Меня с водичкой, а вас с водочкой... Заходи, ребята, в комнаты!

Толпа села у порога на пол и быстро стала стаскивать с ног «обутки». Грязнейшие, заляпанные глиной сапоги ставились в угол, к плите. У всех, как по уговору, новые портянки; у дьякона Ферапонта портянки длинные, аршина по три, а сапожищи впору взрослому слону. Вся громовская челядь: горничная, кухарка, повар, нянька и кучер с двумя конюхами неодобрительно посмеивались.

Гости вымыли руки, вытерли их об штаны, высморкались на пол, на цыпочках проследовали за хозяином в столовую. Илья Сохатых — в голубых, с желтыми шнурами ботинках, с моноклем в глазу. Лицо выбрито, напудрено, длинные кудри умащены помадой «Я вас люблю».

Спешно выпили по одной, по другой, по третьей; наскоро, давясь, подкрепили себя селедочкой, сырком, копчушками. Дьякон Ферапонт положил в запас за щеку кусок леща. За окнами затрубил духовой оркестр, зазвенели бубенцами кони пожарников, за-

сверкали, как солнце, начищенные каски. Пожарная дружина с развернутым красным знаменем строилась вдоль садовой ограды.

— Готово?

— Готово, хозяин, можно выходить.

...Прохор сегодня весел и приветлив. Причина такого редкого настроения — свиданье с приставом. Три дня тому назад, когда кончился срок поставленного Прохором условия, в одиннадцать часов утра к Прохору явился пристав в парадной форме, в чистейших замшевых перчатках. Дело было в кабинете. Прохор сидел за столом, щелкал на счетах, волк торчал на привязи в углу, возле камина. Пристав запер за собой дверь на ключ, мельком взглянул на волка, бросил на пол шапку, бросил перчатки, бросил портфель и повалился пред Прохором на колени.

— Прохор Петрович, умоляю, не губите!.. Мне пятьдесят четвертый год... Я верой и правдой... Вам одному, только вам...

Прохор выпрямился, стал подымать пристава:

— Федор Степаныч, что ты! Встань... Да встань, тебе говорят...

Пристав тяжело встал, пошатнулся, выхватил платок, отер им мокрые глаза и щеки. Его удрученное, сильно постаревшее за эти дни лицо испугало и в то же время обрадовало Прохора.

— Ну, что? Боязно стреляться-то?

Пристав горестно замигал, скривил прыгавшие губы, замотал облезлой головой и, подняв с полу портфель, с тяжким вздохом вытащил из него небольшой, заклеенный пятью сургучными печатями пакет:

— Вот, извольте, Прохор Петрович. Игра наша кончена. Простите меня, подлеца... Теперь верой и правдой...

Дрожащими пальцами Прохор вскрыл пакет, стал внимательно рассматривать бумаги. Пристав стоял навытяжку, как солдат пред грозным генералом. Прохор сопел, пофыркивал носом, щеки дергались. Он затеплил свечу, еще раз перечитал полуистлевший

документ — тот самый, что везла Анфиса прокурору, и сладостно сжег его на пламени свечи.

— Как он попал тебе в руки?

— Изъял у почившей Анфисы Петровны. И напоминаю вам, Прохор Петрович, что дом Анфисы со всеми против вас уликами подожжен мной... То есть не мной лично, а бродягой; он, по пьяному делу, пожалуй, и сам сгорел там. Этим я спас вашу честь. Иначе...

Прохор поморщился, сердито спросил:

— Как же ты рассчитывал повредить мне этим документом? Срок давности злодейских дел моего деда Данилы давным-давно прошел...

— Путем опубликования этого документа в столичной печати... С комментариями, конечно. Нашлись бы люди, любители этих штучек, раздули бы возле дела тарарам. Вашей репутации не поздоровилось бы.

Другая бумага: особое мнение губернского врача-психиатра, ныне умершего. Врач считал, что купец Петр Данилыч Громов в психическом смысле совершенно нормален, что ему, врачу, не известны данные, которыми руководствовалась вторично назначенная испытательная комиссия, признавшая здорового человека сумасшедшим, а также не известны мотивы, по которым сын Петра Громова желает заточить отца в дом умалишенных. В заключение врач считает, что в темное это дело должен вмешаться прокурорский надзор.

Прохор сжег эту бумажку с особым сладострастием.

— Как добыл ее?

— Неисповедимыми судьбами.

Прохор ухмыльнулся, он знал, что у пристава во всяком городе есть закадычные приятели, такие же жулики, как и он сам.

Третий документ — острый, сокрушительный, как удар кинжала в грудь.

Это — подлинное письмо неистового прокурора Стращалова, судившего Прохора по делу об Анфисе. Перечитывая, спотыкаясь глазами и рассудком на

каждой фразе, Прохор дрожал мелкой дрожью, спина холодела, пальцы ног крючились, и темной тенью страха помрачилось все лицо его. Он был близок к обмороку. Чтоб взбодрить себя, втянул ноздрями большую затяжку кокаина. Секретная докладная записка на имя министра юстиции была отправлена прокурором чрез почтамт захолустного городишки, где был суд. Подкупленный почтовый чиновник выкрал записку для Иннокентия Филатыча, а пристав, подпоив простодушного старика, в свою очередь, выкрал записку у него. В документе прокурор Стращалов с неопровержимой логикой подробно излагал суть дела. После ошеломляющей понюшки Прохор читал бумагу, как интересный роман с вымышленными талантливым автором героями. Мрачные тени вокруг глаз Прохора исчезли, спрятались в зрачки. Бумага порозовела, строчки отливали золотом, казались ласковыми, чуть-чуть улыбались. Даже письменный стол стал теплым, а воздух напитался ароматом хвои. Но вот на последней странице автор романа твердо заявил: «Убийца Анфисы — Прохор Громов». Вдруг все закачалось, померкло, стол стал — лед, Прохор судорожно растерзал бумагу, крикнул:

— Мерзавец!! Как он смел?! Кто! Я, я убийца Анфисы?! Ты слышишь, Федор?! Ты слышишь?!

Прохор, взволнованный и старый, напоминающий Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова, ссутулившись, подошел к камину и швырнул сочинение прокурора в пламя.

Роман пылал, и пылало черным по золоту слово «Анфиса». Оно росло, наливалось кровью, оживало, и вот глянуло на Прохора скорбное лицо красавицы. Прохор отпрянул прочь, волк ляскнул клыкастыми зубами, пристав выразительно кашлянул. И та далекая, страшная грозовая ночь стала проясняться. Прохор подошел к столу.

— Все, все возвращаю вам... Даже это, — сказал пристав, продолжая стоять во фронт, как солдат пред генералом.

Прохор пробежал глазами памятку «о наших совместных с Прохором Петровичем Громовым делиш-

ках». Тут всего лишь было два тяжелых преступления, о которых Прохор прекрасно помнил. Остальное — мелочь. Прохор запечатал памятку в конверт и спрятал в потайное отделение несгораемого шкафа. Пристав еще выразительней подкашлянул и с ноги на ногу переступил:

— Зачем же это прячете? Сожгите.

Прохор не ответил.

— Сколько ты выпустил фальшивых кредиток?

— Клянусь честью — ни одной. Мы чеканили в «Чертовой хате» золотую монету выше казенной пробы. Оказали царю помощь, и больше ничего.

— Что от меня ждешь?

— Вашего доверия.

— Будь мне верным слугой, как раньше.

Тут внезапно — Прохор не успел мигнуть — пристав, задрожав усами и всем телом, выхватил из ножен остро отточенную шашку... Прохор вскочил, схватился за браунинг, волк захрипел, рванулся, задребезжал телефон, за окнами прогромыхала вскачь телега.

— Клянусь, клянусь вот на этой шашке! — заорал пристав неистово и встал перед Прохором на одно колено. — Я, бывший офицер, Федор Степаныч Амбреев, не забыл честь мундира, честь оружия.

Телега умчалась, зашевелившиеся на голове Прохора волосы успокоились, волк утих. Пристав целовал стальной клинок, от поцелуев клинок потел:

— Клянусь верой и правдой служить вам, Прохор Петрович, до последнего моего издыхания. Я взыскан вами, у меня есть деньги... Только умоляю, не трогайте мою Наденьку, умоляю, умоляю... и... вообще.

Пристав поперхнулся и заплакал, а волк удивленно замотал хвостом.

— Я выстрою тебе хороший дом, великолепно обставлю его. О Наденьке же будь спокоен. Прощай, Федор.

Пристав, утирая слезы, вышел, как шальной, а три дня спустя вышел вместе с гостями на улицу и Прохор.

— Носилки! Балдахин! — тоном придворного шута скомандовал Илья Сохатых.

Пышный, с золотыми кистями балдахин заколыхался на носилках, подплыл к Прохору. Величественно, как римский папа, Прохор воссел на трон власти и могущества.

Густая толпа зевак замахала шапками, закричала «ура». Дозорный на вершине башни «Гляди в оба» дернул за веревку, Федотыч поджег фитиль, пушка ахнула второй раз.

Блестя на солнце касками, двинулись пожарные, за ними — балдахин, несомый на плечах гостями. За балдахином — сотня конных стражников с пятью урядниками. Впереди них гарцевал на рослом жеребце — подарке Прохора — сам пристав, усы вразлет, глаза пышут вновь обретенным счастьем и — белые как снег перчатки. Сзади — густой толпой народ. Мальчишки с гиком обогнали всех, стаей мчались к берегу:

— Несут! Несут!

Гудели медные гудки пароходов и заводов, веселый шум и говор, каркали грачи, шарахались прочь куры. Три парохода и четыре катера выстроились борт в борт от берега к фарватеру.

Меся сапогами и копытами густую грязь, шествие, наконец, уперлось в берег.

Балдахин вплыл чрез дебаркадер на первый пароход «Орел».

— Полный ход вперед!

Буровя винтом воду, «Орел» двинулся от берега. За ним, шлепая плицами колес, поплескалась «Нина», за «Ниной» — «Верочка» и паровые катера. По середке реки разукрашенная флагами флотилия стала на якорь. Тысячная толпа, унизавшая берег, пялила глаза на пароход «Орел». На «Орле» — движение. Балдахин поднесли к борту. Прохор сошел с кресла, сбросил шубу, шапку, валенки, стал голый, приказал:

— Вали!

Его подхватили за руки, за ноги, раскачали и да-

леко швырнули с верхней палубы в воду. Он летел, раскорячив ноги, взлохмаченный, бородатый, как низверженный с неба сатана. Грохнула третья пушка. А стоявший возле борта дьякон Ферапонт опасливо покосился на беленький домик отца Александра и во все горло запел:

Во Угрю-у-ум-реке крещахуся тебе,
Про-о-хоре-е-е!

Берег взорвался криком «ура», полетели вверх шапки, загудели пароходы, грянул оркестр, а две пушки раз за разом сотрясали воздух.

— Утонет, — говорили на берегу.

Нет... Белому телу вода рада, не пустит.

За Прохором бросился в воду и мистер Кук, спортсмен. Желая стать героем дня, быстро раздевался, рвал на подштанниках тесемки и Сохатых. Он трижды с разбегу подскакивал к борту, трижды крестился, трижды вскрикивал: «Ух, брошусь!» — и всякий раз, как в стену — стоп! Палуба покатывалась со смеху. Илья Петрович, одеваясь, говорил: «Ревматизм в ногах... Боюсь».

Ошпаренный ледяной водой, Прохор глубоко нырнул, отфыркнулся и, богатырски рассекая грудью воду, поплыл на «Орел». Весь раскрасневшийся, холодный, ляская зубами, он накинул доху, всунул ноги в валенки.

— Ну вот. С открытием навигации вас... Теперь гуляем, — и пошел в каюту одеваться.

Пароходы двинулись с музыкой на прогулку по теченью вниз. В кают-компании пировала знать, на палубе — публика попроще.

Начался пир и в народе. Гвалт и свалка за места, за жирный кус. Особенно шумно и драчливо в застолице приискательской «кобылки». Но вот пробки из четвертей полетели вон, челюсти заработали вовсю, аж пищало за ушами. Тысяча счастливчиков отводила душу, а многие сотни, не попавшие за стол, в обиде начали покрикивать:

— Тоже... порядки... По какому праву не на всех накрыто?!

— Мы стой да слюни глотай! А они жрут.

Крики крепче, взоры свирепей.

— Надо хозяина спросить. Почему такое неравненье?..

— Мы вровень все работаем, пупы трещат. А он, стерва гладкая, что делает? Любимчикам — жратва, а нам — фига...

— Обсчитывает да обвешивает... Штрафы... Жалованьишко плевое. А тоже, сволочь, в водичку мыряет по-благородному, из пушек палит, как царь... Его бы в пушку-то!..

Тут стражники с нагаечкой:

— Расходись! Не шуми!.. Мы рот-то вам заткнем.

И пристав на коне.

— Ребята, имейте совесть! Хозяин делает рабочему классу уваженье, праздник... А вы... Что же это?

— Наш праздник первого мая!

— Молчать!! Кто это кричит?.. Урядник, запиши Пахомова!.. Эй, как тебя? Козья борода!

Прохор поднял двенадцатый бокал шампанского, пушка ударила пятидесятый раз.

— Пью за здоровье отсутствующего Андрея Андреича Протасова. Урра!..

— Уррра!.. — грянул пьяный пароход, и паровые стерляди потянулись хороводом из кухни в пир.

Техник Матвеев поднял рюмку коньяку за здоровье всех тружеников-рабочих — живую силу предприятий.

И возгласил Прохор громко, властно:

— Можешь пить один. А не хочешь, до свиданья.

Всем стало неприятно, все прикусили языки. Только дьякон Ферапонт, икнув в бороду, сказал:

— За рабочую скотину выпить не грешно, друзи моя. Се аз кузнец, сиречь рабочий. Пью за всю рабочую братию!.. И тебе, Прохоре, друже мой, советую. — И дьякон рявкнул во всю мочь: — Урра!..

Винные лавки и шинки работали на славу. Возле кабака, на коленях в грязи, без шапки, вольный искатель-хищник Петька Полубык. Он пропил золо-

тую крупку и песочек и вот теперь, сложив молитвенно руки, бьет земные поклоны пред толстой целовальницей Растопырихой, заслонившей жирным задом дверь в кабак.

— Мать пресвятая, растопырка великомученица, одолжи бутылочку рабу божьему Петрухе до первого фарту...— И тенорочком припевает: — Подай, господи-и-и...

— Проваливай, пьянчужка, пока я те собакам не стравила. Безбожник, дьявол! — кричит басом Растопыриха.

Петька Полубык быстро подымается, рыжая проплеванная борода его дрожит, глотка изрыгает ругань. «Да нешто я к тебе хожу? Горе мое к тебе ходит, а не я».

Растопыриха, крепко сжав вымазанные сметаной губы, задирает подол и быстро шлепает чрез грязь босыми ногами к пьянице.

— А ну, тронь!

Растопыриха, развернувшись, ударяет его в ухо, пьяница молча летит торчмя головой в навоз.

Пьяных вообще хоть отбавляй. Не праздник, а сплошное всюду озлобление. Немилому хозяину припоминается все, ставится в укор всякая прижимка, всякая неправда, даже тень прижимки и неправды, даже тень того, чего сроду не бывало и не могло случиться. Но, уж раз лед тронулся, река взыграла, ледоход свое возьмет: потопит низины, принизит горы, смоет всю нечисть с берегов.

Праздник гоготал на всю вселенную свистками пароходов, буйством, криками, пушечной пальбой. И солнце село за тайгу, опутанную пороховой вонью и сизыми дымками.

Поздно вечером в бараках и в домишках начались скандалы и скандальчики.

Столяр Крышкин, немудрящий мужичонка с мочальной бородой, был лют в праздник погулять. Он спустил в кабаке все деньги, сапожишки с новым картузом и пришагал к родной избе, чтоб выкрасть кривобокий самовар в пропой.

Месяц перекатился в небе, глянул вправо. И мы за ним.

Барак. Сотни полторы народу. Раньше жили здесь семейные, теперь, с развитием работ, сюда затесалось много холостых. Чрез весь барак — боковой коридор. Справа — скотские стойла для людей. В каждом стойле живет семья. В коридоре инструменты: кирки, ломы, лопаты, всякий хлам. Тут же, на скамейках или вповалку на полу, спят парни. Их называют «сынками». А замужних баб, готовящих «сынкам» пищу, обшивающих «сынков», стирающих им грязное бельишко, называют «мамками». Абрамиха, грудастая, кривая баба, жена забойщика, имеет пять сынков. Они платят ей по пятерке с носу в месяц. Иногда случается, что, когда муж на ночной работе, сынки спят с нею. Сынкам хорошо; мамке все бы ничего, да грех; мужу денежно, но плохо.

Обычай этот давным-давно крепко вкоренился в жизнь — и выгодно и смрадно. Женщин среди рабочих мало, самка здесь ценится самцами, как редкий соболь. Отсюда — поножовщина, разгул, разврат. Слово «разврат» звучное, но страшное. Однако не всякая таежная баба его боится. Проклятая жизнь во мраке, в нищете, в подлых нечеловеческих условиях труда толкает бабу в пропасть. Баба падает на дно, баба перестает быть человеком.

— А-а-а! — нежданно вваливается в барак пьяный забойщик Абрамов. Он плечом срывает с петель дверь в свое стойло, с размаху бьет по морде спящего на его кровати толсторожего «сынка», хватает за косу жену, пинками грязных бахил расшвыривает по углам заплаканных своих ребят, орет:

— Топор! Топор!.. Всем башки срублю!

Месяц перекатился влево. И мы за ним.

Будь здесь Нина, пожалуй, Прохор Петрович не посмел бы распоясаться вовсю.

Вот они, спотыкаясь и хрюкая, вылезли из громовского дома, обнялись, как хмельные мужики, за шеи и вдоль по улице густо месят грязь штиблетами, модными туфлями, лакированными, в шпорах, сапогами. В корню простоволосый Прохор, справа —

пристав, слева — мистер Кук с погасшей трубкою в зубах; за шею Кука держится Илья, за шею пристава, как матерый на дыбах медведь, дьякон Ферапонт. Пьяная шеренга, выделывая ногами кренделя, то идет прямо, то вдруг, как от урагана, вся посунется вправо, двинется в забор и бежит к канаве, влево.

Кто во что горазд, как быки на бойне, они орут воинственную песню:

Мы дружно на врагов,
На бой, друзья, спешим!!!

— и валятся в канаву. Сопровождавшие их стражники соскакивают с коней, выпрастывают очумелых людей из грязи, говорят:

— Васкородия, отцы дьяконы, господа... Будьте столь добры домой... Утонете... Недолго и захлебнуться.

Обляпанные черным киселем господа мычат, лезут в драку, валятся. На кудрявой голове Ильи Сохатых полтора пуда грязищи. У мистера Кука тоже не видать лица: из слоя грязи торчит обмороженный нос да трубка.

Урядник командует с коня:

— Сидорчук! Мохов!.. Лыскин! Волоките их, дьяволов, за руки и за ноги домой. Тычь дьякона-то в морду. Они все, черти, в бессознании...

...Месяц закрылся черной тучей. В тайге мрак и тишина. Но вот движется-мелькает огонек. Это Филька Шкворень. И мы за ним.

Филька в бархатной синего цвета «надевашке». Он прямо с гулянки, но трезвехонек, притворился пьяным и утек. За голенищем Фильки нож, в руке маленький ломик-фомка и фонарь. Глаза разбойника горят. Горе оплошавшему: раз — и череп как горшок.

Вдруг — еще фонарик.

— Гришка, ты?

— Я, — ответил тот самый Гришка Гнус, что оконфузил в церкви Нину, бросив на тарелку старосты двадцать пять рублей.

Они вступили на прииск «Новый», изрезанный ямами, канавами. Ночь как сажа. Шли зорко, чтоб не ухнуть в провал и не захлебнуться. Кое-где под ногами похрустывал, как соль, снежок; вязкая, раздрябшая глина засасывала ноги.

— Стоп! Кажись, здесь.

Филька ломиком сорвал замок, и оба хищника спустились в шахту. Стальные кайлы в руках богатырей заработали с лихорадочным усердием. Часа чрез два Филька Шкворень вылез. Гришка Гнус — бадья за бадьей — подавал ему золотоносный песок. Заработал вашгерд. Промывка шла успешно. Золотые крупинки крупны. Хищники дрожали от холода и внутреннего волненья.

— Богатимое золото, — шепнул Шкворень.

— А то — целый год хлещемся в забое, и хошь бы хрен...

— Дурак!.. Эту жилу я нашел знаешь когда? Еще в позапрошлый понедельник. Напоролся на нее, да ну скорей каменьем заваливать. А ты думал, как?

— Фартовый ты парень, язви тя!..

Из падей и распадков потянуло с гольцов резким предутренним холодом. Хищники торопливо елозили огоньками фонарей по дну вашгерда.

— Сбирай, благословясь, крупку... На мой взгляд, фунта три с гаком, — прошептал Шкворень.

Стукаясь во тьме лбами и сопя, они стали снимать совочками добычу и ссыпать ее в кожаную сумку. Руки их тряслись, дрожало сердце, и все куда-то провалилось сквозь землю, только глаза горели, клокотал пыхтящий хрип в груди и подремывали с запотевшими стеклами фонарики.

И в токах леденящего холода с гольцов восстал из тьмы занозистый, с подковыркой, голос Ездакова:

— Помогай бог!.. Что, крупка?

Фонарики — фук! — и скрылись. Хищники испуганными крокодилами поползли на брюхе прочь.

И грохнул, как гром, выстрел, за ним — другой. Вся тайга всполошилась и загрохотала. Раскатистое эхо, барабаня в горы, в небеса, во мрак, оглушало хищников, будило всякую тварь: зверей, птиц, человека. Осторожно, чтобы не рухнуть в яму, затопотали кони, посвист и боевые крики стражников стегали воздух, выстрелы бухали часто, нервно, как на войне при неожиданной ночной атаке.

И слышались окрики Фомы Григорьевича Ездакова:

— Сволочи! Ах, сволочи!... Так-то вы караулите хозяйское добро?!

Проскакавший во тьме всадник едва не растоптал Фильку Шкворня — и дальше. Филькино сердце обмерло, упало, и сам он свалился в глубокую яму с холодной жижей.

Шумнула, крепко завыла тайга, поднялся ветер, дождь. И ничего не разобрать, есть кто живой иль непогодь всех смела с земли. Филька Шкворень в яме коченел. Взмокшая, обляпанная грязью бархатная надевашка невыносимо знобила тело. Нет сил бороться с холодом. Яма глубокая, — не выбраться. Прошел, пожалуй, целый час. Повалил густой липкий снег. Он быстро сровняет Филькину могилу с землей. В лютых муках умирать страшно. Ледяная грязь успела засосать Фильку по горло. Неминучая смерть пришла... Борода Фильки затряслась. Он скривил рот, всхлипнул:

— Отходили мои ноженьки. Прощай, белый свет. Прощай!

Но в угасающем сознании вдруг встал ослепительный свет, он хлынул мгновенной волной во все уголки тела. Филька выпростал из ледяного киселя и вытер о шапку грязные руки, вложил в рот четыре пальца и свистнул с такой силой, что у него зазвенело в ушах.

— Шкворень, ты?

— Я... Ой, дружище!

— Хватай!.. Держись крепче!

И Гришка Гнус спустил в яму свой шелковый кушак.

...Снег, хляби, ветер, грязь. Горничная Настя смеялась до слез, но сердце ее раздражалось: все паркетные полы, вся мебель замазаны мерзостью, плевками, усыпаны битой посудой.

Затопили две ванны. Всех обмыли. Над господами работали два конюха и кучер. Мистер Кук лежал в ванне с трубкой в зубах, бормотал: «Без рубашка — ближе к телу... Очшень лютший русский пословисс...» — сплюнул через губу и уснул. Илья Сохатых лез со всеми в драку, он не позволял себя раздеть и наотрез отказался мыться. Он на весь дом кричал, что его жена беременна, что она очень ревнивая, а тут — здравствуйте пожалуйста — лезет снимать с него исподнее какая-то, прости господи, Настя, девка.

— То есть я не Настя, я мужчина, — внушал ему кучер. — Вот взгляните крепче. Можете мою бороду усмотреть?

— Н-не могу, эфиопская твоя морда, вибрион!.. Не трожь меня, я с волком лягу!

Дьякон мылся в ванне самостоятельно, напевая псалом царя Давида:

Омыеши мя, и паче снега убелюся...

Он выстирал штаны, белье и развесил на веревке для просушки. Голым Геркулесом он вступил в столовую, — Настя, бросив щетку, с визгом убежала. Ферапонт сдернул со стола залитую вином скатерть, закутался в нее и разлегся в кабинете на полу возле письменного хозяйского стола, сказав:

— Манечка, не сомневайся: я здесь.

21

Инженер Протасов любил весенними вечерами заходить в эту избушку. Иногда просиживал в ней до самого утра. Чрез сени жили хозяева, в передней половине ссыльный, «царский преступник», чучельщик Шапошников. Он маленький, бородатый, лысый. По стенам, на окнах, на столе звери и зверушки, в углу с оскаленной пастью волк.

— Все препарируете?

— Да.

— Не скучно?

— Что же делать! Охота дает мне развлечение, препарировка кормит меня. Иначе в этой глуши — духовная смерть.

Первая встреча произошла так. Инженер Протасов принес коробку печенья и фунт сыру. За чаем ведутся длинные разговоры. Протасов все пристальней приглядывается к ссыльнопоселенцу, упорно что-то припоминает и никак не может вспомнить нужное. Вдруг Шапошников начинает рассказывать о своем старшем брате, погибшем в селе Медведеве. Протасов весь насторожился, кровь бросилась в голову, спросил:

— Как он погиб?

— Подробностей не знаю, товарищ. Говорят, спился, сошел с ума, сгорел. Брат, помню, писал мне о вашем патроне Громове, когда тот еще мальчишкой был. Припоминаю, он пророчил Громову большую судьбу. Еще писал о некоей необычайной демонической женщине. С весьма странной судьбой.

— Об Анфисе?

— Да. Вы слышали?!

— Как же! Ходят целые легенды.

— Я получил от брата три предсмертных письма. Они написаны одно за другим. Два последних — утром и вечером, в тот же день, я полагаю — в день его трагической смерти. Письма ужасные. Все в мистических прорицаниях, в исступленных фразах. Я удивляюсь, что с ним стряслось? Всегда такой трезвый во взглядах. Очевидно, влияние тайги, всей обстановки, а может быть, и этой женщины. Он ее любил, хотел жениться на ней. Да и не мудрено. Вот полюбуйтесь... — Шапошников вытащил из-под деревянной кровати, из сундука, вложенный в футляр застекленный акварельный портрет.

— Брат прислал мне фотографию. Мой приятель, известный портретист, сделал с нее картину.

На Протасова глядела сквозь стекло очаровательная женщина. Правильный овал лица, тугие косы на

голове, тонкие изогнутые брови, большие влекущие к себе глаза,— от них нет сил оторваться.

— Так вот она какая, эта Анфиса,— пресекшимся голосом прошептал Протасов.— Да это прямо одна из блестящих фантазий Греза! Сам Рафаэль оцепенел бы перед ней...

— Такие женщины действительно могут свести с ума.

— Но в ней ничего нет демонического, она вся — свет. От нее святость какая-то идет... Ну, Жанна д'Арк, что ли...— Протасов говорил тихо, все еще не отрывал глаз от очаровавшего его лица.

— А это вот мой погибший брат.

— Слушайте! — вскричал Протасов, вглядываясь в большую фотографию.— Да это ж вы!

— Да, я сам смотрю на этот портрет, как в зеркало. Нас всегда путали с братом. Даже голос и манеры. Словом... Кастор и Поллукс.

— Странно. Вы, право, как сказочная птица феникс, восставший из пепла.

— Хм... Пожалуй. И если б я повстречался с Громовым, он обалдел бы. И, знаете, у меня есть еще интересный документ... Он вас, товарищ, может поразить. Приготовьтесь.— И Шапошников стал рыться в сундуке, набитом потрепанными книгами.— Пожалуйста, наливайте сами, кушайте... Прикройте самовар. Он с угаром... Вот-с, извольте.— И Шапошников подал несколько листов бумаги, исписанных мелким угловатым почерком.— Это черновик донесения министру юстиции прокурора Стращалова по делу об убийстве Анфисы Козыревой. Словом, уголовный роман о Прохоре Громове. Довольно интересный. Тут и о брате моем. Возьмите с собой. На досуге прочтете.

— Но как же он... к вам...

— Стращалов — мой приятель. Когда-то вместе в университете учились. Потом, года три тому назад, повстречались в ссылке.

— Что?.. Разве он...

— Да, бывший прокурор Стращалов — революционер...— И Шапошников, потирая руки, захихикал

в бороду. — Прокурор и... Да, странно. Досталось ему, ну не политическое, а близкое к политике дело... Студент какой-то... Ну, речь. А прокурор, вместо обвинения, как начал да как начал крыть наши порядки! Ну, обыск... Нашли литературу. Вообще жандармерия давненько до него добиралась. Вот так-то...

— Где же он теперь?

— Кто, прокурор? А недалеко. Полагает перепроситься сюда.

Протасов заглянул в самый конец, в резюме докладной записки. Шапошников заметил, как щеки гостя побагровели.

— Черт!.. Не может быть... — швырнул Протасов рукопись на стол. — Чтоб Громов был убийца!.. Нет, чушь, гиль...

— Да, Прохор Громов прямой убийца Анфисы и косвенный убийца моего родного брата. Постараюсь с этим мерзавцем сквитаться как-нибудь. — Голос Шапошникова был весь в зазубринах, звучал угрозой. Но Протасов не слыхал его. Мысль Протасова заработала вскачь, вспотычку, его лоб покрылся морщинами, в похолодевших глазах отражалось душевное напряжение; Протасов взвешивал, оценивал за и против, делал поспешные выводы, но тут же опровергал их логикой, направлял мысль в обхват всей громовской жизни с Ниной в центре, снова делал умозаключения. Наконец, отирая рукой вспотевший лоб, сказал:

— Нет, нет... Это невероятно. Ваш прокурор, простите меня, клевещет.

— Не думаю! — закричал фальцетом Шапошников и, потряхивая седеющей бородой, стал взад-вперед бегать по комнате.

Волк, звери и зверушки с любопытством следили за ним глазами. Набитая паклей белка, прижав лапки к пушистой груди, как будто силилась о чем-то намекнуть ему, может быть, о том давно прошедшем зимнем вечере, когда юный Прохор нес от Шапошникова вот такую же, как и она, зверушку, но встретилась Анфиса — шум, крик, звонкая пощечина, и мертвая свидетельница-белка осталась валяться на

снегу. Да, да, об этом. И еще о том, что сейчас сюда, может быть, войдет ожившая Анфиса и скажет всему миру, и волку, и зверушкам, кто убил ее. Но Анфисе не проснуться. Только милый ее образ, запечатленный изысканной кистью мастера, безмолвствует в этой хижине, и Протасову нет сил оторваться от него.

— Нет, нет, не думаю, чтоб прокурор Стращалов клеветал, — запыхтел взволнованный Шапошников. — Во всяком случае, он будет здесь и, надеюсь, докажет вам, что ваш Громов — преступник.

К великой радости Протасова, вместе с ожидаемым грузом приехал и Иннокентий Филатыч. А вместе с ним...

— Позвольте представить. Это родственник Нины Яковлевны, человек деловой, коммерческий. Иван Иванович Прохоров...

Инженер Протасов козырнул, подал ему руку и сказал Иннокентию Филатычу:

— А я вас попросил бы остаться здесь, помочь мне.

Старик с огорчением посмотрел в сторону, подумал и, встряхнув длинными рукавами архалука, сказал.

— Ладно... Ежели надо, останусь... Только по Анюте соскучился, по дочке.

Однако Анна Иннокентьевна за последнее время не особенно-то скучала об отце. Ее по мере сил старался развлекать закутивший Прохор. Странная какая-то, железная натура этот Прохор Громов. Два раза тонул на днях в весенних бушующих речонках, в третий раз — утопил коня, сам выплыл. Время горячее, он с утра до ночи на работе, спит, ест где придется, но, ежели попадет домой, заходит ночевать к Анне Иннокентьевне.

Никто бы не подумал, даже любовница пристава Наденька, что набожная строгая вдовица сбилась с панталыку, впала в блуд. Анна Иннокентьевна подчас и сама недоумевает, как мог с нею приключиться

такой грех. Да уж не демон ли это обольститель, обернувшись Прохором, храпит у нее на пышной, лебяжьего пера постели? Когда пришла ей эта мысль, вдовица обомлела. И, вся смятенная, хотела осенить спящего крестом и ужаснулась: вдруг это действительно сам сатана лежит, его перекрестишь, а он обратится в такое, что в одну минуточку с ума сойдешь. Нет уж, пес с ним... Хоть бы отец скорей приехал.

А случилось это очень просто. Второй день пасхи. Ночь. Стукнуло-брякнуло колечко.

— Кто такой?

— Анюта, отопри.

— Сейчас, сейчас!.. Ах, я прямо с кровати... Я думала — папенька.

Она открыла дверь и, сверкая матово-белыми плечами, помчалась в спальню приодеться.

Попили чайку, подзакусили. Обласканная ночь быстро миновала.

— Куличи, Анюта, у тебя очень сдобные, — говорил утром Прохор.

— Ах, какие же вы греховодники, Прохор Петрович. На кого польстились, на честную вдову. Теперь все говенье мое, весь великий пост — насмарку. — Она улыбалась, но слезы неудержимо текли по ее полным бело-розовым щекам. — И не смейте больше появляться, не пущу.

На четвертый день пасхи, когда были съедены все куличи, она, прощаясь, сказала ему:

— Приходите. Буду ждать. Свежих куличиков испеку. Еще сдобней.

На шестой день пасхи, удостоверившись в вероломстве Прохора, Стешенька и Груня решили вымазать бесстыжей вдове ворота дегтем. Но, по великому женскому сердцу, пожалели позорить милого Иннокентия Филатыча и, вместо задуманного мщения, пошли в гости к Илье Петровичу Сохатых, где и нахлестались обе разными наливками до одурения.

На Фоминой неделе Прохор сказал вдове:

— Ты мне надоела. До свиданья.

Анна Иннокентьевна три дня, три ночи неутешно выла, как осиротевшая сова в дупле. А тут пришло письмо:

«Свет Анютушка! Христос воскресе! Я приехал, сижу на реке Большой Поток, на пристани. Заарестовал меня Андрей Андреич для работы. А со мной родственник Нины Яковлевны — Иван Иваныч Прохоров, будет жить у нас. Приедем внезадолге».

Вешние воды скатились. Угрюм-река вошла в берега свои.

Мистер Кук и дьякон Ферапонт, на удивленье всем, начали купаться. Холодная вода обжигала тело, быстро выбрасывала пловцов на солнечный прогретый воздух. Попробовал было понырять и Илья Сохатых, но схватил насморк, флюс и до жаров проходил с подвязанной щекой. В утешение свое он заметил, что утроба супруги действительно помаленьку увеличивается в объеме.

— Ангелочек... Милая... — сюсюкал Илья, придерживая застарелый флюс.

Он сразу весь обмяк душой и телом, флюс лопнул, и счастливый будущий отец послал в городскую типографию заказ на пригласительные карточки с золотым обрезом «по случаю высокоторжественного крещения младенца»...

Заканчивалось здание большой литейной мастерской с четырьмя вагранками. Вот-вот должны прибыть с Протасовым новые станки и механизмы. Инженеру-механику Куку дела по горло. Это ж его специальность. Но, будто по наущению дьявола, с ним стали происходить странные истории. Может быть, влияние ранних купаний или лучезарно-спешный ход весны, а всего верней, что, потеряв всякую надежду на взаимность Нины, мистер Кук вплотную увлекается теперь девицей Кэтти. Словом, так ли, сяк ли, но мистера Кука по утрам одолевал сильнейший сон. Бедный лакей Иван! От неприятности, от ежедневных выговоров лошадиное лицо его стало еще длинней, а уши больше. Нет, попробуйте-ка вы разбудить этого

окаянного американца! Мистеру надо подыматься в семь утра. Иван с шести часов начинает будто бы невзначай шуметь кастрюльками, посудой, ругать собаку, хлопать дверьми. Мистер Кук повертывается к стене, прикрывает ухо думкой и еще крепче засыпает. Без четверти семь, стуча каблуками, как копытами, Иван подходит к изголовью Кука:

— Васкородие! Барин!

Мистер Кук мычит.

— Да барин же!.. Вставайте.

Мистер Кук мычит, отлягивается ногой. Иван неотрывно тянет свою подневольную волынку. Когда его терпение иссякает, он трясет мистера Кука за плечо:

— Да вставайте же, вам говорят! А то опять ругаться будете...

— Пшел к шертям!

Иван продолжает трясти его, весь сгибается, приставляет рот к самому уху спящего и громко орет. Тогда мистер Кук, озверев, схватывает Ивана за волосы и начинает мотать его голову в разные стороны:

— Вот тебе!.. Так-так-так... На чужой кровать рта не разевать!

Иван вырывается, отступает в кухню; ему смешно и больно. Бормочет:

— Ну и черт с ним... И пусть дрыхнет. Тьфу!

В восемь часов барин вскакивает:

— Иван! Идьёт! Для чего не разбудил?!

— Побойтесь, барин, бога... Глотку кричавши повредил.

— Врешь, врешь... Какой такой есть глотка? Дурак!

Два дня Иван применял ловкий маневр. Безрезультатно использовав все меры, он на минуту затихал и вдруг оторопело бросался к мистеру:

— Барин!! Мамзель Катя, учителка!

— Где?

— На улке дожидается...

Мистер Кук мгновенно вскакивал и, едва продрав сонные глаза, схватывал одновременно сапоги, штаны, жилетку. Момент горького разочарования сменялся брюзгливой бранью. Но Иван терпел.

На третий раз магическое слово «Катя» произвело обратное действие: мистер Кук выхватил из-под кровати сапог и пустил его в удиравшего лакея. Иван злорадно захохотал, высунул из двери голову, сказал:

— Мимо,васкородие... Крынку изволили с молоком разбить. Вставайте. Вставайте.

За чаем мистер Кук дружески беседовал с Иваном:

— Запаздываю на службу. Я этого не терплю. Разбудишь — двадцать копеек. Не разбудишь — штраф.

— Деретесь очень, барин.

— А ты таскай меня за ноги немножечко с кровати, поливай водичкой. Изобрети очшень лючший способ.

— Слушаюсь.

Иван изобрел: он достал где-то старую оглоблю, что дало возможность, обезопасив себя расстоянием, тыкать из кухни барина в спину концом оглобли. Пока-то барин вскочит да сгребет сапог, а Иван уже на улице. Так остроумно был разрешен терзавший лакея вопрос.

Но кто разрешит сердечные терзанья Кэтти?

«Папочка! — писала она отцу. — Не можешь ли ты устроить мне место где-нибудь там, возле тебя. В такой глуши, как здесь, существовать мне тяжко. Боюсь наделать глупостей».

Впрочем, эти строки писались вскоре же после шалой ночи в лесной охотничьей избушке. Но тогда был снег, мороз, теперь — все зазеленело, и букет нежных фиалок, преподнесенный мистером Куком, стоит возле ее кровати.

Милый, милый мистер Кук! Он вот-вот сделает ей предложение. Он показал ей сберегательную книжку и пачку процентных бумаг. У него капитал в десять тысяч. Придется запросить папочку, много это или мало? Как жаль, что нет здесь Нины.

Бедный, бедный мистер Кук! Он до сих пор не знает, влюблен он в Кэтти или нет... Какая трудная, какая непонятная вещь — любовь. Для человека, мозг

которого загроможден математическими формулами, схемами стропил и ферм, уравнениями кривых и прочей дребеденью, любовь есть сфинкс. Впрочем, игра в любовь довольно занимательна. А вдруг... вдруг Кэтти согласится быть его женой? О, тогда все пропало — и мистер Кук погиб. Тогда — прощай мечта о миллионах, о собственных приисках, о широких масштабах жизни. Десять тысяч. Ха-ха! Разве это капитал? Как жаль, как жаль, что здесь нет его богини Нины.

Но вот Нина прислала письмо Протасову:

«Дорогой Андрей. Не сердитесь, что это первое письмо после долгой нашей разлуки. Масса дел. Спасибо, помог расторопный Иннокентий Филатыч. Но ваше присутствие было бы незаменимо. Теперь все помаленьку наладилось. Дела с наследством приведены в относительный порядок. Выяснилась наличность капитала. Я теперь, под вашим руководством, могу воевать с Прохором Петровичем. Надо изобрести систему, которая заставила бы его волей-неволей стать человеком. Я отлично понимаю, что обострять отношения с рабочими опасно: это грозило бы нашей фирме крахом. А вот Прохор Петрович не желает этого понять. Что же касается наших с ним взаимоотношений, то... Впрочем, я не буду писать о них, вы сами сможете догадаться. Только одно скажу, что в глубине души я Прохора все-таки люблю. Вы на это, знаю, горько улыбнетесь, скажете: какая нелепая несообразность. Да, согласна. Вдруг я, христианка, верная жена, и — Прохор: весь, как пластырем, облепленный пороками, грехами. Ну, что ж поделаешь, Бывают аномалии. Да! Самое главное. С Иннокентием Филатычем приедет к вам старик Иван Иваныч Прохоров, мой двоюродный дядя. Пригрейте его. Постарайтесь устроить так, чтоб он не попадался на глаза мужу. По крайней мере — до моего возвращения. А то Прохор может подумать, что я собираюсь постепенно перетащить к нему всех своих родственников. Об этом старике будут у нас с ним большие разговоры.

Теперь о делах... Во-первых...»

22

Свои дела инженер Протасов завершил блестяще: обоз в полтораста лошадей завтра двинется с грузом в резиденцию «Громово».

За Протасовым, наверное, была слежка — урядник здесь «с понятием», но и Протасов не дурак: после окончания работ он нарочно громко пригласил всех работавших у него «политиков» для расчета в квартиру Шапошникова. Значит — просто деловые отношения, не более. Невиданной щедростью Андрея Андреевича политики остались весьма довольны. За чаем велись страстные разговоры о положении громовских рабочих. Предлагалась подача рабочими коллективной жалобы в Петербург, мирная забастовка, вооруженное восстание. Юноша с блестящими глазами, Краев, покашливая, воскликнул:

— Возьмите меня, товарищ Протасов, к себе на службу — и на третий же день я берусь организовать не мирную, как предлагаете вы, а политическую забастовку со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Это преждевременно, — сказал Протасов. — У меня имеются кой-какие перспективы. Его жена прекрасная женщина... Она... Впрочем, об этом тоже преждевременно.

— Простите, пожалуйста, — желчно заскрипел, как коростель, болезненный Краев. — То есть как это — преждевременно?! Растоптать гада никогда не преждевременно...

— Прежде чем решиться на такой шаг, надо взвесить обстоятельства, которых вы, товарищ Краев, не знаете, — отпарировал Протасов наскок юного энтузиаста.

— Вы, Протасов, сдается мне, ведете двойную игру, — продолжал горячиться Краев. — Вы хотите, чтоб и волк был сыт и овцы целы. Абсурд!.. Вы, как маленький, или — как по уши влюбленный, ждете какого-то чуда от женщины...

— Краев, замолчи! — в два голоса оборвали юношу.

— Еще неизвестно, кто из нас маленький: я или вы. — И голос Протасова дрогнул в обиде. — Что ж вы от меня, Краев, требуете? Впрочем, вы ничего не имеете права требовать от меня.

— От вас требует народ, а не я!.. — затрясся, как в лихорадке, Краев и закричал, пристукивая сухоньким потным кулачком в острую коленку: — Вы, если угодно, все время, каждую минуту должны взрывать изнутри предприятия мерзавца Громова! Все время разрушать его благосостояние! Вот путь революционера! А вы что? Вы продались патентованному негодяю за большие деньги... (Протасов вздрогнул и весь похолодел.) Простите меня, дорогой товарищ, не обижайтесь... Я очень болен... Я... — И он надолго закашлялся.

Душе Протасова до предела стало неуютно. Запальчивые слова юноши крепко вонзились в его сознание.

— Продался? Спасибо, спасибо, — едва передохнул он.

Все наперебой стали защищать Протасова. Юноша, все еще кашляя, тряс головой, отмахивался руками, страдальчески гримасничал, стараясь улыбнуться оскорбленному им Протасову. Тот прошелся по комнате и, поборов себя, спокойно сказал:

— В данное время и в данном случае всякие радикальные меры по отношению к Громову я считаю нецелесообразными. Что касается линии своего поведения, то я отчет в этом отдам в другом месте.

Возвратясь в свою избу, Андрей Андреевич долго не мог уснуть. Под впечатлением стычки с Краевым в сознании Протасова встал во всю силу трагический вопрос самому себе: революционер, марксист, имеет ли он, в самом деле, право возглавлять крупнейшее дело народного врага и множить его капиталы? Не ложится ли поэтому ответственность за страдания рабочего класса на его собственные плечи?.. И как вывод: быть Протасову с Прохором Громовым или расстаться с ним?

Страшно сказать: «быть», еще страшней ответить:

«нет». Вопрос остался без ответа, вопрос повис над его судьбой, как меч.

Разбитый Протасов провалялся до утра в тягостной бессоннице. Пред утром, когда тревожная ночь соскользнула с земли в небытие, Протасову улыбнулись обольстительные глаза Нины: «Андрей, мы еще поработаем с тобой, мы еще потягаемся с Прохором Петровичем».

— Да-да, — засыпая, мотнул Протасов отяжелевшей головой по неугревной, как каторга, подушке.

На следующий день, в двенадцать часов, семьдесят пять возчиков сели под навес за стол. Жирные щи, каша, пироги с рыбой и по стакану водки. Изобретательный Иннокентий Филатыч сиял. Он угощал мужиков, как рачительный хозяин. Когда все было съедено, он встал у выхода.

— Сыты ли?

— Сыты, папаша!

— Все ли сыты?

— Все! Благодарим.

Разукрашенный лентами, цветами, кумачом обоз вытянулся в линию. Заиграла музыка. Каждый возчик, утерев усы рукой, подходил к Иннокентию Филатычу, старик трижды целовался с ним, говорил:

— Постарайся, друг!

Обласканные возчики спешили к своим лошадям.

— Трога-а-й!..

Оркестр грянул шибче. Обоз, скрипя колесами, двинулся в поход.

— Счастливо оставаться, папаша! — взмахивали шапками возчики.

Иннокентий Филатыч Груздев закрещивал обоз большим крестом и во все стороны помахивал беленьким платочком. За обозом — продукты, походные кухни и фураж.

— Ну, Кешка, ты, брат, воистину деляга, — сказал приехавший с Груздевым Иван Иваныч Прохоров и, силясь улыбнуться, лишь задвигал черными с густой сединой хохлатыми бровями.

Ямщик подал тройку, оба старика сели в тарантас.

— А я пришел к вам, товарищ, попрощаться. Завтра еду, — сказал Протасов.

Шапошников, потряхивая бородой, с жаром тряс руку Протасова и сам весь трясся.

— Что? Знобит?

— Нет, хуже. Нервы... Хотел выпить валерьянки... А вместо того... Эх!.. Давайте выпьем.

Протасов сел. Шапошников был под изрядным хмельком. Все лицо в напряженном смятении, серые глаза возбуждены.

— Прощайте, Протасов, прощайте. Кажется, закручу.

— Напрасно. К чему это?

— Вы никогда не бывали в ссылке, вот и...

— Человек при всяких обстоятельствах должен оставаться человеком.

Шапошников безнадежно отмахнулся рукой, выпил водки, сморщился, сплюнул сквозь зубы, как горький пьяница.

— Теоретически, — сказал он. — А практически — кой-кто из наших или спивался, или убивал себя. Случается и хуже: женятся на дочках торгашей и едут с товарами в тайгу грабить тунгусов.

— Лучше бежать.

— Да, я согласен. Но я устал... Устал, понимаете, жить... И чувствую, что...

— Бросьте, бросьте.

— Пейте, Протасов.

Чокнулись, выпили. Непьющий Протасов проглотил скверную водку с омерзением.

— Слушайте, Шапошников... Подарите мне рукопись прокурора.

— Зачем?

— Надо.

— Вы не сумеете использовать ее.

— Помогут обстоятельства.

Шапошников вздохнул, сморщился, почесал за ухом, сказал: «Возьмите», — и, пошатываясь, подошел к окну. Руки назад, он смотрел через стекла в мрак и ничего не видел. Спина его сутулилась,

плечи вздрагивали. Смущенный Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив.

— Чувствую, что скоро, — раздался от окна надтреснутый голос. — За братом — фють! А страшно... Бездна. Уничтожение сознания.

Протасов молчал. Он не выносил присутствия пьяных, собирался уходить.

Шапошников вдруг круто обернулся, вскинул кулаки и, потеряв равновесие, хлюпнулся задом на скамейку.

— Мерзавец он! Мерзавец... Так ему и скажите... Не сойду с ума, пока не отомщу за брата! А ежели сойду, то и сумасшедший приду к нему! — выкрикивал Шапошников, сильно заикаясь. Потом, как женщина, всхлипнул, ударился затылком в стену и закрыл лицо ладонями. Раздался отрывистый, какой-то лающий плач.

— Я мнимая величина! Я мнимая величина! — отсмаркиваясь, кричал Шапошников. — Я корень квадратный из минус единицы... Презирайте меня, Протасов... Я — не я.

Вдруг в голове Протасова блеснуло дикое предположение: да уж не тот ли это Шапошников, один из героев Анфисина романа? А вся выдуманная история про брата — гиль, бред? Протасов прекрасно знал всю жизнь семейства Громовых в Медведеве из подробнейших рассказов Ильи Сохатых. Что за чертовщина. Не может быть?!

Протасову от мелькнувшей мысли стало не по себе. В голове играл туман от двух рюмок выпитой водки. Он закрыл глаза и старался сосредоточиться. Фу, черт, какая нелепость лезет в голову!..

Протасов внезапно вздрогнул, как от прикосновения холодного железа. Против него — Шапошников. Керосиновая лампа едва мерцала. Лицо Шапошникова растерянно, мокро от слез, жалко. Шапошников через силу улыбнулся и, держа Протасова за руку, шутливо погрозил ему пальцем.

— Я знаю, вы о чем. Ерунда, ха-ха!.. Ерунда! Тот брат сгорел, погиб. Это условно верно, как единица, деленная на нуль, есть бесконечность...

— Условно? — Протасов, робея, глядел в его воз-

бужденные глаза. — Ваш брат заикался, и вы заикаетесь... Это в некотором роде...

— Да, когда пьян или волнуюсь... Наследственно. Дедушка наш алкоголик, отец тоже...

— Вы давно в ссылке?

— Только без экзамена. Я ж говорил вам, что я... Впрочем... Довольно, довольно, милый друг, довольно. — Он вынул из кармана тряпочку и высморкался. — Я... я... я слишком много... страдал. И, поверьте, мне скучно расставаться с вами. Наше село называется — Разбой... Этим все сказано.

Они поцеловались. Волк, звери и зверушки провожали Протасова печальным взглядом.

— Да...— остановился в дверях Протасов.— Дайте мне еще раз взглянуть...

— Что, на Анфису? Нет, нет.

— Почему?

Шапошников, почесывая бока горстями, покачиваясь, залился скрипучим смехом:

— Ре... ревность, понимаете... Ревность.

И вдруг лицо его заледенело.

Обоз двигался прямиком, по проложенной Громовым грунтовой дороге. Старики же ехали по старому тракту, чрез деревни, чрез села, где можно сменить лошадей. На второй день путники издали увидели захрясший на аршин в грязи тарантас с поднятыми оглоблями, а в стороне привязанную к дереву, по уши заляпанную грязью лошадь. В тарантасе человек читает газету. Сравнялись.

— Илюша, ты?

— Я, Иннокентий Филатыч... Здравствуйте!

— Давно сидишь?

— С утра. Часика четыре. Ямщик за народом на пристяжке угнал. Влипли крепко. Это называется — тракт, сплошная, я вам скажу, аксиома. А с вами кто?

— Так, человек один, — ответил Груздев.

Иван Иваныч, закутавшийся в воротник драпового архалука, повел на Илью хохлатыми бровями, отвернулся.

— А я на пристань гоню. Телеграмма получена. Мебель стиль-фасон Прохору Петровичу пришла! — прокричал вдогонку путникам Илья Сохатых. — А наш хозяин на соляных варницах гуляет!

— Чего? Гуляет? Ха-ха! Важно.

К деревне Гулькиной путники подъезжали ранним вечером. Соляные варницы Громова были в версте отсюда, меж двух озер. Будни, а с деревни долетает песня, шум. Пьяный мужик лежит поперек дороги. Пьяная старуха плетется возле изгороди, говорит сама с собой. Телята пронеслись, задрав хвосты. У поскотины умирает обожравшийся вином пастух-старик. Пьяными голосами враз поют двадцать петухов. Сивушным духом пышет воздух, голосит гармошка, нескладный хор подхватывает песню, и все звуки покрывает здоровецкий чей-то бас.

— Ферапонт, — сразу догадался, въезжая в хмельную деревеньку, Иннокентий Филатыч. — Дьякон новый, из кузнецов, Прохора Петровича дружок. Стой, ямщик!

На гребне полого спускавшегося к реке зеленого берега большая десятивесельная лодка. На корме совершенно голый Прохор, во всем своем бесстыдстве. Он прокутил всю ночь, он пьян. Шея у него крепкая, плечи с наплывом, но белое тело стало утрачивать былую стройность, под кожей отлагался разгульный жирок благополучия. Какая-то дикая забубенность в жесте, в голосе, во взгляде хмельных оплывших глаз. Окруженный толпой загулявших девок, баб, шумливым полчищем детей, он чувствовал себя в своей тарелке, как Посейдон, окруженный Амфитридами. Ему наплевать на всех. Что такое толпа людей? Она продажна. За пятак, за водку он уведет ее куда угодно, он заставит ее ползать на карачках, прикладываться к его купеческому брюху. И пусть посмеет только пикнуть закабаленная деревня, хозяин хлопнет ладонь в ладонь — и староста с сотским сведет всех мужицких коров и лошадей в уплату долга. Но хозяин сегодня добр и пьян, толпа тоже пьяна, толпа колобродит с хозяином весь день. Эх, горькое, горькое ты счастье!

Прохор стоит на корме дубом, крепко держится за руль.

— Господин атаман! — возглашает стоящий на носу дьякон в красной рубахе, в плисовых шароварах. — А не видать ли чего в волнах?

— Нет, ничего не видно, — рассматривая из-под ладони простор Угрюм-реки, по-серьезному отвечает Прохор и, как капельмейстер, взмахивает рукой.

Визгливый хор мужиков и баб с уханьем, с присвистом рвет воздух:

Ничего-о-о в волнах не ви...
Да не ви-и-и-дно!..
Только ло-о-дочка да черне... да черне-е-е-ет!..

— Тяни! Тяни! — командуют обалделые, с заплеванными бородами десятский с сотским. С полсотни подгулявших баб и девок, влегая грудью в лямки, прут судно по луговине вниз, к воде. Пять вдребезги пьяных мужиков, падая, разбивая себе зубы, усердно подхватывают лодку сзади.

— Вали веселей, вали!..— подбадривает Прохор.— Всем по золотому!

Охальные бабы оглядываются на Прохора, толкают одна другую локтем в бок, хохочут. Девкам оглянуться стыдно, уж разве так, как-нибудь из-под руки, сквозь пальцы. А вот как подмывает оглянуться.

Лодка поскрипывает, мужики подергивают, бабы зубоскалят над голым Прохором. А лодка ходом-ходом вниз.

— Чего будешь, хозяин, в воде делать? — кричат бабы.

— С бабами, с девками купаться.

— Ишь ты, лакомый! Водичка шибко холодна.

— Коньячком да наливкой согреем...

— Ишь ты!.. Не ослепни, смотри, на голых глядя... Вот ужо хозяйке твоей пожалуемся... Вот ужо, ужо...

— Стоп!! — гаркает дьякон Ферапонт. Все вздрагивают, выпрямляют спины. — Господин атаман! — вопрошает он.— А не видать ли чего в лодочке?

— Нет, ничего не видать. — И Прохор вновь взмахивает рукой, как капельмейстер. Хор визжит:

Только паруса беле... да беле-е-еют!..

Иван Иванович стоит в тарантасе во весь рост, глаза его как под солнцем куски льдин: покапывают слезы.

— Вот это и есть Прохор-то?

Его голос дрожит, бритый рот кривится.

— Да, — отвечает ему Иннокентий Филатыч. — Он самый.

— Тьфу! — болючий летит плевок вслед удаляющейся лодке с Посейдоном. — Погоняй, ямщик!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Стояла небывалая жара. Тайга суха, как порох. На вершине башни «Гляди в оба» день и ночь дежурят дозорные, по тайге рыщут на лошаденках старики из мужиков или калеки с производства — их обязанность охранять лес от пожаров, они получают гроши и называются «огневщиками».

Тайгу от пожаров стерегли огневщики; рабочую толщу, где много горючего и горького, раздували «поджигатели» — им больше невмочь терпеть угнетения себе подобных.

Впрочем, организация протеста происходила самотеком, стихийно, как и лесной пожар. В бараках, в чайных, в землянках стали появляться «разговорщики» из своих смекалистых парней или из политических ссыльных, работавших на предприятиях, а то и просто ветер с поля: какой-нибудь Гриша Голован, какой-нибудь Петя Книжник — перелетные птицы, не имевшие пристанища.

Сгрудятся по праздничному делу в бараках рабочие, начнут горестно подсмеиваться над собой, житье-бытье перетряхать: тут прижимка, здесь прижимка.

— Эх, жаль, Гриши Голована нет!

— Как нет! Здорово, дружки, я здесь!.. — И сухоребрый, спина — доска, ноги — жерди, вылезает

с задних нар из темноты желтолицый, болезненного вида человек.

Рабочие — в обрадованный хохот, наперебой миляге руку жмут. «А вот папироску», «А вот лепешечку», «А вот кружечку чайку», «Эй, бабы, плесните товарищу молочка чуто́к!»

Здесь живут землекопы-дорожники.

За чаем — вприкуску, вприлизку, вприглядку — намозолившие уши разговоры, сетования; от них давным-давно болит душа.

— Протасов все-таки хоть и хороший, а барин. Протасов поманил нас — да замолк. Что нам делать?

— Это зовется выжидательная политика, — грызет черствую лепешку молодыми, но сгнившими в тайге зубами Гриша Голован. — Это зовется — накопление сил. Что ж, его политику я вполне одобряю. Пока нет рабочей организации, пока нет запасного капитала, забастовку подымать глупо. Вы хозяину — требования, а он вам — фигу. Вы не вышли на работу, а ему — плевать. Вы полезли на него с кулаками, а он на вас с пушкой, с винтовкой, с плетьми...

— Стой, стой, Голован! Заврался, — враз вскрикивают горячие мужики и парни. — Ежели мы на работу не выйдем, он через неделю лопнет, сукин сын... Да ежели дружно взяться, да ежели сознательно. Он мильён тыщ неустойки должен заплатить казне. Да казна его сразу в острог запрет.

— Ха, казна! — И Гриша Голован швыряет на пол свою засаленную студенческую, с синим околышем фуражку. — А кто, я вас спрошу, казна? Жулик на жулике, вот кто. Нет, ребята, вы не того, не этово...

Некоторое время длится пыхтящее молчание. Гриша Голован покашливает в горсть, засовывает руки в рукава холщовой рубахи, нарочно медлит, как бы прощупывая настроение рабочих, наконец зябко ежится и говорит:

— Вы, ребята, живете в условиях жестокого произвола и насилия. Начать с договоров. Я уж не стану толковать о рабочих часах, о ничтожном заработке. Договоры самые кабальные.

— Правильно, правильно! — напирают на Гришу со всех сторон. — Мы сюда забрались, как мыши в ловушку. Прямо влипли.

— А главная кабала, ребята, вот в чем, — старается заглушить их голоса агитатор-«разговорщик». — Администрация обязывается на свой счет до места жительства доставлять только тех рабочих, у которых срок найма кончился. А ежели рабочего увольняют за проступки, он должен выбираться домой своими силами. А поди-ка... Другой за три, за пять тысяч верст отсель. Поэтому у всех вас боязнь остаться без работы, без хлеба в глухой тайге. И это действительно страшно. Это — главная кабала, я вам говорю. Это заставляет вас со всем мириться, всему подчиняться, все терпеть... Фу ты, будь он проклят! Но погодите, ребята! — И Гриша с азартом потрясает кулаками, глаза горят, выкатываются из орбит. — Настанет время, ребята, когда мы... Впрочем... Ну ладно, дальше... — Он на мгновенье взмыл, как подброшенный мальчишкой голубь, но, словно завидя парящего орла, быстро сел на землю. Бунтарская натура агитатора всегда толкала его звать народ к политической борьбе, к восстанию. Но местный забастовочный комитет, негласно ютившийся в самом поселке, предписывал тактику чрезвычайной осторожности: не допускать на собраниях политических речей, зарвавшихся ораторов стаскивать с бочки за шиворот, постепенно направлять борьбу в чисто экономические рамки, чтоб преждевременно не дать полиции повода к разгромам.

— Вы бы, ребята, в своем бараке старосту выбрали, — предлагает Гриша.

Выбирают старосту.

— А что мне делать? Разъясни собранию... — просит выбранный Емельян Ложкин, крепкий старик с огромным носом.

— Слушай, товарищи! — встает Гриша Голован. — Староста — неограниченный хозяин барака. Он смотрит за порядком: чтоб не было пьянства, драк. В случае забастовки староста следит за дисциплиной, чтоб рабочие не шлялись к служащим и

не шушукались с ними. Да мы впоследствии инструкцию дадим... А теперь, товарищи, уж кстати, давайте наметим выборных — двоих от сотни рабочих. Они потом войдут в рабочий комитет — руководить забастовкой.

— Значит, забастовка будет?

Гриша Голован нахлобучивает студенческую фуражку до ушей, улыбается и говорит с запинкой:

— Будет.

А в другом бараке орудует Петя Книжник. Он нищий не нищий, с корзиночкой для подаяния, а за пазухой книжонки. Со служащими, с полицией он ласков и низкопоклонен. Начальству и в голову не приходит, что Петя — агитатор.

— Ребятки! — взывает он к рабочим-плотникам. — Лишних ушей нет? Как насчет забастовки мекаете? Кто-нибудь говорил вам? — Петя присаживается, утирает лицо рукавом заплатанной надевашки. — Испить бы. — Пьет воду, сытно рыгает, пегенькая, в виде хвостика, бороденка его дрожит. — Ну, так вот, ребята... К забастовочке-то тово... Будьте готовеньки... Кажись, наклевывается...

Агитатор начинает рыться в сумочке, вытаскивает три красненькие брошюрки.

— Вот нате-ко-те, прочитайте-ко-те, грамотеи-то есть поди? Пользительное чтение. А теперь, товарищи, давайте выберем старосту барака и наметим выборных в рабочий комитет...

Так течет время. Петя, подзакусив, наговорившись, прощается со всеми и уходит.

А среди рабочих механических заводов орудует латыш Мартын, ему сорок лет, четыре года пробыл в каторге. Идет своим чередом работа среди лесорубов, золотоискателей.

Уже были маленькие группочки в пяток, в десяток лиц. Группочки ширились, росли, умнели, постепенно превращались в группы. В головы этих избранных рабочих исподволь внедрялось сознание их личного бессилия, их коллективной мощи, понятие о классовой борьбе, ненависть к эксплуататорам.

На башне «Гляди в оба» дозорит в ночное время Константин Фарков. Прохор ему верит, как самому себе. Фарков — старик, но его глаз зорок, нервы крепки, сон над ним власти не имеет.

Глухая ночь. Ветрище. Башня скрипит, ее вершина плавно раскачивается. Константин Фарков, въедаясь взглядом в даль, настороженно бодрствует. Даль непонятна даже заправскому таежнику, она угрюма и таинственна.

«Пожар», — вдруг сам себе говорит Фарков. Сначала, как вспых спички в темноте, огонек лизнул глаза, потрепыхал и сгинул. «Померещилось», — думает Фарков. Но нет. Опять вдали кто-то хочет закурить. И не один, а двое, сразу две спички, и чуть помедля — третья. Фарков взял в бинокль огонечки на прицел. «Пожар, — сказал он уверенно, соображая, что делать. Спички не гасли, огоньки перебегали. сцеплялись друг с другом, зачинали веселый пляс. — Либо в двадцати верстах, либо в сорока, а нет, так и в сотне верст. Не разберешь...» — Он подергал за веревку, заглянул вниз, подождал, еще подергал.

— Эй!.. Кого?! — послышался из преисподней стариковский голос.

— Федотыч, ты?

— Нет, корова!.. Кому же боле-то?

— Тайга горит, слышишь?

— Неужто нет!.. В пушку, что ли, вдарить?

— Пошто... Звони хозяину!

Федотыч закряхтел, отвернулся от ветра, постоял немножко за малою нуждой и покултыхал в свою каморку.

— Алю, алю! Прохор, ты? Тайга пластат!.. Фарков усмотренье сделал, велел сказывать тебе... — бредил полусонный Федотыч, покашливая в трубку.

Прохор затрясся, закричал:

— Буди народ! Дуй из пушки!.. Больше пороху!

— Знаю... Учи кого другого... Вешать, что ли, трубку-то? Алю! Алю...

От громоносного рева пушки сотряслась вся башня. Константин Фарков посунулся носом, сел, а дюжина дравшихся вблизи медведей враз прекратили

свалку, рявкнули и, бросив медведицу, — враскорячку кто куда.

Прискакал на коне Прохор Петрович. Сорокасаженную высоту он взял махом. Было два часа ночи. Огоньки вдали разгорались, полоса бегучих вспышек ширилась.

— Не страшно, — сказал Прохор. — Далеко.

— Далеко-то далеко, да, вишь, ветер-то сваливает сюда, вот в чем суть... А впрочем, гляди, как знаешь. Твое добро.

— Ветер переменится, — уверенно, как всегда, ответил Прохор. — Спать пойду. А ты карауль.

Утром действительно ветер успокоился. Во всех предприятиях работы шли своим порядком. День, казалось, миновал благополучно. Однако к вечеру стал вновь пошаливать опасный ветродуй.

С башни видно — густые клубы дыма нависли над пожарищем, как будто там, на горизонте, тысячи цыган, рассевшись у костров, курили трубки. Пространство все больше и больше насыщалось мглой. Небо утрачивало синь, мутнело. Заходящее солнце бросало на землю зловещую с желтым отливом тень. Ветер стал упруг, упрям. Сила его все возрастала. Крылья ветра пахли гарью. Лениво раскачиваясь, тайга загудела сплошным шумом. Лицо природы изменилось. Деревья шептались печально и загадочно, птицы стаями неслись через башню за реку; в их полете — растерянность, излом.

Прохора тоже щемила тоска. Пошел на башню.

Ветер креп, башня скрипела в суставах. Вершина ее ходила вправо-влево — у Фаркова кружилась голова. Солнце закатилось в дым. Вечерних, обычно четких звезд теперь не мог нащупать глаз.

— Ну как?

Фарков уперся взглядом в гулявшие на горизонте огоньки, ответил:

— По-моему, надо, Прохор Петров, какие-нибудь способа принимать.

— Какие же? Канавы, что ли?

— Канавы навряд помогут. Гляди, разыграется, не пришлось бы встречный пожар пускать.

— Как встречный пожар? Не понимаю.

Фарков сел на пол, сказал:

— Укачало меня, — и стал объяснять таежные способы тушения лесных пожаров.

— Пропустишь время, всего лишиться можешь, — говорил Фарков, попыхивая трубкой. — На моих памятях село да две деревни огонь слизнул. На триста верст пламя шло.

— Да неужто?

— Уж поверь. Может так случиться — в одних портках в реку убежишь, по горло в воде сидеть будешь. Вот, брат, как.

Прохор, не сказав ни слова, ушел домой. Позвонил приставу, позвонил Иннокентию Филатычу — оба ответили неопределенно: «авось» да «бог хранит». Пожалел, что нет Нины, нет Протасова. Отец Александр предложил отслужить всенощную с молебном и акафистом. Прохор растерялся, не знал, что делать.

2

Первый, второй и третий пушечные выстрелы потрясли тайгу, подняли на ноги всех рабочих.

Ночной, глубокий час. Небо на западе в трепетном зареве. Тьма. Ветер с гулом чешет хвою, гнет тайгу. В жилищах мелькают огни. На улицах — раздираемые ветром голоса людей. К башне, в свой летний кабинет, Прохор проскакал. За ним, карьером, волк.

Во все стороны, рассекая ночь, мчались с башни телефонные приказы. Их общий смысл: «выслать в тайгу на борьбу с огнем триста лесорубов и землекопов, вести широкую просеку, рыть канавы». Прохору с мест робко возражали. Смысл возражений: «подождать рассвета, сейчас в тайге темно, можно заблудиться; надо организовать питание, надо подбодрить рабочих водкой, иначе дело не пойдет». Смысл ответных приказов Прохора: «не возражать!»

Кликнули клич. Желающих нашлось достаточно: отчего ж вместо тяжелой работы не погулять в тайге. С разных участков, разделенных пятью, десятью,

пятнадцатью верстами, потянулись небольшие группы пеших и конных людей. Двигались через тьму по дорогам, по тропам с гуком, с песнями, чтоб напугать зверей.

Прохор на вышке башни. С головы смахнуло шляпу, по лицу мазнул гонимый бурей хвойный сук; с шумом неслись, крутясь, сухие листья. Ветер путал волосы, трепал одежду, врывался в рукава, холодом окачивал зябнувшее тело.

— Господин Протасов приехали!.. — взорвался ракетой чей-то голос из тьмы, снизу.

— Когда?!

— Только что!

В глазах Прохора мелькнула неустойчивая радость, а тревога в душе пошла на убыль.

Пожар сильно разгорался. Он был, казалось, верстах в двадцати пяти, но, загребая влево, он стал угрожать новой мукомольной мельнице, двум лесопильным заводам и району плотбищ, где горы заготовленных бревен. Темный ковер тайги — как на ладони. Огненная река растекалась вдали медленно. Однако брызги пламени перебрасывались бурей далеко вперед; там вспыхивали новые огни, а пылающая лава вскоре подтекала к ним. Да, нужны героические усилия, надо стихию бить стихией. И если не смолкнет буря, все превратится в пепел, в дым.

Прохор крепко застучал каблуками вниз по лестнице. В бороде, в волосах застряла хвоя, мусор, лист. В сердце дьявольская злоба на огонь, на ночь, на бурю. «Скорей, скорей к Протасову...»

Внизу поскуливал, царапал дверь волк. И слышно, как ударяет в скалы, шумит Угрюм-река.

Солнце взобралось в зенит, жгло землю. Сквозь затканный дымом воздух оно казалось красновато-желтым шаром, как расплавленный, остывающий металл. Горизонты уничтожились, пространство сжалось в кучу, даль пропала. Дым. Реальная жизнь существовала лишь вблизи: дома, избы, деревья, куры, бредущий люд. Все, что в стороне, бледнело,

блекло, расплывалось и чем дальше, тем плотнее куталось в дымовой туман.

Мир стал тесен, как комната.

Кругом, кругом, куда ни посмотри с реального островочка жизни, куда ни брось камень — взор и камень упадут в обставшую тебя со всех сторон голубую сказку. И чудилось — дунь покрепче ветер, сказка сразу уплывет в ничто, останется голый островок реальности и ты на нем.

Но ветер успокоился. Ветер сделал свое дело, раздул пожар и умер. Всюду немая неподвижность. Ветки берез повисли, на тихой макушке кедра белка грызла орехи, скорлупа падала отвесно. Мошкара толклась густым вертикальным столбом, уходившим в небо. На Угрюм-реке улеглись волны. Словом, в природе — тишь, покой.

Однако рождались над пожарищем потоки своих собственных раскаленных вихрей. Воспламеняясь, клокоча, они постепенно будили уснувший воздух, колыхали его, втягивали в свои круговороты. С башни странно было видеть, как в этот безветренный тихий день над пожарищем гуляют вихри, как все шире, все неуемнее распространяется огонь.

Для всякого таежника теперь ясно, что пожар не сгинет. Понимал это и Прохор. Пройдет два дня, и море пламени, уничтожив все на пути своем, — дома, заводы, мельницы, вольным лётом перебросится через реку, чтоб и туда нести свой пожирающий жар-пожар.

Прохор спешит в контору:

— Андрей Андреич! Во что бы то ни стало надо сейчас же гнать всех рабочих в тайгу. Там ведут просеку только триста человек... А надо всех...

Протасов медлит ответом. Прохор видит волнение управляющего всеми работами и не вдруг понимает его.

— Вы слышали?

— Слышал. — И упавшее пенсне Протасова пляшет на шнурочке.

День окончен. Рабочие чрез сизый воздух разбредаются с предприятий по домам. Стражники носятся

на конях от барака к бараку, из конца в конец, сзывают рабочих тотчас же собраться у конторы с женами, с взрослыми детьми.

— Зачем?

— Пожар тушить...

В бараках, в землянках, на приисках, в трущобах загалдел взбудораженный народ. Вперебой кричали, что тушить не пойдут; пусть хозяин поклонится им, уважит их, а ежели нет, тогда не хочет ли он фигу. Барачные старосты и выборные призывали крикунов к порядку, предлагали обсудить дело всерьез.

В кабинет на башне летели к Прохору с разных мест донесения по телефону: «Народ устал, народ требует отдыха, народ не желает идти в тайгу». Прохор то свирепел, то падал духом.

Протасов на коне объезжает бараки. Рабочие встречают его криками «ура!», подымают путаный галдеж. Протасов не может их понять, — пусть выскажутся отдельные представители. Выборные выдвигают ряд требований. Протасов обещает настойчиво переговорить с хозяином и просит рабочих постараться, если Громов пойдет на уступки. Масса взрывается бурей криков.

— Это другое дело! Каждый за пятерых... Животы положим!.. Без понятиев, что ли, мы?..

— Тогда, ребята, стягивайтесь помаленьку к конторе... Пилы, топоры... — И Протасов скачет дальше.

Так в другом, в пятом и в десятом бараке. В отдаленных местах в том же духе работают техник Матвеев, учитель Трубин и несколько «политиков».

На приисках «Достань» и «Новом» ситуация запутанней. Летучка, старатели, «кобылка» — вся эта приисковая братия, разбавленная тайно живущими среди них хищниками-головорезами, крайне своевольна. Эту отпетую «кобылку» умел держать в своих ежовых рукавицах лишь страшилище рабочих — Фома Григорьевич Ездаков. Но он вместе с приставом, с Фарковым третий день в тайге, на огневых работах.

— Давай нам на расправу Ездакова, сволочную

душу, язви его в ноздрю!..— злобно орали приискатели.— Пока не втопчем его каблуками в землю, не пойдем. Так и хозяину сказывайте, распроязви его в печенки, в пятки, в рот!

8

Вечер меж тем сгущался, приближалась ночь. И близилось разливное море пламени.

Жуткий страх встал в глазах Прохора. Время безостановочно бежит. Нужен дружный сокрушительный удар, чтоб свернуть стихии голову, но нет сил сдвинуть рабочих с места.

Прохор в кабинете — как в клетке лев, стучит кулаками в стол, кричит на Протасова, как на мальчишку. Протасов поджал губы, весь подобрался, в глазах издевательские огоньки: он знает, что карта Прохора бита, что бешенство Прохора означает его бессилие, что рабочие одерживают победу.

— А это что?! — вскипает Прохор, и бешеный взор его вскачь несется по строчкам поданной Протасовым бумаги. Прохор Петрович в ярости разрывает писаные требования рабочих, клочья бумаги мотыльками летят с башни вниз.

— К черту, к черту! Псу под хвост!.. Сволочи, мерзавцы! Хотят воспользоваться безвыходным положением... Где у них, у скотов безрогих, совесть, где бог?! Это ваши штучки, Протасов!

— Требования рабочих законны. Они вытекают из договора, — чуть улыбаясь уголками губ, говорит Протасов. — Теперь не время раздумывать.

— Молчите, Протасов...

— Утром, самое позднее — завтра к вечеру вы можете лишиться всего.

— Молчите!

— Успокойтесь!.. — И Протасов впился сверкающими зрачками в искаженное судорогой лицо хозяина. — Успокойтесь, Прохор Петрович. Взвесьте трезво положение. Надо всех людей немедленно же двинуть на работы. Вы своим появлением и руганью

только подольете в огонь масла. Рабочие разбегутся. И пожар захлестнет все. Я начальник всех работ. Я отвечаю пред своею совестью за сохранность дела. В него я вложил много сил. Я требую от вас чрез головы рабочих снизойти к их просьбам. Скажите — да. Этим будет спасено ваше дело, ваше семейство и вы сами.

Прохор сжимал и разжимал кулаки. В его глазах, в движении бровей, в сложной игре мускулов лица — алчность, страх, вспышки угнетенного величия.

Протасов отер вспотевший белый лоб с резкой гранью весеннего на щеках загара.

— Прохор Петрович, я ценю в вас ум, смелость, уменье схватить за рога свою судьбу...

— Слышите, Протасов, как орут эти мерзавцы... там у конторы?! Это вы их...

— Да, их тысячи... Они ждут вашего ответа. Они настроены мирно. И одно ваше слово может успокоить их...

— Знаю я это слово! Этого слова произнесено не будет...

— Ваше слово может поднять в них взрыв энтузиазма.

— Ага! Вы хотите меня оставить без порток, Протасов?

— Нет. Я хочу вас спасти.

Прохор залпом допил из горлышка коньяк и швырнул бутылку за окно, в небесное зарево, сотрясающее воздух.

— А ежели пожар кончится сам собой?.. Вы уверены, что он придет сюда?

— Уверен, — сказал Протасов. — И вы уверены в этом больше, чем я. Начинается ветер. Целый месяц стоят знойные дни. Итак, я жду.

Весь дрожа, Прохор сунул в карман два браунинга, свистнул волку, нахлобучил картуз.

— Где казаки, где пристав?.. Я их расстреляю, мерзавцев, этих бунтарей! А революционеришек вздерну на сосны...

— Вы не генерал-губернатор... Ваши слова — безумный лепет.

— Что?! — И Прохор с такой силой грохнул кулаком в стол, что крутивший хвостом волк сразу припал на брюхо, а Протасов, вздрогнув, отступил на шаг.

— Идем!

— Я вас не пущу.

— Как? Вы? Меня?!!

— Вы наделаете глупостей. Вас разорвут.

— Протасов! Бойтесь меня, Протасов... Вы хотите устроить революцию?..

— Я требую от вас справедливости во имя вашего спасения...

— Вы коварный человек... Вы... Пустите меня!..

— Нет... Не могу пустить.

Лицо Прохора налилось кровью.

— Прочь с дороги! Растопчу! — И Прохор ринулся было на Протасова, волк ляскнул зубами, зарычал. Протасов нырнул в карман за револьвером. Прохор отрезвел, остановился.

— Выход из башни заперт, — косясь на взъерошившегося волка, сказал Протасов. — Ключ у меня.

— Ага, в плену? Хорошо...

Прохор рванул телефон, закричал в трубку:

— Пристав! Пристава сюда! Фильку Шкворня сюда! Казаков сюда!

— Пристав в пятнадцати верстах. Казакам вы не командир.

Прохор бросил трубку, упал в кресло и весь затрясся.

— Андрей Андреич, Протасов... Что вы со мной делаете?

— Я дал слово Нине Яковлевне во всем оберегать вас. Я не могу рисковать вашей жизнью. Повторяю, рабочие могут растерзать своего хозяина.

Наступило молчание. Прохор шумно дышал. Его душила бурлящая в нем, но скованная в эту минуту жизнь. Волк лизал бессильно повисшие руки хозяина. В раздернутых надвое мыслях Прохора проносится зверь-тройка, звенят бубенцы. В кибитке — Нина и Протасов. Лицо Нины счастливое, светлое. Она улыбается Протасову и говорит: «Я вас люблю».

В сердце Прохора резкая вонзилась боль. За окном колыхались раскаленные небеса, и заполошно кричал Фарков:

— Прохор Петров! Прохор!.. Э-эй!.. Отопри...

Прохор подскочил к окну. Лошадь Фаркова в мыле. Протасов — быстро вниз, впустить Фаркова. И вот все трое на вершине башни. Пугающее зрелище потрясло Протасова и Прохора. В бинокль казалось: пожар подошел вплотную. И уже не было спасения.

— Скорей, Прохор Петров, скорей...

Всхлипнув, Прохор ринулся бегом по лестнице:

— Вот что наделал ты, Протасов...

Он поскакал на коне. За ним Протасов и Фарков. Не одна тысяча рабочих сидела у костров, забив всю площадь.

— Ребята! Ребятушки! Дети! — взывал Прохор пресекшимся голосом. — Спасайте мое и ваше... Все, что вы требовали от меня чрез начальника Протасова, я обещаю вам исполнить.

Он, как крылатый змий, перепархивал от одной к другой, к третьей группе. Лицо его бело, как бумага, черная борода тряслась.

— Ребята-а-а!.. За дело-о-о. Живо-о-о!.. — мчась из конца в конец по площади, вопил с коня Протасов.

— Урра-а-а!.. Ура-а-а!!

И четыре с лишком тысячи с бабами, с подростками лавой хлынули в тайгу.

Видя бегущий, угнетаемый им, но желающий спасти его народ, Прохор, весь ослабев душой, радостно заплакал. Конь понес его, оглушенного, вслед за народом.

Дымя цыганской трубкой, деловито прошмыгнул из мглы во мглу на своей шершавой кобыленке дьякон Ферапонт.

Еще обтекали Прохора многие конные и пешие, мужики и бабы, мелькали фонари, слова, словечки, но Прохор ничего не видел, ничего не слышал.

Чрез три часа быстроногие ходоки вышли на просеку Фаркова, чрез четыре — подтянулись

остальные. Ночь еще не кончилась, но зарево было здесь сильнее; оно давало трепетный, неверный свет.

Резиденция осталась позади верстах в двенадцати, да пожар еще и отсюда верстах в трех. Значит, опасность далеко. И все наделала эта сорокасаженная башня «Гляди в оба»: с нее пожар — вот-вот он, близко, на самом же деле пожар от башни в пятнадцати верстах. Настроение Прохора вдруг изменилось. Он хотел выругать Фаркова, что так бестолково напугал его, хотел рассориться с Протасовым и в душе стал клясть себя, что, как баба, поддался панике, свалял пред рабочими такого дурака. Да, Протасов поистине коварный человек.

— Моя просека сажен десять шириной, а где и больше, — ссутулился пред Прохором старик Фарков. — Просека прорублена верст на пять, эвона куда! Понял? Теперича надо верст на двадцать: гнать просеку эвот сюда, в другую сторону... Понял? А как прорубим, тогда свой огонь от просеки, запалим, навстречу пожарищу. Вот это и есть встречный пожар. Понял? А как два пожара друг с другом сойдутся, наш да божий, тут им, значит, и крышечка... Понял? Больше и гореть нечему... Значит, иди спокойно спать.

Истомленные убийственной дорогой, но окрыленные неожиданным посулом хозяина, люди забыли про усталось. Тайга на много верст дрожала от веселых песен, криков, визга пил и звяка топоров. Потрескивая, шурша ветвями, деревья сотнями валились с кряком. Ни понукания, ни окриков. Народ пьянел в работе, распоясался, остервенился, отдал мускулам весь запас крови, мужества; всяк работал за четверых. Значит, не четыре тысячи, — а десять, двадцать тысяч вступило в схватку со стихией, жертвовало жизнью ради Прохора.

Меж тем Прохор мрачнел, дух алчности вновь стал овладевать его сердцем. Он рад срыть обманувшую его башню, рад повесить на осине старика Фаркова.

«Дурак я, дурак... Баба... Тряпка».

Но небеса колыхались, искры взметывали над пожарищем, и огонек неостывшей, только что пережитой высокой радости все еще золотился в темной душе Прохора.

«Нет, нет, правильно. Иначе — могло все погибнуть...»

Дьякон Ферапонт и Филька Шкворень крушили тайгу, как звери. Дьякон — в брезентовых штанах, в бахилах, рясу где-то бросил и забыл о ней.

Стало рассветать. Просека росла. Ее опушка обкладывалась ворохами сушняка. Верховой ветер все крепчал.

— Время зажигать! — издали крикнул Прохору Фарков.

На протяжении двух десятков верст загремели условные выстрелы, рабочие с криками «ура» бросились к сушняку, и бурная полоса огня запылала по всей линии. Внизу сразу родился ветер. Огонь стал распространяться в глубь тайги. Тысячи огневщиков зорко сторожили, чтоб он не тек на просеку.

Тайга еще не успела стряхнуть с ресниц свой темный сон. Она пробуждалась медленно, позевывала, потягивалась, запускала руки-сучья в шапки зеленых своих косм, кряхтела. Но вот огонь ожег ее пятки. Тайга вдруг широко распахнула глаза, ахнула, передернула плечами. Сосны, вспыхнув, сразу одевались в золотые парики. Пляс огня шел с гулом, с барабанным боем, с оглушительными взрывами надвое раздираемых деревьев. Густые черные клубы дыма взмыли над пожарищем. Нестерпимый жар дыхнул в удивленные толпы стоявших на просеке рабочих. Освещенные заревом лица их потны, утомлены, в глазах трепет пред невиданной картиной. Бредовые разговоры.

— У нас Понкратьева убило.

— У нас сразу двоих пристукнуло деревом. Матрену с парнишком ейным.

— Мертвого старика вытащили, лесиной придавило. Кто таков, неизвестно. Теплый еще был.

Пожар сваливал от просеки вглубь — навстречу главному пожарищу.

4

Хозяин уже на вышке башни. С ним Иннокентий Филатыч, отец Александр и мистер Кук. С башни видно, как два пожара, две огненные стихии, вздыбив к небесам, молча шествуют друг на друга. Сила двойного пожарища могучим поршнем всасывала воздух, сотрясала атмосферу на десятки верст: дул ветер, башня слегка поскрипывала.

— В высшей степень необычной зрелищ, — причмокивал мистер Кук. — Это, это весьма грандиозно... Колоссаль!

— А вы там были? — сквозь зубы цедит Прохор.

— О нет, о нет... Я не герой подобных приключений. Я созер... как это?.. Созерцатель. Так? — И большие уши мистера Кука от напряжения мысли задвигались. — Нет, вы обратите внимание, господа... Какие две силы. И сколько миллиард тепловых калорий гибнет очшень зря...

— Да, зря... — буркнул Прохор.

— Ужас, ужас, — повел сутулыми плечами священник.

— Фено-ме-нально... Колоссаль, колоссаль... О! — воткнул мистер Кук палец в небо и смачно почмокал, словно гастроном пред шипящими в сметане шампиньонами. — Но почему такой совсем глюпый рюсска пословиц: «Огонь не туши»?

— «С огнем не шути», — снисходительно улыбаясь, поправил отец Александр.

Чрез мутную, все еще державшуюся в воздухе дымовую пелену доносились откуда-то раскаты грома.

— А, кажись, дождиком попахивает, — огладил белую бороду Иннокентий Филатыч.

— Ты! Пророк... — сердито цыкнул на него Прохор, рассматривая пожарище в бинокль.

Но в стекле, как в зеркале, пожар чудился холодным, мертвым. На деле же было совсем не так.

Узкая полоса тайги меж огненными лавами — стихийной и искусственной — все более и более сжималась. Два огромных пламенных потока шли друг другу навстречу. Вся живая тварь в этой полосе —

бегучая, летучая, ползучая — впадала в ужас: куда ползти, куда бежать?

Стада зверей, остатки неулетевших птиц, извивные кольца скользких гадов — вся тварь трагически обречена сожжению. В еще не тронутой полосе, длиной верст в двадцать и шириною не более версты, как в пекле: воздух быстро накалялся, и резко слышался гудящий гул пожара, свист вихрей, взрывы, стон обиженной земли. А красное небо, готовое придавить тайгу, тряслось.

От звуков, от дыма, от вида небес звери шалели. В смертельном страхе, утратив инстинкт, нюх, зрак, одуревшая тварь заполошно металась во все стороны. Летучим прыжком, невиданным скоком звери кидались вправо, влево, но всюду жар, смрад, огонь. И вот, задрав хвосты, высунув языки, звери неслись вдоль линии огня. Но и там нет выхода: огни смыкались. Звери безумели. Глаза их кровавы. Оскал зубов дик, в желтой пене. Звери молча вставали на дыбы, клыками впивались друг другу в глотку, хрипели, падали. Сильные разрывали слабых, в беспамятстве грызли себя, истекали кровью, шерсть на живых еще шкурах трещала от жара.

Малая белочка, глазенки — бисер, хвост пушист. Торчит на вершине высокого дерева, вправо и влево огонь. А белке — плевать: ведь это игра. Чтоб прогнать резкий страх, белка играет в беспечность. Унюхала шишку — и в лапки, и к мордочке. Справа огонь, слева огонь. «Не страшно, не страшно, — бредит безумная белка, — сон, сон, сон». «Стра-а-шно!» — каркает, ужавшись к стволу под мохнатую лапу кедра, столетний с проседью ворон; у него перебита ключица, висит крыло. Белка в испуге сразу вниз головой по стволу к земле. Но земля горит. И — вверх головой, в страхе, к вершине. Вверх, вниз, вверх, вниз — все быстрей и быстрей носится белка. Но вдруг теряет сознание, комом падает в пламя. Пых и — конец.

Медведица бьет пестуна в темя крепким стяжком, череп молодого медведя треснул, распался. Стервятник, матерый медведь, задушив другого медведя,

разворачивает с дьявольской силой пни, камни, лезет в берлогу, тяжело дышит, с языка — слюна, валится, как пьяный, на толстый пласт кишащих в берлоге скользких гадов. Их загнал сюда жар. Раздавленные гады, издыхая, шипят, смертельно жалят медведя, медведь ревет дурью, катается с боку на бок, рявкает, стонет, как человек. Дым, огонь напыхом хлынул в берлогу и — смерть.

Смерть всему, смерть всякой твари, гнусу, медведю, птице, даже мудрому филину — смерть. Смерть бессмертному вещему ворону. Всякому дереву, всякой былинке, воздуху, духу, запаху, тлению — смерть!

...Вот две стены пламени, по сотне верст каждая, идут друг на друга в атаку, в атаку, в атаку!.. Вверху воют ураганные смерчи раскаленного воздуха. Орлы и орлята, запоздало спасаясь от смерти, взлетали ввысь вертикальным винтом, но, ударившись в своды раскала, падали горящими шапками, шлепались о землю углем. Температура — тысяча градусов, сила бури — баллов двенадцать, а может, и сто...

Две стены пламени стали загибать своды синими, желтыми, красными вспышками друг другу навстречу. И вот своды замкнулись на всем протяжении. Страшный гул прогудел над тайгой, земля задрожала, и сотряслись небеса. Будто тысячи одноногих Федотычей залп за залпом грохали из всех пушек мира.

— Конец, конец... — сказали на башне, вздохнули. Каждый сказал по-своему, и по-своему каждый вздохнул.

— Конец, — сказали и рабочие внизу. Подобрав в тайге убитых, они вернулись домой.

Пожар на сотню верст кругом оградил стеной опустошенного пространства все предприятия Прохора Петровича, положив предел огню. Прохор спасен.

Пожар-разрушитель догорал бы еще целую неделю, и целую неделю воздух продолжал бы быть отравлен дымом. Но к ночи хлынул с громом проливень-дождь и, обладая несокрушимым могуществом, в одночасье вбил в землю и дым и огонь. Ни уголька, ни головешки.

— Дождéвное лияние, — высокопарно заметил отец Александр.

Туча быстро ушла. Все концы неба просветлели.

— Проклятая!.. Анафема!.. — вслед уходившей туче злобствовал Прохор. — Где ты, дьявол, раньше-то была?!

Но туча ушла не совсем, ее тяжелый мрак навсегда остался в лице Прохора Громова, заполз в зрачки, объял неистребимым унынием всю его душу.

...И если зазвучит струна, то другие, включенные в аккорд струны, ей тотчас ответят. Таков закон детонации. Кэтти сидела у себя одна со своей тоской всю ночь.

Экзамены кончились, школа закрыта, весна не ждет, гроза разрядила воздух. А в душе по-прежнему все та же хандра, дым, хмарь.

Ночь. Электричество притушено красной кисеей. Поэтому комната в легком зареве. Чуть золотятся рамы картин. Нетронутая кровать печальна, одинока. Канарейка в клетке встряхнула перышки, побредила, открыла бисерный глазок на Кэтти.

— Здравствуй, девушка, — чирикнула она, но Кэтти не слыхала. Канарейка защурила свой бисерный глазок.

Кэтти посолила кусочек черного хлеба, понюхала его, выпила рюмку зубровки, широко открыла глаза, чуть наклонила голову, прислушалась, как, впитываясь в кровь, томит вино. Пожевала соленую корочку, опять налила и выпила.

Кэтти подурнела: проморщинилась кожа у глаз, губы стали невыразительны, вялы. Она — украдкой, тайно — пьет давно. Чернила, бумага, отец об этом не знают. Не знает никто. Но отпечатки каждого мига четко кладутся в ее собственном сердце и где-то в сферах эфира. Невроз сердца, нервы расшалились, покровы тела анемичны, — так сказал врач.

— Надо встряхнуться вам, барышня, — сказал он. «А как?» Врач улыбнулся, мотнул бородой и с вульгарной ужимкой развел руками.

Кэтти пьет пятую рюмку и нюхает корочку. Стоило с ним ходить в дыму, по тайге, уединяться. «Глупец! Невменяемый». Правда, поцеловал, но как?.. Так прощаются с мертвым. И хоть бы полслова о любви, о женитьбе, хоть бы признак страсти. Ну схватил бы, бросил бы, сделал бы мерзость! Она, конечно, дала бы ему оплеуху. «Но он же мужчина! Болван. Мечтает о Нине. Дурак. Он в сто раз хуже Ферапонта! Заграничный урод!»

Мистер Кук лежит на кровати. Он зверски икает. Иван подает стакан воды, говорит:

— Это кто-нибудь вас вспоминает, барин. А вы вот энтим пальцем в нёбо, а сами твердите: «Ико́та, ико́та, сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого...» И — как рукой.

Кэтти пьет шестую рюмку, сплевывает, закрывает лицо белыми ладонями, тихо хохочет. Сквозь пальцы слезы текут. Кэтти вырывает из прически гребенки, шпильки, кидает их на пол, валится головою на стол. Резкий, пронзающий душу всхлип. Канарейка встряхивается желтым тельцем, опять открывает из дремы в дрему свой бисерный глазок. Дрема в розовом зареве. Свет лампы призакрыт вуалем.

...Рука еще раз тянется к сегодняшнему письму. Строчки милой приятны пред сном, как молитва монаху. Протасов быстро находит эти строчки.

«Андрей! Мне страшно подумать, не только сказать, но, кажется... я люблю тебя...»

Сердце Протасова дрожит, и, наверное, где-то дрожит сердце Нины.

Дьякон вернулся домой без рясы. Манечка пилит его немилосердно. Дьякон притворяется, что слушает внимательно, но думает о другом: о той снежной ночи с Кэтти. И смешливо грустит: вот если б он до того случая потерял рясу... Эх, дурак, разиня!

— Манечка!.. Влетело мне в голову расстричься...— бредит он.

— Что? Что? Спи знай.

Дьякон мямлит что-то и вскоре испускает мужественный храп.

5

Убитых лесорубов вычеркнули из списка живых, составили акт. Сделав свое дело, рабочие чувствовали себя героями. Стали терпеливо ожидать исполнения хозяйских клятв.

Проливень с громом сменился холодами. Внутренне похолодел и Прохор Громов. Моросил мелкий дождь, краски природы помрачнели. Мрачнел и Прохор Громов. Но все-таки неистребимый дух алчности подсказал ему способ извлечь пользу из несчастья.

Говорили в кабинете с глазу на глаз, тайно:

— Вот тебе адреса моих кредиторов, адреса заводов, фирм. Завтра чуть свет поезжай в Питер. Найдешь нужных людей. Заметки в двух-трех газетах. И — по четвертаку за рубль. Понял?

— Понял. Вот это по-коммерчески!.. — И Иннокентий Филатыч оскалил в широкой улыбке свои белые вставные зубы. — Два раза сам так делывал.

— Вот тебе пока чек на двадцать пять тысяч. Коммерсантам, в случае удачи, вышлю чеками же. Только знай! — И Прохор по-сердитому загрозил пальцем: — Носы не кусать, в тюрьму не попадаться. Вообще вести себя по-деловому...

— Как можно! — замахал руками старик. — Этакое поручение, да чтобы я... Даю крепкое купецкое слово... Образ Христа целую! — Старик торопливо прикрыл носовым платком сиденье плюшевого стула, встал на платок грязными сапогами и набожно приложился к иконе.

Прохор дал приказ выплатить рабочим жалованье не талонами, а наличными деньгами. Контора выдала людям сто тысяч.

Обогатившийся народ хлынул обогащать частных торговцев: у тех все есть и все много дешевле. На следующий день, велением Прохора, пристав закрыл все частные лавки, а купцов, своих вчерашних друзей и собутыльников, стал выселять за черту предприятий. Упорствующих хватал, сажал в чижовку.

Рабочие поняли, что, хотя одно из их требований удовлетворено, однако Громов снова загоняет их

в свои магазины, хочет вернуть в карман выданные конторой деньги. Шепотки пошли, сердитое ожидание, что будет дальше.

А дальше наступила неизбежная череда событий, в круг которых своевольно ввергал себя Прохор Петрович Громов.

В сущности, неопытный взор мог бы скользнуть мимо этих событий равнодушно, — настолько они, взятые в отдельности, ничтожны, естественны. Для простого умозрения эти события, казалось, возникали случайно, на самом же деле — железный закон борьбы двух враждующих сил нанизывал их на общую нить неизбежности. А нанизав... Впрочем, предоставим все времени.

Мы склонны утверждать, что вся жизнь, все грани жизни Прохора Громова созданы им самим, и отнюдь не случайны. И поступки всех персонажей: от Нины до Шкворня, до волка, связавших судьбу свою с Прохором Громовым, сделаны им же, то есть Прохором Громовым. В это мы верим, ибо мир весь — в причинах и следствиях.

Так, Анна Иннокентьевна, мягкотелая вдова, согласилась быть женою Ивана Иваныча Прохорова, человека в больших годах. Вот вам первое следствие, а Прохор Петрович — причина. Прохор пошалил с нею, разжег ее сердце, обидел. И вот бабья месть: «На же тебе, на, хоть за старика, а выйду, назло выйду, на!» Надоело ей все, захотелось сменить декорации, чтоб начать новый спектакль своей жизни. Она, пожалуй, и не вышла бы, да настоял отец: «Обязательно выходи. Ивана Иваныча надо ублажать. А почему — в скорости сама узнаешь».

Иван Иваныч венчаться у отца Александра не пожелал: огласка неприятна. Уехал в село Медведево. И, не умри Анфиса, — он не плакал бы горько у могильного креста ее, а может, женился бы на ней. И, не пожелай Прохор, чтоб его отец очутился в сумасшедшем доме, — Иван Иваныч не играл бы в маскарад: он был бы не Иваном Иванычем, а, как всегда, — Петром Данилычем Громовым. И, не будь Петр Данилыч поневоле Иваном Иванычем, — его новая

жена Анна Иннокентьевна Громова, узнав лишь на второй день свадьбы, кто муж ее, не рыдала б навзрыд, не билась бы головой в стену и, потрясенная грехом кровосмешения, не выкрикивала б как сумасшедшая: «Стыд на мою головушку, стыд!» Беременная от сына вчерашнего мужа своего, она вся впала в душевный мрак; исхода не было, — она стала подумывать о петле.

Иначе не могло и быть. Потому что нашего Прохора родил Петр Данилыч, развратник и пьяница. Петра же Данилыча родил дед Данило, разбойник.

Яблоко, сук и яблоня — все от единого корня, из одной земли, уснащенной человеческой кровью.

Неотвратимая закономерность этого сцепления причин и следствий давала себя знать и там, у Прохора.

Приехал назначенный на предприятия Громова жандармский ротмистр Карл Карлович фон Пфеффер. С ним унтер-офицер Поползаев в помощь жандармам Пряткину — Оглядкину. И еще рота солдат «для поддержания, в случае надобности, силой оружия спокойствия и порядка». При роте два офицера: пожилой, без усов, толстяк Усачев и молодой, с большими запорожскими усами, Игорь Борзятников.

Он, вероятно, станет супругом Кэтти. По крайней мере таков замысел автора. Но что будет в жизни, — автор не знает: может быть, Кэтти сойдет с ума, может быть, мистер Кук, вместе с лакеем Иваном и Филькой Шкворнем, выкрадет Кэтти из-под венца и умчит ее на тот свет, в Новый Свет, в Соединенные Штаты Америки. А может случиться и так, что Кэтти отравится ядом.

— Ах, какое несчастье, ах, какое несчастье! — деланным голосом восклицал Парчевский и с соболезнованием покачивал головой. — Вы, голубчик, Иннокентий Филатыч, поскучайте, я живо напишу. Я все уразумел из ваших слов. Может быть, коньячку выпьете или водочки?

— Ни в рот ногой... Не пью-с, — потряс бородой тароватый старец. — Лимонадцу можно-с.

— Вот боржом. — Владислав Викентьевич удобно усадил выгодного гостя за преддиванный столик, а сам сел к письменному столу и приложил к белому лбу карандаш, сбираясь с мыслями.

— И механический завод сгорел?

— И механический завод как бы сгорел.

— Ну, а новый дом Прохора Петровича, лесопильные заводы, мельница?

— И новый дом как бы сгорел, и мельница как бы сгорела, а старая лесопилка сгорела дотла, и шпалы, и тес... Ой, ой!.. Убытков страсть! — Старик прослезился и вытер глаза платком.

Владислав Викентьевич вдруг по-сатанински улыбнулся и сказал самому себе: «Ага!» Карандаш ото лба легким вольтом прыгнул на белое поле бумаги. Погоняя одна другую, строчки ложились быстро. Старик битый час рассматривал интересные альбомы с голыми девками. Статья окончена. Парчевский сиял. Он размножит ее и сегодня же сдаст в газеты. У него везде связи. Недаром же он — племянник губернатора. По протекции дяди он служил теперь в министерстве путей сообщения.

Старик, причмокивая, прослушал статью со вниманием. В статье говорилось о стихийном бедствии, о небывалом таежном пожаре, «как будто» уничтожившем все предприятия миллионера П. П. Громова. Большинство предприятий застраховано не было. Фирме «как будто» угрожает крах.

Статья написана дельно, убедительно, подтверждена дутыми цифрами; она производила впечатление корреспонденции с места. И была подписана: «Таежный очевидец».

— Очень правильно... Закатисто!.. — прищелкнул языком старик.

— Да уж я... Чего тут... — похвалил себя Парчевский, и лицо его раскололось надвое; пухлый рот и щеки улыбались: «Меня-то, мол, не проведешь, я, мол, все давно понял»; глаза же были серьезны, требовательны, будто хотели сказать: «гони монету».

— Теперича постанов вопроса таков, — учуяв полуявные помыслы Парчевского, сказал старик, потирая руки. — Надо собрать всех кредиторов на чашку чаю, рубль ломать. Вы, дорогой мой, Владислав Викентьевич, должны мне, старику, помочь. Переговорите кой с кем лично, особливо ежели с заводами. С выгоды получите один процентик-с. И, кроме сего, вас никогда не забудет Прохор Петрович.

— На какую сумму будет сделка?

— Так, полагаю, — не меньше полмиллиончика...

— Тогда процент мал. Три процента.

— Что вы-с!.. Пятнадцать тысяч?! Высоко хотите летать...

— Риск... Как будто за такие дела можно и в тюрьму сесть. А впрочем... Давайте уповать на «как будто».

— На «как будто»? Вот, вот! Это самое...

И пронырливые глазки старика, подмигивая Парчевскому, утонули в смешливых морщинках, как в омуте.

— А как Нина Яковлевна? Она дома?

— Дома-с, — соврал старик и, хлопнув себя по лбу, заморгал бровями: — Ба-ба-ба! Вот старый колпак... Вот храпоидол... Ведь забыл вам поклончик от Нины Яковлевны передать... Ах, ах! — убивался, паясничал старец. — Как уезжал, она позвала меня и говорит мне: «Обязательно разыщи дорогого моему сердцу Владислава Викентьича...» И адрес дала ваш, угол Невского и Знаменской...

— Откуда ж она...

— Да уж.... Сердце сердцу, как говорится... весть подает. Уж я врать не стану...

Красивое, с гордым профилем лицо Парчевского на этот раз засияло целиком.

— Ах, милый Иннокентий Филатыч!

— «И передай ему, говорит, что я его помню и, может быть, думаю о нем день и ночь...»

— Преувели-и-чиваете, — радостно замахал Парчевский на плутоватого старца веселыми руками. — Не сказала ли она «как будто думаю» и «как будто бы помню»?

Старик было тоже засмеялся, но тотчас же сбросил с себя смех.

— Поверьте, — сказал он, — Нина Яковлевна очень даже о вас тоскует. Я сразу сметил. Ну-с, до свиданьица, дорогой! До завтра. Уж вы постарайтесь...

— Дайте мне тысячи полторы.

— Зачем?

— А как же? Газетчикам дать надо, чтобы это «как будто» не вычеркнули? На личные расходы, связанные с нашим делом, надо?

Старик не прекословил: поплевывая на кончики пальцев, отсчитал деньги, оставил адреса кредиторов.

Подмигнули друг другу, расстались. Моросил питерский дождь. Асфальты блестели.

6

— Позвольте познакомиться с вами. Ротмистр фон Пфеффер.

Прохор поморщился. Обменялись друг с другом напряженными взглядами. Оба слегка улыбнулись: Прохор иронически, ротмистр чуть подхалимно. Высокий блондин, голубые глаза, бачки, длинная сабля катается на колесике по полу, чиркает пол.

— Его превосходительство собирается заглянуть как-нибудь к вам лично.

— Зачем?

— Интересуется.

— Вот пожар был. Прошу садиться.

— Да, дым, я вам доложу, на всю губернию. Даже у нас, — двусмысленно сказал ротмистр.

— Пожар этот стоит мне больше трехсот тысяч.

— Да что вы? — И колесико чиркает по полу.

— Пришлось сделать большие уступки этим скотам рабочим. Черт, неприятность. Черт!..

— Н-да... Я вам доложу, это н-да-а...

Теплый вечерний час. Чайный стол накрыт на веранде с выходом в зеленеющий сад. В саду над кустами малины, окапывая их, работал садовник.

Ему помогали сопровождавшие ротмистра Пряткин — Оглядкин. Унтер Поползаев дежурил на кухне. Карл Карлыч один выходить опасался: новое место, глушь. Чай разливал сам Прохор Петрович. Попискивали кусучие комарики. Карл Карлыч стращал их дымом сигары.

Вдруг, вдали, с ветерком — «многолетие». Все гуще и громче. Карл Карлыч перестал брякать ложечкой.

— Что это?

— Дьякон... Купается, должно быть. Верстах в трех...

— Ах, дьякон... Ферапонт, если не ошибаюсь? Из кузнецов?

— Он самый... А вы как же это...

Карл Карлыч выпустил дым из одного, из другого уголка бритого рта, сказал:

— Списочки-с... Н-да-с...

А с ветерком долетало все гуще, все выше, все крепче:

— Благодетелю наше-е-му-у... Хозяину Про-о-охору... Гро-о-омову.

— Голос, я вам доложу, феноменальный.

Ротмистр, гремя шпорами и подергивая левым плечом, разгуливал по веранде.

— Да... Это жена все... А я... знаете... так...

— Что, неверующий? — подмигнул гость хозяину.

— Да нет... А так как-то... Знаете, дела...

— Ну-с, а вот Протасов? Он как насчет...

— Великолепный человек...

— Да, человек изумительный. С рабочими ладит, нет? И вообще...

Прохор Петрович смутился, обдумывал, боялся хитрых ловушек.

— Да, ладит с людьми, — ответил он. — Если б Протасов не умел ладить с рабочими... Я б тогда его в три шеи.

— Я удовлетворен, — сказал ротмистр двусмысленно, подняв правую белобрысую бровь.

Прохор подарил ему ящичек гаванских сигар.

— Спасибо, спасибо... Ну, что ж... *Вы* — это *мы*,

так сказать, а *мы* — это *вы*. — И, щелкнув шпорами, Карл Карлыч откланялся.

Вскоре кой у кого произведены были обыски. Брошюрки, подписные листки, нелегальщинка. Кой-кто схвачен. Прохор отвел особое помещение для арестованных. Накопят с десяток — и вышлют.

Допрашивался техник Матвеев, двое-трое рабочих, десятник подрывных работ, выборный староста барака № 5 старик Аксенов и, для отвода глаз, Наденька.

Ротмистр обычно вел допросы очень мягко, нащупывал нити и всех поражал, что знает до тонкости местные условия жизни, настроение рабочих, всех крикунов, «говорильщиков», знает и Гришу Голована и Книжника Петю. Словом, у него своих собственных нитей целый клубок.

Получив острастку, «говорильщики» подтянулись, стали ловчиться, хитрить. Петя обрился и по фальшивому паспорту служит теперь на дорожных работах: вяжет фашинник, тешит колья, помалкивает.

Техник Матвеев однажды отвел Протасова в кусты; долго ходили вдоль берега, вели беседу.

— Да, пожалуй, для забастовки момент упущен, — сказал Протасов, прощаясь с Матвеевым.

— Почему?! — возразил тот. — Нисколько. Только надо учесть настроение рабочих и не расхолаживать их. Борьба — так борьба...

Протасов поморщился.

Карл Карлыч — из остзейских баронов — был предан престолу российскому. Он жил вблизи церкви, в новом доме, вверху. А в нижнем этаже два взвода солдат. Жалованье получал от казны, а за особые услуги от Прохора Громова. Сделал визиты мистеру Куку, семейным инженерам, судье, отцу Александру и приставу.

Наденька чуть не растаяла — ротмистр красив, но визит был короток: налили, чокнулись, выпили. Впрочем, Карл Карлыч сказал:

— Я очень на вас надеюсь, Надежда, простите, Петровна? Крамола, понимаете. Надо как-нибудь... Да-с.

Посетив отца Александра, подошел под благословение.

— Вы православный?

— Нет-с, протестант-с...

— Похвально, похвально, — сказал священник, а Карл Карлыч не понял: похвально ли то, что он протестант, или то, что пожелал принять благословение от простого попа.

— Ну, как существуете? Как настроение среди служащих, среди рабочих?

— Простите, полковник...

— Пардон. Я только ротмистр еще...

— Простите, Карл Карлыч... Но я ведь человек не общественный, живу замкнуто... И жизнь — мимо меня.

— Ну, а как же... Ну, например, на исповеди? Ведь должны ж они каяться, и должны ж вы, если не ошибаюсь, предлагать им вопросы: а как, мол, относитесь к государю, к установленным порядкам и прочее?..

— Но, видите ли... — болезненно замялся священник.

— Нет, нет! — воскликнул жандарм. — Вы не так меня изволили понять. Не персонально, конечно, не Петр, не Сидор, а так вообще, общее ваше мнение о здешних умах?

Отец Александр неловко вздохнул, под рыжими бровями шмыгали глазки, не знали, куда им глядеть. Шелковая ряса зачахла.

— Ну-с, так как-с? — стал жандарм издали разглядывать свои точеные ногти.

— Простите, Карл Карлыч... Но мне казалось, что вы пожаловали...

— Нет, нет, нет! — И ладони жандарма упали. — Было бы смешно, нелепо. Ничуть не допрос, ничуть не допрос, — заспешил жандарм. — Я, батюшка, гость ваш.

— Премного рад, премного... Рюмочку лафитцу. Прошу вас.

Чокнулись, выпили. Шелковая ряса хрустела.

— Да, ветер безверия, вольномыслия действительно подувает во всем мире. И не утаю от вас, как от представителя властей предержащих, что легкие веяния этого ветра залетают и сюда.

Холеное, чуть припудренное лицо жандарма сделалось серьезным, улыбнулось, стало серьезным вновь. И шпоры под креслом звякнули. Отец Александр понюхал табачку.

— По секрету скажу вам, батюшка, общее состояние дел в нашем отечестве неважно. Смутьяны рыщут по России целыми полчищами. На фабриках красненький душок... И прекрепкий...

— О господи! — перекрестился отец Александр. — Спаси российскую державу нашу. Спаси, господи, люди твоя.

Отец Александр чихнул, а жандарм за него посморкался в голландского полотна платок.

— Трудно-с, трудно-с, я вам доложу. Очень трудно мне служить. И трудно и опасно. Хотел бросить все. Но... Но у меня семейство...

— Да, ваша служба очень, очень...

— Что? — Ротмистр вздохнул. Его взор замутился человеческим чувством. Но вот левое плечо подскочило, задергалось, блестя серебром погона. — И вообще, уважаемый отец Александр, в своих замечательных проповедях не касайтесь, пожалуйста, острых тем. Прошу вас... Например, на тему о взаимоотношении труда и капитала, хозяина и рабочих. Мы-то с вами, конечно... Знаете, ведь в евангелии, там прямо: «горе богатому» и «раздай все бедным». Это соблазн. Мы-то с вами... А в общем, что две тысячи лет тому назад было истиной, то нынче... — Жандарм запнулся, опять стал рассматривать ногти. Батюшка сильно смутился легкомысленной репликой ротмистра, хотел вступить с ним в спор, но сердце постукивало.

...Мистер Кук страшно боялся жандармов: он полагал, что жандармы приходят, чтоб обыскать и схватить. Иль пристрелить тут же на месте. О простом же визите к нему ротмистра он и мечтать не мог. Но случилось так: Карл Карлыч пошел к нему

первому, — их домá почти рядом. А, как на грех, вчера были обыски и кой-кого загребли. Мистер Кук трус. Сегодня воскресенье, он сидел за столом, читал библию на английском языке, подарок матери. Читает — и хоть бы слово влетело в голову. «О нет... жандармский офицер приехал сюда неспроста, — думал он, — я иностранец... Примет, пожалуй, меня за шпиона. И в каторгу. Прямо без суда. О, я русские порядки знаю. Варварская страна. Брр».

Чтоб перебить настроение, мистер выпил сильную дозу коньяку.

Вдруг вихрем влетел Иван:

— Барин!! Жандармы пришли!

И покажись мистеру Куку, что, крикнув так, лакей выпрыгнул из окошка на улицу. Библия брякнулась на пол.

В дверях величавый Карл Карлыч; шпоры звякнули, сабля пристукнула в пол. Мистер Кук вскочил, вскинул руки вверх, как пред экспроприатором, изо рта упала остывшая трубка.

— Позвольте представиться.

— Алло, алло, — бессмысленно бормотал мистер Кук, нижняя челюсть поплясывала. Он враз потерял русский правильный выговор: — Я вот эта, эта, эта... — хватался он за рулоны чертежей. — Я инженер... Политик не вмешайся... Революций не нада. О нет, о нет! Царь император... Алло!

Жандарм улыбнулся, все понял. Мистер Кук вытер с губ слюни, стал приходить в себя. И вскоре за третьей рюмкой коньяку у них пошел разговор на получистом английском.

— Иван! Больван!.. Адьёт! Господину барону коффэ...

...А вот у Протасова. Любезный визит и нечто вроде допроса. Оба представились. Протасов наружно спокоен. Впрочем на левой руке дрыгал мизинец. Сели.

— Простите, Андрей Андреич. Я попросту. Угостите чайком. Дома, я вам доложу, желтая скучища. Один.

Анжелика вышмыгнула с завитой челкой; она

дважды меняла туалет: гость красив, особенно губы и бачки.

Гость и хозяин долго витали околицей. Они оба знали, о чем будет речь и в какой плоскости потекут разговоры. Вечер. Самовар затянул на одной ноте грустную песню. Под этот плакучий выписк Протасову почему-то взгрустнулось. Он вспомнил Нину, ее фразу в письме: «кажется, люблю». Самоварчик затих. Мысли о Нине, совсем неуместно пришедшие, лопнули. Ротмистр потер руки, повернул перстень на пальце, камушком вверх, сказал задушевным тоном, как старому другу:

— Дорогой Андрей Андреич, милый. Вы человек крупного европейского масштаба. Вы должны и по-европейски мыслить. Вы, конечно, лучше меня знакомы с доктринами Карла Маркса. Ну-с? И что же-с? У-топия-с!.. Нет почвы-с. То есть в нашей мужичьей стране. Теперь так. Я вас, конечно, мог бы во многом уличить. Но...

— В чем же? — И Протасов ловил внутренним слухом, с какой стороны хлопнет капкан.

— Но... Я обожду принимать меры, которые мог бы принять не откладывая.

Протасов заерзал.

— Например, так. Ночь. Дождь. Я число вам скажу после. Вас разыскивает рабочий. Кто? Скажу после. У вас фонарик. Мигалочка. Миг-миг-миг... Потом путешествие чрез лес, к заброшенному бараку. Техник Матвеев, рабочие, лекции. Что ж? Вы как расцениваете это?

— Допрос?

— Да, допрос.

Опущенные веки Протасова дрогнули, во рту стало сухо. Мелькнула неприятная мысль о провокаторе. Вспомнил, как встретил в ту ночь двух всадников: Наденьку и кого-то еще. Стало противно.

— Вы, конечно, презираете меня? — вкрадчиво промурлыкал ротмистр, вздохнув. — Разрешите снять саблю. Попросту. Можно?

Ротмистр поставил саблю в угол, к изразцовой печке, задержался у печки, наклонился, чтоб

поправить сползший носок, а сам все зорко по печке, по швам изразцов, по царапинкам. Стал ходить взад-вперед. Оба молчали ненавидящим молчанием. Протасов курил. Янтарный мундштук в зубах прыгал. И неожиданно с отеческими в голосе нотками:

— Андрей Андреич, милый... Бросьте все это, умоляю вас. Успокойте мое сердце. Ну, что вам за охота пришла? Вы получаете двадцать пять тысяч. Батюшки! — всплеснул ротмистр руками. — Ведь это ж министерский оклад, ведь это ж... Я — четыре, да и то чувствую себя барином и вовсе не желаю в революцию играть. Тьфу, чтоб ей...

Протасов улыбнулся лицом, но сердце серьезилось, ныло. Подумал: «Ловко, мерзавец, капканы ставит». Мизинец дрогнул. И весь он внутренне содрогнулся, как при виде змеи.

— Дорогой Андрей Андреич! Думаете, что и мое сердце не ноет? Я вам доложу — ноет. Да и как еще! Разве я не патриот, разве я не сын нашей несчастной России? Страна темна, бесправна — это аксиома. Всякий дурак видит. Царь под скверным влиянием. Россия гибнет. Но как, как пособить?! Вы скажете — революцией, да? — попробовал поставить ротмистр капканчик.

— Нет, я не собираюсь вам это говорить.

— Ну да, конечно. — Ротмистр разочарованно дернул левым плечом, заложил руки в карманы рейтуз и на ходу стал намурлыкивать из «Синей бороды» веселый мотивчик. — Обидно, обидно... Да. Вы не хотите со мной быть откровенным. Жаль.

Сильные токи вдруг подняли Протасова на ноги.

— А знаете ли, господин ротмистр, условия, в которые поставлены наши рабочие, вот здесь, здесь, у нас?

— Отчасти — да, — прищурился ротмистр, пружинно потряс головой.

— И что же?

— Хе-хе... Допрос?

— Нет, просто хочу знать ваше мнение, ротмистр.

— Успокойтесь, любезный Андрей Андреич. Вы прекрасно понимаете, что я здесь не за этим. Для

этого существует особая инспекция. Она должна блюсти интересы рабочих...

— Но, может быть, вы... как-нибудь...

— Нет-с. Я влиять на господина Громова не намерен. Впрочем, сюда собирается губернатор. А что ж вы? Что еще рабочим надо? А не желают ли они к... знаете куда? К чертовой бабушке. Нет-с, довольно!

Токи ослабли. Протасов, ругая себя, медленно сел. Посверкали друг в друга зрачками, как укротитель и тигр.

— Да-с, да-с, — дважды дакнул жандарм, давящим взглядом окинул Протасова и снова воззрился на печку. Печка стояла холодная. В ней нелегальщина. У Протасова екнуло сердце. Он со страхом следил за глазами врага. Печка как бы качнулась, подпрыгнула. По губам ротмистра пробежала ухмылка.

— Да-с, да-с, — ротмистр на цыпочках к печке. Нагнулся, зорко высмотрел чуть видные две дырочки в швах изразца, легонько царапнул их ногтем. Печка сразу нагрелась, нагрелся весь кабинет, Протасову — жарко, на спине зашевелилась рубашка.

— Дырочки?

— Да, кажется, — желчно ответил Протасов.

Ротмистр быстро допил остывший чай.

— Да-с! — крикнул он и пристукнул стаканом.

Протасов поморщился. Желчь ударила в голову.

— Меры! Самые строгие, самые крутые-с. Иначе все развалится, все рухнет. Время ответственное. Да-с.

— Что ж, — сказал Протасов, смахнув рукавом кителя пот со лба. — Я сам большой поклонник дисциплины. Но полагаю, что законные требования рабочих...

— Простите, требования? — И ротмистр распялил пальцами тесный ворот мундира. — Рабочий может только просить! До свиданья-с.

Ротмистр надел саблю и, придав лицу маску холодной учтивости, быстро прикидывал: подать

Протасову руку иль нет? А вдруг Протасов выкинет штучку, не примет руки.

— Ну-с, спасибо за чай. — Ротмистр прошел два шага и вернулся. Постучал розовым ногтем в печку, где просверлены дырочки, дружески взял Протасова за обе руки и на ухо: «Дорогой мой, сожгите, ради бога. Уничтожьте. А то вдруг обыск. Мне бы очень не хотелось, чтоб... Вы поняли?» Маска холодной учтивости лопнула, лицо было по-настоящему скорбно, в глазах театральная искренность — ложь. — Прощайте-с, милый Андрей Андреич! — И долго, с чувством тряс руку хозяина. Протасов, весь красный, взволнованный, растерялся, не знал, что сказать.

Он запер дверь кабинета, с брезгливостью вытер руки одеколоном, вынул железным крючком изразец и все, что хранилось в тайных ходах печки, тут же сжег. Всю ночь проворочался в кровати. По правую руку — двадцать пять тысяч и Нина, по левую — рабочая масса, заветы, жертва собой. Эхма!..

Утром Протасов сказался больным. Пришел доктор.

7

По дороге в тайгу пропылила кавалькада. Впереди, на рослом жеребце, — Кэтти. Костюма амазонки у нее нет, — Кэтти сидела верхом в шароварах мистера Кука; шаровары широки, на голове какая-то полуприличная кепочка. Вуаль треплется ветром. Рядом с Кэтти бравый Игорь Борзятников, офицер. За ними мистер Кук с трубкой в зубах и в замшевой куртке, за ним Иван. Он в белых перчатках, в котелке мистера Кука; длинные ноги Ивана неимоверно раскинуты в стороны, они торчат почти горизонтально, им некуда деться: по бокам седла две огромные корзины, набитые съестным и вином.

Следующая пара: красотка Наденька, в синих с красными кантами штанах пристава; хотя Наденька корпусна и шаровидна в бедрах, но штаны мужа чрезмерно широки, в них все тонет. Рядом с нею коротконогий безусый Усачев, штабс-капитан. Он гру-

зен, узкоплеч, толстобрюх, широкозад, жирная шея в складках. Брюхо уперлось в луку, толстяк не сидит, а как бы громоздится в седле на карачках, он весь подался вперед, вот-вот кувырнется через голову лошади и ляпнется в пыль.

— Потряхивает? — прыскает в горстку злоязычная Наденька.

— Нет, ничего, — пыхтит штабс-капитан. — Это у меня наследственное... Почти ничего не ем, а полнею... А между прочим, я далеко не стар.

— Толстячки всегда очень хорошие, — комплиментится Наденька.

— Мерси... Гран-мерси. — И штабс-капитан Усачев, пуча большие, как у мухи, глазища, выпрямляется, но живот перетягивает, штабс-капитан вновь на карачках.

Последняя пара — инженер Андриевский со своей женой, певицей (контральто). Оба красивы.

А сзади, далеко отстав, дерет свою кобыленку Илья Сохатых. Кобыленка крутится, вертится и, разозлившись, несется домой, как наскипидаренная. Илья хлещет в хлеве кобылу по морде, дома говорит жене:

— Счел за благо плюнуть на пикник с высокого дерева. Беременную супругу только нахал может кинуть на произвол судьбы. А я довольно культурен, чтоб не сказать более. Ну их к лешему в ноздрю!

Первый тост — за государя императора и весь царствующий дом. Вечер, поляна, костры. Иван пьян, потерял перчатки, яичницу из сорока яиц круто посолил сахаром. Последний тост — за очаровательных дам: Кэтти, Наденьку, Аделаиду Мардарьевну, за всех женщин.

— А что, если б не было женщин на свете? Пулю в лоб. Петля...

— Тогда и нас не было бы.

— Женщина живет чувством, мужчина умом...

— А что выше, что красивее: ум или чувство?

— Чувство, чувство, чувство! — как шальная вскрикивает черноволосая Кэтти. Вино ей ударило в голову, она пьет с Игорем Борзятниковым «на ты», при всех сочно целуется.

— Бис, бис, бис... Горько!..

Кэтти с визгом падает в объятия молодого офицера в казацких усах.

— О да... О да!.. — с ревнивым отчаянием сплевывает через губу захмелевший мистер Кук и сердито вздыхает.

Толстяк Усачев кряхтит, пробует сладкую яичницу и тоже плюется.

— Иван! Болван! Подай сюда самый лютча... Самый лютча...

Но облепленный комарами Иван, раскинув руки и ноги, крепко спит под кустом.

— И вы стали бы расстреливать живых людей! — похохатывая, облизывает губки Наденька. — Вот так и пухнули бы по народу: пиф-паф!..

— Пиф-паф!.. Так бы и пухнул, — пучил глаза лежащий на спине штабс-капитан Усачев. Ерзая толстым задом и пятками по луговине, он росомахой подъелозился к Наденьке. — Человек двадцать, тридцать срезать — пиф-паф, и — конец крамоле, — прохрипел штабс-капитан и левой рукой нежно обвил талию Наденьки.

— Ой, грех!.. Ой, грех!.. — передернулись мягкие ребрышки Наденьки, она отстранила потную руку штабс-капитана. — Ой, очень даже сильно боюсь щекотки. Шалун какой! А расстреливать — грех.

— Грех в орех, оправданье наверх... Ничего не поделаешь, присяга-с. Пиф-паф! — и штабс-капитан, влепив поцелуй в бородавочку Наденьки, шепчет:

— Пройдемтесь в отдаленье, вон туда...

— Ну что же, пройдемтесь. А зачем же?

— Просто так, просто так...

— Ой, грех!.. Какие вы толстые, право... И кровожадные.

Аделаида Мардарьевна грустно запела прекрасным контральто цыганскую песню. Муж вторил ей баритоном. Песня пелась с надрывом, с тоской. У Кэтти дрогнули губы, а сердце запрыгало. Ей вспомнилась покойная мать, отшумевшая юность, одинокий, покинутый ею отец. Ей стало жаль своей жизни.

Кук скривил рот, посморкался и глупо, пуская ртом пузыри, хныкал, как маленький.

— Большуща... вам... русска... гранд-спасибо...

Пьяный, он забывал все языки, даже свой отечественный. И трубка погасла, и нет сил раскурить ее, и нет табаку. А песня все грустней, все печальней, с отчаянной болью. И Кэтти снова в обнимку с поручиком.

— Ван! Дьёт!.. Котора места мой лошьядь?! Але домой!..

Мистер Кук вскочил, злобно, как бешеный, разнял объятия Кэтти и Игоря, заорал, тряся кулаками:

— Кто со мной! Лисó на лисó! Пиф-паф!.. Бокса! Бокса! Будем крошить морда! Кэтти! До свидань! Вы совсем, совсем дрянь... — И пятками взад, потом вбок, потом вкривь, потом вкось занырил в тайгу, ударяясь то плечом, то спиною о сосны. Упал и промямлил:

— Продолжайте, пожалюста... Моя очшень... очшень любит... слюшать цыганска лошьядь... тройка... Очшень редко, но никогда...

Захмелевшая Кэтти испуганно провела по щекам холодными пальцами. Черные глаза широко открыты. Она не понимала, что с нею. Она отчужденно на всех смотрела. Она делала над собой страшное усилие очнуться, но все каменело в ней. Ей стало жутко. С визгом, с пугающим хохотом она упала Игорю Борзятникову на колени, закричала:

— Я не понимаю... Я пьяная!.. Фу, гадость. Зачем, зачем?!

Взбодренный присутствием штыков и жандармской силы, Прохор Петрович, подобно магниту, стал, как арканами, подтягивать на свою судьбу роковые события. Впрочем, события эти рождались в жизнь самостийно.

Возвращался из села Медведева со своей молодой женой Петр Данилыч Громов, старик. Анна Иннокентьевна, беременная от Прохора, ехала в трагическом душевном состоянии.

Придет время, и Петр Данилыч, столкнувшись нос к носу с Прохором, ударит его в сердце внезапным появлением своим. Придет время, и Анна Иннокентьевна объявит мужу, что рожденный ею сын не сын ему, а внук. Она принесет младенца Прохору, скажет: «Вот твой сын и брат». Она это непременно сделает и непременно в присутствии Нины и кого-нибудь постороннего. А потом зарыдает на весь мир и бросится со скалы в Угрюм-реку.

Так думала, приближаясь к дому, обиженная Анна Иннокентьевна. Но этим ее думам вряд ли суждено осуществиться. Во всяком случае, между преступным желанием женщины и сроком ожидаемой ею расправы должен всплыть страшный факт, который сшибет многих на землю и многим навеки закроет глаза.

Собиралась в отъезд к мужу Нина Яковлевна. Она скучала как бы в двух планах: скука так себе, сверху, и скука поглубже. Отъезд задержался болезнью Верочки — корь. Какова-то будет встреча Нины с Протасовым, с мужем, с тайгой? Она опасалась своего нового чувства к Протасову. Протасов же больше всего опасался, как бы при обыске не отобрали документ прокурора, подарок Шапошникова.

А к Шапошникову собирался сам автор того документа, бывший прокурор, ныне ссыльнопоселенец Стращалов.

Прохор Петрович тоже мечтал об отъезде. Куда — неизвестно. Но продолжала метаться душа его вверх-вниз, вверх-вниз. Может, уедет в Санкт-Петербург, может, навстречу жене или в Бельгию, может, в могилу. Прохор Петрович не знал, куда двинется. А скорей всего — останется дома...

Товарищ министра, устроивший Прохору прииск, слетел. В Петербурге была «чехарда», начальство менялось нередко. Поручик Приперентьев тоже был вышвырнут из полка за картеж, за скандальное пьянство. Угрожали судом, но дело спасла влиятельная дама Замойская. Узнав об уходе товарища министра, Приперентьев стал вплотную мечтать о поездке в тайгу, о возврате себе золотоносного прииска. Словом, хотел подложить Прохору Громову большую свиньищу.

8

Волк и Прохор — одно. Волк — животное хищное. За волками охотятся, волка истребляют не ради шкуры, не ради говядины, а потому, что он вреден.

А вот Прохоры Громовы живут всласть безвозбранно. Закон, ограждающий от Прохоров Громовых стадо людей, — лицемерен, продажен, слаб. Он сляпан не в огражденье слабейшего, а в потачку произвола, грубой силы и лютости.

Так по всей земле царствуют Прохоры Громовы, купившие весь закон и всю правду.

Да, Прохор Петрович — рвач, хищник, делец в свою пользу. Но вот зачинаются ветры, они крепнут, растут, наплывают на Прохора, шалят с огоньком, и вскоре жизнь Прохора будет в охвате пожара.

Пожар близко, но Прохор Петрович со всей отчетливой ясностью пожара не видит: башня стремлений его слишком приземиста.

Рано утром к Прохору пришли трое выборных от барачных старост. Два пожилых рабочих и парень. Поклонились, сказали, что их прислали рабочие всех предприятий, что рабочие осмеливаются напомнить хозяину о его обещании улучшить продукты и понизить цены на них, — это раз. А во-вторых, — увеличить на тридцать процентов заработок. А в-третьих...

— Вон! Когда сам захочу, тогда и будет. Вон, пока морды не побил.

Старики с парнем едва нашли дверь, а в ночь были арестованы.

Среди тружеников пошел настырный шумок. Горячились горячие, вскипали прохладные, а холодные приводили резоны:

— Ребята! Как бы не тово... Солдаты здесь... Смотри, как бы...

— А что солдаты? Что они, стрелять, что ли, будут по своим?.. Да что они... Турки, что ли?..

Горячие поздним вечером повалили к дому Карла Карлыча фон Пфеффер, жандарма. Пришли, высморкались, переглянулись друг с другом и:

— Васкородие! Как его... Не пугайся... Открой окошечко. Мы, как его, по-хорошему...

Вышел жандарм Поползаев, закричал с крыльца:

— Эй! Народы! Расходись, расходись! Господина ротмистра нет дома.

— Ладно. Мы подождем.

— Они уехавши в город.

— Врешь, крот холощеный, врешь!.. Его после обеда видали. Дома он, как его... Врешь...

Пронзительный тенор крикнул:

— Братцы! Айда пошукаем в горницах!.. — И толпа сотни в три прихлынула к дому.

Из нижнего этажа выскочили беспоясые, босые солдаты, с ними Оглядкин и Пряткин. Офицеров не было.

— Эй, куда! — заорали они на рабочих.

— Мы, как его, за правдой пришли. Выборных взяли наших. Они ни при чем. Где жандармский барин? Подай сюда жандармского барина. Мы, как его, по-хорошему... Обида-а-а!

В верхнем этаже погас огонь, и в распахнувшемся окне появился ротмистр. Поползаев молодецки взял под козырек.

— Вот он!.. — посунулись прочь рабочие и, чтоб видно было жандармского барина, отступили к дороге, обнажили головы:

— Васкородие, мы к вам...

— Что, ребята, надо?

Толпа стала выкрикивать свои обиды и горести. Ротмистр был бледен. Выслушал. Закурил папироску. Толпа смолкла.

— Вот что, ребята. Если хотите жить со мной в мире, давайте по-хорошему.

— Вот, вот! — встряхивая локтями, почесываясь, закричала толпа. — Мы за этим и пришли к тебе. По-хорошему чтоб, по-божецки, как его...

— Ребята! Знайте, что я облечен начальником губернии большой властью. У меня вооруженная

сила. Но я, ребята, применять ее, конечно, не буду. Я, ребята, поверьте, люблю вас, как своих детей...— брезгливо поморщился ротмистр.— Но если, понимаете, ребята? Если вы, сволочи, будете продолжать смуту, я буду вынужден...

— Какую смуту? Что ты! Мы смирные... А только — Ездакова долой! Иначе мы ему башку оторвем! Мы не буяны... Мы... Освободи выборных наших... И мы пойдем домой.

— Не могу. Освобожу после!..— резко крикнул ротмистр, дернул левым плечом и захлопнул окно.

Быстро пересекали дорогу офицеры. Старший, толстяк Усачев, запыхтев, скомандовал:

— Солдаты, во двор! Стройся! Взять ружья!

Чрез минуту перед домом — пусто. Рабочие удалялись с поспешностью. Валялся в пыли чей-то красный кисет и три раздавленные каблуками лягушки.

Ночью аресты. Замели четверых крикунов. Ротмистр послал губернатору шифрованную депешу.

Прохор Петрович меж тем производил полугодичный подсчет оборотам. Баланс показывал прибыль. Прохор Петрович любил работать до упаду, взасос.

Подсчеты велись день и ночь трое суток без передыху. Бухгалтер — тучный, лысый, под конец обалдел, стал заговариваться, чуть не ослеп. Прохор взбадривал себя коньяком, холодными душами, бухгалтер — табачищем, вином. Впрочем, куревом злоупотребляли оба: волк от дыму чихал, оскаливая зубы. В конце третьей ночи бухгалтер Илларион Исаакович Крещенский сунулся в гроссбух носом:

— Громов Петрович,— промямлил он, едва продирая волглые глаза.— Простите, великодушно... Не могу... В рязах глобит... Все пятерки, пятерки, нули... Спать лягу...

— Ослаб? — усмехнулся Прохор.— Ну, черт с тобой, ложись. Стой, где у тебя дебет? Подсчитал?

— Дебет — нет... Сальдо! Три милли.. три трилли...— Он посопел, постонал, повернулся на кушетке лицом к стене и заснул.

Прохор тоже балдел от вина, от бессонницы, от цифр. Цифры играли — плюсы и минусы, — цифры ошеломляли его, он подумал, что сходит с ума, испугался. Пригласил двух счетоводов и мистера Кука. И вот вместе с проспавшимся бухгалтером Крещенским завершили высокую башню отчетности. Прохор и все четверо ахнули. За девять лет в дело вложено тридцать три миллиона.

— Колоссаль!.. Колоссаль!.. — в сладостном упоенье выдыхал мистер Кук. Его разбитый нос в пластыре: заметка о веселой гулянке с Кэтти, с военными.

Прохор дал каждому по сто рублей, бухгалтеру — двести. Все остались довольны. А довольней всех конечно же Прохор Петрович Громов: за текущий год он получил и получит около двух миллионов барыша. Два миллиона! То есть пять тысяч пятьсот рублей в день. То есть каждый рабочий бросал ему в шапку ежедневно рубль с лишком, а себе оставлял лишь гроши.

Но Прохору Громову в это вникать не приходится: рабочий — орудие обогащения, это освящено самой жизнью. Однако все растущий успех дела не давал былой радости. В его домашнем обиходе — зияющая пустота: ее нечем заполнить.

— Нина, Нина, — вздыхал в ночи Прохор, — неужели ты предпочтешь мне Протасова?

Тоска по жене шевелилась в нем чаще и чаще; он понял, что жена ему не безразлична, как он недавно еще предполагал, что она для него, может быть, самое главное. Да, конечно же, он любит ее. «Но зачем, зачем она с головой утонула в христианстве — этой религии смиренных созерцателей, а не творцов жизни, и мешает ему работать? А эта ее мизантропия, сентиментализм? Странно... Ведь ежели она считает атеиста Протасова своим другом, то как же он до сих пор не смог отвратить ее от церковных бредней? Странно, странно...»

Вдруг поток мыслей обрывается в Прохоре, и разом встают два страха: неужели он, Прохор, откачнулся от бога, от религии? Неужели Нина любит

Протасова? Но второй страх, сильнейший, — голая ревность — мгновенно гасит печаль об утрате веры. Сердце пронзает судорога, мозг распаляется, из тьмы прут выдуманные Прохором гнусные сцены обольщения Нины Протасовым и сладострастные картины прелюбодейной измены мужу. Прохор скрежещет зубами. Он крепко ненавидит Протасова. Он в муках клянется застрелить этого донжуана в инженерской фуражке, лишь бы вскрыть его любовную связь с Ниной. Однако холодный голос рассудка тотчас же успокаивает его: у него нет явных доказательств измены Нины, она верна ему. Протасов — незаменимый человек, главный двигатель огромнейшего делового механизма; убить Протасова — убить все дело. Но Прохор еще не решил, что ему дороже: Нина ли, которую в крайнем случае можно заменить другой женой, или дело, в которое он вложил весь мозг, всю кровь?

Так Прохор бессонными ночами напряженно наблюдал самого себя со стороны. Впрочем, в тончайшие условности домыслов он не вдавался, он просто прощупывал, ревизовал свое покачнувшееся самосознание, весь погружаясь в пучину назревающих внутренних противоречий.

Но где же причина его душевной болезни? Нина? Нет. «Увы! Утешится жена, и друга лучший друг забудет». Ну и к черту, к черту! Протасов? Нет. В конце концов Прохор может и с ним расстаться, подыскать другого. Так в каком же месте та трещина, по которой готовится лопнуть аппарат его внутреннего мира? Неужели — пьянство, кокаин, морфий, табак? Но к запрещенным наркотикам он прибегал редко, в силу крайности. Значит, что ж — пьянство? «Черт, надо бросить... Пьяницей становлюсь. Да и не мудрено: батька алкоголик, дедушка... разбойник». От слова «разбойник» Прохора всего передергивает, холодеют пятки, пред испугавшимися глазами начинает мелькать прошлое, темное, жуткое. «Выбросить, выбросить надо... Сейчас же выбросить», — молча вскрикивает Прохор, и, чтоб не дать прошлому ярко вспыхнуть и ожить, он вскакивает с кровати (вскакивает и волк), кидается к письменному столу.

выхватывает из ящика банку с кокаином: «Сейчас же выбросить в нужник...» Несколько мгновений медлит, всматриваясь, как зеленоватое, с отблеском, видение — Синильга ли, Анфиса ли — проплывает пред его засверкавшим взглядом, и он с яростью заряжает обе ноздри кокаином. Идет обратно с закрытыми глазами, чтоб оградить себя от призрака. Ложится. Сознание постепенно, однако довольно быстро, переключается в иную плоскость. И вскоре все приглушает иллюзорная мечта о славе, путаная россыпь цифр, звяк золотых червонцев. И — темный — пред утром — сон.

Иногда, раздираемый надвое, Прохор среди ночи встает перед иконой:

— Господи, помилуй мя!.. Буди милостив ко мне, грешному!

Но россыпь цифр и звяк червонцев глушат весь смысл холодной молитвы. «Надо к отцу Александру сходить, потолковать, поп мудрый, — думает Прохор. — Нина упрекает меня, что я тиран... для рабочих... А что им, чертям, еще надо? Сдохли бы без меня. Пять тысяч, кроме баб да ребят, всех кормлю, одеваю. Этого мало им, скотам? Не могу же я вот так взять и отдать им все. Ну, эксплуататор, ну, тиран. Дело конец венчает. Господи, не оставь меня!»

Вдруг все перевернулось в нем.

— Знаю, откуда прет на меня болезнь. Тут не в Нине дело и не в Анфисе, а в вас, мерзавцы... — сердито шепчет он и грозит тьме пальцем. — Это вы охотитесь на меня, как на зверя, вы, вы, вместе со своим Протасовым. Затравить хотите, без порток пустить?! Ну погодите ж, я вам всыплю!..

Тут из тьмы слышится укоризненный голос Нины, и письма ее начинают говорить, как живые. Прохор накидывает на голову одеяло, затыкает уши. Но голос Нины в нем.

Как-то возвратившись с объезда работ, Прохор душевно почувствовал себя очень скверно. Поздним вечером пошел к священнику. Постоял у калитки,

круто повернул назад. Дома пил один. Утром послал Нине телеграмму.

Утром же явился к нему Протасов. Был праздничный день. Прохор встал поздно. Говорили о делах. Протасов докладывал.

Прохору бросилось в глаза, что Протасов ведет свой доклад без обычного воодушевления, как будто говорит о постороннем, не интересующем его деле. «Наверное, сейчас ляпнет о рабочих, будет пропагандировать мне свои социалистические бредни... Ученый дурак...»

Инженер Протасов аккуратно сложил в портфель чертежи с отчетными бумагами и собрал в морщины умный лоб.

— Прохор Петрович...— с натугой начал он.— Я к вам, в сущности...

— Знаю,— нахмурил свой умный лоб и Прохор.— Что им надо от меня?

— Исполнения вашего обещания по всем пунктам. Только и всего.

— Ха! Немного... А не хотят ли они...— Но Прохор оставил последнее слово в запасе.

Протасов обиделся. Поигрывая снятым пенсне, он посмотрел в окно; черные с блеском седины короткие волосы его топорщились.

— Я хочу напомнить вам обстоятельства дела,— холодным, но полным почтения голосом начал Протасов.

— Я их знаю лучше вас. И вообще, Андрей Андреич, при всем уважении к вам...

— Вас спасли рабочие...

— Ничего подобного... Мои труды и капиталы спасло божье провидение — ливень.

Документ прокурора лежал в боковом кармане пикейной тужурки, жег сердце Протасова. Но Протасов старался держать себя в руках.

Помолчали. Прохору Петровичу хотелось есть. Он сказал:

— Сократить рабочие часы. Вот что они требуют. К чему это? Дашь им десять часов,— они будут требовать восемь, дашь восемь,— будут требовать шесть...

— Человеческая жизнь, в идеале, есть отдых.

— Человеческая жизнь есть труд!

— Не следует обращать жизнь людей в каторгу.

Прохор поднял на Протасова крупные, строгие глаза, сказал:

— Надо украшать землю, обстраивать, а не лодыря гонять. Через каторгу, так чрез каторгу!

Прохор Петрович заметно волновался. Сдерживая себя и стараясь казаться спокойным, он спросил:

— Во сколько же мне обошлось бы ихнее нахальное требование? Подсчитайте и доложите мне. — Он встал и протянул Протасову руку.

— Одну минуту! — Протасов выхватил из портфеля подсчет. — Материальные требования рабочих укладываются в сумму, несколько превышающую четыреста тысяч рублей в год... Улучшение питания и увеличение жалованья. При многомиллионных оборотах это пустяки.

— Да вы с ума сошли! Четыреста тысяч? Пустяки?! — отступил на шаг Прохор, глаза его ширились, прыгали, ели Протасова. — И кто вам дал право, Протасов, распоряжаться моим карманом, как своим собственным?

— Прохор Петрович, — приложил Протасов обе ладони к груди, — уверяю вас, что народ вдвое усердней будет работать, — вы останетесь в барышах. Поверьте мне.

Прохор схватился за спинку кресла и двинул его взад-вперед.

— Нет, Андрей Андреич... Никаких реформ не будет. Понимаете? Не бу-де-т!..

— Значит, вы отказываетесь от своих слов?

— Да, отказываюсь, — прохрипел Прохор перехваченной глоткой.

Лицо Протасова налилось кровью, ладони упали с груди. Он сел, закинул ногу на ногу и, глядя в землю, сказал:

— У англичан существует термин: нравственная слепота, или нравственное помешательство. Оно применимо и к вам. Вы — нравственный слепец. Слышите, Прохор Петрович? — поднял Протасов голову, голос его звучал беспощадно и резко: — Вы переста-

ли различать понятия — подлость и справедливость. Вы — нравственный безумец! — И он, как на пружинах, встал.

Прохор откинул кресло в сторону, шагнул к столу и начал перебирать бумаги, перекладывать с места на место пресс-бювары, перья, карандаши. Автоматизм его движений дал понять Протасову, что Прохор Петрович в сильном волнении.

— Ах, как мне все это надоело! Да, да... Я — подлец, я — нравственный слепец. Спасибо вам... — Прохор схватился за голову, облек лицо в маску угнетенной жертвы и бессильно сел на подоконник. — Никто, никто не хочет меня понять! Вот в чем трагедия. Доведете меня до того, что все брошу, уйду от вас, — говорил он раздумчиво и тихо. — Вот приедет Нина Яковлевна, работайте с нею. А я уйду... — Прохор вынул платок и посморкался.

Мысль о возможности ухода выпорхнула из уст Прохора неожиданно, как птица из дупла, Прохор даже внутренне вздрогнул. Напугав, удивив его, эта мысль крепко в нем завязла. Он подумал всерьез: «А и в самом деле — не бросить ли мне все, не скрыться ли куда? Устал я...»

Мысль об уходе с работ привела сюда и Протасова. Переговоры исчерпаны. Прохор — как камень.

Протасов достал из портфеля вчетверо сложенный лист бумаги.

— Вот моя просьба об отставке, Прохор Петрович. Я тоже ухожу.

Прохор, пораженный, встал, медленным шагом подошел вплотную к Протасову, чрез силу улыбнулся:

— И ты, Брут?!

— При сложившихся обстоятельствах, Прохор Петрович, я бессилен принудить себя оставаться у вас на службе.

Прохор вздохнул и сказал:

— А ведь я, Протасов, действительно собирался надолго уйти и передать дело вам. Подумайте... Останьтесь... Вы будете получать сорок тысяч.

— Простите, но я не могу... продать себя даже за сто!

— Вы губите дело, Андрей Андреич. Значит, вы лгали, что любите его.

— Я не лгал. Я дело люблю. Но, извините... Я не хочу работать с джентльменом, которого я перестаю уважать.

Друг перед другом, лицо в лицо стояли два человека, не понимающие один другого. В сущности, их натуральная природа одна и та же, но моральные навыки принадлежат двум разным планам, как нож хирурга и нож разбойника.

Прохор — в синей русской поддевке, широкоплечий и высокий — пронзительно смотрел на Протасова, нагнув голову и слегка ссутулясь. Коренастый, среднего роста Протасов чуть приподнял в глаза Прохору свое бритое, загорелое, с черными живыми глазами лицо. Борода Прохора отросла, длинные под кружок, волосы тоже запущены, — он не обращал никакого внимания на свою внешность и походил сейчас на ухаря-купца, что сводит с ума девок, или на красавца-кучера какого-нибудь знатного вельможи. Впрочем, на его сильном, выразительном лице с огромным носом, с орлиными глазами лежала тень больших душевных страданий. Лицо же Протасова, выточенное искусным резцом из слоновой кости, носило отпечаток сдерживаемого возбуждения и нравственного превосходства.

— Прощаясь с вами, предостерегаю вас, господин Громов, что рабочие будут добиваться своих прав всеми легальными путями... Вплоть до забастовки. До свиданья!

Прохор вдогонку крикнул:

— Передайте вашим рабочим, что их бунтарство, их забастовка будет принята в штыки!

9

Не спалось. Почти белая предрассветная ночь. Вдруг:

— Медведь! Медведь! Эй, народы!

— Ферапонт орет. — Прохор поспешно надел са-

ноги, пиджак — штаны надевать некогда, — схватил ружье, выскочил на улицу и побежал на голос. Возле домишки дьякона густая тайга вклинилась в самый поселок. Вдоль по улице, из тайги к школе, вздымая пыль с дороги, не шибко, вперевалочку утекал медведь. За ним в одних подштанниках и беспоясной рубахе — босой дьякон. В его руках тяжелый кузнечный молот.

— Стреляй, стреляй его, сукина сына! — обрадованно заорал дьякон Прохору.

Завидя другого человека, медведь остановился, поджал уши, понюхал воздух. Прохор на бегу приложился и выстрелил в зверя под левую лопатку. Медведь рявкнул, дал козла и — галопом в проулок, к тайге. Люди за ним.

— Попал, попал! — кричал дьякон. — Сейчас ляпнется...

Бежали кровавым следом, не выпуская зверя из глаз. На самом берегу речонки медведь внезапно повернул к охотникам. Прохор приложился и выстрелил. Медведь опять рявкнул, опять дал козла и кинулся в речку.

— Тьфу! — плюнул Прохор. — Дробь. Не то ружье.

— Ой! Гляди! — на всю тайгу заорал дьякон: перед ним, как из-под земли, всплыл матерый, с проседью, другой медведь. Прохор малодушно ударился назад, а дьякон Ферапонт — к огромному в два обхвата кедру. Медведь — за ним. И оба стали кружиться возле кедра. Медведь неповоротлив, дьякон быстр. Кружились то вправо, то влево. Медведь освирепел, рявкнул на дьякона, дьякон надулся и рявкнул на медведя; оглушенный медведь подавался назад, щетинил шерсть на хребте. Медведю надоела возня: всплыл на дыбы, прижался грудью к дереву, растопырил лапы и, пошаривая ими, чтобы поймать врага, стал на дыбах ходить-топтаться возле кедра. Дьякон бросил молот и, как клещами, сгреб зверя за обе лапы. Зверь: дерг-дерг — не тут-то было: костистые пальцы на лапах растопырились, медведь от боли завыл.

— Прохор! Прохор! — вопил дьякон. — Эй!

Вместе с Прохором бежал к зверю проснувшийся народ. Илья Сохатых с выломанной в изгороди жердью, Константин Фарков с топором и еще человек пять.

— Двинь кувалдой по башке! — кричал дьякон Прохору. — Ослабева-ю...

Медведь дерг-дерг — крепко. Люди изумились; обняв с двух сторон дерево, стояли друг перед другом зверь и человек. Прохор подхватил с земли молот. Медведь со страшным ревом оскалил на Прохора страшную пасть. Молот грохнул по черепу, медведь фыркнул, упал. Дьякон едва разжал руки, ногти почернели, из-под ногтей кровь.

Ночная победа над зверем не дала Прохору душевного покоя. На работе был мрачен, ругал инженеров и техников, приказал оштрафовать пятерых рабочих, что не сняли шапок перед хозяином, и уволил из канцелярии двух политических ссыльных.

— Я для вас эксплуататор — так потрудитесь убраться вон.

Отсутствие умелой руки инженера Протасова уже начало сказываться. Штат инженеров не имел инициативы или боялся ответственности, руководители работ за всякой мелочью обращались к Прохору. Создавалась ненужная суета, бестолочь. Это нервировало уставшего Прохора; он не знал, кого поставить во главе дела, и решил, что главным начальником всех работ будет лично он сам. А время было горячее: свои и в особенности казенные работы должны быть исполнены в строгие сроки. Жаль, жаль, что инженер Протасов бросил работы в самый разгар. Холуй, ученый зазнайка, хам!

Срочная телеграмма Нине:

«Протасов ушел. Страдает дело. Завтра он будет на пристани. Пароход через три дня. Повлияй на Протасова, чтоб вернулся на каких угодно условиях».

Иннокентий Филатыч Груздев вел в Петербурге трезвейший образ жизни. Приступая к мошенническому действу, он сугубо усердно посещал церковь, возжигал толстые свечи, молился на коленях, просил,

чтоб господь ниспослал ему мудрость змия, чтоб помог облапошить толстосумов и чтоб не поставил во грех его деяния: он, раб божий Иннокентий, лишь исполнитель воли пославшего его. Накануне «чашки чая» благочестивый старец заказал молебен с акафистом бессребреникам Козьме и Дамиану и во время молитвы пытался с сими святыми войти в духовную сделку «на́ слово», обещав им, в случае благоприятного исхода уголовщины, пожертвовать из своих личных средств пятьсот рублей в пользу Палестинского общества. (О своем же предположении содрать с Прохора не менее двадцати пяти тысяч комиссии он в молитве малодушно утаил.)

Люди коммерческой складки имеют великолепный нюх: газетная заметка попала на глаза кой-кому из кредиторов Прохора Громова и произвела на них ошеломляющее впечатление.

Несколько срочных телеграмм от кредиторов полетели в тайгу, в адрес Громова. Каждая телеграмма почти дословно начиналась так:

«Встревоженный газетной заметкой о постигшем нас несчастии» и т. д.

Прохор составлял ответы лично, отправлял же их не с телеграфной станции своего поселка, а через уездный город, с нарочным, чтоб не было огласки.

Все его телеграммы были таковы:

«Прохор Петрович Громов после постигшего его несчастья тяжело болен, дела сдал мне. Вашу телеграмму доложу по его выздоровлении.

Временно уполномоченный по делам Ездаков».

Между Прохором и Иннокентием Филатычем тоже шла оживленная по телеграфу перекличка, зашифрованная условными словечками.

Старик ежедневно встречался с инженером Парчевским. Делились впечатлениями. Однажды Парчевский сказал:

— Очень трудно было с купцом Сахаровым. Затопал, закричал на меня: «Жулики вы. В каторгу вас, подлецов!» — «Помилуйте, говорю, Семен Парфеныч, тут, так сказать, стихия, тут божий суд». И знаете что, Иннокентий Филатыч? С их стороны будет присяжный поверенный, известный делец Арзамасов. Как нам быть? На его подкуп потребуется крупный куш.

— Сколько же?

— Я думаю — тысяч пятьдесят.

Иннокентий Филатыч даже подпрыгнул и, размахивая фалдами длинного сюртука, забегал по комнате.

— Нечего сказать, пятьдесят тысяч!.. Да как у вас, молодой человек, язык-то повернулся? А? Да нам за это хозяин голову в трех местах проломит. Нет-с! — завизжал старик. — Мы сами с усами. Да-с...

— Я не знаю... Может, он всего двадцать тысяч возьмет...

— Фигу-с, фигу-с!

«Чашка чая» состоялась в Мариинской гостинице, в великолепном номере, специально для этой цели снятом Иннокентием Филатычем.

Собрались пять купцов, еще два представителя фирм, еще заместитель директора одного из крупных заводов и присяжный поверенный Арзамасов — невзрачный, бритый старичок с поджатыми губами, в больших роговых очках, гологоловый.

Председателем совещания избран купец Рябинин, человек образованный, с черной узенькой бородкой, болезненно-желтый и плоскотелый, как лопата.

Адвокат Арзамасов потребовал от Иннокентия Филатыча предъявления официальной бумаги, дающей тому право вести переговоры от лица хозяина, прочел ее, вернул, обратился к Парчевскому:

— Позволю спросить: кто вы?

— Инженер Парчевский. Я несколько лет служил на предприятиях Громова. В данное время приглашен сюда в качестве консультанта.

Купец Рябинин положил пред собою золотые часы с бриллиантовой монограммой, покашлял и открыл совещание. Газетное сообщение Иннокен-

тий Филатыч и Парчевский слушали, как на иголках. Старик перестал дышать. Парчевский впился глазами в чтеца. «Как будто», повторенное в статье дважды, проскользнуло гладко, без запинки, не остановив внимания собравшихся. Иннокентий Филатыч, весь облившийся потом, выразительно придавил под столом ногу Парчевского и перекрестил пупок. Инженер Парчевский повел горбатым носом вправо-влево и прищурился.

— Может ли господин Груздев подтвердить достоверность изложенного? — спросил тусклым голосом желтолицый председатель, бросил в рот соденскую лепешку и запил глотком боржома.

— Более или менее подтвердить могу, — ответил Иннокентий Филатыч.

— Я бы вам предложил ваш ответ формулировать более четко, — заметил председатель и негромко рыгнул в платок.

Старик почесал под левым усом, поправил очки, сказал:

— Дело в том, господа, что мне пришлось уехать с места экстренно: сегодня, скажем, пожар, а уж завтра я в кибитке. Может, кой-что и переврано в статье, кой-что и упущено из усмотренья вида. Хозяин же путем рассказать мне не мог. — Старик сделал паузу, его голос трагически дрогнул. — От сильного потрясения он, то есть Прохор Петрович, без малого при смерти.

Последняя фраза сразила собрание. Все замерли на стульях, переглянулись. Старик отер платком глаза. Неловкое молчание. Побалтывали ложечками чай. Думали: «А вдруг умрет? Плакали тогда денежки... ищи-свищи».

— Сибирь далеко, проверить трудно, — покашливая, уныло сказал председатель и покрутил узенькую свою черную бородку. — Но что Громов болен, это — факт. Я имею телеграмму.

— И я.

— И я...

Парчевский что-то записывал в книжечку. Председатель, закурив сигару, спросил старика:

— Признает ли себя Громов платежеспособным?

— Более или менее — да.

— Конкретно, — предложил председатель.

— Конкретно, конечно, да. Я имею возможность переписать векселя и выплатить задолженность наличными. Я имею полномочия предложить вам, господа коммерсанты, по четвертаку за рубль.

Опять заерзали стулья. Уныние коммерсантов сразу ослабло. Они почему-то полагали, что будет предложено за рубль не более гривенника. Но для видимости, чтоб пустить пыль в глаза, они громко запротестовали:

— Нет, это невозможно... Это возмутительно... Это ни на что не похоже. Мы согласны, виноват, я, например, согласен сбросить с рубля четвертак. Это еще куда ни шло. Но чтоб получить вместо рубля четвертак? Нет, нет... Протест векселей, суд, опись и торги...

— Ах, милые, — сморкаясь и моргая запотевшими глазками запел Иннокентий Филатыч. — Легко сказать — торги. Да кто там будет торговаться-то? Кто в этакую глушь из сих прекрасных мест поедет? Мечтание одно.

Тут неповоротливо выпростался из-за стола крупный, как лось, старозаветный купец Семен Парфеныч Сахаров: седая бородища во всю грудь, сапоги бутылками. В этот год в России был голод, и купец Сахаров нес огромные убытки от трех остановившихся его мукомольных механических мельниц. Сахаров сильно удручен, расстроен. Он сжал мясистый кулак и завопил:

— Жулики вы с Громовым! Вы только тень на воду наводите! Мерзавцы вы! В каторгу вас, подлецов!

— Семен Парфеныч! Так нельзя... — бросив рисовать голую женщину, тенорком закричал на него председатель. Остальные ухмыльнулись. — Здесь нет подлецов и нет мерзавцев... Сядьте... — И председатель закашлялся.

— Я прошу слово, — взволнованно встал Парчевский. Его глаза вспыхнули хитрым умом лисы, которой надлежит сделать ловкий прыжок, чтоб завладеть лакомым куском. — Господа! Знаете ли вы, что

такое Прохор Громов? — с патетическими жестами, как актер на сцене, начал он. — Прохор Громов — гениальнейший практический деятель. Его энергии, его уму, его несокрушимой воле можно только удивляться. Если вы его поддержите в столь трудную минуту, вы получите все и будете работать с ним бесконечно долгое число лет, извлекая от содружества обоюдную пользу. Ежели его свалите, всё потеряете. Что же вам, господа, выгоднее? Угробить крупного предпринимателя, погубить колоссальное дело, которым может гордиться Россия, или окрылить этого гения, чтоб он вновь взлетел и создал на пепелище невиданной силы и размаха промышленность? Ответ может быть один. Даже в сумасшедшем доме, среди слабоумных и помешанных, не может быть иного ответа, как только — да, согласны! Я льщу себя надеждой, господа, что я имею честь видеть перед собою цвет русского капитала, людей мощного ума и здравого практицизма. — Парчевский, весь от напряжения красный, взвихренный, отхлебнул остывший чай. — Теперь позвольте с цифрами в руках развить пред вами, господа, картину того, что было из ничего создано гением Прохора Громова...

Вскоре Прохор Петрович получил телеграмму от Иннокентия Филатыча:

«Дело в шляпе. Двадцать пять за сто. Еду в Москву, в Нижний. Подробности почтой. Старик».

10

Прохор Петрович потерял от пожара тысяч сорок. А «чашка чая» принесла ему выгоды без малого — полмиллиона.

Но это не прошло Прохору даром: явным обманом нажитые деньги тяжелым грузом придавили дух его. Острый стыд вдруг встал в нем. Дал старику телеграмму: *«Немедленно возвращайся Москву, Нижний оставь»*. Скверно, скверно... И для чего ему нужно было это делать? Что за дикая фантазия? Видно, черт нашептал ему в уши. Как бы не узнала

Нина. Однако... дело сделано, купцы обобраны, темные деньги в кармане.

Пристав получил известие, что рабочие прииска «Нового» начинают «тянуть волынку», фордыбачить. С двумя урядниками он приехал на прииск. Золотоискатели — народ отпетый — вели себя крикливо, не стеснялись. Пристав говорил с ними с крыльца конторы. Собралось около пятисот человек. Ободранные, грязные, заросшие волосами. Кричали:

— Почему хозяин не исполняет своих обещаний? Мы потушили пожар, спасли его имущество. Он насулил нам с три короба, а где его посулы? Он спереду мажет, а сзаду кукиш кажет! Ирод, холера бы его задавила! А почему Ездаков, управитель наш, не уволен? Он арид, он кровопийца, он нас по зубам бьет... Долой Ездакова, язви его!

Из конторы выскочил сам Фома Григорьевич Ездаков, оттолкнул пристава и гнусаво заорал в толпу:

— Молчать! Я вам покажу! У меня от коня остается только грива да хвост, а от вас останется один нос!

Толпа сжалась на мгновенье, присмирела. И разрозненные, с оглядкой крики:

— Лопнешь! Кровопивец... Паук!..

— Молчать!!

Рыжая с проседью большая борода Ездакова от злости затряслась, наглые глаза выкатились из орбит. Он был похож на разъяренного быка.

— Каторжники! Зимогоры! Варнаки!.. — грозил он вскинутыми кулаками.

— А ты кто?

— Я тоже каторжник! Да, я каторжник, я варнак. Я восьмерых зарезал. У меня во всех карманах по два пистолета... Вот! — Он выхватил из-за пазухи револьвер, выстрелил в пролетавшую ворону. — На! Подбирай. Только пикни... Башку продырявлю!.. Не боюсь, не боюсь, не боюсь!! — топал он ногами, бесновался, забыв себя.

Толпа взялась за камни. Пристав схватил Ездакова сзади:

— Ездаков... Фома Григорьич... Успокойся, только гадишь мне... — и, навалившись на управляющего пузом, втолкнул его в дверь конторы.

— Вот,васкородие! — закричала толпа. — Видали, каков зверь?..

— Тихо, тихо, ребятки... — пыхтел, задыхался пристав. — Все разберем, во все вникнем...

— Уберите Ездакова! Уберите Ездакова!..

— Ладно. Ладно, ребятки, уберем. Хозяин сейчас прихварывает. Неприятности разные. А вы, ребятки, шептунов не слушайте. Мы их всех переловим. Господин ротмистр строг. К тому же—солдаты... Упаси боже!.. Предупреждаю, ребятки... А вы, ребятки, работайте как следует. И все будет хорошо, ребятки...

— Мы хотим губернатору прошенье подавать. Министру! Царю!! Смерть нам всем приходит...

— Подавайте, подавайте, ребятки... В законном порядке чтоб... Тихо чтоб...

Народ, тайно руководимый забастовочным комитетом, собирался кучками и на прииске «Достань», на лесопилках, заводах и прочих предприятиях. Причина недовольства: хозяин не держит своего слова, житьишко день ото дня хуже. Выводы: никто не хочет нам помочь, не попытать ли, братцы, заступиться за себя самим?

А Прохор Петрович и в ус не дул. Инженеры, техники, механики со всех сторон докладывали ему, что нормы работ снизились, везде недоделки, умышленная порча инструментов; что дисциплинарные взыскания и штрафы перестали производить на рабочих впечатление. В ответ на жалобы Прохор Петрович производственные неполадки ставил в вину техническому надзору, не позволял себя оспаривать, раздражался.

— Прохор Петрович, позвольте же вам доложить, что при таком настроении рабочих мы за успех дела не отвечаем... Мы бы рекомендовали вам по отношению к народу...

— Что?! И вы меня учить?

Инженеры уходили от хозяина, пожимая плечами, терялись.

Мировой судья, пристав, ротмистр фон Пфеффер и замещающий Протасова горный инженер Абросимов, сговорившись между собой, имели с Прохором Петровичем серьезную беседу.

— По нашему мнению, настроение рабочих таково, что стоит вам исполнить обещание — и все войдет в норму.

— Я не могу исполнить обещания целиком. Я тогда был охвачен паникой, наобещал сгоряча. У меня сгорел лесопильный завод, уничтожена масса заготовленных шпал; словом, я понес большие убытки. Да и вообще дела мои... — Прохор не договорил.

— Нам очень трудно, Прохор Петрович, при создавшихся условиях поддерживать должный порядок.

— Да, но я до сих пор считал, что власть, облеченная силой действия, не должна переводить вопрос о поддержании порядка в такую плоскость. Условия — условиями, а власть — властью.

— Власть должна иметь хотя бы призрачную моральную базу для применения силы. Мы этой базы не видим. Напротив, склонны думать, что вами исполняются далеко не все требования правительственного надзора.

— Чем вы это можете доказать?

— Я это утверждаю, — откинул назад породистую голову ротмистр. — У меня имеется копия протокола осмотра ваших предприятий правительственным инженером в присутствии вашего инженера Протасова.

— Многое из старых недочетов устранено.

— Например? Я не вижу, — продолжал либеральничать жандармский ротмистр.

— Вы здесь — новый человек. Поживете — увидите. Во всяком случае, что же вы от меня желаете? Я вам уже сказал, господа, что Ездакова постараюсь уволить. Сократить часы не могу. Я иду на прибавку жалованья всем рабочим на пять процентов, некоторым на десять, а не на тридцать огулом, как они требуют.

— Питание?

— Я же сказал, господа, что мною дан приказ улучшить питание и вообще снизить цены на все продукты. Я же вам сказал.

— Простите, Прохор Петрович, вы нам этого не говорили.

— Вот, говорю.

Четыре обоюдно удовлетворенные улыбочки, почти дружеское пожатие рук.

Но на другой же день этим улыбочкам суждено было растаять. А вскоре лица многих людей облеклись в трагические маски.

Огромный амбар, грязный прилавок завален вонючим мясом, в большущих ушатах солонина, воздух пахнет тухлятиной, жарко; рои зловредных мух. В грязнейших фартуках продавцы, с топорами в руках. Толпа рабочих, детей и женщин с корзинками, сумками и мешками. Бабы утыкают носы в кончики платков. Многих от запаха мутит. Под ногами снуют собаки. Какому-то псу дают здорового пинка. Небо в трепаных облаках. Шум тайги.

— Душина... Вонища... Фу-у!.. Да этакое мясо не всякая собака будет жрать.

— Не хочешь — не бери. Мы, что ли, протушили? Дура. Следующий! Эй, рыжая борода с кошелем, подходи!..

— Стой, куда? — отталкивает баба рыжую бороду. — Мой черед! Давай мне, сукин ты сын, кровопивец...

— Не лайся! — щетинится приказчик. — Дура долговолосая... Раскурье...

— Кто лается-то? Ты и лаешься...

Всюду крики, неразбериха, похабная перебранка, укоры:

— Тухлятина...

— Падаль.

— На, на, на! — тычут приказчики в стену: — Читай акт приемки... Кто подписал? Ваши же. Приказчик привез такое, Иван Стервяков. Мы ни при чем.

Вдруг врывается в лавку мужик в лаптях, с ним две бабы. Мужик бросает на пол мокрый мешок с солониной и что есть силы, топая лаптями, орет:

— Кровопивцы!.. Идолы!.. Это что вы наклали моему парнишке в мешок-то? А? Это что наклали?!

В два рта ревут и бабы:

— Хозяина сюда! Полицию сюда! Ах, ах, ах!..

— Православные! — орет мужик. — Глядите, православные, чем нас хозяин потчует! — Он с яростью вытряхивает мешок, вместе с ослизлой солониной ползет на пол неудобосказуемый орган жеребенка. — Это как называется?.. А?..

Вмиг опрокинуты с солониной чаны, бычьи головы летят на улицу, пятеро приказчиков, побросав топоры, дают стрекача из лавки в тайгу. Брань, гвалт, проклятья, полицейские свистки.

Урядник, два стражника, запыхавшийся пристав:

— Ребятки, ребятки, тише. В чем дело, сволочи?!

— Не лайся!.. — огрызается на пристава толпа. — Погляди, чем нас кормят.

Пристав с омерзением рассматривает неудобосказуемую вещь и сплевывает:

— Н-да-а-а...

— Требуем протокола! Требуем ответственности.

Возбужденной гурьбой валят в казачью избу. Вернулись сбежавшие в тайгу приказчики, пришел заведующий снабжением рыжеусый краснощекий Иван Стервяков.

— Эта погань, — дрожит он голосом, — попала в солонину случайно. За всем не углядишь, братцы... Я, братцы, один, — вас тысячи. Всех накормить надо. Не разорваться...

— Так мы тебя сами разорвем, жаба!..

Писался протокол. Возле казачьей избы толпа человек в двести. Напирают в двери, заглядывают.

Вдруг крики на улице:

— Разойдись! Арестую!

Ротмистр фон Пфеффер ругал толпу площадной бранью, неистово топал.

— Мы, васкородие, протокол составляем. От хозяина шибко корма плохи. Разбери, в чем дело.

— Молчать! Разойдись!.. Перестреляю!.. Эй, стражники!..

Рабочие повалили прочь.

Ротмистр телеграфировал генерал-губернатору:

«Рабочие собираются толпами, держат себя вызывающе. Предполагаю, в случае надобности, произвести массовые аресты».

Весть об этом неудобосказуемом происшествии передалась повсюду. Назавтра не вышел на работу прииск «Достань», на послезавтра забастовал прииск «Новый».

По предприятиям, разбросанным на тысячу квадратных верст, стали разъезжать иль колесить тайгу пехтурой неизвестные люди. Они выныривали — эти Гришки Голованы, Мартыны и Книжники Пети — то здесь, то там, всюду призывали рабочих к забастовке, строго наказывая толпе вести себя чинно, ждать указаний от рабочего забастовочного комитета.

— А где этот комитет? — спрашивали рабочие. — Хоть бы поглядеть на него...

— Мы сказать сейчас этого не можем, — отвечал им латыш Мартын. — Сами, товарищи, понимаете, какое сейчас время опасное. А когда нужно будет, рабочий комитет призовет вас...

Забастовало пятьсот человек лесорубов, забастовали все лесопильные заводы.

Прохор Петрович разослал гонцов по селам, за полтораста, за двести верст вербовать людей на работы. Однако у крестьян началась страда: нанимались лишь те, кому некуда податься.

Пристав, урядник и члены администрации объезжали бастующих, уговаривали «бросить волынку», не слушать крамольников.

— Терпенью нашему конец пришел, — отвечали рабочие. — Мы работе рады. Пусть контора удовлетворит наши требования.

— Просьбу или требование?

— Требование! — крикнули из толпы слесарь Васильев с Доможировым.

— Тогда излагайте свои домогательства в письменной форме.

— Чтоб изложить, надо обсудить. А нам не дают собраться, разгоняют.

Переговорив с Прохором и снесясь с губернскими властями, ротмистр разрешил рабочим собраться в Народном доме.

11

Бастовали целую неделю почти все предприятия. Печальный Прохор подсчитывал убытки. От невыхода на работу хозяин уже потерял около двухсот тысяч. Это наплевать! Мошенническая махинация Иннокентия Филатыча в Петербурге покрыла убытки с лихвой. Но Прохор Петрович опасался порчи рабочими заводских механизмов, оборудования приисков, поджогов. А вдруг забастовка продлится долго? Ведь тогда всем сложным делам его будет угрожать неизбежная катастрофа... Печальный Прохор старел, худел. Чувствовалось отсутствие Нины и в особенности Андрея Андреевича Протасова.

Дом его как крепость: со стороны сада, со стороны улицы по пушке. Вооруженные до зубов стражники с урядником стерегут хозяина день и ночь.

Печальный Прохор никуда не выходил.

— Любезнейший Прохор Петрович, — дрожа рыжеватыми бачками и позвякивая серебром шпор, выворачивал свою душу ротмистр Карл Карлыч. — Я должен проявить здесь, в вашем конфликте, чудеса находчивости и умения. Меня затирают по службе. Мне давно надлежало быть полковником. И я решил... да, да, решил отличиться. Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь!.. — Он взволнованно мигал, бачки дрожали, зловеще чиркала по полу сабля.

Генерал-губернатор в это дело почти не вмешивался. Руководящую роль играли губернатор в губернии и департамент полиции в Питере. Ротмистр фон Пфеффер только что полученным приказом был назначен начальником всей местной полиции, с подчинением и воинских сил.

Рабочие толпами беспрепятственно вливались в Народный дом. Здание набито людьми до отказа. Урядник Лопаткин привязал коня к дереву и, с остервенением работая локтями, стал продираться сквозь толпу к входу. Но упругая гуща взвинченного народа, пользуясь случаем, как бы невзначай, неумышленно, стала его тискать, давить, пинать из-под низу кулаками в брюхо, в бока. Лопаткин, поругавшись, уехал.

Собрание было шумное, но порядок не нарушался. Оно продолжалось до позднего вечера. Среди собравшихся — Константин Фарков. Старик по-человечески жалел Прохора, но решил пострадать с народом за правду до конца. Выступавшие члены забастовочного комитета в своих речах призывали рабочих не оскорблять ни чинов полиции, ни представителей громовской администрации, ни самого Громова.

— Товарищи, это вот почему, — поднялся из-за стола на сцене латыш Мартын. Никто не узнал его: он в черной накладной бороде и темных очках. Да и другие члены комитета тоже изменили свою наружность. — Сейчас, товарищи, мы пока ведем экономическую забастовку, то есть пробуем мирным путем, не обостряя отношений с хозяином, улучшить свое положение. И политических требований пока что не выставляем. Поняли, товарищи?

Требования рабочих заключали в себе восемнадцать пунктов. Главные из них: повышение заработной платы на тридцать процентов; введение восьмичасового рабочего дня для шахтеров и девятичасового на всех прочих предприятиях; строгое соблюдение дней отдыха; доброкачественные продукты; увольнение некоторых служащих и в первую очередь Ездакова; улучшение квартирной и медицинской помощи; вежливое обращение, выдача жалования деньгами, а не купонами и т. д.

Требования были законными. Почти все они касались восстановления попранных Прохором Петровичем обязательных правительственных правил.

В конце бумаги было настоятельное требование рабочих немедленно закрыть все монопольки, все пивные.

Бумагу вручили приставу для передачи Громову.

Прохор Петрович, собрав совещание, продолжал упорствовать. Резонные доводы инженеров и руководителей упирались в стену несокрушимого хозяйского упрямства. Прохор Петрович ничего не желал видеть в рабочих, кроме кровных своих врагов; он как бы оглох на оба уха и вконец очерствел сердцем. На нем сказывалось теперь влияние Фомы Григорьевича Ездакова, каторжника. Наперекор требованиям рабочих выгнать вон этого проходимца он сделал его своим главным помощником. Прохор, будто нарочно, дразнил, разжигал страсти народа.

В результате совещания Прохор Петрович решил сделать кой-какие мелкие уступки, в основных же пунктах — отказал.

На другой день с утра было расклеено по всем казармам объявление за подписью жандармского ротмистра.

«Требования рабочих одни невыполнимы, другие неосновательны, а потому и незаконны. За исключением таких-то и таких-то пунктов, требования бастующих администрацией отклоняются. Администрация предлагает, с момента объявления сего, стать в трехдневный срок на работы. В противном случае всех поголовно рассчитать, прииски закрыть, шахты затопить, уволенным выдачу продуктов прекратить».

Это объявление ошеломило рабочих. Куда же они, уволенные, денутся с своими семьями — их наберется с ребятами до десяти тысяч человек? Ведь их целый месяц надо вывозить до железной дороги иль до пристани. А где же взять денег? Неужели поколевать в тайге или снова броситься в лапы Громова?

Рабочие послали мотивированную телеграмму губернатору. Приказом губернатора постановление администрации отменено и предложено вновь вступить в переговоры с народом, не обостряя течения забастовки.

Вечером прибыл из губернии прокурор, статский советник Черношварц.

Значит, представители трех ведомств: юстиции, внутренних дел и военного съехались на защиту

печального Прохора от пятитысячной массы «наглых» рабочих. Они приехали с своей правдой, основа которой — насилие. Впрочем, они приехали с тем, что подсказывал им текущий момент истории. Они и не могли приехать с чем-нибудь иным, что могло бы обрадовать тысячи трудящихся и свести на нет алчность Прохора. Они, если б даже и хотели, не могли этого сделать: они ведь ни больше ни меньше как покорные жрецы всесильного молоха.

Однако бастовавшие приезду прокурора радовались: они, по наивности своей, видели в нем высшего представителя власти; его должен побаиваться и сам жандармский ротмистр, они вручат прокурору пространное прошение, где изольют все свои жалобы на существующий порядок.

Двенадцать выборных, в том числе Константин Фарков, Доможиров и Васильев, направились к прокурору с жалобой. Черношварц слушать выборных не пожелал.

— Вы, наверно, агитаторы, — облил их словами, как помоями.

Обиженные, они стали клясться и божиться:

— Нас народ выбрал, рабочие массы.

— Я вам не верю, — сказал Черношварц. — Пусть сам народ подтвердит мне, что вы не агитаторы, а только выборные.

Узнав это, рабочие стали писать «сознательные записки и заявки», начали гуртоваться — как на отлете скворцы; табунами ходили из казармы в казарму, собирались во множестве на берегу реки, принялись сочинять всем скопом прошение на имя прокурора. За опрокинутым ящиком восседал рабочий Петр Доможиров. Пред ним бумага и чернильница. Прошение пишется и час и два. Народ угрюм. Редко-редко упадет печальная, с солью смешинка.

— Пиши: капуста тухлая. Пиши: хлеб выдается из несеяной муки. Как-то мышь в хлебе попалась... С сором, с сучками! А был, братцы, кусок с конским калом...

— Эти куски хранятся?

— Хранятся! Все хранятся... И протокол есть.

— Пиши: мясо выдается паршивое, несъедобное, с болячками. От такого мяса мы маемся животами, а в казармах, когда его готовят, вонь, не продыхнешь. Так и пиши.

Прошение пишется долго. С Петра Доможирова льет пот, пальцы деревенеют, мелкая пронизь букв сливается.

— Вот восемьдесят два прошения от женщин. — Молодая работница кладет пред Доможировым пачку исписанных листков и придавливает их камнем. — Здесь наши слезы, все мучения наши.

Так, повиливая хвостом, волочилось время. Порядок среди народа — образцовый. Пьянство сразу как отсекло. Матерщина сгибла. Помня наказ забастовочного комитета, рабочие зорко следили друг за другом, за сохранностью имущества Громова. На приисках, на всех предприятиях расставлены собственные караулы, чтоб предотвратить хищничество. Вся знать, все служащие предприятий крайне удивились вдруг наступившему порядку, какого прежде не бывало. Почти все они опасались, что вместе с забастовкой начнутся погромы, поджоги, разгульное пьянство. Но вышло так, что многотысячная полуграмотная масса, среди которой сотни преступного элемента и отпетых сорвиголов, осмысленно заковала себя в железные цепи дисциплины.

Многие, чтоб подальше от соблазна, выливали водку из бутылей прямо на землю, похохатывали, острили:

— Не стану пить винца до смертного конца. Вино ремеслу не товарищ...

Рабочие боролись за правду, за свои права; они священнодействовали. А жизнь своим порядком со всех сторон обтекала назревавшие события.

Угрюм-река текла спокойно, однако образуя у двух противоположных враждебных берегов два острова — для Прохора и стачки.

Нина бомбардировала Протасова телеграммами. Возвращался победоносный Иннокентий Филатыч из

своей поездки. Под видом Ивана Иваныча вернулся со своей женой и Петр Данилыч Громов. Он скрыто поселился в новом, выстроенном Ниной домике, в пяти верстах от резиденции, в кедраче у речки. Вместе с Петром Данилычем приехал и старенький отец Ипат в гости к своей дочке, дьяконице Манечке.

Служащим делать стало нечего; служащие, как умели, веселились, устраивали пикники и пьянки. Кэтти вплотную сдружилась с поручиком Борзятниковым: очень часто гуляли в лесу; их лица от комариных укусов вспухли. Отец Ипат — толстенький, коротенький, руки назад — чинно расхаживал вперевалку по окрестностям, обозревал чужую местность...

Дьякон Ферапонт теперь не разлучался с Манечкой: вместе ходили на охоту за богатой дичью, собирали ягоды. Когда дьякон стрелял, Манечка защуривалась и крепко затыкала уши.

Однажды под вечерок встретили на речке Кэтти; она делала вид, что читает книгу, а сама все оглядывалась по сторонам: Борзятников не приходил, — должно быть, задержался дома по экстренному случаю.

— А! Здравствуйте...

Манечке эта встреча не по сердцу: она ревновала дьякона к учительнице.

— А медведей не боитесь? — загремел дьякон.

— Что вы! Тут близко от дома, тайги нет здесь: луга, кедровые рощицы. Вы домой? Пойдемте вместе. А я, знаете, немножко... — И Кэтти, указав на бутылку, захохотала.

Манечка поморщилась. Пошли тропинкой. Походка Кэтти — не из твердых.

— Я этого пижона Борзятникова скоро возненавижу, кажется. Бессодержательный, как пустая бутылка. А скука, страшная скука... Нет людей.

— Да, — сказал дьякон. — Мне даже удивительно, что вы с ним... Ведь он же убивать народ приехал.

— Ну что вы... И вы это считаете возможным?

— Всенепременно так...

— Оставьте, Ферапонт.

Манечка окрысилась:

— Он вам не Ферапонт, а отец дьякон!

— Хорошо, приму к сведению. — И Кэтти опять захохотала с тоской, с надрывом. — Хоть бы Нина скорей возвращалась... Здесь с ума сойдешь. Страшно как-то... Манечка, возьмите меня к себе на квартиру.

Манечка только плечами пожала.

Дьякон нагружен ружьями, мешками, как верблюд. На пути — разлившийся по каменистому ложу ручей. Дьякон посадил Манечку на левую руку, а Кэтти на правую. Манечка, кокетливо дрыгая коротенькими ножками, с нарочно подчеркнутой нежностью обхватила шею мужа. В сравнении с величественным дьяконом Манечка напоминала четырехлетнего ребенка, а Кэтти — подростка-девочку. Нужно идти по воде шагов пятьдесят.

— Держитесь обе за шею, — сказал дьякон.

Кэтти, улыбнувшись, как-то по-особому обняла дьякона и задышала ему в ухо винным перегаром:

— Миленький Ферапонтик мой, Ахилла...

Манечка вдруг зафырчала, как кошка, и плюнула Кэтти в лицо. Кэтти, злобно всхохотав, плюнула в Манечку, и они сразу вцепились друг дружке в косы. Дьякон потерял равновесие, поскользнулся, крикнул: «Что вы! Дуры...» — и все трое упали в воду.

— Что это там? — И ротмистр фон Пфеффер указал с коня биноклем на барахтавшихся в воде людей.

Пряткин и Оглядкин, всмотревшись из-под ладоней, сказали:

— Надо полагать, пьяные рабочие дерутся, васкородие...

Ротмистр ответом остался весьма доволен и — галопом дальше по нагорному берегу долины. За ним кучка верховых: жандармы, стражники, судья, офицер Борзятников. Им надо засветло поспеть на территорию механического завода и прииска «Достань». По дороге срывали всюду расклеенные *«Воззвания рабочих к рабочим»*.

— Что ж, на работу так и не желаете выходить?

— Не желаем, батюшка. Потому кругом обида! Так и так пропадать. Авось бог оглянется на нас, натолкнет на правду, а обидчикам пошлет свой скорый суд.

Отец Александр сидел в семейном бараке плотников. Подумал, понюхал табачку и сказал:

— Ваше дело, ваше дело...

Бородачи плотники самодовольно почесывали в ответ спины и зады.

— А я вот зачем... Приближается престольный праздник. Ежегодно, как вы знаете, пред этими днями совершается уборка храма, начисто моются живописные стены и потолок. Подстраиваются особые леса. Мне надо бы пяточек плотников да женщин с десяток, поломоек...

— Не сумлевайся, батюшка. Все сделаем бесплатно, бога для, — с усердием откликнулись бабы.

На другой день с утра направилась на уборку церкви кучка плотников и женщин. Две большие артели, человек по сотне, привалили с инструментами, с краской ремонтировать Народный дом и школу. Рабочие делали это по собственному почину: они считали и школу и Народный дом для себя полезными. Константин Фарков — босой, штаны засучены — красит вместе с товарищами крышу школы, другая группа конопатит стены, бабы моют окна, полы, двери.

Оба священника в церкви. Бабы с подоткнутыми подолами, пять стариков плотников. Отец Александр говорит:

— Благолепие в храме навели, да и в жилищах ваших стало теперь чисто.

— Зело борзо, зело борзо... — подкрякивает дряхлый отец Ипат.

— Батюшка! — выкрикивают женщины, утирая слезы. — Как мы живем теперь согласно да чисто, так сроду не жили. Даже самим не верится.

— Когда же конец забастовке-то вашей будет?

— А вот собираемся, батюшка, прокурору подавать... Что он скажет, — говорят плотники. — Нам больше некуда податься. Разве в могилу, к червям.

— А вы бы подумали, не пора ли на работу тихо-смирно выходить. Ведь надо вникнуть и в положение хозяина.

— Эх, батюшка! — закричали вперебой плотники и бабы. — Да ежели б ты знал, как эти антихристы над нами издевались, ты бы другое стал говорить. Что мы перенесли в молчанку да выстрадали... А жаловаться боялись: выгонят вон... А ты пожалей нас.

— Жалею, жалею, братия, — нюхает табак отец Александр, и острые из-под густых бровей глаза хмурятся. — Но я враг насилия как с той, так и с другой стороны. Миром надо, братия, покончить.

— Да мы и не насильничаем. Хозяин насильничает-то. Вот ты ему и толкуй. Урезонь его, окаянную силу.

— Верно, верно, верно, — прикрякивает отец Ипат.

После обеда оба священника в синих камилавках, в новых рясах, с протоиерейскими тростями, чинно направляются к дому Прохора Петровича. Отец Александр решил круто поговорить с хозяином:

— Я ударю сей тростью в пол и крикну: «Нечестивец! Богоотступник! Доколе ты будешь, сын сатаны, забыв заветы Христа, терзать народ свой?»

— Именно, именно... — поддакивал, пуча глаза от одышки, толстобрюхенький отец Ипат. — Так и валите, Александр Кузьмич. Я тоже поддержу вас, я тоже ударю тростью, да не в пол, а Прохору по шее, зело борзо... Я его еще сопливым мальчишкой знал. Он ко мне в сад яблоки воровать лазил. Ах, наглец, ах, наглец!

У окна, в тени фиолетовых портьер, стоял притаившийся Прохор. На долгий, троекратный звонок посетителей, наконец, вышла горничная:

— Ах, здравствуйте, батюшки!.. — И, завиляв глазами и кусая губы, вся загорелась краской. — Прохор Петрович нездоровы. Они давно легли спать и велели сказать, чтоб их больше не беспокоили.

— Передайте господину Громову, когда он проспится... не выспится, а проспится... что к нему приходили два пастыря с духовным назиданием. Он не пожелал их принять, — за это он ответит богу. И нет ему от нас благословения! — Отец Александр, задышав волосатыми ноздрями, стал осанисто, с высоко поднятой головой, спускаться с крыльца, ударяя посохом в ступени.

— Ах, наглец, ах, наглец! — шамкал, поспевая за ним, отец Ипат. — Яблоки воровал... белый налив. Ах, мошенник!

В тени фиолетовых портьер стоял у окна Прохор, смотрел им вслед.

Ротмистр фон Пфеффер, засветло прибыв на территорию механического завода и прииска «Достань», довольно своеобразно изучал обстановку дела: он со своей сворой ходил из барака в барак, из избы в избу, заглядывал в казармы, в землянки, всюду топал ногами, потрясал саблей, угрожал:

— Ежели не выйдете на работу, приду сюда с солдатами, буду расстреливать вас прямо в казармах, не щадя ни баб, ни ваших кривоногих выродков!

— Мы бешеные волки, что ли, чтоб расстреливать? Мы люди, ваше высокоблагородие. Мы правду ищем. Смирней нас нет, — едва сдерживая себя, миролюбиво отвечали ему холодные и теплые рабочие. А те, кто погорячей, лишь только ротмистр начинал удаляться прочь от жительства, по-озорному тюкали ему вдогонку:

— Тю-тю-тю-тю... Перец!..

Не отставали в присвистах, в гике и ребятишки. Ротмистр зеленел, путался ногами в длинной сабле.

Вечером власти и стражники куда-то уехали. А глухой ночью мировой судья, ротмистр с жандармами, урядниками и стражниками тихо подошли к холостой казарме, оцепленной прибывшими солдатами. Сипло, заполошно лаяли собаки. Небо в густых тучах. Навстречу караульный с фонарем:

— Кто идет?

— Свои.

Караульный от «своих» попятился, снял шапку.

— Доможиров, Васильев, Семенов, Марков и Краснобаев дома?

— Кажись, дома. Кажись, спят. Доподлинно боюсь сказать.

В бараке — сонная тишина и всхрапы. Электростанция бастует, свету нет, темно.

...Темно и там, вдали отсюда, в селе Разбой. Они идут на улицу. Мертвый волк в странной гримасе скалит красную пасть на них, зверушки улыбаются. Мрачное небо придавило землю, кругом — молчание, в жилищах огни давно погасли.

— Темно, — говорит Протасов.

— Да, темно. — Шапошников провожает его с самодельным фонарем. — Тут грязь, держитесь правее...

Идут молча. Протасов чувствует взволнованные вздохи спутника. Протасов думает о Нине, о ее вчерашней телеграмме:

«Верочка умирает. Я в отчаянии, я разрываюсь, пренебрегите всем, ради меня вернитесь на службу».

Протасов говорит:

— Я больше всего боюсь, что мой уход со службы рабочие могут понять, как мою трусость. Скажут: «Взял да пред самой забастовкой и сбежал». Я твердо решил вернуться. Вы одобряете это, Шапошников?

...Фонарь плывет дальше. Разбуженный Петр Доможиров вскакивает. На скамье, под брошенной рубахой, под штанами куча «сознательных записок».

— Ты арестован! Одевайся.

Фонарь, въедаясь в лица спящих, оплывает длинный ряд двухэтажных нар. Рабочего Васильева нет, Васильев скрылся. Взято пятеро.

— А за что берете?! — кричат они.

— Что, что? Кого берут?! — Поднимаются на нарах люди, скребут спросонья изъеденные клопами

бока, незряче смотрят на блудливый огонек фонарика, прислушиваются к звяку удаляющихся шпор. — Эй, староста, что случилось?!

— Наших взяли.

В другой казарме взято четверо, с ними—случайно ночевавший здесь Гриша Голован. Тщательно искали гектограф и прокламации: «Воззвание рабочих к рабочим»,—не нашли. Не нашли и латыша Мартына и многих назначенных к аресту. Ротмистр злился. Проснувшиеся в разных углах рабочие кричали:

— Зачем вы приходите к нам ночью, да еще с солдатами? Мы мирно бастуем, никого не трогаем. Пошлите нам повестки, мы и сами пришли бы... Днем.

В бараке на прииске «Достань» взяты трое: политический ссыльный студент Лохов и два российских семейных крестьянина. Рассветало. Многие поднялись, варили чай. Шумели, подсмеивались над ротмистром, над солдатами.

В красной, ниже колен, рубахе приискатель-бородач язвительно орал с улицы в барак:

— Эй, бабы, ребятишки, старатели! Все выходи!.. Пускай всех забирают...

— Молчать, сволочь!! — бряцает саблей ротмистр.

— От сволочи слышу! И бабушка твоя последняя сволочь была, я ее знаю...

Масса гогочет. Зреет скандальчик. Ротмистр до боли кусает губы, молчит, боится бунта приискательской шпаны.

Двенадцать человек под конвоем увозятся в город, за четыреста верст, в тюрьму.

Губернатору и в департамент полиции летят телеграммы:

«Стачечный комитет почти весь арестован. Эксцессов нет. Настроение рабочих настороженно-выжидательное».

С утра началось сильное брожение среди рабочих. Известие об арестах взбудоражило всех. Люди собирались кучками, негодовали. Обсуждали вопрос о недостаточном пайке — люди голодали, о необходимости потребовать выдачи всех заработанных денег.

Контора и в пайке и в деньгах отказала, хозяин не сдержал своего слова, хозяин не хочет идти на уступки, он не желает даже выполнять договорные обязательства и инструкцию правительства. Хозяин предатель, зверь.

— Ребята! Надо выручать своих.

Три сотни горячих голов повалили к конторе требовать в первую голову освобождения арестованных. Среди толпы Филька Шкворень, окрыленный надеждой, что будет погромишко, сладкая пожива. По ту сторону реки, за мостом, стояли под ружьем солдаты. Через мост, прямо на толпу, скакал офицер Борзятников.

— Стой, стой! — кричал он, размахивая шашкой.

— Нам по делу, — остановилась толпа. — Нас рассчитывать хотят, нам паек не дают, мы...

— Расходи-и-ись!.. Стрелять прикажу!

И, взметая пыль, он поскакал обратно.

— Не верь, братцы, не верь! — раздались в толпе поджигающие выкрики. — Солдаты не станут в своих стрелять.

Но видно было, как солдаты взялись за ружья. Толпа опешила и с руганью показала солдатам спины.

Под вечер из четырех бараков стали выселять, по постановлению судьи, тех рабочих, у которых весь заработок был выбран раньше. Выселением руководил пристав. Весь скарб: сапоги, сундучишки, одежду выбрасывали на улицу. Выселяемых выталкивали взашей, волокли за шиворот. Стоял стон, вой, проклятия. Рабочие, наблюдавшие насилие, свирепели. Но солдаты и стражники грозили им нагайками, штыками.

— Ребята! Надо губернатору, а нет — так и самому генерал-губернатору жаловаться...

Уцелевшие от ареста немногие руководители движения послали экстренные телеграммы губернатору и в Петербург. Они жаловались, что арест выборных подливает в огонь масло, народ теряет спокойствие, что насильственное выселение рабочих в глухой местности, где нет жилья, — преступно, может грозить голодным бунтом и всякими бедствиями.

Выдержки из пространной телеграммы встревоженного губернатора на имя прокурора Черношварца:

«...Если находите возможным, освободите арестованных. Выселение до полной ликвидации забастовки воспрещаю. Пристав, в случае повторения насильственного выселения, будет отдан мною под суд. Настоятельно предлагаю склонить владельца Громова к удовлетворению всех законных претензий рабочих».

Прохор Петрович по поводу этой телеграммы, скрытно от прокурора, держал совет с Ездаковым, приставом, судьей и жандармским ротмистром. Результатом совещания была телеграмма в Петербург министерству внутренних дел за подписью присутствующих:

«Нерешительная, сбивчивая тактика губернатора ослабляет наши позиции, дает рабочим опору к дальнейшим вымогательствам, затягивает забастовку, причиняет неисчислимые убытки, подрывает престиж власти. Просим дать ротмистру фон Пфеффер директивы к окончательной ликвидации стачечного комитета и производству дальнейших арестов».

Эта телеграмма возымела действие. Под нажимом Петербурга губернатор телеграфировал прокурору Черношварцу и жандармскому ротмистру, что с его, губернатора, стороны не встречается препятствий к дальнейшим арестам и прочим разумным мерам по ликвидации забастовки.

Ротмистр торжествовал: он потирал руки, предчувствуя скорый конец стачки и великие дары от Громова. Впрочем, дары были и до этого: ротмистр поручил сопровождавшему арестованных жандарму сделать в уездном городе перевод трех тысяч рублей на имя баронессы фон Пфеффер.

Ротмистр победно позвякивал шпорами, топорщил наваченную грудь. А прокурор, удивляясь разноречивым телеграммам губернатора, догадывался, что это Прохор Громов и его приспешники ведут тайно от прокурора «некрасивую» политику через Петербург. Прокурора это злило.

Меж тем среди рабочих — сплошное уныние; многими остро чувствовался недостаток продуктов, негде и не на что было их купить. Иные уже голодали.

К Кэтти прикултыхали два малыша: Катя с Митей, ученики ее.

— Барышня!.. Мамка с тятенькой послали к тебе... Деньжонков нет у нас. Мы голодные... Вот третий день уж.

Кэтти идет с ними в сберегательную кассу, достает последние свои гроши, отдает ребятам.

Пишет Нине письмо:

«У тебя, видимо, нет сердца. Ты только притворяешься, что любишь народ. На самом же деле жизнь Верочки тебе дороже жизни тысячи рабочих с детьми. Ты — эгоистка, ты — самка! Прости эти жестокие слова. Я теперь понимаю Протасова и понимаю и ценю его образ мыслей. Вот это человек! А ты и зверь твой Прохор — одного поля ягода. Я не могу здесь жить, мне в этой атмосфере насилия душно, невыносимо. Я помогаю восьми голодным семьям, я все свое отдала, осталась только канарейка. Я готова и жизнь свою отдать, но не умею как. Институт выбросил нас в жизнь глупыми незрячими щенками. Я теперь только начинаю понимать роль и обязанность человека в жизни. Я дура, дура, пьяница, развратная. Будь проклята тайга и ваша алчность! Прости, Нина, милая, дорогая, славная... Прости меня, пьяную, развратную девку. Эх, пропала твоя Кэтти! Прощай. Не могу больше».

Чернильница, перо летят на пол. Письмо рвется в мелкие куски. Канарейка открывает свой спящий бисерный глазок, чивикает:

— Девушка, ты что?

Кэтти злобно, отчаянно рыдает.

13

Телефонный звонок.

— Господин прокурор просит вас пожаловать к нему на квартиру.

— Скажите прокурору, что я чувствую себя плохо, прошу его приехать ко мне. Сейчас будет подана за ним лошадь.

Широкоплечий, приземистый прокурор Черно-шварц, похожий на моряка в отставке, вдвинулся в кабинет Прохора Петровича тяжелою походкою. Дряблое лицо его пепельно-желтого цвета; под глазами большие, смятые в морщины, мешки. Во всей фигуре — раздраженье, гнев. Небрежно подал руку, сел, погрозил Прохору крупными, утратившими блеск глазами. Прохор не испугался, Прохор сдвинул на лбу складки кожи, пронзил прокурора взглядом. Прокурор попробовал нахмурить лоб, но вдруг дрогнул пред силой глаз бородача и отвернулся.

— Я к вашим услугам, — чтобы вконец смутить чиновника, почти крикнул довольный собой Прохор.

— Да! Вот в чем... — выпалил басом слегка оробевший прокурор. — Сообразно директивам пославшей меня власти, а также в интересах рабочих, отчасти же и в ваших интересах, я должен вам, милостивый государь, сказать следующее... — Прокурор сморщился, схватился за дряблую, припухшую щеку и почмокал.

— Что, зубы?

— Да, проклятые!.. Дупло.

— Не желаете ль коньяку? Радикальное средство.

— Нет, спасибо. Бросил... Аорта, понимаете. Смертельная болезнь. Воспрещено. Строжайше. Ах, проклятые!..

— А вы попробуйте пренебречь запрещением, — с насмешливостью сказал Прохор. — Если ограничивать себя лишь дозволенным, рискуешь обратиться в нуль, и жизнь покажется тюрьмой: того нельзя, этого нельзя. Я сам себе запрещаю и разрешаю.

— Да. Ваша логика, простите, весьма примитивна. Это логика людей мертвой хватки, простите. На эту тему я как раз обязан с вами, милостивый государь, поговорить. Кстати замечу, что я испытываю некоторую неловкость вести разговор в вашем кабинете, а не...

— Простите, господин прокурор, но я ведь передал в телефон вашему чиновнику, что я болен...

— Ах, да! Доктор запретил вам выходить, но вы разве не могли, по вашей же теории, пренебречь этим запрещением? Ясно. Вы делаете только то, что выгодно вам. Итак, вот в чем... — Прокурор опять схватился за щеку и, припадая на правую ногу, забегал по комнате.

Из граненого графина Прохор налил в две серебряные стопки дорогого коньяку и достал из шкафчика тонко нарезанный лимон. Прокурор любил выпить, у прокурора пошла слюна.

— Прошу. Кажется — Василий Васильич?

Прокурор сморщился в убийственную гримасу, застонал и, отчаянно взмахнув рукой, опорожнил серебряную стопку.

Прохор посмотрел на него смело и нахально:

— Помогло?

— Не знаю. Как будто.

Пауза.

— Итак, совершенно официально... На ваших предприятиях, милостивый государь, наблюдается сплошное нарушение обязательных постановлений правительства от двенадцатого июня тысяча девятьсот третьего года. Вы знакомы с этими постановлениями? Вот они-с... — И прокурор, выхватив из кармана форменной тужурки большую брошюру, потряс ею в воздухе. — Да-с!.. Прочтите: жилые помещения для рабочих должны быть светлы, сухи, оконные рамы непременно двойные, и так далее и так далее. А у вас что? Не жилища, а могилы. Кто вам разрешил строить так, как вы строили?

— Я.

— Вы подлежите за это ответственности. Люди не скоты. Я настаиваю, чтоб все бараки были перестроены. Слышите, милостивый государь, я настаиваю...

Прохор улыбнулся в бороду, наполнил стопки, сказал:

— Я сразу этого сделать не могу.

— У рабочих нет на руках расчетных книжек. Они не знают, сколько ими заработано денег. Где эти книжки?

Прохор опять сдвинул брови, но тотчас же, мягко улыбнувшись, сделал легкий жест рукой:

— Василий Васильич, прошу.

Прокурор схватился за щеку, застонал и выпил. Пепельно-желтое лицо его стало розовым, глаза приобретали блеск.

Длительная пауза. Прохор ходил по кабинету.

— Расчетные книжки находятся в конторе. Это упущение. Я много раз говорил, теперь прикажу раздать их рабочим.

— Пожалуйста, Прохор Петрович, пожалуйста, — сказал прокурор обмякшим басом.

Вновь молчание.

— Действует?

— Действует, — сказал прокурор. Он по-орлиному насупил густые брови и стал похож на Бисмарка.

Прохор вновь налил стопки.

— Я вас, Василий Васильич, внимательно слушаю.

— Да! — И прокурор, грозно вскинув палец вверх, задвигал бровями. — Вы плохой король в своем государстве, извините за выражение. Ваши подданные стонут от ваших сатрапов и от вас самих. Я знаю... Вы...

— Простите, господин прокурор. Если мне во всем мирволить своим подданным, то я сам обратился бы в плохого подданного своего государя. А я смею думать, что кой-какую пользу нашему отечеству приношу...

— Да-да! Да-да. Кто же это отрицает? Но вы нарушаете установленные правительством нормы работ. Вы совершенно обесцениваете труд, рабочий день у вас чрезмерен, жилищные условия из рук вон плохи, обсчет, обмер рабочих, тухлые продукты и... простите... какой-то... какой-то... извините за выражение, какой-то невыразимый... этот... этот... — Прокурору неудержимо захотелось выпить, он схватился за щеку. — О, проклятый!..

— Прошу вас.

Прокурор застонал, выпил и закусил лимоном. Стал с интересом рассматривать картину Шишкина, большие елизаветинские часы.

— Да-с! — воскликнул прокурор и, подойдя к Прохору, загрозил ему скрюченным пальцем. — Я настаиваю на этом. Да-с, да-с, да-с... Вы немедленно должны пойти на уступки. Прибавка рабочим двадцати пяти процентов платы, увольнение Ездакова, реорганизация всего дела, возвращение Протасова, да-с, да-с, да-с, прошу не возражать. Вообще вы должны все это проделать завтра же, завтра же!

Прохор открыто засмеялся в лицо прокурору, налил коньяку, сказал:

— Вы, Василий Васильич, очень легко, даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. Да кто их наживал, позвольте вас, господин прокурор, спросить: вы или я?

— Совершенно верно, вы. Но в этом вам помогали и рабочие. На семьдесят процентов, может быть.

— Ах, так? Ну, тогда конечно. Прошу.

Выпили. Прохор налил еще.

— Действует?

— Действует, — сказал прокурор. — Зуб успокоился.

Глаза прокурора слипались, нос навис на губы.

Длительная пауза. Прокурор стал слегка подремывать.

— Василий Васильич! Дорогой мой... — Голос Прохора весь в зазубринах. Прокурор приоткрыл глаза. — Я имею сильную, весьма сильную заручку в Петербурге. И члены Государственой думы и даже кой-кто из министров. (Прокурор приоткрыл глаза шире.) Вы не забывайте, что я один из крупнейших капиталистов России. Поэтому, милый мой, давайте лучше жить дружно. Я половину этих рабочих уволю, другая половина останется. На днях придет новая партия в четыреста человек, и чрез неделю у меня будет избыток в рабочей силе. Голодной скотинки на наш век хватит. Но я от своего принципа не отступаю. Я даю народу минимум, беру максимум. И потом — если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра... Ноготок увяз — всей птичке пропасть!

— Да-с! Я вас вполне понимаю, — окончательно проснулся прокурор и выпил пятую стопку коньяку без приглашенья. — Да-с... Но я обязан действовать в контакте с губернатором. И вообще... и вообще... такова воля его превосходительства. Что? Он ждет мирного окончания забастовки. Что?

Прохор открыл средний ящик письменного стола.

— Я дам его превосходительству исчерпывающие объяснения. Я уверен, что он меня поймет. А это вот вам. — И Прохор Петрович вручил прокурору запечатанный пятью сургучными печатями пакет.

— Что это?

— Десять тысяч.

Прокурор побагровел, выпучил глаза, затряс, как паралитик, головой и, размахнувшись, швырнул пакет Прохору в лицо:

— Как вы смели! Взятка?! Подкуп?! Я вас прикажу арестовать. Сейчас же! Немедленно же!..

Прокурор крепко зашагал к выходу, схватил стоявшую возле камина крючковатую свою палку и, хлопнув дверью, вышел.

У Прохора зарябило в глазах.

Выселение рабочих властью прокурора приостановлено. Пристав не знал, как себя вести. Растерялся и судья. Пристав пришел к судье совещаться. Оба напились в стельку. Рабочие собирались идти к прокурору всем народом.

Прохор личного ареста не боялся, считал такой акт совершенно невозможным. «Прокурор дурачина, — думал он, — на него действует лишь коньяк, взятка не действует». Выбитые из колеи ум и сердце Прохора требовали встряски.

Направился к Наденьке. Пристава нет. Сидели долго, до седого вечера. Говорили с расстановкой, вдумчиво. О чем говорили — неизвестно. Знал лишь волк. Прохор давал Наденьке какие-то инструкции. Наденька утвердительно кивала головой.

— Поняла ли?

— Поняла... Все выполню.

Ночью, при участии ротмистра, в поселке и бараках произведены новые аресты. Попался и Петя Книжник.

Ночью же, приказом прокурора, арестован Фома Григорьевич Ездаков. Прокурором был подписан ордер и на арест рыжеусого заведующего питанием Ивана Стервякова, но тот, опасаясь мести рабочих, дня три тому назад удрал в тайгу.

Народ чем свет узнал об аресте своего заклятого врага Фомки Ездакова и об обыске в квартире Ивана Стервякова, жулика и прощелыги. Рабочие, совершенно разобщенные с забастовочным комитетом, по близорукости своей вообразили, что прокурор целиком на стороне народа.

— Братцы! Прокурор за нас.

Так думала и Наденька. Наденька действовала. Ее дружки сидели в каждом предприятии, знали, как вести себя. Наденька с головой вбухалась в крепкие сети Прохора Петровича. Это роковое влияние громовщины господствовало всюду: в него попадал всякий, кого ловила на жизненном пути удавка Прохора. Так, возвращался в резиденцию Андрей Андреевич Протасов; переводился под конвоем в село Разбой, по соседству к Шапошникову, бывший прокурор Стращалов, ныне ссыльнопоселенец; выехала домой Нина с дочкой Верочкой; выиграл в Питере большие деньги поручик Приперентьев и через взятку обдумывал поход на золотой прииск Прохора; мечтал вновь попасть на службу к Прохору Петровичу злополучный инженер Владислав Викентьевич Парчевский, до сих пор влюбленный в Нину. Все они, эти люди, так или иначе соприкоснулись своей судьбой с жизненными путями Прохора.

14

— ...Носятся разные провокационные слухи, — выходя из дому, сетует отец Александр отцу Ипату и хватается за голову. — Сюда идет мирная толпа... Боюсь... Не знаю, что предпринять.

— Смиренно лицезреть... Что можем мы предпринять против властей предержащих? Мы бессильны, — трясет головой толстобрюхенький отец Ипат.

— ...Разика два-три пальнуть будет весьма полезно, — говорит офицер Борзятчиков офицеру Усачеву.

— Да, конечно, — отвечает толстяк Усачев. — У вас, кажется, опыт был.

— У меня нет, а вот у ротмистра — да. Девятого января в Питере орудовал.

— Вы не позволите! Вы не посмеете этого!! — кричит в телефон Кэтти.

— Милая Кэтти, успокойтесь, — тихо отвечает ей Борзятников. — Все произойдет как надо.

...И еще четыре звонка жандармскому ротмистру, ранним утром — тревожные, с четырех разных пунктов.

— Рабочие нашего участка сегодня собираются идти в поселок подавать прошение прокурору. Не верьте им, ротмистр. Они идут, чтоб обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж.

И с второго, и с третьего, и с четвертого пунктов почти слово в слово. Это говорили четыре провокатора в четыре жутких голоса. Смысл этих слов был внушен им Наденькой, а Наденьке — Прохором Петровичем. Ротмистр несколько перетрусил. У ротмистра сразу испортился желудок. Ротмистр объявил солдатам:

— Будьте, братцы, начеку. Я имею сведения, что толпа придет сюда обезоружить вас и растерзать.

Прокурор смертельно болен. Угрожала аорта. Вчерашняя стычка с Прохором и коньяк сделали свое дело. Возле прокурора врач. Ротмистр приводит свои доводы. Прокурор отмахивается рукой, задыхаясь, говорит:

— Вы, ротмистр, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам — я против... Впрочем, если у вас неопровержимые данные и раз вам вверена власть чуть ли не Петербургом...

— Вот телеграмма...

— В таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск... Я очень, очень болен. Я умываю руки.

...Встретив доктора, жандармский ротмистр спросил его:

— Слушайте, Ипполит Ипполитыч, а как у вас насчет перевязочных средств? Предлагаю вам экстренно все привести в порядок: койки, операционную, медицинский персонал... К завтрему чтоб...

— Слушаю-с. А, смею спросить, зачем?

— Ну, на всякий случай. Ну, мало ли... До свиданья.

Поздно вечером Ипполит Ипполитыч зашел в кабинет Громова. Хозяин бледен. Третий день он ни капли не пьет. Он весь в напряжении. Упорство бастующих рабочих бесит его.

— Прохор Петрович, — начал доктор. — Знаете ли вы, что у нас готовится пролитие крови? Я сегодня встретил фон Пфеффера. — И доктор взволнованным голосом рассказал о приказе жандарма.

— Ну и что ж? — насупился Прохор.

— Я пришел, Прохор Петрович, умолять вас предотвратить кровопролитие. Все зависит от вас. Ведь это же ужасно, Прохор Петрович.

Прохор набычился, встал, крикливо ответил:

— Может быть, вы желаете, чтоб вас вместо ротмистра назначили командующим вооруженными силами? Ах, нет? Ну так и молчите, пожалуйста. Да-да! Прошу вас. Мы сами знаем, что делаем. За нас закон!

Доктор вздохнул, поправил дымчатые очки и, рискуя претерпеть грубость хозяина, сказал:

— Очень жаль, что здесь нет Нины Яковлевны. Я уверен, что, будь она дома...

— Ха! Вы уверены? А вот Прохор Громов говорит вам, что, если б она посмела ввязаться, я бы ее вздул арапником и приказал арестовать. Идите, исполняйте то, что вам приказано ротмистром, и не суйте нос не в свое дело. Прощайте...

Прохор остался один. В окаменелой неподвижности просидел битый час. Мысли, одна мрачней другой, одолевали его. Ему то и дело звонили по телефону. Он на звонки не отвечал и никого принимать не велел. Всю ночь провел без сна.

А этой ночью жандармским ротмистром, при участии мирового судьи, были арестованы многие выборные и уцелевшие члены забастовочного комитета.

Утром, чуть свет, известие о разгроме рабочих организаций разнеслось повсюду. В бараках, в казармах, в тайге, на заводах и приисках рабочие стали быстро гуртоваться. Собрания были крикливы. Возбужденная масса с негодованием выражала свою волю.

— Протасова нет, Абросимов тряпка, хозяин зверь. Идем, братцы, к прокурору!.. Пусть, освободит наших выборных. Чем они виноваты? А?!

— Бей полицию! Бей жандармского барина! Бей пристава! — буйно орали приискатели. Но их останавливали:

— Еще, ребята, надо требовать заработанные деньги да паек. А нет — все ихние амбары расшибем! Нечего нам овечками-то прикидываться. Казаки со стражниками в нас не станут стрелять, а приезжих солдатишек мы в капусту искрошим.

В пять часов утра рабочие прииска «Нового» тысячной толпой повалили на прииск «Достань». Там уже шумели рабочие приисков «Веселенького», «Богатого», «Находки». Подтягивался народ с механического и трех лесопильных заводов. На общем собрании решено идти к прокурору всем народом, всем миром и лично заявить ему, что подстрекателей в забастовке среди рабочих нет, что каждый из них бастует сам по себе, на свой страх и риск, а поэтому пусть прокурор немедленно же освободит всех арестованных товарищей.

В десять часов утра вся масса двинулась к главной конторе, в резиденцию «Громово». Единая цель многотысячной толпы—подать прокурору «жалобную»

докладную записку, а также вручить ему сотни четыре личных прошений.

По дороге к толпе примыкали землекопы, лесорубы, рабочие с мельниц, со шпалопропитного завода, с росчистей. Толпа росла.

В это же утро к хозяину явился робкий, встревоженный инженер Абросимов. У Прохора под глазами мешки, цвет лица изжелта-серый. Своего подначального он принял холодно:

— Что? С советами? Да что вы на самом деле! То один, то другой... Тьфу!

— Позвольте, Прохор Петрович, я еще рта не раскрыл, а вы уже... Да, знаете, положение аховое. Рабочие огромной толпой идут сюда.

— Плевал я на толпу, — запальчиво сказал Прохор, и мутные от бессонницы глаза его засверкали.

— Нет-с, Прохор Петрович, с огнем шутить опасно. И — позвольте вам доложить: третьего дня утром, с риском для жизни, я обошел семь бараков, Прохор Петрович, я говорил рабочим: «Ребята, становитесь на работы, а я даю вам слово уговорить хозяина, он постепенно исполнит все ваши требования...»

— Фига! Фига! — закричал Прохор; голос его хрипел, глаза прыгали. — Я вам приказываю, поезжайте сейчас же по всем баракам и говорите рабочим: «Подлец хозяин ни на какие уступки не пойдет!... Подлец хозяин плюет на ваши требования!» Поняли, Абросимов? И пусть они, сволочи, посмеют поднять открытый бунт. Пусть!.. Они тогда увидят, что мы с ними сделаем. Я сам буду их расстреливать из собственных пушек!... Бац — и мокренько... Вы, Абросимов, еще мало знаете меня...

Закусив прыгающие губы, инженер Абросимов понуро отошел к окну. К дому подкатил в сопровождении конвоя ротмистр фон Пфеффер. Он вошел в кабинет, гремя шпорами, браво, воинственно. Однако лицо его бледно, бачки топорщились.

— Идут?

— Идут, Прохор Петрович. Я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооруженные силы.

Из окна Абросимов видел, как бегут с ружьями солдаты, проехал на рысях отряд стражников, несутся собачонки, мальчишки, спешат бабы, старики.

— Карл Карлыч, милый, — начал Прохор протестующим голосом с нотками жалобы и стиснул в замок кисти рук. — Вот они, то один, то другой... Вчера даже поп приходил, отец Александр. И все словно сговорились: «Пойдите на уступки, пойдите на уступки!» Да не могу я, премудрые мои советчики, не могу!.. Я тогда сорву все мои планы. Если им дать потачку, не я буду хозяин, а они. И я — пропал. Понимаете — пропал!

— Любезнейший Прохор Петрович, — нетерпеливо перебил его ротмистр. — Время моих переговоров с вами кончилось. Сейчас — момент действия. Я имею директивы правительства пустить в ход вооруженную силу...

— Ну так и действуйте, Карл Карлыч. И действуйте...

— Да! Но я должен предуведомить вас, что толпа — в четыре тысячи с лишком, что толпа вооружена, моих же солдат девяносто семь человек-с.

— Что ж, трусите?

— Нет-нет! Нет-нет! — завилял глазами ротмистр и чуть попятился от Прохора. — Но я должен честно сказать, что ежели, боже упаси... Вы понимаете? Тогда нам никому не сдобровать, вы же поплатитесь жизнью в первую голову.

Надбровные морщины Прохора резко задвигались. Инженер Абросимов все еще трясся у окна. Ротмистр фон Пфеффер, оценив действие на Прохора Громова пугающих слов своих, нервно покашлял в фуражку и торжественно звякнул шпорами:

— Итак, Прохор Петрович, ваше слово! Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет?

Пыхтящее молчание. Абросимов было посунулся к хозяину. Меж сдвинутых бровей Прохора врубилась вертикальная складка. Он резко ответил:

— Нет!

— В таком случае... Господин Абросимов, идемте, нас ждут.

Через минуту залились бубенцы, тройка уехала на поле действий. Шумно дыша чрез ноздри, Прохор с биноклем — к окну. Странная тишина за окном, солнце и вызывающий бряк бубенцов. Из окна не видать ни пригорка с солдатами, ни дороги, по которой движутся толпы рабочих.

Прохор Петрович позвонил лакею, приказал заложить скорей тройку каурых, заседлать жеребца и в торбу — «чего-нибудь жрать». Из несгораемого шкафа суетливо достал стальную шкатулку с бриллиантами Нины, положил ее в охотничью сумку, сунул туда же пять крупных самородков, все это снова запер в несгораемый шкаф и чуть не бегом — на чердак. Выбрался чрез слуховое окно на крышу, спрятался за печную трубу и стал смотреть в бинокль. Глаза его расширились и сузились, сердце упало...

...Речка прорезала поселок и впала в Угрюм-реку. Мост через речку; из тайги через мост широкая дорога, по ней должны показаться почти четырехтысячной толпой рабочие. По сю сторону речки, в полверсте от моста, на возвышенном, покрытом луговиной взлобке — цепь вооруженных солдат. Они заграждают путь в центр поселка. Ими командует безусый толстяк Усачев и усатый Борзятников. Сзади солдат, на бугорке — жандармский ротмистр Карл Карлович фон Пфеффер, пристав, судья, горный инженер Абросимов. К их услугам готовые ринуться на толпу верховые стражники с жандармами. С горки видно и мост, и дорогу, и весь плац. По обе стороны дороги, между мостом и солдатами огромные, в высоту человека, штабели шпал; они тянутся сажен на сто, образуя неширокий коридор. Толпа, пройдя мост, неминуемо должна попасть в этот коридорчик, как в ловушку.

В небе полное солнцесияние. Из тайги движется огромная толпа. Она заливает всю дорогу, хвост ее увяз в тайге. Почти все по-праздничному одеты.

У многих в руках маленькие узелки с едой. Пока шли лесом, играли на гармошках. Лица рабочих в светлой надежде: сейчас все благополучно разрешится, они потолкуют с прокурором, кое-что уступят хозяину, хозяин уступит им, — и завтра с богом на работу.

Впереди, в красной рубахе, в продегтяренных сапогах высокий старик Константин Фарков. Чрез шею и во всю грудь серебряная цепочка с часами. Все шли «вожжой», тихо, весело.

— Остановить, остановить! — меняясь в лице, орет ротмистр фон Пфеффер, и три жандарма со стражниками скачут на толпу. Толпа в версте. Всадники перемахивают мост, подлетают к народу.

— Стой! Стой! Ни с места...

— Почему такое? Мы мирные. Мы к прокурору.

— Стой! Стой!

На толпу, как на отару овец борзая, скачет офицер Борзятников. Картуз лихо заломлен, в глазах помешательство. Пред ним не толпа мирных людей, — пред ним коварнейший враг, жаждущий его крови.

— Стой, сволочи, стой!! Стрелять будем...

— Сам сволочь... Да ты очумел?.. За что стрелять?..

— Расходись! Расходись!..

Сзади неожиданно вылетает из тайги взмыленная тройка. Инженер Протасов выпрыгнул из кибитки и махом к начальствующей группе. В его лице дрожит каждый мускул, кровь тугими ударами бьет в виски.

— В чем дело, господа?!

— Вы кто такой?

— Разве не узнали, ротмистр? Я — Протасов.

— Ах, пардон. Но какое отношение вы имеете ко всему этому? Вы ж бросили службу.

— Я вернулся. Вот пригласительная телеграмма Прохора Петровича. Я переговорю с рабочими. Я их успокою. Они мне поверят.

— Время переговоров кончено. Впрочем, попытайтесь... Сами же разводите крамолу... Черт вас побери!..

Но эти последние слова были пущены Протасову в спину, он не слыхал их. Он что есть духу неуклюже побежал, суча локтями, навстречу толпе, голова которой уже стала выплывать из коридора штабелей, а хвост все еще шел по мосту.

— Ребята!! Товарищи! — задыхаясь, взывал на бегу Протасов. — Остановитесь! Остановитесь! Вы на гибель идете, на расстрел.

— Сто-о-о-й!! — во всю мочь заорал Фарков и, повернувшись лицом к толпе, замахал руками: — Стой, стой! — Но толпа, ничего не видя и не слыша в коридоре, все валила и валила, сминая передние ряды, — толпу подпирал вливавшийся в коридор оглохший, незрячий хвост.

— Стой, стой, сто-о-о-й!!

— Стой, ребята, стой!.. Барин Протасов с нами. Протасов вернулся! Протасов хочет говорить!

На горе, у церкви — группа любопытных. По откосу к солдатам и к толпе перебегают ребятишки и собаки. Оба священника с тростями в дрожащих руках тоже на горе.

Многие рабочие уже вскарабкались на штабели, кричали что есть силы:

— Стой! Стой! Не напирай!!!

Часть толпы, успевшая выкатиться сажен на тридцать из коридора, широко растеклась и стала. Впереди толпы — оттиснутый народом Протасов. Курильщики вынули кисеты, начали закуривать. Несколько десятков рабочих свернули на другую, окольную, ведущую к конторе дорогу, чтоб уйти от греха подальше. Впоследствии оказалось, что эта группа мирно настроенных рабочих и была причиной происшедшей сумятицы.

Невнятно проиграли у солдат сигнальные рожки. Этих предупреждающих звуков за шумом, за говором никто не слыхал в толпе.

— Ребята! Вы идете на смерть. Разве не видите?.. Там солдаты! — Пот катился с возбужденного лица Протасова, лицо дрожало, дрожал и голос.

— Товарищ Протасов! Барин! Андрей Андреич! — Кольцом окружили Протасова рабочие, жарко ды-

шали, пускали из ноздрей и ртов табачный дым. — Мы мирно! Мы бастуем... Мы к прокурору... с открытой душой.

— Где выборные?.. Давайте прошение!.. — взывал Протасов.

— Эй, выборные!! К Протасову!..

И там, на взлобке:

— Братцы, нас обходят... — трусливо проблеял какой-то низколобый солдат, косся глазом на идущих окольной дорогой несколько десятков рабочих. И сразу по шеренге прокатился трепет.

— Глянь, глянь! И впрямь обходят... — заежились, зашептали солдаты. Им стало страшно, как на войне перед началом боя.

Ротмистр фон Пфеффер оторвал от бинокля остеклевшие, в холодном огне, глаза. Выпирая из коридора, толпа возле Фаркова и Протасова быстро увеличивалась.

— Господин ротмистр, — приложив руку к огромному, нависшему на нос козырьку, протряс брюхом Усачев. — Неприятель близок. Ни минуты больше!

Ротмистр бел как полотно; губы прыгают, пальцы рук в корчах. В малодушном шепоте солдат, в озлобленном пыхтенье Усачева, в заполошных ударах собственного сердца ему мерещится адский голос телефона: «Не верьте рабочим, они идут, чтобы убить начальников...» И широко открытые глаза его видят то, чего нет. Они видят мчащуюся на него остервенелую толпу. Еще миг — и он будет растерзан.

— Они бегут.

Ротмистр фон Пфеффер судорожно стиснул зубы, качнулся, зажмурился.

— Прошу, господин ротмистр, немедленно же передать командование мне... Нас сомнут!..

Ротмистр открыл глаза, приосанился: «Вот я ж им, мерзавцам...» — и свирепо взмахнул платком.

Толстяк Усачев, сразу подтянувшись, браво повернулся к солдатам, сиплым голосом скомандовал:

— Повзводно пачками...

Офицер Борзятников, выпуча закровянившиеся глаза, ошалело шагал сзади шеренги солдат, грозил револьвером:

— Целься верней! Кто будет мазать, пристрелю на месте...

— Пли!

Запахло тухлым дымом. По толпе широко стегнул свинец.

Инженер Протасов резко повернулся на выстрелы, замахал платком и белой фуражкой и, падая на колени в пыль, надрывно закричал:

— Что вы делаете?!

Но залп был дан.

Несколько человек упало. Рухнул на Протасова, подмяв его под себя, убитый Константин Фарков. Толпа цепенела. Люди оценивали положение, сбирались с мыслями, ничего не могли понять. Но вот пронзительно, с великой обидой прозвучало:

— Убивают! Нас... убивают... Братцы!!

Выстрелы гремели, народ падал. По толпе пронесся трепет смерти. Толпа содрогнулась.

— Ложись, ложись!

Голова толпы, как под косой трава, плашмя бросилась на землю. А остальная масса рабочих еще топталась в коридоре, хвост толпы спускался с моста. Они еще не знали, что кругом творится, в шуме не слыхали выстрелов и стонов. Любопытства ради карабкались сотнями на штабели.

— Эй! В чем дело? — кричали они передним.

А впереди — вопли, крики, гвалт. Кто-то визжал не переставая:

— Добейте меня... Добейте меня...

— Заряжают новые обоймы! Стреляют!

— Братцы! Кто в живых, беги!..

Народ в смятении бросился кто назад, кто в стороны.

— Взвод, пли!

Люди бежали и падали. Офицер Борзятников, кривя усатый рот, судорожно совал в горячий револь-

вер новые патроны. С командной горы положение казалось грозным.

— Бегут! Бегут! — неслось в рядах расстрельщиков.

И палачей и убегавших рабочих пленил животный ужас смерти.

— Взвод, пли! Взвод, пли!

Недружная, путаная трескотня выстрелов. Пули догоняли бегущих, бессмысленно били в спины. Пули пылили по дороге.

Стрельба продолжалась с перерывами.

Потрясенный Протасов навзрыд плакал, и плакали лежащие возле него.

Лицо Протасова раздавлено гримасой напряженного негодования и унизительного страха. Он немощно валялся, распластавшись по земле. Чрез его ноги переползал каменщик Федюков, — пуля ударила ему в грудь, другому прострелила локоть, третьему — плечо.

Кругом — стон, вопли, жуткий вой.

Выстрелы смолкли. Живые поднялись: кто прытко, не оглядываясь, побежал, кто вспотычку побрел домой: от страха одрябли ноги. Мертвые лежали смирно, лицом зарывшись в пыль или глядя в небо немым стеклом зрачков. Раненые мучились в корчах. Пыль от крови превратилась в грязь, как на скотобойне.

Протасов едва встал, но не мог идти. Его кто-то повел, крепко прижав к себе. Потом Кэтти подошла, взяла его под руку. Плакала, вся дикая, растрепанная, всхлипывала, грозила кулаком, бессвязно выкрикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал.

Разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпученными глазами, подъезжал к месту расстрела прокурор, рядом с ним в пролетке врач. У врача в походной сумочке — шприц и камфара для прокурора.

На земле груды раненых и мертвых. Тишина. Уныние.

Чрез тайгу, не видя света, бежали во всю мочь охваченные паническим страхом рабочие. Многие мешались в уме, теряли силы, валились. Любой из всадников не смог бы ответить, чей конь под ним, как он на этого коня попал. Все было смутно и смятенно. Сама тайга, свет солнца, воздух — все кругом стало враждебным, вражьим.

Сгруживались, горько спрашивали друг друга:

— За что? Что мы сделали? Хоть бы стекло в три копейки разбили или бы проволоку порвали...

Был большой плач.

Подбирали убитых и раненых, складывали на телеги. Живых везли в больницу, мертвых — в котловину, возле бани.

Первый примчался на коне к своим баракам землекоп Кувалдин. Свалился с коня, забрал в горсть бороду, по-дурному зашумел:

— Чего сидите?! Чего ждете?.. Идите подбирать покойников.

Из бараков высыпали старики, бабы, ребята.

— Марья! Беги скорей, — гундил нутряным голосом Кувалдин. — Митрий твой кровью обливается. Подле меня лежал. Беги, молодайка!

Марья обомлела. Кровь с лица разом схлынула. С резким пугающим воем бросилась Марья в тайгу. За нею спешили парнишка и старуха мать.

Только утром, среди мертвых, на телеге нашла его Марья. Правый глаз убитого открыт.

— Живой! — не своим голосом крикнула она. — Митрий, Митрий! Вставай... — Подняла его голову, сняла картуз, — на темени мозг, из раны пуля выпала.

Она заулыбалась и тихонечко заплакала. Она три дня была в испуге, не помнила, что с нею. На четвертый день бросилась с камня в Угрюм-реку.

А там, на бойне, много народу собралось, ребята, старики и женщины.

Был неутешный большой плач.

Подбирали весь вечер, до глухой ночи. Труп Константина Фаркова увез на своей лошади сын.

По всему поселку, в каждом домище, домочке, избе, в каждом бараке, землянке и всюду — настроение свинцовое, мрачное. Как будто всю местность, весь мир охватило моровое поветрие.

Темно и тихо. Народ ушел. Но там, на бойне, еще не все мертвецы подобраны. Многосемейный слесарь Пров, — тот, что когда-то беседовал в бараке с Ниной, — со стоном приподнялся на локтях, привалился разбитым плечом к двум лежавшим друг на друге покойникам: «Ой, смерть моя!..»

Идут два стражника. Слесарь Пров взмолил:

— Милые, дайте тряпочку либо платочек, рану мне перевязать...

Бородатый, весь изрытый оспой стражник, рассматривая с фонарем убитых, присел возле одного и поспешно стал разжимать его стиснутую в кулак ладонь.

— Погоди, гадина... Я живой еще, — прохрипел тяжко раненый. — Вот умру, тогда твое кольцо...

После второго залпа, когда многие рабочие повалились на землю, отец Ипат крикнул: «Народ бьют!» — закачался, упал; паралич поразил правую половину тела, отнялся язык.

Теперь отец Ипат дома, на кровати. Мычит, мечется, плачет. Манечка в отчаянии. Лик дьякона Ферапонта почернел. Злоба на всех и, вместе с жалостью, злоба на Прохора.

В котловине, где груда мертвецов, вечер и ночь проходят в сосущей сердце жути.

По настоянию судьи был произведен в присутствии понятых осмотр убитых: кто куда ранен, опознания, протоколы. Руководят судья и врач. Родственники убитых, перешагивая через трупы, разыскивают своих. Как безумные кидаются на похолодевших близких, стараясь лаской, слезами, дыханием согреть их, оживить. Их стоны режут ножами каждую живую душу. Стоны летят во все стороны тайги. В тайге

пугаются белки, поджимают уши медведи, горько плачет птица выпь. Тьма содрогается, тьма гасит звезды.

Отец Александр записывает в дневник кровавое событие. Кухарка подает приказ жандармского ротмистра:

«Именем закона запрещаю вам отпевать рабочих в храме, также хоронить в церковной ограде и на кладбищах. Для них будут вырыты ямы около ледников, и там отпоете понесших наказание крамольников без всякой торжественности».

Отец Александр по-сердитому крякнул и первый раз в жизни выругался:

— Паршивый черт! Изувер! На-ка, выкуси.

Встал, весь смятенный, пронизанный нервной дрожью, и быстро пошел в больницу напутствовать умирающих. Глухая ночь.

Ночью летели телеграммы ротмистра губернатору и в Петербург. Выдержки из телеграммы:

«...Около четырех часов пополудни рабочие предприятий Громова, в числе четырех тысяч человек, вооруженные железными палками, кольями, кирпичами, двинулись на поселок. Толпа имела намерение сломить военную силу, завладеть положением, начать хищническую разработку золотых приисков. На мое требование остановиться продолжали наступать на военную команду, подошли на расстояние ста шестидесяти шагов, после чего я вынужден был передать власть начальнику команды, который открыл огонь по толпе. После первых залпов толпа с криками «ура» хотела броситься на войска, но огонь команды обратил ее в бегство. Убито 125, ранено 170, но есть еще раненые, которых унесла толпа».

Урядники, стражники, пристав — вся эта свора, подкрепленная состоявшими на службе казаками, рыскала возле бараков, по тайге, стараясь схватить подозреваемых зачинщиков. Были пойманы тридцать человек правых и неправых и той же ночью отосланы в тюрьму. Кое-кто из политических, пользуясь всеобщей суматохой и невнятицей, бесследно скрылись.

Анна Иннокентьевна в сопровождении своего кучера спешно уехала ночевать к отцу. Ей показалось, что ее муж опять сошел с ума. Действительно, когда весть о расстреле разнеслась повсюду, Петр Данилыч, весь пегий, давно небритый, распахнул окно в пустынную тайгу, охватившую со всех сторон его новое жилище, и до хрипоты целый час орал в пустой простор:

— Ребята! Рабочие! Мой сын преступник... Мой сын христопродавец. Не слушайтесь его!.. Я — хозяин. Я вам дам денег сколько пожелаете. Все мое — все ваше. Ура, ребята, ура!..

Срочная ночная телеграмма:

«Прокурор Черношварц с четверга на пятницу в 2 часа 32 минуты пополуночи скоропостижно скончался. Ротмистр фон Пфеффер».

Отец Александр, весь измученный, вернулся из больницы лишь ранним утром. Шатаясь, едва добрался до кровати. Одежда, руки его в крови, старуха кухарка испугалась.

Ротмистр ночевал в Народном доме, под охраной солдат.

Кэтти и техник Матвеев ночевали у Протасова.

Возле больницы спали вповалку на лугу, сидели, ходили старики, женщины, ребята — родственники раненых. Умерших выносили из больницы в церковь, открытую после резкого препирательства священника с бароном.

В десять часов утра бравый офицер Борзятников постучался в квартиру Кэтти. Механик, у которого она квартировала, сказал, что барышня ушла еще вчера и домой не возвращалась. Скорей всего — она у инженера Протасова, она вчера вела его, больного, под руку. Скорей всего она там. Она теперь... Знаете?.. Как бы вам сказать...

Офицер Борзятников позвонил к Протасову. С треском распахнулось окно:

— Что вам угодно?

— Простите... Не у вас ли Екатерина Львовна?

— Убирайтесь к черту! — И Протасов закрыл окно.

Ошарашенный Борзятников, вдруг побагровев, топнул, плюнул и — марш-марш в Народный дом.

— Знаешь, черт побери, скандал... Знаешь, оскорбление, знаешь, честь мундира... — брызгая слюной, кричал он в лицо Усачева, стягивавшего набрюшником тучный свой живот.

Усачев, слушая жалобы товарища, пыхтел, кряхтел.

— Да-да! Дуэль!.. Прошу тебя быть моим секундантом.

— Плюнь... Какие теперь дуэли? Да он, штафирка, и стрелять-то не умеет...

— Но оскорбление... Но честь мундира!

— Плюнь.

— Во всяком случае, я ему публично набью морду.

— Плю-у-нь, — тянул толстяк.

— А потом плюну... Да, да! Прямо в харю.

Подошел ротмистр фон Пфеффер. Офицеры смолкли. Ротмистр бодрился, стараясь принять позу Наполеона после Аустерлицкого боя. Но под ввалившимися глазами — тени страха. Бачки дрожат, топорщатся.

— Какая, господа, досада! Этот чумазый докторишка отказался бальзамировать тело прокурора, говорит, что нечем. Нет того, нет сего. Вот дыра! Но, помилуйте, ведь у покойного Черношварца супруга, дети, мать... Нет, это из рук вон... Это-это-это... черт его знает что!

Он козырнул, быстро пошел, позвякивая шпорами, и вдруг остановился.

— А знаете? Очень жаль, очень жаль, господа, что я своевременно не арестовал этого... этого... Протасова, — вполоборота бросил он офицерам: — Помилуйте-с, господа... Он распропагандировал рабочих, он заварил всю кашу... Жаль, жаль...

— Я тоже очень жалею, барон, — сотрясаясь брюхом и плечами беззвучно засмеялся Усачев, — я очень жалею, что наша пулька не ужалила его...

Барон подмигнул, козырнул и, подняв плечи, вышел. Как только остался он один, маска величавой бодрости враз сползла с его лица. Он, в сущности, был крайне удручен. Мрачные предчувствия не покидали его. Ему всюду чудились следившие за ним глаза врагов. Переодетые в рабочих жандармы доложили ему, что среди забастовщиков слышатся угрозы убить его. Он считал себя обреченным и перевел жене еще две тысячи рублей.

На механическом заводе, при участии дьякона Ферапонта, мастера-литейщики готовили свинцовый гроб для прокурора. В бараках, землянках, хижинах тяпляпали деревянные гробы. Сын Константина Фаркова, роняя пот и слезы, долбил отцу кедровую колоду.

Отец Александр часа три проворочался с боку на бок, уснуть не мог. Встал, взбодрил себя крепчайшим чаем и, чтоб не забыть, записал в дневник впечатления прошедшей ночи:

«Пришел в больницу ночью. Слышал душераздирающие вопли жен и родственников раненых, просящих скорей напутствовать умирающих. Кругом, на полу и на кроватях, лежали в беспорядочном виде груды раненых; пол покрыт кровью, кое-где видны клочки сена, служившие постелью раненым; перевязки, сделанные, вероятно, с вечера, потеряли свой вид до неузнаваемости — у некоторых были замотаны собственным материалом из одежды. Вся палата была оглушена стонами умирающих: «За что, за что?» Тут же происходили трогательные прощания, наказы на родину: один, например, просил своего родственника заплатить его долги в деревне, другой — исправить забор и крышу и т. д.

Расположившись с требой, я сначала счел необходимым отысповедовать всех, а потом уже приобщать св. тайн, так как тут же при мне умирали. Ползая на коленях по лужам крови с усилиями, я едва успевал соборовать одного, как тянули за облачение к другому умирающему. Окончив исповедь ста двадцати увечных, стал причащать их.

Затем стал расспрашивать о случившемся. Все до одного во всех палатах заявили, что шли только с одной целью подать прошение г. прокурору, и недоумевали, за что их стреляли, ведь у них, кроме спичек и папирос, ничего с собой не было. Это говорили и те из них, которые вслед за сим тут же при мне умирали. *Умирающие не врут*».

В одиннадцать часов началась заупокойная обедня. В церковь допускались лишь родственники покойников. Ротмистр фон Пфеффер, в окружении начальства, жандармов и урядников, стоял впереди справа. В левом крыле — двадцать два белых гроба с умершими в больнице. В ектеньях и молитвах и священник и дьякон употребляли выражение «убиенных». Ротмистр морщился, мотал головой, бачки тряслись. Когда мимо него проходил с кадилом дьякон, ротмистр мигнул ему пальцем, вполголоса сказал:

— Передайте вашему попу, что слово «убиенные» я произносить воспрещаю, предлагаю формулу «расстрелянные».

— А? Не слышу, — сдвинул брови Ферапонт. — От ваших выстрелов на оба уха оглох.

Барон покраснел, кивнул пальцем Пряткину с Оглядкиным и в сопровождении их вышел из церкви.

С вечера и всю ночь копались на кладбище просторные братские могилы. Там, где лопаты натыкались на вечную мерзлоту, работали ломами. Но вечно мерзлая глина, как кремень, отскакивала мелкими, подобно щебню, кусочками. Во всю ширину могильных днищ пришлось разложить из дров, из хвороста пожоги.

Ночь теплая, белесая. Дым от пожогов, быстрые тени удрученных жизнью людей, угрюмые разговоры.

— С ерунды началось, ерундой, должно быть, и кончится. Шиш получим.

— Погоди, погоди, не вдруг. Барин Протасов разберет.

— А чего он может один поделать?

— А жаль, братцы, — помер прокурор. Кажись, хороший...

— Они все хорошие, когда умрут.

Длительное, пыхтящее молчание.

— Вот, копаем могилки...

— Да, могилки...

— Глубокие... Просторные...

— Да. Просторные...

— А кому копаем?

Вздохи. Копачи отсмаркиваются, моргают отсыревшими глазами, садятся закурить. Валит из могил голубой дымок. Ночь белесая. На востоке пробрызнула заря.

А где ж сам хозяин, где Прохор Петрович Громов? В момент расстрела мы оставили его на крыше дома с биноклем в руках.

Бинокль поднес к его глазам страшное зрелище — толпу. Первый раз в жизни он видит такую огромную, плотно сбитую людскую массу. Воспаленному воображению его кажется, что тут не четыре, не пять тысяч, а вчетверо больше. И откуда взялись? Он понимал, что жалкая шеренга солдат на пригорке в сравнении с грозно напиравшей толпой — слякоть, мразь.

Толпа текла по дороге густой рекой. Голова ее перекатилась чрез мост, миновала коридор из штабелей, вышла на открытое место, в версте от Прохора. Толпа сейчас все сомнет, всех уничтожит, втопчет в землю.

Вдруг дробь барабана и разрывающий воздух медный звук рожка. Солдаты зашевелились. По спине Прохора Петровича прополз холодок, дыхание стало коротким.

Бинокль поймал: с широкой лесной дороги выпорхнула тройка, из кибитки выскочил в белом кителе человек, вот он вбежал на бугор, где начальство, вот бежит с бугра к толпе... Да ведь это ж Протасов!

— Андрей Андреич, друг! — закричал в пустоту испуганный Прохор. — Спаситель мой...

И снова — залп. Бинокль в руке Прохора дрогнул. Протасов упал. И вместе с Протасовым передние шеренги толпы пали на землю. «Ага, голубчики!.. Вот вам бунт!» Глаза Прохора Петровича расширились, стали безумны, хищны. Еще, еще два залпа. И покажись Прохору: толпа всей массой с яростными криками несется к его дому. Залп...

— Стреляй, стреляй их, сволочей!! — в припадке бешенства взревел Прохор Петрович и весь затрясся. — Стреляй!

Вдруг сердце его сжалось, дыхание замерло, бинокль упал и — впереверт по крыше. Не помня себя, Прохор стремглав — во двор. «Батюшки, бегут... батюшки, разорвут на части», — невнятно бормотал он, вот подхватил лежащий у конюшни чей-то рваный зипун, быстро напялил его, вскочил на заседланного коня и, простоволосый, с выражением ужаса в глазах, задами, огородами, лугом понесся, как ветер, к тайге.

Весь воздух наполнился многими криками, гвалтом, резкой трескотней винтовок, будто под самым ухом ломали лучину. По переулкам, по улице, вдоль огородов, чрез поле бежал народ, скакали всадники, в небе кружились вспугнутые галки, трубила труба, бил барабан, и крики, крики — то отдаленные, как гул водопада, то близкие, пугающие. У Прохора шевелились волосы, его прохватывала дрожь. «Схватят, казнят...» Он разом в тайгу, однако и там жили крики, стоны, проклятия. Полосуя коня нагайкой, Прохор мчался по просеке, потом круто — на лесную тропу. Взлобки, мочежины, пади, ручьи, конь храпел, покрывался мылом, конь нес всадника все вперед, все дальше.

Стало быстро темнеть, ночь пришла. Пожалуй, Прохор успел проскакать полсотни. Конь в пене, Прохор в страхе... Ветер гулял по вершинам, гнул, качал тайгу; гул, треск шел по тайге от ветра, от тяжкого топота конских копыт, а Прохору в этих звуках все еще чудились крики и выстрелы.

— Чепуха какая! — озирается Прохор Петрович и чувствует: треплет его вовсю лихорадка. — Что ж я, дурак... не захватил ни золота, ни драгоценностей... Я нищий. Все разграбят там, сожгут.

Озерцо. Больной, разбитый, он слез с коня, развел костер, стал укладываться спать. Спал или не спал, — не знает. То Протасов, то Нина с Верочкой, то Филька Шкворень подсаживаются к костру, беседуют с Прохором, вдруг, оборвав речь, вскакивают, бросаются в тьму, кричат: «Убегай, Прохор! Идут рабочие. У тебя руки в крови, лицо в крови, поди умойся». Так, вся в тяжелом бреду, прошла ночь.

Прохора кто-то окликнул. Чрез силу открыл глаза. Белый день.

— Вставай, чего ж ты валяешься. Ты кто такой?

— Я старатель, на громовских приисках работал, — ответил он сухопарой, морщинистой старухе. — От бунта уехал... Там у Громова рабочие бунт подняли, я испугался, уехал, да захворал дорогой, растрясло. И теперь весь хворый... Голова болит, все тело ломит, жар, должно быть... Пить хочу.

Старуха провела его в землянку.

— Мы дегтяри, деготь гоним. Я да внук, — шамкала она. — А старик-то мой помер, медведь задрал его, вот там в яме и зарыла. Охо-хо, что поделаешь... А внук-то уж шестые сутки, как в контору уехал, в громовскую разведенцию, чтоб ей провалиться, за хлебом уехал, за ним, за ним. Тут с голоду сдохнешь, при нашем при хозяине-то, тухлятиной хрещеных кормит. Вот и бунт... Прошку Громова все ненавидят, вот я тебе что, проходящий, скажу. Да поди сам знаешь, раз работаешь у него... Так бунт, говоришь? Ну и слава те Христу, авось ухлопают ирода рабочие-то, Прошку-то Громова... Помоги им, заступница, божья матерь матушка. — И старуха истово стала креститься.

Хворый Прохор кряхтел, злился, молча сверкал на бабку глазами. Он провалялся у нее два дня, ночами бредил, исхудал. Бабка лечила гостя водкой с зверобоем да отваром сухой малины. На третий день приехал верхом на олене внук бабки, рябой и

подслеповатый парень Павлуха. Он сумрачно поздоровался с незнакомцем, а старухе сказал:

— Бабушка Дарья, горе у нас с тобой... Великое горюшко... Тятьку моего застрелили... Долго жить тебе тятя приказал. — Как бы ловя ртом воздух, парень зашлепал губами, лицо его сморщилось; стыдясь незнакомца, он отошел к сосне, припал к ней щекой и, прикрыв глаза ладонью, завсхлипывал. У бабки подсеклись ноги, она вскрикнула, повалилась в мох и заскулила. Начался в два голоса горький плач.

Прохора покоробило. Пошатываясь, он ушел к коню, гулявшему по ту сторону тихой озерины. За обедом у костра все трое сидели мрачные. Старуха то и дело утирала рукавом слезы, парень вздыхал, кусок не шел в горло. Прохора подмывало узнать, что произошло в его резиденции. Он попросил парня рассказать.

— Кроволитье большое там, у Громова-то, — начал тот растерянно, хмуро. — Почитай, с полтыщи побили да покалечили.

— А из-за кого?! — сердито закричала старуха. — Из-за подлеца хозяина все. Прямо — зверь!

— Фокиных убили, отца да сына, — пробурчал парень, — еще Харламова да Сергея Кумушкина, все знакомые наши. Еще Фаркова-старика...

— Фаркова? Константина? — дрогнувшим голосом спросил Прохор.

— Ну да, его...

— Этот грех ни в жизнь не простится Громову. Убивец, злодей! Сына моего, сына, сына... — Бабка поперхнулась, градом слезы полились. Парень бросил ложку, вздохнул, отвернулся.

Ржал заскучавший конь, попискивали комары, от костра дымок плыл к небу. Уныло кругом и тихо.

— А Громова убьют, — убежденно, озлобленно буркнул парень. — Как сыщут, так и устукают. Сбежал он.

— А за что его убивать? — с раздраженьем сказал Прохор. — Не нашим с тобой башкам судить его. Он знает, что делает. Не он рабочих расстреливал, а солдаты...

— Да солдаты-то им же, подлецом, подкуплены, думаешь — кем?! — снова закричала бабка, потряхивая от злости головой. — Он, сукин сын, этот самый Прошка-то, весь закон купил, из всех хрещеных душу вынул, гори он огнем, анафема лютая. Да как же! Ты сам, проходящий, посуди... Охо-хо-о-о...

Прохора бросало и в жар и в холод. Стыд начинал одолевать его.

— А как инженер Протасов? Убит?

— Нет, — ответил парень рассеянно, он теперь думал о том, что завтра чем свет придется плестись ему с бабкой хоронить убитого родителя. — Сказывали мне — Протасов-господин на работу народ ладит ставить быдто бы.

— А из громовского имущества ничего не уничтожили? — с внутренней робостью спросил Прохор Петрович и перестал дышать.

— Нет, сказывали — все в целости. — Парень встал, размашисто покрестился на восток, пошел в землянку.

Старуха обняла колени исхудавшими руками, склонила на грудь голову, глядела, не мигая, в землю, неподвижная и жалкая, как полуистлевший пень. Прохор направился по ту сторону озерины. Обрадованный, что имущество его цело, но исхлестанный, как плетью, словами бабки, он, мрачный, встревоженный, дотемна просидел на берегу в мучительных думах и переживаниях.

Солнце погасло, под ногами беглеца зыбучие воды озера, кругом — безмолвная тайга и в сердце — страх. Так проходил в тугом раздумье за часом час.

И встал большой вопрос: что делать? Домой вернуться он сейчас не может: душа болит, душе нужен покой, забвенье. А там, в его резиденции, стоны, склока, кровь, там тысячи неприятностей, они сведут его с ума. Да, да. Надо уйти ото всего, забыться, побыть сам-друг с природой. Немного успокоившись, он круто поворачивал мысль к своим хозяйственным делам. Да, дела его сильно пошатнулись, — ох уж эта забастовка! Но ведь там теперь Андрей Андреевич

Протасов, скоро вернется Нина, все быстро наладится. А чрез неделю-другую возвратится домой и сам Прохор, он будет работать как вол, он с лихвой наверстает все убытки, он снова вздернет на дыбы всю жизнь, взнуздает ее, как бешеного степного жеребца!..

Глаза Прохора Петровича по-прежнему засверкали холодным блеском, он подбоченился и, сдвинув брови, надменно сплюнул в озеро:

— Нет, врете, черти!.. Я еще покажу себя.

Но это был лишь ложный жест, лишь дребезг бахвальных слов: вместе с наступившей темнотой Прохора пленило малодушие. Хотя пугающие призраки не появлялись и голоса молчали, зато пришла подавленность, смятение, необоримая тоска. Не хотелось думать, тянуло лечь на землю, закрыть глаза и вечно так лежать. Он лег, он закрыл усталые глаза. Сердце работало неверно, сердце скучало, на душе становилось все тяжелей и тяжелей. Тоска была в нем беспредметной, тоска распространялась по всему телу почти физической болью, она отравляла каждую клеточку организма гнетущим унынием. Прохор Петрович застонал громко, протяжно. Тоска обрушилась на него невещественным мраком, тоска пилила его душу какими-то внутренними визгами. И этот мрак и эти визги шли как бы изнутри, они прободали ткани тела, сердце, мозг. И лежавшему с закрытыми глазами человеку казалось, что с него не спеша сдирают кожу и, чтоб притупить боль, со всех сторон щекочут его; и кричал бы он от боли, но невтерпеж сдержать хохот, и хохотал бы от щекотки, но очень больно сердцу — надо выть околевающим псом, надо царапать ногтями землю, до крови жевать язык, громко взывать о помощи.

— Фу-у ты!.. Хоть пулю в лоб...

Весь взмокший от пота, больной, расслабленный, он немощно потащился на огонек, к людям. Там укладывались спать.

— Нет ли у вас водки? Я хорошо заплачу... — удрученным голосом сказал он. — Тоска чего-то накатилась.

— Водки нет, — недружелюбно ответил Павлуха. — Нам не до водки, проходящий...

Старуха поджала иссеченные морщинами сухие губы, пристально всмотрелась в потемневшее лицо Прохора Петровича, промолвила:

— Тоска — говоришь? Тоска зря не живет. Нагрешил поди много, вот тоска и насела на тебя. А езжай-ка ты, мил человек, к старцам праведным, пустынька такая у них есть, верст тридцать отсель, либо сорок. Они всю тоску твою могут снять... Двое их... Да отвези-ка им медку от нас криночку на помин души, пусть помянут за упокой раба божия убиенного Степана, сына моего, а Павлухиного батьку... Охо-хо-о-о... Ох, господи...

— Бабушка, — сказал Прохор, он весь казался несчастным, изжеванным и странным, взор выпуклых черных глаз блуждал, непокрытая голова взлохмачена, как орлиное гнездо. — Бабушка, я посередке лягу, ты с одной стороны, а Павлуха пусть с другой... Страшно мне.

Угрюмый парень стал зажигать костер — защиту от комаров и зверя.

Стоял осиянный солнцем день.

Все люди с раннего утра чувствовали себя в этот день приподнятыми над землей, как бы включенными в иной мир, в сферу каких-то новых, непередаваемых настроений.

Сегодня братское погребенье мертвых. Не праздник, но выше праздника!

Всюду нравственная, проясненная смертью мучеников чистота, в которой легко дышать, как в первый зимний день при первом покрывшем землю снеге. У всех одухотворенные, в светлой печали тихие лица. Не слышно громких голосов. Братская ласковость во взорах.

Даже лютая ненависть к злодею-хозяину и пролившим кровь палачам в этот час как бы слиняла, спустилась на самое дно моря горестей. Но она, эта грозная ненависть, никогда-никогда не будет забыта!..

Все спешат чрез поля, чрез тайгу к пугающим душу могилам расстрелянных...

Предмогильная площадь установлена некрашеными гробами. Приехал отец Александр с причтом. Подъезжало начальство. Ротмистр и оба офицера отсутствовали. Они все еще опасаются бунта, держат солдат начеку. За толпой, на взлобке, маячит большой отряд конной стражи. Пристав у могил. Он в парадной форме, с обнаженной лысой головой, усы вразлет.

Рядом с Протасовым вся в черном Кэтти. Она неузнаваема. С лица сошел весь цвет, лицо заострилось, большие, как бы испуганные глаза лихорадочно горят.

Началось отпевание. Белые позументы черных риз блестели на солнце. Дьякон Ферапонт раздувал кадило, как мехами: из кадила валил ароматный дым от ладана, летели угли. Он весь сегодня какой-то несуразный, надорванный. Служба прерывалась сдержанными стонами и горестными выкриками женщин. Толстобрюхенький карапузик Васютка подбежал к краю ближней могилы, заглянул в нее. За ним бросилась мать, схватила парнишку.

— Мамынька! А зачем там никого нету? Там лягушка.

Всхлипы крепли. Рябило у всех в глазах. Бороды мужиков дрожали. Хор пел громко, чинно.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй, — бормотал, как в черном сне, Иннокентий Филатыч.

Вот встал перед гробами дьякон Ферапонт, помахал кадилом, кашлянул и начал возглашать «вечную память».

Протасов прислушивался к раскатам феноменального голоса. Но голос огромного дьякона вилял, нырял и вздрагивал.

— Во Христе братьям нашим убиенным... ве-ечна-а-йя... — Вдруг дьякон, не договорив, осекся, скривил рот, выронил кадило, заплакал. Плач этот был внезапен. Он всех потряс. Дьякон обхватил руками голову, согнулся и, раскачиваясь плечами, разразился

отрывистым, скачущим криком, напоминающим хохот безумца. И этот рыдающий вопль великана вдруг подхватили со всех сторон тысячи криков, тысячи воплей, тысячи плачей.

— Не могу, не могу... — бормотал дьякон, и распростертые в воздухе руки его трепетали.

Казалось, весь мир, густо набитый общим отчаянием, вдруг почернел как сажа, вдруг весь закачался.

Кэтти с криком упала. Ее унесли. Люди стояли на коленях, люди падали замертво. Неумолчный плач неутешней и гуще.

Инженер Протасов, как ни старался выключить себя из болезненной сферы психоза, не мог; напряженные нервы вдруг перестроились на другую природу вибраций, душевное равновесие натянулось и лопнуло: Протасов скривился и выхватил белый платок.

— Мамынька!! — резко вскричал Васютка. — А лягушка-то че-о-рная!..

Но вот дьякону подали кадило, и «вечная память» прогрохотала, как залп орудий.

В каждую могилу опускали по двадцати пяти гробов, устанавливали рядом, крест-накрест, в три яруса.

Затем все сровнялось с землей.

В этот же вечер увозили в цинковом гробе прах прокурора.

16

Протасов с утра среди рабочих. Он объезжает предприятие за предприятием, говорит:

— Ребята. Послезавтра вы должны все встать на работу. Не желающие работать получат расчет. Я имею полномочия от хозяина увеличить вам заработок на пятнадцать процентов. Отныне, моим распоряжением, на трудных работах устанавливается девятичасовой рабочий день, моим же распоряжением дело питания будет передано в ваши руки. Требования государственного надзора будут впредь исполняться мною неукоснительно: таков мой новый

договор с хозяином, на основании которого я вернулся. Своей властью я уплачиваю вам деньги за время забастовки. В ближайшие дни сюда приезжает Нина Яковлевна. И, кажется, должна прибыть правительственная ревизия из Петербурга. Завтра, с разрешения властей, все идите на общее собрание.

Несмотря на траур дней, рабочие встретили Протасова с внутренним ликованием. Многолюдное собрание происходило в Народном доме. Председательствовал Протасов. С ним за столом техник Матвеев и несколько выборных; между ними — объявившиеся из бегов рабочие Васильев, Иван Каблуков, Мартын и другие. Солдаты выведены отсюда в помещение школы. Ротмистр убрался к себе на квартиру.

Впрочем, пока шло собрание, ротмистр фон Пфеффер производил в квартире Протасова негласный обыск. Анжелика заперта в кухне. Ей настрого внушили, что если она своему «барину» или кому-либо постороннему хоть слово пикнет об обыске, ее немедленно схватят в тюрьму.

Наденька, стуча зубами и повторяя: «Я ничего не знаю, ничего не знаю», — была принуждена показать тайную камеру в камине. Она мысленно кляла себя, что когда-то проболталась об этой камере Парчевскому, Парчевский — Стешеньке, Стешенька жене Ильи Петровича Сохатых, та, чрез мужа, Пряткину с Оглядкиным. А Наденька узнала эту тайну Протасова чрез Анжелику. Однажды ночью в кабинете Протасова что-то громко упало. Анжелика туда: «Что это вы, барин?» — «Да вот ни с того, ни с сего изразец упал... Надо вмазать». Так и пошли бабьи шепоты.

Наденька отставила экран с японским шелком. Бравый Пряткин запустил крючки, изразец подался, открылась камера. Если б присутствовал здесь инженер Протасов, его правая бровь поднялась бы в улыбке сарказма: «Тубо, тубо, пиль!»

Барон жадно сцапал толстый сверток бумаг. Так давно не жравший пес на лету ловит пастью брошенный кусок мяса.

В свертке несколько сот прошений рабочих. И... в глазах ротмистра замелькали серые мухи:

«Копия докладной записки министру внутренних дел и председателю Государственной думы о беззаконном расстреле мирной толпы рабочих предприятий П. П. Громова, такого-то числа, месяца и года».

— Пока пошарьте, ребята, в шкафу, — продрожал бачками ротмистр и, сверля бумагу горящими глазами, ухнул в смысл ее, как в прорубь. На лбу проросла синяя жила, шея стала пятниться, как шкура пантеры, искусанные чуть не в кровь тонкие губы подрагивали, мундштук с погашенной папиросой плясал в похолодевших холеных пальцах. Барона била лихорадка. Он попробовал списать бумагу и не мог: перо кляксило, брызгалось, скакало вспотык.

— Поползаев! Сними копию...

— Слушаю, васкородие.

Протасов железной логикой в прах разбивал в своей бумаге подлый, самообеляющий лепет жандармского ротмистра. Протасов кругом виноватил барона за его бестактность, трусость и открытый, ничем не оправданный разбой. Но, справедливости ради, должное доставалось и Прохору Петровичу. В сущности, главный удар был направлен в бумаге на Прохора: «Все мои доводы, переходящие в настойчивые требования улучшить быт рабочих, разбивались о тупое упрямство владельца предприятий. Убедившись в полной бесполезности своих личных усилий, я принужден был бросить занимаемый мною пост». И еще: «Мною неоднократно доводилось до сведения горного департамента о нарушениях Громовым установленных правительством правил».

Ротмистр робко позвякивал шпорами, ходил взад-вперед по кабинету, как заводная кукла. Он вскидывал глаза на книжный шкаф, на письменный стол, на дюжие плечи жандармов, но ничего не видел: он в мыслях оценивал то впечатление, которое должна произвести в Питере бумага Протасова. И тут уж не до обыска.

— Что, готова? Переписал? Сматывайся, молодцы!

Вновь все положено на место, как было. Строгое внушение Анжелике и Наденьке. И — точка.

«Черт знает, черт знает... Как жаль, что я не арестовал его, подлеца, своевременно. Болван я, эфиоп, бамбук!..»

Длинная сабля катилась за ротмистром, чиркала по камням мостовой и тоже: черт знает... черт знает... черт-черт-черт...

...Двести, триста, четыреста двадцать.

— Товарищи рабочие! — подымается Протасов. — Больше четырехсот человек из вас желают немедленно покинуть работу, а может быть, всего наберется и пятьсот и шестьсот. Это, ребята, не дело! Вы подумайте, товарищи. Надо, чтоб к приезду правительственной ревизии вы были все налицо, как свидетели кровавой бойни. Надо зло пресечь всем напором, чтоб не было уверток у тех, кто первый нарушил с вами договорные обязательства, кто нарушил закон. И прежде чем дать мне окончательный ответ, прошу вас, товарищи, все взвесить, все обдумать.

...Колесико сабли подчиркало к дому, шпоры по приступкам — звяк-звяк-звяк. Только что полученной телеграммой губернатора ротмистр фон Пфеффер отстранялся от командования местной полицией и вооруженными силами. Барон досадливо поморщился, на лице выражение кровной обиды. Лицо стало старым и злым.

— Но это ж ужасно! Вместо повышения так шлепнуть. Этот старый колпак губернатор портит мне карьеру, всюду преследует меня. За что? Беззубая гадина, геморроидальная шишка!

Взволнованный ротмистр вставил папиросу табаком в рот и сплюнул. «Это все штучки Протасова. Его, его штучки. Уж меня-то не проведешь. Дурак губернатор лично знаком с ним, ценит его... Ну, погоди ж! Но у Протасова, у канальи, огромные связи в столице... Да, да... Дело — швах».

Он стал перечитывать свою собственную докладную записку, сопоставлять ее с запиской Протасова. Ротмистра бросало в жар и холод. Да, карьера испорчена. Ротмистр — приниженный, тихий, убитый —

прилег на диван, похлопал глазами, вновь вскочил, подбежал к мраморному умывальнику и, звякнув шпорами, поклонился ему.

— Но, милый Андрей Андреич, — потрясая сомкнутыми в замок кистями рук, жалобно, заискивающе произнес Карл Карлыч фон Пфеффер, устремив глаза в кран умывальника. — Поверьте, я никогда не осмелился бы... Никогда... Но... струсил. Подло струсил. Толпа, понимаете ли. Я страх как боюсь толпы. И — ответственность за вверенную мне воинскую часть. Ну, как вы думаете? По-человечески, по-человечески... вы можете меня понять? Ваше превосходительство, господин губернатор!.. Ваше высокопревосходительство!.. Хорошо. Отдавайте меня под суд... Хорошо. Но я был тысячу раз прав. Ваши высокопревосходительства, господа министры! Не сами ли вы поставили меня, фитюльку, пешку в ваших руках, на страже законов? Да или нет? Простите, да или нет? Вы мне дали власть, я расстреливал крамолу, я оберегал порядок в стране. Да или нет? Да или нет? Я, по присяге его величеству, честно защищал власть капитала от разнузданных хамов... А где мой подзащитный? Где сам Громов, хозяин? Он бросил меня, он сбежал. Он, может быть, в Питере, а может, висит на березе. Где он, где, где, где?! — брякали в пол каблуки, бренькал звяк шпор.

— Я здесь, барин, — вшмыгнула девушка в накрахмаленном, в плойках, фартуке. — Я здесь.

— Нет-с. Ничего-с... Идите.

...И все рабочие поплелись по домам. Протасов вернулся в семь часов вечера. Глаза Анжелики заплаканы. Но он ничего не приметил. В квартире, казалось, был полный порядок. Впрочем, чуть-чуть припахивало дешевыми Наденькиными духами и сапожным дегтем.

Чрез два часа, ровно в девять, в квартиру Протасова собралась администрация и весь технический персонал. Началось заседание. Протасов давал директивы, как власть имущий, как сам хозяин. Все внутренне лопались от удивления, от любопытства, но считали неудобным задать своему начальнику

вопрос в лоб. Тем более что Андрей Андреевич Протасов, открыв заседание, заявил им:

— Я имею полную доверенность Прохора Петровича вести его дела так, как я найду нужным. Мистер Кук! Ваш очередной доклад о переоборудовании трансляции механического завода номер два. Прошу.

— О да! — Мистер Кук отхлебнул воды, потрогал тугой, стоячий воротник и начал.

Ранним утром от рабочих получен приятный Протасову ответ, и с обеда по всему фронту начались работы.

Вместо высланного Фомы Ездакова прииском «Новым» управлял теперь инженер Абросимов. Он опытный, дельный. А в помощь ему приглашен из Питера уже кончивший курс бывший студент Александр Образцов. Его приезду рабочие были рады. Больше же всех ликовала беременная супруга Ильи Сохатых, Февронья Сидоровна. «Ах, Александр скоро приедет... Саша!» Она сказала супругу:

— Если родится мальчик, наречем Александром.

— В честь кого?

— В честь батюшки.

— Я батюшка! Я — Илья, и ничуть не похож на Александра.

— В честь отца Александра, священника, — ловко отвела Февронья Сидоровна ревнивый окрик мужа.

По виду все шло хорошо. Рабочие старались с утроенной силой. Дело спорилось. Однако все думали: «Нет, что-нибудь еще должно стрястись, черт какое-нибудь коленце еще выкинет». Все ходили в предчувствии. Всех волновало отсутствие Прохора Громова и Нины Яковлевны.

В жизни людей не было радости. Песни смолкли. Народ тосковал. Может быть, тени мертвых блуждают, может быть, зреет новый грех и насилие. На кладбище ежедневно ходит народ. Тихие женщины, чье сердце чисто и просто, кладут на могилы венки, молятся. По ночам воют собаки, филин где-то близко ухает, стонет в болоте выпь.

И вот напряжение токов вдруг разрядилось, как молния.

...Вечер. Из голубого дома Стешеньки, наотмашь ударив руками в дверь крыльца, вылетела с визгом Груня. В тот же миг распахнулось окно и, сверкнув юбками, прыгнула на улицу обезумевшая Стешенька, страшно крича: «Ай, ай, ай!» А в доме кто-то хрипел.

И покажись проходившей старухе, что у Стешеньки перерезано горло, из горла по белой шее ручьями кровь. Старуха — прытью, как лошадь, по улице, заполошно орала:

— Караул! Караул!.. Прохор Громов любовницу свою зарезал... Ой, ой!.. Голову напрочь...

— Да нешто он здесь? — спрашивали встречные.

— Здесь, подлая душа... А где же ему быть-то?.. — и бабка дальше.

В два прыжка чрез дорогу, сабля наголо, в скандальный голубенький домик ворвался случайный прохожий офицер.

Посреди дороги спешил с почты запыхавшийся рассыльный, за ним — трехлапый пес.

— Кому телеграмма? — От кого телеграмма? — наперебой торопливо спрашивали рабочие; они все еще ждали важных вестей из Питера по делу расстрела. — Чего в телеграмме? Эй, милый!

— Не знаю! Спешная. Инженеру Протасову...

Трехлапый, с оглоданным ухом пес-медвежатник остановился против квартиры Кэтти, присел, поджал ухо, дурным голосом взвыл, тявкнул и — дальше.

Протасов читал:

«Через пять дней буду с вами. Вышлите пристань лошадей.

Нина»

Когда раскатилась повсюду весть о расстреле, в Питере и других городах *пятьсот тысяч* рабочих объявили однодневную забастовку протеста и на работы не вышли. А в обеих столицах забастовка тянулась целых пять дней.

Шумели без толку и в Государственной думе ораторы. Даже стыдили министра Макарова. А с министра, как с гуся вода: «Так было, так будет».

Но казалось бесспорным для всех понимающих (разумеется, кроме правительства), что пролетарское движение в России растет. Забастовки протеста лишь были началом, вспышкой сознания организованных масс. Затем начался целый ряд забастовок и по всему простору русской земли: от Петербурга с Москвой до Урала, от Кавказа до Польши. В большинстве — они длительны, иные из них протекали месяц-два-три. Экономические лозунги забастовок и стачек переросли в политические требования с яркой окраской. В больших городах забастовки захлестнули в свой круг строительных рабочих, ремесленников и прочий трудящийся люд. Мало-помалу движение становилось *общенародным.*

Крепла крупная перебранка труда с капиталом. Рабочие всюду дерзали, всюду готовили знамя восстаний — сигнал Революции.

И, стало быть, фраза «Так было, так будет» повисла на ниточке исторической тупости. Да оно и понятно: плохие министры часто бывают очень плохими пророками.

17

Солнцесияние. Курево, чтоб прогнать комаров. Кедровник. Веселые блики от солнца. В вершинах, в хвоях, скачут, как блохи, игривые белки, облюбовывают шишки, где орех посочней. На пеньках, на валежнике, радуясь солнцу, пересвистываются крохотные бурундуки, величиною с котенка.

И двое: Кэтти, Борзятников. Впрочем, вдали — в голубой распашонке красивая Наденька и брюхач Усачев. Жеманно потряхивая глупой головкой, она говорит Усачеву:

— У меня муж толстый, а вы еще толще. Нет, отъезжайте. Не нравитесь. Я одна пойду в лес за цветочками.

Всхрапывают возле дымокура два верховых коня, обмахивается хвостом выпряженная из дрожек кобылка.

Кэтти задорно смеется, Кэтти сегодня не в меру веселая.

— Пейте, Кэтти, ну пейте еще, — подносит к ее бледным губам рюмку с наливкой румяный офицер Борзятников. Полухмельные глаза его охвачены страстью, китайские усы обвисли, на плечах пламенеют золотые погоны. — Прошу вас, пейте...

— Ха-ха-ха!.. Нет, не могу. Сегодня — нет. Ну, как же дальше? Бежит старуха, визжат девицы... Ха-ха-ха!.. Вы вбегаете героем с саблей и... Что же?

— И — вижу...

Рюмка кажет донышко, Борзятников обсасывает обмокшие в вине усы, крякает, делает лицо притворно трагическим.

Кэтти жмется. То с заразительным смехом, то с ярой ненавистью она бросает на него колкие, желчные взгляды.

— Ну-с?.. Ха-ха...

— И — вижу... — пугающим шепотом хрипит офицерик Борзятников, высоко вскидывая густые брови.

Кэтти смеялась заливисто, нервно; вот-вот смех треснет, обернется рыданием. Борзятников выпучил на нее глаза с любопытным испугом: рассказ не так уж смешон, а Кэтти хохочет... Лежавший с закинутыми за голову руками толстяк Усачев от смеха Кэтти проснулся, помямлил губами, грузно встал сначала на карачки, так же грузно поднялся на ноги, со сна потянулся — хрустнули плечи, зевнул, извинился: «Пардон», и пошел на охоту за Наденькой. А Наденька опрометью из лесу навстречу ему:

— Бродяги, бродяги!..

— Где?

— Там! Четверо.

Пересекая небольшую полянку, где сидела компания, неспешно проехал верховой детина. У него за плечами две торбы, ружье (ствол заткнул куделью), в руке грузная плеть. Проезжая, — бородатый,

безносый, — он покосился на публику, хлестнул коня и скрылся в тайге. За ним пропорхнула собачка.

— Стой! — уж настигал его скачущий, как вихрь быстрый, Борзятников.

Детина осадил лошадь, повернулся к Борзятникову и тоже крикнул гнусаво: «Стой!» А черная собачка сердито взлаяла.

Расстояние меж остановившимися всадниками — шагов шестьдесят. Редкий хвойный лес. Корни столетних кедров огромными пальцами держались за землю. Ковровые мхи, пронизь солнца, пряно пахло смолой.

— Тебе что? Спирту? — загоготал безносый и сплюнул. — Спирт я на золото меняю. А у тебя, вижу, окромя усов, нет ни хрена. Тоже, барин.

— Застрелю!

— Попробуй...

— Сукин сын! Спиртонос! Каторжник...

— А не ты ль, гад, рабочих расстреливал, тайгу опоганил нашу?

Борзятников взбеленился, выхватил револьвер:

— Все пули всажу в лоб, мерзавец!! — Конь заплясал под ним.

— Молись богу, варнак! — И безносый верзила, чтоб напугать офицера, вскинул на прицел ружье.

Офицерик Борзятников, мотнув локтями, пришпорил коня, весь пригнулся и, стреляя в воздух, заполошно сигнул вбок и — обратно, к своим. Собачка, хрипя от ярости, кидалась к морде его коня. Навстречу, трясясь всем брюхом, скакал Усачев. Просвистела пуля бродяги, ее след прочертился упавшими хвоями. Вдали — грубый громыхающий хохот и крики в четыре хайла: «Тю! Тю! Тю!..» И все смолкло.

— Трусы! Трусы! — издали резко дразнила их странная Кэтти.

— Пардон... Не трусость, мадемуазель, а благоразумие, — соскочил с коня, заюлил глазами вспотевший Борзятников. — У бродяги ружье... Из ружья, даже из охотничьего, можно уложить пулей на полверсты. А револьвер... что ж...

— Нет, нет, нет! — И Кэтти, растрепанная, жуткая, сорвалась с земли, как пружина. — Вы оба не умеете... Ха! Вы только — в рабочих!.. В рабочих! Да и то чужими руками. — Она задыхалась. Глаза неспокойны. В глазах жестокий блеск.

— Пардон... — Глаза хмельных офицеров тоже озлобились. — Кто, мы не умеем?

— Да, вы... Впрочем... Ха-ха-ха!..

— Володя, швырни!

Усачев, закряхтев, высоко подбросил бутылку. Борзятников — «пах!» — и промазал.

— Анкор, анкор! Еще... — торопливо просил Борзятников, подавая товарищу другую бутылку. Он весь был возбужден вином и желанием нравиться Кэтти.

Наденька убежала в кусты, молила:

— Ну вас!.. Я боюсь. Поедемте домой.

— Сейчас, сейчас... Володя, швыряй!

«Пах!» — вторая бутылка упала разбитою.

Кэтти выпрямилась в струну, голова запрокинута:

— Слушайте... как вас... капитан! Я не ожидала... нет, вы молодец. — Ноздри Кэтти вздрагивали, ладони враз вспотели. — А вы можете научить свою Кэтти так же ловко стрелять? Дьякон учил меня, но он плохой педагог...

— Кэтти! К вашим услугам... Дорогая, бесценная... — Шпоры звякнули, Борзятников весь просиял и, положив руку на сердце, очень учтиво поклонился девушке.

Наденька меж тем запрягала лошадь, настойчиво звала:

— Поедемте, право!.. Ну вас.

Кэтти быстро ходила: три шага вперед, три назад. Подергивала то одним, то другим плечом, горбилась. Крепко потерла ладонью лоб, как бы силясь сосредоточить мысли. В цыганских глазах неукротимая страстность. Губы сухи, сжаты, лицо пошло пятнами. Ей нездоровилось.

— Вы, Кэтти, дорогая моя, больны?

— Да, немножко.

— Итак! Вешаю на эту елочку фуражку...

— Ну вас, ну вас... Не стреляйте!.. — издали кричала Наденька.

— Вы прострéлите мне ее на память. Берите в вашу ручку револьвер. — (Холодная Кэтти взяла револьвер холодными пальцами. — Так... беру револьвер, — не слыша своего голоса, сказала она.) — Пардон, пардон. Вот теперь так. Ну-с... Правую ногу вперед... Становитесь чуть в бок к мишени. Правым, правым боком! Мерси. Левую руку за спину. Спокойно... Стреляйте! Раз!

Собачка нажата — раз! Борзятников боднул головой, кувырнулся. Дикий крик Усачева. Собачка нажата. Усачев на бегу с размаху пластом. Визг Наденьки.

— Скажите Протасову... — звенит похожий на стон выкрик Кэтти: — Скажите, что я...

Собачка нажата. Висок прострелен смертельно. Кэтти падает на спину. Большие глаза ее мокры, они широко распахнуты в небо. В небе безмолвие. Зубы блестят удивленной улыбкой. Руки раскинуты. Чрез мгновенье белые пальцы, вонзаясь в землю, загребают полные горсти хвой. Судорога, вздрог всего тела. Посвистывает бурундучок вдали. Голова Кэтти склоняется вправо к земле. Из виска на хвою тихонько струится кровь. Улыбки нет. Страшный оскал зубов. На мучительный взор натекает беспамятство.

— Вот... Догулялись... — силится встать на колени вислобрюхий офицер Усачев, каратель. И падает.

На столе Кэтти заказное письмо.

«Дорогая дочурка, — писал отец, полковой командир. — Спешу тебя порадовать. С 15 августа я получаю двухмесячный отпуск. Собирайся сюда, поедем вместе на Кавказ и в Крым. Ежели выдадут вперед за треть жалованье — можно махнуть за границу. Ты ликвидируй там все окончательно...» и т. д.

Письмо это прочел Протасов. Он же положил его Кэтти в гроб под подушку.

Чрез несколько дней приехала Нина Яковлевна. Она украсила свежую могилу подруги венком из роз. Стояла возле могилы на коленках и Верочка, лепетала:

— Зачем? Она такая душка. Я не хочу. Это нарочно. Я знаю, она женилась. Она уехала в Москву.

Нина привезла с собой молодого, но опытного врача-хирурга Добромыслова и двух фельдшериц. Больница разбогатела медицинскими силами. Ранение пошло Усачеву на пользу. Пуля застряла в ожиревших кишках. Искусный хирург Добромыслов удалил пулю и ловко вырезал, где надо, излишек жира, двенадцать фунтов с четвертью. Офицер Усачев поправлялся. Поправлялись и семьдесят три человека изувеченных Усачевым рабочих.

Все лесорубы сняты с валки леса. Приступили к спешной постройке двадцати обширных бараков. Питание, переданное в руки рабочих, налаживалось.

Нина по нескольку раз в день перечитывала оставленное ей Прохором Петровичем письмо.

Без исключения все, даже Протасов, клятвенно заверяли потрясенную событиями Нину, что Прохор Петрович к расстрелу рабочих совершенно не причастен, что это жестокое дело целиком лежит на совести жандармского ротмистра.

Нина поверила только наполовину, и душевный надлом ее по-прежнему был глубок.

Умный Протасов, встречая Нину на пристани, тотчас же заметил, что Нина старается оградить себя какой-то непонятной ему отчужденностью, что между ним и Ниной лег некий барьер. После нежных писем Нина говорит ему теперь «вы», лицо без улыбки, в глазах горесть отравы, сквозной холодок.

Прошло десять дней. И во второй раз приступила Нина к Протасову:

— Скажите же, наконец, Андрей Андреич, по чистой совести, в какой мере мой муж забрызган кровью рабочих?

И, видя, что Нина все еще мечется, Протасов опять покривил душой.

— Уверяю вас... Ружья стреляли без Прохора Петровича. Его уже не было здесь. Кровь не настигла его. Если, разумеется, не считать основных мотивов.

Теперь Нина уверилась окончательно, что Прохор Петрович болен «своей странной идеей», что он просто несчастен.

И вот, перечитывая письмо, Нина плакала.

«Родная Нина. Бывают в жизни моменты, когда судьба вдруг брякнет тебя по голове колом, сразу округовеешь, закачаешься. Так и со мной. Все как-то собралось, рухнуло на меня. Пожар, бунт рабочих, смерть Якова Назарыча, твой отъезд с Верочкой. А тут еще сидящая во мне хворь. Я как-то сразу сдал, стал черт знает чем, на душе скверно, пил и не мог напиться. Голова как не моя. Одно время рука тянулась к ружью, в рот хотел дербалызнуть, чтоб разнесло череп. Да вспомнил о тебе, о Верочке. Решил уйти. Мне хочется какого-то равновесия. Хочется привести себя в порядок. Тогда уж, если не погибну, вернусь к тебе другим. Может быть, вернусь паршивой тряпкой, безвольной посредственностью. Конечно, тяжело мне. Сама понимаешь. Во всяком случае, не беспокойся обо мне и не ищи меня. Распоряжайся работами по-своему. Только не сделай себя нищей. Это было бы позором и концом всему. Вот тогда-то уж не взыщи. Тогда-то уж пулю в лоб. Всю сволочь гони от себя, в особенности Наденьку...» И т. д.

Письмо, очевидно, писалось в несколько приемов, то карандашом, то чернилами.

Некое назойливое чувство, назревшее в душе Протасова по отношению к Прохору, подбивало Андрея Андреевича посвятить Нину в тот странный документ бывшего прокурора Стращалова, обличителя Прохора. Но Протасов сдержался. Он не знал еще, как к этому документу отнесется Нина; ему жаль было взволновать ее, испортить свою вновь завязавшуюся с нею дружбу.

Ротмистр фон Пфеффер, как стреляная ворона, теперь боялся каждого куста. Он получал угрожающие подметные письма. По его догадкам, это — дело рук бежавших политических. Он весь жизненно вытек, стал заметно стареть. Ночами снились рабочие, казни, пожары.

Приказ из Петербурга немедленно выехать в столицу, в департамент полиции, он исполнить страшился.

— Убьют меня в дороге... Убьют, как зайца. Я знаю... Я чувствую...

Ему никто не помогал и не желал помочь. Казалось, жизнь отвернулась от него: он существовал в какой-то пустоте, окруженный холодным равнодушием. Он предвидел, что, если доберется до столицы, его ждет там большая неприятность. Он расслабел, раздряб, как весенний на припеке снег. А ехать надо.

Отъезд ротмистра, наконец, состоялся. Воздух в тайге поздоровел.

Отец Ипат стал быстро поправляться. Больной уехал в гости к Петру Данилычу, подолгу сидел с ним на солнышке. Начавший обрастать после больницы бородой и волосами, Петр Данилыч говорил без умолку. Отец Ипат слушал внимательно, тряс головой, чмокал, но отчетливо говорить еще не мог, и вместо «зело борзо» у него получалось «бозозезо», а вместо слов — мычание. Это Петра Данилыча смешило, он дружески хлопал отца Ипата по сутулой тугой спине:

— Эх, батя!.. А помнишь ли, батя?..

— Зезоазо... — прыскал смехом и отец Ипат. А на круглых, как у совы, глазах его — слезы.

Иннокентий Филатыч внял, наконец, горькому плачу дочери и тихонько от всех умолил доктора Добромыслова сделать Анне Иннокентьевне аборт. Просвещенный врач, пренебрегая буквой закона, секретнейшим образом опорожнил чрево женщины.

Под воздействием доктора получил исцеление в ногах и Илья Петрович Сохатых. «В честь прошествия ревматизма» он устроил пирушку, напился, плясал, сдернул со стола скатерть с закусками, публично был бит женой.

Вскоре приехал вновь испеченный инженер Александр Образцов с тайной мыслью жениться на Кэтти (он не знал еще, что Кэтти покойница).

А вслед за ним появился перед Ниной великолепный Владислав Викентьевич Парчевский.

18

Любители сильных ощущений бросаются из жаркой бани нагишом в сугроб. То же, в сущности, проделал и Прохор Петрович Громов. От напряженного труда — к созерцательной бездеятельности, от богатства — к нищете: эта резкая смена обстановки ослепила его душу, как свет молний после глубокой тьмы.

— ...Видишь, как мы обносились-то с ним, с братом-то, с молчальником-то. Земле все предалось, праху... Садись на чурбан. Сказывай-ка.

Прохор стоял перед старцами, низко опустив голову, руки по швам, глаза в землю.

— Вот... пришел... поработать с вами, старцы праведные. Отец про вас говорил. Мой отец был здесь. Душа болит... — осипшим басистым голосом с трудом выговаривал он, отрывая слова от сердца.

— В ногах правды нет, садись. А брат мой мается... Видно, скоро смерть ему. Знаю, знаю отца твоего, помню, был. Тебя разыскивал, ты парнем был тогда. Теперь оброс. Много воды утекло. Кысаньки наши сдохли. Вишь, шкурки одни. А глаза, как живые. Видят, может быть... Разумею, что видят.

Прохор у тихих темных старцев. Но вместо душевного успокоения, которого он искал, все его мысли шли вразброд; стройные идеи, едва возникнув, распадались в прах, внутренние силы надломились, дух померк, тело стало дрябнуть.

Страх матерого хищника, что его богатая добыча будет пожрана другими, угнетал Прохора и день и ночь. Наверное, все будет промотано Ниной, этой, по его мнению, заумной, ограниченной женщиной, все будет пущено на ветер во имя призрачных мечтаний. В этом поможет Нине инженер Протасов, воплощенный злой гений Прохора.

Зачем он бежал сюда от гордых своих желаний покорить непокоримое, все взять, что миллионы лет валялось под ногами? Зачем он здесь? Какую помощь могут оказать ему эти старые, потерявшие человеческий облик «божьи люди»? Дурак, сбившийся

с пути слюнтяй, суеверная баба, ослабевший, ощипанный галками орел!

Так в гордыне своей думал Прохор, унижая себя и подсмеиваясь над собой. Но все-таки, удерживаемый какой-то силой, вопреки своему желанию, он продолжал жить у старцев.

Кругом непролазная тайга. Вместо торной дороги одни медвежьи тропы. Возле избушки огородишко. А ближе к речке — крохотная ро́счисть от коряг и пней: там засеяна рожь, кусочек гречихи, горох.

Прохор вместе со старцем Назарием копается на огороде. Широкоплечий старец черен видом, прям и высок, как столб.

— Что ж ты, ковырнешь лопатой да опять стоишь? Ты не задумывайся, копай... — говорит он Прохору грубым басистым голосом.

Прохор здесь десятый день. Таскает воду, пилит дрова, ест картошку с черными лепешками. Чаю нет, молока нет. Пьют заваренный в кипятке бада́н.

— Вижу, одолевают тебя мысли мирские. Обруби их, плюнь. А то замаешься.

День жаркий. Все тело Прохора взмокло. Донимают комары.

— Помогай боже, — выплыл из кельи, как туманное облако, маленький, согбенный старец Ананий. Он большеголов, ледащ, седенькая бородка клинышком, голый желтый череп и голубые прищуренные глаза. Босой, одет в белый балахон.

— Что, старец праведный, поднялся, оздоровел? — спросил Прохор.

— Поднялся, милый, — тенористым говорком ответил маленький Ананий и перекрестился сухой рукой. — Стар есмь. И очми мало вижу. В расслаблении двенадцать дён был. Скорбен зело, труждаться не могу. Престарел. Сто лет мне.

Он сел на грядку, приложил к глазам руку козырьком и с ласковой улыбкой заглянул в лицо Прохора.

— А был постоянным трудником, до самых древних дней, — сказал он. — А ты?

— Я?.. Я... тоже, — смутился Прохор. — Всю жизнь в труде...

— Хм... — сказал маленький Ананий и поник головой. На желтом черепе его играло солнце. Потом вновь вскинулся изможденным лицом, шире улыбнулся, блестя белыми мелкими зубами. — А кому ж ты, соколик мой, трудился: духу или брюху?

Прохор молчал, смотрел в землю. По земле полз розово-серый жирный червь. Прохор рассек его лопатой.

Прохору не нравился такой допрос. В нем назревало раздражение против себя и против этих, по его мнению, старых межеумков.

Поздний вечер. Пьют горький настой бадана, Прохору хочется есть. Хлеб черств, картошка прискучила, да и мало ее: по четыре картошины на брата. Глотая слюну, Прохор косится на упрямого старца Назария: «Глупый чурбан, ничего не жрет, воздухом сыт». Прохор припоминает свою первую трапезу с ними.

— Вот, старцы-пустынники, я кой-что притащил сюда. Примите подарок мой, — сказал тогда Прохор и стал выкладывать из туго набитой торбы снедь: сыр, колбасу, икру, банки с консервами.

— Не надо нам, мы отказались от этого много лет, — не раздумывая, отмахнулся Назарий.

— Я тоже не хочу. Я для вас.

— Тогда выбрось это в огонь, не смущай нас, — мужественно пробубнил Назарий.

Все брошено в речку, все съедено рыбами.

А вот сегодня Прохор нырял, добыл из омута коробку килек, ел с картошкой, смачно облизывал пальцы. Старец Назарий, видя это, сверкнул на вкусность глазами, потемнел лицом и, ссутулясь, быстро вышел. Пожирая снедь, Прохор с удовольствием прислушивался, как за стенкой сердито бормочет, отплевывается ушедший старец. Лежавший калачиком Ананий втянул ноздрями аппетитный запах, весь как-то встревожился, приподнялся на локотках, щуп-

ленький, большеголовый, похожий на ребенка-рахитика, и воззрился в рот Прохора:

— Чего вкушаешь, сыне?

— Рыбу. Кильки.

— Солененькая?

— Соленая.

— С перчиком?

— С перцем. С лавровым листом.

У Anания пошла слюна, он пал навзничь, повернулся лицом к стене, застонал жалобно, по-хворому.

Прохор положил три кильки на картошку, картошку на хлеб, встал, ударился теменем о низкий потолок — посыпалась сажа, — вышел на волю. Назарий сидел на пне, обхватив ладонями локти, всматривался в тихую даль, где речка.

— Вот, старец Назарий, съешь рыбки, рыбка невредная, ее и Христос вкушал, — и под самый нос старца подсунул смачный кусок.

Старец насупился, влип взглядом в кильки, захлебнулся слюной, и соблазненная рука его нерешительно приподнялась. Но вдруг, встряхнувшись, как от пронзившего его электрического разряда, вскочил, вырвал кусок из рук Прохора, швырнул на землю и с яростью растоптал дырявыми опорками. А на попятившегося Прохора зычно крикнул:

— Сгинь, дьявол-соблазнитель, сгинь! Не святой хлеб топчу, а грех соблазна попираю... Отыде от меня, сатана...

Прохор глядел проказливыми глазами в сутулую спину удалявшегося старца, укорял себя: «Хорош, дурак... Щенок, паршивец! Да какое я имею право?»

Надвигалась сырая, пахучая тьма. Спали в келье, чтоб не донимал рыжий мохнатый комар. Дверь распахнута. Возле двери, на воле, курево из гнилушек — преграда таежному гнусу.

Ананий чуть похрапывал в уголке на кой-как сколоченных низеньких нарах. На досках слой мелко нарубленных пушистых веток кедра, сверху дерюжина. В переднем углу, перед черной без всякого лика

доской, горела лампада. Кругом черно, как в черном гробу, стены, потолок в жирной бархатной саже: избушка топилась по-черному.

Прохор вытянулся вдоль стены на лавке, в головах рваный подбитый ватой зипун, в котором сюда пришел он. Под зипуном револьвер и коробка с патронами.

Прохор косится на распахнутую дверь. В нее, как в раму, врезан кусок мира с дремотной тайгой, с клочком покрытого звездами неба. Клубится ленивый дымок.

Прохор вышел на воздух курнуть. Звездный свет закрыт тучами. От сгустившейся тьмы мир стал тесен, как келья, а келья просторна, как мир: отблеск лампады творил там новые дали. И в этих призрачных далях чудились Прохору прииски, фабрики, заводы. Там был волк. Были Стешеньки, отцы Александры, Анфисы, Синильги, Протасовы, был Филька Шкворень, был пристав, звенело, брякало, искрилось золото, и гордая башня «Гляди в оба» стремилась вспороть брюхо бездонных небес...

Вдруг в сознании Прохора снова послышались отдаленные залпы, визги пуль, стоны и крики расстреливаемых...

«Ну, опять!» Прохор в страхе передернул плечами и — в келью. Прилег. Его мутила душевная тошнота. Он мрачно раздумывал: «Зачем же я пришел сюда? Пришел отдохнуть, пришел покаяться, пришел, чтоб набраться силы, как-то переломить свою жизнь. Ну, переродиться, что ли, стать другим... А каким? Черт его знает каким... Надо потолковать со стариками, по-тихому смириться перед ними — может, легче будет».

Все трое лежали молча. Прохор кашлянул.

— Не спишь?

— Не сплю.

— И я не сплю, труднички, — водной струйкой вплелся тенорок. — Сон студный исчез.

— Мне хотелось бы, старички божьи, потолковать с вами о самом важном для меня...

Его перебил гукающий бас Назария:

— Не то важно, что важно, а то важно, что не важно.

— Не могу понять. Поясни, отец.

— Ты мнишь, сыне мой, важным то, что совсем не важно. Скажем: славу, богатство, почести. А не важным мнишь то, что в жизни самое важное. Печешься ли о ближних своих, не тиранишь ли их, творишь ли им добро? Вот это и есть в жизни самое главное... Прямо ли ходишь, и светильник твой пред тобою, или змеей ползучей виляешь по жизни и жалишь всякого, кто попал на тропу твою? — Голос старца был властен, он гудел в тишине, в мягком блеске лампады, по-строгому.

Щекам Прохора стало вдруг жарко, кровь ударила в голову.

— Глупости городишь, дед, — желчно сказал он. — Да, впрочем, где тебе... Все это от пустоты своей нищенской говоришь ты. Сдается мне, я умнее вас, отцы-пустынники.

Старец Назарий вздохнул в ответ глубоко и тяжко. Ледащенький Ананий привстал на локотки, проиграл голосом, как на свирели:

— Гордыня... Горды-ы-ынюшка... — Локотки потеряли упор, старец снова прилег, свернулся клубочком, как кошка.

Лампада погасла. Мир кельи и мир за стенами слились. Стал один беспредельно маленький мир, похожий на гробницу червя.

— Дара смирения нет в тебе, — гукнул Назарий.

За дверью темная тьма стала меняться в сутемень. Поухивал филин, дождь крапал по коряжистой крыше крупными каплями. Где-то, в край все еще темной земли, мерещилось утро.

Так прошло две недели. Прохор измаялся. Коммерческого склада мысль, мускулы, полнокровные соки тела просили неустанного созидания, широкого творчества, а он с поникшей душой ходил по тайге, рубил дрова, вскапывал гряды, как простой безграмотный человек.

От нечего делать, по заветам старцев, он стал осматривать всю свою жизнь. Но раскаянья не было. Даже напротив: когда проверял свое прошлое, в памяти подымались лишь девки, бабы, гулянки, Анфиса. И вместо страждущих вздохов у Прохора набегала слюна похоти, как у стариков пустынников от запаха килек. Все чаще, все ярче всплывал в его сознании милый образ Анфисы. Сердце Прохора в постоянном унынии, сердце искало иных путей, иных выходов и не могло найти; к невозвратному нет дорог, невозвратное погребено вместе с Анфисой в могиле.

— Анфиса, родная моя... Отзовись! Прости меня, грешного, — почасту тайно взывал он, и душа его холодела.

Как ни старался Прохор опроститься, напустить на себя личину смирения, он не мог этого сделать искренне, от всего сердца. Продолжалась игра в маскарад. И эта игра становилась ему противной.

Прохор весь в раздвоении. Звериное в нем всегда на дыбах, настороже. Нет сил задушить в себе обезьяну.

Однажды в тайге Прохор ухлопал из револьвера зазевавшегося олененка. В отдаленности от жилища старцев он изжарил на костре лучшие куски, наелся и, провялив в дыму, схоронил большой запас мяса на старой сосне, чтоб не слопали хищники. Тихомолком от старцев Прохор каждый день приходил сюда подкреплять свои силы. Но гораздый на нюх, на слюну старец Назарий, крутнув носом, как-то всерьез заметил Прохору:

— Не поклоняйся телу, поклоняйся живому духу в нем.

— Это к чему? Не понимаю. — И Прохор, рыгнув, озадаченно поднял брови. — Я дух люблю, ежели вкусно пахнет.

Старец с назидательной жалостью потряс головой, пронизал Прохора строгим взглядом.

— Тело человеческое внутри — нужник. Понял, чадо неразумное, брыкливое? — (Прохор прикрыл рот картузом и опять рыгнул.) — Вот, видишь? — И

старец сел на пень, в бороде промелькнула ухмылка. — Мирской человек всякий день унаваживает мертвечиной и падалью чрево свое. А ты брось. А не можешь отвыкнуть — уходи от нас. Хоть бы дикого чесноку пожевал, парень. Тьфу.

Старец пнул гостя взором, как посохом.

— Брат зовет, брату недужится. Пойдем.

Тихий Ананий лежал, свернувшись калачиком, улыбнулся вошедшим, сказал:

— Многотрудно мне, — и стал легонько постанывать.

Старец Назарий, голову вниз, слушал, кряхтел.

— Многотрудно мне, — повторил Ананий, приподымаясь на локотках. Прохор с Назарием пособили ему сесть. — Не ведаю, камо гряду, а чувствую — скоро отыду от вас обонпол...

В окошечко тянулось солнце, желтый череп Анания золотился, белесые глазки трогательно взмигивали, Ананий тужился улыбнуться.

Назарий присел подле него, взял его за руку, сморщился, боднул головой.

— Куда ж ты собрался, брат? — И голос черного Назария стал мал, скрипуч и жалок. — Пошто уходить хочешь? А я-то как? Тогда зови и на меня смерть тихую.

Втянутые желтые щеки Назария задрожали. Стоявший тут Прохор прислушивался к их нудной беседе, с преступной насмешливостью оценивал смысл их слов. И нимало не жаль ему этих старцев.

— Ройте могилу, не мешкайте.

Ананий перекрестился, осторожненько лег. Взяли по лопате, вышли.

Могилу копали на любимом Ананием месте, под тремя высокими соснами.

— Местечко сие брат давно облюбовал для праха своего.

Копали целый день в гнетущем молчании. Земля — песок, а дальше — вечная мерзлота, повеяло жутким хладом. От усталости Назарий едва разгибал спину. Прохор пошел к ручью напиться. А когда вернулся, маленький согбенный Ананий уже стоял у края своей

могилы. В костлявой руке его свилеватый посох. Он заглядывал в могилу, скрипел чуть слышным голосом:

— Вот и домина богатая... Кладите меня лицом к востоку. Сквозь землю солнышно хочу зреть.

У старцев Прохор увидел несколько толстых церковных книг, почерневших от копоти. В тайге, под тенистым кедром, развернул книгу.

«О, уединенное житие, дом учения небесного, в котором бог есть все, чему учимся! Пустыня — рай сладости, где и благоуханные цветы любви то пламенеют огненным цветом, то блестят снеговидною чистотою, с ними же мир и тишина. О, пустыня, услаждение святых душ, рай неисчерпаемой сладости!»

Чтоб уяснить смысл этих строк, Прохор прочел их трижды. Ему, человеку практической складки, похвала пустыне, в которой прозябают два его старца, казалась бредом глупца. Пустыня! Убежище лодырей и физических калек. Нет, пустыня не для таких, как он. Надо утекать отсюда без оглядки, пока вконец не раздрябли мозг и мускулы. Надо бежать.

Через плечо Прохора в книгу заглядывал подошедший тихо старец Назарий.

— Мудрость, мудрость, — загудел он трубой. — Вникнул ли, чадо, в смысл мысли сей?.. Ищи в книге смысла сокровенного, преклонись ухом души, только тогда уразумеешь...

Старец сел у ног Прохора, под пенышек, на опавшую хвою. Прохор мрачно сопел.

— Веры нет во мне.

— Не веры в тебе нет, а душа твоя лишена умиления. «Когда в сердце есть умиление, тогда и бог бывает с нами». Так святой Серафим-батюшка молвил.

— Но что ж мне делать, ежели у меня веры нет! — Прохору вдруг стало тошно, уныло. — Я пришел к вам, чтоб стать другим, а вот... как-то... я еще хуже, может быть, сделался...

— Молись.

— Не могу молиться! Крещусь, а сам о бабах думаю...

Старец поднялся, смягчая свой голос, сказал:

— Ты не бойся сего шума мысленного, это действие врага, по зависти его.

— Эх, слова всё, слова... Брехня одна, пустозвонство! Дурак был, что к вам, дуракам, пришел. — Прохор, как всегда, был прям, груб, раздражителен. — Раз вы в святые лезете, вы в миру должны жить, людей спасать. А вы себя спасаете. Я думал — вы короли, мановением ока снимающие с человека все тяжести. А вы такие же нищие духом, как и всякий. Живые черви вы...

Прохор промучился еще два дня. И совершенно внезапно, без всякой связи с настоящим стало грезиться ему давно прошедшее. Вдруг развернулись, окрепли навязчивые думы об Анфисе. Куда бы он ни шел, чтобы ни делал, Анфисин образ с ним. Чтоб свалить себя утомительной работой, Прохор корчевал в одиночестве пни в лесу. Однажды его позвал голос: «Здравствуй, Прохор». Спину Прохора свело морозом, Прохор обернулся. Меж деревьями стояла в тумане Анфиса. Прохор крикнул — туман исчез. Прохор бросился бежать напролом, круша, как вепрь, трущобу.

Три дня подряд тяжелые видения терзали его. Он был охвачен страхом сойти с ума. «Мысль моя затмевается», — с ужасом думал он. Живой, телесной поступью подходила она к нему ночами, оправляла в его изголовье веники, садилась рядом с ним теплая, нежная, что-то говорила. Тяжко восстав от сна, Прохор ничего не мог вспомнить из странных ее слов.

Прохор негодовал на себя, на старцев, на пустыню, не в силах понять, что с ним происходит. Уйти же отсюда с опустошенным нутром, не сбросив здесь тяготивших его злодеяний, он не мог... Что-то надо сделать. Может быть, нужно убить старцев, этих червей земли... Черт его знает, что надо сделать! Душа болит, проснувшееся сердце тоскует по Анфисе. Но — баста! К прошлому возврата нет, и нет охоты возвращаться в немилый дом, где кровь, к жене, к врагам

своим. Так что же делать мятущемуся Прохору? Ему и здесь не жить... Ему нужно бежать, куда придется, быть может в село Медведево на горькую Анфисину могилу, а если не выдержит душа, то перекинуть чрез сук сосны аркан и затянуть на глотке петлю.

Заросший волосами, грязный, ободранный, похожий на страшного разбойника-бродягу, однажды Прохор сказал Назарию:

— Я ухожу от вас. Обманщики вы с братом. Сулите то, чего не имеете. Прощай, старик! — с надрывом крикнул он, сел на коня и быстро, не оглядываясь, скрылся.

Пораженный старец не успел одуматься, как в лесу, один за другим, ударили два выстрела.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

Дела в резиденции «Громово» шли стройным порядком. Прохор отсутствовал уже более месяца. Вчера уехала правительственная комиссия. Она просидела здесь неделю, допрашивала пострадавших рабочих, вдов, служащих, отца Александра. Комиссией признано, что действия барона фон Пфеффера неправомерны, что он превысил власть; с другой стороны, и поведение хозяина предприятий, систематически нарушавшего обязательные постановления правительства в ущерб интересам рабочих, было комиссией найдено противоречащим предначертаниям власти. Но, принимая во внимание пионерство Прохора Громова в деле насаждения в глухих краях крупной промышленности, комиссия постановила считать поведение Громова опрометчивым, предложила ему или его наследникам впредь вести дело, во всем строго согласуясь с законом, а от уголовного преследования считать его, Громова, свободным. Что же касается удовлетворения претензий рабочих, комиссия приказала: всех бастовавших рабочих немедленно удовлетворить расчетом за дни забастовки; калек взять на пенсию; семьям убитых выдать единовременное пособие от двухсот до трехсот рублей, в зависимости от числа сирот.

Правительство действовало так чрез комиссию, понятно, не ради одной справедливости (это, пожалуй, было бы истолковано как слабость государственной власти), а потому, что дело зверской расправы с рабочими стало известно не только у нас, но и за границей. Значит, соответственный жест был необходим в политическом смысле. И — этот жест сделан...

Комиссия уехала. Дело кипит. Рабочие под новой рукой стараются вдвое усерднее. Андрей Андреевич Протасов трудился при Прохоре как вол. Теперь он работает неустанно, подобно стальной машине.

Нина видит его не так часто, скучает без него. Возле красивой владетельной барыни увивается великолепный Парчевский. Но пока что он для Нины пустое пространство. Да к тому же она занята по горло делами. Она частенько объезжает работы, шутит с рабочими. Искренняя близость хозяйки к рабочим одухотворяла их еще более. Они в душе рады, что сам хозяин пропал без вести, — авось, на их счастье, не вернется никогда.

Нина очень утомляется от свалившихся на нее забот: ее тяготит положение полновластной хозяйки, оставлена на произвол судьбы Верочка, заброшен сад, и нет времени предаться созерцательной, в боге, жизни. Она часто раздумывает над тем, когда вернется муж и вернется ли он. А вдруг...

Но за этим «вдруг» всегда мерещится страшное, от которого испуганно замирает сердце. Какое-то тягостное предчувствие начинает подсказывать ей, что ее муж, Прохор Громов, мертв.

Пугаясь этих волнующих ее ощущений, она не раз приглашала к себе на чай отца Александра.

Однажды он долго засиделся у Нины Яковлевны. Беседовали о правилах поведения, о смысле жизни, об отношении человека к богу, к людям, к самому себе. Большая богословская подготовка священника делала беседы его в глазах Нины интересными. Отец Александр, с умащенными елеем, гладко зачесанными

волосами, говорил о том, что наконец-то водворились здесь, среди рабочих, мир и благоволение, что, вопреки мнению безбожных социалистов, призывающих на родину грозу и бурю революции, может путем эволюционного прогресса наступить на земле царство любви и братства.

— Настанет время, — блеснул отец Александр золотом очков, — когда, как сказано в писании, мечи перекуются в серпы и лев ляжет рядом с ягненком.

— Никогда этого не будет, — дерзко-вызывающе бросил от дверей вошедший Протасов. Он пропылен, в больших грязных сапогах, от него крепко пахнет здоровым потом. Он весь встревожен. Поцеловал руку Нине, извинился за костюм, сказал:

— Мне, Нина Яковлевна, крайне необходимо переговорить с вами с глазу на глаз.

Нина вопросительно подняла брови, отец Александр встал.

— Здравствуйте, Александр Кузьмич, и до свиданья, — пожал священнику руку инженер Протасов. — Уж извините, деловые разговоры у нас. А то, что вы изволили сказать, простите, чепуха. Никогда такого времени не настанет, чтоб овечка легла рядом со львом. Врут ваши пророки. Лев обязательно сожрет овечку. Он ее *должен* сожрать. Он ее не может не сожрать, чтоб не нарушить закон природы — право сильного. Так же и в человеческом обществе...

— Позвольте, но это ж иносказательно, это ж пророчество... А впрочем... не смею вас задерживать. В другой раз поговорим на эту тему, в другой раз, — заторопился отец Александр и, насупив брови, ушел.

— Что с тобой, Андрей? Ты такой... странный какой-то, нервный, — усадила его Нина. — Что-нибудь на работе?

— Да, и на работе... И вот... Знаешь что? — Протасов закурил трубку. — Знаешь что? Только будь мужественна, как всегда. — Протасов мялся, ерошил волосы. Дыхание Нины вдруг стало коротким, она чуть приоткрыла рот. — Я имею сведения, — преодолев

себя, сказал Протасов, — что Прохора Петровича нет в живых.

Андрей Андреевич сидел в кресле возле зажженной лампы, абажур бросал тень на верхнюю часть лица, оставляя в свете строгий его рот и сильный подбородок.

Напрягая всю волю, Нина старалась казаться спокойной. Но темно-русый локон возле правого уха стал подрагивать в такт ее сердцу.

— Откуда у тебя эти сведения? — холодным тоном спросила она, пристально всматриваясь в выраженье глаз Протасова.

Тот опустил взгляд в пол, сказал:

— Я получил записку от техника Матвеева. Он с поисковой партией по тайге бродит. Принес писульку зверолов, ходок. Прочесть?

Ей послышались в голосе Протасова нотки скрытого, оскорбляющего Нину ликования. «Нет, не может быть. Нет, Андрей всегда и во всем правдив и честен», — подумала она и, спохватившись, торопливо сказала.

— Да, да... Пожалуйста, прочти. Впрочем, дай сюда.

«Сегодня натолкнулся на странного человека-пустынника, — писал техник Матвеев. — *Он пятые сутки сидит возле могилы своего товарища, утлого старичка. Из расспросов выяснилось, что у старцев три недели жил Прохор Петрович. «Душа его скорбит, — сказал мне пустынник. — Вразумить, облегчить его мы с братом не смогли: гордыня заела его. На прощанье грешник сказал: «Жить больше не могу ни с тобой, ни с миром». Ушел и два раза выстрелил. Я искал потом прах его, не нашел. Может, зверь слопал».*

Положив письмо, Нина опустила голову и стала крутить в руках носовой платок. Молчание длилось очень долго. Часы пробили десять.

— Я думаю, эта версия о смерти Прохора Петровича окажется таким же вздором, как и питерский анекдот, — проговорил Протасов. — Мало ль что мог

сдуру сболтнуть какой-то старичишка. Я уверен, что сердце ваше ущерба не понесет.

Заметив в его голосе теперь явную фальшь, Нина крутнула платок, углы рта ее нервно задергались.

— Расскажи, Андрей, что-нибудь веселенькое.

Протасов с недоумением пристально посмотрел на нее сквозь пенсне:

— Веселенькое? Почему именно — веселенькое?

— Ну, что-нибудь... Ну, я прошу... — Щеки Нины покрылись красными пятнами.

— Ну, что ж... Ежели желаешь. Ну, например... — мямлил Протасов, продолжая недоумевать. — Например, дьякон Ферапонт кует цепь себе. В буквальном смысле — себе. Приказала Манечка. «Я, говорит, буду тебя, когда напьешься, сажать на цепь, как Трезорку».

— Очень смешно. Ха-ха, — не моргнув глазом и не слыша Протасова, чужим голосом сказала Нина.

— Или, например, блистательный Парчевский...

— Довольно о Парчевском! — вспылила Нина. — Вы слишком часто издеваетесь над ним.

— Это не издевательство, это — оценка человека по достоинству.

— Ревность?

— Ничуть. Мне это чувство незнакомо. В особенности по отношению к тебе.

— Вот как?! Напрасно. Во всяком случае, Протасов, мне надо побыть одной. Прощайте.

— Вы нервничаете?

— Да.

Она уходила прямая и гордая. Но ее сердце хромало, грудь волновалась: вдох и выдох фальшивили.

Протасов уронил пенсне, проводил ее растерянным взглядом и тоже ушел. Он злился на Нину, морщил лоб, кусал губы. Он все еще считал несвоевременным показать ей хранившийся у него документ против Прохора. А надо бы...

Нина прошла в свой кабинет, обставленный темно-синей кожаной мебелью в английском вкусе. За нею

проследовал, виляя хвостом, толстый, разжиревший за время отсутствия Прохора волк.

Нина опустилась в глубокое кресло, закрыла глаза. «Почему он такой нетактичный, этот Андрей?.. — думала Нина. — Почему он так торопит события? Слепцы, слепцы! И Парчевский, и он... Я люблю Прохора. Я и вдовой буду ему верна до смерти... Но Прохор жив, жив, я не желаю его гибели!»

Все эти отрывки мыслей, требующих длительного пересказа, мелькнули в голове Нины мгновенно. Затем — наступило второе и третье мгновение: «Я не могу быть женой Парчевского, внутреннее я предпочитаю внешнему. Но мне страшно быть и женой Протасова, потому что он выше меня по натуре и, главное, мы с ним разных дорог люди (второе мгновение мысли)». «Я Андрея люблю (третье мгновение мысли), я должна всем для него пожертвовать. А когда буду его женой, мое влияние одержит над ним победу». «А если моя жизнь с ним будет несчастна (четвертое мгновение), уйду в монастырь».

И общий, полусонный какой-то итог (плюс-минус): «Я должна быть женой Андрея». И тут же, не размыкая глаз, вскрикнула: «Вы не смеете, вы не смеете: Прохор — мой!»

Подошел волк, поторкал мокрым носом в руку хозяйки. Но, утопая в путаных снах, она далече отсюда.

...Вдруг Нина очнулась: сердце ударило — «муж». Трещал телефон. То звонил Прохор Петрович с прииска «Нового». В его голосе — угрюмая ласковость. Он сказал: заночует на прииске, хотя с дороги он сильно устал, но очень важно решить здесь кое-какие вопросы, кое-кого «намахать», а уж завтра приедет, пусть жена распорядится вытопить баню — не ванну, а именно баню, — надо прожариться, надо выпарить вшей... («Что, что?!») Ну да, вшей, он в тайге нахватал их достаточно, а пока — доброй ночи...

Нина и смеялась и плакала. Боже! Как хорошо, что Прохор вернулся!

Нина крепким сном до утра почивала. Утром, в девять часов, ее все-таки подняли.

— Алло! — сонным голосом прокричала она в трубку.

— Настя, ты?

— Нет. Это я, Громова.

— Пани Нина?! — горько и сладостно воскликнул Парчевский. — Разрешите к вам... Сейчас же, сию же минуту...

Чрез четверть часа, едва Нина успела умыться, пан Парчевский блистал пред нею в форменном сюртуке с ученым значком и белых перчатках. Полные губы лоснились лакировкой помады.

Нина доподлинно знала, зачем спозаранку примчался Парчевский. Настроение Нины самое бодрое: вот-вот должен приехать муж. А что, если... В тайге развлечения редки, так отчего же не провести ей домашний спектакль: сама поиграет и позабавится жалко-комической ролью донжуана Парчевского; в искренность чувств его к ней она по-серьезному и не думала верить, да и Протасов не очень-то уважает его, а муж — и подавно.

Итак, Нина — артистка. Она встретила пана Парчевского — тоже артиста — со всеми ужимками томной печали.

— Пани Нина, — прижимая к сердцу свои породистые руки, с обычной театральностью в жесте и голосе начал Парчевский. — Судьба второй раз ввергает меня в мрачную роль палача вашей нежнейшей души. Но, принимая во внимание вашу христианскую настроенность и покорность воле божией...

— Короче, Владислав Викентьич...

Инженер Парчевский усилил игру: он с легким стоном закрыл глаза и, оторвав руки от сердца, трагически ударил кулаком вниз:

— Ваш муж, Прохор Петрович... отправился в страну, где царствует Плутон! Он, кажется, кончил жизнь самоубийством...

— Да? Вы уверены в этом? — смело вошла в роль и Нина; прижав к щеке сомкнутые в замок кисти рук, она вся посунулась к пану Парчевскому. — Это

неправда, неправда! Вы сговорились с Протасовым...

— К сожалению — факт. Я сейчас от Протасова. Он прямо сказал мне: «Хозяин вряд ли вернется». Уф!.. Я не в силах больше... Я ошеломлен... Разрешите... — И, благопристойно отдуваясь, он упал в качалку. — Не волнуйтесь, примите удар хладнокровно. Прошу вас... — нажимая педали притворства, стонал пан Парчевский. — Поверьте, что есть люди, готовые умереть за вас. Клянусь вам, — я первый! Ваша жизнь вся впереди... Пани Нина, пани Нина! — восклицал он сквозь слезы.

Молодую темпераментную женщину раздирал еле сдерживаемый смех. Чтоб не провалить свою роль, она отвернулась, закашлялась и два раза крепко щипнула себя.

— Мне, Владислав Викентьич, очень тяжело слышать ваши вздохи. Я боюсь это утверждать, но мне почему-то кажется, что вы сейчас ведете со мной игру, что вы просто-напросто, простите, притворяетесь...

— Пани Нина! Клянусь вам — нет!

— Ну, а если б я, боже упаси, овдовела? Что ж, вы стали бы искать моей руки?

— О, клянусь, клянусь вам — да!

— Но дело в том, милый Парчевский, что я... что я... — И Нина задумалась. Она сегодня особенно прекрасна. Парчевский, любуясь ею, терял самообладание: актерство линяло в нем, он вот-вот искренне кинется к ногам обаятельной женщины. И тут, как смертельный удар в самое сердце, — тихий воркующий голос: — Если я овдовею, я все свое и мужа имущество делю на три равные части: одну часть старику Громову, другую — Верочке, третью — на широкую благотворительность, сама же становлюсь нищей, вероятней всего — пойду в учительницы...

Говоря так, она зорко следила за гостем. Пан Парчевский из красавца павлина вдруг превратился в мокрую курицу: стал глупым, жалким и злым; в глазах тупое отчаянье, лоб наморщился.

— Ну, как же тогда? — Нина незаметно вновь

стала щипать себя, однако лицо ее покрыла густая улыбка. — Наверное, вы и не подумали бы жениться на какой-то «учителке»?

— Я?.. Нет, отчего же... Ведь я и сам могу зарабатывать довольно много. Наконец, у меня дядюшка — губернатор. И вообще... — мямлил Парчевский, чуть не теряя сознание.

— Ну, а если б я, вдова, сказала бы вам: я ваша, миллионы ваши, а муж между тем вдруг каким-то чудом воскрес бы, — с ним это случалось, — вы ж, голубчик Парчевский, это знаете лучше, чем кто-либо. Да... И вот мы с вами за свадебку, а муж — тут как тут. Что тогда?

— Пулю в лоб! Пулю в лоб! — вскочив, с рыданием в голосе завопил пан Парчевский и чутко прислушался: по коридору скрипели шаги.

— Барыня, чай готов, — доложила вошедшая горничная Настя. — И стражник прискакал сейчас, — говорит, что Прохор Петрович едут.

— Идемте, — направилась Нина в столовую. — Милый Владислав Викентьич, — с серьезным лицом, но вся в скрытом смехе шепнула она Парчевскому. — Я умоляю вас, забудьте все, не стреляйтесь...

Но дважды обманутый Парчевский, с горестью вспомнив и питерскую мнимую смерть Прохора, ничего не ответил Нине, только мрачно подумал по адресу хозяина: «Негодяй!.. Нет, какое коварство?! Второй раз... У, пся крев!»

Три первых дня Прохор Петрович со всеми был отменно любезен. Заласкал, замучил Верочку, волка. Перед Ниной стоял на коленях, целовал ей руки, умолял простить его. Нина едва узнавала мужа: таким необычайно нежным, мягким, ласковым казался он ей. Нина, радуясь краешком сердца, в глубине души всерьез испугалась случившейся в муже резкой перемены: подобные Прохору натуры устойчивы в своей сущности и крепки, как скала. Значит, в Прохоре совершились какие-то сдвиги, какой-то надлом его психики.

За эти три дня Прохор как бы выключил себя из повседневной жизни. Он целыми часами просиживал с подзорной трубой на вершине башни «Гляди в оба». С наивным удивлением ребенка и с жадностью взрослого он цепко осматривал свое владение и надолго погружался обновленным в пустыне взором в сизые волны Угрюм-реки, омывавшей скалу у подножия башни.

В часы углубленного созерцания своих деяний Прохор много передумал. С высоты башни, пред его *новыми глазами* необъятно ширился весь мир, мутнели горизонты, над которыми вставали человеческие дни, вставали и закатывались, уходили в вечность. То озирался он взором мысленным назад, в начало дней своих, в истоки жизни. Тогда голос собственной совести и голос старцев-отшельников стучался в сердце: «Живи так, чтоб этот небосклон текущих дней твоих становился все светлей, все выше».

Прохор вздыхал, клочья седеющих усов и бороды лезли в рот, губы кривились нехорошей улыбкой, а голый бабий зад, назойно расплываясь вширь, вдруг заслонял собой весь свет, все горизонты.

С зубовным скрежетом Прохор ударял себя кулаком в грудь и, гремя ступеньками, круто спускался.

На четвертый день Прохор напился на башне в стельку. Его привезли домой, втащили в кабинет, уложили. Волк смотрел-смотрел на мычавшего хозяина и взлаял.

— Волченька! — назидательно сказала ему Верочка. — Ты, волченька, не ругайся. Папочка простудился от винца. Я тоже, когда была простудилая, там, у бабушки... меня тоже тащили.

2

Вскоре Прохор потребовал от Нины отчета во всем. Нина приступила к этому с внутренним трепетом. Она всячески отдаляла этот день, но день все же настал.

В кабинет Прохора на башне собрались: тучный, лысый главный бухгалтер Илларион Исаакович Крещенский с целым возом отчетных книг (он летом потел, как кипящий на морозе самовар, носил перекинутое через шею полотенце, которым то и дело вытирал лицо и руки), инженер Протасов, мистер Кук, инженеры Абросимов, Образцов и сама хозяйка. Парчевский, вопреки предложению Нины, приглашен Прохором не был. Вместо него присутствовал Иннокентий Филатыч Груздев. Он набожно вздыхал и чему-то про себя улыбался.

Главноуправляющий предприятиями инженер Протасов сделал общий, блестяще построенный деловой отчет, дав меткую, неприятную для Прохора характеристику царивших до забастовки порядков («или, вернее, беспорядков»,— сказал докладчик), и нарисовал широкую картину новой постановки дела, осуществленной за время отсутствия Прохора Петровича.

Доклад длился больше часа. Мрачный Прохор с изумленным лицом неподвижно сидел в глубоком кресле. Он временами надолго закрывал глаза, как бы погружаясь в сон, но меж тем слушал доклад с напряженнейшим вниманием.

— Я попрошу бухгалтерскую справку соответственных выдач рабочим *до* и *после* забастовки за месячный срок,— сказал Прохор.

Илларион Исаакович развернул две книги, обтерся полотенцем и негромко защелкал на счетах.

Доклад мистера Кука о механическом заводе, пяти лесопилках, паровой мельнице и электростанции прошел без запинок. Бухгалтер сказал:

— Плата одному и тому же числу рабочих за месяц возросла со ста семидесяти пяти тысяч прежде до двухсот пятидесяти тысяч теперь.

— Ага! — иронически воскликнул Прохор.— Значит, рабочие теперь дерут с меня лишку миллион рублей в год! Прекрасно... — Он опять закрыл глаза, засунул руки в рукава чесучевой рубахи, ноздри его раздувались.

Инженер Протасов сказал:

— Я, Прохор Петрович, должен вам доложить, что мы делаем теперь огромные усилия, наверстывая в улучшении быта рабочих то, что упущено было вами. Переустройство и новая постройка бараков, бань, прачечной и кухни утверждены мною по смете в двести сорок семь тысяч рублей.

— В двести сорок семь тысяч? — громко переспросил Прохор, и все лицо его нахохлилось, как у старого филина. — Дворцы? Рабочим? Из чьих капиталов, из чьих капиталов — я вас, Протасов, спрашиваю — вы благодетельствуете рабочим?

— Из ваших, конечно.

— Что, что?! Из моих?!

Все затихли. Волк вытянул хвост в струну. С потолка упала божья коровка.

— Сто тысяч в это дело вложила своих собственных денег я, — ровным голосом сказала Нина.

— Это деньги не твои, а наши, — грубо рубнул сплеча Прохор. — У тебя нет своих денег, пока ты мне жена...

— Я согласна с тобой, не горячись, — чтоб в присутствии посторонних не обострять разговора с мужем, умиротворяюще ответила Нина.

— Но я полагаю, — как ни в чем не бывало продолжал Протасов, — что рабочие, поставленные в сравнительно хорошие условия, будут работать и уже работают более продуктивно. Таким образом...

— Таким образом, вы, господа, через год выпустите меня в трубу, — бросил Прохор и, повернувшись к Протасову плечом, к жене спиной, стал демонстративно смотреть в окно.

— Таким образом, — нажимисто, но спокойно закончил Протасов, — широкая реорганизация всех работ, предпринятая мною за ваше, Прохор Петрович, отсутствие, оздоровила дело, и в конечном счете надо надеяться, что все предприятия если и принесут вам сравнительно меньший доход, чем вы ожидали, зато вы вполне гарантированы теперь от повторения кровавых событий, подобных недавнему.

У хозяина задергалось правое веко, седеющие на висках волосы встопорщились. В конце заседания, прощаясь, он сказал:

— Всем вам, господа, большое спасибо за вашу честную работу во время моего невольного отсутствия, — драматическим тоном подчеркнул он слово «невольного» и крепко пожал всем руки. — А вам, Протасов, спасибо вдвойне. Я не знаю, как и благодарить вас за ту огромную пользу, которую вы бескорыстно принесли мне. Спасибо, спасибо, Протасов...

Андрей Андреевич, болезненно чувствуя в голосе Прохора Петровича злобную иронию, смолчал, покраснел до корней волос, поклонился и вышел. Его знобило. Побаливал правый бок, где печень.

Супруги остались вдвоем.

— Мерзавец... Прохвост!.. — хрипло, на низких, придушенных нотах бурчал Прохор, грузно шагая по тавризскому ковру. — Вместо двух-трех миллионов барыша я, чего доброго, понесу миллионный убыток... Подрядные работы запущены... Железнодорожная ветка — тоже. О-о, черт!..

— Прости, Прохор. Но чем же виноват Андрей Андреич?.. Ведь ты же сам вверил ему...

— Но я тогда был в полнейшей прострации! — с бурей в глазах прервал жену Прохор. — Я с ума сходил. Тебя нет... Один. А тут такая кутерьма. Кругом меня были дураки, прохвосты... Нет, я этого не прощу Протасову.

— И это твоя благодарность за непомерный труд человека, за бессонные ночи?! Ты погляди, какой он стал. Он болен, — готовая разрыдаться, стала бегать взад-вперед Нина. — Это несправедливо. Это не великодушно! Это подло, наконец!

— Сводите, сводите меня с ума. Вы все сговорились. И этот Парчевский со своими точеными ляжками с утра до ночи увивается возле тебя... Знаю, знаю... Я все знаю. Смерти моей ждете, да? А вот нет! — ударил он кулаком в кулак. — Не умру! Назло не умру.

Нина схватила накидку — и вон.

Ночью Прохора привезли домой пьяным.

Нина решила круто изменить свою тактику. Она попыталась взять Прохора лаской.

В праздник, золото-малиновым вечером она сидела с ним в уютной беседке с видом на каменный берег Угрюм-реки. Волк лежал у их ног, прислушивался к разговору, думал о том, что дадут ему дома жрать. Верочка с нянькой бегали по дорожкам, ловили сачком мотыльков. Гувернантка, немка Матильда Ивановна, стоя на берегу, любовалась теплыми тонами заката.

Прохор Петрович не доверял Нине, он злился на нее. До сих пор ни словом еще не обмолвился он о причине своего бегства в тайгу, о своих мучительных переживаниях. А той так хотелось знать всю правду об этом.

— Милый Прохор! — И Нина нежно обхватила мужа за крепкую искусанную комарами шею. — Расскажи, что ты делал у старцев-пустынников? Ах, как я завидую тебе!..

— Чего ж завидовать... Старцы как старцы. Оба вонючие, грязные... Один был раньше живорезом. А другой — с большой волей. И не совсем дурак. Тоже, наверное, кому-нибудь брюхо вспорол. Или в карты проиграл казенные деньги да сбежал в тайгу.

— Ты вечно умаляешь достоинства других людей. — Она хотела сказать: «а себя возвеличиваешь», но сдержалась, только добавила: — Это нехорошо, Прохор.

— Я привык уважать людей дела, созидателей ценностей.

— То есть себя? — И Нина с мягкой улыбкой прижала свой красивый чистый лоб к виску Прохора. — То есть ты уважаешь только себя? — повторила Нина.

— Себя — в первую голову, конечно. А на людишек смотрю, как на навоз, как на грубую рабочую силу, необходимую для устроения земли, под нашим руководством, конечно. Отними у народной массы ее просвещенных руководителей — и твой народ-богоносец сопьется, обовшивеет, перережет друг друга. Нет, я ненавижу людишек...

— Какой ты жестокий, Прохор! — И обнимавшая мужа рука Нины опустилась. — Только ты не сер-

дись... Мне больно видеть в тебе эгоиста, презирающего народ и целью своей жизни поставившего наживу во что бы то ни стало. Ведь ты муж мой...

— Ну что ж... — Прохор перегнулся вдвое, обхватил руками колени, глядел в пол. — Давным-давно какой-то мудрец обмолвился: «Цель оправдывает средства». Ну, вот, таков и я.

— Эту истину изрек некий мудрец Лойола, но он был иезуит, а ты, я надеюсь, считаешь себя православным, — с горечью вздохнула Нина. — Помоему, цель человеческой жизни — это уподобление богу.

— То есть уподобление тому, чего мы не знаем и не будем знать? — разогнулся Прохор. — Это не для моих мускулов, не для моей крови. Моя цель — работа. А после работы — гульба!

— Гульба? — переспросила Нина, и их глаза встретились: насмешливо-властные Прохора, умоляюще-нежные Нины.

— Без гульбы, при одной работе, пуп надорвешь.

— Какой ты грубый! У тебя совершенно нет никаких высоких идей. Ты весь — в земле, как крот. Ты на меня не сердишься?

— Идея — плевок, идея — ничто, воздух. Сбрехнул кто-нибудь, вот и идея... И инженер твой со своими идеями — пустобрех!

Лицо Прохора скорчилось в гримасу пугающей улыбки, взор его жестоких глаз давил Нину.

— Идея тогда вещь полезная, — сказал он нажимисто, — когда я одену ее в мясо, в кости. Сказано — сделано! Вот — идея! А остальное все — мечты, обман... Я своим рабочим никогда посулами зуб не заговаривал, а Протасов твой и посейчас заговаривает... За мой, конечно, счет, да-с... Мы с ним одному дьяволу служим, только я — в открытую, а он — под масочкой социалиста... Ха! Вот он где у меня, твой Протасов! — С этими словами он вскинул руку и сжал ее в кулак.

Затем он отвернулся от жены с явно скучающим видом.

Вот уже третий день Прохор Петрович с утра до ночи осматривает работы. Он видел много полезных новшеств, введенных за его отсутствие, видел всюду порядок, прилежность рабочих. Все это его поражало, но отнюдь не радовало. Рабочие избалованы повышенной платой, «нажевали» на его хлебах жирные морды, вместо двенадцати часов работают по десяти, в праздничные дни на работы их палкой не загонишь, а живут, мерзавцы, в новых бараках, как чиновники. Нет, к черту!.. Надо как следует намахать Протасова и снова скрутить всех в бараний рог. Он великолепно раскусил этого коварнейшего узурпатора, который норовит все забрать под себя, старается разорить Прохора, даже совсем вычеркнуть его из жизни, а потом жениться на дуре — Нине. Нет, дудочки!.. Прохор вытурит Протасова ко всем чертям и выпишет из Люттиха знакомого инженера-бельгийца. Вот тогда-то... вот тогда пусть они поскачут, негодяи!..

А он пока приведет в порядок свои нервы, зимой закроет на месяц работы, разгонит всех этих голодранцев-забастовщиков, наберет новые тысячи голодающих рабов, чтоб втрое, впятеро расширить дело, чтоб крепко стать владыкой всего края. А с Ниной, ежели осмелится она фордыбачить, — немедленный развод. Впрочем, если резко порвать с Ниной, ее капиталы уплывут. Нужно придумать такой кунстштюк, чтоб Нины не было, а деньги ее остались в деле. Идея!.. Да, да, идея... Нины Яковлевны Громовой, его жены, не будет...

Весь распаляемый этими мыслями, Прохор мрачнеет.

— Ну как, дьяволы кожаные, работается? — не то в шутку, не то в брань кричит Прохор партии рабочих, забивающих паровым копром сваи для перемычки.

— Ничего, трудимся! — нехотя отвечают рабочие.

— Довольны заработком, довольны пищей, довольны помещением?!

— Довольны... Спасибо, хозяин... — И, чтоб отвязаться от Прохора, от его привычных матерков —

вот-вот пустит с верхней полки, — все дружно налегают на работу.

На прииске «Достань» новый заведующий, молодой инженер Александр Иваныч Образцов, доложил Прохору Петровичу, что и жильное золото и рассыпные участки здесь близки к окончательной выработке, прииск стал давать теперь весьма незначительную прибыль, что в скором времени нужно будет подумать о его закрытии.

— Ну да! Ваши новшества что-нибудь да стоят. Вот и маленькая прибыль поэтому! — вспылил Прохор. — Через два месяца прииск будет давать золота вдесятеро больше, чем теперь.

— Ваше предположение, Прохор Петрович, — сказал Образцов робко, — не вяжется ни с теорией, ни с опытом...

— А ваши теории только опытных людей с толку сбивают. Кто вас сюда поставил?

— Протасов Андрей Андреевич.

— Ах, Протасов? Извольте отправиться в контору и сказать вашему Протасову, что он дурак! А на ваше место я чертознаев пришлю. Они вам нос утрут. Они покажут вашему Протасову, как нет здесь ни жильного, ни рассыпного...

Прохор запыхтел и, размахивая тросточкой, двинулся к ожидавшей его пролетке.

— Прохор Петрович! — нагнал хозяина инженер Образцов. Его юное лицо выражало болезненную гримасу несправедливо понесенной обиды. — Я работал без вас, Прохор Петрович, со всем старанием. Я за ваше отсутствие открыл в тайге два мощных золотых месторождения, они могут затмить славу прииска «Нового». Я открыл неглубоко залегающие пласты каменного угля, я открыл залежи графита и жилы медного колчедана. Я думаю, что все это, при умелой эксплуатации, поднимет значение ваших предприятий вдесятеро...

— Верно говоришь?

— Верно. Давайте как-нибудь объездим все те места. — Инженер Образцов, бледный, до дрожи взволнованный, вытащил из кармана завернутый

в бумажку кусок золота.— Вот самородок в два с осьмой фунта весом. Я его нашел в тайге, на открытых мною местах. Я мог бы его прикарманить, но я передаю его вам как свой первый подарок.

Прохор Петрович обнял растерявшегося молодого человека.

— Оставайся здесь. Ты, мальчуган,— прости, что я тебя попросту — «ты», где живешь?

— У Сохатых, Прохор Петрович,— утирая слезы, проговорил Образцов; его губы с чуть пробивающимися усиками кривились, брызг веснушек темнел.

— Ерунда! Тот дурак с бесструнной балалайкой тебя с ума сведет. «О-враам адна капек». Ха-ха-ха!.. Ну и выдумал же ты... Как это тебе в башку-то взбрело? Ха!.. Вот что. Переезжай-ка ко мне. Я отведу тебе в новом доме две комнаты. И, кроме того,— прищурившись и что-то соображая, Прохор добавил с коварным блеском в глазах: — кроме того, моя жена — не чета той Хавронье Хавроньевне...

Инженер Образцов конфузливо потупился. Прохор вынул блокнот, написал: «Выдать Саше Образцову 1 500 рублей на обзаведение»,— и передал записку молодому человеку.

Кучер хлопнул вожжами, лошади взяли крупной рысью. Прохор дружелюбно оглянулся на инженера, отер глаза и высморкался. «Черт, слезы! Бабой стал... Паршиво это... Заскоки в душе. Колчедан, каменный уголь, графит... Да это ж клад! Да это ж черт знает что! А золото, а золото? Мощное, говорит, месторождение... Ничего парнишка. Но ежели наврал все, в кнуты возьму сукина сына... Не посмотрю, что у него на пиджачишке значок торчит. Зубы выбью... Нет, а каков чудак?.. Хы! Отдал золото... Чудак!»

На прииске «Новом» дела шли великолепно. Работала только что собранная драга. Оканчивалась механизация работ. Все старое, сделанное на живульку, заменялось новым, долговечным.

— На реконструкцию прииска затрачено пока сто шестьдесят две тысячи,— говорил инженер Абросимов, заместивший Ездакова.— Еще предстоит затратить по смете тысяч двести.

— Хорошо, хорошо... Приятно хозяину слышать умные ваши речи...— затряс Прохор головой, как паралитик. — А где Ездаков?

— В тюрьме.

— По наветам Протасова?

— По приказу скончавшегося прокурора Черношварца.

— А это что за домищи наверху? Двенадцать штук?

— Бараки для рабочих.

Прохор круто и чуть не бегом — к пролетке.

8

После беседы в саду Прохор целую неделю не разговаривал с Ниной. Наконец его прорвало. Пили вечерний чай. Никого принимать не велено. Нина Яковлевна сразу почувствовала настроение Прохора и, подобрав нервы, приготовилась к бою.

— Ты внесла, Нина, страшную дезорганизацию в мои планы. Ты не понимаешь, что делаешь. Ты бросаешь на ветер деньги... Ты...

— Может быть, и меня хочешь объявить сумасшедшей и запрятать в сумасшедший дом? — мужественно приняла она вызов.

— Надо бы, надо бы...

Нина, едва справляясь с собой, кротко проговорила:

— Все, что я делаю, — я делаю из любви к тебе, если хочешь знать. Да-да-да! К несчастью, я продолжаю тебя любить.

— Если ты говоришь это искренне, так не сажай меня на рогатину, как медведя! Может случиться так, что на твою любовь я отвечу ненавистью.

Серебряный самовар пошумливал, брюзжал по-стариковски. Оскорбленная Нина в горестном раздумье сказала:

— Да, на любовь ответить ненавистью ты можешь. Ну что ж.

— Мне противны твои паршивые либеральные затеи, — перешел на крикливый тон Прохор, — мне

чужда твоя маленькая мораль, мешающая моему большому делу. От тебя пахнет ладаном. И твои дела мне мерзки. Ты с ума меня сведешь. Ты становишься злым демоном моим.

— Я — не Анфиса.

— Не поминай Анфису! Не поминай Анфису!! — Вскочили волк и Прохор.

— Слушай, не горячись, сядь. Я все делаю, желая хорошего не себе, а твоим же, пойми, твоим же рабочим, и не из любви к ним, конечно: рабочие мне — чужие, а ты мне — свой. Я не хочу, чтоб наши предприятия потерпели крах. Я не желаю быть нищей... Ты пойми!

Прохор, руки назад, ходил, посвистывая в тон самовару. Нина взволнованно встала, оперлась руками в стол, водила за Прохором глазами. Не получая от мужа ответа, она тоже начала носить себя по комнате и нервно пристукивать каблуками. Так ходили они, родные и далекие, любящие и ненавидящие один другого, набираясь гневом и судорожно отыскивая предлог кончить все миром.

— Прохор, пойми... Ведь я трачу на постройку бараков не твои, а свои деньги.

— Ха! — остановился Прохор.

— И надеюсь, если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем в землянках, они поставят это тебе в плюс и забастовка не повторится.

— Ха-ха, не говори глупостей! Ха!.. Это мне противно. Я должен давать рабочим минимум, брать от них максимум, чтоб иметь возможность кормить не пять, как теперь, а сто тысяч голодранцев.

— Ты кончил?

— Нет. А ты вся в оптическом обмане. У тебя ни малейших перспектив на будущее. Кто ты? Народоволка ты, что ли, или другое вымершее чудовище? Тебе только недостает синих очков. Впрочем, ты берешь их напрокат то у попа, то у Протасова.

— Кончил? Прекрасно... — И, вся в огне, Нина села. — Я разучилась, Прохор, обижаться на тебя. Ты слишком захватал меня своими жесткими руками. Все мое сердце и вся я — в мозолях.

— Я все переверну по-старому, — задышав через ноздри, уселся и Прохор у часов вполоборота к Нине. — Сбавлю голодранцам плату, заставлю жрать падаль, а недовольных вышвырну вон вместе с твоим Протасовым.

— Нет! Этого не будет, — пристукнула Нина в стол рукой. — Слышишь?.. При первой же твоей попытке вернуть наше с тобой дело опять к старому кошмару я поведу против тебя игру и, предупреждаю, игру серьезную. Я пущу в дело весь свой капитал...

— Ха!

— Да, да... Игра будет не на жизнь, а на смерть... Игра будет ва-банк!.. Или я тебя побью, или ты уничтожишь мои планы. Может быть, даже уничтожишь меня физически, как ты унич... — Но Нина осеклась, приникла: в глазах мужа стегнули две страшные молнии. Нина умерила голос: — И вот предлагаю: или ты весь изменись, весь, весь, до ногтей, или я вот тут, рядом, открою свое очень крупное дело...

— Во главе с Протасовым?

— Да, да... Во главе с Протасовым, Образцовым, Парчевским, Груздевым...

Прохор вскочил, вновь зашагал по комнате, ероша волосы и все крепче сдвигая вертикальную меж бровей складку.

Потом пробурчал что-то в бороду и встал за плечами сидевшей Нины. Он был озадачен ее угрозами и, чтоб не обострять с нею отношений, старался смягчить свой голос:

— Эх ты, идеалистка! Отстала ты от жизни на целую сотню лет. Эх ты, философ в кружевных панталончиках!

Прохор поцеловал Нине руку: «покойной ночи», ласково потрепал ее волосы и по-своему, как-то надвое, улыбнулся.

— Сердишься? — робко, с приниженной улыбкой спросила Нина.

— Нет.

— Тогда пойдем ко мне. Сегодня ты — мой, — и вся зарделась, увлекая за собой мужа.

— А вчера кто был «твой»? — с шутливостью погрозил пальцем Прохор.

Они вошли в белую, под слоновую кость, спальню Нины.

— Я так вопрос не ставлю, — смущенно расхохоталась она, выхватывая из прически шпильки. Густая волна тонких прекрасных волос пала на полные, белые, как кипень, плечи. — Напротив, в моей фразе: «Сегодня ты мой» — скрыто звучало: «А чей ты был вчера, я не знаю, но вчера ты не был мой».

Прохор тоже захохотал, но по-холодному. И, чтоб прервать этот смех и согреть душу Прохора, Нина кинулась ему на шею.

Шелест платья, шепот шелка торопливо вырос и упал к ногам. Подушки взбиты высоко. Букет чайных роз щекотал обоняние, пьянил. Нина шептала:

— Через месяц будет ровно десять лет, как мы живем здесь.

— Да-да-да. Юбилей! — воскликнул сладко было задремавший Прохор. — Ниночка, милая... Мы к этому дню переберемся в наш новый дворец... и... сразу юбилей и новоселье.

— Мне хотелось бы, чтоб этот день прошел торжественно. И знаешь почему?

— Ну, ну?

— Ты же сам говоришь: работа, работа, а потом — гульба. Пусть эта гульба будет законно заслуженной и... культурной.

— Да-да... Я закачу такую иллюминацию, что ты ахнешь!.. — сказал сквозь зубы Прохор. Нина не подметила в его голосе ни ехидства, ни яду.

Но в ту же ночь сгорели два только что выстроенных Ниной прекрасных барака. Пожарные, как назло, были крепко пьяны. А Филька Шкворень три дня швырялся в кабаке деньгами.

Нина в отчаянии. Прохор, ловко пряча злорадство в тень неспокойных глаз, как мог утешал ее: «Ну сгорели и сгорели... Эка штука. Плевать...» Утешали и отец Александр и Протасов. Инженер же Парчев-

ский, продолжая лебезить перед Ниной, сообщил ей новость:

— Я только что от пристава. Он сказал, что в разных местах тайги оперируют воровские шайки. В селе Красные Сосны убит богатый мельник. На тракте, возле моста чрез Черную речку, ограблена почта. В посаде Зобастом обнаружены два поджога. Я полагаю, что и наши бараки сожжены разбойниками... О, это ужасно!

Все эти слухи, конечно, были сильно раздуты, но все-таки в них доля правды: Протасов получил письмо от Шапошникова из села Разбой. Письмо передал ему сопровождавший обоз дед Никита, в избе которого Шапошников жил.

«Дорогой товарищ. Посылаю письмо с верным человеком. Сообщаю, что бывший прокурор Стращалов, с которым вы собирались познакомиться, дней двенадцать тому назад ушел на охоту и исчез. Две версии: или он бежал (но почему он тогда ни слова не сказал мне?), или попался в руки бандитов, вступил с ними в перестрелку и был... убит». И т. д.

Протасов отправил с дедом Никитой Шапошникову пятьсот рублей на нужды колонии ссыльных.

Филька Шкворень болтал в кабаке:

— Я дружка своего нашел, Ваньку Ражего. Самый каторжник, сволочь, живорез. В Киренске-городе, вишь ты, пригнали из острога каторжан баржу разгружать, сто человек. Они взяли сговорились да драку промеж собой ночью завели. Солдаты трусу спраздновали. А варнаки под шум, под шухер — тягаля. Двадцать два человека бежало, восьмеро убито... Теперича Ванька Ражий у нас на прииске работает, в шахте сидит забойщиком. Только никто не знает, который он есть.

Россказням Фильки никто не верил. Мало верили и приставу. Однако пристав предпринимал меры сыска. Судебный следователь вел следствие о поджоге бараков.

А Прохор Петрович на эти слухи и ухом не повел. Он с жаром принялся за подготовку юбилейных торжеств. Прежде всего он разослал в Петербург и

Москву несколько пригласительных телеграмм. Парчевскому поручено составить осведомительную статью для газеты «Новое время». Илья Сохатых направлен на реку Большой Поток за невиданным осетром в двенадцать пудов весом. Мистер Кук с главным бухгалтером Крещенским, напролет просиживая ночи, готовили живописнейшие диаграммы, графики по всем отраслям работ. Образцов, Абросимов и другие инженеры и техники устраивали на всех шести этажах башни «Гляди в оба» показательную выставку, Федотыч чистил обе пушки толченым кирпичом.

Из уездного города выписано восемь поваров и десять официантов. Штат лакеев из местных расторопных парней готовил Иннокентий Филатыч при помощи Ивана, лакея мистера Кука. Вдобавок к своему доморощенному оркестру выписывался оркестр бальный. Прохор приказал добыть полдюжины каруселей. И они будут. Дьякон Ферапонт организовал хор в полсотню певцов. Новый учитель Аполлинарий Хрестоматиев, человек не старый, дельный, но любитель выпить, написал и положил на ноты торжественную кантату.

Прохор меж тем, взбадривая себя кокаином и выпивкой, надрывался в изобретательских хлопотах. В разных местах воздвигались триумфальные арки, устраивались электрические транспаранты, делались в тайге искусственные снежные полянки (вместо снега — соль): там будут чумы с тунгусами и запряженные в нарты олени.

Званых гостей со всех концов России — триста человек. В Питере заказаны по телеграфу двадцать пять золотых жетонов для почетнейших лиц, а для господина губернатора, обещавшего быть на торжестве, выписан из московского антикварного магазина севрский чайный сервиз.

Анна Иннокентьевна от участия в помощи Нине отказалась. Она шла к ней переговорить по поводу своего отказа, но, завидя идущего навстречу ей Прохора, демонстративно свернула в проулок и посверкала из-за угла на проходившего злодея своего глазами разъяренной пантеры.

— Идиотка толстомясая, — понял ее маневр Прохор. — Будто я виноват, что она какого-то старого дурака на себе женила.

Он до сих пор не знал, что отец его, Петр Данилыч, живет в пяти верстах отсюда, в собственном доме. Нина не нашла еще случая сообщить об этом грозному мужу.

4

Все шло благополучно. Прохор сумел утопить в суетных делах тяжелые свои мысли и переживания и пока что чувствовал себя не плохо. Предстоит широкая гульба, приятельская встреча с почетными гостями — пир горой, апофеоз богатой его славы. Но все это лишь проходной этап, лишь краткий роздых, лишь преддверие дальнейшего шествия его к могущественным целям. Да, пожалуй, он в этих самых выражениях произнесет свою застольную речь на пиршестве.

Затем утихнут пушки, смолкнет звяк бокалов, власти разъедутся, чтоб по крайней мере десять лет не заглядывать в этот медвежий угол. Тогда Прохору сам черт не брат. И — прочь с дороги все бабьи призраки, все Анфисы, Синильги, пустынники. Берегись и ты, Протасов, развративший Нину, и ты, Нина, со своими друзьями-рабочими! Дорогу капиталу, дорогу энергии, дорогу практическому делателю жизни! Смирно! Руки по швам, рабы!

Меж тем почтенный осетр плыл как бы по воздуху, в мертвецки пьяном виде. Был выпивши и сам Илья Сохатых, он орал от скуки песни, изъяснялся по-французски с проводниками-крестьянами, сплевывал через губу и едва не падал с седла под ноги кобылки. А чудо-осетр, в сравнении с Ильей Сохатых, был величав весом, дородством и молчанием: тупорылый, усатый, в костевидной ребристой чешуе, он мирно почивал, как в зыбке, в брезентовом парусе, подвешенном между шестью лошаденками, по три с каждой стороны. Четверо верховых мужиков, пятый Илья, сопровождали владыку рыб на пиршество к владыке капитала.

У Ильи Сохатых в тороках две четверти хлебного спирту: сам пьет и осетра поит. Знаменитый рыбак Сафронов, отправляя Илью в путь, сказал:

— Мы имеем все средствия рыбу без водички доставлять. Конешно дело, можно было бы агромаднейшую бассейну сделать, как в зоологическом саду, только к любилею не поспеть тогда. А ты, кудрявый, вот что. Гляди!.. — Рыбак Сафронов намочил в спирту два пучка пакли и засунул осетру под жабры. — Понял? Он таперича должон уснуть, как пьяный. А чрез сутки проспится, начнет хвостом бить и зебры раззевать. Ты ему опять такую же плепорцию на опохмел души. Он опять округовеет. На пятые сутки давай побольше. Он уж к той поре вопьется, в полный вкус войдет. Так, благословясь, в нетрезвом виде и доедет до самой любилеи, то есть выпивши.

Илья Петрович так и делал. Когда ему невмоготу в седле, его укладывали в брезент с осетром, он засыпал в обнимку с ним, как с Февроньей Сидоровной. Илья храпел, рыбина помалкивала.

Наконец к торжествам все готово. Осетр привезен, пущен в приготовленный садок, в воде быстро прочухался, ударил хвостом, заплавал. Народ сбегался смотреть на него, как на морское чудовище. Он выставлял напоказ башку, водил усами, шлепал жабрами, просил опохмелиться.

Семейство Громовых перебралось в новый дом-дворец. Дом деревянный, но большой, разделен кирпичными брандмауэрами на три части. Самая обширная комната, где будет дан банкет, имеет площадь в семьдесят квадратных сажен. Отделана полированным ясенем и птичьим глазом. Остальные двадцать пять комнат блистали узорным паркетом, мебелью, коврами и общей роскошью убранства. Была особая комната для волка. Была комната-сад для певчих птиц, порхавших там на относительной свободе.

Штат постоянной прислуги значительно расширен. Появились две новые горничные, две гувернантки, три лакея, два швейцара, истопники, полотеры, управитель дома. Прохор решил жить широко, владетельным князьком.

Помаленьку начали съезжаться приглашенные.

К удивлению Прохора Петровича и к сильному огорчению пана Парчевского прежний губернатор был смещен в связи с делом о расстреле рабочих. Приехал с официальным визитом, а главным образом, для детального знакомства с предприятиями, новый губернатор Перетряхин-Островский. Он военный генерал, коренастый, низенький, молодящийся, но довольно старый. Иссиня-черные накрашенные усы, седые, гладко стриженные волосы, низкий лоб. Говорит глухим басом и, чтоб навести трепет на обыкновенных смертных, устрашающе вращает выцветшими крупными глазами. Между тем в душе большой добряк и любитель сальных анекдотов. С ним — чиновник особых поручений Пупкин, жердеобразный юноша с надвое расчесанной светлой бородкой; в манерах изыскан, предан начальству, хохотун, женолюб и лакомка. С генералом — такой же старый, как и сам барин, лакей его Исидор Кумушкин; он глуховат и глуповат, но услужлив и верен как собака. На белых щеках — старинные, николаевской эпохи, бачки.

— Хо-хо-хо... — загремел басистым смехом низкорослый генерал, привстав на цыпочки и обнимая за шею, как давнишнего приятеля, почтительно склонившегося Прохора. — Рад, рад... Чрезвычайно рад... Ну, как у вас тут? Что? Хо-хо-хо!

— Да вот, ваше превосходительство... Трудимся. Я очень польщен, что соизволили...

— Рад, рад... И торжества и нечто вроде ревизии... Но вы не смущайтесь, не смущайтесь... Надеюсь, все в порядке?..

— Будьте уверены, генерал...

Губернатор совместно с Протасовым и чиновником особых поручений Пупкиным разъезжали по предприятиям с осмотром. Губернатор покрякивал, крутил усы, устрашительно вращал очами, а сам, как говорится, ни аза в глаза. Впрочем, на золотом прииске он подозвал бородатого рабочего, спросил:

— Кто пред тобой стоит?

— Вы, ваше превосходительство, — снял рабочий шапку.

— А кто такой — я?
— Старый заслуженный генерал. Вояка...
— Сколько мне лет, по-твоему?
— Да так... годков... семьдесят пять, пожалуй.
— Дурак! Да, может быть, я моложе тебя, — бросил генерал и, закряхтев, пошел дальше. А сопровождавшему его Протасову сказал: — Мне никто, никто не дает больше сорока девяти лет. Даже женщины. Хо-хо-хо!..
— Что женщины не дают, это понятно, но и я не дал бы вам, ваше превосходительство, семидесяти пяти лет, — совершенно серьезно заметил Протасов. — На рабочего просто нашло затмение, растерялся.
Генерал остался очень доволен и ответом инженера и постановкой дела.
Пупкин же относился к осмотру по-иному: во все вникал, все записывал в книжечку, где надо и где не надо подхохатывал, перемигивался с красивыми девчонками.
Прохор, узнав повадку Пупкина, велел познакомить его со Стешенькой и Груней. Сводником был назначен Илья Сохатых.
— Только предупреди девок, чтоб вели себя скромно. Чтоб не допускали, — наставлял его Прохор.
— Слушаю-с... А кроме того, охотничий сужет хочу предложить вам. Господин губернатор оказались завзятый охотник: они по дороге на шпалопропитный завод изволили собственноручно застрелить двух куриц, а петуха — обра́нили. Дали за это тетке Дарье золотой и изволили сказать: «Хорошо бы поохотиться в тайге». Исходя из сужета минимальности, я хотел предложить вам устроить высокоторжественную облаву на медведя... Курсив мой.
— Да ты с ума сошел! Подвергать генерала риску...
— Никак нет-с. А нам с Иннокентием Филатычем блеснула блестящая идея... Обрядить в персональную медвежью шкуру человеческое живое существо, Фильку Шкворня. Он изъявил индивидуальное согласие.
Прохор раскатисто захохотал.
— А вдруг подстрелит?

— Обязательно должны ухлопать наповал. Филька Шкворень упадет, зарявкает, задрыгает задними конечностями и подохнет. Его превосходительство господин губернатор подбегут, пнут в медвежий сужет ножкой и уедут. Филька согласен за двадцать пять рублей и новые сапоги.

— Я все-таки не понимаю...

— Ах, какие вы непонятные!.. Мы вложим господину губернатору холостые патроны без пуль. Комментарии излишни.

Прохор доволен. Но накануне охоты случился с генералом трагикомический казус. Губернатор Александр Александрович Перетряхни-Островский любил, как большинство стариков, рано вставать. Природа здесь прекрасная, прогулки удивительные. Напившись чаю, он в шесть утра проследовал со своим слугой и собачонкой на легкий променаж. Губернатор в рейтузах с широкими красными лампасами шел впереди, Исидор Кумушкин чуть позади хозяина.

Генерал выступал не спеша, браво, по-военному, пристукивая тростью, и в такт своим шагам отрывисто покашливал: «Кха! Кха! Кха! Кха!» Пузатенькая собачонка, видимо в подражание хозяину, тоже в такт с ним, покряхтывала: «Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!»

Так, покряхтывая и покашливая, благополучно миновали они усыпанный песком плац пред пожарной каланчой. Исидор Кумушкин тащил на руках шинель барина — ярко-красной подкладкой вверх. И вдруг огромный козел, сидевший по случаю приезда знатных гостей на привязи в пожарной, увидав красный цвет, яро оборвал веревку, догнал Исидора Кумушкина и с наскока так сильно долбанул его рогами в зад, что Кумушкин кувырнулся головой в пятки барина, а собственными пятками огрел генерала по спине.

— Что? Что? — крикнул генерал и тоже кувырнулся, сбитый козлиными рогами. Оба старца ползали на карачках, козел вилял хвостом, метился рогами куда надо. Собачонка Клико, распластавшись в воздухе, со страху неслась как угорелая вдоль улицы.

— Козел?

— Козел, ваше превос... Караул!.. Ай! — И Кумушкин снова перелетел чрез генерала.

— Эй! Люди! — закричал генерал, приподымаясь, и от ядреного удара в зад, как морской дельфин, колесом перекинулся через лакея. Туго натянутые на толстые ноги рейтузы генерала от напряжения мускулов лопнули.

Выскочили — в касках — перепуганные пожарные с веревками. Козла поймали. Генерал встал, отряхнулся, накинул на плечи шинель, хотел распушить пожарных и собственноручно застрелить козла, но, ни слова не сказав, последовал дальше. За ним, прихрамывая, лакей. За лакеем собачка Клико с высунутым языком.

«Кха-тяф! Кха-тяф! Кха!» — замирало вдали.

А как спустились к реке, побледневший генерал вновь налился пунцовой краской и загромыхал тяжелым хохотом:

— Не угодно ли?.. Хо-хо-хо! Вернемся в город, вот моей Софи будет потеха. Только, чур, я первый расскажу...

— Слушаю-с, ваше превосходительство...

Гости меж тем подъезжали со всех сторон пачками. Из уездного города, кой-кто из губернского, из местных сел. Дороги пылили под копытами троек, пар, а то и просто верховых лошадок. Прибыл исправник, четыре купца, два пристава, трое лесничих, два доктора, два священника. Все — с женами. Это из уезда. Из губернии наряду с крупным чиновным и коммерческим миром приехал, вместо приглашенного архиерея архимандрит Дионисий, человек средних лет, упитанный, веселый, относящийся к религии как к выгодному ремеслу. Еще были три знатнейших сибирских купца. У двоих отцы занимались когда-то разбоем, а третий, большеголовый старик, украшенный золотою медалью за какие-то доблести, в молодых годах сам был при большой дороге разбойником; он имел возле виска зарубцевавшийся шрам от удара в лоб шкворнем. Из Москвы прибыли именитые купцы Повторов и Страхеев. Из Петербурга — два круп-

ных кредитора Прохора Петровича; оба из той группы столичных дельцов, которую так ловко оплел в Питере Иннокентий Филатыч, делец таежный. Купец Рябинин, как лопата, тощий, с черной узенькой бородкой, тот, что председательствовал на печальной памяти «чашке чая». Другой купец, Семен Парфеныч Сахаров, бородатый старик старозаветного вида, — тот, что на «чашке чая» орал благим матом: «Мошенники вы с Громовым! Мерзавцы вы!» Они оба, здороваясь с Прохором Петровичем, сказали:

— Ох, и нагрел, и нагрел ты нас, дружок!..

— Простите великодушно, — улыбнулся в бороду Прохор. — Ведь я тогда в беспамятстве был после пожара...

— Как бы в беспамятстве, как бы после пожара, — упирая на слово «как бы» и смеясь, подхватил юркий, просвещенный коммерсант Рябинин.

— Ох, уж это «как бы», — погрозил мастодонистый Сахаров пальцем с крупным бриллиантом.

— Вот она, статья-то, вот! — весело выхватил из кармана газетную вырезку Рябинин. — Везде «как бы» да «будто бы»... «будто бы сгорел», «будто бы разорился». А мы, дураки, и слюни распустили. Ха-ха-ха!.. Ну да ничего... Мы свое возьмем...

— Во-о-зьмем... Завсегда возьмем.

— Во-о-зьмем!..

Эта сквозь шутку угроза не особенно понравилась Прохору. «Не замышляют ли что-нибудь, черти? Ну, да если уж надеются взять с меня, так я-то с них вдесятеро сумею взять. Кожу с зубов сдеру».

5

Губернатор в тайге впервые. Когда он узнал, что его будут на медвежьей облаве охранять лучшие звероловы-медвежатники и, таким образом, нет ни малейшего шанса на опасность, генерал взбодрился и принял предложение с энтузиазмом. На вздохливые же запугивания Исидора Кумушкина: «Козлиное предзнаменованье, ваше превосходительство... Не

к добру это... Не извольте ходить на охоту, вредно...» — генерал сказал:

— Брось, старик, ныть. Ты видал, как я курицу долбанул в хвост!

— А козел, ваше превосходительство, того чище изволил долбануть вашу милость. А вы на медведя хотите. Медведь не козел и не курица. Уж ежели мишка долбанет, то глазки закроете.

— Брось! Со мной стрелки, охрана.

— Как угодно, — поджал Исидор губы. — А только что я вашу милость не оставлю. Уж умирать, так вместе, ваше превосходительство. Советовал бы вам пред облавой причаститься, ваше превосходительство. Сохрани бог! Ну и отчаянные вы!.. Эх, жаль, что нет здесь вашей мамзель Софи!..

— Хо-хо-хо... Воображаю. А она тебе нравится, старик?

— Да субтильнее их нет никого на свете, ваше превосходительство... — зажмурился, как кот, Исидор Кумушкин и сладко облизнулся. — Одни ручки чего стоят.

— Хо, ручки!.. Ты бы ее ножки посмотрел...

— Ку-у-да... — безнадежно крутнул лысой головой Исидор и весь собрался в сплошной поток смеющихся морщин. — Это вам по молодости лет...

— Да-да... — поднял плечи генерал, отставил погеройски ногу и крутнул иссиня-черные усы. — Я еще совсем во цвете сил. Хо-хо!.. А ты мои штаны заштопал?

Генерал выехал в тайгу со свитой. Плелся с Ильей Сохатых в одноколке и причастившийся у священника Исидор Кумушкин. Он вел с Ильей душеспасительные беседы и напевал псалмы, как пред смертью. Илья Сохатых нарочно застращивал старика, рассказывая разные небылицы про медведей. Исидор вздыхал, крестился.

Врали и в четырехместном экипаже генерала. Рядом с ним — инженер Парчевский, напротив — пристав. Он всячески лебезил перед губернатором, снимал с него каждую пушинку, на ухабах поддерживал под локоток, покрикивал кучеру: «Легче! Не видишь, кого везешь?!»

— У меня, ваше превосходительство, была собака-ищейка, — не улыбаясь, с серьезным, достойным полного доверия лицом разглагольствовал пристав. — Она, эта ищейка Дунька, такой кунстштюк выкинула. Я на прогулке спрятал в кусты портмоне с мелочью, отошел с версту и велел Дуньке искать пропажу. Она чрез двадцать минут приносит мне чужой чей-то бумажник, а в нем сто рублей.

— Хо-хо-хо! — гремел генерал на всю тайгу.

— Да-с. И бежит что есть духу голый человек за Дунькой, бежит и размахивает невыразимыми подштанниками. В чем дело? Оказывается, моя проклятая Дунька, не найдя моего кошелька, выудила бумажник у купавшегося субъекта...

— Хо-хо-хо!.. Неужели верно?

— Факт, факт, факт, — не моргнув глазом, трясет щеками пристав.

— А вот у моего брата был членораздельно говорящий сенбернар, — начинает Парчевский, подбоченившись. — Так можете себе представить: пес смотрит на стоящий в небе месяц, по-собачьи улыбается и произносит басом: «Лу-на».

— Ну, уж вы тоже скажете...

— Уверяю вас, генерал, уверяю вас!..

Парчевский ведет себя независимо: он всю ночь с приезжими купцами-золотопромышленниками дулся в карты, выиграл около четырех тысяч.

— Возможно, что такие феномены бывают на свете, — кашлянул в усы пристав и, придумывая, как бы переврать Парчевского, услужливо подхватил губернатора под локоток.

В это время зашитый в медвежью шкуру Филька Шкворень посиживал возле берлоги, страшно прел, от скуки матерился и время от времени просовывал в медвежью оскаленную пасть горлышко бутылки, чтоб оросить свой пересохший рот.

А саженях в пяти, в трущобе, лежала черно-бурая туша вчера убитого огромного медведя.

— Едут! — закричал с высокого дерева дозоривший мальчишка.

Иннокентий Филатыч — бегом к Фильке Шкворню:

— Залезай, дружочек! Едут!

Филька поспешно допил водку и залез в провал под корневище древней елки. Иннокентий Филатыч прикрыл лаз хворостом и побежал навстречу тройкам.

— Хо-хо-хо!.. Ну, так... Где мое ружье?

— Ваше превосходительство, батюшка! Прощайте... — кинулся генералу в ноги Исидор Кумушкин, до смерти напуганный Ильей Петровичем Сохатых. — Прости меня, грешного, — и заплакал.

— Старик, старик!.. Как не стыдно?.. Будь героем... Мужайся!

— Ох, мужаюсь... Ох, мужаюсь!.. — бормотал слуга, не видя от слез света. — Не столь мужаюсь, сколь пужаюсь...

Иннокентий Филатыч услужливо подал генералу бельгийскую, с нарезными стволами, двустволку Прохора, заряженную пороховыми, без пуль, патронами. О секрете знали Прохор, Илья Сохатых, Иннокентий Филатыч и сам медведь. Впрочем, еще накануне пьяный Филька кой-кому проболтался:

— Завтра меня губернатор будет убивать... Собственноручно...

— Чего врешь! За что?

— За двадцать пять рублей...

Генерал браво встал на первый номер, саженях в двадцати от берлоги. Сзади него, справа и слева, встали два зверолова — крепких старика, которых Иннокентий Филатыч еще вчера предупредил: «Не сметь стрелять. Зверя должен убить сам губернатор».

— А вы уверены, что мишка в берлоге? — взволнованным голосом спросил генерал.

— Так точно, в берлоге, ваше превосходительство! — отрапортовал, взяв под козырек, пристав.

— Стрелки! Вы уверены в себе? — притворяясь храбрым и устрашающе выкатывая глаза, обернулся к звероловам губернатор.

— Не бойся, господин барин, — спокойно ответили звероловы, — будь в надёже.

— Да я и не думаю бояться. Я собственноручно пантеру убил в Африке,— приврал генерал нарочно громким голосом, чтоб все слышали.

Звероловы прекрасно знали, что летом медведя и палкой не загнать в берлогу, что медвежьи берлоги сроду не бывают на опушке леса; звероловы догадывались, что над губернатором «валяют ваньку», и, ухмыляясь про себя, тоже прикидывались взволнованными и готовыми пожертвовать собой за губернатора. Но все-таки предусмотрительный Иннокентий Филатыч счел нужным издали подкашлянуть и погрозить им кулаком.

Вверяя себя воле божьей и зная, что отказаться от рискованной затеи теперь поздно, генерал внимательно повертел головой, как бы изучая местность, куда, в случае катастрофы, утекать. Сзади, шагах в сорока, — вооруженные верховые стражники, кучка людей, отошедший к ним пристав и верный слуга Исидор Кумушкин, сразу поглупевший, как младенец.

— Подымайте мишку, — упавшим голосом приказал генерал и взвел оба курка.

— Вали! — весело крикнул Иннокентий Филатыч стражникам.

Те что есть силы заорали, заулюлюкали — «гой, гой, гой!..»

— Стоп! — скомандовал Иннокентий Филатыч.

Все смолкло. Пан Парчевский из предосторожности вскочил на чью-то верховую лошадь.

Из берлоги раздался глухой медвежий рев. Исидор Кумушкин зажмурился и, чтоб не слышать выстрелов, заткнул оба уха перстами. Медвежий рев повторился со страшной мощью. На глаза генерала от сильного волнения набежали слезы: «Батюшки, — подумал он, — пропал!» Но медлить некогда: из берлоги, рявкая, как двадцать стервятников-медведей, вылез в медвежьей шкуре Филька Шкворень, всплыл на дыбы, вскинул вверх передние лапы и сделал три шага к генералу.

«Бах! Бах!» — грянул генерал. Медведь заревел пуще и шагнул вперед, — генерал бросил ружье и, чуть не сшибив с ног зверолова, как заяц, помчался прочь.

— Упал! Упал!.. — кричали со всех сторон. — Упал!

— Упал? — остановившись, прохрипел генерал Перетряхни-Островский. — Не угодно ли, как я его, разбойника, срезал... С первой пули! А другую уж так, за компанию... в воздух.

— Этто удивительно, удивительно, удивительно, ваше превосходительство! — тряс щеками, пожимал плечами, ударял себя по ляжкам и в то же время умудрялся козырять пристав. — Такого стрелка, как вы, впервые вижу, ваше превосходительство, — не переставая, восторгался он.

— Убили, что ли, зверя-то? — подкултыхал к кучке, окружавшей генерала, трясущийся Исидор Кумушкин.

— Убили, старина. Я убил!

— Ну, слава тебе господи, — перекрестился Исидор, и запасные генеральские кальсоны выпали из под мышки старого лакея.

— Хо-хо! Это кому? — закатился повеселевший генерал и лукаво погрозил смутившемуся Исидору толстым пальцем.

Медведь еще подрыгивал задними лапами, потом затих. Шесть человек во главе с начальником губернии сгрудились возле подохшего медведя.

— Ну, что, брат, лежишь? Хо-хо-хо...

Но в этот миг подоспевший пристав, не зная, чем подольститься к генералу, сказав: «Да он, кажется, каналья, жив еще», — вдруг выстрелил в медведя из револьвера.

— Караул! Убили... — взревел медведь и сел по-человечьи. — Жулики вы все!.. И губернатор жулик...

Людей молниеносно охватила паника: впереди всех на согнутых ногах улепетывал толстобрюхий пристав, за ним кто-то еще, еще, потом Парчевский, а позади — тяжело пыхтящий, брошенный всеми пучеглазый генерал.

— Вот вы не верили, ваше превосходительство, — задержался Парчевский, — что собака выговаривала «луна»...

— А подите вы со своей глупой луной!.. Фу! Устал... Но почему ж его не застрелят?

— Ваше превосходительство! — подскакал на коне весь насыщенный внутренней веселостью, но серьезный лицом урядник. — Медведь лежит мертвый... Это всем показалось, ваше превосходительство... Возле медведя вас изволит ожидать фотограф.

— Значит, медведь убит мной?

— Так точно, вами, ваше превосходительство.

— Фу! Ничего не понимаю. Исидор! Где Исидор? Идите, господа, к медведю. Я сейчас. — И, оставив всех, генерал нетвердой, располагающей к многим догадкам походкой удалился с дрожавшим Исидором в густой кустарник.

Меж тем Филька Шкворень был вытряхнут из шкуры, посажен в одноколку и увезен Иннокентием Филатычем. Пристав, опрометчиво не посвященный в тайну облавы, ранил Шкворня в мякоть ноги.

— Я, понимаешь, думал, в сердце, — подбоченясь, героем катил Филька Шкворень. — Теперича я меньше сотни не возьму.

— Не хнычь, дадим, — настегивал кобыленку Иннокентий Филатыч и заливался тихим смехом в серебряную свою бороду.

Теперь решительно все присутствующие, конечно, кроме генерала и Исидора, знали про рискованную затею с медведем, прыскали таящимся смехом, подмигивали друг другу, грозили пальцами.

— Чш... Идет... — И все как умерло.

Генерал позировал фотографу, как великий путешественник Пржевальский. Гордо поставив ногу на шею матерого заранее убитого медведя, генерал левой рукой залихватски подбоченился, а в правой держал наотлет ружье.

— Я удивляюсь, господа, — говорил он, посматривая на всех из-под огромного козырька фуражки. — В чем же дело?

— Ваше превосходительство! — снял шляпу Илья Сохатых. — Это, исходя из факта теоремы, не более, как проходивший спиртонос-чревовещатель. Комментарии излишни.

— Ты кто такой?

— Я коммерческий деятель, Илья Петрович Сохатых, ваше превосходительство.

— Ага... Гм.. Ну?

Путаясь и со страху заикаясь, Илья Петрович в высокопарных выражениях объяснил, что человечьим голосом проговорил тогда затесавшийся среди них спиртонос, известный всей тайге нахал, что его, к сожалению, не удалось поймать, и что все побежали от мертвого медведя «вследствие оптики слуха и аксиомы зрения».

— Ага! Мерси, — устало улыбнулся губернатор.

Прохор Петрович на облаве не участвовал: болела голова, сбивались мысли, в душе нарастала какая-то сумятица, он остался дома. Но там втюхался в нечто совершенно непредвиденное.

Незадолго до обеда, в день охоты, когда он, утомленный, сидел в своем кабинете на башне, перед ним, как лист перед травой, предстал отставной поручик Приперентьев.

— Простите, пожалуйста, Прохор Петрович... Но я, высоко расценивая вашу роль в промышленном мире, не преминул лично явиться к вам с поздравлением... Хотя, к сожалению, и не был зван...

— Извините, поручик...

— Бывший поручик... Аркадий Аркадьич Приперентьев, если изволите помнить.

— Это ошибка моей конторы... Аркадий Аркадьевич... Но, припоминается, приглашение вам должны были послать.

«Подлец, мерзавец, шарлатан! — думал, внутренне загораясь, Прохор. — Вот тебя бы, шулера, надо на медвежью охоту-то послать, тебя бы надо волкам стравить».

— Ну-с, а как мой бывший прииск?

— Ничего... Работаем.

— Прекрасно, прекрасно. Очень рад.

Прохор с нескрываемым презрением присматривался к Приперентьеву. Какая неприятная сомовья морда!.. В глазах — прежнее нахальство, наглость. Уши оттопырены, лицо пухлое, красное, рот, как

у сома, с заглотом. Башка лысая. Весь бритый. В русской темно-зеленого сукна поддевке.

— А вы не знаете петербургского купца Алтынова? — резко, колким голосом спросил Прохор Петрович, и губы его задергались.

— Ах, того?

— Какого — того?

— Так, между прочим. Гм. Знаю, знаю... Он тоже вступил в пайщики некоего золотопромышленного общества.

— Какого еще общества?

— Пока секрет-с...

«А и набью же я этому сукину сыну завтра морду... Напьюсь на торжестве и набью», — опять подумал Прохор.

— Вот не знаю, где мне устроиться? — ласково заулыбался Приперентьев, оскаливая сомовий рот. — Я с вещами.

— Попроситесь к кому-нибудь, — грубо сказал Прохор и встал, давая понять Приперентьеву, что разговоры кончены. — У меня, к сожалению, все помещения распределены между приглашенными на торжество моими гостями.

— Гм... Пардон... Да-да... — промямлил Приперентьев, нахлобучил на голую голову дворянскую с красным околышем фуражку, небрежно бросил: — Адье, — и, злобно пыхтя, вышел из кабинета. На ходу думал по адресу Прохора: «Ну и попляшешь ты завтра у меня, битая твоя морда!»

Прохор мрачно поглядел в широкую спину посетителя, на красный, как кровь, околыш его фуражки и, когда дверь с треском захлопнулась, угрюмым, надтреснутым голосом сказал в пустоту:

— Проклятые! Все, все, до одного, против меня. Начиная с Нины. Как нарочно. С ума свести хотят.

Выведенный из равновесия, он шумно дышал, машинально перекладывая вещи на письменном столе, пугливо, как одинокий в темной комнате ребенок, озирался по сторонам. В его мозгу поскрипывали расстроенные колеса механизма. «Завтра, завтра... — сбивчиво думал он. — Вот завтра я их в порошок

сотру, всех унижу. Да, да, обязательно унижу. Генерал, золотопромышленники, акционерное общество какое-то, купчишки. Ха-ха!.. Подумаешь... Дерьмо собачье! Да вот этот бородач Сахаров, мильонщик. Он только и умеет, что колокола в монастыри жертвовать. Ему батька-старовер шесть миллиончиков чистоганом оставил. А я с медного пятака начал, сам. Да они все, с генералом вместе, в подметки мне не годятся. Да я им, кошкиным сынам, завтра всем зады паюсной икрой вымажу — и лизать заставлю... Стой! Стой, стой... Тогда зачем же я их звал на торжество? Что за чушь, что за чушь... Нет, нет... Все хорошо будет, как в княжеских домах. Господи, что такое со мной?» Он провел холодеющей ладонью по лбу и с боязнью в помутившихся глазах стал прислушиваться к самому себе. За последнее время он опасался предаваться своим мыслям и все-таки не мог отстать от них. «Они воображают, что я свихнулся. Кто — они? Нина и Протасов. Дураки, идиоты. Да я и сумасшедший умней их во сто раз».

Прохор усталыми шагами подошел к зеркалу и долго, пристально смотрелся в него. Выражение глаз было растерянное, далекое, с внутренним мельканием распада души. Но Прохор подметить этого не мог.

6

Тремя пушечными выстрелами было возвещено миру, что юбилейные торжества в резиденции «Громово» открыты.

Многочисленные делегации от служащих, отдельных заводов и цехов, а также самозванные, не уполномоченные большинством представители рабочих принимались Прохором Громовым в Народном доме под звуки доморощенного оркестра. Народный дом обильно декорирован зеленью и национальными флагами. Приветствия и адреса звучали неискренне, преувеличенно-хвалебно, подобострастно. Но возбужденный Прохор принимал всю лесть за чистую монету и сам набирался вдохновения для гордой ответной речи.

В полдень в Народном доме и возле него открылся обед для рабочих. Обедом распоряжалось полтораста человек, во главе с Иннокентием Филатычем.

А почетные гости двинулись вместе с хозяином на осмотр выставки и ближайших предприятий. Объяснения давал сам Прохор Петрович. Небольшими группами гости поочередно подымались на вершину башни.

С востока на запад широким плесом плавно текла Угрюм-река. С церковью, с большими и малыми домами и домишками, с новыми хоромами хозяина, утопая в зелени садов и огородов, поселок раскинулся по правому, возвышенному берегу. Десятки высоких кирпичных труб и заводских корпусов тянулись вправо и влево вдоль реки. Наплавной мост и два парома соединяли разъятую водою землю. По волнам шныряли катера, баркасы, лодки, ялики. Большой караван барж, плотов и паузков растянулся на много верст. Все пестрело тысячами разноцветных флагов. А кругом этого промышленного уголка, бог весть какими чарами поднявшегося из земли в безлюдном гиблом месте, разливанное море уходящей во все стороны тайги.

— Ну и молодец вы, Прохор Петрович! — наперебой искренне восторгались гости. — Прямо надо сказать — русский американец, самородок.

По пути на прииск «Достань» весь обоз гостей остановился на берегу Угрюм-реки позавтракать. Все не без приятности расположились на приготовленных коврах. Губернатор с Прохором Петровичем и пятью почетнейшими гостями сидели под ковровым балдахином. Все ели и выпивали жадно. Гремела музыка, пел хор цыган, были пляски. Осмотр закончился в три часа дня. А в шесть назначен торжественный обед.

У Нины Яковлевны «полон рот» хлопот. Правда, ей усердно помогают дамы, жены инженеров и сам пан Парчевский. Мистер Кук с радостью примкнул бы к штату Нины, но он знал, что вряд ли в состоянии будет оказать какую-либо помощь, а к тому же он зубрит пред зеркалом застольную речь, которая ему не удается.

— Много превосходный... Прохор Петрович Громофф! Вы есть самый лучший пионер... — говорит он зеркалу, раздувая порезанные бритвой крепкие обветренные щеки. — Пардон, пардон. А дальше? Нет, как это, как это?.. — Он вдруг припоминает русскую пословицу: «Хлеб ешь с солью, а правду режь ножичком»... — Очшень харрош... О! О!.. — Но и пословица не помогает: вдохновенья нет, в голове заскок, неразбериха.

...Рабочие обедом удовлетворены. Разбрелись по каруселям, балаганам, качелям, слушают песни цыган, пляски, сами пляшут, купаются в реке. Вообще благодушествуют. Всюду порядок, пьяных нет. За Филькой Шкворнем, лежащим в бане Иннокентия Филатыча, ухаживают просвирня и старуха знахарка. Филька чувствует себя прекрасно, пьет, ест, орет разбойничьи песни.

Многие приглашенные, в особенности из местной знати, накануне торжественного дня большими порциями принимали касторку: мужчины, чтоб приготовить пищеварительные органы к наибольшему поглощению вкусной пищи, женщины, кроме этой цели, руководились и другой: по их наблюдениям касторка придает особый блеск очам.

В половине шестого двери парадной столовой открылись. Предшествуемые губернатором, под руку с Ниной Яковлевной, и Прохором Петровичем, под руку с хорошенькой женой золотопромышленника Хряпина, гости парами идут по коврам в столовую, сверкающую хрусталем, серебром, бронзой и фарфором, путано топчутся возле стола, разыскивая печатные карточки с указанием места каждому.

Возле ближнего узкого края стола сел губернатор, справа от него Нина, слева отец Александр. У дальнего конца — Прохор Петрович, Протасов и хорошенькая, похожая на итальянку, Хряпина. В центре стола важно восседал нахрапом залезший Аркадий Аркадьевич Приперентьев, рядом с ним — пан Парчевский, купцы Рябинин и Сахаров. Красивый архимандрит Дионисий имел справа и слева от себя двух местных красоток: жену инженера и дочь подрядчика.

Был председатель контрольной палаты, действительный статский советник Нагнибеда, директор гимназии с сыном-студентом, начальник горного губернского правления с супругой и прочие.

Чести быть приглашенным удостоился и Илья Петрович Сохатых. Он, старшие служащие и кое-кто из второразрядной уездной знати обедали за отдельным столом. Великолепный же дьякон Ферапонт, облаченный в широкую табачного цвета шелковую рясу (дар Нины), сидел вблизи пристава, возвышаясь на две головы над всеми. Он суров и темен ликом, он стыдится грубых богатырских рук своих, навсегда почерневших от кузнечной работы. Отец Александр строжайше запретил ему произносить многолетие в полный голос, опасаясь, что именитые купцы развесят уши и, чего доброго, переманят его в столицу:

— Прогнуси как-нибудь... поневнятней: «Горлом страдаю, мол».

К величайшему сожалению, автор этого романа к началу обеда запоздал, автор не будет изображать изысканного великолепия громовского пира, автор лишь попал к моменту, когда губернатор, с бокалом шампанского в трясущейся руке кончал свой спич:

— ...во всей природе. Я вас спрошу, господа, что может быть ценнее и краше золота, которое наш гостеприимный хозяин, во благо царю и отечеству, добывает из недр земли? Краше золота, блестящей бриллиантов, господа, это — женская святая красота. Значит, эрго: женщина есть венец творения. И, присутствуя среди такого рода женщин, я с великим благоговением пальму первенства отдаю в ручки нашей божественной хозяйки, поистине царицы бала, великолепной Нины... Ээ... ээ... Нины Яковлевны...

— Урра!..

— Виноват, я не кончил, господа... — Достаточно подвыпивший вспотевший генерал почтительно нагнулся в сторону сидевшего слева от него отца Александра, осторожно подхватил его волосатую, в крупных веснушках руку, смущенно бросил: «Ах, пар-

дон», — и, быстро исправив ошибку, чмокнул нежную ручку сидевшей справа от него хозяйки. — Итак, господа, я пью за здоровье человека исключительной силы и славы, подобным человеком вправе гордиться вся наша матушка Русь! Я пью за здоровье господина Громова и его очаровательной богини Нины... ээ... ээ... Яковлевны... Ура, господа!

На правых хорах музыканты заиграли туш, на левых — доморощенный хор рявкнул «многая лета». В триста глоток гости кричали «ура»; те, что поближе, чокались с хозяйкой, с хозяином.

— У вас, генерал, прекрасный талант трибуна, — польстил старику отец Александр.

— Привычка, батюшка, привычка, — басил генерал, хрупая золотыми зубами поджаренный в сыре сухарик.

Ножи нервно застучали о тарелки, шум смолк, встал с ответным словом Прохор. Сразу зажглись четыре бронзовые с многочисленными огнями люстры. Поток света пыхом упал на белый стол и хлынул во все закоулки зала. Игра бликов и теней отчетливей отчеканила лица сидевших. Пространство наполнилось пышной торжественностью.

Подстриженный, рослый, суровый, во фраке, с орденом в петлице, врученным ему прибывшим из Петербурга чиновником министерства торговли и промышленности, Прохор Громов олицетворял собою фигуру крупного, сознающего свою мощь дельца.

Все взоры повернулись к нему. У женщин сладко замерло сердце, и глаза после касторки ослепительно блистали. Дьякон Ферапонт разинул рот. У генерала отвисла нижняя губа с зернышками осетровой икры. Из расщеперенного носика Ильи Сохатых упала прозрачная капля. Стешенька и Груня — дискант и альт, — вытянув лебединые шеи, перевесились через перила хор. Чиновник особых поручений Пупкин сделал им амурный жест рукой. Отставной поручик Приперентьев, оседлав свой мясистый нос огромными очками, уставился наглым взглядом в Прохора. Архимандрит Дионисий оправил мантию и наскоро провел гребенкой по усам и бороде. Нина — в волнении — насторожилась. Протасов внимательным взо-

ром изучал виньетку на столовой ложке. Червяк, ползущий по листку красовавшейся в вазе хризантемы, вдруг притих, готовясь всем крохотным тельцем своим внимать человеческой мудрости. И как только притих червяк, начал Прохор:

— Ваше превосходительство, милостивые государыни и милостивые государи! (Тут архимандрит со священником передернули в обиде плечами: оратор легкомысленно отнес их тоже к категории «милостивых государей», без всякого титула согласно духовному сану.) Вы собрались сюда, милостивые государыни и милостивые государи, чествовать Прохора Громова, то есть меня. Вы, званые, сошлись на это пиршество, чтоб разнести впоследствии по всему свету добрую весть о моих делах, то есть — о делах Прохора Петровича Громова и никого больше, никого больше... Ну что ж, очень рад. Спасибо. Спасибо... А впрочем...

Прохор колким взглядом окинул всю застолицу из края в край. Перед ним сплошь — маски, хари, звериные рыла. «Я растопчу вас всех... Презренная слякоть, мразь!» — говорили его глаза. Он насупил брови, откинул со лба упавшие вихры волос и резким голосом, с силой заостряя смысл произносимого, стал продолжать:

— Я ненавижу мир!.. И мир ненавидит меня. Эту тему, милостивые государи, я разовью в дальнейшем.

Хлестко брошенные фразы заставили всех насторожиться по-особому. Чавканье прекратилось. Спокойная доселе психическая атмосфера дрогнула.

— Я не стану останавливаться на всех этапах моей жизни. На том, как отец послал меня мальчишкой на неведомую Угрюм-реку, где я тогда почти погиб. Это *первая* моя гибель. И только чудом спасенный, я по каким-то неведомым путям попал в дом моей будущей жены. Я не буду задерживать ваше внимание и тем, как я, сделавшись женихом Нины, был ввергнут милейшим отцом моим и сложившимися в то время обстоятельствами в омут страшных противоречий с отцом, с матерью, с любимыми и ненавидимыми мною людьми, наконец — с самим собой. В таком капкане

жизни, не имея ни малейшей поддержки извне, а лишь доверяясь своим силам, я вновь погиб. Это *вторая* моя гибель. Но мне кажется, что я ее тоже поборол. Или по крайней мере борюсь с собой, до конца преодолевая ее в своем сердце...

Прохор опустил взлохмаченную голову, и Протасову показалось, что из глаз говорившего закапали в тарелку слезы. Но вот лицо вскинуто, брови нахмурены резче, слова летят с решимостью.

— Я — преступник! — крикнул он и нервно покосился назад, через плечо, точно ожидая удара в спину. — Да, я — преступник. Не пугайтесь и не удивляйтесь.

Но все были удивлены, а Нина испугана. Брови ее исковеркались страхом.

— Я не хочу быть вашим прокурором. Мы все равны, потому что вы тоже преступники, как и каждый живущий в этом мире человек. Я с вами говорю на этот раз как равный.

— Верно, верно! — вдруг заорал фистулой пьяненький Иннокентий Филатыч. — Правда и святость поравнять людей не могут. Грех всех равняет. Все мы греховодники! Все в одной грязи, значит — равные...

На крикуна зашипели, застучали ножами. Нина раздельно сказала через стол:

— Прохор! Прошу тебя переменить тему.

— И вообще, господа, надо выбрать председателя.

— Ваше превосходительство! Просим... Просим...

— Кхо!.. кхо... кхо... Благодарю... — подавившись рюмкой коньяку, забодал генерал охмелевшей головой. — Прохор Петрович!.. Прошу вас... Продолжайте в том же духе...

Прохор уперся в край стола, раскачнулся, напрягая мысль, и снова оседлал слова, как бешеную лошадь:

— Я сказал — все мы преступники. И это истина. Это утверждает не философ-лицемер, не моралист-потатчик, а я — преступник из преступников.

«Вали, вали, кайся. Очень хорошо!» — вдруг услышал Прохор внутренний свой голос, похожий на голос старца Назария, и уши его вспыхнули.

— Да, я преступник. Бывают, милостивые государи, разного рода преступления. Но убийство человека есть преступление тягчайшее. Однако, господа, иное преступление иного субъекта может быть объяснено, понято и, потому, оправдано... Да, оправдано, хотя бы внутри собственного сознания так называемого преступника. А оправданное преступление уже не есть преступление по существу; оно не более, как логический поступок, продиктованный неотвратимыми обстоятельствами жизни. Но, господа, тень этого поступка может омрачить душу совершившего его. Ежели душа потрясена, то эта проклятая *тень воспоминаний* может разрушить душу, довести человека до безумия. Да, милостивые государи, это так... До бе-зу-ми-я...

Прохор Петрович поник головой, накрепко зажмурился, приложил ладонь ко лбу и сдавил сильными пальцами виски.

— Но, господа, — вновь выпрямляясь, сказал он, — тот человек, которого воспоминания о смелом факте могут довести до безумия, не есть человек. Это не более, как получеловек; это, простите, слякоть. А слякоть никогда не в силах совершить поступка, имя которому на лживом языке людей есть преступление. Значит, лишь удел сильного совершать большие преступления. А так как я — преступник... («Так, так, вали, кайся до конца, кайся», — подзуживал Прохора все тот же голос.) Так как я — преступник крупного масштаба, то я вправе считать себя человеком огромной силы воли...

— Пардон, пардон, — постучал в стол перстнем председательствующий и на два смысла улыбнулся. — О каком своем преступлении вы изволите говорить?.. Смею спросить, что это за преступление?

— Он пьян, он пьян, — зашептались, заехидничали гости. Но Прохор был трезв, лишь качалась душа его.

— Прохор! Кончай речь. Пей за здоровье гостей. Урра! — закричала переставшая владеть собой Нина.

— Урра! Кончайте речь... Вы утомлены. Кончайте!..

Бледный, пожелтевший как слоновая кость, Прохор провел по лбу холодными пальцами, вильнул взглядом в сторону Ильи Сохатых, сосредоточенно ковырявшего в зубах вилкой, и шумно передохнул. Ноги его дрожали.

— Итак, какое же ваше преступление? — повторил свой вопрос генерал, и поднятые на Прохора глаза его сложились в две узкие щелки.

«Ну что же ты? Кайся во всем, кайся!..» — приказывал Прохору внутренний голос.

— Первое мое большое преступление, если угодно вашему превосходительству, это... это... — И смутившийся Прохор, будто испугавшись ответственности за свои слова, вдруг замялся. В его мыслях молниеносно промелькнули — ночь, выстрел, Анфиса у окна... Всех близких Прохора охватила оторопь. Кровь бросилась Нине в голову, Нина силилась вскрикнуть, кинуться к мужу, но ее поразило тяжелое окаменение. Лицо Прохора покрылось мраком. Настроение всего зала стало напряженным до отказа.

— *Первое* мое преступление, — ударил в тугую тишину железный голос, — первое мое преступление есть то, что я, ничтожный человечишка, недоучка, разрушил мир тайги, перевернул тайгу вверх корнями, внедрил в стоячее болото деятельную жизнь. С выражения ненависти такому болотному миру я и начал свою речь.

И сразу, точно рухнувшая гора пронеслась по косогору мимо, напряженное настроение оборвалось. Нина вдруг весело улыбнулась, первая забила в ладоши, ее подхватил весь зал.

— Ах, сукин сын, до чего он ловко!.. — простодушно вырвалось у Иннокентия Филатыча. Он полез было целоваться к Прохору, но был схвачен за фалды сразу четырьмя руками.

— Я ненавижу мир, и мир, то есть болото, спячка, взаимно ненавидит меня. Ну и наплевать! — Эти резкие, неуемные слова, срываясь с его губ, звучали презрительно. — Темные души, считающие себя свет-

лыми маяками мира, не понимают моей конечной, поставленной пред собой задачи. Они не знают и не могут знать, куда я приду.

Сидевшие в разных концах стола Протасов и Нина при этих словах переглянулись и неприятно поежились. А Прохору снова почудилось: за спиной его кто-то топчется, дышит огнем и смрадом... Но за спиной было пусто, за спиной была стена. Прохор быстро нащупал в жилетном кармане порошок кокаина и — в ноздри. Затем стал продолжать:

— Обольщенные разными допотопными моральками, эти коптящие небо маяки мешают мне развернуться во всю мочь, ненавидят дела мои, ненавидят меня самого, как носителя темной силы и сплошного мракобесия. (Теперь переглянулись трое: Протасов, Нина, священник.) Я прекрасно помню слова моего милого Андрея Андреича Протасова, которого я не могу не считать выдающимся инженером и организатором. Протасов в споре сказал мне: «Ваш ум больше, чем сила его суждения». То есть, что практический ум мой гениален, но не вполне развит. Я тогда ответил ему, что гениальный практик и гениальный мечтатель — это два медведя в одной берлоге, это два врага. И когда обе, столь разные по природе гениальности, упаси боже, совместятся в одном человеке, душа такого человека, как коленкоровый лоскут, с треском раздерется пополам...

— Простите! — крикнул Протасов. — Я не согласен с этим!..

— Милый Андрей Андреич! Вы не согласны? Так позвольте сказать вам: разбойник Громов всегда шел наперекор тому, с чем согласны люди. И это, может быть, мое *второе* преступление...

— Прохор!!! — из каких-то туманов, из всхлипов метели тускло вскричала Синильга, Анфиса иль Нина. И резко: — Прохор, сядь!!

Прохор Петрович вздрогнул, качнулся, вдруг както ослаб. В ушах, в голове гудели трезвоны. Посунулся носом вперед, затем — затылком назад, широко распахнул глаза в мир. Ему показалась сумятица.

Чистое поле, не стол, а дорога, уходящая вдаль все у́же, все у́же. И там, вдалеке — Анфиса с чайной розой у платья. «Сгинь!» — пришлепнул он ладонью в столешницу, и дорога пропала. Опять белый стол, цветы, вина, звериные хари. Щадя Нину, Прохор хотел оборвать свою речь, но уже не мог осадить свои вскипевшие мысли. Прохор сказал:

— Например, жена моя Нина Яковлевна, блистая всеми добродетелями неба, берется за практическую деятельность. И я предсказываю, что очень скоро обратятся в нуль сначала все ее капиталы, а потом и все дела ее. Я не желаю укорять ее, я только ей напоминаю, что нельзя служить одновременно и богу и мамоне, с чем, конечно, не могут не согласиться и духовные лица, присутствующие здесь. Ангел не в силах стать чертом, и черт не может обратиться в ангела. Еще труднее представить себе ангело-черта, вопреки желанию Нины видеть во мне такое немыслимое, такое противоестественное сочетание.

Последние фразы Прохор Петрович промямлил невнятно, вспотычку. Он говорил об этом, а думал о том, о чем-то... совсем о другом... Шепоты трав и лесов все тише и тише. Наступило большое молчание. Вдруг Прохор, как бы внезапно взбесившись, сразу взорвал тишину:

— Я — дьявол! Я — сатана!

И, приподняв хрустальный графин, ударил им в стол. Хрусталь звякнул и — вдребезги. Общий вздрог, крики, лес зашумел, покрытая снегом поляна вскоробилась, и там, на краю, воздвигала себя семиэтажная башня величия. Башня качалась, как голенастая под ветром сосна, колыхалась поляна, колыхался весь мир, и Прохор Петрович, чтоб не потерять равновесия, схватился за стол.

— Вы видите башню? («Сядьте, пожалуйста, сядьте», — кто-то тащил его за полы вниз.) Не бойтесь, враги мои... Прохор Громов действительно черт. Я черт! Не чертенок, а сильный черт, с когтями, рожищами и хвостом обезьяны. (Тут Прохор Петрович вскинул дрожащие руки и страшно взлохматился.) Во мне дух сатаны, самого сатаны!.. И смею заверить,

что дух сатаны во мне силен, как чесночный запах. Он во мне неистребим, его не могли выжечь из моего сердца ни молитвы пустынников, ни мои собственные стоны в минуты душевной слабости.

Прохор Петрович залпом выпил стопку водки и пугающим взором глянул на всех сразу и ни на кого в отдельности. Доктор чрез дымчатые очки внимательно наблюдал за ним. Прохор видел лишь обрывки жизни: чей-то бокал с вином сам собой опрокинулся, по снегу скатерти растеклась пятнами кровь; ножик резал окорок; плечо дремавшего генерала горело в огне эполет с висюльками; черный клобук принакрыл чью-то голову; левый глаз Приперентьева, большой, как яйцо, плыл прямо на Прохора.

— Да! — ударил он в стол кулаком, и призрачный глаз сразу лопнул. — Я — сатана, топчу копытами все, что встает мне поперек дороги, пронзаю рогами всех недругов, хватаюсь когтями за неприступные скалы и лезу, как тигр, все выше, выше! А когда подо мной расступается почва, я цепляюсь хвостом обезьяны за дерево, раскачиваюсь и перелетаю чрез пропасть. И вот, работая сразу всеми атрибутами черта, я достиг известной степени славы, власти и могущества. Вы, господа, видели с вершины башни, что сделал на стоячем болоте сегодняшний именинник Прохор Петрович Громов, некий субъект тридцати трех лет от роду, с густой сединой в волосах? — Прохор скрестил на груди крепкие руки, повернул свой стан вправо-влево, вытер вспотевшее лицо салфеткой и грузно уперся каменными кулаками в стол. — Итак, я в славе, я в силе, в могуществе! (Именно в этот, а не в иной момент с черного хода в кухню вошел с письмом бородатый человек, а следом за ним — Петр Данилыч Громов, отец.) Но, господа, в битве с жизнью я взял только первые подступы, я взобрался лишь на первый этаж своей башни. Правда, этот путь самый труднейший, он начат с нуля. В данное время мои предприятия оцениваются в тридцать три миллиона. Ровно чрез десять лет я сумею взойти на вершину башни. К тому времени я стану полным владыкой края, и мои предприятия

будут цениться в трижды триста тридцать три миллиона, то есть в миллиард! — Прохор задыхался от слов, от мыслей, от бурных ударов сердца, его глаза горели страшным огнем внутренней силы и раскрывавшегося в душе ужаса. — Но... Но... — Он сжал кулаки, погрозил кому-то вдаль и, вновь покосившись назад, через плечо, весь передернулся. — Но... я чувствую пред собою могилу... Не хочу! Не хочу!.. — Он зашатался и вскинул ладони к лицу, покрытому мертвенной бледностью.

К нему бросился доктор. Вскочила Нина, вскочили Протасов и пьяненький Иннокентий Филатыч. Протирал глаза задремавший генерал, ему почему-то пригрезился говорящий по-человечьи медведь.

В коридоре слышались рев, хрип, борьба. Удерживаемый лакеями, лохматый, жуткий Петр Данилыч все-таки вломился на торжественное пиршество и, потрясая кизиловой палкой, орал диким голосом:

— Убийца!.. Преступник!..

Прохор Петрович поймал отца ужаснувшимся взором. «Призрак, призрак, покойник... Это не он, тот в сумасшедшем доме».

— Это призрак!.. Нина! Ваше превосходительство!.. Что это значит? Откуда он?

— Убийца! — ринулся на страшного сына страшный отец. — Преступник, варнак! Отца родного... В дом помешательства... Будь проклят! — Он вырвался, запустил в сына палкой, был грубо схвачен и вытащен вон. — Ва-ва-ваше сходительство! Он Анфису уб... Из ру-ру... — вылетали сквозь зажимаемый рот смолкавшие выкрики.

Гости стояли в застывших позах, как в живой картине на сцене. Спины сводил всем мороз. Как снег белый, Прохор тоже дрожал, не попадая зуб на зуб. Нина Яковлевна, вдруг ослабев, упала в кресло, жестокие спазмы в горле душили ее, но не было ни облегчающих слез, ни рыданий.

Чтоб замять небывалый скандал, все взялись за бокалы, закричали «ура», «Да здравствует Прохор Петрович!», «Да здравствует Нина Яковлевна!» Пьяные выкрики, шум, лязг, звяк хрустальных бокалов.

Гремела музыка. Вздыбил, как башня, великолепный дьякон Ферапонт (отец Александр кивнул ему: «Вали вовсю»), повернулся лицом к иконе и пустил, как из медной трубы, густейший бас:

— Благоденственное и мирное житие! Здравие же и спасение... И во всем благопоспешение...

Пред взвинченным Прохором стоял лакей с письмом на подносе. Дьякон забирал все гуще, Прохор, бледнея, читал невнятные каракули:

«Прошка Ыбрагым Оглыъ еще нездохла я жывойъя прибыл твой царства».

— Кто принес?

— Человек в очках... Желает вашу милость видеть.

Дьякон оглушал всю вселенную:

— Прохору!.. Петровичу!.. Гро-о-о-мо-ву!!!

Все гости до единого, забыв Прохора, забыв, где и на чем сидят, разинув рты и выпучив глаза, впились взорами в ревущую глотку исполина-дьякона.

Прохор, весь разбитый, взволнованный, незаметно пробрался в кухню. У выходной двери, держась за дверную скобу и как бы приготовившись в любой момент удрать, стоял лысый низкорослый бородач. У Прохора враз остановилось сердце, резкий холод пронзил его всего:

— Шапошников!!! Как? Шапошников?! — выдохнул он и попятился.

— Да, Шапошников... Синильга с Анфисой вам кланяются. Я с того света.

Дверь хлопнула, посетитель исчез. Повара, бросив ножи, ложки, сковородки, стояли, вытянувшись, как солдаты.

...Лишь только Прохор Петрович скрылся из зала, ревностный службист — чиновник особых поручений Пупкин, под общую сумятицу, зудой зудил в уши дремавшего генерала:

— Помните, помните, ваше превосходительство: господин Громов все время упирал в своей гнусной, глупейшей речи: я, мол, преступник, я преступник...

— Что? Преступник? Кто преступник? Ага, да... —

помаленьку просыпался крепко подвыпивший начальник губернии.

— Вот вам, ваше превосходительство... И вдруг подтверждение, вдруг эта лохматая персона, какой-то старик... Это родной отец Прохора Громова. Представьте, генерал, он был упрятан в сумасшедший дом своим сыном... Факт, факт... И опять же упоминание старика о какой-то Анфисе... Ваше превосходительство! Да тут бесспорный криминал. Какая Анфиса, какое убийство?..

— Что?.. Гм... Да-да. — Полусонный генерал очнулся, протер глаза, крякнул, попробовал голос: — Кха, кха! Что? Вы думаете? Гм...

Он вдруг почувствовал себя крайне обиженным, сразу вспомнил козла, как тот дважды ударил его в зад рогами, еще вспомнил он, как его чуть не насильно поволокли на медвежью облаву и как мертвый медведь обозвал его «жуликом». И, наконец, — эта пьяная речь богача, вся в заковыках, вся в недозволенных вывертах: то он преступник, то дьявол; это в присутствии-то самого губернатора... Ну, нет-с!.. Это уж, это уж, это уж... Гм... Да. Это уж слишком!

Генерал запыхтел, двинул одной ногой — действует, двинул другой — тоже действует, и попробовал встать. Оперся в стол пухлыми дланями, с трудом оторвал плотный отсиженный зад, весь растопырился, с натугой выпрямил спину, устрашающе выпучил глаза и, как кабан на задних ногах, куда-то пошагал.

— Подать его!.. Подать сюда! — упоенный всей полнотой власти, рявкал он. — Где хозяин? Подать сюда! Где его отец? Подать, подать, подать!.. Я вам покажу! Расследовать! Немедленно!.. Вы забыли, кто я? Где хозяин? Схватить, арестовать!.. Анфиса? Пресечь!.. Анфису пресечь. Я вам покажу медведя с козлом!

Пупкин, пристав, уездный исправник в замешательстве следовали за озверевшим генералом, блуждали глазами, во все стороны вертели головой, не знали, что делать. Тут генеральские ноги вскапризились, генерал дал сильный крен вбок, эполеты утратили горизонтальность, левая эполетина — к дьякону, к дья-

кону, к дьякону и — оглушительный взрыв, будто рванула громáми царь-пушка:

— Мно-о-га-я!! Ле-е-тааaa!!!

Гулы и раскаты распирали весь зал, стены тряслись, гудели бокалы, гудело в ушах пораженных, оглохших гостей. Генерал прохрипел: «Что-что-что?» — посунулся прочь от взорвавшейся бомбы, зажал свои уши, колени ослабли и — сесть бы ему на пол, но он шлепнулся в мягкое кресло, ловко подсунутое кем-то из публики.

Меж тем ошарашенный, всеми оставленный Прохор хотел войти в столовую, однако поглупевшие ноги пронесли его дальше. Скользя плечом по стене коридора, он миновал одну, другую, третью закрытую дверь и провалился в седьмую дверь — в волчью комнату. Он упал на волчий, набитый соломой постельник, рядом с посаженным на цепь зверем.

— Черт!.. Коньяку переложил, — промямлил Прохор Петрович. Но вдруг почувствовал, что чем-то тяжелым, как там, у Алтынова, его ударило по затылку. Он застонал, крикнул: — Доктор! — и лишился сознания.

Хор в пятьдесят крепких глоток пел троекратно «многая лета». Гости все еще находились под колдовским обаянием феноменального голоса дьякона: в их ушах стоял звон и треск, как после жестокого угара. Меж тем сметливый Иннокентий Филатыч успел сбегать в хозяйский кабинет и, вернувшись, ловко отвел в тень портьер-гобеленов опасного гостя — чиновника Пупкина.

— Прохор Петрович очень просил вручить вам, васкородие, вот этот подарочек. Не побрезгайте уж... — И он сунул ему в карман портсигар из чистого золота.

Пупкин опешил, но подарочек принял с развязной любезностью.

А Нина Яковлевна, оправившись после легкой истерики, атаковала оглушенного дьяконом генерала Перетряхни-Островского. Она повела его под руку

к пустому креслу мужа и, наклонясь к уху низкорослого своего кавалера, говорила ему воркующим голосом:

— Какой вы милый, какой очаровательный. Я прямо влюблена в вас.

— Да? Хо-хо... Гран мерси, гран мерси. Но вы ж — богиня Диана. Нет, куда!.. Сама Психея должна быть у вас в услужении... — Генеральские ноги продолжали пошаливать: он спотыкался, наезжая золотой эполетой на Нину.

— Генерал, я уверена, вы не придадите значения этому... этой... этой выходке моего свекора, ведь он же психически тяжко...

— Да!.. Тут, знаете. Даа... Гм, гм... Тут, как бы сказать...

— Ну вот, мы и подплыли. Садитесь в кресло мужа, будьте хозяином пиршества. А я вашей милой Софи... Я знаю, я все-все-все знаю, — с игривой улыбкой загрозила она точеным мизинчиком. — Вы плут, ах, какой плут! Вы для женщин, я вижу, небезразличны...

— Хо-хо!.. Гран мерси, гран мерси, — поцеловал он ей руку взасос.

А она ему шепотом:

— Вашей Софи я припасла кой-какой сувенирчик: колье с бриллиантами.

Генерал браво поднялся, щелкнул шпорами и трижды самым изысканным образом чмокнул в ароматную руку Дианы. Но тотчас дал крен и шлепнулся в кресло: — Премного рад за мою мерси... Гран Софи, гран Софи...

Тут молодая Диана, заулыбавшись глазами, зубами и всеми морщинками, подплыла к Приперентьеву. Считая его кровным недругом мужа, она усадила его рядом с собой:

— Здесь вам, милый мсье Приперентьев, будет удобнее...

А Иннокентий Филатыч что-то нашептывал Наденьке. Та улыбалась и, вспыхнув вся, жмурилась, строила глазки в сторону седого, мясистого, в черных усах, губернатора.

Пир продолжался.

— Господа! — встала хозяйка с бокалом шампанского. — Мой муж захворал, с ним сейчас доктор. Знаете, бесконечные хлопоты по подготовке юбилейных торжеств, бессонные ночи, заботы, — страшно переутомился он. Ну и подвыпил, конечно. И сразу как-то ослаб. Уж вы извините, господа, что так вышло. Я предла... Я подымаю бокал за драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя, его превосходительства Александра Александровича. Ура, ура, господа!

Чокнулись — выпили. Музыка — налили.

— Господа! — поднялся русобороденький Пупкин. — Наш глубокоуважаемый Прохор Петрович — один из солиднейших деятелей нашей великой страны. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны... (Тут Рябинин и Сахаров крякнули, а Иннокентий Филатыч чихнул и весело выкрикнул: — «Вот правда, вот правда!») Его коммерческий гений тоже на большой высоте. Но Прохор Петрович, при всех своих деловых положительных качествах, наделен еще изумительным даром слова. Его прекрасная, вся в ярких сравнениях речь, произнесенная с величайшим пафосом в жесте и слове, могла бы служить блестящим образцом для любого оратора... — Пупкин говорил горячо и красиво, время от времени хватаясь рукой за карман с золотым портсигаром.

Чокнулись — выпили, музыка — налили. И сыпались тосты за тостами. Шампанское лилось рекой, как в сказке. Дважды пытался подняться с ответным тостом и бравый генерал Перетряхни-Островский, но сделать это ему никак не удавалось.

7

Пьяных гостей развозили с обеда по квартирам на тройках, разносили на руках. Илья Петрович Сохатых ушел домой пешком, но по дороге валялся.

На генерала, помещавшегося в трех парадных комнатах верхнего этажа, напала икота. Он умолял

Исидора соединить его по телефону с мадемуазель Софи, но трезвый Исидор всячески старался уверить генерала, говоря ему в сотый раз, что «мы в тайге, а мамзель за тыщу верст в городе» и что «вы, сударь, изволили перекушать на обеде, оттого икота, а вот будьте любезны, сударь, ваше превосходительство, раздеться и ложиться с богом спать». Генерал, икая и подмурлыкивая «ля-ля-ля», доказывал Исидору, что он спать не хочет, а вот наденет шубу, лыжи и пойдет бить медведя. Исидор ударял себя по бедрам, тихо смеялся, говорил:

— Теперича сильная жара, лето на улице, а вы изволите молвить — лыжи.

— Хо-хо-хо... Лыжи? Я говорю — чижик!..

Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил, —

подплясывал генерал, расстегивая подтяжки.

— Эх, молодость! — кряхтел старенький Исидор, помогая молодящемуся барину раздеться. — Уему-то на вас нет...

— Хо-хо-хо!.. А что? А что? Я еще, брат... А чертовски хорош пломбир... И это самое... «Клико», «Клико»...

— Да, «Клико» не плохое, ваше превосходительство. А в достальном вам поможет русалочка одна. А я прогуляться на часок пойду. Вы, сударь, русалок не боитесь?

— Хо-хо! Я? Русалок? Нисколько, — сказал до белья раздетый генерал.

Исидор вышел, втолкнул в дверь к генералу Наденьку, а сам направился в благоухающий цветущим табаком сумеречный сад.

...В десять вечера зажгли иллюминацию. В одиннадцать часов на трех разукрашенных огнями пароходах, с двумя оркестрами и двумя хорами, гости отплыли на прогулку по Угрюм-реке. Счастливая Наденька подлетала то к одному знакомцу, то к другому и, смеясь сквозь носик, говорила:

— Поздравьте!.. Теперь я исправничиха. Мой дурак повышение по службе получил.

На головном пароходе — Прохор Петрович с Ниной, генералом и прочими почетными гостями. Новоявленный сердечной щедростью Наденьки исправник не отходил от генерала. Прохор подчеркнуто весел, беззаботен.

— Господа! — простер он свою длань во мрак, как фальконетовский Медный всадник. — Посмотрите, какая красота кругом.

Действительно, было феерично. Как изумрудная, врезанная в тьму игрушка, блистала тысячами лампочек башня «Гляди в оба». Скалистые берега реки во многих местах освещались вспышками разноцветных бенгальских огней. То здесь, то там вдоль по реке взрывались блещущие искрами причудливые фейерверки. Вершины сопок, как жерла огнедышащих вулканов, пылали огнищами костров. Все это в миллионах дробящихся созвездий опрокидывалось, как в зеркальную бездну, в густые чернила вод.

На головном пароходе трижды взмахнули горящим факелом. С вышки башни мальчишка крикнул вниз:

— Федотыч! Эй, Федотыч!

— Чую-ю!..

И один за другим загремели, потрясая ночь, пушечные выстрелы. Через пять минут взорвался стоявший у противоположного берега дощатый фрегат. Вместе со взрывом хлынул из недр фрегата разноцветный каскад огней. Фонтаны искр осветили ночь на многие версты, и мчались в мрачное небо, одна за другой, жар-птицы, драконы, черти, бабы-яги. Вот взлетел и лопнул в черных облаках главный трюк искусства пиротехники — золотисто-огненный транспарант: *«Прохор Громов X лет»*.

Ошеломленные гости ахали, визжали, били в ладоши, кричали «ура». Надрывались оркестры, пели хоры, оглушительно бухали пушки.

— Колоссаль, колоссаль! — беспрерывно хрипел простудившийся мороженым, охмелевший мистер Кук. — Канонада, как в Севастопóль!.. Как в очшень лютшей рюсска пословиц: «Мушик сначала грянет, потом перекрестится», — блистал он в дамском

обществе знанием русского языка и русской истории.

Только Прохор Петрович, недавно видевший величавый пожар тайги, равнодушно взирал с сатанинской мудростью в глазах на все эти глупенькие огонечки.

«Шапошников... Шапошников... Сумасшедший батька... Встают из гроба мертвецы... Анфиса, Синильга, Шапошников... И этот дьявол Ибрагим... Нет, я отказываюсь понимать, что со мной творится». Сердце Прохора тонуло в тоске, однако он очень весело, очень беспечно продолжал болтать с гостями. Эта подчеркнуто чрезмерная веселость Прохора Петровича все больше и больше начинала беспокоить следившего за ним доктора в дымчатых очках. (Хирурга Добромыслова на пиршестве не было: он убоялся тайги и, пробыв при больнице около месяца, уехал восвояси.)

— Мне ваш супруг не нравится, — на плохом немецком языке сказал доктор Нине, потеребливая длинными пальцами ассирийскую свою бороду.

— Я давно опасаюсь за его здоровье, — ответила Нина. — А эта сегодняшняя речь! Господи, хоть бы скорей все кончилось, все эти праздники! Но, ради бога, что с ним?

— Нечто вроде начальных признаков психостении.

— Как некстати. Но какие же причины, доктор?

— Душевные потрясения, вроде скандального появления папаши. Сверхнормальные частые выпивки... Ну... злоупотребление кокаинчиком.

— Опасно?

— Не думаю. Хороший отдых — и все пройдет. Впрочем, я не специалист.

— Мерси. Я удивляюсь, как это могли пустить отца... Ну, отлично... Потом поговорим. — И она крикнула: — Господа! Нужно спешить на бал. Скоро час ночи.

Пароходы повернули вспять.

Прохор не принимал участия в танцах. С четырьмя приезжими из столицы он сидел у себя в обширном

кабинете, довольно неуютном, отделанном в псевдомавританском стиле.

— Простите, что так совпало... Правда, неудачно, но что ж поделаешь? Коммерция, — с пыхтящим сопением начал деловой разговор бывший поручик Приперентьев. — Итак, многоуважаемый Прохор Петрович, принеся вам должное поздравление с десятилетием вашей блестящей деятельности, мы, к сожалению, должны огорчить вас следующим известием: в надлежащих инстанциях столицы я возбудил дело об отобрании от вас, милостивый государь, принадлежащего мне по праву золотоносного участка...

— И что же? — небрежно поднял Прохор бровь, но сердце его больно сжалось.

— Тот товарищ министра, который...

— Который теперь не у дел, — перебил Приперентьева Прохор. — А вы преемнику сумели всучить бо́льшую взятку, чем та, которую дал я сановнику в отставке. Так?

— Вы это говорите при свидетелях?

— Я про вашу взятку говорю лишь предположительно, а про свою — да, я говорю открыто, при свидетелях. Но я не думаю, что законы империи могут быть подкупны при всяких обстоятельствах. Я, во всяком случае, буду с вами тягаться во что бы то ни стало. Это во-первых. А во-вторых, в прииск «Новый» мною вложено больше двух миллионов рублей.

— Вряд ли, соколик, вряд ли, — посморкался в красный платок седобородый купчина Сахаров. — Мы прииск осмотрели. Основные затраты там тысяч двести — триста. Так, кажется, приятели?

— Так, так, не больше, — подтвердили все трое. Впрочем, лысоголовый невзрачный старичок с поджатыми губами, присяжный поверенный Арзамасов, добавил:

— Самое большое — триста пятьдесят тысяч. Вместе с новым переоборудованием. Вместе с драгой.

«Я нисколько не боюсь тебя, Ибрагим... Нисколько не боюсь. Вот увидишь».

— И что же? — поднял другую бровь Прохор.

— А ты, соколик, — встряхивая и складывая вчетверо свой платок, затрубил грубым басом Сахаров, — ты на этом прииске сумел уже взять миллиончика два-три.

— Я взял, может быть, пять миллионов и возьму еще триста тридцать три, но вам, господа, и фунтика золота понюхать не придется.

— Простите, Прохор Петрович, — разжал тонкие губы юрист Арзамасов и поправил на утлом носу золотые очки. — Позвольте вас ввести в курс дела. Прииск «Новый» и весь прилегающий к нему золотоносный участок перейдут в скором времени в руки акционерного общества с основным капиталом в пять миллионов рублей. Акционерами являются крупные коммерсанты России, в том числе присутствующие в вашем кабинете господа Рябинин и Сахаров, а также кой-кто из западноевропейских капиталистов. Мы льстим себя надеждой, что и вы, Прохор Петрович, не откажетесь вступить в наш...

— Спасибо, спасибо... — расхохотался Прохор. — Можете льстить себя надеждой сколько угодно. Но об этом еще рано говорить. Нет-с, дудочки!.. Шиш получите! Два шиша получите! Да что я вам — мальчишка? Сегодня мое, а завтра ваше? — Прохор стал нервно шагать по кабинету, подымая свой резкий голос на верхние ноты. — А вы бы учли в своих умных башках...

— Простите... Нельзя ли корректнее...

— ...вы учли мой личный труд, мою опытность, которые я вложил в это дело? Да я свой труд в миллиард ценю!.. Триста тысяч, триста тысяч! Подумаешь, какие явились оценщики! А вам, господин лейтенант Чупрынников, то есть, виноват... поручик Приперентьев, вам-то совершенно непростительно было даже и подымать вопрос о возврате прииска. Ваш брат бросил этот участок на произвол судьбы, не прикоснувшись к нему, а вы о нем и не знали даже. Впрочем, вам и вашему двойнику лейтенанту Чупрынникову, шулеру и мерзавцу, ха-ха-ха!.. да, да, пожалуйста, не морщитесь и не пяльте на меня страшных глаз, — вам, шулеру и мерзавцу, виноват, не вам, а подлецу Чупрынникову, который обокрал меня

у толстомясой Дуньки, у Авдотьи Фоминишны, вам такие гадкие делишки, конечно, не впервой...

— Господа, предлагаю удалиться... Что это, что это, что это?!

— Господин Громов! — раздался крик. — Имейте в виду, господин Громов, что в акционерное общество входят высокопоставленные особы.

— Плюю я на высокопоставленных особ! Для меня они — низкопоставленные! — несдержно гремел Прохор, из рта летели брызги. — Прииск есть и будет мой. Я вооружусь пушками, пулеметами!..

— В акционерном обществе принимают участие особы императорской фамилии, — предостерегающе звучал зловещий голос, но Прохор ничего не слышал.

— Я вооружу всех рабочих, всю округу. Берите меня войной! Я никого не боюсь, ни мерзавца купца Алтынова, которого я спущу в Неву под лед, ни Ибрагима, ни Анфисы... Ни Шапошникова. Никого не боюсь!..

— Какого Ибрагима? Какой Анфисы?

Прохор, как вынырнувший из омута утопающий, тяжко передохнул, схватился за спинку кресла, хлопнул себя ладонью в лоб, и глаза его растерянно завиляли:

— Простите, простите, господа, — сказал он жалостно и мягко. — Я очень устал... Три часа ночи... Я болен... Я, господа, спать хочу.

Но ему внимала лишь обнаженная пустота кабинета. Прохор болезненно сморщился и, пошатываясь, направился к ковровой оттоманке.

8

Торжества продолжались и на второй и на третий день. Но Прохор Петрович в них не участвовал: он с отрадой отдался предписанному доктором покою и, кроме огорченной его поведением Нины, никого не принимал.

Гости разъехались. Со снежной поляны, где в зимней, средь лета, обстановке пирующие катались на

запряженных в нарты оленях, слушали таинственные волхованья двух шаманов, угощались мороженым, теперь убиралась возами соль, игравшая роль снега.

Люди всех предприятий Громова стали на работы. Началось новое десятилетие, обещавшее Прохору Петровичу несметное миллиардное богатство, а вместе с ним — блеск славы, вершину величайшего могущества.

Так, пламенея мыслью, Прохор бросил в огненной запальчивости гордый вызов миру.

Но он, видимо, не знал, как круты склоны всяческих вершин людских мечтаний, какие рвы выкопала жизнь вокруг престолов личного благополучия, в каких трущобах может оказаться человек, искатель тленной славы, и в какой мрак, вознося себя над всем, он может пасть.

Об этой простейшей мудрости сто раз твердила Прохору и Нина. Однако Прохор, на грани двух десятилетий, стал глух, стал слеп и черств гораздо более, чем прежде.

Вся душевная деятельность Прохора Петровича протекала теперь под знаком перечувствованных им живых сновидений.

Первый студный сон — стихийный пожар тайги, когда Прохор в страхе всего наобещал рабочим: «Ребята, спасайте мое и ваше», — а как прошла опасность, от всего отрекся. Второй сон — предкровавые дни и кровавый расстрел рабочих. Третий сон — мать-пустыня с двумя старцами, с ожившей Анфисой. Четвертый студный сон — торжественное пиршество, проклинающий сына отец, реальная тень Ибрагима-Оглы, воскресший из мертвых прах Шапошникова.

И все это вместе — стихия пожарища, галлюцинаций, призраки, кровь — нещадно било по нервам, путало мысли. Прошлое стало настоящим, и настоящее отодвинулось назад. Реальности прошлого плотно окружили его со всех сторон, восстали пред ним во всей силе.

Он жил в них и действовал, в этих реальностях прошлого.

А поступки текущего дня, все дела его, занятия, приказы служащим, разговоры, волнения ему грезились сном, проходили в тумане, касаясь сознания лишь одной своей гранью.

Но вся трагедия в том, что, обольщенный внутренним голосом алчности, ослепленный блеском славы и в погоне за нею, Прохор Петрович ничего этого подметить в себе не мог: он продолжал жить и работать так, как жил бы на его месте всякий иной человек, не замечающий помрачения своего *главного разума*.

Да, главный разум был помрачен, но величайший затейник — ум — ясен, и —действовал. Ясным умом окинув грядущее десятилетие, Прохор Петрович издал приказ: выработанный, дающий небольшие доходы прииск «Достань» пока что закрыть, подземные шахты его затопить водой, чтоб не грабили жулики. А всех рабочих с этого прииска перебросить на прииск «Новый», отходящий к петербургским хозяевам. Сюда же перебросить пятьсот землекопов с кончающихся дорожных работ.

Вести на прииске «Новом» работы в две смены, день и ночь. Работать способом хищников, как на земле неприятеля, то есть — брать главные жилы и богатые россыпи, остальное бросать. Пусть петербургские дьяволы-хваты со своими высокопоставленными особами и лицами царской фамилии жрут объедки с обильного стола Прохора Громова.

— Это на всякий случай, — сказал он горнякам-инженерам Абросимову, Образцову и главноуправляющему Протасову. — Но я более чем уверен, что им ни в жизнь не оттягать у меня этого прииска. Шиш возьмут!

Однако с глазу на глаз с Протасовым Прохор сказал:

— Я хотел просить вас, Андрей Андреич, поехать в Питер и действовать там в отношении золотоносного участка так, как бы действовал я, — с широким размахом, не щадя средств.

— Так действовать, как действовали бы вы, Прохор Петрович, я не могу, конечно.

— Да, понимаю. Там пришлось бы взятки давать. Не будет ли там в своей роли Парчевский? Как вы думаете?

— Я думаю, ежели говорить откровенно, что в высоких сферах прииск от вас отнять предрешено. И вы не в состоянии будете этому противиться. В деловых разговорах с юристом Арзамасовым я узнал, что акционерное общество, кроме своего основного капитала в пять миллионов рублей, получило от государственного банка десятимиллионную субсидию, а в резерве у них бельгийские и английские капиталисты, крупные тузы. Акционерное общество, кроме вашего участка, скупило у многих золотопромышленников их предприятия, так сказать, на корню. Так что... Сами видите...

— Да, — вздохнул Прохор. — Ну, плевать! На открытые Образцовым золотые участки сейчас же сделать заявку.

— Сначала надо их осмотреть.

— Ладно. Как-нибудь на днях...

Вторым приказом Прохора Петровича было: с первого числа понизить заработок всем рабочим на двадцать процентов, рабочий день во всех предприятиях удлинить на два часа. Составить новые договорные условия. Недовольных немедленно рассчитать с выдачей им вперед двухнедельного заработка.

Трудящийся люд всем этим, как внезапным громом с безоблачного неба, был ошеломлен. Но партии новых рабочих, прибывающих из Европейской России, и толпы нанятых по отдельным деревням сибиряков — все это резко меняло обстановку и сразу снизило поднятую было бучу среди старых громовских рабочих. Крикливые голоса притихли, огонь в глазах угас, народу вновь предстояло покориться своей прежней доле, изменить которую не в силах оказалась и пролитая кровь.

Итак, все по-старому. Лишь сотни трупов с простреленными спинами перевернулись под землей. А поверх земли — зубовный скрежет, потайные слезы, пьянка.

Так Прохор Громов начал свое новое десятилетие, уподобившись евангельскому псу, пожирающему свою блевотину.

Блестящим этим началом был сбит с панталыку и Андрей Андреевич Протасов. А потрясенная Нина растерялась:

— Что мне делать? Что делать? Нет, это сумасшествие...

Но Прохор, зная противоборство Нины, ни в чем теперь с нею не советовался, он вовсе выключил ее из своего обихода, отгородился от нее стеной оскорбительного молчания и грубых фраз, ходил возле нее с выпущенными, как одичалый кот, когтями.

Нина остро чувствовала это, но, замыкаясь в свой собственный мир, переживала беду молча. Она все-таки решила встать по отношению к мужу на путь борьбы. То есть обратиться к тем же практическим мероприятиям, что и прежде, но в широком масштабе. Иного пути умерить алчность, защитить трудящихся и этим самым предотвратить гибель всего дела — она не видела. Приступая вместе с Протасовым к организации крупных работ, она очень боялась опасных для себя последствий. Она знала, что до крайних пределов взбесит мужа, что пьяный муж может убить ее своими руками или подослать убийц.

Такому предчувствию Нины, может быть и преждевременно и, пожалуй, очень жестоко, помог Протасов.

Однажды поехал он вместе с Ниной на одну из таежных речонок, где им были открыты графитные залежи.

— Ты можешь здесь начать свое выгодное дело, — сказал Протасов. — Эту мою находку я пока в секрете держу. Богатый графитом участок я дарю тебе, Нина. Но... Надо все обдумать, все взвесить. Дело в том, что Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ореол гениальности, которым я был вначале обольщен, окончательно померк в нем. Та глупость, которую он делает сейчас, обнаруживает в Прохоре Петровиче, прости за выражение, потерявшего совесть

готтентота. На двадцать процентов снизить рабочим заработок, на два часа удлинить день, ведь это черт его знает что!.. Теперь надо ожидать новой забастовки, новых расстрелов. Но я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. И вот теперь самое главное.— Голос Протасова задрожал, грудь вздымалась взволнованно.— Любишь ты меня?

Вопрос поставлен открыто, от судьбы к судьбе, и для Нины совершенно неожиданно.

— Да,— без запинки ответила Нина.

Протасов вовсе не предвидел столь быстрого ответа и, еще более волнуясь, спросил:

— Можешь ты быть моей женой?

— Нет. Я продолжаю любить Прохора, я чувствую с ним внутреннюю связь, я не в силах расторгнуть ее.

Они сидели у костра пред кипящим чайником. Трое сопровождавших их стражников обедали возле другого костра, в отдалении.

Притворяясь хладнокровным, Протасов достал из кармана бумажник, из бумажника докладную записку прокурора Стращалова на имя министра юстиции об убийстве Анфисы Козыревой, молча подал эту записку Нине, а сам пошел купаться.

Нина читала долго, из глаз ее капали слезы прямо на бумагу, чернила расплывались, и плыла пред Ниной прошедшая юность ее. «Бедная Анфиса, бедная я!» — вздыхала Нина, и душевный мрак окутывал ее сплошным туманом.

Освежившийся и как будто еще более спокойный, Протасов сидел подле нее.

— Таинственные слухи об убийстве милой Анфисы моим мужем мне давно знакомы.— И Нина подчеркнуто набожно перекрестилась.— Но я им, дорогой Андрей, все-таки не верю. Уж ты прости меня. Может быть, тебе это неприятно, как неприятно и то, что я помолилась за душу мученицы... Но уж... я такая.

Протасов, перестав притворяться спокойным, задышал чрез ноздри, бурно.

— Я имею и другие доказательства того, что убийца Анфисы — Прохор.

Нина не ответила.

Не понимая, почему Нина молчит, Протасов начинал раздражаться. Ему страстно хотелось, чтоб Нина так же крепко поверила, что муж ее убийца, как в это верил он, Протасов.

— На пристани я встретился с политическим ссыльным Шапошниковым, родным братом того, который сгорел вместе с Анфисой, — чуть вздрагивающим голосом сказал Протасов. — Этот Шапошников теперь служит у нас в конторе. У него предсмертные письма брата. В них...

— Ах, не верю я ни вашим Шапошниковым, ни вашим прокурорам! — раздраженно прервала Нина. — Я верю здравому рассудку. Прохор до безумия любил Анфису, поэтому он не мог ее убить. Он скорей себя бы убил.

— Отелло тоже любил Дездемону. А между тем...

— Это выдумал Шекспир. Он лжец!

— Это не выдумка. Это неписанный закон человеческих страстей.

Вновь наступило, как до отказа натянутая струна, тугое молчание.

— Итак, это твое последнее слово?

— Да, последнее. При сложившихся обстоятельствах я не могу быть твоей женой. Тем более что наши верования идут слишком разными путями.

— Ах, Нина! Мне скучно десять раз доказывать тебе одно и то же. Прямо до чертиков...

— Вот, ты говоришь — борьба требует жертв, крови. Отец Александр говорит, что борьба должна быть бескровной, идейной. Где же правда? Эта разноречивость утверждений прямо ужасна. Она угнетает, мучает меня.

— Брось, Нина! Твоя игра в наивность, прости, начинает раздражать меня. Ты прекрасно понимаешь, где правда. Но тебе, рожденной в богатстве... Погоди, погоди! Дай кончить. Твой либерализм, конечно, — красивый жест. Твой альтруизм есть результат поповского запугивания тебя каким-то страшным судом,

каким-то «тем светом». При всех твоих плюсах натуры в тебе много наследственных минусов, в которых ты, в сущности, и не повинна. Ты дочь богача и не могла быть иною.

Нина в упор смотрела на Протасова большими печальными глазами. Протасов, больно стегая Нину словами, залюбовался ею. «Какая ты красавица!..» — чуть не проговорил он вслух.

— Спасибо за лекцию... Но я ведь не курсистка, Андрей, — иронически сказала Нина. — Так что же ты от меня все-таки требуешь? — внезапно загораясь, почти вскрикнула она.

Протасов привстал с земли на колени и, заложив руки в карманы штанов, приготовился высказать свою мысль до конца.

— Я требую того, чего ты не в состоянии исполнить, — с грустью начал он и сделал маленькую паузу. — Я требую, чтоб ты все свое имущество отдала на борьбу освобождения народа. Я требую, чтобы ты стала такой же неимущей, как и я. Ты погляди, какие муки терпят так называемые «царские преступники». Ими переполнены тюрьмы, каторга, ссылка. Я весь заработок отдаю им. У меня за душой ни гроша... Я требую... не требую, а нижайше прошу тебя стать ради высокой цели нищей. — Он опять сделал паузу, подкултыхал на коленях к взволнованной Нине, неосторожно опрокинул бутылку бургундского и взял Нину за руку: — Тогда мы, равные с тобой во всем, начали бы новую жизнь. Твоя совесть, Нина, стала бы сразу спокойной, и в этом ты обрела бы большое для себя счастье. Но нет, — вздохнул Протасов, выпустил ее руку, закрыл глаза и отвернулся. — Этого никогда не будет. Нет...

Тогда Нина бросилась ему на грудь, заплакала и сквозь слезы засмеялась.

— Андрей, Андрей!.. Какой ты чистый, какой ты замечательный!..

— Я грязный, я обыкновенный... Меня даже упрекают, что я пляшу под дудку капитала... Нет, плохой я революционер... — с холодным равнодушием принимая ее ласки, сурово ответил Протасов. Он поднял

бутылку, взболтнул ее. — Вот... и бутылку опрокинул. Все вытекло, — сказал он, пробуя улыбнуться. И вдруг почувствовал, как внезапно, от близости любимой женщины, все забурлило в нем, кровь одуряющим вином бросилась от сердца по всем жилам. Он — красный, растерянный — хотел впервые обнять Нину, но все-таки сдержался.

— А хочешь, я нарисую тебе другой проект возможного существования? — утирая слезы и бодро улыбаясь, сказала Нина.

— Да. Хочу.

Глаза Нины загорелись творческим воодушевлением:

— Я забираю Верочку, забираю все свои ценности, говорю Прохору: «До свиданья, я тебя не люблю, я покидаю тебя навсегда». Затем уезжаю с тобой, Андрей, к себе на родину. У меня же там богатейшие дела, сданные на срок в аренду. Есть и золотые прииски. Мы на этих насиженных местах организуем с тобой широкую общественную работу. Мы все свои предприятия передаем рабочим. Пусть они будут настоящими хозяевами, а нам с тобой платят жалованье, ну, ну, хоть по десяти тысяч в год каждому из нас. И ты будешь мой муж, и я буду женой тебе.

— И мы будем жить так, пока нас не арестуют, — с насмешливой жалостью улыбнулся Протасов и поцеловал Нине руку. — А нас арестуют ровно через месяц после того, как мы сделаем рабочих хозяевами. Нас засадят в тюрьму, рабочих разгонят, богатства отберут в казну. Вот и все. Ты этого хочешь?

— Нет, я этого не хотела бы, — чрез силу засмеялась Нина.

Но вот она вся изменилась: как будто сойдя со сцены и сбросив костюм актрисы, она оделась в свой обычный наряд. Лицо ее стало серьезным, в глазах появился особый блеск душевного подъема.

Протасов отступил на шаг, с боязливым интересом взглянул на нее.

— Милый Андрей! — сказала она решительным голосом. — Не верь ничему, что ты от меня только

что слышал. Это — фантазия девчонки. Стать по твоему рецепту нищей я не могу и не желаю. Нет, нет! Я должна жить и умереть в том звании, в котором поставила меня воля бога.

Протасов сразу почувствовал, как между ним и Ниной встала стена неистребимых противоречий. Он понял, что эту стену нечего и пытаться свалить. Его брови гневно были сдвинуты, и выразительные губы обвисли в углах. Лицо стало желтым, больным.

— Андрей, милый! Ты уже не молод. Твоя голова вот-вот поседеет. И здоровье твое стало сдавать. Тебе не к лицу принадлежать к касте революционеров-безбожников. — Нина порывисто приблизилась к Протасову, скрестила в мольбе руки, и голос ее зарыдал: — Заклинаю тебя, будь добрым христианином! Окинь большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Прими этот путь — он зовется Истиной. И жизнь твоя пойдет в добром подвиге. А сам ты...

— Простите, Нина Яковлевна, — резко отвернулся от нее Протасов. — После стольких лет, проведенных с вами, после стольких моих с вами бесед на пользу вашего развития мне крайне печально, поверьте, крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу! Простите, но этот тип женщины давным-давно устарел. Я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих...

У Нины повисли руки. Протасов отошел от нее и крикнул стражникам:

— Ребята! Пора!..

Доктор ездил от Прохора к Петру Данилычу, от сына к отцу. Впрочем, старик мало нуждался в помощи доктора. Он предъявил Прохору требование о выдаче его собственных, Петра Данилыча, денег. Прохор послал отца к черту.

— Живи, где живешь. Питаешься? Какие деньги тебе еще? Спасибо за скандальчик. Очень жалею, что не убил тебя тогда. Предупреждаю, что если и впредь будешь раздражать меня, попадаться мне на глаза,

знай, что камера в сумасшедшем доме тебе обеспечена.

— Ну, будь здоров, выродок! — Старик грозно застучал в пол палкой, затопал, заорал: — Знай и ты, чертов выродок! Я завтра же еду в Питер к царю, все ему про тебя открою, подам прошение, десять соболей в конверт суну... Царь от тебя все отберет, а тебя велит повесить на дереве. Покачаешься, убивец, в петле-то!..

Сбежавшимся на звонок лакеям Прохор сказал:

— Уберите от меня этого сумасшедшего, или я вышвырну его в окно.

В этот же день у Прохора было бурное объяснение с Ниной. В конце концов дело уладилось: Нина уверила мужа, что старик будет отправлен в Медведево, а если припадки буйства станут с ним повторяться, она, человеколюбия ради, снова пристроит его в психиатрическую лечебницу.

На самом же деле Нина распорядилась так: она дала старику векселями и наличными пятьдесят тысяч из своих средств, он выдал подписку, что никаких претензий к фирме Прохора Громова больше иметь не будет, уехал с женой в село Медведево, в свой прежний дом, открыл большую торговлю. Анна Иннокентьевна сделалась богатой купчихой, завела крупное хозяйство; сердце ее, выкинув Прохора, успокоилось, — она стала еще усердней жиреть.

Прохор ходил петухом, хохлился, пил. Руки его начинали чуть-чуть трястись. То и дело бормотал себе под нос:

— Не боюсь Ибрагишки... Не боюсь Ибрагишки...

Ездил по работам один с двумя револьверами, с винтовками и штуцером.

Вскоре получилось известие, что мануфактурно-продуктовый склад трех лесопильных заводов ограблен тысяч на десять шайкой бандитов. У Прохора утратилась острота ощущений к малым потерям и прибылям: его мечты упирались в миллиард, в сравнении с которым все остальное — плевок. Поэтому он отнесся к ничтожным убыткам равнодушно; только сказал:

— Я знаю, чье это дело. Ибрагим шалит.

Исправник Федор Степаныч со стражниками и следователь тотчас же выехали на место покражи.

У Наденьки, как это ни странно, ночевал мистер Кук. Вместе подвыпили. Мистер Кук оставил Наденьке восемьдесят семь рублей тридцать копеек — все, что с собой захватил, — и в пьяном виде пролил на ее грудь много слез. Всплакнула и Наденька.

Чрез три дня исправник возвратился. В новом мундире с золотыми погонами — взгляд воинственный, усы все так же вразлет — он прибыл с докладом к Прохору Петровичу.

— Следствием выяснено, кто ограбил склад, — говорил он хозяину. — На стене склада надпись, представь себе: *«Здраста Прошка, это я Ыбрагым Оглыъ»*. Я нарочно списал в протокол с ошибками. На, полюбуйся. Но я клянусь тебе, Прохор Петрович, что проклятый каторжник моих лап не минует. Клянусь!

Прохор, к удивлению исправника, в ответ лишь ухмыльнулся в бороду: «Плевать... Я не боюсь его, не боюсь...» — поерошил нечесаную гриву волос, подмигнул исправнику:

— Приходи, Федя, сегодня вечерком на мою половину. Бери гитару да Наденьку. Я скличу Стешу с Ферапонтом, еще старика Груздева. Ну, еще кого? Повара своего позову да кучеров с кухарками, Илюху можно... Вообще попроще...

— Прохор Петрович, — мазнул по усам исправник и завертел глазами. — Удобно ли мне? Ведь я все-таки исправник... А тут — кучерà.

— Убирайся к черту! Должен за честь считать! — крикнул Прохор, и руки его затряслись. — Где присутствую я, там все на высокой горе. И никаких «удобно ли».

Музыкальные вечеринки, изредка устраиваемые Ниной, мало прельщали Прохора Петровича. Там бывало неплохое струнное трио; жена инженера — мадам Шульц хорошо играла на рояле, сама Нина

тоже не прочь иногда блеснуть своим голосом, а по части модернизованной цыганщины частенько отличалась очаровательная Аделаида Мардарьевна.

Но Прохор Петрович притворялся, что в музыкальном искусстве он ничего не понимает, даже в шутку как-то сказал: «Когда брекочат на клавишах, мне хочется, как собаке, выть». Его появление среди гостей всех немножко смущало, все почему-то ждали от него или оскорбительного намека, или явной грубости; настроение сразу снижалось, непринужденность меркла. Самое лучшее, конечно, если Прохор Петрович сядет к зеленому столу перекинуться в винтишко, проиграет рублей двадцать и уйдет.

— Куда же ты? — остановит его Нина Яковлевна.

— Прохор Петрович, что же вы?! — хором воскликнут обрадованные гости.

— Да так... Пройтись. Скучновато у вас: ни драки, ни скандалов. А главное — на винцо ты очень скуповата, Ниночка. — И ко всем: — Вы, господа, требуйте от нее выпивки... Какого черта, в самом деле! Я прекрасно знаю, например, что мадам Шульц пьет вино, как лошадь...

— Ах, что вы, что вы! — отмахивается та румяными ручками, пытаясь состроить жалкую гримасу смеха.

Все натянуто хохочут. Смеется и Прохор.

— А мистер Кук, — продолжает он, — в прошлое воскресенье вылакал в трактире четверть водки, скушал целого барана и приполз домой на бровях...

— О нет, о нет! — отчаянно трясет щеками и весь вспыхивает сидевший на пуфе у ног Нины почтенный мистер Кук. — Чрез щур сильно очшень... очшень преувеличен, очшень колоссаль! Один маленький румочка... Ха-ха-ха! Как это, ну как это?.. «Пьяный приснится, а дурак — никому». Ха-ха-ха!..

Под дружный, на этот раз естественный смех Прохор Петрович, уходя, бросил:

— Да, вы, мистер Кук, правы: дурак никому присниться не может, даже той, у кого в ногах сидит...

— О да! о да! — не сразу поняв грубость Прохора, восторженно восклицал счастливейший Кук и сладко заглядывал в очи божественной миссис Нины.

Вообще чопорных журфиксов жены Прохор Петрович избегал. Он любил веселиться по-своему...

Вот и сейчас — гулеванье его началось озорное и пьяное. На двух «тальянках» мастерски играли: кабацкий гармонист слепец Изумрудик и кучер Яшка — весь в кумачах, весь в бархате, — а на берестяных рожках три пастуха хозяйских стад.

Огромный кабинет набит махорочным дымом, как осеннее небо облаками. Старый лакей Тихон затопил камин. Накрытый скатертью письменный стол — в обильной выпивке и простенькой закуске. Здесь командует Иннокентий Филатыч Груздев. Он всех гостей без передыху угощает, а сам не пьет. Прохор же Петрович — выпивши с утра, однако в попойке от кучеров не отстает и не хмелеет. Только басистый голос его болезненно хрипит и алеет лицо запьянцовской кровью.

Гостями повыпито изрядно. Всех потянуло послушать хороших русских песен.

— На рожках, на рожках! — забила в ладоши, запрыгала красотка Стеша. — Прохор Петрович, прикажите...

Мрачный Прохор поднес трем пастухам по стакану водки, старику сказал:

— А ну, коровий полковник, разутешь.

Пастухи залезли на широченную кушетку и, подогнув в грязнейших «броднях» ноги, уселись по-турецки. А гости — плечо в плечо — прямо на полу, спиной к пылавшему камину, лицом к рожечникам.

— Какую пожелаете? — спросил старик и упер в пол конец саженной своей обмотанной берестою дуды.

Не ржавчина на болотинке травоньку съедала,
Не кручинушка меня, добра молодца, печаль сокрушала, —

красивым контральто подсказала Стеша.

Прохор еще больше помрачнел, поморщился. Стеша припала щекой к его плечу. Пастухи сплюнули на тысячный ковер, отерли губы рукавом и, надув щеки, задудили.

И вот разлилась, распустила павлиний хвост седая песня. Переливчатый тон рожков был грудаст и силен. Мягко и певуче, с каким-то терзающим надрывом, вылетали звуки то круглыми мячами, то плавной и тугой струной... Особенно выразительно выговаривал рожок меньшого пастуха — Ерошки. Выпучив зеленоватые глаза и надув брюхатенькие щечки до отказу, Ерошка со всей страстью вел главную мелодию... И казалось, будто сильный женский голос во всю широкую грудь и от самого сердца звучит без слов. И если закрыть глаза — увидишь русскую бабу, пышную и румяную. Вся в кумачах, скрестив на груди загорелые руки, она плывет над полями по солнечному воздуху и поет, поет, не зная зачем, не зная для кого...

Вкладывая в певучий рожок все мастерство, Ерошка еще сильней надувает лоснящиеся щеки; ему вторит свирель Антипки, и, как складный фон, расстилает под песню свой басок дуда «коровьего полковника».

Насыщенная большой тоской проголосная песня сладко сосет самые сокровенные чувства человека. Все затаили дыхание, кой у кого блестит на глазах слеза. А трехголосная мелодия, раздирая тишину кабинета, царит и царствует. Она нежно хватает за сердце, умиляет огрубевшую, всю в мозолях душу: и просторно душе людской и грустно.

И вспоминается расслабевшему от песни слушателю далекий, но такой родимый край давно утраченного счастья, где все друзья, где владычествует пленяющая ласковость и ничем не омраченная любовь. Горе, горе человеку, забывшему ту чудесную страну младенческой неоправданной мечты!

— Ну песня, ну песня! — растроганно покрутил головой старик Груздев. — Как по сердцу гладит... Эх ты!

Рожки взрыдали последний раз и смолкли. Все сидели, опустив огрузшие воспоминаниями головы. Старый хозяйский лакей Тихон стоял, прислонившись к косяку окна; ему не хотелось утирать слез, катившихся на черного сукна сюртук.

— Слушайте дальше слова этой песни, — глубоко передохнув, будто захлебнувшись вздохом, проговорила Стеша. — Слушайте, пожалуйста...

Сушит да крутит меня, молодца, славушка худая,
Чрез эту худу славушку сам я погибаю...

Смысл этих слов больно уязвил Прохора Петровича. «Ну, прямо про меня», — угрюмо подумал он и, сразу вскипев, грубо оттолкнул от себя замечтавшуюся Стешу.

— К черту эту панихиду!.. Эй, гармонисты! Яшка! Сыпь веселую, плясовую! — крикнул он.

И весь строй кабинета переключился на гульбу. Бражники потянулись к чаркам, зашумели. Гармонисты стали налаживать свои тальянки.

— А ну спляшем!

Дьякон сбросил рясу, прогудел:

— Уберите подальше ваши стульчики. А то я их, неровён час, покалечу.

Исправник, желая угодить хозяину, снял шашку, принялся с помощью Тихона стаскивать мундир, — он тоже готовился к плясу. Жеманная Стеша и мясистая кухарка Аннушка, похохатывая, оправляли у зеркала смятые прически. Захмелевшая Наденька тянула с молодым пастухом густую душистую сливянку. Илья Петрович Сохатых зверски икал и тщетно придумывал, чем бы распотешить хозяина. Наденька затянулась из крепкой трубки пастуха, закашлялась и крикнула:

— Ну, а что же вы плясать-то?!

Персидский ковер скручен в тугое бревно, водружен к камину. Десятипудовый жилистый дьякон встал против семипудового брюхатого исправника. Их разделяло пространство шагов в десять.

— Готово?

— Готово.

— Вали!

Изумрудик с Яшкой хватили на тальянках. Дьякон повел плечами, оглушительно присвистнул и с гиком:

— Иэх, кахы-кахы, кахы-кахы! — подобно подъятому на дыбы коню, сотрясая пол и стены, дробно протопал по скользкому паркету.

Кони новы, чьи подковы!
Кони новы, чьи подковы!! —

отбрякивал он пудовыми сапогами, как копытами.

Исправник тоже подпрыгивал, тряс брюхом, сверкал лакировкою сапог, звякал шпорами; он сразу же вспотел, обессилел и, отдуваясь, повалился на кушетку.

— Слабо́, слабо́! — кричал ему дьякон и, посвистывая разбойным посвистом, с такой силой ударял в пол каблуками и подметками, что по кабинету шли гулы, как от ружейных залпов.

— А ну, вприсядку! — И взъерошенный, страшный видом Прохор выскочил на средину круга.

Гармонисты взревели громче, к ним пристали рожечники, и даже старый Тихон, забыв солидность, начал дубасить самоварной крышкой в серебряный поднос.

— Эх, кахы-кахы-кахы-кахы-кахы!!

От ярого топота двух богатырей — дьякона и Прохора — подпрыгивали окна, стоял грохот, звон в ушах, как на войне, и казалось, домище лезет в землю.

— Вали-вали-вали! — подзуживали гости.

Вот хрустнул, скоробился фасонистый паркет, изящные куски мореного дуба и розового дерева в панике поскакали из-под ног, как скользкие лягушки.

Железная натура Прохора Петровича, казалось, клала на обе лопатки все понятия о человеческой выносливости, природа зверя превозмогала все: после угарного во всю ночь пьянства, опохмелившись холодным квасом и ни минуты не вздремнув, он в семь часов утра, прямо с пира, уже был в своем кабинете на башне. А кучер Яшка и две кухарки с поваром,

еще не проспавшиеся, валялись под столом в домашнем кабинете Прохора Петровича, где шла ночная кутерьма. Всеми оставленный слепец Изумрудик, икая, бродил как дурак по коридору, отыскивал выход. Пастухи, забыв про коров, спешно доедали остатки. А Илья Сохатых, в плясе разбивший себе бровь, лежал, раскинув руки, посреди кабинета, моргал отекшими глазами, охал:

— Су... су... супруга моя сильно беременна. А я... а я, рангутан, валяюсь, как Бельведер Аполлонский... И нос в табаке. Курсив мой.

Фронт работ, суживаясь в одном месте, расширялся в другом. В этом году предстояли огромные расходы по оборудованию новых предприятий, золотоносных участков, каменноугольных разработок. Посланные в управление железной дороги образцы каменного угля получили от экспертизы высокую оценку.

Прохор Петрович взял крупные заказы на этот уголь и был углублен сейчас в подсчеты и соображения, как развернуть во всю ширь до́бычу угля, как перебросить уголь на железнодорожную линию. Он широко, умело пользуется большой своей технико-экономической библиотекой, толково подобранной инженером Протасовым. Он сначала раскинет своим умом «что и как», а потом, во всеоружии знаний, поведет деловой разговор с инженерами. Они будут удивляться гению Прохора, будут уступчивее в цифрах. К Прохору едут на службу из южной России три инженера, специалисты по углю, и пятеро штейгеров.

Занятия Прохора то и дело прерывают телефонные звонки по пяти проводам, брошенным в башню. Он знает, что в конторе идет сейчас расчет рабочих, не пожелавших остаться на пониженном заработке. Таких набралось свыше пятисот, среди них — приисковая «кобылка», шпана. Но большинство трезвые, почтенные люди, которым опостылело расшвыривать жизнь свою в немилой тайге. Всем им готовится

огромная барка и пароход в селе Разбой, на Большом Потоке. Поедут рекой и железной дорогой на родину.

Однако на лицах кой-кого из них лежит печать смерти: село Разбой мечено кровью и темным перстом судьбы.

Зато ум Прохора четок и ясен, он не закрыт никакими печатями, не мечен никакими перстами. Но где-то в подсознании Прохора и там, за спиной, топчутся призраки: Прохор слышит мстительный шепот убитых рабочих, плач старухи дегтярницы с парнем, предсмертный хрип Константина Фаркова и визги железной пилы — пила режет череп.

Прохор ежится, поводит лопатками, — ему неприятно, он гонит прочь это туманное чувство смятения, но все-таки кто-то стоит за спиной. Прохор силится втиснуть свой смысл в мудрость книги. Строчки ясны и четки, и ясен ум Прохора. Но вот чрез печатную строчку: «коксование имеет целью увеличение содержания углерода...» — пересекая ее, шмыгнул из пространства в пространство рогатый чертенок. Прохор ладонью — хлоп! — нет ничего. А чертенок меж тем завизжал, завизжал и уселся Прохору на нос. Прохор — хлоп! — комаришко.

— Ага! Да это же комар, а не черт, — обрадовался Прохор и стал читать дальше. Ныли глаза. Болело под черепом. Нездоровилось.

Вдруг что-то ударило Прохора в спину мягко, как мячиком. Прохор, передернув спиной, оглянулся. Пусто. Тихо. Потряхивает цепью волк. Прохора потянуло к окну. Он перевесился вниз из окна, обомлел, закричал:

— Шапошников! Шапошников! Шапошников!..

Бородатый человек, казавшийся сверху кубышкой, задрал вверх голову, потешно проквакал:

— «Что вам угодно?»

Прохор провел по глазам рукой, как бы стараясь очухаться.

Спустил с привязи волка, уложил его возле кресла: «Куш тут!»

У стола стоял лысый низенький Шапошников.

— Понимаю... Через окно? — ухмыльнулся Прохор.

— «Да, через окно. Как сыч».

— Ну и черт с тобой в таком случае. А я тебя ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь, — пятился Прохор.

— «И я... тттебя тоже», — сказал Шапошников.

— Но ведь ты сгорел?

— «Ну и что же. Сссгорел, а вот теперь восстал из пепла. Ш-ш-штоб мстить тебе».

— За что? — И Прохор, стуча зубами, начал подсвистывать к себе волка, но волк лежал, закрыв глаза. — За что же мстить? — повторил Прохор и стал подкрадываться к лежавшему на столе револьверу.

— «Ну что ж, на, стреляй, я не трус, я бородой закроюсь. На, на, на», — как слепой, водил Шапошников белыми пальцами по револьверу. Но пальцы были, как дым, как туман: они обтекали револьвер, не в силах сдвинуть его.

У Прохора от страха задрожали руки, задрожал язык.

Вдруг волк вскочил и с ворчаньем бросился к выходу. По лестнице грузно подымался исправник с нагайкой в руке.

— Люпус, на место! — крикнул на волка Прохор и, бледный, сел в кресло, зябко вздрагивая. Шапошников скрылся.

— Фу-у!.. Жарища... Двадцать пять в тени, — распахнул исправник чесучовый, мокрый под мышками китель.

— А я замерз. Виденица у меня...

— Брось. Это со вчерашнего перепою... И, представь себе, каков мерзавец.

— Кто, Шапошников?

— Да что с тобой? Ты про какого Шапошникова? — И Федор Степаныч с тревогой взял Прохора за руку. — Да, жарок. Ну-ка, язык! Н-да, налет. Дрянь дело. Больше кочанной капусты ешь, квашеной. И ничего не пей. А докторишкам не верь, они тебе наскажут. А я с неприятностью. Ибрагим-Оглы ночью, пока мы плясали...

Но Прохор не слышал его. Из-за шкафа выглядывал бородатый лик Шапошникова. Прохор погрозил ему пальцем. Борода и лысина спрятались.

— ...и ускакали, дьяволы. Нет, надо какие-нибудь меры. А то он жить не даст.

— Кто? Шапошников?

— Ибрагим, Ибрагим! Прохор Петрович, голубчик, что с вами?

— А я вот занимаюсь каменноугольной проблемой, — взбодрился Прохор. — Видишь, книги, вот заметки кой-какие набросал, планы...

Из-за шкафа опять высунулся на половину туловища Шапошников и потряс бородой. Прохор незаметно взял револьвер и прицелился в длиннобородого гостя. Исправник вскочил, схватил Прохора за руки.

За окном, мимо башни, с гиком мчались пятеро всадников.

— Он! Он! — заорал исправник и все пять пуль пустил в удалявшуюся кавалькаду. — Бандиты! Черкес!

9

Во всех людных местах вывешено объявление:

«За поимку бежавшего каторжника Ибрагима-Оглы, шайка которого разбойничает в районе предприятий П. П. Громова, контора немедленно выплачивает лицу, задержавшему бандита, одну тысячу (1000) рублей наличными.

Исправник Ф. А. Амбреев».

Стражники с урядниками, да и сам исправник, спали и видели, как бы изловить бандита. Но кони у шайки неплохие, почти все наворованы из конюшен Громова и богатеньких купцов, — шайка летает с места на место, как ветер, а просторы, где орудует Ибрагим-Оглы с удальцами, по крайней мере три тысячи квадратных верст. Поди поймай!

Вскоре темной ночью двенадцать стражников под начальством лихого урядника Лошадкина тайно выехали на поимку Ибрагима-Оглы: отряд имел сведения,

что малая часть шайки, вместе с черкесом, осела возле зимовья в верховьях речки Мухи. Чрез два дня к вечеру отряд вернулся в постыдном виде: он попал в лапы Ибрагима-Оглы с молодцами.

— Сколько их? — допрашивал исправник.

— Человек тридцать пять, — оправдывая себя, преувеличивали постыдные герои.

У них были отобраны шайкой ружья и револьверы с патронами, шашки, сапоги, лошади. Ибрагим-Оглы собственным кинжалом делал каждому на левой руке кровавую царапину, говорил:

— Шагай с богом домой. Кланяйся своим. Усатый пристав тоже кланяйся. А сам в другой раз нэ попадайся. Пожалста... Цх!..

Ловить Ибрагима охотников больше не находилось. Исправник докладывал Прохору:

— Очень мала́ премия. Я полагал бы назначить тысяч пять.

— Я сам убью его. Я его не боюсь. Я знаю, что он придет ко мне. Волк перервет ему глотку. А я докончу.

В воскресенье получилось известие, что в десяти верстах от прииска «Достань» на большой дороге убит Фома Григорьевич Ездаков. Он был освобожден из тюрьмы чрез хлопоты Прохора Петровича (чрез взятку) и возвращался к Громову на службу. Его нашли висевшим на дереве возле дороги, с приколотым к штанам куском картона:

«Сабакам сабачий змерт».

Во вторник, в обеденный перерыв, было вторичное нападение на прииск «Новый». В конторе прииска отобрано около пуда золота. Орудовало пятеро в масках.

Ибрагим-Оглы дозорил на горе, участия не принимал, но гортанным голосом что-то кричал с коня. Нападение было внезапное: никто из приисковой администрации не мог предполагать, что недавно ограбленный прииск вновь подвергнется налету бандитов.

На служащих всех предприятий напала паника. Обычная пьянка среди них стала затихать. После

убийства Ездакова многие из служащих трепетали, боясь мести Ибрагима-Оглы. Более сильные успокаивали малодушных:

— При чем тут мы? Ибрагим сводит счеты с хозяином. А Ездакова прихлопнули потому, что Ездаков злодей.

Прохор Петрович жил теперь на одних нервах, подстегивая их алкоголем, табаком, кокаином. Настоятельные советы врача, мольбы Нины, омраченной преступным отношением мужа к своему здоровью, не действовали на него. Он продолжал пребывать в приподнятом тонусе жизни, полагаясь на бесконечный запас своих природных сил. Поэтому, существуя на крайне взвинченных нервах, он убеждал себя, Нину и всех близких, что Ибрагим для него ничто, что бывший его «куна́к» теперь бессильный старичишка, что его именем, наверное, орудует другой разбойник.

Рассуждая так и веря в свои слова, Прохор, в минуты внутреннего просветления, от одной мысли встретиться лицом к лицу с черкесом весь цепенел и содрогался.

Душевное состояние Нины продолжало быть тоже скверным. Тревога за здоровье, за возможную насильственную смерть мужа, полный духовный разрыв с ним, остро ощущаемая Ниной враждебность к ней Прохора — все это выбивало ее из колеи нормальной жизни, ввергая иногда в полосу тяжелых переживаний. И вот в такое-то время, когда особенно ценна помощь друга, инженер Протасов совершенно охладел к ней,— по крайней мере ей так казалось.

Что же касается инженера Парчевского, он и вовсе не был доволен своим душевным настроением; он чувствовал себя по отношению к Нине предателем, какой-то переметной сумой: вращаться ли ему по таинственной орбите возле солнца, пани Нины, или переброситься в акционерное общество, в объятия друга своего, темного счастливца Приперентьева? Где тот колдун, где вещий волхв с тысячелетней бородой, который был бы властен предуказать ему звезду? Что ему делать, куда податься, чтоб, твердо встав на

почву, во всю ширь развернуть свои способности? О, душа его богата, он красив, он молод, он воспитан! Ежели он и спасует кой в чем перед хозяином, то над инженером-то Протасовым он по всем линиям одержит верх.

Пани Нина чаще, чем с Протасовым, встречается с Парчевским, ведет с ним технические советы; иногда — открыто, как бы напоказ, совершает с ним прогулки. Но — странное дело — ни Прохор, ни Протасов, вопреки горячему желанию Нины, и не думают ревновать ее к Парчевскому. Напротив, острый на язык Протасов перестал говорить ей колкости, он еще внимательней начал относиться к ее делу: работа на ее постройках ходко подавалась, уже заканчивали фундаменты для больницы, бани, обжигались миллионы кирпича, подводилось под крышу каменное здание богадельни.

Но одними строительными удачами, как бы грандиозными они ни были, не замазать трещин тоскующего сердца: Нина чувствовала большую неудовлетворенность. Нина злилась.

К сожалению, она не знала, что мистер Кук, достойнейший человек ее орбиты, страстно ревновал Нину и к пану Парчевскому, и к Андрею Андреичу Протасову, и к мужу. Вконец разочарованный в предсказаниях негра Гарри и утратив веру в свою путеводную звезду, мистер Кук стал помаленьку попивать. И в угнетении некоторых центров мозга он иногда проводит воровские ночи у любвеобильной Наденьки, стараясь заглушить томление робкого сердца своего.

Миссис Нина! Так неужели же вы никогда не обратите своего благосклонного внимания на несчастного мистера Кука? Ведь он же душка, ведь он выписал из Нью-Йорка из Института высшей косметики всевозможные руководства, притиранья, принадлежности для ухода за мужскою красотой! Его лицо крепко, приятно, выразительно, обмороженный нос утратил фиолетовый оттенок, веснушки исчезли. Ведь мистер Кук, тренируясь в любую свободную минуту, стал приобретать округлость форм, игривую пластику икр, бедер, бицепсов. Ведь он, наконец, получил из Аме-

рики большой сундук изящнейших костюмов и щеголяет в них, стараясь попасть на глаза Нины преимущественно во время церковного богослужения. Что ж? Значит, он все-таки верит в свою звезду? И да и нет. В его натуре тоже происходят какие-то сдвиги, как и в психике Прохора Петровича.

Меж тем на постройках Нины работало около четырехсот человек. Многим уже не хватало дела. А с предприятий Прохора почти каждый день являлись к Нине группами рабочие и чуть не в ноги кланялись ей, умоляя принять их на ее работы. Нина и радовалась и огорчалась.

— Я не могу вас принять. Вы своим уходом подрываете дело моего мужа. Да и что вы, ребята, льнете ко мне? Ведь я не в состоянии платить вам дороже, чем Прохор Петрович. Да я и не хочу этого...

— Не в деньгах суть! — возражали рабочие. — А главное — ты все ж таки, госпожа-барыня, настоящий человек. И часы у тебя много короче, и харч не в пример...

Нине скрепя сердце приходится измышлять новые затеи. Полтораста человек она поставила под корчевание и запашку целины на горелом месте. Там будет засеяна озимая рожь. А Протасов, законным порядком закрепив за нею залежи графита, организовал на них работы по добыче.

— Будет великолепный сбыт. Это дело принесет вам огромные выгоды. Даже можно попытаться построить здесь небольшой заводик для выработки карандашей. И еще — хорошо оборудованный лесопильный завод. Но я страшно перегружен работой. Я прямо-таки изнемогаю. Болен я. И, кажется, серьезно болен. Вот если б вам удалось завербовать мистера Кука. Он, хотя и недалекий человек, но весьма сведущий в этих вопросах. И главное, религиозен...

— А ты все злишься, Андрей? Какой ты жестокий!

— Я не жестокий. Я последовательный. И не будем, Нина, вновь пережевывать жвачку. Кончено! Мы не коровы, мы люди. И к тому же... — Протасов горестно вздохнул и нервно замигал. — Я вообще

покину ваши прекрасные обители. Мне предлагают на Урале большое место.

— Ну что ж, Андрей, — так же горестно вздохнула Нина. — Я не корова, но я и не дерево. Говорят, к березе можно привить яблоню. А вот ко мне, видимо, прививка твоих воззрений не удастся.

— Ко мне твоих — тоже.

Так и расстались полудрузьями, полузнакомыми.

В тот же день мистер Кук был приглашен к миссис Нине. Розовощекий, помолодевший и статный, он был в новом смокинге и белом жилете. Глянец нового цилиндра, казалось, испускал лучи. Мистер Кук тоже весь лучился, начиная от голубых блестящих глаз, от бриллиантовой булавки в галстуке и массивной золотой цепочки до лакированных штиблет.

— Вы сегодня как жених.

— О да!.. Немножко.

После деловых переговоров с Ниной («Я очень рада, что вы согласились заняться моими личными делами»), обласканный ею, одуревший от счастья, мистер Кук выпил дома три добрых стакашка коньяку, гимнастическими упражнениями проверил силу мышц, переоделся и пошел на башню порвать свои служебные отношения с хозяином. Демонстративно, не подав ему руки, мистер Кук в великолепном песочного цвета костюме остановился в трех шагах от Прохора и, коверкая от волнения русскую речь и чуть покачиваясь от хмеля, запальчиво сказал:

— Я вами ошень, ошень недовольный. Вы эксплуатироваль меня десятый годофф, как эксплуатироваете свой рабочих. Но это я вам не позволю над самой собой. Нет, не позволю!.. Я от вас ухожу.

— Куда?

— В пространств... — И мистер Кук икнул.

— Вы как будто пьяны, милейший, — сказал не менее его пьяный Прохор Петрович. — Идите-ка проспитесь...

Тогда мистер Кук оскалил зубы и, бросив перчатку в лицо Прохора, крикнул:

— Хам! Вы не имейт права оскорблять не ваш русский подданный... Я республиканец! — ударил он себя в грудь.

— Вон!.. — заорал взбешенный Прохор и, вскочив, схватил чернильницу.

— Хам, хам! Адьёт... Сельско-крестьянска мушик!.. — заорал и мистер Кук, испуганно пятясь к выходу.

Прохор швырнул в него чернильницу и бросился к нему. Мистер Кук, вспомнив любимую игру волейбол, ловким жестом отшвырнул чернильницу, крикнул: «Райт!» — и дал Прохору боксом меж ребер под вздох. Прохор хрюкнул и двинул мистера Кука по загривку. Мистер Кук закувыркался с башни вниз по лестнице.

— Хам! Хам!! — выкрикивал он на второй площадке это звучное, хорошо усвоенное им слово. — Я не русска подданный... Хам!

— А вот я тебе покажу, образина, чей ты подданный! — И Прохор сбежал на вторую площадку.

Но мистер Кук что есть силы дернул Прохора за бороду и сгреб его в охапку. Оба в натужливой борьбе свалились. У Кука лопнули подтяжки и крючки у брюк. Но он все-таки выкрикивал: «Райт, райт!..» Обхватив друг друга руками и ногами, они катались по площадке, как два дога, тузили один другого, царапались, ругались. Мистер Кук обессилел первый, — он весь вспружинился и вскочил, чтобы утечь. Вскочил и Прохор.

— Хам!! — взревел мистер Кук, стоя спиной к уходившей вниз лестнице.

— Вот ты чей, сволочь, подданный!

И Прохор так хлестко огрел его по лбу кулаком, что мистер Кук молча кувырнулся со второго марша лестницы, открыв пятками дверь, прохрипел: «Аут!..» — и вылетел наружу, за пределы башни.

Подслушавший драку бомбардир Федотыч, видя такой пассаж, поспешно закултыхал со стыда в свою каморку. Прохор, задыхаясь от бешенства, поднялся в кабинет, едва успокоил рвавшегося с цепи волка, закричал в телефон:

— Контора? Я, Громов. Управляющего делами! Зажимов, вы? Сейчас же увольте инженера Кука. Завтра утром выселите его из квартиры. Передайте Протасову мой приказ принять от Кука дела и отчетность.

Из разбитого носа Прохора капала на развернутую сводную ведомость кровь.

Кровь помаленьку покапывала и из расквашенного носа мистера Кука, но он ее не унимал. Округовев от крепкого удара в лоб, большой дозы коньяка и воздушного тура вперeверт по лестнице, он все еще сидел на земле в жалкой позе черепахи и как истый спортсмен восторженно оценивал мощь хозяйских кулаков.

— О! О... Колоссаль... «Голенький ох, а голенькому — бокс!..» Ха-ха!.. Очшень хорош самый рюсска... рюсска... водка...

Он покружился на четвереньках по земле, затем не сразу встал и двинулся к Нине Яковлевне с радостным известием, что с «мистер Громофф» он расстался «очшень самый лютча». Встречные, возвращавшиеся к домам рабочие, улыбчиво раскланивались с ним. Крутя в воздухе новым пиджаком, густо залитым чернилами, мистер Кук с пьяным хохотком отвечал на приветствия:

— Здрасте! До свиданья. Ха-ха! Я ваш хозяину, гражданины рабочие, даваль маленько в морда... Моя очшень больше не служит у него. Он хам!.. А где же мое шапо? — хватался он за голову, нервно икал, ускоряя шаг к Нине.

Но его вовремя остановил и увел домой Иван.

Прохор Петрович после драки не в силах был работать. Возбужденный и обиженный неслыханным наскоком какого-то «заморского прохвоста», он весь трясся от негодования. Проглотил таблетку бромурала. Стал взад-вперед ходить по кабинету.

— Нет, каков мерзавец, каков нахал! Да за подобную выходку в Америке его линчевали бы... И откуда вдруг такая прыть?.. — сам с собой рассуждал он то полным голосом, то шепотом, то выкриком. Останавливался, жестикулировал, нещадно дымил

трубкой. — Я должен это дело расследовать. Я этого не оставлю. А-а-а, знаю, знаю, знаю. Вы понимаете? Это ж Нина подстраивает штучки, моя жена. Так, так, так... Ну да. Но как же он, как же он... Ведь я ж в него выстрелил? Да, выстрелил... Отлично помню. Федор был. Схватил меня. Вы понимаете? А я решительно ничего не понимаю. А-а-а... так-так-так. — Прохор шутливо погрозил пальцем ушастому филину и уткнулся взглядом в висевший на стене портрет жены. Но вместо Нины была на портрете Анфиса.

— Здравствуй, Анфисочка! — Прелестная Анфиса глядела на него как живая. Прохор смотрел на портрет как мертвый. — Как ты попала ко мне?

Прохор потер лоб, подумал, прошелся. В окна вползала сутемень.

— Улыбнись, будь веселенькая, — сказал он. — Я болен, Анфисочка. А ее — убью... Жену убью, монашку, Нину. А Ибрагима ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь.

И Прохор, сгорбившись, вложил в полуоткрытый рот концы пальцев левой руки, стал к чему-то прислушиваться, пугливо водить глазами.

«Иди, иди, иди, иди, иди...» — не переставая звучало у него в ушах. «Это часы», — подумал он и остановил маятник. Но тот же голос продолжал настойчиво звучать: «Иди, иди, иди, иди...» Прохору показалось это занятным, не страшным. Он отшвырнул валявшийся под ногами цилиндр мистера Кука и надел картуз. «Иди, иди, иди, иди, иди...»

Прохор вышел и сел в пролетку. Белый конь нес крупной рысью. По сторонам мелькали безликие сумбуры. Большой любитель лошадей, Прохор не держал у себя автомобиля. «Бойся черкеса, бойся черкеса, бойся черкеса...» — беспрерывно повторялась теперь в ушах Прохора новая фраза. «Бойся черкеса, бойся черкеса, бойся черкеса...»

— А вот не боюсь!

— Чего-с?

— Слушай-ка, Филипп... — сказал Прохор кучеру.

— Я не Филипп, Прохор Петрович, я Кузьма называюсь.

— Ах, верно. Прости. Я про другое думал, про свое.

— Слых идет, Прохор Петрович, быдто с башни от вас человек с третьего этажа выпрыгнул.

— Да, да... Шапошников.

— Нет, извините, не Шапошников, а быдто барин Кук. Сегодня быдто... Верно ли, нет ли... Ась? Мы его Кукишем зовем.

«Бойся черкеса, бойся черкеса...»

— Слушай-ка, Григорий!..

— Я Кузьма, вторично... А Григорий барыню увез в прокат.

«Бойся черкеса, бойся черкеса, бойся черкеса...»

— Вези-ка меня к доктору. Он дома?

— Так точно, дома...

Свернули по наречной улице. Сутемень заливала мир. Небо хмурилось. Виднелись за Угрюм-рекой рыбачьи костры. По сторонам все еще мелькали сумбуры и серое время. Сумбуры шептались. Пригорок. На пригорке десять белых огромных, с венками крестов, под крестами могилы казненных рабочих.

— Повертывай! — крикнул Прохор кучеру.

— А к господину дохтуру, значит, не нужно?

— Пошел другой дорогой! — опять крикнул Прохор, ему чудилось, что кресты закачались, он задрожал и схватился за голову.

10

Среди рабочих опять началось сильное брожение. Закваской, дрожжами были политические ссыльные, передовые рабочие, кое-кто из технического персонала и отчасти даже сам Протасов. Но, по мнению Андрея Андреевича, поднять людей на новую забастовку, пожалуй, немыслимо и, как показал недавний опыт, бесполезно. Агитаторам, согласным с мнением Протасова, пришлось теперь разъяснять людям, что тут дело не в Громове: таких Прохоров Громовых на свете десятки тысяч — не тот, так другой. Да и на самом деле — была забастовка, были расстрелы, были даны

послабления и — вот: еще не успели сгнить в могилах казненные, у живых снова отнято все, что заработано кровью погибших... Нет, тут вся беда в самом управлении страной, в ее устарелом, жестоком строе. Значит, надо повалить насквозь прогнивший строй, надо поставить свое, народное правительство, тогда сразу всем капиталистам, вместе с Прохором Громовым — крышка! А пока — надо копить силы для предстоящих боев.

Состоялось свидание в брошенной рыбачьей избушке. Было двенадцать человек, среди них: Протасов, техник Матвеев, слесарь Иван Каблуков и поступивший в конторщики юноша Краев (он был на поруках Протасова), еще восьмеро рабочих: Васильев, Доможиров и другие.

Глухая ночь, берег реки, костер, чаек из котелка.

— Товарищ Протасов, — покашливая, кутаясь в длиннейший резко-желтый шарф, начал Краев. — Ваша точка зрения, простите пожалуйста, в корне неправильна. Отговаривать рабочих от забастовки преступно. И вот почему...

— Извините, — сразу перебил его Протасов. — А я, как раз наоборот, считаю величайшим преступлением толкать рабочих без надлежащей подготовки под второй расстрел. И, пожалуйста, не старайтесь переубедить меня; я старше вас и расцениваю события жизни трезвее, чем вы...

— Ну, тогда не о чем и говорить, — занозисто сказал Краев, и сухие щеки его стали алеть. — Моя точка зрения такова, если угодно вам выслушать... Да и не только моя, а наша...

— Пожалуйста. Только прошу вас — короче.

— Жертв бояться нечего! Без жертв, Протасов, революции не бывает! — И возбужденный юноша туго-натуго затянул на шее шарф. — Вы предлагаете всякие компромиссы. Ерунда! А почему? Да очень просто: вы, Протасов, никогда не рискнете пойти ради дела... на виселицу. Да-да... Ну-с... Так сказать... А я, что ж, я на это пойду. Значит, что? Значит, я вправе говорить, что жертв бояться нечего. Я не боюсь, не боюсь!.. Нате, берите мою жизнь! Суйте

мою башку в петлю!..— срывающимся голосом выкрикивал он.

— Простите, Краев, но мне ваша мальчишеская игра в героя начинает надоедать,— нажал на голос инженер Протасов.— Вы только собираетесь, а я уже рисковал своей жизнью...

— Когда?

— Как — когда?! — вскричал слесарь Каблуков не то с сердцем, не то ухмыльчиво.— А кто под пулями был, как в нашего брата шпарили? Не знаешь, и молчи.

— Вы, милый Краев, имеете право распоряжаться лишь своею, а не чужими жизнями. Поняли? Не жизнями рабочих...

— Ах, так? — И молодой человек, судорожно размотав концы саженного шарфа, резким движением закинул их за спину.— Тогда вы, Протасов, не революционер, вы, Протасов, примиренец, вы оппортунист и больше ничего! Да-да, оппортунист... Факт! Меньшевичок стопроцентный!

Взволнованный Протасов засопел, надулся. Рабочие мрачно молчали. Тут напористо ввязался техник Матвеев:

— Ты, Краев, горячишься, нервничаешь и не излагаешь наших условий... Дело вот в чем, Андрей Андреич! — сказал он и чиркнул зажигалку.

Четверо закурили от одного огонька. Большая борода слесаря Ивана Каблукова отливала красно-сизой чернью, воспаленные глаза были внимательны. Попыхивая трубкой, он принялся подживлять костер. Их окружала неверная, вся в тревоге, темень. На Угрюм-реке мерцали дремлющие бакены. В небе, там, далеко за тайгой, пошаливали, играя в прятки, бледнолицые молнии. На том берегу озорливо пылал костер. Возле него чуть виднелась кучка людей. И, будоража мглистый воздух, волнами наплывала от костра каторжная песня:

Этот дом, барин, казенн-а-ай,
Александровский централ,
А хозяин тому до-о-о-му —
Сам Романов Николай!..

— Слышите?! — озлобленно крикнул Краев на Протасова и взмахнул рукой навстречу птице-песне. — Слышите, Протасов? Вот вам... А кто поет? Простые мужики, лесорубы, рабы вашего милейшего людоеда Громова...

— Краев, брось! Андрей Андреич, значит, слушайте. — И техник Матвеев, потряхивая отвислыми щеками, стал приводить резоны. — Итак, план... Первое — объявление забастовки без всяких переговоров с Громовым. Второе — накануне забастовки, в ночь, мы разоружаем казаков и полицию. В-третьих...

— Чепуха, — буркнул Протасов. — С голыми руками к казакам соваться нечего...

— Позвольте, позвольте! В этом деле нам помогут ребята Ибрагима. Среди них есть наши рабочие с приисков и, говорят, один бежавший политик. Мы с ними уже вступили в связь. Итак, в-третьих — мы организованно предъявляем наши требования Громову. В-четвертых — мобилизуем рабочих для вооруженного восстания...

— Чепуха... Опасно, преждевременно! Против вооруженного восстания я в принципе решительно ничего не имею. Напротив! Я только говорю, что это преждевременно. Без контакта с общим движением рабочих ни черта не выйдет, уж поверьте. — И Протасов, черпая красноречие в приподнятом настроении своем, подверг сильной критике план забастовочного комитета.

— Я, вероятно, с Громовым расстанусь, товарищи. Перехожу либо на Урал, либо... и сам не знаю куда, — сказал в заключение Протасов. — Я думаю, что Громов скоро сам себя угробит: до чертиков пьянствует, балдеет, к работе относится спустя рукава, а поэтому и с финансами запутался... Мой вам совет, товарищи: готовьте силы к революции. Она близка.

Рабочие поднялись на ноги и сняли шапки.

— Товарищ, Андрей Андреич, — заговорили они враз. — Мы тоже утекать отсель мекаем. Нас, желающих уйти, человек более полсотни. Мы в Россию. Присоветуй, Андрей Андреич...

— Почему же вы? Заработок, что ли, мал?

— Не в этом суть, — ответил широкоплечий, в рыжих усах, молодой мужик Телегин, бывший солдат. — А вот в чем... Тут у нас, понимаешь, исходя из соображения... Каблуков, толкуй!.. Ты вроде как старшой у нас.

Иван Каблуков двигал бровями, переминался с ноги на ногу, видимо — робел.

— А пойдемте-ка, братцы, к лодке, — сказал Протасов, — мне ехать пора. Там и поговорим.

Матвеев с Краевым решили переночевать в избушке. Рабочие, вместе с Протасовым, дружески попрощались с ними и спустились к воде. Протасову нужно в литейный цех, где спешно, в ночную, ремонтировалась вагранка. Заработали две пары весел, Протасов взялся за руль. Сквозь темень лодка быстро заскользила вниз.

— Так в чем же дело, Каблуков?

— Да вот... Поскладней хотелось. Да не шибко мастер говорить-то я. — И смущенный слесарь стал утюжить свою бороду. — Дело вот в чем, барин Протасов... То-бишь, как его... Андрей Андреич... Ты даве правду сказал, бастовать у нас теперича, это — ваньку валять, нет никакой спозиции. Економной забастовкой, то есть кономической, нешто капитал проймешь? Да ни в жизнь! Ей-богу, правда... Главная суть — вредят эти самые штрики, как их...

— Штрейкбрехеры, — подсказал сквозь тьму Протасов.

— Во-во-во! — И слесарь Каблуков, раздувая ноздри, шумно задышал. Луженное огнем и дымом мастерских корявое лицо его вспотело от непривычного напряжения мысли. Но он все-таки нашел нужные слова. — Мы мекаем во как, товарищ Андрей Андреич. Здесь нам, мало-мало сознательным, делать нечего. Здесь, понимаешь, дыра. А я вот с Ванюхой в Сормово лажу, там шурин у меня токарь-металлист. Мишка да Степка желают ехать на Урал, они ребята твердые и в деле и в понятиях. Захар Оглоблин на Путиловский...

— Да, есть такое стремление, это верно... — широко раскачнул плечами угрюмый, со скуластым бритым лицом Захар; вода бурлила и вскипала пеной от взмаха его весел.

— Да все кой-куда, согласуемо желанью-мысли... А вот Миша Телегин, он, как бывший солдат, на вторительную службу ладит в полк... Чтобы, значит, и там пропаганду пущать.

Протасов с некоторой тревогой прищурился на бывшего солдата.

— Мы вот как просветились, спасибо, здесь! — И слесарь Каблуков, бросив весла, ударил в порыве восторга себя в грудь кулаком. — То ты, то Матвеев Иван Семеныч, то политические, спасибо! И по этому самому нас, сознательных, облестила мысль-понятие вот какое: уж ежели зачинать революцию, так зачинать как след быть. Перво-наперво нужно солдат поднять да мужиков. Так, ребята?

— Известно, так! Главная суть в солдатах, в армии...

— Мы про рабочих молчим, рабочий сам подымается, раз это его кровное дело. Верно, ребята? И вот, значит, долго ли коротко ли, восстание с оружьем в руках, всеобщая заваруха. Мужики бар тревожат, землю забирают, а тут повсеместная забастовка, да не економная, а сама что ни на есть политическая, с красным флагом. Прямо — хвиль метель!.. Тогда всё — стоп! — мужик наш, солдат наш...

Лицо Каблукова то улыбалось, то серьезилось; он млел в приливе бодрых чувств, захлебывался словами.

Направо, задорно помигивая сквозь отсыревшую мглу, показались огни заводов. Было тихо. Кой-где висели в небе звезды. А за тайгой все еще играли бледнолицые молнии.

Лодка под рулем Протасова, обогнув красный бакен, круто завернула на заводские огни. Из цехов механического завода долетали лязг, бряк, гул. Протасов и рабочие поднялись по сыпучему откосу на берег. Слесарь Каблуков, освещая инженера дорожным фонарем, заговорил взволнованно:

— Ну, а позволь тебя, товарищ Андрей Андреич, спросить в упор, не обессудь уж... Нам шибко антиресно, даже спор у нас из-за тебя... Вот, допустим, восстание, революция, бурь-погода огневая... А ты-то?.. Ты-то с нами будешь али как?

У Протасова защемило сердце, кровь ударила в голову, обвисли концы губ. Он взглянул в лицо Ивана Каблукова и дрожащим голосом спросил:

— А ты как думаешь, Иван?

Каблуков потупил глаза в землю, мялся.

Протасов ушел. Каблуков сопел, про себя выборматывал:

— А ведь и верно, барин-то, пожалуй, меньшевичок... Пожалуй, в случае чего, большого дела забоится.

11

Однажды Прохор Петрович, внутренне встревоженный, лег после обеда спать, но ему не спалось. «Надо сходить к попу, поп мудрый», — думал он.

...И вот он у священника. Отец Александр пил чай с малиновым вареньем. На спинке кресла — желтоглазый филин, а на столе две бронзовые статуи улыбчивого Будды.

Священник, как призрак, поднялся навстречу гостю, молча указал рукой на кресло. Прохор сел, бросил белый картуз на пол, у ног своих. Сел и отец Александр.

— Александр Кузьмич!.. Я начистоту... Я, знаете, за последнее время...

— Что?

— Душа моя за последнее время как-то мрачнеть стала. Загнивает, понимаете ли. — Прохор сидел, опустив на грудь голову. — А вы, я знаю, мудрец. Вы колдовать умеете...

Лицо священника осерьезилось, он надел золотой наперсный крест, расправил усы, быстро о чем-то стал говорить. Но Прохор не мог уловить смысла слов его, голос священника пролетал над ним, как ветер над

срубленной рощей, не задевая сознания. Прохор думал о главном.

— В сущности, зла во мне нету, — раздумывал Прохор и подогнул левую ногу под кресло. — Но обстоятельства складываются так, что зло идет на меня и вот уже окружило меня со всех сторон. И мне начинает казаться, что зло — это я. Как же мне оградить себя от зла? — Прохор поднял с полу картуз и нахлобучил его на голову Будды. Филин сердито пощелкал на Прохора клювом и что-то сказал непонятное.

— То есть вы ищете оправдания зла? Не правда ли, Прохор Петрович?

— Нет точки опоры, нет точки опоры, — печально бормотал Прохор. — Когда пытаюсь опереться на людей, они гнутся, ломаются, как тростник, ранят меня в кровь. Мне трудно очень...

Отец Александр упер бороду в грудь и чуть улыбнулся.

— Я рад, что ваша душа начинает подавать свой голос, — сказал он. — Желаю вам, чтоб, оглянувшись назад, вы сказали себе: стану другим...

— Каким же?

— Пусть подскажет вам совесть.

— Ха, совесть!.. — нагло выпалил Прохор. — Что такое совесть? Что такое добро, зло? Их нет! Выдумка...

— Что, что? Зло — выдумка? Нет, Прохор Петрович, вы не умничайте, пожалуйста. Вы весь во зле, да, да.

Пред иконами горели три лампады: желтая, синяя, красная. В сумерках они создавали успокаивающее настроение. Но Прохор, подняв взор на священника, вздрогнул: глаза отца Александра из-под нависших бровей пронзали его блеском, они показались Прохору глазами ламы, которого видел Прохор когда-то в Монголии.

— Александр Кузьмич, это вы?

— Кажется — я. И слушайте про мою встречу в Улянсутае с ламой-бодисатвой.

По лицу Прохора бегала тень душевной тревоги. Он переложил картуз с Будды на кресло. Хотел встать

и уйти. Отец Александр, откинув корпус назад, проплыл над полом, как призрак, оправил лампады. Вместо икон в переднем углу — две статуи Будды и филин.

— Итак, о встрече с ламой, — рассекая сумрак своей сухощавой, в черном подряснике фигурой, заговорил не то отец Александр, не то кто-то другой. — Я спросил его: почему многие из ваших святых лам ведут разгульную жизнь, даже заражаются сифилисом? Лама мне ответил: «Вот допустим, сказал он, что святой лама напился пьян...» Вы слушаете, Прохор Петрович?

— Слушаю, слушаю, — ответил тот удрученным голосом: ему вдруг захотелось выпить чайный стакан водки.

— Святой лама напился пьян и... и убил кого-нибудь, убил, скажем, злодея. Вы понимаете? Убил...

— Понимаю... Лама убил женщину.

— Я не сказал женщину! — крикнул чей-то незнакомый Прохору голос. — Почему женщину? Я сказал: вообще — убил. Прохор Петрович, что это значит? При чем тут — женщина?

Глаза Прохора испугались, стали вилять от картуза к выходной двери, от сияющих лампад к черному, как призрак, подряснику. Черный подрясник, перехваченный широким расшитым разноцветными шерстями поясом, впаялся в полумрак и застыл на месте.

— Меня терзает мысль об Анфисе, — робко стал выборматывать Прохор. — Ну, еще о Синильге... Впрочем, нет. Впрочем, еще об одной женщине. Впрочем... да, да. Звать ее — Нина... Да вы ж ее знаете, батюшка!

Но вместо отца Александра стоял полузнакомый монгольский лама. На плече его — филин.

— По древнему буддизму, ежели желаете знать, — начал косоглазый монгол, — святой лама весь в созерцании, он в жизни пассивен. По обновленному буддизму: лама-бодисатва, напротив, активен. Он рожден для спасения грешников, и какое бы преступление он ни совершил, оно не может очернить бодисатву, он выше греха. Он может убить злодея из побуждений человеколюбия. Во-первых... Вы слышите, гость?

— Слышу, — выдохнул Прохор.

— Во-первых, убивая злодея, бодисатва этим самым избавляет его от дальнейшего, идущего через него в мир зла. Во-вторых, бодисатва берет все грехи злодея на себя. В-третьих, он отправляет убитого им злодея прямо в рай, как претерпевшего насильственную смерть. Следовательно, убив человека, лама проявляет акт великого человеколюбия.

— Ведь это ж... Ведь это ж для меня очень успокоительно, — прошептал в мрачное пространство Прохор. — Убить женщину ради человеколюбия... Прекрасно, прекрасно... Убил одну и убью другую. И все это ради человеколюбия, ведь так?

— Так-так, так-так, — с укоризной кивал головой косоглазый лама.

«Так-так, так-так», — раскачивался маятник елизаветинских часов; за камином на привязи поскуливал волк, на цыпочках подошла к двери горничная Настя. «Барин, вы спите?»

Прохор вздрогнул, тяжко проснулся, повел бровями. Нет никого. «Надо сходить к попу, поп мудрый», — подумал он.

Вся внутренняя жизнь Прохора Петровича резко распалась теперь на белую и черную. В черной полосе он беспросветно пил, его ум мутился, затемненное сознание ввергало его в мир галлюцинаций. Когда же наступала белая полоса, мозг прояснялся, воля крепла, Прохор лихорадочно хватался за дело и, работая упорно, как машина, кое-что наверстывал, что было упущено в прошлом. Иногда и черная и белая полосы сливались. Получалось нечто серое, психически больное, с гениальными проблесками мысли, но с нередкими провалами сознания в густейший мрак.

И все-таки, существуя то в черной, то в белой полосе, Прохор Петрович, наперекор всему и всем на удивленье, продолжал развертывать дело все шире и шире.

Пущен в действие новый цементный завод. Недавно приехавшие горняки-инженеры быстро органи-

зовали добычу каменного угля из надземных пластов. Свежие грузы его в огромных количествах поплыли на плотах по Угрюм-реке, потянулись на подводах, на только что прибывших грузовых автомобилях к наполовину законченным железнодорожным веткам. Прохор надеялся связать стальными путями свои предприятия с главной магистралью к началу зимы. Работа шла ходко. Рабочие — их теперь стало шесть тысяч — от дела не отлынивали, отложена мысль и о работе «чрез пень колоду»: им угрожал расчет, снижение платы, штрафы, новые массы прибывающих завтра же встанут на их место.

Прохор мог бы ликовать. Но то, что некоторые старые рабочие перебегали к Нине, уступая место неопытным — «расейским» новичкам, злило Прохора. Мысль, что в его самодержавном государстве завелось, как экзема на лице, какое-то ничтожное бабье королевство, с совершенно иными, лучшими условиями труда, чем у него, — эта мысль сажала Прохора, как медведя на рогатину.

Нет, подобного коварства он больше терпеть не может! Он в последний раз переговорит на эту тему с малоумной королевой-узурпаторшей.

После обеда в праздник Нина копалась у себя в саду. Наступала осень, но день был теплый. Близились сумерки. Верочка катала по дорожкам большое колесо. За нею следом ходила бонна и гувернантка из Берлина, полная белокурая девушка. Верочка подбежала к Нине:

— Мамочка! А почему курочка ходит босичком, а я в туфельках? Я разобуюсь.

Подошел в белых нитяных перчатках старик лакей:

— Барыня, барин изволит вас просить к себе.

Нина знала, что муж приглашает ее не для приятных разговоров. Поэтому она вошла в кабинет Прохора с Верочкой: она думала, что дочь одним своим невинным видом может умерить гнев отца. Навстречу вошедшим подбежал, виляя хвостом, радостный волк.

Прохор сидел за столом хмурый, в халате, с трубкой в зубах.

— Садись, фабрикантка, — бросил он сквозь зубы.

— Папочка, миленький, папочка!.. — подсеменила к нему Верочка. — Я тебя люблю... Я люблю тебя больше, чем волченьку-люпсеньку.

Прохор взял ее на руки, поцеловал в висок, придвинул ей цветные карандаши и бумагу.

— Я срисую человека с усами... Страшный который. А потом избушку, чтоб дым валил.

— Нина...

— Да, Прохор, слушаю.

Наступило обоюдоострое молчание. Воздух сгущался в тучи. Верочка начала рисовать.

— Ты христианка, Нина?

— Да, христианка. Ты же знаешь, Прохор.

Тучи продолжали окутывать их своим грозным молчанием. Верочка рисовала.

— Ежели ты христианка, то как же ты с такой настойчивостью толкаешь меня в какую-то пропасть, в зло?

— Нет. Ты не так понимаешь мою деятельность, Прохор. Вся она направлена к тому, чтоб отвратить тебя от зла, — сказала тихо Нина, разглядывая свои замазанные землей ладони. — Я путем практических комбинаций хочу возле твоей деятельности создать такое окружение, которое заставило бы тебя, вопреки твоему желанию, стать по отношению к рабочим совершенно иным, чем ты есть сейчас.

— Ты сказала, что, вопреки моему желанию, тащишь меня от зла прочь. Так? Так. Значит, ты применяешь насилие. Но ведь Христос сказал: не противьтесь злу насилием. Ты в это вдумалась?

Нина опустила голову и часто в растерянности замигала. Она не готова к ответу на такой вопрос. Как же так? Она сегодня же поговорит на эту тему с отцом Александром.

— Я тебе хочу добра, а себе покоя, — сказала Нина, смущенно покраснев.

Прохор покрутил на пальце чуб, сдвинул брови к переносице:

— Добра желаешь мне?

— Да, добра.

— Хм... Ну так знай! — И Прохор ударил в стол ладонью.

От окрика Верочкин карандаш хряпнул, она вскинула на отца большие глаза и соскользнула с его коленей. Прохор схватился за виски, закрыл глаза: в ушах что-то покаркивало, в груди побулькивало, пред смеженными веками плавали хвостики.

— Ты, милый Прохор, болен... Нет, это ужасно, — кротко, с внутренним отчаянием в голосе, сказала Нина, прижимая к себе подбежавшую Верочку. — Ляг, отдохни... Мы поговорим после.

— Нет! — сверкнул он на жену белками глаз. Руки его дрожали, прыгал язык.

Ветерок колыхал шторы в открытом окне, чрез кабинет проплыла пушинка, стайка осенних мух жужжала, роясь возле хрустальной люстры; из непритворенной двери высунул голову лобастый рыжий кот.

— Милый Прохор, тебе надо бросить все и отдохнуть — уехать куда-нибудь, полечиться, взять отпуск у самого себя. Я знаю, ты очень, очень болен. Мне видеть это слишком мучительно, прямо непереносно... Поверь мне. — Нина тихо заплакала, поднялась и пошла к нему. — Милый, умоляю тебя, брось все дела...

— Нет!!! — двумя кулаками враз грохнул в стол Прохор. — Стой! Впрочем, садись... Впрочем... как желаешь.

Нина остановилась. Прохор повернулся к ней в кресле и, потряхивая лохматой головой, беззвучно засмеялся.

— Знаю, знаю, фабрикантка, для чего ты хочешь выгнать меня отсюда, знаю. Ты хочешь забрать в свои с Протасовым руки все мои дела и оставить меня нищим. (Нина всплеснула руками.) Стой, стой, не перебивай, — он стал говорить быстро, отрывисто, все круче возвышая голос до крика. — Я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфием, — это все через тебя, через твои штучки, через твой христианский бабий нрав, фабрикантка.

— Врешь! — крикнула Нина и, вся надломленная, раздираемая ненавистью и любовью к мужу, села напротив него в кресло.

«Врешь, врешь, врешь, врешь», — затараторил голос в правом ухе Прохора. «Врешь, врешь, врешь...» Прохор засунул в ухо палец, с ожесточением потряс там пальцем. Голос смолк.

— Я с большим трудом привожу издалека рабочих, плачу им прогонные деньги, учу их, — они бегут к тебе. Я вновь добываю рабочих, — они опять к тебе. Наконец вислоухий Кук ушел. До каких же это пор? Жестокий враг так не мог бы поступать, как поступаешь ты! (Нина все время пыталась возражать, но он не давал ей.) Да, да, жестокий враг! А ты со своим бабьим умом ослеплена малыми делами и не хочешь понять моих больших дел. Да, больших дел.

— Каких же?

— Я... — Прохор нахохлил брови, встал, подбоченился и начал шагать по обширному кабинету, косясь на присмиревшую возле матери Верочку. Полуоткрыв рот, ребенок следил за отцом раздраженным взглядом. — Я разовью здесь промышленность, какой нет в России. Мой поселок превратится в городище с миллионом жителей. Имя мое будет греметь! Понимаешь? Греметь по всему миру...

Нина слушала его, замирая от волнения.

— Может быть, тебе заживо поставят памятник? — попыталась улыбнуться она.

— Да! Я сам себе поставлю памятник в центре феерического сада, какого не мог видеть и Людовик Шестнадцатый. Я построю в том городе университеты, винокуренные заводы, инженерные школы, торговые ряды, пассажи, театры, и все будет мое. Да, да, мое, мое! А не твое!! — Последние фразы выкрикнул он с особым сладострастием.

— Во имя какой же идеи ты все это предполагаешь?

— Во имя самого себя, — гордо откинул Прохор голову. — Во имя своей славы! — Он выбросил обе руки вверх и взмахнул ими, как крыльями. Лицо его было грозно и величественно.

Верочка скривила рот, заплакала.

Нина подхватила ее на руки.

— Мамочка, не вели ему орать!

— Значит, фабрикантка, поняла теперь, в чем моя идея? По-твоему — это идея сатаны, антихриста, христопродавца? Вздор! Это моя идея. Я с ней родился, я с ней умру.

Прохор взглянул на Нину с досадливым раздражением, как на преградившую ему путь скалу, и снова зашагал, размахивая полами халата. Нина смотрела на него с нескрываемой боязнью, с жалостью: «Господи, неужели у него мания величия?»

— И я тебе в последний раз говорю! Я тебя, фабрикантка, предупреждаю. Вот мое предложение. Слушай. Последний раз слушай! — И Прохор, почему-то засучив рукав халата, внушительно погрозил Нине пальцем.

Нина встала, чувствуя, что из туч сейчас ударит молния. Прохор, врезавшись ногами в пол в пяти шагах от Нины, стоял, как призрак Геркулеса, и хрипло говорил сквозь стиснутые зубы:

— Слушай... И — к исполнению. Приказ мой. Как можно скорей закрывай свои работы или передай их мне. И свой миллион передай мне... Слышишь? Миллион!.. Я не могу видеть, как ты зря транжиришь нажитые твоим отцом и дедом капиталы. А мне деньги до зарезу... У меня нет денег, мне нечем платить рабочим. Или ты хочешь, чтоб я обанкротился? Черт!.. И самое бо̀льшее, что я тебе могу дозволить, это выстроить женский монастырь и стать в нем игуменьей. Дур много. Ты этим угодишь и богу и мне. Итак — приказываю, прошу, умоляю... — Прохор скосоротился, с отчаянным выражением лица кинулся пред потрясенной Ниной на колени. — Умоляю, сделай меня свободным, прекрати свои глупые затеи! Дай мне осуще...

— Прохор, — отступила от него на шаг Нина. — Если ты встанешь на путь истинного устроителя жизни, а не алчного тирана трудящихся, я вся твоя, со всей душой, со всеми капиталами.

— Нина Яковлевна! Нина Яковлевна! — как вепрь вскочил Прохор и, словно коршун, вцепился когтями в полы своего халата.

— В противном же случае, Прохор, я твой враг. Я буду работать так же, как и работаю! — возвысила свой голос Нина.

Прохор, тщетно силясь унять в себе взрыв гнева, заскорготал зубами:

— Марш отсюда!!

— Дурак, дурак!.. — плача, пуская пузыри и топая ножкой, взвизгивала, вся содрогаясь, Верочка. — Ты страшный. Дурак!..

Прохор, потеряв последнее самообладание, схватил обиженную Нину за плечи, повернул ее лицом к двери, стал выталкивать из кабинета. — Вон! Вон! Змея! Протасовская подстилка!.. Отдай мне миллион!!!

Вдруг волк с рычащим лаем в три прыжка бросился на Прохора и рывком разорвал на спине халат. Прохор лягнул его ногой, захлопнул за женой дверь, сорвал с крючка арапник.

— Поди сюда!

Волк, поблескивая освирепевшими глазами, ловил момент, чтоб броситься на хозяина. Но вдруг струсил человечьих глаз, покорно лег на брюхо, сжался. Прохор накинул на его шею парфорс-удавку, подволок к стене, где ввинчено кольцо для цепи, продел парфорс в кольцо, подтянул башку волка вплотную к стене и, вкладывая в удары ярость, немилосердно стал пороть его. Из шкуры зверя клочьями летела шерсть. Зверь рычал, выл, хрипел, бился, пустил мочу, потом стал от удавки задыхаться. Вот железное кольцо разогнулось, зверь враз вырвался от человека-«друга» и, оставляя на белом ковре следы крови, опрометью — вон.

Мокрый от пота, Прохор в бессилии повалился головой на стол. Все гудело внутри. Разрывалось сердце. Руки тряслись.

В разгоряченной голове дурили сумбуры и кошмарчики. «Надо убить, надо убить, надо убить, убить, убить», — зудил под черепом голос. Сначала под

черепом, потом громко в уши. Не хватало воздуху, не хотелось дышать, не хотелось жить.

И вновь прошлое стало настоящим, настоящее отодвинулось назад. Кошмарчики пошаливали. Сон не шел.

В три часа ночи взял бумагу, долго сидел над нею в помраченном онемении. Потом, вспомнив старцев, вспомнив странный сон про ламу-бодисатву, перекрестился, обмакнул перо и, проставив месяц, число и год, написал:

«Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному. Мой гроб и гроб жены рядом. Гроб Верочки наверху.

Прохор Громов».

— Да, да, — прокаркал он, как ворон. — Ну, что ж, я не виноват, я не виноват. Меня таким хотят сделать.

Он заклеил записку в конверт и припечатал сургучной печатью, перстнем.

12

На другой день, разбитый физически, растрепанный душевно, Прохор проснулся поздно. Не умываясь (он редко умывался теперь), выпил водки, съел кусок хлеба с солью и с робостью поднял взгляд на портрет в золоченой раме. Но вместо жены на портрете — Анфиса, она ласково улыбалась, кивала Прохору, что-то хотела сказать. Прохор протер глаза, на портрете — Нина...

— Хм, — буркнул он, скорчил гримасу, отмахнулся рукой.

Мысленно, со стороны, Прохор Петрович стал горько подсмеиваться над собою, что вот он, такой большой и бородатый, верит в какую-то чертовщину. Он и рад бы не верить в нее, но он ясно видел, что эта несуразица так ловко оплела его со всех сторон, так искусно перепутала всю логику его суждений, что

он стал чувствовать себя погрязшим по уши в болоте личного бессилия.

«Очень интересно наблюдать, как умный с ума сходит, — все так же внутренне ухмыляясь, с большой тоской в сердце думал он. — Нет, шиш возьми. Вот не сойду, назло не сойду. Дурак, пьяница. Мне действительно отдохнуть надо».

Напился чаю, написал письмо Протасову, заказал ямскую тройку (своих лошадей жалел) и, не простившись с домашними, выехал в путь-дорогу.

Он направился в село Медведево, чтобы примириться с отцом своим. Мысль о примирении встала пред Прохором резко, отчетливо. Прохор принял ее, не сопротивляясь. И еще ему надо навестить могилу матери и горько поплакать на могиле желанной Анфисы. «Анфиса, Анфиса, зачем судьба оторвала тебя от моего сердца?»

Тройка бежала скорой рысью. Путь с горы на гору, тайгой, полями, берегом реки. Прохор закрыл глаза и, покачиваясь, грезил. «Черт, до чего все усложняется. Как трудно стало жить. Как перепутались все дела мои...» — не открывая глаз, думал он. Мысленно оглядываясь в недавнее, он казался себе человеком, который по движущейся вниз лестнице старался взобраться в гору. Человек — все выше, а лестница под ним — все ниже. Человек воображал, что вот-вот взойдет на гору, но вершина горы все больше и больше возвышалась. «Да, все так, все правильно. Именно я похож на такого человека». И Прохор под заунывные звуки колокольчика начинал искать корень своих неудач. Впрочем, он четко знал, откуда эти неудачи, но ему хотелось еще раз взглянуть в наглую личину своего врага. Тогда путь путаных домыслов вновь и вновь приводил его к Нине, Протасову, Приперентьеву, отцу. Однако, желая оправдать отца и Нину, он воспаленным воображением своим попробовал искать причину зол не в земнородных существах, а в проклятой судьбе своей.

— Ведь я же открыто, при всех провозгласил тогда на пиршестве, что я — сатана, я — дьявол! — выкрикнул он так громко, что толстогубый парень,

ямщик Савоська, оглянулся на него и в страхе стал двигать бровями.

— Что, не узнал?

— Не узнал и есть,—присматриваясь к волосатому прыгающему лицу Прохора, прогнусил Савоська.

— Ты думаешь, барина везешь, а я — черт.

— А ты не заливай. Ты — Прохор Петрович, вот ты кто.

Прохор, чтоб настращать придурковатого парня, хотел взвыть диким голосом и закатиться сумасшедшим смехом, да передумал. Достал походный ларец и выпил большой стакан водки. Савоська, ежась и заглядывая через плечо на седока, заговорил:

— А что, Прохор Петрович, правда ли, нет ли,— тебя считают в народе колдуном? Будто ты с неумытиком знаешься?

— Верно, знаюсь,—сказал Прохор. Водка всосалась в кровь. Тоска стала спадать. Прохор зарычал слегка и по-волчьи взлаял.—А мой волк, верно, леший, он по-человечьи говорит. Хочешь, и лошади твои по-человечьи заговорят?

— Брось, брось на воду тень-то наводить. Что я, маленький, что ли? Кому другому заливай. И не рычи, сделай милость,— бодрясь, загнусил дрожащим голосом Савоська.—А ты вот что говори, как бы нам не довелось в тайге заночевать. Вишь, сутемень какая, скоро ночь ляжет.

— Через пять верст Троегубинская мельница. Забыл нешто? Там и заночуем,—ответил Прохор и, проверив заряды в ружье и штуцере, осмотрелся по сторонам.

Кругом темная, мрачная тайга. В небе зажглась первая бледная звездочка.

Протасова раздражало оставленное хозяином письмо.

«Любезнейший Андрей Андреич,—читал он.— Уезжаю от вас на недельку, на две. Нездоровится. Проветриться надо мне, протрезветь. Последние собы-

тия, начиная с пожара тайги, вывели меня из равновесия. Ищу точку опоры и не могу найти. Все дело поручаю вам под вашу личную ответственность. До скорого свиданья. *Прохор Громов*».

Протасов собрался переводиться на Урал, и вот опять оттяжка. Ежедневно посещая контору, он установил, что служащий Шапошников отсутствует вот уже пятый день. Один из конторщиков сказал Протасову, что Шапошников, вероятно, пьянствует, что от него всегда попахивает винишком и вообще он какой-то странный.

Поздно вечером, когда кругом затемнело, Протасов заглянул в избушку Шапошникова. Избушка принадлежала глухонемой бобылке Мавре. Горела под потолком маленькая, в мышиный глаз керосиновая лампа. На куче соломы, в углу, спал врастяжку, кверху бородкой, коротконогий босой Шапошников. Пахло водкой. Батарея пустых бутылок возле печки. На стене, убранный хвойными ветвями, портрет Анфисы.

— Шапошников!

Тот чихнул и сел, вытянув опухшие ноги. — Ах, это вы? Простите... А это я. Только, п-п-пожалуйста... б-без нравоучений... Я знаю, что виноват. Кругом виноват. Впрочем... — Он осмотрелся, провел рукой по лысине и горько улыбнулся. — Да, сон. Ах, это вы? Протасов? А я думал, что... Берите стул, — Шапошников встал, закинув руки за шею и, пробежав на цыпочках, сладко потянулся, затем криворото, отчаянно зевнул, — бородища залезла на левое плечо, — сел к столу, закурил трубку. Рубаха расстегнута, выбилась из штанов.

— Слушайте, товарищ Шапошников... Как вам не стыдно валяться на соломе, бездельничать? Ведь все ваши товарищи на большой работе, народу служат... А вы...

— Милый... с-с-скука, т-т-тоска, уныние. Я удивляюсь, как в-в-вы-то не спились еще в этой дыре. Нет, надо бежать. — Он выпучил глаза и крикнул: — Да! Знаете? Стращалов бежал... Прокурор. Помните?

Записку получил от него. В безопасном месте, говорит. С приятелями, говорит. Потом сбегу, говорит, в Америку. Деньги есть, говорит. Да-да. Он, черт, сильный, мужественный. А я... я... ч-ч-чучело. Милый! Когда умру, набейте меня паклей. И поставьте Прохору Петровичу в кабинет. Пусть мучается, пусть и он, стервец, с ума спятит... Я ведь тоже... тово... готов, кажись.

Протасов с жалостью во все глаза глядел на него.

— Я лягу, не могу сидеть. — Ударившись головой о стену, он кувырнулся на свое логово. — Садитесь на пол. Протасов, милый... Как бы я... как бы... желал бы... Вернуть свою молодость.

— Ну, что вы какую несете чушь!..

— Нет, нет, — засмеялся скрипучим смехом Шапошников и, как белка хвостом, закрыл бородой одутловатое от запоя лицо свое. — Мне бы только встретить Анфису...

Вошла глухонемая бабушка Мавра, хозяйка Шапошникова, поставила на стол кринку с молоком, низенько поклонилась Протасову, что-то замычала, замаячила руками.

Прохор спал. Снилась сумятица: Синильга кружилась пред ним во всем красном, вдова тунгуска вылезала из омута и, голая, с плачем садилась на белый камень. Затем все исчезло, и снова: пустой вечер, кладбище, сорвался с березы грач, ползли туманы, отец Ипат покадил Анфисиной могиле и пропал в дыму. Колокольчики-бубенчики побрякивали.

Вдруг крики:

— Стой!

От резкого выстрела Прохор открыл глаза, проснулся:

— Что такое? Что?

Тройка напоролась на залом из сваленных разбойниками поперек дороги деревьев. Тьма.

— Ямщик!! Что?!

Хохот — и Прохор связан...

Разбойники, человек тридцать — сорок, сидели у двух костров в глухой, заросшей густым ельником балке. Кругом тьма. Неба не видно. Откуда-то сверху, из мрака, слышались выкрики иволги, всхлипы сов, посвисты, свисты. То перекликались на хребтах балки дозорные. Кой-кто спал, кой-кто чинил одежду или дулся в карты. У ближнего к Прохору костра пятеро молодцов, прихлопывая в ладоши, пели вполголоса веселую:

Там зá лесом, там зá лесом
Разбойнички шалят!
Там зá лесом, там зá лесом
Убить меня хотят.
Нет, нет, не пойду,
Лучше дома я умру!

Лихой этой песни Прохор не слышал. Строй жизни в нем помрачился, ослаб. И жизненный тон восприятий стал тусклым, незвучным, завуалированным. Он сидел на пне, как в театре пред сценой. С дробным, идущим по многим путям вниманием, ждал, что будет дальше, небрежно готовился досматривать сон. А сам думал вразброд о чем-то другом, о третьем, о пятом. Поэтому Прохор ничуть не испугался подскакавшего на коне Ибрагима-разбойника. Но при свете костров успел рассмотреть его, как актера на сцене. И сразу узнал. «Да, он, он...»

За длинный срок разлуки с Прохором черкес мало изменился. Та же прямая, плечистая фигура, тот же горбатый нос, втянутые щеки, бородища с проседью. На голове красная, из кумача, чалма. Одет он в обыкновенный серенький пиджак, перетянут ремнем из сыромятины, за ремнем — два кинжала. Черкесу шестьдесят четыре года, но он принадлежит к тем людям, которым написано на роду гулять на свете по крайней мере сто двадцать лет.

В Прохоре два естества — разумное и умное, в Прохоре было два чувства. Одно естество бодрствовало, другое — воспринимало жизнь как сновиденье.

— Здравствуй, Прошка! Здравствуй, кунак! — И черкес соскочил с коня.

Прислушиваясь дремотным ухом, как дитя к любимой сказке матери, к родному, прозвучавшему из глубин далекой юности голосу черкеса, Прохор крикнул запальчиво:

— Развяжи мне руки, чертов сын! Разве забыл, кто я?!

Черкес моргнул своим, — два бородача, с бельмом и криворотый, быстро освободили Прохора. Тупо озираясь, Прохор выхватил пузырек с кокаином и сильными дозами зарядил обе ноздри.

— Я не боюсь тебя. Я на тебя плюю. Ты будешь большой дурак, если убьешь меня. У меня с собой нет денег. И ты ничем не воспользуешься.

Ибрагим стоял у костра подбоченившись, пристально вглядывался в лицо Прохора, жутко молчал. Прохор пересел на валежину, подальше в тень.

— У меня в кибитке походный телефон. Чрез полчаса здесь будут две сотни казаков.

— Твой казак, твой справник — худой ишаки... Ха-ха!.. Адна пустяк, — потряхивая головой, поводя плечами, гортанно выкрикивал черкес. — Больно дешево ценишь мой башка... Ха-ха!.. Тыща рублей... Клади больше, кунак...

— Отпусти меня подобру, получишь десять тысяч. Иди ко мне служить. Беру тебя со всей шайкой твоей. Будешь охранять предприятия.

— Служить? Цх... К тебе?

— Да. Ко мне. Я тебя сделаю начальником...

— Ты? Меня? Цволочь... Мальчишка...

Рот черкеса взнуздался голозубой гримасой, глаза мстительно ожесточились.

— Ежели я есть убивец Анфис, убирайся к черту задаром! Твоя деньга не надо мне. Живи! Ежели твоя убил Анфис, я тебя разорву на двух частей, все равно как волк барана. Цх...

Прохор побагровел, хотел вцепиться в хрящеватое горло черкеса, но... в его вялом сознании мелькнуло: «Ведь это ж сон». Он жалостно заморгал глазами, как в детстве, и смягчившимся голосом быстро, словно в бреду, заговорил:

— Ты мне худа не сделаешь, Ибрагим. Помнишь, Ибрагим, как мы плыли с тобой по Угрюм-реке? Тогда ты любил меня, Ибрагим. И я тебя любил тогда. Ты был мне в то время родной. Я никого так сильно не любил, как тебя любил.

Прохор глубоко передохнул. В широко открытых глазах Ибрагима затеплился огонек. Казалось, еще момент — и черкес кинется на грудь когда-то любимого им джигита Прошки, все простит ему.

Но вот голос Прохора зазвучал вызывающе, — и все в лице черкеса захолодело.

— Да, верно, я любил тебя, осла, больше всего на свете. И до самой смерти любил бы, но ты, варнак, Анфису убил... Ты, ты, больше некому! Я знал это и на суде так показал... За что ты, сатана, убил ее?

— Я? Анфис?! Адна пустяк... Ха-ха!.. Слышь, ребята?!

«Ха-ха! Ха-ха!» — загудели костры, и тайга, и мрак.

— Да, ты.

— Я?.. Слышь, кунаки?! Ха-ха!

«Ха-ха! Ха-ха!» — опять загудели костры, тайга и мрак. Лицо Ибрагима заалело, как кумач, а кумачная чалма стала черной. Из глаз черкеса брызнули снопы колючих искр, в руке сверкнул кинжал:

— Цх!

И черкес, яростно оскалив белые зубищи, было двинулся на Прохора.

«Смерть, — подумал Прохор, — надо скорей бежать, убегу, спрячусь, залезу на дерево». Но, не отрывая взора от искаженного лица черкеса, Прохор не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой: в его левую щеку кто-то хрипло дышал. Прохор с трудом повернул голову и — глаза в глаза с врагом. — Ты!! — Прохор откачнулся от лохматого лица, как от гадюки, и спину его скоробил холод. Он сразу почувствовал себя, как вор, схваченный на месте преступления...

Прокурор Стращалов ткнул его пальцем в грудь и — на всю тайгу:

— Ты убил Анфису!

И снова — шумнула тайга большим шумом, и вырвался клубами дым, и вырвалось пламя. И где-то стон стоит, тягучий, жалобный.

«Сон, — подумал Прохор, весь дрожа. — Надо скорей проснуться».

Но то не сон был, то была злая взаправдашняя явь.

...Суд произошел быстро. Подсудимые и прокурор те же: сын купца Прохор Петрович Громов, ссыльный поселенец Ибрагим-Оглы и бывший коллежский советник, юрист Стращалов. Присяжные заседатели — тридцать разбойников. Зал суда — таежная, в черной ночи, балка.

Прохор судорожно раскрывал рот, чтоб вызвать лакея, дергал себя за нос, щипал свою ногу, чтоб проснуться. Но то была явь, не сон. Вот и Савоська-ямщик, проклятый свидетель, торчит тут, как сыч. Торжествующий Савоська действительно сидел у костра с разбойниками, слушал, что бормочет Прохор, курил трубку и вместе со всеми похохатывал.

«Мерзавцу всю шкуру спущу, — яро подумал про него Прохор Петрович. — Убью мерзавца».

Прокурор Стращалов, — одна брючина загнулась выше голенища, в бороде хвоя, сор, зеленые, чуть раскосые, навыкате глаза горят по-безумному, длинные нечесаные волосищи, как поседевшая грива льва, — прокурор Стращалов, вытянувшись во весь рост, тряс пред Прохором кулаками, рубил ладонью воздух, говорил, кричал, топал ногами. Или медленно топтался взад-вперед, рассказывал жуткую историю.

Разбойники слушали прокурора, разинув рты. Ибрагим и Прохор Петрович тоже ловили каждое его слово с возбужденным упоением. Пред черкесом и Прохором реяли, как туманные сны, былые проведенные вместе годы. Все люди, окружавшие их пятнадцать лет тому назад, в ярких речах прокурора теперь выплыли из хаоса времен, восстали из тлена, как живые. Анфиса, Петр Данилыч, пристав, Нина,

Ибрагим — вот они здесь, вот столпились они вокруг костров и, как бы соединенные пуповиной с прокурором, внимают гулу его голоса.

13

— Я, кажется, довольно подробно изложил всю суть этого кровавого дела. Теперь я, прокурор Стращалов, спрашиваю: это вы пятнадцать лет тому назад убили Анфису?

Вонзив взгляд в землю, Прохор напряженнейше молчал. В его униженной душе зрел взрыв негодующей ненависти к прокурору. По-турецки сидевший у костра Ибрагим-Оглы пустил слюну любопытного внимания, как перед жирным куском мяса старый дог.

— Я жду от вас ответа, подсудимый. Здесь неподкупный суд...

— Не паясничай, фигляр! — крикнул Прохор и гневно встал. С надменным презрением он взглянул на прокурора, как на последнее ничтожество. Угнетенный разум его, подстегнутый горячею волною крови, резко вспыхнул. Мысль, как мяч от стены, перебросилась в прошлое. Он заговорил быстро, взахлёб, то спотыкаясь на словах, как на кочках, то вяло шевеля языком, как в грузных калошах параличными ногами. Голос его звучал угрожающе или вдруг сдавал, становился дряблым, слезливым.

— Я знаю, прокурор, для чего ты здесь, с этими висельниками. Знаю, знаю. Чтоб насладиться моей смертью? Бей, убивай! Ты этим каторжникам ловко рассказывал басню о том, как и почему будто бы Илья Сохатых, Шапошников, сам Прохор и сам я убил Анфису... Ха-ха!.. Занятно! Что ж, по-твоему — я только уголовный преступник и больше ничего? Осел ты...

Сидевший на пне прокурор Стращалов сначала сердито улыбался, потом лицо его, заросшее бородой почти до глаз, стало холодным и мрачным, как погреб.

— Молчите, убийца!.. Я лишаю вас слова...

— Врешь, прокурор! Тут тебе не зал суда. Слушай дальше. Допустим, что убил Анфису я. Но ты знаешь ли, господин прокурор...

— Довольно! — вскочив, взмахнул рукой прокурор и обернулся к разбойникам. — Слышите, ребята? Он сознался в убийстве.

— Нет, врешь! Не сознался еще, — встряхнул головой, ударил кулак в кулак Прохор Петрович.

— А нам наплевать! — закричали у костров воры-разбойники. — Нам хоть десять Анфисов убей, мало горя... Мы и сами... А вот пошто он, гад ползучий, нашего черкесца под обух подвел? Вот это самое... Всю вину свалил на него, суд подкупил...

— Да, свалил... Да, подкупил, не спорю. Свалил потому, что предо мною были широкие возможности. Я чувствовал, что мне дано много свершить на земле. И я многое кой-чего на своем веку сделал, настроил заводов, кормлю тысячи людей... А Ибрагиму, бывалому каторжнику, разве каторга страшна? Я знал, что он все равно сбежит. И он сбежал...

Прохор говорил долго, путано. Речь его стремилась, как поток в камнях. Струи мыслей без всякой связи перескакивали с предмета на предмет. Иногда он совершенно терялся и, в замешательстве, тер вспотевший, с набухшими жилами лоб.

Разбойники, поплевывая, курили, переглядывались.

— Значит, сознаешься в убийстве, преступник?

— Нет.

— Нет?

— Нет! Не зови меня преступником! — вскипел, озлобился Прохор. — Ты сам — преступник. Ты от рождения дурак и только по глупости своей считаешь себя умным... Темный ты человек! — продолжал выкрикивать Прохор, наступая на Стращалова. — Ты не подумал тогда, кого ты обвинял. Ведь я был мальчишкой тогда, мой характер еще только складывался. А ты не понял этого, ты отнесся ко мне по-дураковски, как мясник к барану... И еще... Стой, стой, дай мне!.. Что же еще? Ты осудил меня, невинного, теперь я, преступник, сужу тебя, виновного. Меня

убьют здесь, но я рад, что встретился с тобой. А ты разве знаешь, каким я был в молодости? Я не плохим был. Ибрагим мог бы тебе это подтвердить. Но... Я вижу, каким лютым зверем он смотрит на меня. Ну, что ж... Валяйте, сволочи! Да, я убил Анфису, я...—Обессиленный Прохор Петрович задрожал и покачнулся.

— Смерть, смерть ему! — загудела взволнованная тьма, заорали во всю грудь разбойники.

— Смерть собаке... Пехтерь, валяй!..

Оглушительный раздался свист. То свистел, распялив губы пальцами, рыжебородый раскоряка. У него длинное туловище и короткие, дугою, ноги. На чумазом лице — белые огромные глаза. Это бежавший с Ибрагимом каторжник Пехтерь; он — правая рука черкеса. Он свиреп, он любит командовать. Его все боятся.

— Нагибай! — приказал он, взмахнув кривым ножом.

Разбойники, хрустя буреломом, подбежали к двум молодым елкам, зачалили их вершины арканами и с песней «Эй, дубинушка, ухни!» нагнули обе вершины одна к другой.

— Чисти сучья!

Заработали топоры, оголяя стволы елей. Пряно запахло смолой. По восьми человек налегли внатуг на вершины согнутых в дугу дерев, кряхтели: в упругих елках много живой силы, елки вот-вот вырвутся, подбросят оплошавшего к небу.

— Подводи! Готовь веревки!

Прохора подволокли к елям.

— Мерзавцы, что вы делаете! Я знаю! Это сон... Илья! Разбуди меня! Ферапонт! Ибрагим! Нина! Нина! Нина!!

Последний крик Прохора жуток, пронзителен: мрак от этого крика дрогнул, и сердца многих остановились.

Но мстящие руки крепко прикручивали ноги Прохора к вершинам двух елей. В кожу лакированного сапога въелся аркан, как мертвая волчья хватка: костям было больно. Над левой ногой трудился Пехтерь

с кривым ножом в зубах. Его грубые лапищи работали быстро.

Поверженный на землю Прохор хрипел от униженья. Он ничего не говорил, он только мычал, плевался слюною и желчью. Жажда одолевала его.

В резком свете сознания он представил себе свое надвое разорванное, от паха до глотки, тело: половина бывшего Прохора с одной ногой, с одной рукой, без головы, болтается на вершине взмывшей в небо елки; другая половина с второй рукой, с второй ногой и с бородатой головой корчится на вершине соседнего дерева; пролетающий филин прожорно уцапал кишку и тянет, и тянет; сердце все еще бьется, мертвый язык дрожит...

— Крепче держи! Держи елки, не пущай!— командует Пехтерь, по зажатому в зубах кривому ножу течет слюна, капает на лакированный сапог Прохора.

Разбойные люди еще сильней наваливаются внатуг на кряхтящие ели:

— Держи, держи! Эй, Стращалка! Вычитывай приговор... Чтобы хворменно...

Но Стращалова нет. Стращалов, гонимый страхом, заткнул уши, чтоб ничего не слышать, ничего не видеть, поспешно бежит вдаль, в тьму.

— Стращалов! Стращалов!!

— Нет Стращалова.

— Я Стращал! — И пламенный Ибрагим быстро подходит с кинжалом к обреченному Прохору.

Униженный, распятый Прохор с раскинутыми к вершинам елок ногами еще за минуту до этого хотел просить у черкеса пощады. Теперь он встретил его враждебным взглядом, плюнул в его сторону и сквозь прорвавшийся злобный свой всхлип прошипел: «Мерзавец, кончай!»

— Пущать, что ли? — с пыхтеньем нетерпеливо прокричали разбойники: им невмоготу больше сдерживать силу согнутых елок.

— Геть! Стой!! — Черкес враз превратился в сталь. Зубы стиснуты, в сильной руке крепко зажат кинжал, взгляд неотрывно влип в глаза Прохора. Разбойники замерли. Замер и Прохор. Мгновенье — и Прохору до

жути стало жаль жизни своей. «Пощади!» — хочет он крикнуть, но язык онемел, и только глаза вдруг захлебнулись слезами.

— Ребята, пущай, — прохрипел Пехтерь жутко. — Пу-щ-а-ай!!

И, за один лишь момент до погибели Прохора, резким взмахом кинжала черкес перерезал аркан:

— Цх!.. Теперича пущай.

Елки со свистом рассекли воздух.

Дрожь прошла по всему их освобожденному телу. Прохор Петрович, разминая затекшие ноги, едва встает. Он весь в нервном трясении. Пульс барабанит двести в минуту. Глаза широки, мокры, безумны.

Черкес говорит:

— Езжай, Прошка, домой... Гуляй! Теперича твоя еще рано убивать. Када-нибудь будэм рэзать после. Адна пустяк. Цх!..

Ночь длилась. Разбойники недовольно гудели. Кто-то зло всхохотал, кто-то кольнул Ибрагима: «Вислоухий ишак, раззява!» Пехтерь, сунув за голенище кривой нож, тихомолком матерился.

Парень, ямщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный мукой, пробирался с Прохором к тройке. Их вел с фонарем бельмастый варнак. Варнаку дан строгий приказ: чтоб Прохор Петрович был цел-невредим.

Лишь только возвратилось к Прохору сознание, он почувствовал себя с ног до головы как бы обгаженным мерзостью. Ярко, в самых глубинах души, он запомнил слова Ибрагима, запомнил внезапную великодушную милость его. И вместо благодарности за дарованную жизнь в его груди растеклась черным дегтем жажда неукротимой ненависти к черкесу. Месть, месть нечеловеческая, какой не знает свет! Прохор никем еще не был так ужасно унижен, он никогда в жизни не казался таким беспомощным, жалким, смешным, как час тому назад. Смешным!.. Смешным, жалким, над которым хохотало во все горло это человеческое отребье, эти сорвавшиеся с петли каторжники. Над кем издевались? Над ним,

над Прохором Громовым, над властным владельцем богатств... Нет, это выше всяких сил!

Мрачный Прохор, не чувствуя пути, не видя свету, пер тайгою напролом.

— Пить... Вина... стакан вина, — хрипло бормотал он, облизывая сухие, как вата, губы. Пошарил по карманам. Пузырька с кокаином не было: обронил в тайге. Плюнул.

Бельмастый разбойник сказал:

— Счастливо оставаться... До приятного виданьица. — И ушел.

Правая пристяжка, напоровшаяся ночью на разбойничий залом, издохла. Ямщик Савоська скособотился, заплакал над павшей лошадью. Прохор порывисто вытащил бутылку водки, задрал бороду, залпом перелил вино в себя. Со всех сил ударил бутылкой в дерево, бутылка рассыпалась в соль.

Перепрягая лошадей, Савоська все еще поскуливал:

— Как я батьке-то покажусь... Лошадь поколела. Ой, что я делать-то буду?.. Ой, мамынька!

Только тут Прохор во второй раз заметил его.

— Молчи! — крикнул он, и судорога скрючила пальцы его рук. — Я помню, я помню, негодяй, как ты хохотал там.

Савоська выронил дугу и сказал, дергаясь всем горестным лицом:

— Я ржал от жути. Ведь тебя ж напополам разорвать ладили... — Лицо его вытянулось, будто парень вновь увидал разбойников, а подбородок опять запрыгал. — Ой, что же я батьке-то скажу?

— Ничего не скажешь. Я тебя в дороге кончу, — выпуская ноздрями воздух, чуть слышно буркнул в бороду Прохор. — Запрягай!

Мрак стал жиже; он синел, голубел, хоронился в ущельях. Полоса предутреннего неба тянулась над дорогою. Из разбойной балки сквознячком несло. Где-то прокаркала охрипшая ворона. В ушах Прохора липкий звучал мотивчик:

Нет, нет, не пойду,
Лучше дома я умру...

Ехали назад, в обратную. Прохор скрючился и захрапел. Ехали все утро и весь день без остановки.

Поздно, темным вечером кой-кто видел, как похожий на Прохора человек бежит поселком простоволосый, бормочет на бегу, оглядывается, размахивает руками.

— Это я. Открой скорей!.. — ломился Прохор в квартиру исправника.

— Батюшки! Прохор Петрович... Что стряслось?

Прохор засунул окровавленные руки в карманы (забыл их вымыть) и, запинаясь, пробубнил:

— Было нападение... Ибрагим... Был в лапах у него. Семьдесят пять верст. Вырвался. Лошадь убита там. А потом нас опять нагнали. Здесь. Под самым поселком... Савоська убит... Ямщик. Обухом по голове. В меня стреляли. Неужто не слыхал?

— Где?

— Здесь... В лесу. В трех верстах. Десять тысяч даю.

Заработали телефоны. Чрез полчаса с полсотни всадников, под начальством исправника Амбреева, мчались за околицу ловить злодеев.

За Прохором приехал посланный Ниной кучер. Прохора уложили. Нина вся содрогалась. Прохор бормотал:

— Я не люблю свидетелей. Я не люблю свидетелей. Я их могу убить...

Нина приняла его бред на свой счет. Из глаз ее потекли слезы. К голове больного доктор прикладывал лед, ставил кровососные банки на спину.

В час ночи явился к Нине вызванный ею исправник. Рассказал про визит к нему Прохора.

— Прохор Петрович был тогда потрясен, — говорил исправник взволнованно, он весь пыльный, потный, прямо с дороги. — Ну-с... Объехали мы на десять верст окрестность. Никого. Ни разбойников, ни убитого ямщика, ни тройки. Ну-с... Вернулись домой. Я — к ямщику. Глядь — убитый Савоська дрыхнет дома в холодке, в хомутецкой. Разбудил. Допросил... Ну-с... И, представьте, что он мне поведал!..

Исправник стал подробно пересказывать показания Савоськи.

— Ну-с. Прохора Петровича мучители подтащили к деревьям, чтоб разорвать его надвое... Вы понимаете, какая жуть?..

Исправник вдруг вскочил и едва успел подхватить падавшую с кресла Нину.

14

«Нет, слава богу, ничего... Все обошлось на этот раз будто бы благополучно: Прохор Петрович поправляется».

Так думала Нина, навсегда утратившая, как и большинство людей, звериный инстинкт правдоподобного предчувствия. Причиной психических срывов мужа она считала запойное его пьянство; ей и в голову не приходило, что здоровье Прохора в серьезнейшей опасности; она не знала, что ей грозят беды, что и она ходит во тьме по острию бритвы.

Федор Степаныч Амбреев, исправник, сбрил свои пышные вразлет усищи. Исправника почти невозможно теперь узнать. Если вы сегодня встретите в тайге спиртоноса в соответствующем костюме с седыми плюгавыми усишками и пегой бороденкой, будьте уверены, что это сам исправник. Если завтра вам повстречается гололобый татарин Ахмет в тюбетейке, с серьгой в ухе, с тючком товаров за плечами — это исправник. Послезавтра вы можете увидеть на каком-нибудь постоялом дворе при большой дороге, среди всяческого сброда крупную фигуру беглого каторжника в черном лохматом парике — это все тот же исправник Федор Степаныч Амбреев.

О подобном маскараде никто не мог догадаться, об этом знал лишь Прохор Громов. Исправника на предприятиях больше нет — полицией заведует новый пристав Сшибутыкин. Исправник же, согласно официальным данным, уехал в отпуск, в Крым.

Всюду, по всем работам, в каждой деревушке, на перекрестках дорог, в любой человеческой берлоге пестреют объявления:

С согласия г. начальника губернии фирма «Прохор Громов» назначает за голову бежавшего разбойника Ибрагима-Оглы 10 000 (десять тысяч) рублей; приметы разбойника: возраст и т. д.

Подписал: Прохор Громов.
Скрепил: Пристав Сшибутыкин.

По всем заводам и на приисках усилена стража. Дом Прохора Петровича тоже охранялся шестью вооруженными мужиками из бывших унтер-офицеров. В качестве телохранителя иногда водворялся к Прохору Петровичу денька на два, на три воинственно настроенный дьякон Ферапонт. В придачу к неимоверной силе он захватывал с собой пудовую железную палку с набалдашником: ударит — коня убьет.

На другой день после возвращения мужа Нина призвала ямщика Савоську, беседовала с ним взаперти, дала ему двести рублей и заклинала никому не говорить о ночных таежных страхах...

— Так точно... Спасибо, барыня... — сиял осчастливленный парень.

Доктор и домашние всячески старались оберегать Прохора Петровича от этих, по их мнению, вздорных слухов.

— Какая ж может быть вера вислоухому дураку парню? — старался доктор успокоить Нину Яковлевну. — Он же находился тогда в совершенно невменяемом состоянии. Что называется, — душа в пятках. Ему бог знает что могло прислышаться и показаться. Полнейшая нервная депрессия. Да до кого угодно доведись...

Нина охотно с этим соглашалась. Но вот на имя Прохора стали получаться (подметные и почтой) ругательные письма. В них неизвестные авторы называли его «разбойником и предателем своего верного слуги-черкесца», «с большой дороги варнаком», «убийцей»; некоторые советовали ему «объявиться суду: убил, мол, безвинную Анфису, желаю пострадать», другие увещевали «уйти в строгий монастырь, чтоб постом, молитвой и смирением загладить свой грех перед богом».

Эти письма в руки Прохора не допускались. Нина и переселившийся в дом Громовых отец Александр лично прочитывали всю корреспонденцию. Домашний доктор Ипполит Ипполитович Терентьев тоже всячески старался «ввести Прохора Петровича в оглобли».

Но вся беда в том, что симпатичнейший, тихий и немудрый Ипполит Ипполитович никогда не интересовался душевными болезнями и давно забыл все то, что слышал о них в университете. Он, старый пятидесятилетний холостяк, сватался к трем девушкам — отказали, сватался к двум почтенным вдовам — тоже отказали. Он азартно любил играть в картишки, не дурак был выпить и, пожалуй, от запоя сам был не прочь в этой дыре сойти с ума. Поэтому, не доверяя себе, он рекомендовал Нине экстренно выписать из столицы для Прохора Петровича опытного врача-психиатра.

Вскоре получилось известие из Петербурга, что врач выезжает.

Прошла неделя. Прохор Петрович никуда не выходил. Каждое утро, просыпаясь, он прежде всего спрашивал:

— Что, не поймали?

Все мысли его сосредоточились теперь на сумбуре той дикой ночи. Всякий раз, когда эти тяжкие воспоминания нахрапом, как палач с кнутом, врывались в его душу, он снова и снова переживал лютую смерть свою. С необычайной четкостью, превосходящей реальность самой жизни, он обостренным внутренним чувством видел повисшее в воздухе надвое разорванное свое тело. Он всеми силами тужился пресечь это видение, кричал: «Враки это, виденица! Я в кабинете... Я дома!..» — вдавливал пальцами глаза, грохал по столу, бил себя по щекам, чтоб очнуться, перебегал с дивана к окну, на свет, — но мертвое тело продолжало корчиться и разбойники — хохотать над ним, над мертвым. Тогда кожу Прохора сводил мороз, и пальцы на ногах поражала судорога.

Но вот гортанный крик черкеса: «Смерть собаке!» — и черное видение вдруг исчезает. В душевной деятельности Прохора наступает тогда мгновенная смена ощущений: он выше головы захлебывается жесточайшей злобой к Ибрагиму-Оглы; все лицо его наливается желчью, волосы шевелятся, и от приступа этой звериной ярости он уже не в силах ни кричать, ни ругаться, он до обморока, до холодной испарины лишь весь дрожит.

К концу недели, под влиянием брома, теплых ванн (а может быть, и тайной выпивки), эти мрачные галлюцинации значительно ослабли. Понюшки искусно припрятанного им кокаина давали некоторое успокоение его душе, а стакан уворованного коньяка бросал больного в мертвецкий сон.

Так шли часы и дни. Волосы Прохора Петровича наполовину побелели. Теперь не сразу можно было признать в нем недавнего богатыря-красавца. Ну что ж... Все идет так, как надо.

Однажды, когда доктору сквозь дымчатые очки почудилось, что нервы Прохора Петровича окрепли, он пожелал испытать на больном старинный способ лечения по пословице: «Клин клином вышибай». Доктор сказал:

— С вами, Прохор Петрович, хочет повидаться ямщик Савоська.

— Какой вы вздор несете, Ипполит Ипполитыч. Савоська убит.

— Как убит? Это вам приснилось. Уверяю вас.

В дверь просунулась глуповатая улыбающаяся физиономия Савоськи.

— Здравствуй, барин! Это я.

Прохор соскочил с кушетки и, поджав руки в рукава, внимательно прищурился на парня: у Прохора за эту неделю притупилось зрение.

— Это я, барин. Вот свеженьких грибков принес вам, рыжички. Сам сбирал. А папашка мой кланяться приказал вам. И мамашка тоже. Вы не сумлевайтесь.

— Дурак... Ведь ты ж убит.

— Кем же это убит-то я? — распустился в улыбку мордастый парень. — Что-то не припомню...

— Кем, кем... Дурак... — стал бегать Прохор по комнате. Походка его была порывиста: то ускорялась, то замедлялась. Иногда его бросало вбок.

Доктор подошел к нему.

— Успокойтесь, сядьте. Савоська, садись и ты. Расскажи барину, как было дело. А то у барина приключилась горячка от простуды, и он все позабыл, все перепутал, — сказал доктор и подумал: «Притворяется Прохор Петрович или нет?» За последнее время доктору влетела в голову навязчивая мысль, что Прохор Петрович дурачит всех, «валяет ваньку».

Прохор грузно уселся за письменный стол, закурил сразу две трубки, стал закуривать сигару. Сел на краешек стула у дверей и Савоська. Он в красной рубахе, в жилетке, при часах. Льняные волосы смазаны коровьим маслом, расчесаны на прямой пробор. Ему девятнадцать лет, но выражение лица детское.

— Сказывать, что ли?

— Сказывай. — И на плечи Прохора доктор набросил халат.

— Ибрагим, конешно, ничего вам, барин, не говорил. И вы ничего ему, конешно, не говорили. И ни к каким елкам разбойники не подводили вас. Это, барин, вам все, конешно, пригрезилось. А только что разбойнички пели песню «Там за́лесью, за́лесью». А вы дали Ибрагиму, конешно, денег. И разбойнички, никакого худа ни мне, ни вам не сделавши, отпустили нас в живом виде. — Парень запинался, двигал бровями, потел; то чесал за ухом, то потирал руки и все поглядывал на доктора, как бы спрашивал: верно ли он, Савоська, говорит, не сбился ли?

Прохор, казалось, слушал внимательно, поддакивал парню, кивал головой, все быстрей и быстрей барабанил в стол пальцами, попыхивал то трубкой, то сигарой. Потом сдвинул брови и страшно глянул в упор на сразу испугавшегося парня.

— Ты лучше эти басни расскажи моей бабушке-покойнице. Болван! Что ж, разве не слыхал, осел, слов Ибрагима: «Езжай, Прошка, домой, — сказал

он. — Теперь рано тебя убивать. Когда-нибудь зарежу после». Эти его речи огнем в моей башке горят. Дурак! Не слыхал их, не слыхал?

— Никак нет, не слышал.

— Пошел вон, дурак! (Савоська схватился за ручку двери.) Стоп! На три рубля. Спасибо за грибы.

Савоська, вывертывая пятки, подошел на цыпочках к столу, с опасением взял деньги из руки напугавшего его хозяина и стоял столбом, позабыв, что надо делать с трешкой.

— Клади в карман и — ступай, — сказал ему доктор.

Савоська ушел. Прохор спрятал затылок в широкий воротник халата и зябко поежился.

— Нет, прямо-таки вы с ума сведете меня, Ипполит Ипполитыч. Что за чепуха?.. Ну, разве это Савоська? Ведь я ж собственными глазами видел, как ямщика ударили по голове чем-то тяжелым. И собственными глазами видел, как кровь из его затылка полилась.

Прохор вдруг ощутил во рту вкус крови. Он быстро сдернул руки с кресла, крадучись осмотрел кисти рук под столом и, подозрительно взглянув на доктора, засунул их в карманы брюк. Прохор тоже подумал про доктора: «Интересно бы знать, догадывается доктор, что я убил Савоську, или ему на самом деле про это неизвестно?»

Прошло несколько дней. Прохор Петрович поехал на работы. Проезжая мимо башни «Гляди в оба», он спросил сопровождавшего его доктора:

— Вы не находите, что башня покривилась?

Доктор обернулся, взглянул на башню, пытливо поглядел в глаза Прохора, опять подумал: «Притворяется», — и ответил:

— Да нет. Кажется, башня прямо стоит. Да, да, совершенно прямо.

— Ага. Ну, значит, я покривился.

Но действительно незримая башня гордых замыслов Прохора Петровича дала большой крен, как и сам себялюбивый Прохор: все дела его затормозились, а некоторые начали ползти раком, вспять. Над

всеми его предприятиями отныне стала витать угроза внутреннего разрушения.

Инженер Протасов помаленьку распускал свои паруса: он не хотел больше играть с нелепой бурей, он теперь выискивал на компасе своей судьбы новый румб и новый азимут, чтоб навсегда покинуть этот берег. Он не так уж часто посещал теперь работы и не так уж сильно болел душой за ту или иную неудачу. Такой потускневший его интерес к работам удивлял подчиненных и вместе с тем тоже будил в них чувство внутреннего равнодушия к чужому делу. И, угадывая общее настроение начальства, впадали в расхлябанную леность и рабочие: хозяин обманщик, хозяин зверь, хозяин живорез, убийца, сам Ибрагимовой шайке признался об этом будто бы... да поговаривают, что хозяин с ума сошел; ну, стоит ли для такого ирода пуп надрывать?

Меж тем Прохор Петрович в общем чувствовал себя не плохо: прекрасно ел, курил, украдкой выпивал и был уверен, что он совершенно здоров, нормален, но окружен сумасшедшими людьми, ханжами, злодеями, ожидающими его скорой смерти, давшими клятву убить его.

— Вы, Ипполит Ипполитыч, я вижу по всему, считаете меня помешанным. Не так ли? Напрасно.

— Помилуйте, Прохор Петрович, что вы!

Прохор с утра до вечера объезжал мастерские и заводы. В присутствии доктора он делал разумные замечания, выговоры, детально осматривал работу станков и механизмов. «У тебя, Коркин, форсунка шалит. Слышишь — перебои? Подверни гайку! Эх ты, механик!» Проверял счета и книги. Быстро находил ошибки, фальшь, мошенничество. Распекал вразнос. Служащие и рабочие трепетали. А когда уезжал, крутили головами.

— Какая ерунда!.. — говорили они. — Надо идиотом быть, чтоб только подумать, что он сумасшедший. Дай бог каждому так с ума сойти.

Да. Прохор Петрович довольно ясно видел стоящие пред ним задачи, знал пути к их осуществлению. Ему казалось даже, что он имеет в себе силу все пре-

одолеть, все покорить под свои ноги, стать властелином полной славы и полного могущества.

«Нет, врешь, врешь, — грозил он пространству пальцем и глазами. — Ни я, ни башня и не думали кривиться. Мы прямо стоим!»

Однако вся душевная деятельность Прохора, наполовину переключенная из деловой сферы труда в болезненный мир галлюцинаций, ослепляла его, как яркий прожектор, направленный из тьмы в глаза актера: он не видел, не чувствовал, что главные устои его коммерческих удач колеблются, сдают. Богатейший прииск «Новый» вот-вот должен уплыть, вновь открытые инженером Образцовым богатые сокровища, на право владения которыми Прохор позабыл подать заявку, перехвачены врагами, на работах непорядки, промедления, и весть о болезни его перебросилась в столицы. Одним словом...

У Прохора Петровича было до сорока торговых отделений по городам и богатым селам. Мануфактурная, колониальная, галантерейная торговли приносили ему большие выгоды.

Пред ним лежали полугодовые отчеты нескольких его торговых отделений. Внимательно просмотрел второй отчет доверенного Юрия Клоунова, мещанина. Проверил на счетах баланс, подсчитал прибыль — 5782 руб. 31½ коп.

— Вор, сукин сын! Клоунов... Дурацкая фамилия какая: Клоунов... Клоунов, а жулик.

Он позвонил в бухгалтерию.

— Кто? Дежурный служащий? Справься в книгах, какой доход был за второе полугодие прошлого года по селу Встречные Воды.

Положил трубку, выпил микстуры два глотка — бром.

— Алло? Ну? Двенадцать тысяч? Спасибо.

Написал резолюцию на отчете:

«Произвести ревизию. Доверенного Юрку Клоунова выгнать. Посадить на отчет Касьяна Пирогова, мельника, ежели пожелает».

Посидел несколько минут в спокойном состоянии. Подумал. Отложил отчеты. Почувствовал истомную вялость. Передернул плечами, выбросил обе руки вверх-вниз, вновь взбодрился.

Вдруг, совершенно неожиданно, пришло желание проверить свой мыслительный аппарат, чтобы, вопреки микстурам, каплям, двусмысленным вздохам врача и Нины, лично убедиться в том, что он, Прохор Петрович Громов, как всегда, находится в полном уме и твердой памяти. Он отыскал давно заброшенный дневник, раскрыл на чистой странице. Затем, обмакнув перо, напряжением воли бросил поток крови в голову, чтоб освежить деятельность мозга, сдвинул брови и прислушался к ходу мысли, направленной им не на сухие цифры отчетности, а на иные, сложные пути. Мозг заработал вовсю. Мысль рождалась ясная, острая, тонкая. Но на человеческом языке имелись лишь грубые, примитивные слова. Прохор быстро водил пером по бумаге, однако получалось пресно, глупо, совсем не то. Прохор подмигнул кому-то, улыбнулся, сказал себе:

— Ага! Ну, конечно же. Правильно говорится: «Мысль изреченная есть ложь». Помню, помню. И еще... Кажется, отец Александр, поп: «Мы не можем видеть солнца, мы видим лишь отблеск солнца». Помню, помню. Поп мудрый, но длинноволосый. Да, да... Волос долог. И мысли мы не можем изобразить, мы можем начертать лишь отблеск мысли.

Так рассуждал вслух в пустом своем кабинете Прохор, в то же время пробегая глазами записи дневника.

«Жить надо не для себя и не для других только, а со всеми и для всех».

— Это слова какого-то философа Федорова. Ну и наплевать на них. Слова глупые.

Он опять обмакнул перо в красные чернила и дрожащей рукой неразборчиво написал в дневнике:

«Люди! Не живите для Фильки Шкворня, не живите для Ибрагима-Оглы, ни для слякоти челове-

ской ничтожных рабов труда. Люди! Не живите со всеми, не живите для всех. Пусть живет каждый лишь для самого себя».

Прохор поднял голову: в углу, резко темнея на белых изразцах камина, стоял черный человек. Прохор загрозил человеку взглядом. Черный человек исчез.

Вошел лакей с седыми бакенбардами.

— Не прикажете ли зажечь свет? У вас темно, барин.

— Зажги. Где доктор? Скажи ему, что я сплю. Чтоб не лез.

При свете огней Прохор внимательно стал перечитывать дневник. По другую сторону письменного стола сидел голубой клоун; лицо его напудрено, румяно, глаза черны.

— Если не ошибаюсь, я вас видел в прошлом году у Чинизелли.

— «Совершенно верно», — приятно улыбнулся клоун.

— Я немножко болен. По крайней мере так доктор говорит — Ипполит Ипполитыч. Знаете? Придурковатый такой. Но я чувствую, что сейчас наступила для меня минута прозрения. Я чувствую, какая-то одухотворяющая сила осенила меня. И я сейчас могу умствовать в иной плоскости, чем та, к которой я привык... вы понимаете?.. Привык работать.

Прохор потряс дневником, прищурился на клоуна и вновь заговорил, заглядывая в страницы.

— Вот я всю жизнь отмечал у себя в книжке, в сердце, в мозгу то или иное событие. «20 марта надо приступить к ремонту плотины», «В начале июля у Нины должен родиться ребенок», «1 августа учет векселя в 150 000», «13 сентября 1908 года срок аренды золотоносного участка № 3». Вот-с! И земля безошибочно, совершая кругооборот возле солнца, всякий раз подплывала к тому или иному событию, срок которого значился в памятке. Земля не могла не подплыть, потому что она плывет, и не могла

обойти, не задеть этого события, потому что оно уже было во времени и пространстве.

— «Вернее, в пересечении координат времени и прос...»

— Да, да! Я математику знаю. Оно, это событие, родилось в тот момент, когда моя мысль родила его и поставила на определенное место во времени и пространстве. Но ведь все мои мысли, все мои поступки уже были в зародыше в том семени, из которого я стал человеком. А зародыш моего зародыша был в зародышах моих отцов, дедов, прадедов, всех предков, вплоть до того момента, когда появился на свет первый человек. Ведь так? Так. Значит, все то, что во мне — и худое и хорошее, — все планы мои, которые рождены моей мыслью и осуществлены моей волей и которые еще будут осуществлены, были в мире всегда, от начала сроков. Ведь так?

— «Так», — поддакнул уже не клоун, а черный человек, вновь появившийся.

Прохор вскинул на него глаза, нажал кнопку. Вошел лакей. Черный человек пропал. Голубой клоун сказал лакею:

— «Можете идти».

Лакей ушел.

— Так почему ж, почему ж за все мои дела меня так преследует Нина?! — воскликнул Прохор, схлестнув в замок кисти рук, и глаза его наполнились слезами. — Нет, я ее должен умертвить...

— «Вы не чувствуете привкуса крови во рту?»

— Чувствую, — облизнулся Прохор.

— «Я так и знал. Так вот слушайте, что́ однажды произошло в нашем цирке. — Голубой клоун снял голубой берет с своей головы и надел его на лампу. Вся комната вдруг поголубела, а черный человек у камина окрасился в цвет крови. — Мистер Вильямс, известный укротитель львов, вложил свою голову в пасть льва. Публика насторожилась. Чрез тридцать секунд мистер Вильямс должен вынуть свою голову обратно. Ровно чрез тридцать секунд. А надо заметить, что мистер Вильямс в тот день неосторожно порезал свою щеку бритвой. Лев ощутил привкус чело-

вечьей крови, лев издал едва слышный кровожадный хрип. И начал чуть-чуть сжимать челюсти... Мистер Вильямс, весь позеленев, успокаивал льва, ласково похлопывал его по шее, что-то говорил льву. Прошло времени вдвое больше, чем нужно для сеанса; прошла минута. Все артисты, усмотрев в этом катастрофу, сбежались к решетке. Жена укротителя с двумя малолетними детьми близка была к обмороку. Вся публика, видя смятение на сцене, замерла. Раздались отдельные истерические выкрики. Лев, рыча и сладко зажмуривая глаза, постепенно сводил челюсти. Мистер Вильямс крикнул: «Прощайте!»—вложил в ухо льва браунинг и выстрелил. И вместе с выстрелом послышался хруст раздробленной головы человека».

— Ага! — сказал Прохор возбужденно. — Я про этот эпизод слышал от вас в прошлом году... Помните, в ресторане Палкина? Но я совершенно забыл его... Мерси. Значит, выходит, что все дело в бритве?

— «Совершенно верно, в бритве. Побрился, и... показалась кровь. Вообще бритва вещь хорошая», — неизвестно откуда прозвучал голос собеседника.

Прохор приподнялся и заглянул через стол, в полумрак, отыскивая голубого клоуна.

— Слушайте, вы не прячьтесь, — сказал он. — Уверяю вас, я ни слова не скажу доктору о вашем ко мне визите. Алло! Где вы?

Из пространства протянулась голубая рука, сняла с настольной лампы голубой берет и скрылась. Голубизна комнаты схлынула, у камина стоял черный человек. Прохор, не сводя с него глаз и загораясь злобой, стал ощупью искать—на столе, в ящиках стола, по карманам — браунинг. Прохор нашел завалившуюся среди бумаг бритву, раскрыл ее, крепко зажал в руке и двинулся медленным шагом к черному человеку у камина. Черный человек не шевелился, но три огня лампад — синий, красный, желтый — всколыхнулись, опахнув мягким блеском пышный киот. А свет люстры погас.

— Ах, это вы, отец Александр?

— «Я. Черный человек ушел. Он не придет больше. Не беспокойтесь. И голубой клоун не придет. Это — я. А почему у вас в руках бритва?»

Прохор вздрогнул и в отчаянии схватился за голову.

— Что за чушь?! Что за анафемская чепуха. Голубой клоун, черный человек, поп... Ха-ха!.. Фу, черт! Мерзость какая грезится!

Он сильно несколько раз нажал мякотью большого пальца немного выше правого виска: там, под черепом, как раз против этого места, чувствовалась вместе с пульсацией крови то падающая, то нарастающая боль.

Прохор загасил люстру, раздвинул шторы и взялся за второй отчет магазина в городе Ветропыльске. В саду было еще светло. В начале восьмой час вечера. Закатывалось солнце. По паркету ложились длинные косые тени.

На пятом отчете, где доверенный Михрюков вывел в графу убытка 6 495 рублей от покражи товаров неразысканными злоумышленниками — о чем свидетельствуют приложенные протоколы, — Прохор Петрович написал:

«Михрюкова предать суду. Я его знаю, подлеца. Он поделился с местной полицией. Возбудить дело. Нового доверенного. На товары накинуть 25%, чтоб покрыть убыток».

На отдельном листке написал приказ в контору: «Во всех торговых отделениях повысить расценку товаров на 10%».

Вдруг сразу затренькали звонки в двух телефонных аппаратах. А за стенами послышались выстрелы, топот копыт, свист, гик. Сорвавшись с места, Прохор Петрович подбежал к окну и выставился из-за портьеры. Мимо окон, топча клумбы сада, неслись всадники. Ибрагим, привстав на стременах, с гортанным хохотом хлестнул на всем скаку арапником по стеклам, крикнул:

— Здравства, Прошка! — и умчался.

Прохор отскочил от открытого окна, весь задрожал; волосы на голове встопорщились.

В саду и во дворе бегали люди, перебранивались, седлали коней, стреляли. Быстро вошли доктор и ла-

кей. Пропылил пред окнами большой отряд стражников.

— Все в порядке, — сказал доктор. — Не волнуйтесь. Это пьяные стражники.

— Пожалуйста, не сводите меня с ума, — сказал Прохор Петрович. Лакей с доктором переглянулись. — Я не слепой и не полоумный. Это — шайка. Среди них — безносый спиртонос... как его, черта, забыл — звать? Тузик, кажется. И черкес. Плетью в раму ударил черкес, Ибрагим. Но почему не заперты ворота сада? И где стража была?

— Чай пили-с... Вот грех какой! Не ожидали-с, — сокрушенно причмокивая, покрутил головой лакей и стал собирать с полу осколки стекол.

— Мерзавцы! Средь бела дня. Такой разбой! — вскричал Прохор Петрович.

— Да, да. Положим, не день, а вечер. Но они так... Пошутить, форс показать.

— Клумбы истоптали, — жаловался Прохор. — Работать мешают...

— Успокойтесь — один убит, двое ранено. От губернатора телеграмма: в спешном порядке едет сотня казаков. Будьте уверены... Скоро им конец.

— Сегодня утром я получил от исправника шифрованную телеграмму. Да вот она. — Прохор Петрович вытащил из-под пресс-папье бумажку и прочел ее доктору:

«Оглышкин устукан моими. Жду распоряжений. Миша».

— Я дал телеграмму, — привезти труп злодея ко мне. А сейчас этот самый труп злодея, этот проклятый Оглышкин, выхлестнул мне бемское стекло.

— Может быть, не он, — старался успокоить больного доктор. — Наверное не он...

Лакей задернул портьеры, зажег люстру, ушел.

— А вы работали?

— Да. И очень хорошо. Спасибо, что не мешали мне. Вот проверил несколько отчетов. Всюду — мерзавцы, воры, подлецы. Ни одному из них я не верю. Я вообще не верю людям. И вам также.

Доктор, обиженно вздохнув, стал рассматривать резолюции, ряды подчеркнутых красным карандашом цифр, перечеркнутые, выверенные итоги, скользнул взглядом по бутылке с сигнатурками.

— Микстуру пили?

— Пил.

Доктор взял последнюю восьмую ведомость и, потряхивая бородой, стал читать размашисто написанную красными чернилами резолюцию. Брови доктора скакали вверх-вниз, подпрыгивали и дымчатые очки на переносице. Прохор Петрович закуривал папиросу. Доктор читал:

«Синильга, я мертвый. Но я воскресну сам, и воскрешу тебя, и воскрешу Анфису, и весь мир воскрешу, чтоб все были наследниками моих богатств с конфискацией имущества, а на отчет посадить зверолова Якова Кожина; он человек честный, старик».

Доктор сложил ведомость с резолюцией вчетверо, спросил Прохора:

— Давно вам прислали эту акварель? Вон, вон, в углу. — И когда Прохор Петрович обернулся к картине, доктор незаметно сунул ведомость себе в карман. «Нет, он прав, как всегда, а это я ошибался: он действительно не притворщик, а больной», — раздумывал Ипполит Ипполитович Терентьев; его ассирийская, обрубленной лопатой борода уныло висла книзу, желтоватое со втянутыми щеками лицо нервно подергивалось; от доктора попахивало водочкой.

15

В этот вечер у Нины Яковлевны сидело с десяток гостей. Вошедший Андрей Андреевич Протасов сообщил, что Ибрагим-Оглы действительно убит в перестрелке между приисками «Новый» и «Достань». Отец Александр облегченно перекрестился: «слава богу»; Нина же, опечаленная, быстро скрылась в спальню и там положила перед образом три земных поклона за упокоение души убитого: Нина чувствовала к черкесу неистребимую признательность. Когда она вышла

вновь к гостям, коварный инженер Протасов, сметив, зачем выходила Нина, добавил:

— Но дело в том, что Ибрагим-Оглы жив. По крайней мере час тому назад его видел Илья Сохатых, спешивший на почту отправить в столичные газеты какие-то свои собственные *тайные* объявления. Будто бы Ибрагим с шайкой проскакал по улице.

— Ах, нет, — сказала Нина, отирая рот платком. — Это в наш сад ворвалась пьяная ватага спиртоносов. С ними — безносый Тузик. Они мстят нам за то, что стражники преследуют незаконную торговлю спиртом.

Священник сообщил о смерти в селе Медведеве отца Ипата:

— Второй удар, за ним третий и... душа праведника отлетела в страны неизреченные.

Потом завязался словесный бой священника с Протасовым. Бой был в полном разгаре.

— ...ничуть нет. Напротив... — кончал свои возражения Протасов. — Социализм стремится темные силы природы сделать, так сказать, сознательными, справедливыми, а борьбу за существование обратить в братство народов. Отсюда, при некоторой доле фантазии, нетрудно вообразить, Александр Кузьмич, будущее устройство социального государства...

— Мне совсем не улыбается быть в вашем будущем строе фортепианной клавишей, чтоб меня тыкали пальцем и разыгрывали на мне собачий вальс, — засунув руки в рукава рясы, возбужденно вышагивал взад-вперед отец Александр. — Да, я, может быть, вашего вальса не желаю, я, может быть, «Дубинушку» хочу петь. Я, может быть, молчать хочу.

— Да, да, — поддержала Нина священника.

— Вы и не будете клавишей, — спокойно возразил ему Протасов. — Вы будете колесом колоссального механизма, великого коллектива людей, может быть, самым полезным колесом.

— Да, да, — поддержала Нина и Протасова.

— А если я не хочу быть никаким колесом, даже и полезным? — капризно повернулся к Протасову священник. — Отчего вы желаете засадить меня за

какую-то золотую решетку благоразумного благополучия? Но позвольте в самом деле мне остаться хоть птицей, хоть грачом и вить свое гнездо на том дереве, на котором я хочу, и в той местности, которую я облюбовал с высоты полета. Или вы и на природу, во всяких ее проявлениях, желаете посягнуть? Скажите, могу быть грачом, могу я хотеть?

— Вы начинаете говорить по Достоевскому, и притом в период его наивысшей реакционной настроенности, — раздражаясь, старался уколоть священника Протасов. — Ваше возражение есть философский плагиат.

— Может быть, может быть. Но раз я принял мысли Достоевского, они этим самым становятся моими мыслями. Ну да, по Достоевскому. Но ведь Достоевский — Монблан, мировая гора, которую не обойдешь. О ваши же кочки можно только спотыкаться. А к Монблану подойдешь, ахнешь и обязательно задерешь вверх голову... Обязательно — вверх! Хочешь — лезь на гору, чтоб увидать горизонты. Хочешь — обходи болотом, спотыкайся о кочки современности.

— Ну-с, ну-с? — сбросил пенсне Протасов и сломал три спички, закуривая папиросу. — Но имейте в виду, милостивый государь (священник поморщился), что во время геологических переворотов наш Монблан может кувырнуться вверх тормашками, и где он стоял, там будет озеро, болото. А вчерашнее болото может внезапно стать новым Монбланом (Нина, таясь от глаз священника, поощрительно улыбнулась Протасову). А мы как раз подходим к тому времени, когда должны наступить в пластах человечества грандиознейшие перевороты духа. Тогда все ценности будут переоценены и теперешняя ваша правда погрузится в трясину невозвратного. — Протасов поднялся и стал бегать, то и дело выкидывая вверх руку с поднятым пальцем. — Тогда встанут новые горы, откроются новые горизонты, широчайшие, невиданные!

— А если я не хочу этих ваших новых геологических переворотов? — сердитым голосом, но с деланной улыбкой в ожесточившихся глазах, воскликнул священник, остановился и, приподнявшись на цыпоч-

ках, крепко стукнул каблуками в пол. — Если я не желаю переворотов?

— Отойдите к сторонке, чтоб вас не задавило...

— А если я не хочу отходить? — И священник, еще больше укрепившись на полу, упрямо расставил ноги. — Могу я хотеть или нет? Вы мне не ответили...

— Если ваше хотенье не идет вразрез с интересами масс, оно законно. — Протасов быстро подошел к вазе и бросил в рот шоколадку.

— Ха, масс!.. А что такое масса? — подошел к вазе и священник и тоже бросил в рот шоколадку, но она, застряв в усах, упала. — Масса всегда идет туда, куда ее ведут. — Отец Александр поднял шоколадку, дунул на нее и положил в рот. — У массы всегда вожди: сначала варяги — Рюрик, Трувор, — потом доморощенные Иваны. (Протасов сердито сел, схватился за правый бок и болезненно скривил губы; новый, приехавший из столицы врач-психиатр затягивался сигарой; Нину бросало то в жар, то в холод.) Думает гений — осуществляют муравьи. Я гения противопоставляю массе, личность — толпе. Меня интересует вопрос: куда бы человечество пришло, если б у него не было своих Колумбов?

Священник тоже сел и нервно стал набивать себе ноздри табаком.

— Человечество обязательно придет туда, куда его зовет инстинкт свободы, — усталым голосом ответил Протасов. — Оно родит своих кровных гениев, придет через упорную борьбу к раскрепощению — физическому и нравственному. Оно придет к своему собственному счастью.

— А что... а... а... а что такое счастье? — весь сморщившись, чтобы чихнуть, и не чихнув, спросил священник.

Протасов потер лоб, ответил:

— Пожалуй, счастье есть равновесие разумных желаний и возможности их удовлетворения.

— Так, согласен... — Священник опять выхватил платок, опять весь сморщился, но не чихнул. — Но, позвольте... раз все желания...

— Разумные желания.

— Раз все разумные желания удовлетворены, значит я нравственно и физически покоен. Я — часть коллектива. И все остальные части коллектива, а стало быть, и весь коллектив в целом нравственно и физически покоен. Ведь так? А где же борьба, где же ваш стимул движения человечества вперед? Все минусы удовлетворены плюсами. В результате — нуль, стоячее болото, стоп машина! — сытая свинячья жизнь. Так или не так? — Священник выудил из вазы две шоколадки, разинул рот, чтоб бросить их на язык, но вдруг, весь содрогнувшись, неожиданно чихнул. Шоколадки упали на пол. Все засмеялись. Фыркнул и Протасов.

— Нет, милостивый государь, — подавив вынужденную веселость, сказал он сухо, — вы совершенно не правы. Какая свинячья жизнь, какое болото? Вы забываете, что мысль, воображение, фантазия не удовлетворимы. Пытливый дух человека вечно жаждет новых горизонтов.

— Ага! Мысль, фантазия?.. А я все-таки не могу признать вашего будущего социального устройства, — резко чеканя слова, сверкал глазами священник, — потому что в нем будет отнята у человека свободная воля.

— Но, батюшка! — воскликнул все время молчавший врач-психиатр Апперцепциус. — Вы упускаете из виду, что свободной воли вообще в природе не существует.

— То есть как не существует?

— Свобода воли человека всегда условна, — поспешил вставить Протасов. — Она зависит, Александр Кузьмич, от борьбы страстей с рассудком и от тысячи иных причин... Но как же вы этого не знали? Еще Вольтер об этом говорил...

— Мы, батюшка, живем в мире причин и следствий, — подхватил Апперцепциус не терпящим возражений тоном.

— Удивляюсь... Но как же так? — смущенно развел священник руками. — Свобода воли — это корень всего, это кит, на котором зиждется весь смысл вселенной. Вы, молодой человек, не ошибаетесь ли?

— Во-первых, я уж не так молод: мне сорок восьмой год, — улыбнулся, блестя крупным начисто выбритым черепом, чернобровый, с юными бледно-розовыми щеками, доктор. — А во-вторых, я как психиатр должен вам, простите, разъяснить, что так называемая свобода воли — это иллюзорность, это лишь субъективно-психологическое понятие.

— Как так?

— Да уж поверьте! — И психиатр с многоумных высот специальных своих знаний глуповато посмотрел на священника, как на простофилю. — Во-первых, представление о свободе воли ограничивается самой физиологией головного мозга, как субстрата душевной деятельности! Во-вторых, от нашего сознания скрыты все истинные мотивы и весь механизм процесса, который...

Нина ничего не понимала. Ей становилось скучно от этой ученой болтовни.

— Да и вообще, — перебил психиатра инженер Протасов, — ваши мысли, Александр Кузьмич, теперь чрезвычайно устарели. Они, может быть, когда-нибудь и имели свой резон д'этр, а теперь они, поверьте, никому не нужны.

Разговор иссяк. Вогнанный в краску священник в раздражении поводил бровями и чуть улыбался.

Вошел домашний врач в дымчатых очках, показал психиатру ведомость со странной резолюцией Прохора Петровича.

— Можно больного посмотреть? — спросил психиатр, раскланялся с Ниной и направился вместе с доктором в кабинет хозяина.

Скрылся в свою комнату и священник. Гости тоже разошлись.

— Нина Яковлевна, дорогая моя, близкий друг мой, — тихо, как тень, подошел к ней взволнованный Протасов. — Чрез три дня, как вы знаете, я должен уехать. Мне это очень тяжело.

Нина низко опустила голову и, вытянув белые оголенные руки, обвила ими колени. Стального цвета бархат ее платья лежал печальными складками. Грустно поник на ее плече цветок пахучего ириса.

— Я еще раз хочу позвать тебя с собой, Нина,— едва сдерживая гнетущее чувство тоски, произнес Протасов и взял Нину за руку. В ее глазах мелькнула радость, но тотчас же померкла. — Можешь ты быть моей женой?

Нина продолжала сидеть молча. Она чуть поводила плечами. Ее подбородок вплотную прижался к прерывисто дышащей груди. Пальцы подергивались. Усыпанный алмазами большой изумруд в кольце сиял под снопами электрического света. Ей было стыдно глядеть в глаза Протасову. Тот заметил это и тоже опустил глаза.

— Я жду ответа,— склонив голову, каким-то обреченным, с трагической ноткой голосом проговорил Протасов.

Изумруд в кольце мигнул огнями и погас. Пространство пропало. Воздух отвердел.

— Нет, Андрей, — через силу сказала Нина.

После крепкого сна Прохор Петрович, подогнув под себя левую ногу, сидел в кабинете у стола, читал книгу, крутил на пальце чуб.

— А, здравствуйте! Вы — лечить меня? Вот и отлично. Вы пьете? Давайте выпьем. Этот не дает, мой-то, Ипполит-то... Как вас зовут?

— Доктор медицины Апперцепциус, Адольф Генрихович.

Широкоплечий, в белой фланелевой паре, психиатр заглянул в книгу:

— Ага! Гоголь? «Вий»? Бросьте эту ерунду. Лучше возьмите, ну, скажем, «Старосветских помещиков». Пить нельзя... Ерунда!.. Завтра исследую. Вы — здоровяк. А просто поддались. Нельзя быть женщиной. Надо душевный иммунитет... Морфий к черту, кокаин к черту. Пусть бродяги нюхают.

Прохор проглотил накатившуюся слюну, улыбнулся виновато.

— А я все-таки, доктор, болен. Навязчивые идеи, что ли... Как это, по-вашему? Черного человека сегодня видел. Вон там, возле камина, раза три.

— Чем занимались?

— Ведомости вот эти самые просматривал. Часов пять подряд.

— Ага, понятно. Закон контраста. Об этом законе еще Аристотель говорил. Если я буду пучить глаза не пять часов, а только пять минут на белую бумагу, а потом переведу взгляд на изразцы, на потолок, — обязательно черное увижу. Закон контраста. Ерунда.

— Значит, коньячку хлопнуть можно? Стаканчик... — опять сглотнул слюну Прохор.

— Нет, нельзя. — Психиатр внимательно перечитывал на ведомостях резолюции Прохора Петровича. Его взгляд споткнулся, как на зарубке, на подчеркнутой синим карандашом фамилии «Юрий Клоунов». Он спросил: — Ну, а, скажем, клоуна вы не видели сегодня?

Прохор ткнул в психиатра пальцем и, радостно захохотав, крикнул:

— Видел! Ей-богу, видел!.. Голубого... Да ведь я с ним знаком. От Чинизелли. Мы с ним в прошлом году в Питере у Палкина кутнули. Но как же вы... — Психиатр в упор, не улыбаясь, смотрел ему в глаза. Прохор смутился. Робко спросил:

— Откуда вы знаете про клоуна?

— Очень просто... Закон ассоциации. Негативчики. А вот — Синильга? Что это за птица?

— Да просто так... Чепуха, — опять смутился Прохор и почему-то взглянул под стол. — В юности еще... Шаманка. Гроб ее встретил.

— Так-с, так-с. Негативчики, позитивчики.

— Какие негативчики?

Психиатр, глядя ему в глаза своими серыми глазами, поводил возле его носа вправо-влево пальцем и строго сказал:

— Никаких иллюзий, никаких иллюзий. Это я — врач. Да, да! Перед вами врач, а не черт, а не дьявол, не Синильга. Возьмите себя в руки. Ну-с!

Прохор сдвинул брови. Оба смотрели друг другу в глаза, пытались запугать один другого. У Прохора задрожал язык, и левое веко чуть закрылось.

— Я никого не боюсь. — Прохор крутнул усы и вновь заглянул под стол. — Но слушайте, Адольф Генрихович!.. — И глаза Прохора забегали с предмета на предмет. — Меня крайне удивляет подобный метод исследования сумасшедшего. Простите, вы не коновал?

— Дорогой Прохор Петрович, — взял его за руку психиатр. — Какой же вы к черту сумасшедший? Вы ж совершенно нормально рассуждаете. Вы гениальнейший человек.

Прохор вырвал свою руку из руки психиатра, встал, распрямился, подбоченился.

— Очень жаль, доктор, что вы не были на моем юбилее. Очень жаль... — И важно сел.

— Ну, а зачем вы к пустынникам ходили?

— Да по глупости, — завилял глазами Прохор. — Хотел... Да я и сам не знаю, чего хотел. Тяжело было. С женой как-то все, с рабочими. С финансами у меня плоховато. От меня скрывают, но я вижу сам... Ну, а что ж все-таки означают эти ваши негативчики?

— Вы в естественных науках что-нибудь маракуете?

— Да, кое-что читал, — с запинкой ответил Прохор.

— Ну вот-с, — затянулся психиатр папиросой и уселся поудобнее. — Центральная нервная система, в том числе и главным образом серое корковое вещество головного мозга, содержит миллиард двести миллионов нервных клеток и пять миллиардов нервных волокон. Вот вам деятельные элементы, если хотите — негативы. В них отпечатки впечатлений, библиотека памяти. Понимаете меня?

— Конечно, понимаю. И очень внимательно слушаю вас.

— Великолепно. Весьма рад. — Психиатр сделал себе в книжечке отметку. — Они, эти отпечатки, эти негативчики, молчат до тех пор, пока связанный с ними психический процесс не поднялся выше порога сознания. Тогда начинается оживление памяти, разные Анфисы, Синильги. Вообще — мир ложных представлений. Это я приблизительно говорю, в грубой форме, для наглядности. Что же касается...

— А вот гнев, злоба?.. — неожиданно перебил

Прохор Петрович, и меж сдвинутых его бровей врубилась продольная складка. — Вдруг ни с того ни с сего...

— Понимаю. Вдруг ни с того ни с сего разъяритесь? У меня есть прекрасное лекарство...

— Голубчик! Пропишите.

— Просчитайте до десяти в минуту гнева — и ваш гнев пройдет. Важно перебить настроение.

Вдруг Прохор вскрикнул: «Ай!» — и отдернул ногу. Психиатр засмеялся, сказал:

— Благодарю вас. Ничего не видите?

— Ничего. — И Прохор, поджимая отдавленную ногу, заглянул под стол. — Очень больно вы на мозоль наступили мне. Чтоб вас черт побрал!..

— Великолепно, — потирая руки, сказал психиатр. — Я наступил вам на мозоль, и вы только и всего, что вскрикнули. А сумасшедший обязательно увидал бы змею, которая ужалила его. Вы — здоровы.

— Ха-ха, — рассмеялся Прохор.—Вы меня с маху ударите по зубам и опять скажете: я — здоров.

— Ну, нет, — засмеялся и психиатр. — К таким грубым методам исследования пусть прибегают пьяницы в кабаках. А вот с мозолью запомните: ежели увидите голубого клоуна или чертика с хвостом, топните каблуком себе в мозоль, и клоун пропадет.

— Да?! — обрадовался Прохор. — Спасибо. Обязательно...

— Попробуйте, попробуйте. А теперь разуйте правую ногу. Разуйтесь, доктор, и вы. И я разуюсь.

Все трое сидели босоногие. Запахло вонючим сыром.

— А ну-ка вы первый. — Психиатр крепко схватил ногу доктора повыше пятки и стал щекотать подошву.

Ипполит Ипполитыч закричал, задрыгал ногой, болезненно захохотал и в хохоте едва не упал со стула.

— Воля слабая, — сказал психиатр. — А ну — мне, — и вытянул ногу.

Доктор стал щекотать ему подошву. Психиатр стиснул зубы, надул розовые щеки, весь вспотел. — Щекочите, щекочите, — выдыхал он через ноздри.

— Тренировка, — сказал Ипполит Ипполитыч. — Совершенно притуплены нервы у вас.

— Ничего подобного. — И, тяжело дыша, психиатр опустил ногу. — У меня хорошо укреплена воля. А ну, Прохор Петрович, вы.

Прохор положил свою огромную, грязноватую, покрытую волосами ногу на колени психиатра. Психиатр нежно провел концами пальцев по голой, в мозолях, подошве Прохора.

— Ой, черт! — отдернул Прохор ногу. — Щекотно. А нуте еще... — Он вцепился руками в кресло, выпучил глаза и сдвинул брови.

Психиатр с минуту на все лады изощрялся в щекотании, сказал:

— Обувайтесь. Все в порядке. Молодцом. А завтра исследуем вас разными финтифлюшками: хроноскопом, тахистоскопом, — словом, разными психометрическими штучками. А впрочем, все это ерунда. Вы почти здоровы.

Адольф Генрихович прошел к Нине.

— Ничего особенного, — сказал он ей. — Склонность к галлюцинациям благоприобретенная. От пьянства, от наркотиков. Так называемый запойный бред, делириум тременс... Яркость представления. Но это пройдет. Вашего мужа необходимо отправить...

— Куда? — трепетно замерла Нина.

— Не бойтесь. Не в дом сумасшедших. Его нужно отправить в длительное путешествие, обставленное с комфортом. Ну, скажем, в Италию, в Венецию, в Испанию. Надо его беречь от потрясений.

Прохор ужинал со всеми. Он разговорчив, неестественно весел. Нина же необычно мрачна.

Прохор никак не мог развеселить ее.

Предстоящая разлука с Протасовым покрыла непроносным туманом весь горизонт ее жизни. Предчувствие полного одиночества, болезнь мужа, нелады с рабочими, внутренний разлад с самой собой — все это ввергало ее в мир скорби и отчаяния.

Все чаще и настойчивей подступали обольщающие минуты — все бросить, отречься от богатства, взять Верочку и на всю жизнь протянуть Протасову руку.

Сердце ее качалось, разум горел. Бог, религия, отец Александр, богатство — уходили в туман, а на скале, над туманами светлым призраком маячил Протасов. И вот душа ее раздирается надвое: судьба вгоняет в душу клин, как бы силясь или убить Нину, или вывести ее на просторы вольных человеческих путей. Минутами ей становилось страшно.

— У тебя такое настроение, Ниночка, как будто ты решила сегодня ночью покончить с собой, — громко, подчеркнуто, чтоб все запомнили эти слова, произнес Прохор.

— Да, пожалуй, — глубоко передохнув, безразлично ответила Нина. — Адольф Генрихович, налейте мне коньяку...

...Поздно вечером из конторы сообщили Прохору Петровичу, что четыреста землекопов с лесорубами заявили об уходе с экстренных, не терпящих отлагательств работ: все они собираются к Нине Яковлевне на ее новые графитные разработки.

— Не пускать, не пускать!! — вне себя заорал в телефон Прохор. — Я собственноручно расстреляю из пушки всех их, мазуриков, вместе с Куком, вместе с графитным прииском!..

И Прохор Петрович, отшвырнув трубку аппарата, в изнеможении повалился в кресло.

— Нет, что она, проститутка, со мной делает?! Что она делает?!! — стонал он, надавливая на левый глаз ладонью: ему казалось, что глазное яблоко выкатывается из орбиты, а хохлатая бровь неудержимо скачет вверх-вниз, вверх-вниз. Действительно, нервный тик передергивал мускулы его лица.

— «Итак, — бритва...»

Прохор Петрович вздрогнул, вытаращил глаза на узывчивый, такой неприятный голос. Возле камина темнел клоун в черном подряснике с наперсным крестом и в голубом берете.

— А-а-а, ты? — выдохнул Прохор, и видение рассеялось.

Прохор попробовал бритву на ноготь. Бритва острая. Сунул ее в карман. Вышел в сад, прошелся. Голубела ночь. Холодновато было. Лунные тени расплескались по песчаным дорожкам. Георгины в росе. Холодновато. Месяц желт. Небо бледное, звезды белые. Холодновато. Холодно... Бррр... Дом спит, огней нет. Спит Нина. Вернулся в дом на цыпочках. Часовых на крыльце, по углам, у ворот не заметил. Вспомнил о них, когда входил в кабинет. Дверь чуть скрипнула. Ему показалось, что скрипит зубами черкес. Надо бы спросить караульных. Где же они? Надо бы осмотреть беседку в саду: не притаился ли там Ибрагим.

— Да нет же! Ибрагим убит, — облегченно сказал сам себе Прохор.

Он сел под окном, приоткрыл портьеру, глядел на месяц. Месяц желтел и подмигивал ему. Прохор пощупал карман. Бритва там, в кармане. Он мог бы задушить жену, но нет... Он лучше ей, сонной, перережет горло, а бритву вложит в руку. Очень естественно. Сама. Ее душевное состояние за ужином — мрачное, унылое, и его ловко, кстати произнесенная фраза, которую все слышали: и отец Александр и оба врача, — отводят всякие подозрения от Прохора. И ее ответ: «Да, пожалуй», — ответ тоже все слышали и каждый расшифровал: «Да, пожалуй, я этой ночью покончу с собой». Великолепно, очень естественно. Во всяком случае, он, Прохор, не дурак, он не сумасшедший, он обдумал все здраво. Он делает это сознательно, трезво. Он готовился к этому целый год. Жаль Нину? Да, жаль, но не очень...

— Но я иначе не могу, не могу, — говорил он желтому месяцу. У месяца улыбка шире. — Самый главный «Новый» прииск, знаю, скоро отберут. А может быть, и отобрали уж, только не говорят мне. Всюду убытки. Протасов уходит. Нина разоряет меня. Хочет развивать самостоятельное дело. Она спустит в прорву весь свой миллион. Почему она, дура, думает, что миллион принадлежит ей, а не мне с Верочкой? Когда мы женились, она, дура, стоила три копейки. Я мысленно взял тогда принадлежавший ее

отцу миллион и ее, дуру, в придачу к миллиону. Вот и все. Миллион мой. Мне сейчас страшно нужны деньги... Нет оборотных средств... Дура, отдай миллион!

У желтолицего месяца обвисли концы губ, улыбка прокисла, свет стал жалким.

— Ха, Нина... Какая-то Нина, проститутка, божья коровка. Я не верю ей. Я предупреждал несколько раз. Ну, что ж мне делать? Погибнуть самому?.. Но мне себя не жаль, жаль дела. И — быть по сему!..

Прохор шагнул к выходу, изо всех сил приподнял дверь за ручку, чтоб уничтожить скрип, и неслышно вышел в коридор. Прокрался пять шагов, сел на пол, разулся, пошел дальше. Стены коридора дышали на него сонным холодом. Каждое окно, выходящее в лунную ночь, билось, как сердце, ритмично, подпрыгивало в такт шагов Прохора. От стен шли какие-то «чертовы» токи.

Прохор пощупал карман. Бритва — на месте. Враждебные токи, вибрации, плясы электронов кружились, плотнели возле входа в покои хозяйки. Потоки одуряющих волн опутали Прохора, влекли его к себе, за собою, в себя, манили в ту половину, где Нина. Он шел и не шел, он спал и не спал. Если внезапно топнуть на Прохора, если крикнуть «стой!» — он со страху упал бы, может быть, — умер бы от разрыва сердца. Он был вне воли, не свой, он — как лунатик...

Каждый мускул, каждый нерв Прохора подсознательно насторожен до предела. А в помраченную мысль вплеталась бессмыслица: «Врут, что Савоська жив, я Савоську убил ударом камня по башке». Прохор ощутил во рту пряный привкус крови: «Я привык... Убивать не страшно. Все зависит от цели. Если нужно — убью. Человек — животное. Мне не жаль ни одного человека в мире. И себя не жаль».

Прохор прошел столовую, прошел гостиную, миновал будуар, двигался, подобно слепцу, чрез тьму вечную. Он шел и не шел, он спал и не спал.

И вдруг ударило ему в душу, в густую тьму сознания великой силы пламя, очень похожее на

стихийный пожар тайги. Прохор-слепец, под ударом огня, мгновенно прозрел и мгновенно вновь ослеп: столь ярко показалось ему тихое сиянье — в мышиный глазок — хвостик лампады.

Кровать и кроватка. Дыханье ребенка спокойно. Нянька дышала вприхлюпку, с бредом. Прохор весь сразу расслаб. «Комната Верочки». Снял со стула какую-то вещь, кажется туфельки дочки, и сел, вытянув вдоль колен руки.

«Боже мой! Комната Верочки. Но как же я мог перепутать?» Он пучил глаза, пробуждался. Руки дрожали. Николай-чудотворец грозил ему с образа очень строго: «Уходи, наглец, уходи!»

— Кто тут?

— Я, няня, — расслабленным шепотом ответил Прохор и почувствовал — по щекам ручейки. — Я, няня, сейчас уйду... Я к Верочке. Показалось, что она заплакала...

— Нет, барин... Она не плачет. Это попритчилось вам. Она, ангел божий, спит.

— Да, да... Мне показалось, что плачет она. — И, не утирая слез, а только поскуливая, Прохор тихо вышел.

Шел коридором. Озирался, как вор... Вложил руку в карман. Бритвы не было.

Прошел к себе, дал свет, отворил шкаф и отпрыгнул: из шкафа выскочил бородатый Ибрагим и тоже отпрыгнул в ничто.

— Фу, черт побери!..— плюнул Прохор. — Себя боюсь. — И плотно захлопнул дверцу зеркального шкафа. Вновь отразился в плоскости зеркала. — Да, такой же бородач, как и черкес. Надо сбрить бороду. Да, да.

Выпил микстуру и лег. Все дрожало в нем и куда-то неслось.

Быстро вскочил, отыскал припечатанный сургучной печатью пакет, вынул записку. Строчки были как кровь:

«Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному. Мой гроб и гроб жены рядом. Гроб Верочки наверху».

Прохор Петрович взмотнул головой, весь сжался, весь сморщился и застонал, как заплакал:

— Нина... Жестокая Нина!.. Неужели не жаль тебе Прохора?

16

К знаменитому селу Разбой со всех сторон подъезжали на подводах, подплывали на плотах, на саликах громовские, получившие расчет землекопы, лесорубы, прискатели.

На одной из отставших подвод ехали пятеро: Филька Шкворень, его дружок, недавно бежавший с каторги, — Ванька Ражий и другие. Вдруг высыпала из тайги ватага с ружьями.

— Ребята, стой! Дело есть! — крикнул бородатый из ватаги.

— Ибрагимова шайка, матушки! — испугался мужик, хозяин лошаденки. Он соскочил с телеги и, пригнувшись, словно спасаясь от пули, бросился в лесок. А Филька Шкворень схватил топор.

— Эй, дядя! Воротись! — кричали из ватаги. — Мы своих не забижаем...

Филька Шкворень бросил топор и, взмигивая вывороченными красными веками, во всю бородатую рожу улыбался разбойникам. Хозяин лошаденки остановился и, выглядывая из чащи леса, не знал, что делать.

— Деньги есть, молодцы? — спросил кривоногий коротыш Пехтерь в рысьей с наушниками шапке и строго повел белыми глазами по телеге. Филька Шкворень опять схватился за топор, устрашающе заорал:

— Есть, да не про вашу честь! — И обложил ватагу матом.

— Да нам и не надо ваших денег, — загалдели из ватаги в три голоса. — Мы вам сами хотели дать, ежели...

— Берегите полюбовницам своим. — Филька Шкворень спрыгнул с телеги, пощупал на груди под рубахой кисет с золотыми самородками и сильными движениями стал разминать уставшее в дороге тело.

— Нет ли табачку, папиросок, братцы? — спросил, ухмыляясь по-медвежьи, страшный видом Пехтерь. — Давно не куривал хорошего табачку.

— Ха, папиросок!.. — с пренебрежительной гордостью буркнул Филька Шкворень. — Ванька, брось им из моего мешка коробку самолучших сигар со стеклышком.

Все уселись на луговину. Повалили из бородатых ртов ароматные дымочки. Облако кусучих комаров отлетело прочь.

— Богато живете, — сказал, затягиваясь сигарой, черноусый разбойник-парень с черной челкой из-под шляпы.

— Живем не скудно, — сплюнул сквозь зубы Филька и скомандовал: — Ванька, самолучшего коньяку «три звездочки»! Ребята, у кого нож повострей? Кроши на закуску аглицкую колбасу.

Пехтерь вытащил кривой свой нож:

— Ну, в таком разе — со свиданьицем! — И бутылка коньяку заходила из рук в руки.

— А где ваш набольший атаман? — спросил Филька Шкворень, чавкая лошадиными зубами кусок сухой, как палка, колбасы.

— Далече, — нехотя и не сразу ответил Пехтерь, вздохнув. — А вот, ребята, до вас дело: возьмите с собой наших двоих, они бывшие громовские, только беспачпортные. Авось проскочат с вами.

— Которые? — пощупал волчьими глазами Филька Шкворень всю шайку.

— А вон с краешку двое: Евдокимов да... Стращалка-прокурат.

— Отчего не взять? Возьмем.

— Что, коньячку больше нет? — с задором подмигнул Пехтерь белым глазом.

— Господского нет, трех звездочек, — проглотил слюни Филька. — А есть бутылочка заграничного, синенького. Эй, Ванька! Матросский коньяк «две косточки»!..

Ванька Ражий, ухмыляясь во все свое корявое лицо, вытащил из мешка бутылку денатурату с надписью «ЯД», с мертвой головой и двумя перекрещен-

ными под нею костями. Все захохотали. Пехтерь первый отпил из бутылки глотка три, сгреб себя за бороду, судорожно затряс башкой и брезгливо сплюнул. Опять все захохотали и тоже сплюнули.

— Что, добер коньячок «две косточки»? — перхая лающим смехом, спросил Филька.

— Ничего, пить можно, — вытер слезы Пехтерь и, отвернувшись, поблевал.

Бутылка пошла вкруговую. Ватага одета чисто, в громовские похищенные в складах вещи; в серых фетровых шляпах, в богатых пиджачных парах, в дорогих пальто. Правда, костюмы в достаточной степени оборваны, замызганы, загажены.

Рабочие с улыбчивой завистью косились на ватагу, а Филька Шкворень, ковыряя в носу, сказал:

— Эх, стрель тя в пятку, нешто пойти, ребята, к вам в разбойнички: дело ваше легкое, доходное... Нет... Просить будете, и то не пойду.

— Пошто так?

— Милаха меня в Расее поджидает... Эх, пятнай тя черти! — причмокнул Филька и, отхлебнув денатурату, утерся бородой: — Приеду в Тамбовскую губернию — женюсь. Я теперь... вольный. Я богатый... Ох, и много у меня тут нахапано! — ударил он по груди ладонью, приятно ощупывая скользом золото. — Бороду долой, лохмы долой, оденусь, как пан, усы колечком — любую Катюху выбирай!.. Я, братцы-разбойнички, сразу трех захоровожу. Богатства у меня хватит. Одну — толстомясую, большую, вроде ярославской телки чтоб; другую сухонькую, маленькую, ну, а третья — чтоб писаная краля была, в самую плепорцию. Ух ты, дуй не стой! — Филька рывком вскинул рукава и залихватски подбоченился.

Подошел с охапкой хворосту сбежавший хозяин лошаденки, покосился на ватагу, сказал, пугливо дергаясь лицом:

— Я за сушняком бегал. А вы думали, вас испугался? Дерьма-то...

И стал разжигать костер.

— А ну, ребятки! — прохрипел Пехтерь, свирепо уставился белыми глазами в заполошное лицо

крестьянина и вынул из-за голенища кривой свой нож. — А ну, давай зарежем мужика: лошадка его нам сгодится.

У мужика со страху шевельнулся сам собой картуз. «А что ж, — подумал он, — им, дьяволам, ничего не стоит ухлопать человека... Тем живут».

— Зачем же меня резать-то? — спросил он, задыхаясь, и попробовал подхалимно улыбнуться.

— Как зачем? На колбасу перемелем! — закричала ватага.

— Ну нет, на колбасу не пойдет, — осмелев, сказал мужик. — Я, братцы-разбойнички, с башки костист, с заду вонист.

Все заржали. И Пехтерь паскудно улыбнулся. Костер разгорался. Спасаясь от кусучих комаров, все полезли под дымок.

В чаще леса дважды раздался резкий свист.

— Айда! — скомандовал Пехтерь.

Все вскочили.

— Ну, прощай, Стращалка-прокурат! Прощай, Евдокимов! Спасибо вам. А уж мы в вашу честь Громову леменацию устроим... Да и рабочие, слых есть, шибко зашевелились у него. Шум большой должен произойти, — удаляясь, кричала ватага двум оставшимся своим. — Ребята, песню!.. — И вот дружно зазвенела хоровая разбойничья:

Что ж нам солнышко не светит,
Над головушкой туман,
Злая пуля в сердце метит,
Вьет судьба для нас аркан.

Эх, доля-неволя,
Глухая тюрьма!
Долина, осина,
Могила черна!

Филька Шкворень, настежь разинув волосатый рот и насторожив чуткое ухо, застыл на месте. Наконец песня запуталась в трущобе, умерла.

— Вот это пою-у-у-т, обить твою медь!.. Не по-нашенски, — восторженно выругался он, вздохнул и растроганно затряс башкой. Глаза его сверкали блеском большого восхищения.

В селе Разбой шум, тарарам, гульба. Сегодня и завтра в селе редкий праздник: полтысячи разгульных приискателей оставят здесь много тысяч денег, пудика два самородного золота и конечно же несколько загубленных ни за понюх табаку дешевых жизней.

Этот праздник круглый год все село кормит. Недаром так веселы, так суматошны хозяева лачуг, домов, домищ; они готовы расшибиться всмятку, они предупредительно ловят каждое желание дорогих гостей, ублажают их, терпят ругань, заушения, лишь бы, рабски унизив себя до положения последнего холуя, ловчей вывернуть карманы ближнего, а если надо, то и пристукнуть этого ограбленного брата своего топором по черепу.

Многие лачуги, домишки и дома разукрашены трехцветными флагами, зеленью, елками. Возле окон посыпано свеженьким песком, горницы прибраны, полы вымыты, перины взбиты, собаки на цепи, и морды им накрепко закручены, чтобы не смели взгамкать на почетных проезжающих.

Вечер. Вливаются в село все новые и новые толпы громовских рабочих. По улицам с гармошками, с песнями гурьбами слоняется охмелевший люд. Пропылили урядник и два стражника.

Зажигались огни. Кучи народа стояли за околицей, возле ворот в поле. Поджидали запоздавших приезжих. Вот подъехала телега со Шкворнем во главе.

— Ах, дорогие! Ах, желанные!.. — закричали встречавшие бабы и девицы. — К нам! Ко мне!.. Нет, у меня спокойней, ко мне, соколики мои... — оттирая одна другую локтями, наперебой зазывали они рабочих.

Филька Шкворень соскочил с телеги, взял свой мешок и с независимым видом пошел вперед, в село. Одет он в рвань и ликом страшен, за ним никто не увязался, никто не желал иметь его своим гостем: «Голодранец, пропойца, шиш возьмешь с него».

Однако догнала страшного бродягу маленькая, по девятому годку, девчоночка Акулька. Загребая

косолапыми ножонками пыль, оправляя на голове голубенький платочек, она забежала Фильке навстречу и, пятясь пред ним, квилила тонким, как нитка, голосом:

— Ой, дяденька, ой, миленький!.. Пойдем, ради бога, к нам... Мы тебе оладьев испечем, мы тебе пельменев сделаем. У нас тыща штук наделана. Мы тебя в баньку...

— Прочь, девчонка!! Затопчу.

Акулька отскочила вбок и, быстро помахивая тонкой левой ручкой, побежала рядом с бородатым дяденькой.

— Ты не серчай, дяденька... Мы хорошие... Мы не воры, как другие прочие. Мы тебя побережем, дяденька миленький. Целехонек будешь... Мамка все воши у тебя в головушке выищет, лопотину зашьет, бельишко выстирает...

Акулька расшвыряла все слова, все мысли и не знала теперь, чем ульстить страшненького дяденьку. Фильке Шкворню стало жаль девчонку, остановился, спросил ее в упор:

— А девки у вас есть?

— Есть, дяденька!.. Есть, миленький! — с задором прозвенела она.

— Кто жа?

— Я да мамка!

Воспаленные, с вывернутыми веками, глаза бродяги засмеялись. Он сунул девчонке пять рублей, крикнул:

— На! Марш домой, мышонок!!

Сердце девчонки обомлело и сразу упало в радость. Цепко держа в руке золотую денежку, она засверкала пятками домой.

— Эй! Людишки! — зашумел бродяга. — Тройку вороных! И чтоб вся изубанчена лентами была... Филька Шкворень вам говорит, знатнецкий богач! Вот они, денежки. Во!.. Смотри, людишки!.. — Он тряс папушей бумажных денег и, как черт в лесу, посвистывал.

— Сейчас, дружок, сейчас. — И самые прыткие со всех ног бросились к домам закладывать коней.

А там, на берегу реки, возле пристани, где пыхтел пароход и темнела неповоротливая громада баржи, встречали подплывший плот с народом. Посреди плота на кирпичах — костер. Густой хвост дыма, подкрашенный у репицы розоватым светом пламени, кивером загибал к фарватеру реки, сливаясь с сумеречной далью. Громовские рабочие зашевелились на плоту, вздымали на спины сундуки, мешки, инструменты, соскакивали в воду, лезли на берег.

— Эй, сторонись! — гнусил безносый, круглый, как шар, дядя, карабкаясь с плота по откосу вверх. — Не видишь, кто прибыл?.. Я прибыл! Тузик...

Он был колоритен своим большим широкоплечим, с изрядным брюхом, туловищем и потешно короткими толстыми ногами, обутыми в бархатные бродни со стеклянными крупными пуговицами. Синяя поддевка, как сюртук старовера-купца, хватала ему до пят и похожа была на юбку. Толстощекое, медно-красное, все исклеванное оспой лицо его безбородо и безусо, как у скопца, и голос, как у скопца же, тонкий. Вместо носа — тестообразный, лишенный костей кусок мяса с остреньким заклевом, повернут влево и крепко прирос к щеке, а справа торчала уродливо вывороченная черная ноздря. Он очень падок до баб, и бабы любили его: богат и хорошо платит.

— Эй, женки! Принимайте Тузика!

К нему бросились высокий, с льняной бородой, мужик и краснощекая, в крупных сережках обручами, ядреная вдовуха Стешка.

— Тузик!.. Исай Ермилыч... Здорово, дружок!.. — Оба схватили безносого в охапку и стали, не брезгуя, целовать его, как самого родного человека.

Подбежала другая, такая же ядреная баба Секлетинья и тоже норовила влепить безносому поцелуйчик в широкий толстогубый рот.

— Исай Ермилыч! — орала она, как глухонемому. — Неужто не вспомянешь Секлетинью-то свою, неужто не удостоишь посещеньем?

— Удостою. Всех удостою! — гнусил Тузик. — У меня на баб слюна кипит. Шибко сильно оголодал в тайге... Эй, народы! Сукно есть, красное?

— Нету, Исай Ермилыч...

— Бархат есть?

— Нету и бархату, Исай Ермилыч! Есть, да не хватит... Извиняемся вторично.

— В таком разе, вот тебе деньги... Живо тащи три кипы кумачу. Не желаю по вашей грязной земле чистыми ножками ступать.

Мужик с первой, похожей на разжиревшую цыганку бабой помчались бегом в лавку, а к Фильке Шкворню тем временем подкатили три тройки с бубенцами, в лентах.

— Вези по всем улицам и мимо парохода! — скомандовал Филька и залез в первую тройку. — А достальные кони за мной, порожняком...

Развалившись, как вельможный пан, бродяга героем-победителем посматривал на шатавшихся по селу гуляк и, под лязг бубенцов, подпрыгивая на ухабах, кричал громоносным голосом:

— Не сворачивай! Топчи народ!!

— Эй, ожгу! — драл мчавшуюся тройку простоволосый ямщик-парень. — Берегись!! Пузом глаз выткну!..

Все шарахались от тройки, как от смерти. Хохот, ругань, свист. Пыль столбом, звяк копыт, встряс на ухабах, ветер.

— Топчи народ!.. — пучил глаза Филька. — Сто рублей за человека...

Ямщик закусил губы и, не взвидя света, огрел подвернувшуюся старуху кнутом, а валявшегося пьяного мужика переехал поперек.

— Топчи народ!!

— Топчу!..

А когда на крутом повороте ямщик оглянулся, Фильки Шкворня в экипаже не было.

...Принесенные три кипы кумачу расстилали перед Тузиком красненькой дорожкой, ровняли эту дорожку сотни рук. Дорожка добежала до угла и сразу призадумалась: куда свернуть. Три семьи горели алчностью залучить Тузика к себе: одни тащили дорожку прямо, другие старались загнуть ее влево, третьи, вырывая кумач из рук, гнали дорожку вправо. Началась ссора, а за ссорой мордобой. Сбегался народ.

— Тузик прибыл, Тузик!

Шарообразный, упоенный почетом спиртонос, приветствуемый орущей «ура» толпой, потешно-величаво плыл по красненькой дорожке, милостиво раскланиваясь с народом, как царь в Кремле с Красного крыльца, и горстями швырял народу серебряную мелочь. Синяя поддевка, как шлейф юбки, заметала за ним след, и голубая дамская шляпа с павлиньим пером лезла на затылок. Доплыв до угла, где драка, Тузик приостановился, захихикал на драчунов, как жеребчик, и, махнув правой рукой, все пальцы которой унизаны дюжиной драгоценных перстеньков, тонким голосочком прогнусил:

— Перво-наперво веди дорожку к Дарье Здобненькой. К прочему бабью по очереди, ночью.

Фильку Шкворня, валявшегося на дороге, попробовала было подхватить к себе другая тройка. Но бродяга, держась за ушибленную голову, испуганно кричал:

— Боюсь! Не надо... Изувечить хотите, сволочи!.. Неси на руках вон к той избе.

Из новой, чисто струганной избы, куда торжественно понесли, как богдыхана, Фильку, выскочили навстречу дорогому гостю старик хозяин и два его сына с молодухой.

— Милости просим, гостенек!.. Не побрезгуйте... — кланялись хозяева. — Варвара, выбрасывай половики, стели ковры, чтоб ножки не заляпал гостенек... Шире двери отворяй!..

— Что, в дверь?! — гаркнул Филька, как филин с дерева, держась за шеи двух высоких, дюжих мужиков: они переплели в замок свои руки, бродяга важно сидел на их руках, как на высоком кресле, а сзади хмельная, с фонарем под глазом, баба усерднейше подпирала ладонями вываленную в грязи спину Фильки:

— Не упади, родной...

— Неужто ты, старый баран, думаешь, я полезу в твою дверь поганую? Не видишь, кого принимаешь, сволочь?! Руби новую!.. Руби окно!

Старик хозяин в ответ на ругань со всей готовностью заулыбался, шепнул одному сыну, шепнул

другому, посоветовался глазами со снохой и, низко кланяясь Фильке, молвил:

— Дороговато будет стоить, гостенечек желанный наш. Изба новая, хорошая.

— За все плачу наличными! — И Филька, по очереди зажимая ноздри, браво сморкнулся чрез плечи державших его на воздухе великанов-мужиков.

— Которое прикажете окошко-то? — подхалимно спросил старик хозяин.

— Среднее.

— Петруха! Степка!.. — взмахнув локтями, засуетился старик, словно живой воды хлебнул. — Орудуй!.. Момент в момент чтобы... Варвара, лом!

Петруха вскочил в избу, двумя ударами кулака вышиб раму. Степка прибежал с пилой. Мелькая в проворных руках Степки и Петрухи, пила завизжала высоким визгом, плевалась на сажень опилками. В пять минут новая дверь была проделана, ступенчатая лестница подставлена, раскинут цветистый половик.

— Милости просим, гостенек дорогой...

Филька Шкворень удовлетворенно запыхтел. Потом сказал:

— В брюхе сперло. Дух выпустить хочу. — Нажилился и гулко, как конь, сделал непристойность.

— Будь здоров, миленький! — смешливо поклонилась в спину Фильки баба, пособлявшая тащить гостя в избу.

— Ну, теперича вноси, благословясь, — облегченно молвил Филька.

17

Осенняя ночь наступала темная, лютая, страшная.

Пьяные улицы выли волчьим воем, перекликались одна с другой и с заречным лесом рявканьем гармошек, разгульной песней, предсмертным хрипом убиваемых, жутким воплем: «Караул, спасите!»

Полиции нет, полиция спряталась. Буйству, блуду, поножовщине свобода. Кто ценит свою жизнь, те

по домам, как мыши. Кто ценит золото, увечье, смерть, те рыщут среди тьмы. В больших домах лупоглазо блестят огни. В избушках мутнеет слабый свет, как волчьи бельма.

Набухшая скандальчиками сутемень колышется из края в край. Все в движении: избы пляшут, в избах пляшут. Прохрюкал боров. Прокуролесила вся в пьяной ругани старуха. Мальчишки черным роем носятся со свистом. Заливаются лаем запертые в кутухах барбосы.

Хмельная ватага громовских бородачей-искателей, обнявши друг друга за шеи и загребая угарными ногами пыль, прет напролом стеною поперек дороги.

— Эй, жители! Где кабак? Кажи кабак!

— Гуляй, летучка! Вышибай дно, кобылка востропятая!

— Ганьша, запевай!.. Мишка, громыхни в гармонь.

Взрявкала, оскалилась на тьму всеми переборами ревучая гармонь, оскалились, дыхнули хмелем разинутые пасти, и веселая частушка закувыркалась в воздухе, как ошалелый заяц с гор.

Домище Силы Митрича, кабатчика, на самом урезе, при воде. Узкая боковая стена дома, как мостовой бык, уходит прямо в черные волны реки Большой Поток. Над уровнем воды в стене неширокая, глухая дверь. Эта дверь разбойная: возле двери — омут в две сажени глубины.

Семья хозяина живет вверху. Там тьма и тишина. Зато в нижнем этаже, где кабак, — огни, веселье. Просторный, низкий, с темными бревенчатыми стенами зал. Три лампы-«молнии». Кабацкая стойка. За стойкой — брюхо в выручку — заплывший салом целовальник, Сила Митрич. В жилетке, в голубой рубахе; чрез брюхо — цепь. Волосы напомажены и благочестиво расчесаны на прямой пробор. Большая борода и красное щекастое лицо тоже дышат благочестием. Глазки узкие, с прищуром. Голосок елейный, тоненький, с язвительной хрипотцой. Когда надо, эти сладостные глазки могут больно уколоть, а голосок зазвучать жестоко и жестко.

Пятеро музыкантов: два скрипача, гармонист, трубач и барабанщик — усталые, пьяные, потные, толкут бешеными звуками гнусный, пропахший кабацким ядом воздух. Пьяные, потные, усталые парни, бабы, девки, мужики и лысоголовые старикашки топчутся в блудливом плясе.

— Давай веселей... Наяривай! — переступает ногами вперепле т богатый спиртонос, безносый Тузик. Он давно сбросил свою поддевку, лицо пышет, пот градом, ладони мокры, четверо часов по карманам атласной желтой жилетки, цепи, перстни, кольца дразнят жадные глаза гуляк. Мясистое брюхо отвисло до колен, из-под брюха мелькают короткие бархатные ножки. — Эх, малина, ягода... Бабы, девки! Шире круг!.. Не видите, кто пляшет? Я пляшу!

— А ну, держись, Исай Ермилыч! Падú! Падú!.. — выкрикивает широкозадая цыганка-баба, потряхивая серебряными обручами в ушах. Подбоченясь и вскидывая то правой, то левой, с платком, рукой, она дробно, вперес тупь семенит ногами, надвигаясь полной грудью на безносого. — Ой, обожгу!! Падú! Падú!.. — разухабисто взвизгивает баба: хлестнув по плечу безносого платочком, кольнув его в бок голым локотком, она откинула голову, зажмурилась, открыла белозубый рот и со страстной улыбкой, все так же вперес тупь, поплыла обратно.

— Яри! Яри!.. — гнусит безносый. — Яри меня шибче!..

— Ярю...

Заржав, он пухлым шаром подкатился к шестипудовой бабище, как Дионис к менаде, поддел ее под зад, под шею сильными руками гориллы. — «Яри!» — «Ярю!..» — поднял над головой, как перышко, и, чрез стену расступившегося люда, понес, словно медведь теленка, в боковую дверь, в чулан.

— Ой, обожгу! Ой, обожгу! — с разжигающим хохотом стонала баба, вся извиваясь и взлягивая к потолку в красных чулках ногами.

Свист, гам. Гоп-гоп, гоп-гоп! И в кабак ввалилась Филькина ватага.

— Целовальник! Сила Митрич... Вина!

— Капусты! Квасу!

— Шаньпань-ска-ва-а-а!!

Возле буфетной стойки невпроворот толпа. Звякают о стойку рубли, полтины, золотые пятирублевки, шуршат, выбрасываемые с форсом бумажные деньги. Целовальник широкой рукой-лопатой то и дело, как сор, сгребает деньги в выручку. Сдачи не дает, да сдачи никто и не просит. Хлещут водку, коньяк, вино жадно, с прихлюпкой в горле, как угоревшие от жажды.

Филька с ватагой, работая локтями, едва протискался к кабатчику:

— Сила Митрич!.. Бочонок водки... На всю братию. Да оторвись моя башка с плеч! Во! Становь прямо на пол посередь избы... Гей, людишки! Налетай — подешевело!..

Запыхавшийся шарообразный Тузик в золотых цепочках, в перстнях подкатился к целовальнику:

— Сила Митрич, на пару слов. Вот тебе бумажник... В нем восемь тысяч сто. Проверь.

— Верю, Исай Ермилыч, верю, родной.

— Сохрани... При народе отдаю... — И безносый Тузик передал целовальнику пухлый из свиной кожи бумажник. — А нам, понимаешь, в номерок винишка, закусочек, сладостей разных шоколадных. А-а... Филя, друг! И ты здесь?.. А я со Стешкой... Вот краля! Прямо слюна кипит... — Он сплюнул, отер искривленный рот рукавом шелковой рубахи. Его безобразное лицо было гнусно своей похотью.

А ватага Фильки уселась на пол вкруг бочонка и заорала песни.

Голова ль ты моя-а у-да-а-ла-ая...
Долго ль буду носить я тебя-а-а... —

заунывно горланила ватага Фильки Шкворня проголосную, старинную. Сам Филька, скосоротившись и захватив бороду рукой, поводил широкими плечами, тоже подпевал шершавым басом, тряс башкой и плакал.

По углам, развалившись на полу, обнимались очумевшие от водки мужики и бабы. Ловкие воров-

ские руки баб успевали до порошинки очищать карманы золотоискателей.

В лампах выгорал керосин. Темнело. В дверь просунулась с улицы усатая морда урядника, обнюхала воздух, посверлила глазами вспотевшего, измученного целовальника, сбившихся с ног половых и пропала.

Чарки ходили по ватаге. Бочонок усыхал.

Аль могила-а, землица-а-а сырая-а-а...
Принакроет, бродягу, меня-а-а... —

надрывно пела ватага, хватая за ноги пробегавших баб и девок. Филька плакал и бормотал:

— Людишки-комаришки... Миленькие вы мои... Люблю людишек!

— Господа гости! — закричал целовальник и, тяжело водрузившись на стойке, зазвонил в звонок. — Третий час ночи!.. Велено закрывать... Полиция была... Дозвольте расходиться. Ну, живо, живо, живо!!

Пятеро здоровенных половых, специально нанятых целовальником на дни гулянки, выталкивали, вышвыривали в дверь, за ноги волочили спящих по захарканному, улитому вином и кровью полу. Вышвырнут был и Филька Шкворень.

Помещение очистилось. Убитых, слава богу, не было. Целовальник обернулся лицом к образу, покивал благочестивой головой, трижды набожно перекрестился. Дал половым по пятерке и по бутылке пива.

— Завтра с утра, ребята, — сказал он им.

Половые — местные парни в белых фартуках, — побрякивая полными серебра карманами, ушли. Двое услужающих мальчишек и старая кривая судомойка мели пол, убирали побитую посуду и бутылки, все стаскивая в кухню.

Из чулана слышался визгучий хохот пьяной Стеши и грубая гугня безносого. Наконец все стихло. Только за стенами кабака ревела в сотни глоток страшная пьяная ночь.

Из-под пола легонько постучали. Целовальник, проверяя выручку и бормоча: «Две тыщи восемьсот девяносто семь, две тыщи девятьсот», — в ответ три-

жды в пол пристукнул каблуком: «Сейчас, мол.., слышу».

В чуланчике тихо. Целовальник, швыряя сотенные вправо, а золотые — в жестянку из-под монпансье, продолжал считать выручку. Затем вытащил из-за пазухи бумажник безносого, заглянул в него, скользом мазнул взглядом по иконе, вздохнул, снова сунул бумажник за пазуху и на цыпочках — к чуланчику.

Целовальник стал смотреть сквозь щель в чуланчик. А дверь по лбу его: хлоп!

— Ты тут чего?

— А я, Исай Ермилыч... Этово... как его... — завилял елейным голосочком целовальник. — Проведать, не созоровала ль чего с вами Стешка... Кто ее знает?.. Опаска не вредит. А я за своих гостей в ответе быть должон... Хи-хи-хи!..

— Вот она какая антиресная. Подивись... — распахнул дверь безносый. На кровати разметалась в крепком сне полуобнаженная Стеша.

— Прямо белорыбица-с... Исай Ермилыч... — причмокнул целовальник.

— А я ухожу к куму, к мельнику.

— Знаю-с, знаю-с... Не опасно ли? Ночь, скандалы-с, Исай Ермилыч.

— Черта с два! — И безносый, как железными клещами, стиснул двумя пальцами плечо целовальника.

— Ой! Ой!.. — закрутился тот, от боли присел чуть не до полу. — Ну и силка же у вас... Не угодно ль на дорожку выпить?..

— Нет.

— А почему же? Вот вишневочка...

— Нет.

— В таком разе, извольте деньги получить...

— Давай, брат, давай, Сила Митрич.

— Пожалуйте-с к выручке, Исай Ермилыч. Бумажничек ваш там-с...

В длинной поддевке, безносый грузно водрузился по эту сторону кабацкой стойки, против выручки. Целовальник, открыв выручку, шарил глазами, как бы отыскивая затерявшийся бумажник.

— Сколько я тебе должен за гульбу?

Лик целовальника вдруг весь изменился, судорога прокатилась по спине. Жестким и жестоким голосом сказал:

— Как-нибудь сочтемся, — и крепко нажал под выручкой рычаг.

Под ногами безносого Тузика мгновенно разверзся люк, на котором он стоял, и Тузик грузно провалился под пол. Он поймал в полумрачном подземелье мутный свет фонаря и глухой гукающий голос:

— С праздничком, Исайка-черт!

Безносый, весь взъярившись и похолодев, привстал по-медвежьи на дыбы и мертвой хваткой вцепился кому-то в глотку. Но обух топора сразу раздробил бродяге голову...

К ногам догола раздетого трепещущего трупа быстро привязали тяжелый камень.

— Отворяй! — гукнул темный голос.

И труп был вытолкнут чрез потайной проруб в стене прямо в волны Большого Потока.

У целовальника тряслись руки, звякали в ушах червонцы, зубы колотили дробь. В дверь с улицы крепко постучали. Влез пьяный Филька Шкворень.

— Тузик здеся? Ах, ушел? И деньги взял?

— Ну да... Без всякого сомнения...

— А меня били, понимаешь... Грабили... Только я и сам с усам! — Филька выхватил из-за пазухи окровавленный нож и погрозился улице.

Диким, в сажень, пугалом он стоял на закрытом люке против целовальника. Все лицо его разбито в кровь. Правый глаз заплыл. Из-под волос по правому виску и по скуле кровавый ручеек.

— А я, понимаешь, гуляю... И буду гулять! — ударил Филька в стойку кулаком. — Только я по-умному. Двоих, кажись, пришил... Ну и мне влепили. Едва утек... И завтра буду целый день гулять... А золота не отдам, сволочи, не отдам! — И Филька снова погрозился улице ножом. — У меня в кисе, может, на двадцать пять тыщ! Да, может, я побогаче Тузика!.. А только что — тяжко мне. Поверь, Сила Митрич... Тяжко... Тоска, понимаешь, распроязви ее через сапог в пятку! Ух!! — И Филька опять грохнул в стойку.

— Ты не стучи... Ты выпей лучше да ложись спать. Я устал, до смерти спать хочу.

— Нет, Сила Митрич, не лягу! Потому — скушно мне... Душа скулит... Гулять пойду. В вине утоплю душу. Она у меня черная. А ежели ухайдакают меня, богу помолись за мою душеньку. Убивец я, черт... Убивец!.. — Филька скосоротился и закрыл лапой мохнатое лицо.

— Золото-то при тебе?

— При мне... Вот оно... Возьми на сохранение. Я человек простой... Я верю тебе. Я, брат, в Тамбовскую жениться еду.

Целовальник трижды стукнул каблуком в пол:

— Давай, давай, брат... Давай... Да ты не скучай... Я, брат, сам убивец... Плевать... Вот сейчас тебя оженят, — сказал целовальник и нажал под выручкой рычаг.

Филька Шкворень так же быстро рассчитался с жизнью. В глубоком стеклянно-рыжем омуте он, без тоски, без злобы в сердце, стоял теперь рядом с веселым Тузиком. С тяжелыми камнями на ногах, впаявшими трупы ступнями в дно, оба золотоискателя, подвластные течению реки, легонечко поводя руками, изысканно вежливо, как никогда при жизни, раскланивались друг с другом. Они удивленно оглядывали один другого своими ослепшими глазами, силились что-то сказать друг другу — может быть, нечто мудрое и доброе — и не могли сказать.

С утра гулко посвистывал пароход, сзывая отъезжающих. Мрачные, избитые, ограбленные люди стали помаленьку стягиваться к пристани. Хозяйственные степенные рабочие — их подавляющее большинство — ночевали в барже. Эта трезвая масса людей встречала пропойц то злобным, то презрительным смешком. Многие из ограбленных гуляк, по два, по три года копившие деньги, чтоб в достатке и в почете прибыть домой, теперь, проспавшись, впадали в полное отчаянье: рвали на себе волосы, то со слезами молились богу, то в безумстве богохульствовали, рыдали, как

слабые женщины, упрашивали товарищей убить их, разбивали себе о стены головы, в умственном помрачении кидались в реку.

В это утро улицы воровского села Разбой резко тихи, траурны. Шла-плыла непроносная туча. Небесная голубая высь померкла. Грешный воздух весь в мелкой пронизи холодного дождя. С мрачным карканьем, как гвозди в гроб, косо мчится сизая стая зловещих птиц. Унылый благовест, внатуг падая с колокольни в бездну скорби и подленького ужаса, зовет людей к очистительной молитве. Но богомолов нет. Никто не перекрестится: душа и руки налиты свинцом. Даже Филька Шкворень под водой было попробовал перекреститься, но безвольная рука на полпути остановилась.

Всюду уныние, всюду мертвенность. Страх перед содеянным и лютые тени вчерашних разгулявшихся страстей-страданий наглухо прихлопнули всю жизнь в селе. Горе, горе тебе, разбойное село Разбой!..

Зато стражники бодро разъезжали по селу с сознанием до конца исполненного долга. Радостней всех чувствовал себя бравый урядник, получивший от целовальника из ручки в ручку пятьсот рублей.

Документы отъезжающих полицией проверены. В два часа дня пароход ушел. У беглеца Стращалова на душе радостная музыка. Филька Шкворень, когда пароход проходил мимо него, пытался схватиться за колеса, пытался крикнуть: «Братцы, захватите меня в Тамбовскую...» — но пароход, бесчувственно пыхтя, ушел.

Следственной властью и полицией было поднято в селе и в покрывавшем выгон кустарнике восемнадцать свежих трупов. В больницу попало восемь искалеченных. Тридцать три человека сидели в каталажке.

Страсти кончились, скоро пройдет и страх. Но тяжелые страдания, включенные и в страх и в страсти, надолго останутся в злопамятном сознании народа.

Река Большой Поток чрез подземные недра где-то сливается с Угрюм-рекой.

И все воды мира в конце концов стремятся в первозданный Океан.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1

— Можно? — И в кабинет на башне вошел весь сияющий, как стеклянный шар на солнце, Федор Степаныч Амбреев. — Ну-с... Милейший Прохор Петрович... Миссия моя исполнена. Можешь жизнь свою считать вне опасности. Ибрагим-Оглы наконец-то убит.

— Как? — Прохор вскочил. Все лицо его вдруг взрябилось гримасой безудержной радости; он крепко обнял исправника и стал вышагивать по кабинету, ступая твердо и четко.

— Где он? Где труп? — подстегивал он пыхтевшего Федора Степаныча.

— Зарыт.

— Выкопай и доставь сюда! Хочу убедиться лично.

— К сожалению, он обезглавлен. — Сидевший исправник согнулся, пропустив мускулистые руки меж расставленных толстых ног; его бритое брыластое лицо напоминало морду мопса. — Я ведь больше двух недель выслеживал его. Я был спиртоносом, угостил их хорошим спиртом с сонной отравой. В балке у Ржавого ключика. Правда, черкес и еще четверо варнаков не пили... Ночь. Я от костра тихонечко в сторону, дал три выстрела, примчались мои. Четверо трезвых вскочили на коней, с ними Ибрагим, умчались в чащу. Мы за ними на хвостах! Перестрелка. На

рассвете нашли убитого черкеса. Разбойники бросили его, а голову, дьяволы, унесли с собой. Он валялся голый. Руки скрючены. В руке кинжал. Вот этот самый кинжал... Кавказский. — Федор Степаныч достал из портфеля кинжал, подал Прохору.

— Знаю... Его кинжал, — мельком взглянул Прохор на смертное оружие, сел к столу и, снова запустив пальцы в волосы, мрачно думал.

— Да, да... Его, его кинжал, я сразу узнал. Помню, — бормотал он в пространство, потом стукнул кулаком в стол, закричал резким, не своим голосом, как на сцене трагик:

— Выкопать!! Привезти сюда! Сжечь! Пеплом зарядить пушку и выстрелить, как прахом Митьки-лжецаря!!

— Слушаю.

Обведенные густыми тенями, глубоко запавшие глаза Прохора Петровича выкатились и вспыхнули, как порох, но сразу погасли. Ототкнул склянку с чернилами, взболтнул, понюхал.

Исправник проницательно вглядывался в Прохора.

— Я не видел тебя давно, Прохор Петрович. Изменился ты очень. Похудел. Хвораешь?

— Да, хвораю... — проглотил Прохор слюну, опустил голову. Мигал часто, будто собирался заплакать. Стоял возле угла стола, машинально водил пальцем по столу. — Хвораю, брат, хвораю. — Он поднял голову, запальчиво сказал: — Не столько я, сколько они все хворают. А я почти здоров... — Он прятал глаза от исправника. Его взгляд смущенно вилял, скользил в пустоту, перепархивал с вещи на вещь. И вдруг — стоп! — телеграммы.

— Ты отдохнул бы, Прохор Петрович.

— Да, пожалуй... Видишь? Читай... Протестуют векселя... Из Москвы, из Питера. А мне — наплевать. Пусть... Дьяволы, скоты! А вот еще... Московский купеческий: «В случае неуплаты дважды отсрочиваемых нашим банком взносов ваш механический завод целиком пойдет с аукциона». Стращают, сволочи. А где мне взять? У меня до семи миллионов пущено в дело. А она, стерва, не хочет дать... Она на деньгах сидит,

проститутка... — Он говорил таящимся шепотом, лохматая голова низко опущена, на телеграммы капали слезы.

Исправник, склонившись, покорно сопел. Его глаза лукаво играли и в радость и в скорбь.

— Плевать, плевать!.. Лишь бы поправиться. Все верну... Миллиард будет, целый миллиард, целый миллиард, — сморкаясь, хрипло шептал Прохор Петрович. И — громко, с жадностью в голосе: — А у тебя, Федор, водки с собой нет? Не дают мне...

После расстрела рабочих дьякон Ферапонт как-то весь душевно раскорячился, потерял укрепу в жизни: и Прохора ему жаль по-человечески, и четко видел он, что Прохор тиранит народ, что он враг народу и народ ненавидит его. Дьякон с горя бросил кузнечить, стал задумываться над своей собственной жизнью — вот взял, дурак, да и ушел из рабочих в «духовенство», — начал размышлять над жизнью вообще.

И показалось ему, что его жизнь из простой и ясной ненужно усложнилась, — он отстал от одного берега и не пристал к другому. Он теперь всем здесь чужой и чуждый: отец Александр едва снисходит к нему, как к недоучке, а бывшие приятели-рабочие сторонятся его. Семейная жизнь представлялась дьякону тоже неудачной: Манечка глупа, Манечка некрасива, Манечка бесплодна.

Эх, надо бы дьякону, по его дородству, вместо коротышки Манечки, какую-нибудь бабищу-кобылищу, этакую запьянцовскую в два обхвата неумо́ю...

«Нет, брат Ферапошка, не то, совсем не то, — раздумывал он, покуривая на пороге цыганскую в кулак трубку и пуская дым в щель полуоткрытой двери. — А вот брошу все, пойду к разбойникам, лиходеем сделаюсь, в большой разгул вступлю». То ему мерещится, что он первый протодьякон в Исаакиевском соборе, что он в царский день так хватил там многолетие, аж сам царь зашатался и закашлялся, а народ, как от пушки, в лёжку лег, что царь, отдышавшись,

пригласил его к себе на ужин, во дворце Ферапонт будто бы «здоровкался об ручку» с царицей-государыней и со всем императорским семейством, что царь выпил с ним, потрепал его по плечу, сказал: «Ну, отец протодьякон, ты мне очень даже мил, разводись поскорей с Манечкой, я в синод бумагу дам, и выбирай в жены любую мою горничную, — хочешь Машу, хочешь Глашу, хочешь Анну Ярославну, все княгини превеликие».

Дьякон даже зажмурился от такой мечты, и сердце его заулыбалось, как у матерого медведя на сладкой пасеке. Он затянулся трубкой, циркнул сквозь зубы и выбил трубку о каблук пудового сапога. «Дурак, — мрачно думал он, искоса посматривая, как шустрая Манечка возится у печки. — Куда мне, дураку темному? Да разве отец Александр отпустит меня в Питер?»

Правда, отец Александр предлагает Ферапонту учиться грамоте, даже и начинал учить его, но уж очень у Ферапонта голова проста, да и надоели все эти «паче» да «обаче». Ну их!..

«А Прохора Петровича жаль. Эх, жаль!.. Был-был великий человек и вдруг — с ума сошел». Недавно дьякон протащил к нему под рясой целую «Федосью» — четверть. Ни доктор, ни лакей, слава богу, не заметили. Да эти прощелыги докторишки, по правде-то сказать, зря только мучают хозяина: как это можно, чтоб без вина пьющему человеку жить-существовать?

Стал пить горькую и сам дьякон Ферапонт. Дьяконица зорко следила за ним, отнимала водку. Чтоб не огорчать несчастненькую пышку Манечку, — Ферапонт ее все-таки любил, — он всякий раз, когда наступала полоса запоя, сажал себя на цепь, прикованную возле кровати к железному кольцу, запирал цепь на замок, вручал ключ Манечке, ложился на кровать и, стиснув зубы, мучительно мычал. Видя его страдания, Манечка со слезами освобождала мужа и подносила ему стаканчик зверобою с соленым рыжичком:

— Вот, голубчик, окати душеньку греховную и больше не пей, голубчик.

Дьякон проглатывал вино и, бия себя кулаком в грудь, восклицал:

— Манечка! Я сейчас буду господу богу молиться, да избавит меня сего зелья.

Он опускался на колени пред угòльным шкафиком с киотом (в шкафе хранились свечи, просвирки, церковное масло, всякое тряпье). Манечка зажигала лампаду, дьякон начинал горячо, с воздыханием молиться.

И только Манечка за дверь, — дьякон проворно подползал к святому шкафику, открывал дверцу, выхватывал спрятанный им в тряпках штоф водки и из горлышка досыта хлебал. Манечка поскрипывает в сенцах половицами, Манечка входит. Все в порядке: дьякон, устремив свой потемневший лик в светлый зрак Христа и благочестиво сложив руки на груди, коленопреклоненно молится. Манечка рада, рад и дьякон. Он молится долго, до кровавого поту. Манечка то и дело выходит по хозяйству — штоф убывает. Дьякон молится и час и два, богобоязненная Манечка и сама на ходу осеняет себя святым крестом, умильно говорит:

— Ладно уж, будет... Вставай, поцелую тебя, медведик мой нечесаный.

Но дьякон уже не в силах подняться, он распластался по полу, как огромная лягушка, бьет головой в пол, бормочет:

— Не подымусь, не подымусь, аще не выплачу слезами всю скорбь мою! Вскую шаташася!.. — И прямо на пол ручьями текут покаянные слезы.

Отец Александр записывал в дневник:

17 сентября. Утром заморозок. На крышах сосульки. Вчера уехал господин инженер Протасов. Неисповедимы пути человеческие. Собирался на Урал, а замест того экстренно выехал в Санкт-Петербург, к профессору Астапову, хирургу. Местные наши эскулапы И. И. Терентьев и А. Г. Апперцепциус поставили диагноз — рак печени. Подлая болезнь, незаметно разрушая организм, подкралась, как тать в нощи, совершенно внезапно. Горе нам, слабым, беспомощным, иже во власти бога суть! Расстались

дружески. Я его обнял, пожелал достичь пристанища не бурного, но не рискнул благословить безвера. Однако в молитвах своих буду поминать болящего Андрея на всяком служении. Еще неизвестно, где буду я и где будет он по ту сторону жизни. Суд господень не наш, и оценка дел людских — иная. И, может быть, многие на Страшном судище удивленно скажут: «Господи! За что меня, праведника, осудил, а пьяницу, а преступника помиловал?» И, может, придется воскликнуть гласом велиим: «Господи, оправдай меня, невинного!»

20 сентября. С прискорбием замечаю, что Нина Яковлевна встревожена болезнью Протасова сугубо больше, чем болезнью мужа. Кажется, собирается ехать в Питер, чтоб операция болящего Протасова протекала в ее близком присутствии. Сие, конечно, человеколюбиво, но греховно, ибо она второй долг свой ставит превыше первого. В глазах, в движениях, в речах ее и поступках замечаю внутреннее тяжелое борение. Стараюсь влиять осторожно, дабы не задеть больных струн сердца ее. Молюсь за нее сугубо.

29 сентября. Болезнь Прохора Петровича колеблется между какими-то пределами. То он здоров и деятелен, то вдруг «вожжа под хвост». Врач-психиатр, получающий по сотне рублей в день, только руками разводит и говорит, что для него еще не все этапы болезни ясны. Осуждать не хотелось бы сего премудрого врача, но... А по-моему, с точки зрения профана, болезнь Прохора Петровича, этого язычника-христианина, не есть болезнь физическая, то есть заболевание разных мозговых центров и самой ткани мозга, а поистине простое помутнение души. У него, по выражению мудрых мужичков, «душа гниет».

И выходит, что, если помутнел хрусталик глаза или на глазах зреют катаракты, никакие примочки, капли, очки не в силах помочь больному. Надо снять катаракты, и слепец узрит свет. Так и с помутневшей души Прохора Петровича надо снять ослепляющие катаракты, и душа прозреет. Но как и что именно снять с души больного — ума не приложу. Молюсь за раба божьего Прохора.

Вчера, в три часа дня — прости меня, господи, за улыбку — случилось действительно нечто несуразное, глупо смешное. Был привезен из тайги обезглавленный голый труп черкеса Ибрагима-Оглы. Труп опознан исправником, следователем и Прохором Петровичем. Составлен протокол. Сбежался народ, день был праздничный. На площади развели костер, труп бросили в пламя. Приказано было трезвонить во все колокола (вопреки моему запрету). Полуистлевшие кости перетолкли, прах стащили к башне, всыпали в жерло пушки и выстрелили вдоль Угрюм-реки. Сияющие Прохор Петрович и исправник от удовольствия потирали руки. Стражникам выдана награда, народу выкачена бочка вина. Пушечная пальба и ликование. Вообще нечто вроде языческой древнерусской тризны. А в народе упорный слух, что в это самое время Ибрагим-Оглы как ни в чем не бывало сидел на краю поселка у шинкарки Фени и тоже попивал винцо, но во здравие, а не за упокой. Слух, правда, не проверенный, но довольно вероятный.

30 сентября. Заморозки продолжаются. Тянулись к югу запоздавшие лебеди. Моя старушка прислуга наломала мне целую корзину сладкой рябины. Плод вкусный и полезный. Возвращаюсь к недавнему событию. Шинкарка Феня — баба развратная, безбожная, поистине дщерь Вавилона окаянная, — на допросе заперлась, что у нее был черкес, но при сильной острастке (драли в кровь кнутами, кажется) все-таки созналась, что у нее ночевал некий глухонемой карла, что карла «точит нож на Прохора и грозит разделаться с исправником». Шинкарку держат взаперти. Ей, кажется, не миновать острога. Карла бесследно скрылся, по слухам — он в шайке татей и разбойников.

2

Назревала новая забастовка. Обиженные, обманутые рабочие опять начали шуметь. Приток свежих толп рабочего люда прекратился, поэтому народ почувствовал себя крепче и поднял голову. По баракам,

заводам, приискам шла смелая агитация, собирались деньги в забастовочный фонд, копилось кой-какое оружие. Казалось, рабочее движение идет стихийно; однако на этот раз оно протекало более организованно, чем прежде. Красные нити бунта раскинуты повсюду, а где главный клубок, никто не знал; забастовочный комитет забронирован строжайшей тайной.

Все шло хорошо, лишь упорствовали рабочие Нины Яковлевны: «политик» Краев, рабочий Васильев и другие агитаторы под шумок внушали несговорчивым:

— Вам хорошо живется в бараках Нины Яковлевны. А не стыдно ли вам, товарищи, лучше других жить? Неужто не понимаете, что вас хотят одурачить? Слыхали, как в сказке хитрая лисица взяла на обман дурня петуха? Ну, вот... Так и с вами будет. Вы страшную рознь сеете между вашими же товарищами, прислушайтесь-ка, что говорят про вас... Не будьте предателями, ребята!

Рабочие хозяйки призадумались. Вскоре выборные их дали такой ответ:

— Мы в отпор от народа не пойдем, куда народ, туда и мы.

С отъездом главного инженера Протасова хозяйственные дела Прохора Петровича все более и более запутывались. Из Петербурга летели телеграммы, назначавшие кратчайшие сроки сдачи подрядных работ в казну, причем Петербург угрожал огромными неустойками. Управление железной дороги составляло акты о нарушении подрядчиком Громовым договорных условий своевременной подачи каменного угля.

Осознавшая свою мощь народная масса всюду норовила как можно больше насолить хозяину: «Пусть восчувствует, подлая душа, что главная сила не в нем, а в нас».

Все прииски, как по уговору, начали заметно снижать добычу золота. Лесорубы бросили исполнять уроки вырубки. В механическом заводе от недосмотра лопнул котел, и весь завод надолго остановился, затормозив этим и прочие работы. Наткнулся на ка-

мень и затонул с ценным грузом самый большой пароход «Орел». (В народе толковали, что группа злоумышленников, в том числе какой-то «молоденький политик в желтом шарфе», нарочно переставила ночью бакены, направив пароход по ложному фарватеру.) В довершение всего весть о тяжком заболевании Громова перекинулась во все углы страны. Поэтому вороватые доверенные сорока торговых отделений перестали сдавать выручку, ссылаясь то на пожар лавки, то на покражу товаров и всех денег. А питерские и московские промышленные тузы подавали ко взысканию векселя Прохора Петровича. Для погашения векселей наличных денег не было; в связи с этим собиралась к Громову объединенная комиссия двух крупнейших столичных банков для продажи с молотка некоторых предприятий гордого владельца.

Словом, черная полоса вплотную надвинулась на Прохора Петровича, трагическая судьба его плачевно завершалась.

Он, наконец, решил взять себя по-настоящему в руки, круто развить небывалую энергию, все поправить, все наладить и крепко идти к увеличению своих богатств, к полной победе, к славе. Он знал, что Тамерлан и Атилла и даже сам Наполеон терпели временные поражения, что им тоже изменяло счастье. Значит, нечего напускать на себя хандру, нечего притворяться сумасшедшим, нечего дурачить себя, докторов, Нину и всех прочих. Нет, довольно... Вперед, Прохор! За дело, за свою идею, через неудачи, через баррикады темных угроз судьбы, через головы мешающих ему жить мертвецов, через расстрелянные трупы... Но все-таки вперед, Прохор Громов, гений из гениев, вперед!..

Так обольщая себя, в моменты душевного подъема он весь вскипал. Но кровь откатывалась от мозга, и взвинченный Прохор Петрович вдруг леденел в приступе холодного отчаянья. «Все погибло, все пропало. Выхода нет».

Как проигравший битву полководец, потеряв самообладание, отдает противоречивые приказы, грозит

расстрелом растерявшимся начальникам частей, вносит полный беспорядок именно в тот момент, когда нужна железная воля, нужна ясность мысли, так и Прохор Петрович Громов. Он хватается за телефоны, сочиняет телеграммы; с одной работы, не распорядившись там, мчится на другую, гонит прочь от себя докторов, заводит скандалы с Ниной, дает одну за другой срочные депеши Протасову вернуться на стотысячное жалованье; увидав священника в коридоре своего дворца, ни с того ни с сего кричит ему: «Кутья, обманщик!.. Бога нет!» А бессонной ночью, вскочив с кровати, начинает класть перед иконою поклоны, умоляя бога даровать ему силы.

В таких противоречиях, в таких душевных судорогах текут его часы и дни.

Однажды под вечер помрачневший Прохор поехал на дрезине с инженером-путейцем в край железнодорожной дистанции, где оканчивалась постройка моста. И там, чтоб облегчить заскучавшее сердце, напустился с разносом на инженера и техников:

— Вы затягиваете работы! Вы в бирюльки играете, а не дело делаете. Вы знаете, какие неустойки я должен заплатить? Ежели участок не будет закончен в срок, ей-богу, я вас всех палкой изобью. А там судитесь со мной...

Инженер, пожилой человек в очках, докладывал хозяину, что при создавшихся условиях работать трудно.

— Какие это создавшиеся условия?

— Нет общего руководства. Задерживаются чертежи мостов и труб. Неаккуратная выплата рабочим. А главное — кадры опытных рабочих разбегаются.

— Куда? К черту на рога, что ли?

— Нет, к Нине Яковлевне, к вашей супруге, Прохор Петрович. — Глаза инженера обозлились, он хотел уязвить грубого хозяина, добавил: — Там организация дела много лучше и условия труда неизмеримо человечнее.

Вертикальная складка резко врубилась меж бровями вскипевшего Прохора.

— Где, где это лучше? — заорал он, раздувая ноздри.

— Я, кажется, ясно сказал: у вашей супруги!

Инженер круто повернулся и пошел прочь, показав хозяину спину.

Взбешенный смыслом ответа, Прохор тотчас — домой. Он ничего не видел, ни о чем не думал. И единственная мысль была — всерьез посчитаться с Ниной. «Ага!.. У тебя лучше, у тебя человечнее?!» Он боялся расплескать по дороге, ослабить эту мысль и, чтоб не остыть, покрикивал кучеру:

— Погоняй!

Не снимая темно-синей венгерки с черными шнурами и драпового белого картуза, он, громыхая сапогами, поспешно пересек анфиладу комнат и, не постучав в дверь, ворвался в будуар жены.

Нина Яковлевна в дымчатом фланелевом пеньюаре, с высоко подхваченными в греческой прическе темными густыми волосами, располневшая, красивая, сидела лицом к Прохору у маленького инкрустированного бюро маркетри. Пред нею, на коленях, дьякон Ферапонт с воздетыми, как перед иконой, руками:

— Внемли, госпожа-государыня!.. Погибаю... Сними с меня сан... Сними сан. Недостоин бо... Возьми, государыня, в кузнецы к себе... А хозяина твоего я вылечу... Лучше всяких докторов.

Опечаленное лицо Нины, как только появился в дверях Прохор, заулыбалось ему навстречу, но вдруг улыбка лопнула, и глаза женщины испуганно расширились: на нее, стиснув зубы, грозно шагал Прохор. И не успела она ни удивиться, ни вскричать, как тяжелая ладонь Прохора ударила ее по щеке. Нина молча упала со стула.

— Стой! — заорал дьякон и, вскочив на ноги, облапил Прохора.

Прохор вырвался, шагнул, сжимая кулаки, к поднявшейся жене, но вновь был схвачен дьяконом.

— Опомнись, Прохоре!.. Что ты наделал?!

— Прочь, дурак!! — и в спину уходящей Нине: — Тварь!.. Змея!.. Разорительница!.. Сумасшедшая... Я тебя в монастырь, в желтый дом!

Нина удалялась с хриплыми рыданиями, запрокинув голову, обхватив затылок закинутыми нежными руками.

Прохор вновь рванулся из лап дьякона и с силой ударил его по виску наотмашь. У Ферапонта загудело в ушах.

— Бей, бей, варнак! Когда-нибудь и я тебя ударю... А уж ударю... — Дьякон сгреб хозяина за обе руки и так больно стиснул, что у Прохора затрещали кости.

Враждебно глядя в глаза его, дьякон басил:

— Рук марать не хочу. А ежели ударю, так не по-твоему ударю. И нос твой в затылок вылетит. Вот, друже Прохоре. Вот.

Дьякон разжал свои клещи-руки и заслонил собой дорогу к Нине Яковлевне. Прохор стоял в той самой позе, в какой был схвачен, и пошевеливал согнутыми в локтях руками, как бы пробуя, целы ли кости. Дьякон Ферапонт достал из широких карманов три бутылки водки:

— Вот, врач Рецептус веселых капель тебе прислал.

— Идем, идем! — изменившимся, жадным голосом нервно воскликнул Прохор. — Черт, скандал какой!.. Что она со мной делает!..

И, обхватив друг друга за плечи, как два влюбленных, они направились в кабинет, пошатываясь от неостывшего возбуждения. Широкая спина дьякона резко передергивалась, точно ее грызли блохи, а глаза, недружелюбно косившие на Прохора, горели какой-то жестокой решимостью. «Я тебе покажу, как женщин бить. Я тебя в ум введу, дурак полоумный», — злобно думал дьякон.

До глубины обиженная Нина, вволю поплакав в своей уединенной спальне, решила призвать в свидетели своего несчастья священника и с еще пы-

лающей щекой направилась в комнату отца Александра.

Оседлав нос очками, батюшка в согбенной позе дописывал тезисы очередной проповеди. В синей скуфейке с золотым крестом на груди он приподнялся навстречу Нине.

Зеленый абажур горящей лампы бросал загадочный, холодный свет на все.

Держась за щеку, Нина с настойчивостью в голосе сказала:

— Я не могу больше оставаться здесь. Если вы, отец, не благословите меня на это, я принуждена буду уехать без пастырского благословения. Я не могу, я не могу... Чаша моего терпения переполнилась...

Отец Александр подумал, понюхал табаку.

— Я затрудняюсь понять, — заговорил он сухо, с оттенком угрозы, — на кого же вы оставляете ваши работы, прекрасно начатые вами, вашу больницу, богадельню, школу, церковь, наконец? — Он не спеша посморкался, приподнял руку с вытянутым указательным пальцем, с зажатым в горсти платком и смягчил до шепота свой драматически зазвучавший голос: — Муж, наконец?.. Ваш супруг, болящий Прохор Петрович, оскорбивший вас, дорогая дщерь моя, в припадке недуга? С ним как?

Нина всхлипнула, опустила руку со щеки, поднесла к глазам платок.

— Но я не могу! Но я не могу, — выкрикивала она, нервно пристукивая каблуком и дергаясь полными плечами. Встала. Изломанной походкой прошлась, прижалась спиной к теплой печке. Руки, как мертвые, плетями упали вниз, голова вздернулась в сторону, подбородок дрожал, веки часто мигали, крупные слезы текли по щекам, по пеньюару.

Отец Александр, затрудненно дыша, в мыслях прикидывал назидательное слово набожной, но терявшей прямой путь женщине. Нина машинально крутила платок в веревочку. И вот она говорит:

— Я должна вам, отец Александр, признаться... Как мне ни больно это, а должна... — Она останови-

лась, чтоб перевести дыхание. — Я люблю Андрея... Андрея Андреича Протасова.

— То есть как любите? Простите, не понимаю.

— Люблю, как самого близкого друга своего. Вы удивляетесь? Странно. Что ж тут такого... нехорошего? — Платок закрутился быстрей в ее руках. — И еще... И еще должна признаться вам, что я... — Нина опустила голову и, вздохнув, метнула взглядом по своему животу. — Я... беременна.

Отец Александр полуоткрыл рот, медленной рукой снял с глаз очки и с испугом прищурился на Нину:

— Вы?! Вы? Беременны?

— Но что ж в этом странного, отец?

Рот священника открылся шире, в глазах блеснули искры гнева.

— Хорошо!.. Похвально!.. Оччень хорошо! — саркастически бросал он, весь дергаясь и потряхивая волосатой головой. — Сему греху наименование — блуд.

Брови Нины удивленно приподнялись, и она сама, стоя у печки, приподнялась на носках и попробовала скорбно улыбнуться:

— Что ж тут удивительного?.. Я замужняя, и отец моего будущего ребенка — муж мой.

Отец Александр хлопнул себя ладонью по лбу, быстро отвернулся от Нины и в замешательстве стал переставлять с места на место вещи на столе. Потом с треском отодвинул кресло, встал и подошел к Нине с протянутыми руками:

— Простите, родная моя, простите!.. Забвение главного... Что же это со мной?

Нина заплакала и бросилась ему на грудь.

3

В это время, около восьми часов вечера, начался чин соборования старца Назария. Осиротевший старец, похоронив друга своего, утлого старичка Анания, почувствовал необоримую тоску, его потянуло

из пустыни к людям. Он прошел тайгой много верст, шел долго, тяжко, шел звериными тропами и каким-то чудом остался невредим: ни зверь не тронул, ни комар не выпил кровь.

Выбрался на вольный тракт, занемог, увидал село. В первой же большой избе нашел приют. Живет неделю. Большой и темный, лежит он на кровати, под пологом. Возле изголовья, на табуретке, стоит маленький игрушечный гробик; в нем можно схоронить лишь зайца.

— Куда же ты пробираешься, старец праведный? — спрашивали хозяева.

— А пробираюсь я, куда перст божий указует.

— А зачем же ты гробок с собой несешь?

— Так надо. Скоро большой человек умрет.

Хозяева и приходившие крестьяне дивились словам Назария. Они давно и много слышали про старцев-пустынников, считали их праведниками, и некоторые даже бывали у них в пустыне. Они с интересом, причмокивая языком и вздыхая, рассматривали белый, тесанный из досок гробик с черным, выжженным крестом на верхней крышке.

Послышался бряк бубенцов. Подкатил на тройке ямских большой человек, Андрей Андреевич Протасов. Он чувствовал себя скверно. Ему не хотелось останавливаться на земской квартире, где всегда проезжающий народ; он сказал ямщику:

— Подверни-ка к этой избе. Кажется, здесь почище.

Изба обширная, в три чистые горницы. Ему отвели светлую, выбеленную комнату рядом с помещением старца. Рассчитывая ямщика, он сказал ему:

— Подожди минутку. Дам тебе поручение.

Достал из бумажника телеграмму Прохора Петровича, врученную ему на той ямской станции, откуда он только что приехал, подумал и написал ответ:

«Весьма польщен вашим предложением. Тяжко болен. Принять не в силах.

Протасов».

И составил вторую телеграмму Нине:

«Чувствую себя физически и душевно плохо. Живу воспоминаниями о вашей доброте. В дороге утомился. Дал себе дневку в попутной деревне. Отсутствие общения с вами лишает меня энергии. Шлю письмо. Телеграфируйте на железнодорожную станцию Сосна.

Всегда ваш Протасов».

Ямщик с телеграммами уехал обратно. Хозяин, дед Клим с сивой бородой и лысый, внес Протасову ярко начищенный самовар, молока, масла, яиц.

— Не прикажете ль, барин, еще чего? Сейчас печку затопим вам. Прогрейтесь нито. Вишь, сиверко сегодня.

— Что за народ у вас там? Гости?

— Нет. Старец мается. Батюшка скоро прибудет с дьячком. Соборовать. Проходящий старец Назарий. Из пустыни он... С другим старцем в трещобе жили...

Поп. Соборование. Молитвы о тихой смерти... Ладан. Представив все это себе, Протасов вспомнил про свою болезнь и неприятно поморщился.

— Я слыхал про этих стариков, — сказал он. — Мой техник даже встречался с одним из них в тайге. А что, доктора у вас здесь не имеется?

— Нет! Что вы, шутите? Какой же может быть в нашем селе доктор? Мы у знахарей больше пользуемся да у бабушек... А ты что? Неможется, что ли?

— Нет. Я так спросил.

Дед Клим ушел. Протасов достал лечебник, достал лекарства, заварил сухой малины, откупорил полбутылки рома. Он чувствовал жестокий озноб и общую слабость. Градусник показывал значительно повышенную температуру тела. Начал перелистывать лечебник, внимательно вчитываясь в текст. Но, судя по описанию, почти все болезни имели одни и те же признаки, и любой мнительный читатель, изучая лечебник, мог обнаружить в себе сорок сороков болезней. Протасов с раздражением на самого себя и на

лечебник закрыл книгу и стал прислушиваться к тому, что за стеной.

Оттуда, через щель двери, доносились возгласы священника, вздохи толпы, тягучее, гнусавое пенье дьячка и всего народа. Протасов допил третий стакан малинового чаю с ромом и, разгоряченный, лег на кровать, впритык поставленную к топившейся печке. Закрыл глаза. Его сильно разжигало. Болезнь хозяйничала в нем. В голове гудело. Кровать покачивалась.

Протасов прислушался. Священник что-то читал. Потом запел дьячок, ему заунывно подпевали мужики и бабы. И снова и снова возбужденное сознание Протасова заволокли грузные туманы. Ему представилось в бреду, что он тоже умер, что он лежит в гробу, что это его отпевают. Ему стало страшно, а потом — приятно: среди поющих голосов он услыхал голос Нины, и голос тот звучал большой скорбью. Вот дьякон Ферапонт стал возглашать «вечную память» и подавился слезами. Заплакали бабы, заплакал весь народ. «Мамынька, а там лягушка, в могиле-то!» Это паренек сказал. Белоголовенький такой, с пухлой мордочкой. И резкий звук выстрелов. «Опять, — подумал Протасов и закричал: — Не стреляйте, не стреляйте!» Но ротмистр фон Пфеффер, подрагивая бачками, постучал пальцем о печку и сказал: «Дорогой мой, сожгите эти глупости».

Протасов очнулся, провел по вспотевшему лбу рукой. Печка ярко топилась. За стеной слышались всхлипы, рыдания. Священник выразительным тенором певуче возглашал:

— Многомилостиве господи, услыши нас, молящихся о страждущем рабе твоем Петре...

«Почему — о Петре, ведь старца Назарием звать? — подумал Протасов, встал из гроба своего и на цыпочках подошел к неплотно прикрытой двери. Поводил глазами во все стороны. Был трепетный свет и волны голубого ладана. Народ стоял на коленях со свечами. Желтела риза, звякала кадильница. Дымки ладана, взмахи кадила, взоры толпы летели к ложу болящего. Смуглый, черноволосый,

большебородый старец полулежал на кровати, опершись спиною и локтями о подушки. Он в белой рубахе, в руке зажженная свеча. Большие бровастые глаза широко открыты в пространство, навстречу дымкам, кланяющимся огонькам и вздохам: по втянутым желтым щекам — слезы.

Пред священником на маленьком в белой скатерти столе большая глиняная чаша, до краев набитая зерном, горящая свеча и два стакашка с вином и елеем. А по бокам чаши воткнуты в зерно семь маленьких палочек, концы их обмотаны ватой. Священник взял одну палочку, обмакнул в елей, помазал болящему чело, взял другую, помазал ему грудь.

Протасов тихонько отошел от двери с каким-то горьким чувством. Все это показалось ему ненужной комедией, дешевым театром.

— Чепуха, чепуха, чепуха! — стал он бегать по комнате, то затыкая уши пальцами, то встряхивая горячими руками, как курица крыльями.

Озноб не прекращался. Ныли кости. В ушах гул, звон.

В тяжелом душевном раздвоении, которое началось вот здесь, у ложа умирающего старца, болезненное сознание Протасова то цеплялось за ускользающую почву видимой реальности, за веру в себя, в стойкий свой рационализм, то, усомнившись во всем этом, по уши погрязало в противной ему мистике, в нелепом сентиментализме. И вдруг он остро, словно ножом по сердцу, ощутил в себе смертельную болезнь; не досадную простуду, подхваченную им в дороге, а удостоверенный врачами неизлечимый рак, который в полгода свалит его, как падаль, в яму.

— А я думал, что только начинаю жить... Нина, Нина!.. Первая, настоящая любовь моя... Ни бог, ни сатана, ни даже ты, Нина, теперь не в силах спасти меня...

И снова, с отчаяньем:

— Чепуха, чепуха!.. Никакого рака. Чушь! Этот Апперцепциус ничего не смыслит.

Зеркало. Остановился. Поднес к лицу карманный электрический фонарик. Из полумрака глянул на него умными черными глазами скуластый, монгольского типа, человек. Глянул, напыжился и — вдруг загрустил глазами.

— Ну что, брат Протасов, болен?

— «Болен», — жалостно ответило зеркало.

— Рак, кажется?

— «Рак», — ответило зеркало.

— Что ж, умрем, Протасов?

— «Умрем», — дрогнув бровью, ответил в зеркале монгольского типа человек.

Протасов горестно покивал зеркалу и подавленным шепотом продекламировал пришедшую ему на память песню Беранже:

> Ты отцветешь, подруга дорогая,
> Ты отцветешь — твой верный друг умрет...

Ноги его, омертвев, задрожали. Он присел на кровать, уткнулся лицом в подушку и, сухо перхая, заплакал.

За стеной, вторя ему, как эхо, шумели вздохи, всхлипы.

Около полуночи в кабинете Прохора Петровича началась перебранка и стук переставляемой мебели.

Без подрясника, в штанах и беспоясой черной рубахе, огромный дьякон, подбоченившись, стоял среди кабинета, захмелевшим взором глядел на Прохора. В кабинете жарко, как в бане, дьякон взмок, косматые волосы растрепались, прилипли ко лбу.

— Хоть ты и благодетель мой, а дурак, дурак, дурак, — как петух на зерно, потряхивал головой дьякон. — Кто женщину избил, барыню? Ты, дурак. Кто духовную особу заушил? Ты, дурак.

— Молчи, осел святой, бегемот дьяволов! — шершавым, в зазубринах, голосом говорит Прохор, сидя по-турецки у камина на ковре, и тянется к бутылке.

— А кто меня святым ослом-то сделал? Ты, дурак. Я для кузнецкого цеха рожден!.. И батька мой

кузнец! А ты прохвостина... Ирод, царь иудейский! Вот ты кто.

— Молчи, молчи, — пьет водку Прохор. — Ты, орясина, забыл, что я буйный? Вот вскочу, искусаю всего, уши отгрызу тебе.

— Попробуй... Я тебя научу, как сумасшедшим быть. Я не Рецептов твой. Я сразу вылечу. Сразу в ум войдешь. — Пальцы дьякона играют, а страшные, как у черкеса, глаза, поблескивая белками, угрожающе вращаются. — Притворщик, черт. Насильник!

Прохор в бешенстве вскакивает, замахивается на дьякона бутылкой, но вдруг, исказившись в лице, валится на колени, опрокидывается на спину, грудью вверх, и, опираясь локтями в пол, шипит:

— Ибрагим... Ибрагим...

— Ах, я Ибрагим, по-твоему?! — И дьякон, скакнув к нему, хватает его за шиворот и, как собаку, бросает в угол. — Говори, кто я? Ибрагим или дьякон? Говори, паршивый черт! — медвежьей ступью лезет к нему пьяный Ферапонт, сжимая кулаки. — Будешь заговариваться, сукин ты сын? Будешь?!

Вобрав голову в плечи и не спуская с верзилы остановившихся глаз, онемевший Прохор, крадучись, бежит по стенке к телефону, опрокидывает по пути тумбу с канделябром, снимает трубку телефона, орет:

— Люди! Исправник!! Ибрагим-Оглы здесь!! — распахивает окно, кричит: — Казаки, стражники!

И от затрещины дьякона кубарем летит к камину. Дьякон — за ним.

— Убью! Не сумасшествуй!.. — гремит дьякон, хватая Прохора за бороду и с силой дергая ее вправо-влево. — Я те без микстуры вылечу... Узнавай скорей, сукин сын, кто я? Черкесец?! — и еще крепче крутит его бороду.

— Брось, Ферапошка!.. Больно! — вырывается Прохор и, вскочив, взмахивает над его головой грузным дубовым стулом.

— Ага! Узнал, пьяный дурак, узнал? — И дьякон, обороняясь, выкинул вперед обе руки. Но стул с силой опустился, и два пальца левой руки дьякона,

хрустнув, вылетели из суставов. Не чувствуя боли, он вышиб из рук Прохора стул. Прохор, с налету ударив дьякона головой в грудь, как мельница, заработал кулаками. Дьякон, покряхтывая от крепких тумаков, сгреб Прохора в охапку. Прохор рванулся. Дьякон завопил:

— Руку! Рученьку повредил ты мне!.. — Поджав левую руку с уродливо вывернутыми пальцами, он правой рукой схватил Прохора за грудь и опрокинул его навзничь.

Чрез момент — красные, потные, рычащие от ярости, оба катались по ковру, перекидываясь друг чрез друга.

— А ну... Который которого?!

Падали с треском стулья, тумбы, этажерки, сорвалось с гвоздей и грохнулось тяжелое зеркало.

— Будешь с ума сходить? Будешь?! — грозил дьякон; он грузно оседлал верхом Прохора и вцепился в его плечо железной лапой. — Будешь жену заушать? Будешь меня оплеухами кормить?.. Умри, сукин ты сын!!

Прохор, вырываясь, увидал углами глаз в двух шагах от себя выпавшие из штанов дьякона револьвер и трубку. Хрипя от натуги, елозя спиной и задом, притиснутый к полу, Прохор тянулся к револьверу. Заметив это, дьякон вскочил и нагнулся, чтоб схватить смертоносное оружие. Но Прохор, изловчившись, все так же лежа, со всей силы двинул обеими пятками в зад Ферапонта. Дьякон мешком кувыркнулся чрез голову.

В запертую дверь кабинета ломилась прислуга...

Первая пуля жихнула мимо. Обезумевший дьякон шарахнулся к запертой двери. И один за другим в голову, в спину: три выстрела. Дьякон с грохотом выломал дверь и, сшибая лакеев, повара, дворника, побежал через залу с поднятыми руками, навстречу спешившему врачу-психиатру, орал вне себя:

— Вылечил!.. Вылечил!..

Из его рассеченных губ, из разбитого носа, заливая паркет, обильно струилась кровь.

Потом дьякон упал.

Протасов спал крепко. Ночью дважды сменял мокрое от пота белье. Утром просунулась в дверь голова хозяина — деда Клима.

— Ну как, господин барин? Сегодня поедешь али погостишь? Я бы свез... У меня кони как вихрь.

— Входи, дедушка. Дай-ко вон ту штучку стеклянную, трубочку.

Протасов поставил градусник. Клим сел, зевнул, закрестил рот, чрез позевок сказал:

— А про тебя, слышь, старец спрашивал... Старец Назарий... Он, он. Гляди, маленько полегчало ему после соборования-то. Чайку испил с молочком. Говорит: кто гость-то? Я говорю — самоглавный анжинер громовский, управитель. Он говорит: покличька его сюда.

Протасов неопределенно усмехнулся и, помедля, вынул из-под мышки градусник. Температура довольно высокая — 38,4. Чувствовалась общая слабость, все еще позванивало в ушах. «Ничего, ничего... Надо ехать», — подумал он. Напился чаю, стал писать Нине. Не ладилось. Настроение продолжало быть подавленным.

Тут снова появился Клим.

— Прости, сударик-барин... Я все мешаю тебе. Требовает старец-то. Опять прислал.

Протасов раскинул руки, истомно потянулся, подумал: «Может, что интересное сообщит старик о Прохоре Петровиче. Напишу Нине». И, приказав запрягать лошадей, решил пойти к Назарию.

Старец повел большими запавшими глазами на входившего Протасова и гулко кашлянул в ладонь.

— Садись, проезжающий, ко мне поближе, — сказал он. — Мы все на сем свете — проезжающие. Траектория полета нашего — из нуля во все, или, обратно, в нуль. Садись, Андрей.

Протасов в заботливо накинутом на плечи хозяйском полушубке удивленно взглянул в глаза Назария и сел возле столика с маленьким гробом.

— Откуда вы знаете такие мудреные слова: «нуль, траектория»?

— А чем же они мудреные? Это мудрость мира сего, — сказал тихим басом старец. — Я в младости своей пушкарем был, учился и сам учил, как убивать людей. И убивал, и убивал, — взмигнул старец и подергал носом. — На войне был, оружие золотое за храбрость дали. Так бы и погибнуть мне, да бог отвел. Обожрался, как пес, жизнью и, как пес же, блевать от жизни начал. Свежинки захотелось, воздуху. Из Петербурга в тайгу ушел. Правда, тосковал, сильно вначале тосковал. Смотрел на уединенную жизнь, как на одиночную камеру. А теперь, и уже давно, знаю и чувствую, что настоящую свободу может дать только уединение, только пустыня безмолвия.

— Странно, — внутренне удивляясь и представляя себе весь ужас жизни в одиночестве, раздумчиво проговорил Протасов. — По мне, жить обок лишь со зверями и деревьями — большое несчастье.

— А ты видел радугу над озером? Из воды воду пьет и в воду же обратно возвращает. Так и мое счастье, — во мне зарождается и в меня же уходит... Никому не ведомое, ни с кем не разделенное. Отсюда: духовное насыщение, неописуемая радость. Вот, сын мой, вот...

Слушая внимательно, Протасов все больше и больше изумлялся речам старика. Кто же он, этот высокий, широкоплечий, с обликом бродяги-монаха, изможденный человек? Протасов не знал, о чем говорить с ним. А замолкший старец, нетерпеливо пошевеливаясь и сурово взглядывая на гостя, видимо, ждал от него любопытствующих вопросов. Протасов подумал и спросил:

— Что ж заставило вас бросить свет, столицу и уйти в тайгу? Какая идея?

— Какая идея? Я ж говорил тебе: обожрался. Вот и идея. Да, я обожрался всем, как пес. — Старец отмахнул со лба волосы и положил сверх одеяла свою жилистую с опухшими суставами кисть руки. — По-моему, друг мой Андрей, самая высокая идея в жизни: от всего отречься, всех любить, никого не обижать, за всех молиться и умереть с посохом и с торбой за плечами где-нибудь в пути.

Протасову не хотелось спорить, но он все-таки сказал, нервно кусая губы:

— Да, согласен. Это идея большая. Но она велика именно своей нелепостью. Если б люди уверовали в нее и все стали бы шляться по белому свету с посохами да с торбой, то кто ж стал бы работать, устраивать жизнь? Все бы перемерли тогда с голоду, весь мир обратился бы в стадо диких зверей.

— Ты прав. Но известно ли тебе, друг Андрей, что взрослый дуб бросает в землю пятьдесят тысяч желудей? И лишь один желудь произрастает? Остальные лишь удобряют почву или идут на корм свиньям. Много званых, да мало избранных.

— Ага, понимаю. — И глаза Протасова загорелись. — Значит, вы считаете таких вот... — он хотел сказать «таких бродяг-бездельников, как вы сами», — но сдержал язык. — Вы таких божьих людей, значит, считаете солью земли? Вы их представляете себе самыми лучшими, самыми полезными членами общества? Верно я вас понял?

Волосатые губы Назария дрогнули, он закрыл глаза, что-то зашептал и завозился под одеялом. Потом быстро повернулся к Протасову и поднял на него дряблые, в синих жилках веки:

— Не спрашивай так... Не спрашивай! Не возжигай во мне гордыни, — почти прокричал он; голос его дрожал болью и страданием. Кидая большую кисть руки к голове, плечам и животу, он торопливо перекрестился, вытер со лба выступивший пот и — тихим голосом: — Ты не веруешь в бога?

— Нет.

— В науку веришь?

— Да, в науку. В прогресс человечества. В идею добра чрез изжитие зла: тьмы, суеверий, социального неравенства, — ответил Протасов.

— Ты революционер?

— Да.

Назарий шевельнул бровями; в его бороде, в усах пробежала, как серая мышь, усмешка.

— Ну что ж, — сказал он. — Я тоже революционер...

— Вы?!

— Да, я... Только революционер духа, а ты — брюха.

И только Протасов открыл рот, чтоб возразить, старец, сдвинув брови, погрозил ему перстом:

— Молчи... Наперед знаю, что ответишь. Молчи.— Он поднялся на локтях и, укорчиво поматывая головой, заговорил с жаром: — И как же ты, неразумный, считаешь себя революционером, а в пути вечной правды не веришь? Ведь ты рад душу свою положить за други своя и положишь. Ведь ты же не для себя счастья ищешь, а для других. Нет, ты от света рожден, милый мой, а не от обезьяны.

— Но позвольте... позвольте мне сказать!.. Никаких богов, никаких религий я не...

— Молчи, молчи! Наперед знаю. И вот старец Назарий, сорок лет проведший в думах с глазу на глаз с самим собой, этот самый Назарий, грешник великий, говорит тебе. Мы не знаем и не можем знать, что такое человек, а наипаче, что есть бог. Молчи, молчи. Наука? Ты хочешь сказать: наука? И наука не знает ничего. Наука есть шум мысленный, мелькание сновидений. И запомни: знание всегда порождает собою — незнание... Вникни в это, запомни это: ты умный.

Протасов встал. Приподнялся и старец; он отбросил цветистое лоскутное одеяло и свесил с кровати босые, в белых портках ноги.

— Стой, слушай! Ну, ладно. Кончено. Слепого грамоте трудно учить.

— Я и не собираюсь у вас учиться... Я не старуха.

— А ты поучись, не вредно, — сверкнул глазами старец. — Моя мудрость течет от созерцания пустыни, от раскрытия души навстречу вечности. Вот она!.. — Старец рывком сунул под подушку руку и выхватил увесистую пачку прокопченных дымом и временем бумаг. — Тут все, вся мудрость духа... Ни в одной книге не найдешь. Когда я был грешником, писал жизнь свою по-грешному, когда стал праведником, писал, как праведник, житие свое. А когда почувствовал себя святым, стал благовествовать, как

новый пророк — избранник бога: «Царство духа грядет, и все любящие бога возрадуются!» Сии листы начертаны для спасения всего человечества. Прочтут люди, увидят неправду мира сего, уверуют в слова мои и через них спасутся. Вот видишь, как я, святой человек, возгордился. Так не бывать тому! Я — червь! Я червь! Анафема! — загромыхал старец каменным голосом, и лицо его стало серьезным и грозным.

У Протасова раскрылся рот и пенсне упало с носа. Старец, в длинной беспоясой рубахе, поднялся во весь свой рост и, потрясая мелко исписанными полуистлевшими листами, кричал:

— Вижу, вижу! Все, что написал я здесь, подсказано мне соблазнителем, лукавым сатаной! Возгордился, возмечтал, ха-ха!.. Только я один свят, а все люди — гробы повапленные, стены подбеленные... Я чрез это тленное мечтание свое низринулся с вершин духа в тартар. И весь сорокалетний подвиг мой насмарку. Ой, господи! Почто оставил меня?! Я червь, я такой же грешник, как и все. Нет: хуже, хуже! И не мне спасать мир погибающий... Господи! — Старец повалился перед иконой. — Побори борящие мя. Сожги, сожги огнем невещественным гордыню сердца моего! Унизь меня до травы худой, или я сам себя унижу! — Он встал, взглянул по-злому на Протасова, шагнул к печке и, с момент поколебавшись, швырнул и жизнь, и житие, и пророческие мысли свои в пламя. Потом задрожал весь, мгновенно почернел лицом, схватился за голову, взглянул грозно и строптиво на икону и, пошатываясь, весь ослабевший, с трудом добрался до кровати. В груди его гудливо рычало, как в гортани льва. Старец задыхался.

Протасову вдруг стало очень жаль этого помешанного человека, когда-то, видимо, обладавшего душевной силой. Ему казалось, что этот недюжинный и умный самодур-старик, лишившийся в тайге рассудка, нуждается во врачебной помощи гораздо больше, чем недоброй памяти Прохор Петрович Громов. Протасов колебался в мыслях: не взять ли

ему жалкого старика с собой, чтоб довезти его до уездного города и там пристроить хотя бы в богадельню. Старик лежал с закрытыми глазами на кровати. Его грудь все еще шумно вздымалась от дыхания и всхлипов.

— Лошадки готовы, барин! — весело прокричал вошедший в избу дедка Клим в дорожном армяке, в высокой шапке и с кнутом.

Старец открыл глаза, гулко, с надрывом в голосе сказал:

— Лошади готовы... Вот так живешь, живешь... Вдруг войдет смерть, крикнет: «Лошади готовы!» И — прямым трактом на кладбище. — Он опять сел, свесил ноги с кровати и, стараясь смягчить свой взволнованный голос, сказал Протасову ласково: — Милый, дорогой!.. Ну, до чего рад я, что повстречался с тобой здесь. Сорок лет ждал такого человека... Слушай, милый, родной! — И лицо старика исказилось странной улыбкой. — Будешь в Питере, может, случится тебе встретить уланского полковника, а может быть, и генерала Андрея Петровича Козырева. Я с ним сорок лет в разлуке. Он, ежели жив, поди стариком становится. Я его мальчонкой бросил. Он родной мой сын и брат Анфисы.

— Какой Анфисы?

— Постой. Подожди. Скажи ты ему про меня, что бог тебе в сердце вложит. Скажи, что скоро собираюсь умирать: дряхл, бесприютен. Запиши, дружок, в книжку: Андрей Петрович Козырев, лейбулан.

Протасов стал записывать. Назарий торопливо говорил:

— Был у нас со старцем Ананием гулящий Прохор. Я испытание ему давал и в словесном испытании том нагородил напраслину на Данилу Громова, деда его. Не Данила, а я — отец Анфисы. Я из России нестарый пришел сюда, — мне восемьдесят лет теперь, — и деньги со мной были большие. Ходил я по скитам, высматривал, куда приткнуть себя, да вместо спасения загубил свою душу: прелюбы сотворил с красавицей Агнией, в раскольничьем скиту спасалась она. От

этого содомского греха родилась Анфиса. Я опамятовался, навсегда ушел в тайгу. Вот об этом обо всем надо бы сказать теперь гулящему Прохору. Ты удивлен, ты думал — только в старину такие истории случались? Нет, дружок, в мире все повторяется...

— Что ж, едем, барин? — напомнил о себе хозяин Клим.

— Сейчас, сейчас, — сказал Протасов и к старцу: — Значит, вас не Назарием, а...

— Пред миром Петром был, пред богом — Назарий.

Со смешанным чувством жалости к брошенному старику, какой-то личной обиды от него и упрека самому себе Протасов поклонился Назарию, сунул ему в головы двести рублей и пошел укладывать вещи.

Протасов почти всю дорогу был в мрачном замкнутом молчании.

Ему ни о чем не хотелось размышлять, душа просила полного отдохновения, но думы, светлые и темные, обгоняя одна другую, навязчиво лезли в голову.

Он не мог предчувствовать — в смерть иль в жизнь он едет, но он твердо верил, что если он лично и умрет, то делу освобождения народа никак, никак не суждено погибнуть.

Хотя он и не знал, что не за горами время, когда весь мир встряхнется от грома пушек и это великое побоище родит его родине свободу, но в глубине его сердца горел неугасимый огонь ожидания этой свободы, этого преображения всей жизни русской, когда не будет ни Прохоров Громовых, ни жандармских ротмистров, ни удалых шаек, поднимающих бунт против неправды, ни этих трогательно жалких старцев-пустынников, бежавших к лесным зверям от людей-рабов, людей-гонителей.

Протасов верил в народ, верил в пытливую душу народа, в мощь его воли к добру. Думы текли, тройка неслась, пространство отшвыривалось назад копытами коней.

4

В пышный дом Громовых вдвинулся страх. Как холодный угар, зеленоватый, струящийся, он разместился по углам, пронзил всю атмосферу жизни.

Страх лег в сердце каждого.

Никто в доме не знал, как вести себя, что в данную минуту делать. Общая растерянность. Все ждали каких-то трагических событий...

Волк часто задирал башку и выл. Волка запирали в сарай, волка драли, волка задабривали котлетами, сахаром. Все равно — волк выл жутко, отчаянно. Из кухни стаями поползли во двор черные тараканы, из кладовки пропали мыши и крысы, как пред пожаром. Сбесился бык, запорол трех коров, ранил двух пьяных стражников и кучера. Днем, когда проветривался кабинет Прохора Петровича, вплыл в окно белый филин, пролетел анфиладу комнат, впорхнул в детскую и сел на кровать Верочки. Игравший на ковре ребенок пронзительно от перепуга завизжал, сбежались лакеи, филина загнали на печку и там убили. Люди толковали, что это — ожившее чучело, прилетевшее из кабинета на башне. По ночам раздавались в саду выстрелы и разбойничьи посвисты. Кухарка жаловалась, что третью ночь ее душит домовой, на четвертую — она легла спать с кучером.

Все эти страхи можно было объяснить простой случайностью, однако среди темной громовской дворни, а потом и по всему поселку пошли пересуды. Вскоре весь рабочий люд вместе со служащими и чиновным миром тоже был охвачен недугом ожидания чего-то рокового, неизбежного.

Отец Александр, встревоженный не меньше, чем кухарка, всей этой чертовщиной, ежедневно стал служить обедни с молебнами и произносить назидательные проповеди. Он разъяснял пастве всю вздорность слухов, всю греховность суеверий, он призывал пасомых к соборной молитве о даровании здравия «всечестному хозяину предприятий, болящему Прохору Петровичу Громову».

Дьякон Ферапонт на церковных службах, конечно, отсутствовал. Дьякон Ферапонт лежал в отдельной больничной палате, безропотно и мужественно перенося страдания. Простреленная шея не угрожала жизни, зато засевшая в правом легком пуля внушала серьезные опасения: дьякон, не доверяя местному доктору, не позволял извлечь ее. Из губернского города с часу на час ожидали выписанного Ниной хирурга.

Иногда, в бреду, болящий тоненько выкрикивал «благодетелю Прохору Громову многая лета», но задыхался и, безумно озираясь, вскакивал. Пред ним — Нина и вся в слезах — Манечка.

— Что, сам-то больше не сумасшествует? — озабоченно спрашивал он Нину, мычал и валился к изголовью; опять открывал глаза, трогательно говорил: — Голубушка барыня-государыня... Забыл, как звать вашу милость... Ох, тяжко, тяжко мне. А этому самому, как его?.. скажите: умираю, а злобы на него нет настоящей. Ну что ж... Я добра хотел. Видит бог. Тебя жалко было, себя жалко, всех жалко... Его жалко. Думал лучше. А он меня, как медведя. Разве я медведь? Я хоть паршивенький, да дьякон. — Он хватался за грудь, тянулся рукой к Нине, гладил ее по коленке, радостно кивал Манечке, говорил булькающим шепотом: — Кузнецом, кузнецом меня сделай. Расстриги... Недостоин бо.

Нина тяжко подымала его тяжелую руку и с немой благодарностью, глотая слезы, прижимала ее к своим губам.

Отец Александр, постаревший, согнувшийся, просиживал вместе с Манечкой возле изголовья больного все ночи.

— Батюшка! Отец святой... Недолго довелось мне послужить господу.

— Еще послужишь, брат Ферапонт, — вздыхал батюшка. — Бог милосерд и скорбям нашим утешитель.

— Бог-то милосерд, да черт немилостив. За ноги тащит меня в тартар. Боюсь, батя, боюсь!.. Положи скорей руки на голову мне. Благослови. Черный, чер-

ный дьявол... Геть! — И дьякон с силой отлягивался от нечистика.

Так плывут дни по Угрюм-реке, так колеблется вся жизнь людей между берегом и берегом.

Прохор Петрович, весь поднятый на дыбы, весь взбудораженный, крепко избитый дьяконом, не мог заснуть после скандала трое суток.

Его нервы распущены, как вожжи у пьяного кучера. Часами шагая по кабинету, он старался собрать их в один узел, норовил ввести в колею свое распавшееся, как ртуть по стеклу, сознание, хотел снова стать нормальным человеком. С натугой он припоминал, что произошло между ним и Ферапонтом, но память дремала и, как дикий сон, преподносила ему лишь бутылки, драку, выстрелы. «Так ему и надо, так ему и надо, дураку. Бить? Меня? Мерзавец... Я ж его из грязи поднял». Он не справлялся об участи дьякона, ему тоже никто не говорил об этом, но он помнил, как дьякон, напуганный, убежал в дверь, ругаясь. «Значит, все в порядке... Значит, жив...» То вдруг ему становилось жаль дьякона. «Ведь я ж стрелял в него. Может быть, ранил, может быть, убил. Нет, нет, чепуха. Как я, пьяный, мог его подстрелить? Чушь!..» — успокаивал он себя. «А вдруг шальная пуля?..»

Несколько минут он стоял в раздумье, закрыв глаза рукой и напрягая мысль.

«Убил, убил, убил, убил», — начинает зудить в уши задирчивый голос. «Убил, убил убил». Прохор звонит. Входит старый лакей.

— Слушай, Тихон... Что с дьяконом?

— А ничего-с.

— Он здоров?

Лакей мнется, с испугом смотрит на хозяина и, растерянно взмигивая, говорит:

— Так точно... Отцы дьяконы здоровы. Ничего-с.

Прохор Петрович успокаивается окончательно. Подходит к зеркальному шкафу, всматривается в стекло, не узнает себя. С подбитым глазом, с опухшим носом, неопрятный, но грозный бородач глядит на

него. Прохору противно, страшно. «Красив молодчик!.. Бродяга... Пьяница... А кто довел? Они».

Мир для него раскололся теперь надвое: «они» и «я».

И стали в душе Прохора два противоборствующих мира, как два разъятых Угрюм-рекою берега. На одном берегу — он сам, Прохор Громов, великий, осиянный славой строитель жизни, властелин рабов, будущий обладатель миллиарда. На другом берегу — они, враги его: отец, Нина, Протасов, поп, черкес, рабочие. С ним — дерзновение, железная сила, воля к борьбе. Против него — человеческая, тормозящая его работу слякоть. С ним — свет, против него — вся тьма. С ним — опыт упорного созидания, против него — тупая, инертная природа. С ним — гений, против него — толпы идиотов.

Так, с опрокинутой вверх ногами вершины гениальности казались Прохору Петровичу два враждующих друг с другом мира: «они» и «я».

Адольф Генрихович Апперцепциус теперь появляется к Прохору Петровичу с опаской: постучит в дверь, войдет, зорко окинет фигуру больного и, притворяясь беспечно веселым, подплывает к нему с распростертыми руками:

— Дорогой мой, здравствуйте! А поглядите-ка, погода-то какая!.. Прелесть! Солнце, свежий ветерок, осыпается золото листьев. Пойдемте-ка пройдемтесь.

— А вы все еще не уехали?

— Нет. А что? Мое присутствие вас...

— Вы получаете сто рублей в день. Так? Если уедете, будете получать по двести рублей и в продолжение месяца. Но только чтоб быстро! Согласны?

Не вполне поняв, серьезно или в шутку это сказано, доктор пробует широко улыбнуться, склоняя лунообразную голову то к правому, то к левому плечу.

— И передайте Нине Яковлевне, — у меня нет охоты видеться с ней, — передайте этой умнейшей даме, что, если она позволит себе надеть на меня сумасшедшую рубаху, я и ее убью и себя убью. Вы не думайте, что я безоружен. — Прохор быстро поднялся

с кресла, распахнул халат и выхватил торчавший за поясом короткий испанский кинжал. — Не бойтесь, не бойтесь, — успокоил он доктора, на лице которого задергались мускулы. — Не бойтесь. Я не сумасшедший. Можете вязать кого хотите: Тихона, Нину, попа... А я, извините пожалуйста, я в вашей помощи нимало не нуждаюсь. Хотите, я к завтраму буду совершенно нормален? Состояние моего здоровья зависит от меня, а не от вас. Хотите пари? Впрочем, у вас нет ничего, вы весь голый, как ваш череп. Я предлагаю пари Нине. На сто тысяч. На миллион!! Я завтра — здоров. До свиданья...

— Но, Прохор Петрович!.. Дорогой мой. Вот микстура. Препарат брома. Регулирует отправление нервов...

— А, спасибо. — Прохор взял бутылку из рук доктора, подошел к окну и выбросил ее в фортку. — Пожалуйста, не пытайтесь отравить меня. Я ваши штучки знаю. Передайте Нине, что я ее столом больше не пользуюсь. Да-да, не пользуюсь. Я сегодня обедаю у Иннокентия Филатыча. А завтра — у Стеши. И вообще я скоро уйду от вас. Да-да, уйду. И в очень далекие края. Уж тогда-то, надеюсь, вы меня оставите в покое. Вы видите: Синильга дожидается меня возле камина, — стал врать Прохор, запугивая доктора. — Сейчас, Синильга, сейчас!.. Идите, доктор, а то она и вас задушит. Да-да, не улыбайтесь, пожалуйста. До свиданья, доктор! Прощайте, прощайте, прощайте... — И Прохор Петрович, взяв доктора за полные плечи, начал мягко выталкивать из кабинета. Затем захлопнул за ним дверь и вдруг действительно услыхал от камина голос:

— «Да, ты не ошибся. Я — Синильга. А хочешь, я в тебя залезу, и ты с ума сойдешь...»

У Прохора зашевелились на затылке волосы. Крепко запахнув халат, он подбежал к камину. Пусто. Лишь страх сгущался по углам. Грудь Прохора дышала вперебой со свистом.

— Черт, дурак!.. Набормотал глупостей. Вот и погрезилось. Осел! — Он позвонил. — Позови сюда дьякона, — сказал он лакею; тот переступал с ноги на

ногу, мялся. — Ну, что? Ты слышал? И чтоб водки захватил. Впрочем, к черту! Беги к Иннокентию Филатычу, чтоб шел сюда.

— Слушаюсь. — И лакей повернулся на каблуках.

— Стой! Не надо. Садись. Сиди здесь. В шахматы играешь?

— Плоховато, барин.

— Дурак... Тогда — убирайся... Впрочем, стой! Помоги одеться мне. А пока садись. Садись, тебе говорят!

Лакей сел. Прохор позвонил по телефону:

— Контора? Правителя дел сюда. Да, да, я! — Прохор насупил брови. — Слушайте, приготовьте мне к завтрашнему вечеру сводку нашей задолженности угля дороге. Что? Что-о-о? Кто приехал? Какая приемочная комиссия? Вот так раз. Сам Приперентьев? Гоните в шею, в зубы, башкой об стену! Впрочем, не надо! Ах, сволочи! Ну ладно. Я буду там.

Прохор сорвал с себя халат и, размахивая им, стал торопливо ходить по кабинету.

— Кто это там воет? — крикнул, остановился и швырнул халат к стене.

— Волк, барин.

— Я не волк! Я не волк! Я — Прохор Громов. Барин есть барин, а волк есть волк... Сапоги! — Обуваясь, бубнил: — Пусть отбирают. Пусть, пусть. Мне теперь ничего не жалко. Протестуются векселя? Знаю!.. Механический завод стоит? Знаю... Пароход затонул? Знаю... Все знаю, все понимаю, — крах идет, крах идет! Ну и наплевать! Сначала я всех жрал, теперь меня жрут. Наплевать, наплевать, наплевать!.. Врете, сволочи, подавитесь, не вы меня, а я вас сожру с сапогами вместе. Уж поверь, старик. Слушай, Тихон, милый!.. Покличь отца. Он мерзавец. Он не имел права интриги с Анфисой заводить, я Анфису люблю до сумасшествия. Он подлец! Я ему в морду дам. Покличь его.

Старый Тихон, державший наготове брюки, коротко улыбнулся и сказал:

— Ваш папашенька, барин, в селе Медведеве изволят жить.

— Ах, с Анюткой? А ты знаешь, старик, что Анютка была моей любовницей?

— Неправда, барин. Это вы на себя клеветать изволите. Это было бы очень ужасно и для вас и для папашеньки.

Прохор, вздохнув, улыбнулся и, застегивая брюки, сказал:

— Хороший ты человек, Тихон. Эх, жизнь прожита! И я был бы хорошим. Будь Анфиса жива, мы бы с ней наделали делов... Ну, ладно. Давай жилетку. Теплый полушубок приготовь. Грешный я, грешный, брат, человек... Грешный, каюсь. А тебя люблю. Только пожалей меня, в обиду не давай. Я так и в завещании... богат будешь... Богу молись обо мне. Чувствую, что отравят. Покличь-ка Петра с Кузьмой.

Вошли караулившие у входа два здоровенных бритых дяди в сюртуках и белых перчатках.

— Вот что, ребята, — сказал им Прохор Петрович, встряхивая полушубок. — Нина вам платит жалованье и душеспасительные книжки раздает. А я вам по пяти тысяч. В завещании. Только — поберегите меня! Не давайте в обиду. В морду всех бейте. Идите ребята, Кузьма с Петром. Лошади готовы? Ну, прощай, Тихон. — Прохор обнял его и поцеловал.

Старый лакей уткнулся носом в грудь хозяина, искренне завсхлипывал.

Прохор Петрович говорил с поспешностью, одевался с поспешностью и с поспешностью ушел.

Кучер подал лошадь, Прохор мельком осмотрел себя, чтобы удостовериться, не забыл ли переодеть халат, сел в пролетку, отпустил кучера, взял в горсть вожжи и поехал один. Ему некого теперь бояться: Ибрагима нет в живых, и шайка его разбита. Следом за хозяином и тайно от него выехали доктор Апперцепциус, с ним Кузьма и Петр и четыре вооруженных верховых стражника.

Кабинет пуст. По углам кабинета чахнет страх, неслышный, холодный, пугающий. Страх дожидается ночи, чтоб, окрепнув, встать до потолка, оледенить пылающий мозг хозяина и, оледенив, бросить в пламя бреда.

Старый Тихон прибирает кабинет и, поджав губы, покашивается на углы: в углах кто-то гнездится, дышит. Тихона одолевает оторопь. Тихон передергивает плечами, крестится, на цыпочках спешит к двери. Кто-то норовит схватить его сзади за фалды фрака. Тихон опрометью — вон.

Страхом набиты покои Громовых, кухня, службы. Страх, как угар, разметался далече во все стороны.

В страхе, в томительном ожидании сидели у постели больного Ферапонта люди. Иннокентий Филатыч сокрушенно вздыхал и сморкался в красный платок. В бархатных сапогах — ноги его жалостно подкорючены под стул. «Господи, помилуй... Господи, помилуй», — удрученно, не переставая, шептал он.

Дьякон величаво строг, но плох. Делавший ему операцию приезжий хирург определил общее заражение крови. Борясь с недугом, дьякон бодрится. По его просьбе Нина Яковлевна доставила в его палату граммофон. «Херувимская» Чайковского сменяется пластинкой с ектениями столичного протодьякона Розова.

Ферапонт морщится.

— Слабо́, слабо́, — говорит он. — Когда я служил у Исаакия, я лучше возглашал: сам император зашатался.

Отец Александр горестно переглядывается с Ниной; Манечка, вся красная, вспухшая от слез, подносит платок к глазам.

Дьякон просит поставить его любимую пластинку — Гришку Кутерьму и деву Февронию из «Града Китежа».

Знаменитый певец Ершов дает реплику деве Февронии:

— Как повел я рать татарскую,
На тебя — велел всем сказывать...

Дева Феврония испуганно вопрошает:

—На меня велел ты, Гришенька?
— На тебя...
— Ой, страшно, Гришенька, Гриша.
Ты уж не антихрист ли?
— Что ты, что ты! Где уже мне, княгинюшка,

И трогательно, с нервным надрывом, который тотчас же захлестывает всех слушающих, Гришка Кутерьма с кровью отрывает слова от сердца:

— Просто я последний пьяница!
Нас таких на свете много есть:
Слезы пьем ковшами полными,
Запиваем воздыханьями.

Ответных слов Февронии — «Не ропщи на долю горькую, в том велика тайна божия» — уже почти никто не слышит. Всякому ясно представляется, что этот спившийся с кругу, но по-детски чистый сердцем умирающий дьякон Ферапонт имеет ту же проклятую судьбу, что и жалкий, погубивший свою душу Гришка. Ясней же всех это чувствует сам дьякон. В неизреченной тоске, которая рушится на него подобно могильной глыбе, он дико вращает большими, воспаленными, глубоко запавшими глазами, и широкий рот его дрожит, кривится. Последнее отчаянье, насквозь пронзая сердце, вздымает его руки вверх (левая рука в лубке), с гогочущим воплем, от которого вдруг становится всем жутко, он запускает мозолистые пальцы себе в волосы и весь трясется в холодных, как хрустящий саван, сухих рыданиях.

Пластинка обрывается. Входит хирург. Сквозь истеричные, подавленные всхлипы собравшихся сердито говорит:

— Волнения больному вредны.

Нина вскидывает на него просветленные, в слезах, глаза и снова утыкается в платок.

5

Мрачный Прохор, погоняя гнедого жеребца, ехал емкой рысью. На перекрестках, где пересеклись две лесные дороги, его встретил похожий на гнома горбатый карла с мешком. Карла бережно поставил возле себя мешок, замаячил руками, замычал. Прохор осадил коня. Кланяясь и безъязыко бормоча «уаа, уаа»,

немой карла подал Прохору Петровичу письмо с печатью исправника «Ф. А.» и наверху — княжеская корона. Слюнявые губы карлы сжаты в кривую ухмылку. Прохор привязал коня, вскрыл конверт и стал разбирать вихлястый, весь в спотычках, необычный почерк Федора Степаныча. «Пьяный, должно быть, царапал», — подумал он.

«Прохор Петрович! Который выстрелен из пушки, это не Ибрагим. Вчера я поймал Ибрагима, отсек ему голову. Подаст вам это письмо несчастный карла. Я, мерзавец, мучал его, держал на цепи в Чертовой избушке, заставлял делать фальшивые деньги. Он передаст тебе мешок с головой черкеса Ибрагима-Оглы. Живите, Прохор Петрович, в полном спокойствии, а я теперь по-настоящему отправляюсь в дальний отпуск, в Крым. Прощай, прощай, голубчик Прохор...

Исправник Федор Амбреев».

Письмо было в каплях, в подтеках — будто дождь или слезы, на уголке размазана кровь.

Мрачный Прохор сразу весь просветлел: «Наконец-то черкес убит!» — стал быстро выворачивать карманы, отыскивая, чем бы в радости наградить карлу. Денег не было. Прохор снял дорогие часы, спросил:

— А где же все-таки сам исправник?

Но карлы не было. Мешок стоял прислоненным к сосне. И в версте позади, таясь в перелеске, маячили стражники с лакеями и доктором. Они боялись попасться на глаза хозяину.

Прохор привстал на колени и, волнуясь, раскрыл мешок. На дне мешка лукошко. В лукошке вверх лицом голова исправника Федора Амбреева.

Прохор широко распахнул по-страшному глаза и рот. В его душе вдруг скорготнул, как пилой по железу, раздирающий сердце визг. Морозом сковало дыхание. Гримаса оглушающего ужаса взрезала его лицо. Брови скакнули на лоб. Он сразу понял, что его поразило безумие.

— Федор! Федор!! — наконец закричал оцепеневший Прохор Петрович. Но его крепко перепоясала

вдоль спины по полушубку чья-то плеть. Прохор вскочил. Плеть стегнула его по голове с уха на ухо.

— Хороша подарка? — дико хохотал с коня Ибрагим, оскаливая злобные зубы.

И в третий раз свистнула плеть по Прохору.

Прохор бросился бежать по дороге, бестолково взмахивая выше головы руками, будто отбиваясь от слепней. Вздымая пыль, мчались за Ибрагимом стражники. Бестолковая стрельба огласила лес.

С этого момента вся нервная система, вся психическая сущность Прохора дрогнула, сотряслась, дала трещину, как от подземного удара громоздкий дом. Прохор Петрович до конца дней своих не мог уничтожить теперь вставший в нем страх. Он силою воли лишь вогнал его внутрь. И страх, как дурная болезнь, быстро стал разлагать его душу.

Вся знать, все служащие предприятий взволнованы этим зверским убийством исправника. Значит, Ибрагим-Оглы жив; значит, его шайка в действии.

Жилые дома с семьями побогаче с вечера запирались наглухо ставнями. Спускались цепные собаки. Многим чудились в потемках обезглавленный исправник и мстящий кинжал черкеса. Мистер Кук, ложась спать, клал возле себя два револьвера и пятифунтовую гирю на веревке. Лакей Иван спал, держа в руке топор. Новый пристав и следователь производили дознание, составляли срочное донесение в губернию об убийстве исправника, коллежского советника Амбреева. Уехавшие с исправником урядник Спиглазов и три стражника из служебного рейса не вернулись. Они, вероятно, тоже убиты Ибрагимовой шайкой.

Сутемень, темень. Мрак. Небо затянуто в тучи. Наступавшая ночь набухала страхами. Всюду уныние, всюду невнятное ожидание бед. Выл волк.

...Позвольте, позвольте!.. Нельзя ли хоть струйку свежего воздуха.

Вот Илья Петрович Сохатых. Мимо него черным коршуньем несутся события; они скользят где-то там, с боков и сверху, едва задевая его сознание. Пусть все сходят с ума, пусть режут, убивают друг друга, ему хоть бы что.

Третьего дня, от большого ума своего, от убожества жизни, он побился об заклад с лакеем Иваном съесть тридцать крутых яиц и фунт паюсной икры. Съел всего двадцать восемь яиц с икрой и чуть не умер. Иван же скушал сорок два яйца, полтора фунта икры и чувствовал себя прекрасно.

Мистер Кук — в восторге: послал портрет Ивана и соответствующую заметку в одну из нью-йоркских бульварных газет, а виновнику подвига подарил клетчатые подержанные штаны и шикарный галстук. А над пострадавшим Ильей Петровичем много смеялись. Хохотала и малолетняя Верочка. Но в подражание старшим, она вдруг осерьезилась, рассудительно развела ручками, затрясла головой, просюсюкала:

— Господи! Пятый год живу на белом свете, а такого дурака еще не видывала...

...Но, слава богу, Илья Петрович Сохатых поправился.

Праздник из праздников, торжество из торжеств ожидается на завтра в его семье. Завтра в двенадцать часов, как из пушки, назначено святое крещение первенца, имя которому наречется — Александр.

Крестным отцом, по настоянию счастливейшей матери, приглашен молодой горный инженер Александр Иванович Образцов, квартировавший в семье Сохатых. Крестная мать — Нина Яковлевна Громова.

Феврония Сидоровна, оставшись вдвоем с молодым инженером, умильно говорит ему:

— Вот, Сашенька, наш Шурик подрастет, будет тебя папой крестным звать. Папа...

— Я очень рад, — отвечает молодой человек. Он весь зарделся и брезгливо прищурился на лысого, в пеленках, крошку.

— Ах, Сашенька!.. Ведь сынок-то весь в тебя.

— Ну, это еще... знаете, не доказано, — раздраженно пофыркивает носом инженер Образцов; он

хочет добавить: «похож или не похож, а я все-таки переезжаю от вас к Нине Яковлевне», но вовремя сдерживается, боясь опечалить хозяйку. В его душе непонятная враждебность к младенцу и к осчастливленной матери. Он весь как бы в липких, противных тенетах. Он морщится.

Илья Петрович Сохатых спешит заготовить последние пакеты. Ему деятельно помогает Александр Иванович Образцов.

— Я бы полагал, — говорит нахлебник, — мистеру Куку послать объявление из «Русского слова». И шрифт жирнее, и вообще — эффектнее.

— Да, да! — восклицает вспотевший Илья Петрович. — Первоклассным гостям обязательно «Русское слово». А второстепенным микробам — «Новое время». Очень слепо, черти, напечатали. Следовало бы редактора обругать по телеграфу... Да мараться не стоит.

— Я думаю — рубликов в двести обошлась вам эта затея?

— Почему — затея? Во всех приличных домах столицы это принято.

— Да... О покойниках.

— А чем же покойник лучше новорожденного? Ну разве это не красота?! — Кудрявый, начинающий заметно лысеть Илья Петрович разбросал на столе газетную простыню «Русского слова» и, прихлопнув ладонью то место, где напечатано объявление, сказал задыхаясь:

— Читайте!

В веселенькой из залихватских завитушек рамке напечатано:

ВНИМАНИЕ

Сим доводится до всеобщего сведения, что в резиденции «Громово» 21 сентября в 6 часов дня по местному времени у известного коммерсанта Ильи Петровича Сохатых и супруги его Февроньи Сидоровны родился сын-первенец, имя же ему — Александр.

— Они, вибрионы, выбросили два места в объявлении, — жаловался Илья Петрович. — После слова «Александр» у меня значилось: «малютка необычайно красивой внешности». Вот это выбросили и еще в конце: «Счастливые родители убедительно просят другие газеты перепечатать».

В каждый пакет вкладывался номер газеты и пригласительная с золотым обрезом и с короной карточка. В конце карточки приписка от руки: «Подробности смотри в прилагаемой газете на странице 8-й».

Двое подручных Ильи Петровича дожидаются в кухне, чтобы этим же вечером разнести пакеты по принадлежности.

У Прохора Петровича надвое раскалывалась голова. Там, глубоко под черепом, ныла, разрывалась, дергалась какая-то болючая точка. Острота неимоверных мучений была непереносима. Будто в дупло наболевшего зуба, к которому нельзя прикоснуться пушинкой, с маху забивают гвоздь. Прохор стонал на весь дом. На помощь прибегали оба врача, приходил Иннокентий Филатыч с отцом Александром и другие. Прохор всех выгонял:

— К черту! Вон! Стрелять буду...

Лишь старому лакею Тихону позволено пребывать в кабинете.

— Барин, страдалец наш... — страдая страданием Прохора, хныкал он и весь дрожал. — Дозвольте, я вас разую. А потом ножки в горячую воду. Сразу полегчает.

— Чего? В воду? Давай разувай. — И Прохор, не в силах сдержаться, снова неистово выкрикивал: — Ой! Ой! Ой!

Горячая вода лучше всяких лекарств делала свое дело; кровеносные сосуды в ногах расширялись, кровь откатывалась от головы, облегчая болезнь.

— Негодяй! Это он меня плетью... По голове. Как он смел? Мерзавец... Как он смел руку на меня поднять?!

— Разбойник так разбойник и есть, — кряхтел Тихон, искренне радуясь, что угодил барину водой.

Чрез час боли стихли, но сон не шел.

Не спали и в покоях Нины Яковлевны. Там совещались, что делать с хозяином. Говорил доктор Апперцепциус. За последнее время он стал желчен и нервен.

— Я недели две-три тому назад рекомендовал больному длительное комфортабельно обставленное путешествие. Это, безусловно, по авторитетному мнению науки, должно было произвести свой эффект. Но... — доктор развел руками. — Но, к сожалению, по мнению науки, авторитет которой в этом доме не желают признавать, благоприятный момент упущен. Галопирующая болезнь вступила в новый фазис своего развития. Этому способствовал казус с отрубленной головой исправника.

Отец Прохора Петровича — Петр Данилыч, спешно прибывший из села Медведева, тоже присутствовал на совещании. Он приехал с единственной целью насладиться зрелищем, как проклятый сын его будет ввергнут в глухой возок и увезен в тот самый желтый дом, где сидел по милости нечестивца Прошки несчастный старик, отец его. Проклятый сын будет орать, драться, но его сшибут с ног, забьют рот кляпом, раскроят в кровь морду, вышибут не один здоровый зуб. Пусть, пусть ему, анафемскому выродку, убийце, пусть!

Лохматый Петр Данилыч, притворно вздохнув и покосившись на икону, грубым, каменным голосом говорит:

— По-моему, вот как, господа честные. Путешествие ни к чему. Глупая выдумка. Сопьется малый. А надо Прошку везти в дом помешательства. Там и уход хорош, и лечат хорошо. Я сидел — я знаю.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — шепчет Иннокентий Филатыч, поеживается.

— Мне с этим необычайно тяжело согласиться, — убитым голосом говорит Нина Яковлевна, одетая

в черное, траурное пластье. — Нет, нет. Я готова выписать первоклассное светило науки, окружить больного самым внимательным уходом. Словом, я согласна на все жертвы. И мне странно слышать, — обращается она к Петру Данилычу, — как вы, отец, рекомендуете для сына сумасшедший дом?..

Старик ударил в пол суковатой палкой с серебряным набалдашником и открыл волосатый рот, чтоб возразить снохе, но доктор Апперцепциус, оскорбленно надув губы, перебил его:

— Хотя я в этом почтенном доме и не считаюсь светилом науки...

— Бросьте, доктор!.. — сказала нервно Нина Яковлевна. — Мы не для пикировок собрались сюда.

— Доктор верно говорит: в желтый дом, в дом помешательства! — возвысил голос Петр Данилыч.

— Простите. Я этого вовсе не собирался говорить.

— Господи, помилуй, господи, помилуй! — И Иннокентий Филатыч, тыча в грудь Петра Данилыча, укорчиво сказал ему: — Эх, батюшка, Петр Данилыч. В желтый дом... Да как у тя язык-то поворачивается! Нешто забыл, как плакал-то там да просил меня вызволить из беды?

— Дурак! — закричал Петр Данилыч, злобно моргая хохлатыми бровями, и стукнул в пол палкой. — Меня здорового засадили! Прошка засадил! Так пусть же он...

— Отец! — крикнула Нина.

— Я правду говорю! Он, мерзавец, много лет держал меня с сумасшедшими. Я еще с ним, с проклятым, посчитаюсь на Страшном суде господнем... Я ему скажу слово. — Он стал, большой, взъярившийся, и свирепо загрозил палкой в сторону кабинета: — Убивец, сукин сын, убивец! — Старик весь затрясся. — Все сердце мое в кровь исчавкал, пес!.. Дьякона подстрелил, рабочих больше сотни в могилу свел... Хватайте его, жулика! Не в сумасшедший дом, а в каторгу его! Потатчики, укрыватели!! И вас-то надо всех в тюрьму!

Присутствующие вскочили. Иннокентий Филатыч и отец Александр, успокаивая старика, повели его вон. Старик кричал, размахивая палкой:

— К губернатору поеду! Все доложу! Все... В Питер поеду... Прямо в сенат, к царю.

Нина готова была разрыдаться.

6

В это время Прохор Петрович со скрещенными на груди руками, с поникшей головой окаменело стоял босиком среди кабинета в мрачной задумчивости, как сфинкс в пустыне.

Полосатый бухарский халат его распахнут, засученные выше колен штаны обнажали покрытые волосами, узловатые, в мозолях, ноги. На голове, как чалма, белое смоченное уксусом полотенце. Чернобородый, смуглый, с орлиным носом, исхудавший, он напоминал собою — и неподвижной позой и наружностью — вернувшегося из Мекки бедуина, погруженного в глубокое созерцание прошедшего.

Однако это только так казалось. Как ни силился Прохор, он не мог собрать в клубок все концы вдребезги разбитой своей жизни. Его духовную сущность пронзали две координаты — пространства и времени. Но обе координаты были ложны. Они не совпадали и не могли совпасть с планом реальной действительности. Они, как основа болезни, пересекали вкривь и вкось бредовые сферы душевнобольного. Поэтому Прохор Петрович воспринимал теперь весь мир, всю жизнь как нечто покосившееся, искривленное, давшее сильный крен. Недаром он вдруг покачнется, вдруг расширит глаза и схватится за воздух. Мир колыхался, гримасничал.

В дверь стучат. Входит Нина, с нею несколько человек — все свои, знакомцы. Нина подходит к Прохору, молча и холодно целует его во влажный от пота висок, приказывает Тихону накрыть здесь стол для чая, говорит Прохору:

— Ты нас не прогонишь, милый? Мы в гости к тебе. Мы все любим тебя и хотим побеседовать с тобой по-дружески.

— Пожалуйста, я очень рад. А коньяку принесли? — с искусственной живостью, но с лютым ознобом боязни отвечает Прохор Петрович. Он ей теперь не верит, он никому теперь не верит. Будто окруженный сыщиками вор, он цепко, с тревожным опасением всматривается в каждого вошедшего: «Кажется, нет... Кажется, смирительной рубашки не принесли», — облегченно думает и успокаивается.

— Что, голова болит, Прохор Петрович? — чтоб разбить неловкость молчания, спрашивает священник.

— Да, немножко, — прикладывая пальцы к вискам, мямлит Прохор и срывает с головы чалму. — Спасибо, что пришли. А то скучно. Читать не могу... Глаза устают, глаза ослабли... Да и вообще как-то.

— Милый Прохор, мы все крайне опечалены, в особенности я, твоим временным недомоганием, — подыскивая выражения, придав своему голосу бодрые нотки, начинает Нина.

Она стоит возле сидящего в кресле мужа, нежно гладит его волосы. Но по напряженному выражению ее лица наблюдательный отец Александр сразу почувствовал, что между мужем и женой нет любви, что муж чужд ей, что, публично лаская его, она принуждает себя к этому. Действительно, у Нины до сих пор пылала щека от оплеухи мужа.

— Да ведь я, в сущности, и не болен, — мягко уклоняясь от неприятных ему ласк жены, говорит Прохор Петрович. Он все еще подозрительно наблюдает за каждым из своих гостей, озирается назад, боясь, как бы кто не напал с тылу. — Напрасно Адольф Генрихович считает меня сумасшедшим...

— Что вы, что вы, Прохор Петрович!

— Я вовсе не сумасшедший. Я вполне нормален... Могу, хоть сейчас... А просто... Ну... Мало ли неприятностей... Ну... С дьяконом тут. Ну, голова исправника в мешке. Ведь это ж жуть!.. Ведь я не...

— Дорогой Прохор Петрович!

— Я не каменный... Я не каменный...

— Любезнейший Прохор Петрович!..

— И этот Ибрагим... Я не могу заснуть наконец...

— Милый Прохор... С тобой хочет потолковать доктор.

— Глубокоуважаемый Прохор Петрович, — сказал доктор-психиатр. — Я клянусь вам честным словом своим, что никаких Ибрагимов, никаких обезглавленных исправников, никаких Анфис нет и не существует в природе...

— Как?! — И Прохор поднялся, но Нина мягко вновь усадила его.

— Да очень просто, любезнейший Прохор Петрович.

И доктор, придвинув кресло, грузно сел против Прохора. Тот с испугом взглянул на Нину и вместе с креслом отодвинулся подальше от опасного соседа, в то же время лихорадочно осматривая руки и всю его фигуру: «Вздор... Ничего у него нет в руках: ни веревок, ни смирительной рубахи... И в карманах нет ничего: пиджак в обтяжку».

— Во-первых... — заискивающе улыбаясь губами, но сделав глаза серьезными, заговорил Адольф Генрихович. — Во-первых, Ибрагим-Оглы давным-давно убит. Во-вторых, слегка ударил вас нагайкой не черкес, а безносый мерзавец спиртонос. Он ранен и ускакал умирать в тайгу. Это факт.

— Но голова? Но голова?.. — задыхаясь, прошептал Прохор.

— А голова — простой обман. — И доктор перестроил свое лицо: его глаза насмешливо заулыбались, а рот стал строг, серьезен. — Голова — это ж ни более, ни менее как грубо устроенная кукла. Я ж лично видел. — И доктор, как бы приглашая всех в свидетели, обернулся к чинно сидевшим гостям. — Представьте, господа... Вместо человеческих глаз — бычачьи бельма, а вместо усов — беличьи хвостики. Ха-ха-ха!..

— Ха-ха-ха! — благопристойно засмеялись все.

Горько улыбнулся и Иннокентий Филатыч Груздев, но тотчас зашептал испуганно:

— Господи, помилуй, господи, помилуй!

Удрученный последними событиями и видя в них карающий перст бога, он чувствовал какое-то смятение во всем естестве своем.

Прохор Петрович, прислушиваясь к лживому голосу доктора и сдержанному, угодливому смеху гостей, подозрительно водил суровым взглядом от лица к лицу, все чаще и чаще оборачивался назад, скучая по верном Тихоне и двум своим телохранителям: лакеям Кузьме с Петром.

— Вы можете показать мне эту голову-куклу?

— К сожалению, Прохор Петрович, эта мерзостная штучка уничтожена. Итак... — заторопился доктор, чтоб пресечь возражения хозяина. Итак, все дело в том, что ваша нервная система необычно взвинчена чрезмерным, длившимся годами, потреблением наркотиков, напряженнейшим трудом и, как следствием этого, — продолжительной бессонницей. А вы, почтеннейший друг мой, не желаете довериться мне ни в чем, как будто я коновал какой или знахарь. И не хотите принимать от меня лекарств, которые дали бы вам сначала крепкий сон, а потом и полное выздоровление. Вы не находите, что этим кровно обижаете меня?

Прохор Петрович старался слушать доктора сосредоточенно, и тогда он был совершенно нормален: возбужденные глаза по-прежнему светились умом и волей. Но лишь внимание в нем ослабевало, как тотчас же сумбурные видения начинали проноситься пред его глазами в туманной мгле.

— Я вас вполне понимаю, доктор. Но поймите ж, ради бога, и вы меня. — Поправив спадавший с плеч халат, Прохор Петрович прижал к груди концы пальцев. — Я физически здоров. Я не помешанный. Я не желаю им быть и, надеюсь, не буду. Я душой болен... Понимаете — душой. Но я ничуть не душевнобольной, каким, может быть, многие желали бы меня видеть. (Скользящий взгляд на опустившую глаза Нину.) Это во-первых. А во-вторых: то, чем я болен и болен давно, с юности, не может поддаться никаким медицинским воздействиям. В этой моей болезни может помочь не психиатр, а Синильга... То есть...

Нет, нет, что за чушь!.. Я хотел сказать: мне поможет не психиатр, а бесстрашный хирург. И хирург этот — я! — И Прохор Петрович рванул халат и скользом руки по левому боку проверил, тут ли кинжал.

Все переглянулись. Нина хрустнула пальцами, шевельнулась, вздохнула. Наступило молчание.

Тихон принес кипящий серебряный самовар. Нина заварила чай. Самовар пел шумливую песенку.

— Господа! Милости просим. Прохор, чайку...

Сели за чай в напряженном смущении. Сел и Прохор Петрович.

Отец Александр придвинул к себе стакан с чаем, не спеша понюхал табачку. Прохор закурил трубку, положил в стакан три ложки малинового варенья и шесть кусков сахару.

— Меня тянет на сладкое, — сказал он.

— Это хорошо, — подхватил Адольф Генрихович и вынул из жилета порошок. — Вы не зябнете?

— Нет. Впрочем, иногда меня бросает в дрожь.

— Сладкое поддерживает в организме горение, согревает тело.

— А к водке меня не тянет. Вот рому выпил бы.

— Лучше выпейте вот это. — И доктор потряс порошком в бумажке. — Крепко уснете и завтра будете молодцом.

— Слушайте, доктор... — И Прохор резко заболтал в стакане ложкой. — Вы своими лекарствами и сказками о кукольной голове с бычьими глазами действительно сведете меня с ума. И почему вы все пришли ко мне? Для чего это? Разве я не мог бы прийти к чаю в столовую? — Он сдвинул брови, наморщил лоб и схватился за виски.

— Хороший, милый мой Прохор, — вкрадчивым голосом начала Нина, мельком переглянувшись со всеми. — Мы, друзья твои, пришли к тебе по большому делу.

Прохор Петрович гордо откинул голову и настороженно прищурился. «Ага, — подумал он. — Вот оно... Начинается». И пощупал кинжал. Все уставились ему в глаза.

— Адольф Генрихович настаивает на длительном твоем путешествии.

— Да, да, Прохор Петрович. Я это утверждаю, я настаиваю на этом.

Прохор затряс головой, как паралитик, и крикнул:

— Куда?! В сумасшедший дом?!

— Что вы, что вы! — Все замахали на него руками.

— Я сам вас всех отправлю в длительное путешествие! — не слушая их, выкрикивал Прохор. — Не я, а вы все сумасшедшие! С своими бычьими глазами, с беличьими хвостиками! Да, да, да!..

Руки его стали трястись и скакать по столу, что-то отыскивая на столе и не находя.

— Успокойтесь, Прохор Петрович.

— Успокойся, милый.

Заглохший самовар вдруг пискнул и снова замурлыкал песенку. Прохор резко мотнул головой и насторожил ухо. От камина слышался внятный голос Синильги.

— Ну-с, я слушаю, — оправился Прохор Петрович, и складка меж бровей разгладилась.

— Милый Прохор. Тебя не в сумасшедший дом повезут, а ты сам поедешь — куда хочешь и с кем хочешь. В Италию, в Венецию, в Африку.

— А дело? — безразличным, удивившим всех тоном спросил он.

— Прежде всего — здоровье, а потом — дело, бесценный мой Прохор. Делом будем управлять: я, Иннокентий Филатыч, мистер Кук и инженер Абросимов. Поверь, что дело и наши с тобой интересы не пострадают, — сказала Нина Яковлевна. — И нашим верным советчиком, кроме того, будет всеми любимый пастырь наш, отец Александр.

Священник поставил стакан, приосанился и слегка поклонился Прохору Петровичу. Прохор молчал, раздумывал. Нина Яковлевна, чтоб усилить нажим, ласково положила руку с бриллиантом на плечо Иннокентия Филатыча и, улыбнувшись, добавила:

— А главный наш помощник и правитель будет вот кто. Он умен, расторопен, сведущ, и мы его все любим.

Иннокентий Филатыч подавился сахаром, вспыхнул, прослезился, неуклюже полез целовать руку обворожительной хозяйки и ради пущей благодарности куснул вставными зубами белую надушенную кожу.

— Ну что ж, Ниночка,—так же безучастно и примиренно ответил Прохор, прислушиваясь к многим тайным голосам, кричавшим в его уши.

Самовар пофыркивал, пищал, мурлыкал, тренькал, мешал говорить. Нина нахлобучила на его рот колпак.

— Я согласен. Поезжайте, поезжайте. Куда хотите и с кем хотите. Хоть с Синильгой, хоть с Шапошниковым. А я завтра же уеду от вас. Куда хочу, туда и уеду, — бормотал Прохор, продолжая прислушиваться к звучащим тайным голосам, к сумбурчикам. Но вдруг, собрав в глазах мысль, отчетливо сказал: — Слушай, Нина, а как Питер, как Москва? Какие сделаны распоряжения по телеграммам Купеческого банка? Деньги для уплаты по векселям найдены? Если пойдет с торгов механический завод, крах неминуем: наш завод приберут другие, тот же Приперентьев с компанией. А ведь наш завод — крупнейший в крае. Фу ты, нечистая сила!.. Железнодорожные работы тоже ни к черту. Запаздываем. Надо всех гнать, гнать... Нет, я с ума сойду. Ты понимаешь это?

— Милый Прохор, наши дела не так уж плохи, — было начала Нина Яковлевна, но Прохор тотчас же перебил ее.

Он говорил быстро, громко, приподнято, с холодным блеском в глазах, с резкой мимикой исхудавшего лица.

— Дела не так уж плохи, говоришь? — спросил Прохор, порывисто распахнул и вновь запахнул халат. — Баба! — И он пристукнул стаканом в блюдце. — А знаешь ли ты, баба, что в двухстах верстах от нас купчишка Малых выстроил богатый лесопильный завод? Он ближе к железнодорожной магистрали, доски сразу же вдвое упали в цене, и я несу огромные убытки... А знаешь ли ты, умная твоя голова, что этой воровской компании нарезали

двенадцать тысяч десятин строевого леса из тех запасов, которые я считал своими? Да я этого Приперентьева убить готов! Он налево-направо взятки разным чиновникам дает, а я сижу на печке, зеваю. А знаешь ли ты, что на Большом Потоке московский меховщик Страхеев свою факторию открыл и скупает пушнину у тунгусишек?.. То есть везде, везде, везде набрасывают мне на шею петлю. Тут поневоле с ума свихнешься...

Нину бросило в жар: все замечания Прохора верны от слова до слова. Упавшим голосом она спросила:

— Кто тебе про все это наврал?

— Ферапонт, вот кто! Он не врал, он правду говорил и водочки приносил мне. Он не станет врать, — ты врешь, вы все врете, а не он... Дайте мне Ферапонта, пошлите за ним. Где он?

Прохор водил воспаленными глазами от лица к лицу, напряженно ждал, что станут люди говорить про Ферапонта.

А люди были крайне смущены, люди молчали. Отец Александр бесперечь нюхал табак, сморкался, Иннокентий Филатыч подавленно сопел, моргал заслезившимися глазами. Психиатр курил сигару, пускал дым колечками.

Прохор Петрович закинул ногу на ногу, чуть отвернулся вбок, вздохнул и, сожалительно покачивая головой, сказал:

— Всех твоих правителей и помощников я променял бы на одного инженера Протасова. (Иннокентий Филатыч опять подавился сахаром, а священник поморщился.) Андрей Андреич, где ты, отзовись! Я не пожалел бы для тебя полцарства! Я без тебя — пропал...

Нина быстро вынула платок, и рука ее еще больше задрожала.

— Его нет... Его нет... — сдерживая взволнованные вздохи, твердила она. — Его нет, его больше никогда, никогда не будет с нами.

— Умер? — поднял брови Прохор.

— Да. Умер. По крайней мере для нас с тобой.

Под рыжими усами отца Александра мелькнула едва заметная улыбка. Нина, опустив голову, напрягала душу, чтоб не разрыдаться при всех.

— Да, да... Я согласен, я согласен, — бормотал Прохор. — Ведь я, Ниночка, ты прекрасно понимаешь это, за барышами теперь не гонюсь. Этот мерзавец Приперентьев ежели и отобрал от меня самый богатый прииск — плевать... Плевать в тетрадь и слов не знать... Я его в морду бил. Он шулер. А Протасова жаль, Андрея Андреича. Рак? Зарезали? Батюшка, потрудитесь сейчас же отслужить панихиду. А где волк? Я согласен, я со всеми вами вполне согласен.

— Может быть, вы согласны и этот порошок принять? — заулыбавшись во всю ширь лица, спросил лунообразный доктор.

— Согласен. Давайте. Сейчас же? Как, в воде? — Прохор разболтал в чае порошок и выпил, сказав: — Пью при свидетелях. Ежели он меня отравил, имейте в виду, господа.

— Ха-ха-ха! — напыщенно раскатился доктор.

— Хе-хе-хе! — учтиво вторили ему утомленные всем этим свидетели-гости.

Тихон подошел к Нине, изогнулся перед нею и, отгородившись ладошкой, шепнул ей на ухо:

— Барыня, на минуточку. — И там, у камина, взволнованным шепотом: — Отцы дьяконы изволят маяться. Так что вроде умирать собрались. Сейчас по телефону...

Нина темной тенью надорванно подошла к столу:

— Ну, милый Прохор, покойной ночи. Будь умницей. Все будет великолепно.

Все поднялись, с облегчением передохнули:

— Покойной ночи, покойной ночи!

Доктор, прощаясь, сказал:

— Порошок морфия. Порядочная доза. Восемнадцать часов будет спать. И — как рукой.

Гости ушли. Прохор Петрович, пробубнив: «Дурак... Мне не морфию, а водки нужно...» — распахнул окно, засунул два пальца в рот, очистил желудок. Вытер слезы. Взглянул на портрет Николая Второго. И вдруг показалось ему, что вместо царя на портрете

Алтынов, питерский купец, обидчик. Он глядел на Прохора, как живой, и нахально подмигивал ему:

— Ну ты! Стерва! — крикнул Прохор. — Тьфу!!

Алтынов засмеялся с портрета, сгреб в горсть свою бороду и утерся ею.

Прохор, перекосив глаза, схватил самовар за ручку и с силой грохнул им в стену, в портрет. Самовар крякнул от боли и сплющился.

Оторопело вбежал Тихон. За камином повизгивали, шалили сумбурчики.

Нина вернулась домой заплаканная: в два часа ночи дьякон Ферапонт умер.

Нине предстояло много неприятностей: причина смерти дьякона — Прохор Громов. Ежели он стрелял в дьякона, будучи нормальным, его тотчас же надлежит арестовать как убийцу. Если же он был в припадке помешательства, его ответственность сводится к нулю. Домашний врач склонен считать Прохора Петровича почти здоровым, но продолжающим быть в длительном припадке белой горячки. Врач-психиатр Апперцепциус находил состояние души больного сильно затронутым: в больном чередуются резкие вспышки недуга с устойчивым и полным прояснением сознания. Больной, по его мнению, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и строжайшем режиме.

Судебный же следователь (ему перепала крупная денежная взятка) пока что заткнул уши и закрыл глаза на дело с дьяконом. В зависимости от того, сколько будет дадено впоследствии, он, когда настанет время, рискуя карьерой и даже тюрьмой, может сделать так, что Прохор Петрович при всяких обстоятельствах будет признан помешанным.

Если бы Прохор Петрович оказался здоровым, Нине Яковлевне пришлось бы засыпать золотом судью, нового пристава, прокурора и кой-кого из властей губернских. Да, да. Гораздо выгоднее для Нины, чтоб Прохор действительно оказался сумасшедшим. Но желать этого бесчеловечно и преступно пред богом.

Сознание Нины раскачивалось, как маятник, раздирая душу. Нине страшно жаль и почившего дьякона и Манечку, которой она назначит пожизненную пенсию, жаль и убитого разбойниками Федора Степаныча и даже осиротевшую Наденьку. Но превыше всех жаль ей незабвенного друга своего Андрея Андреевича Протасова.

Сжав побелевшие губы, она достает из бювара письмо неизвестного и, сотрясаясь мелкой дрожью, перечитывает:

«Многоуважаемая Нина Яковлевна! Пишет неизвестный вам человек, некто присяжный поверенный, случайный спутник инженера Протасова. На станции Уфа он, больной, разбитый, был неожиданно арестован жандармским офицером. Мы оба так растерялись, что он не успел мне подсунуть, а я не сумел спрятать его маленький саквояж с письмами. Мы с Андреем Андреичем провели совместно в вагоне трое суток и сдружились крепко. Наши взгляды и общественная деятельность совпадали. Необычайно светлый человек! При аресте он с разрешения жандарма передал мне ваш адрес. (Жандарм был настолько тактичен, что даже не поинтересовался прочесть его.) Сообщая вам об этом глубокоприскорбном событии, считаю своим долгом...» и т. д.

Нина хотела пройти в спальню к Верочке. Но ей все теперь стало чуждым.

— Ах, батюшка барин! — отечески журил своего хозяина, внутренне злясь на него, старый Тихон. — Вот патретик царский изволили расшибить... Ведь это ж сам ампиратор! Ну, патрет, конечно, наплевать, а вот самовара жаль.

— Иди спать, старик, — сказал тяжело дышавший с неспокойными глазами Прохор. Злоба на Алтынова, на себя, на весь мир еще бушевала в нем. — Я это сдуру. Фантазия пришла...

— Дозвольте здесь мне прикорнуть. Вон там в уголке, у печки, шубенку брошу.

— Зачем? — И Прохор быстро составил рядом кресло и три стула. — Ложись вот здесь, старик. Да принеси-ка коньячку... Выпить хочется.

Тихон благодарно заморгал слезливыми глазами и проговорил:

— Коньячок в запрете-с... Никак нельзя.

У Прохора, оглушенного морфием, который все-таки успел всосаться в кровь, звенело в ушах, подергивало правый угол рта, голова тяжелела, просила отдыха. Он распахнул в сад окно, плотно закутался в теплый халат и сел под окном на стуле.

Вся в звездах молодая ночь бросала сверху свет и холод. Прохор поднял глаза к небу. Все блистало вверху. Золотая россыпь звезд густо опоясывала небо. Сквозь полуобнаженные ветви сада зеркально серебрился студеный серп месяца.

Прохору захотелось крыльев. Он желал умчаться ввысь от этих Алтыновых, сумасшедших домов, Ибрагимов-Оглы. Ему захотелось навсегда покинуть шар земной, эту горькую, как полынь, суету жизни. И, радуясь такому редкому, очистительному настроению души, он вспомнил все, что рассказывал ему о тайнах неба Шапошников, все, что он недавно прочел у Фламмариона. Он долго, мечтательно, как влюбленная дева, всматривался в спокойное мерцанье звезд. Фантастическая прекрасная Урания, облеченная в ризы из лунного света, грезилась застывшему в неподвижности Прохору, кивала ему с небесных кругов звездной головой, манила его туда, по ту сторону земли, за пределы видимого мира. «Сейчас... Телескоп. Надо сказать Тихону, чтоб телескоп... Сейчас, сейчас». Но морфий брал свое: голова наливалась свинцовым сном, благодатная тишина нежно обняла его, и Прохор Петрович потерял сознание.

— Подхватывай, ребята, аккуратней... Неси на кушетку, — командовал Тихон, закрывая окно. — Ишь холоду сколько напустил.

Петр с Кузьмой осторожно подняли мерно дышавшего хозяина, уложили на широченную кушетку, на которой смело могли бы разместиться двадцать человек,

Готовились назавтра похороны дьякона Ферапонта и Федора Степаныча Амбреева. Столяры возились над огромным гробом дьякона и гробом поменьше — для исправника. Тело исправника до сих пор не разыскано. Решили приделать к голове подходящего вида чучело и так схоронить завтра со всею торжественностью по чину православной церкви.

Но вот беда: священник ни за что не соглашался крестить младенца Александра в эти траурные, полные скорби дни. Поэтому Илья Петрович Сохатых впал в полнейшее отчаянье: всего наварено, настряпано, а главное — разосланы по всему свету приглашенья, и вот тебе на — сюрприз! Он злился на дьякона, что не мог умереть двумя днями раньше, злился на священника, что отказался совершать сегодня таинство крещения.

— Эка штука — человек помер! Да наплевать! Во всем мире каждую секунду по шести человек мрет согласно статистике... А куда ж нам пироги да стерлядь заливную прикажете отдать? Нищим да собакам, что ли? Тьфу! После этого действительно антирелигиозным станешь.

Для Прохора Петровича утро наступило лишь в шестом часу вечера. Но продолжительный, весь в кошмарах сон не освежил его. Начинались первые осенние сумерки. В голове Прохора содом. Душа кипела и, вся покривленная, погружалась в сумятицу. Не хотелось умываться. Все было противно, мерзко. Прохор Петрович приказал спустить шторы.

7

«Смерть не имеет образа, но все, что носит вид земных существ, — поглотит». Так сказал Люцифер в «Каине» Байрона.

Но это наполовину лишь правда. Каждая смерть носит свой образ, свой лик и повадку свою.

Бывает так: брякнешься, ахнешь, и — нет тебя. Сразу, мгновенно.

Иногда смерть является — дряхлой старухой. Она вся — в тленных болезнях, в горчичниках, в пластыре, как в заплатах зипун. За плечами мешок, набитый склянками капель, втираний, на мешке нездоровое слово «Аптека». Человек до тех пор не может умереть, пока не выпьет по капелькам весь мешок снадобий. Потом вытянет ноги — крышка.

Бывает смерть на миру; к ней никто не готовится, она внезапна, как гром. «Разойдись!» Сигнальный рожок. И — залп, залп, залп. Груда трупов... Эта скорбная смерть очень обидна. Эта смерть заносится на страницы истории.

А то: живет здоровяк, вдоволь ест, пьянствует, курит, бесится, пытает природу, ночь в день и день в ночь. И все нипочем ему: не крякнет и крепок, как дуб. Он бессмертен. Но вот где-то там, возле желудка, заскучал червячок: и гложет и гложет. Что? К сожалению — рак. Нож оператора, передышка на годик и — смерть... Эта смерть, как из-под тиха собака: «Х-ам!» — и вы вздрогнули.

Бывает, но редко, и так: два столба с перекладиной, несколько перекинутых петель. Внизу — общая яма. Соседи благополучно повешены. Но вот... Под одним петля лопнула, он оборвался, кричит: «Не зарывайте, я жив!» Толпа зевак с ревом: «Невинен, невинен!» — мчится к живому покойнику. Залп в воздух — толпа врассыпную, и пуля — раз, раз — добивает невинного. Эта смерть — красная. Она страшна лишь для слабых.

Случается так: человек тонет. В отчаянных воплях о помощи он в страшном боренье с водой. Небо качается, вся жизнь, весь свет вылезает из глаз. Крик все слабее, все тоньше, и нет и нет помощи. Пронзительный визг и — аминь. Смерть — из лютых лютая.

Иному смерть выпадет, как занесенный топор, или нож, или стук револьвера.

Но нет страшней смерти в гробу, под тяжелой землей, когда спящий покойник проснется в великий страх, в великую муку себе и новую смерть, горше первой. Уж лучше бы не родиться тому человеку на свет.

Страшен час смерти, но, может быть, миг рождения бесконечно страшней. Однако никто из людей не в силах сказать и не скажет: «Что есть смерть моя?»

Все смерти опасны, жутки, жестоки.

Впрочем, сколько людей — столько смертей. Обо всех не расскажешь. Да и не надобно...

Давайте опишем последние дни Прохора Громова, последний бег его в смерть и этим закроем страницы романа.

В немногие моменты просветления мысли Прохор Петрович Громов, осененный редкой силой духа, делал яркую оценку своему собственному «я».

Вот один из документов, найденных впоследствии в личных делах Прохора Петровича. Эта записка дает некоторый ключ к разгадке незаурядной натуры его. Приводим ее целиком:

«МЫСЛЬ О МЫСЛЯХ МЫСЛИ, ИЛИ ВЫВЕРНУТАЯ НАИЗНАНКУ ДУША МОЯ»

«Кто я, выродок из выродков? Я ни во что, я никому не верю. Для меня нет бога, нет черта. Я не рационалист, как Протасов, потому что не верю и в разум. Я не материалист, потому что недостаточно образован, да и лень разбираться во всей этой дребедени строения вещества. Я не социалист, потому что люблю только себя. Я не монархист, потому что сам себе я бог и царь».

«Может статься, во мне живет уваженье к человечеству? Нет. Сентиментальное слюнтяйство для меня противно. К отдельным личностям я отношусь то холодно, то злобно. И всегда — подозрительно. Дорожу лишь теми людьми, кто мне полезен, и до тех пор, пока они нужны мне».

«Я никого не люблю, я никому не верю. Я когда-то беззаветно любил Анфису, и верил ей, но я умертвил ее. Я любил, я верил Ибрагиму и предал его. Я любил волка, но и тот возненавидел меня».

«У меня нет друзей. Никогда, за всю жизнь не было друга. У меня нет жены, у меня есть лишь

Нина, которую я замышлял убить. Правда, у меня есть дочь, но она в моем обиходе — не более, как знак равнодушного удивления: она не нужна мне».

«Так кто же, кто же я сегодняшний? Бесчувственный камень, скала? Нет. Я хуже скалы, я бесполезней камня: скала стоит, как стояла, она пассивна в жизни, я же деятелен, я не в меру активен».

«В душе моей стихийное себялюбие: я всегда противопоставлял себя миру, я боролся с миром, я — червь бессильный — хотел победить его. Я горд, я заносчив, я лют и жесток. Я могу разрубить топором череп отцу, я бритвой могу перерезать...» (фраза осталась незаконченной).

«Я не верю в справедливость, я не верю в искренность, в дружбу, в долг, честь. Я не верю в добро, в бескорыстную любовь человека к человеку. Я ни во что не верю».

«Я, сегодняшний, ничему не верю, ничему не верю: нет в мире того, чему можно бы поверить. Достоверна лишь смерть. И вот я, Прохор Громов, подвожу итоги своей тридцатитрехлетней жизни и заявляю сам себе: я верю только в смерть, только в смерть, как избавительницу от всякого безверия».

«Да, да... Прохор Громов сошел с ума, Прохора Громова не стало. Пройдет еще малое мгновенье, и душа его, содрогаясь, упадет в вечную тьму. Горе, горе Прохору Громову. И некому понять, некому искренне, от всего сердца, пожалеть его. Ему бы не нужно родиться на свет. Горе Прохору...»

«Да, правильно, правильно. Когда-то читал, когда-то подчеркнул в своих мыслях, а вот теперь вспомнил эти слова. Шекспир про меня сказал: *«Ничего не осталось, кроме воспоминаний о том, чем ты был, чтоб усиливать твою муку о том, что ты теперь»*. Ну что ж... Больше добавить мне нечего».

(Далее в записке четыре строки густо зачеркнуты. А еще ниже — небрежно начерчено чье-то горбоносое, бородатое лицо, вероятно — Ибрагима-Оглы: плешь, страшные глаза. И еще ниже — большая чер-

ная змея, извиваясь, гонится за маленьким убегающим человечком. Затем — опять текст.)

«Но, стой, стой! Когда-то там, в тайге, среди разбойников, я говорил прокурору... Да, да, говорил. Я сказал ему, что в юности я тоже был добр сердцем, мысль моя была ясна, помышления чисты...»

«Что же нужно тебе, Прохор, для душевного спокойствия? Для спокойствия души тебе нужно, Прохор, вернуться к своей юности, принять живую Анфису в свое сердце, навсегда соединиться с ней. Но Анфисы нет, возврата к прошлому нет, лишь сосущая тоска по Анфисе, и ты, Прохор Петрович, умер. Значит, правильно говорят старики, живи, да оглядывайся».

(Далее идут заключительные фразы. Они написаны совершенно другим почерком. Буквы крупные, острые, как взмахи кинжала. Все строки густо подчеркнуты. Восклицательный знак в конце брошен, как жало змеи, как смертельный удар копья: перо сломалось и брызнуло. Видимо, здесь депрессия кончилась, дух взвился и сброшен был в бездну отчаянья.)

«Будь проклято чрево, родившее меня! Будь проклята земля, соблазнившая Прохора Громова свиными соблазнами, будь проклято небо, что не послало мне непрошеной помощи! Смерть, смерть, возьми меня!»

(Этот ценный человеческий документ хотя и не датирован, но, по заключению экспертов, относится ко времени наивысшего развития душевной болезни Прохора Петровича Громова.)

И еще найдено недоконченное письмо Прохора:

«Нина, если мне суждено умертвить себя, знай, что Прохор Громов казнит себя за то, что *не он победил жизнь, а жизнь победила его.* «Гордыня, гордынюшка заела тебя», — говорили мне старцы. Да, сатанинская гордость не позволяет пережить мне полного краха всего дела моего. Крах неожиданно, неимоверно быстро обрушился на меня. И вот Прохор Громов, коммерческий гений, — раздавлен. В данный момент...»

Недавно мистер Кук обозрел во дворце Громовых отведенные ему три комнаты рядом с покоями отца Александра. Мистер был поражен и растроган роскошью своего нового жилища. Он шептал: «Колоссаль, колоссаль», а в мыслях прикидывал: «Миссис Нина, без сомнения, любит меня: мистер Громофф скоро будет околеть, Протасова не существует. Эрго: я, мистер Кук, инженер, стану всесильным». Он ухмыльнулся, даже вспомнил пословицу, он слышал ее от лакея Ивана: «Вот придет великий пост, а коту дадут маслица». Нет, что ни говори, а негр Гарри величайший сердцевед и пророк. Да здравствует всемирная хиромантия!..

Восторженный мистер Кук возвращался домой вприсядку. Велел подать самовар, рому и полученную из Америки бутылку виски. Подвыпив, он утратил правильный выговор, важно нахмурил лоб и сказал Ивану:

— Завтра придут шесть крестьянски мушик, будут немножечко таскать мои вещи во дворец Нины Яковлевны. Я закажу тебе, Фан Фаныч, золотой ливрей, прибавлю жалованье. О!

Иван в широкой улыбке оскалил зубы, пустил слюну благодарности и задвигал ушами. Но вот внезапный звонок, шуршащий хруст юбок, и пышнотелая Наденька, не поздоровавшись с мистером Куком, гневно уселась без приглашенья за чайный стол. Мистер Кук вопросительно поднял брови и выпучил на гостью полупьяные глаза.

А с Наденькой вот что. Выплакав на груди пана Парчевского скромное количество вдовьих слез, она готова была отдать молодому красавцу руку, сердце и все награбленное убитым мужем состояние. Однако Парчевский — себе на уме: он знает наверное, что недолог тот час, когда вельможная пани Нина тоже отдаст ему руку, сердце и все награбленное мужем богатство. И вот бурная сцена с Наденькой: предложенье с ее стороны, отказ, новое предложенье и новый отказ, угроза, истерика, взвизг, две оплеухи, ответный удар по шее, крик, дверь — и Наденька вылетела...

Да, надо спешить, а то все проворонишь. Там сорвалось, а здесь-то уж вывезет: уж Наденька знает, как настращать этого заморского индюка «мистера Кукиша».

— Не пяль заграничные глаза, — строго сказала она вдруг поглупевшему хозяину. — К Громовой переезжать?.. Я тебе так перееду, в тюрьме сгниешь!.. Ты со мной жил — ты должен жениться на мне. Я к судье обращалась, он в законы смотрел. По закону — хочешь не хочешь — женись.

Нижняя губа мистера Кука потешно отвисла, сигара упала из рта, рябь веснушек густо проступила через пудру.

— Я ни в какой мере, глубокоуважающий Надя, жениться не собираюсь. О нет... Это уж очшень слишком... Глюпо, глюпо!

— Ты со мной жил? Жил. Есть свидетели. Я от тебя беременна. Видишь? — И Наденька поднялась, выпятила живот, вызывающе запрокинула голову.

Мистер Кук, брезгливо косясь на чрезмерное чрево вдовицы, засопел, запыхтел, зашептал:

— Колоссаль, колоссаль, о, о!.. — и крикнул сурово: — Но это... это спроектироваль мистер Парчевский! О да, о да!.. Меня не проводишь!! Нет, нет, нет!

Тут мистер Кук залпом выпил стакан смеси виски и рому. Без приглашения выпила рому и Наденька.

— Дурак, — сказала она, слегка пощипывая свою бородавочку. — Владьки Парчевского в то время и не было здесь. А что ты шляешься ко мне — всяк знает. Я судье заявила на другой же день, как ты у меня ночевал. По нашим законам или женись, или в двадцать четыре часа тебя, чужестранца, вышлют, как последнего бродягу... Я вдова исправника и считаюсь по закону — высокопоставленная особа... Понял?

— Вздор, вздор!.. — воскликнул внезапно повеселевший мистер Кук и вытер вспотевший лоб чайной салфеточкой. — О нет! Меня не прово́дишь. У вас был муж, сам исправник, ребенок регистрируется за мужем. Факт!

— Дурак мериканский!.. Мы с мужем девять лет жили, да детей не было. Нет, брат, ты не виляй заграничным хвостом, а то хуже будет.

— Вздор, абсурд! А вот станем собрать эксперт! Пусть экспертиза маленечко установится, чей родится сынка: американский подданный или полячочек?..

Туча притворной суровости Наденьки лопнула, сразу пробрызнул ее темперамент: наморщив чуть вздернутый нос, она рассыпалась хохотом.

— Ну и дурак ты, Кукиш! Вот дурак! И откуда ж ты знаешь, что сын родится? А может быть — дочка...

Руки мистера Кука тряслись, сердце ныло. Он тщетно искал по карманам пижамы платок, потерянным голосом приказал лакею:

— Ифан!.. Трапочка, трапочка. Немножко сморкать.

— Значит, миленький мой, завтра ты переедешь не к Громовой, а в мой собственный дом. Так и знай... Понял?

Нос мистера Кука стал уныло высвистывать, заглушая писк самовара, а в покрытых слезами глазах загорелось упорство, отчаянье. Мистер Кук опять выпил виски, замотал головой и зажмурился. В голове кавардак, мельканье нахальных глаз Гарри и укорчивый зов миссис Нины. Простодушное сердце Ивана сразу почуяло душевную скорбь мистера Кука, Ивану стало жаль барина. «И что она вяжется к нам?»

Меж тем захмелевшая Наденька подсела рядом к пьяному мистеру Куку, обвила его ручкой за талию, поцеловала в висок (а в виске молоточком бил живчик).

— Милый мой, дурачок мой, — ворковала она, выпуская незримые когти, как кошка на мышь. — А жить с тобой станем мы радостно. Я очень веселая, ты веселый. А капиталы у меня есть, на наш век хватит... Ну так как, миленок? А?..

Мистер Кук сидел ледяным истуканом, сжав в прямую линию рот, приводил в порядок чувства и мысли. «Ага, ага... Выход есть. Надо сейчас же

отделаться от этой очшень хитренькой рюська коровы».

— Я очшень женат. У меня две дети там, в Америке...

— Врешь, врешь! Я твои документы видела. Ты холостой...

— Факт!.. Но я ни в какой мере не желаю быть отцом чужой деточка. Вам делал большуща амур мистер Парчевский, он докладывал мне свой секрет — так, пожалюста, адресовайтесь к нему. Фи, гадость!

Мистер Кук сморщился и громоносно чихнул.

— Ну, а если б я не была беременна? Тогда женился бы на мне? Ведь любишь?

— О да! Очшень, очшень люблю вас, миссис Наденька. — И мистер Кук сразу двумя кулаками ударил себя в грудь. — Я — джентльмен!.. О, тогда другой разговор. Но вы очшень слишком беременная, чтоб не сказать более...

Тут Наденька, густо покраснев и замурлыкав песенку, быстро встала, зашла за ширму, выбросила из-под платья с живота подушку и вскоре явилась к столу стройная, с перетянутой талией. Вульгарно прихлопнула мистера Кука по крутому плечу и всхохотала, наморщив свой носик. Мистер Кук обомлел, оттопырил трубкой губы, выпучил бессмысленные, как у барана, глаза и, упираясь в пол пятками, в страхе отъехал от Наденьки прочь на аршин вместе с креслом:

— О, о... Феноменально, пора-зи-тель-но, — все больше и больше балдея, бессмысленно тянул он замирающим шепотом. Голова его упала на грудь, моталась, как у дохлого гуся. Но вдруг, будто окаченный ледяною водой, американец мгновенно вскочил, заорал, затопал: — О мой бог? Аборт?! В моя казенная квартира?! Ифан! Очшень миленький мой! Бегай проворно за мистер судья. Это преступлень, преступлены! Я этого не разрешайт! Мальчишка не мой! Квартир — тоже не мой, казенни... О мой бог, о мой бог!..

Мистер Кук рычал, как старый дог, и, напирая на гостью, потрясал кулаками. Наденька пятилась к двери, боялась, что заморский верзила ударит ее.

Меж тем простодушный Иван, оскорбленный за издевку над барином, выволок из-за ширмы подушку:

— Вот, васкородие, извольте полюбоваться: вот их новорожденное дите, все в пуху, сиськи не просит и не вякает.

Иван во весь рот улыбался, но глаза его — злы.

Мистер Кук, вконец пораженный, посунулся пятками взад, потом вбок, потом — к Наденьке, хлопнул себя по вспотевшему лбу, и только тут к нему возвратилось сознание.

— Вон! — заорал он раскатисто. — Вон!! Иначе — дам бокс!..

— Барин! — орал и лакей. — Исправник померши, свидетелев нет. Приурежьте ее со временем по шее, да под зад коленом. Мадам, не извольте охальничать, прошу честь честью.

В глазах Наденьки взъярился звереныш, она сгребла со стола накатанный на палку тугой рулон чертежей и, завизжав, грузно ошарашила по лбу рулоном сначала мистера Кука, а затем и лакея. Мистер Кук покачнулся и мягко сел на пол. Лакей схватился за лоб, двигал ушами, а Наденька, громко рыдая, спешила домой.

На другой день мистер Кук с лакеем Иваном водворились в апартаментах Громовых. Однако нелепые грезы американца-мечтателя, этого Дон-Кихота в кавычках, впоследствии оказались напрасными: миссис Нине назначено быть до конца своих дней одинокой. Будь проклята хиромантия, будь проклят Гарри и все прорицатели судеб людских!

8

Угрюм-река еще не замерзла, вдоль реки клочьями расползлись туманы: вода остывала, по воде шла зябкая дрожь.

Общая обстановка, если в данный момент повести широким взором по горизонту, такова:

На Угрюм-реке — полночь. В Питере — шесть часов вечера. В церкви резиденции «Громово» гроб чрез-

мерно большой и гроб обыкновенный. В большом — в парчовом облачении покоится дьякон Ферапонт. В другом гробу — голова Федора Степаныча Амбреева и приставленное к ней чучело в полной парадной форме, в крестах и медалях. Пол усыпан можжевельником. Церковь пуста. Мерцают, о чем-то грустя в тишайшем мраке, очи лампад.

Илья Петрович Сохатых, удачно выдавив угри на своем жирненьком бабьем личике, подсчитывает убытки от несостоявшегося в сей день крещения сына. Феврония Сидоровна кормит ребенка грудью. Но оттого, что мать тоже сильно опечалена отсрочкой крестин, молоко у нее прогоркло, и некрещеный младенец Александр ревет во все тяжкие...

Петр Данилыч, ложась спать с Анной Иннокентьевной, коленопреклоненно молит бога, чтоб непокорный Прошка, сын его, поскорее и покрепче сошел с ума. Но у Петра Данилыча у самого в глазах неладно, и молитва его напоминает бред безумного.

Купец Алтынов там, в Питере, только что пообедал с пышнотелой своей метрессой Авдотьей Фоминишной Праховой. Вот всхрапнут часочек и поедут в Мариинский театр на «Риголетто». Снимая сапоги, Алтынов икнул, рассмеялся:

— А и ловко же мои молодцы отканифолили этого самого франта из Сибири... Как его?.. Прошку Громова... Ведь он спился, сошел с ума и разорен.

— Ах, не вспоминай его ради бога!.. Он такая дрянь!..

— Приперентьев уже там, да и кредиторы пощупают изрядно: от Прошки пух полетит...

Приятельница Авдотьи Фоминишны, шикарная баронесса Замойская, перешла теперь в руки вновь испеченного золотопромышленника Приперентьева (он же — шулер, лейтенант Чупрынников). Она собирается в отъезд на Угрюм-реку. А в данную минуту, одетая по последней парижской модели Ворта, она катит на лихаче с прощальными визитами к знакомым. «Гэп, гэп!» — несет лихач. И только лишь купец Алтынов сладко закатил глаза — звонок...

Великолепный Парчевский, командированный вместо Абросимова, развалясь в купе первого класса, едет в Санкт-Петербург, чтоб вершить там дела пани Нины. А Приперентьев — обрюзгший картежник, новый рвач и делец — сидит сейчас волею судеб на обширном совещании у владетельной Громовой. Совещание началось ровно в восемь.

Ну, кто еще? Дай бог память... Блестящий академик, отец Александр, получил приказ консистории явиться к владыке. В частном же письме сообщалось священнику, что он будет предан духовному суду за «высокомерие, суемудрие и непристойный сану либерализм, якобы проявленный отцом Александром в деле расстрела рабочих».

Ибрагим-Оглы со своей шайкой где-то неподалеку, у костров: ждет, когда встряхнется, тревожно каркнет чуткий ворон... Новый пристав-холостяк безмятежно похрапывает на пуховиках в квартире следователя. Урядники пьянствуют на именинах товарища. Казаки непробудно спят. Но где-то бодрствует во тьме рука исполина-мстителя, рука сечет о кремень Истории сталью, искры брызжут в мрак...

Кто же еще? Отец Ипат — в могиле. Одноногий Федотыч отчаянно храпит в своей каморке на башне «Гляди в оба». Расстрелянные рабочие мирно лежат в кровавых гробах. Филька Шкворень, все еще покачиваясь под водой, без конца раскланивается со своим соседом. У соседа Тузика чрезмерно раздувшаяся от воды утроба готова лопнуть. В небе месяц. В мире ветер. Полночь.

Нина Яковлевна с болезнью мужа забрала в свои руки все бразды правления огромных и сложных предприятий. Мистер Кук, да и все инженеры побаиваются ее, пожалуй, немногим меньше, чем самого Прохора Петровича.

Сейчас на заседании около тридцати человек. Заседание протекает в строгих деловых тонах. Заслушивается доклад инженера Абросимова о передаче

прииска «Нового» новым владельцам. Заседание, вероятно, затянется до глубокой ночи.

Адольф Генрихович Апперцепциус чувствует себя плохо, спит в мезонине. Чрез каждые полчаса к Нине подходят то Тихон, то Петр, то Кузьма с докладом, как ведет себя больной Прохор Петрович.

Прежде чем направиться на заседание, утомленная, взвинченная Нина зашла в будуар, натерла виски и за ушами одеколоном, на минутку присела в высокое кресло и закрыла глаза.

Треволненья последних дней окончательно закружили ее, лишили сил. «Бедный, бедный Андрей... Несчастный Прохор!..» — удрученно шептала она. Эти две мысли, пересекаясь в душе, пронзали ее сердце, как стрелы. Третья же, самая главная мысль — что будет с нею, когда не станет мужа, стояла вдали в каком-то желто-сизом тумане. Нина боялась прикоснуться к ней, подойти вплотную, заглянуть в свои ближайшие темные дни. Она только слегка прислушивалась к самой себе, усилием воли заставляла себя смотреть в будущее бодро и смело. Но всякий раз ее воля ломалась о подплывавшие к ней факты жизни, и тогда всю ее обволакивала смертная тоска.

Вот и теперь: лишь закрыла глаза, встал перед нею гневный, но такой близкий, родной Протасов. Она вдруг припомнила весь свой разговор с ним там, у костра, на опушке леса. Разговор о цели существования, о путях жизни, о проклятом богатстве. Разговор последний — разговор трагический и для нее и для него.

Да, Протасов был, кажется, прав: надо забыть себя, надо отречься от богатства, в первую голову — спасти Андрея, и вместе с ним отдать жизнь свою на благо трудового народа. Так в чем же дело?

Нина открыла глаза. Губы ее вдруг горестно задрожали. Однако она поборола в себе душевную скорбь, нюхнула нашатырного спирта и расслабленно откинулась на спинку высокого кресла, как мертвая.

— Но пойми, Андрей! Я не могу, не могу этого сделать! — отчаянно выкрикнула она в пространство.— Я скверная, я ничтожная, я не способна на

подвиг! — Сильный всхлип, лицо скоробила спазма, глаза стали мокрыми, жалкими.

«Заседание. Надо спешить!» Она поднялась, освежила лицо и, взнуздав силу воли, твердо сказала себе:

— Кончено! Брошу все дела. Уеду к нему, к Андрею. Завтра же надо переговорить с Приперентьевым: может быть, акционерное общество возьмет в аренду предприятия мужа года на два, на три.

Она знала, что здоровье Прохора пошатнулось надолго. Глаза Нины красны, сердце пошло вперебой: ей было физически больно, она схватилась за грудь, вновь присела.

«Ах, как все ужасно складывается, — растерянно думала она. — Ну что ж я могу поделать со своей натурой? Боже мой, боже мой, как это мучительно! Но ведь я же христианка, я должна быть твердой, должна удары судьбы принимать как испытание. Да, да!.. А капиталы мои все тают и тают, текут, уменьшаются. Дура я, баба я! Я ничего не умею делать, я не могу руководить работами. Я разоряю себя и детей. Ведь у меня же под сердцем второй ребенок... А какое я имею право делать своих детей нищими? Нет, нет!.. Это было бы преступлением против них. Я отвечу за это богу. Нет, довольно! Я больше не могу, я не вправе играть в благотворительность. Кончено! И что бы я ни делала, какими бы пряниками ни кормила рабочих, все равно — я это прекрасно знаю — рабочие будут смотреть на меня, как на врага, в лучшем же случае — как на полудурка-барыню». — И снова из груди Нины вырвался всхлип. Буря внутренних противоречий томила ее всю. Печальный образ Протасова с улыбкой язвительного сарказма на губах проплыл в ничто. Нина, рискуя испортить прическу, схватилась за голову, и ей показалось, что нет для нее никакого просвета.

— Я дура, я противная!.. Я не могу, я не могу!.. — раздраженно притопывала она точеным каблучком в распростертую под ногами шкуру белого медведя. Медведь устрашающе скалил красную пасть, сверкал желтыми глазами, а измученной Нине представля-

лось, что он так же, как и Протасов, горько насмехался над ней.

В дверь постучали.

— Да, да.

— Нина Яковлевна, позвольте просить вас на заседание, — каблук в каблук и вытянув руки по швам, склонился в дверях молодой секретарь Приперентьева, питерский жох Мальчикин-Пальчикин.

Прохор Петрович с мальчишеской ухмылкой вскочил с ложа, погрозил пальцем и запер в залу дверь. Затем взял зонтик, опять поставил на прежнее место. Взял чернильницу, поставил на место. Взял халат и не знал, что делать с ним. «Ага... Да, да». Надел. Раздвинув ноги, как циркуль, он утвердился среди кабинета; что-то соображал. Постоял так минуты три, ударил себя по лбу, заглянул в маленькую дежурную пред кабинетом. Там три лакея: Тихон с Петром играют в шашки, Кузьма дремлет, склонив голову на грудь.

Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца. «Гости идут», — сказала не то Синильга, не то сердце Прохора. Он подпоясал халат шелковым поясом, надел золотом шитые туфли, стал устанавливать рядами возле кушетки кресла и стулья.

Его горящие глаза к чему-то прислушивались, уши что-то видели: иллюзия звуков вырастала в красочные образы, а зримые краски начинали звучать.

...Звякнуло-брякнуло колечко. Прохор видит ухом, слышит глазом: звякнуло колечко — стали гости входить. Хозяин встречал их приветливо, жал руки, усаживал, с иными же только раскланивался, и всех упрашивал говорить шепотом, чтоб не подслушал лакей. Гостей было множество. Уже не хватало места, где сесть, они же все прибывали чрез двери, чрез окна, чрез хайло пылавшего камина.

В передних рядах: губернатор Перетряхни-Островский, барон фон Пфеффер, прокурор Черношварц, гусар Приперентьев под ручку со своим двойником лейтенантом Чупрынниковым, еще два наглейших

обидчика Прохора — купец Алтынов и его управляющий Усачев (он больно бил Прохора в Питере), еще — мясистая Дунька, Авдотья Фоминишна, хипесница. И — прочие.

— Вы, господа, меня не бойтесь, не стесняйтесь: я все вам простил, забыл все обиды ваши, — шептал Прохор Петрович, жестикулируя, и вдруг выкрикнул: — Тихон! Скамейку под ножки Авдотьи Фоминишны, сводницы!

Тихон выдвинулся зыбкой тенью из книжного шкафа, как бы взял скамейку, как бы поставил ее куда надо и, поклонившись Прохору, как бы исчез.

— Милостивые государи, — зашептал в пространство сидевший на кушетке Прохор. — Я, в сущности, пригласил вас вот зачем... Я ненавижу себя, ненавижу мир, и мир ненавидит меня. Помните, помните мой юбилей? Ну вот, спасибо. Я так и сказал тогда. А теперь я хочу... я мыслю... позвольте, позвольте... Да-да-да!.. А теперь я всеми забыт, всеми покинут, я очень несчастлив, господа...

Прохор Петрович всунул руки в рукава, опустил низко голову, обиженно замигал, а все гости вздохнули. Собачонка Клико соскочила с колен губернатора, прыгнула к Прохору и, вся извиваясь, ласково стала лизать его в щеки, в бороду, в нос.

— Ах, милая, родная собачка, — начал вышептывать растроганный Прохор Петрович. — Живешь ты без всякой ответственности за свои поступки, без всяких душевных мук. Как я завидую тебе, милая собачка. Будь здорова!.. — Прохор Петрович захлебнулся горестным вздохом, а баронесса Замойская, поправив обруч-змейку на своей прическе, из проносившегося экипажа швырнула словами: «Как не стыдно! Русский богатырь, и — хнычет». («Гэп-гэп», — промчал лихач.) Борода Прохора затряслась, он отвернулся и, сдерживая всхлипы, шептал:

— Ничего, ничего. Милая собачка, не обращай на меня внимания. Это пройдет, пройдет. Это я так... нервы.

Тут Прохор Петрович услышал — гости насмешливо стали шептаться, раздался идиотский смешок,

а Приперентьев с Чупрынниковым в один голос крикнули: «Он прогорел, он банкрот, его карта бита!» Но генерал Перетряхни-Островский грозно стукнул в пол шпагой: «Господа шулера, без намеков, бе-е-з намеков!.. Прошу не обижать хозяина». Тогда у Прохора Петровича увлажнились глаза, он вытер лицо рукавом халата, сказал: — Ваше превосходительство! Защитите меня также от врача Апперцепциуса, еще от Нины, жены моей. Я очень сожалею, ваше превосходительство, что в тот раз не зарезал ее бритвой. А вам, генерал, я назначаю в благодарность мешок золота...

И внесено было золотых мешков огромное множество. Весь кабинет залит золотом. Всюду брякали золотые червонцы, сыпалось золото, звяк оглушал, разрывал черепную коробку. Резкая боль в голове, и нечем дышать: всюду золото, золото, золото... Прохору тесно и душно. И больно.

— Вот видите, господа, сколь я богат. Я не понимаю, о каком же крахе здесь речь? — задыхаясь, сказал он, и, чтоб умерить непереносную боль, он ударился затылком о стену.

Тут собачка Клико вновь подъелозилась к Прохору и с великой нежностью облизала его, перевернулась кверху брюшком, заюлила, забрякала хвостиком. У Прохора Петровича опять затряслась борода. Он подхватил собачонку, умильно стал целовать ее в носульку, в хвост и в глаза.

А Тихон, выглядывая в приоткрытую дверь, говорил Кузьме с Петром:

— Ишь руки свои целует, барин-то наш. Глянь, как сморщился.

— Тихон Иваныч, а ведь плачет барин-то, — удивился Кузьма.

— Пущай плачет. Лишь бы не буйствовал...

Гости меж тем приступили к хозяину с просьбой рассказать им про жизнь, про судьбу его: как он рос, как женился, как взошел на вершину могущества.

— Ну что ж! Очень рад, очень рад, господа. — И Прохор Петрович вздохнул. — Моя жизнь, господа, была в общем с самого детства несчастна...

Что ж рассказать вам?.. Да! Вы знаете? Недавно поехал я на работы. И что же я вижу, господа? Везде на моих работах чужие хозяева. Прииск «Новый» теперь не мой... Бывало, Федотыч... знаете, старик такой с деревяшкой?.. Бывало, как намоют пуд золота, он и бухнет из пушки... Я давал ему за это большой стакан водки. Да-да. Эх, господа, выпить бы нам! А теперь пушка моя молчит, Федотыч дремлет на улице. Зато они палят в свою пушку, на прииске «Новом»... Они, они! Я ведь знаю. Прииск мой, а золото ихнее. И все теперь ихнее. Обидно, очень обидно это, господа...

Верный Тихон пошлепал паркетами докладывать барыне.

А у барыни шло заседание. Нина Яковлевна чрезмерно встревожена и нервно устала. По ходу разбиравшихся дел выплыл вопрос об общем финансовом состоянии громовских предприятий. Разговоры шли долго. И, к великому огорчению Нины, ей стали доказывать с очевидною ясностью: дела ее мужа запутаны так, что их трудно поправить... Но почему, почему?!

— А изволите ль видеть, сударыня...

Нина слушает. В ней напряжен каждый нерв.

Говорит юрисконсульт нового акционерного общества старый хитрец Арзамасов. По поручению Нины и за высокую плату, конечно, он несколько дней просидел над рассмотрением плана текущих работ и денежных дел фирмы Прохора Громова.

— Коммерческое дело, да еще в таком крупном масштабе, как у вас, да в такой дикой, бездорожной стране, — дело, сударыня, весьма трудное, — говорил Арзамасов, то вздыхая сочувственно по адресу Нины, то силясь спрятать мину злорадной насмешки на бритых губах своих. — Тут нужен глаз да глаз, нужна неотрывная бдительность. А Прохор Петрович в самый разгар работ пробыл у этих... как их... у божьих людей... Сколько? Ну вот, полтора месяца. Раз! А потом — болезнь. Два! Ну, и все кувырком. Это уж ясно.

— И что это вашему мужу в голову взбрело? Помните, как он разводил турусы на колесах, будто бы в его предприятия вложены тридцать миллионов? — грубо прерывает Арзамасова бывший шулер бурбон Приперентьев. — Ха! Тридцать миллионов... А попробуй продать, напросишься три...

— Простите, мсье Приперентьев... Спрячьте в карман свои нелепые выводы, — засверкала хозяйка глазами и бриллиантами вдруг задрожавших сережек.— Я и не думаю продавать предприятия мужа. Речь идет об отдаче их в долгосрочную аренду. И только...

— Хотя бы, хотя бы, — распустив свое толстое брюхо, кряхтел Приперентьев.

— Я бы советовал вам, если будет позволено, — говорит Арзамасов своим вкрадчивым голосом, сладко заглядывает в глаза Приперентьеву и с чиновной холодностью в сторону растерявшейся Нины, — я советовал бы вам, сударыня, подрядные работы немедленно закрыть, уплатив неустойку...

— Это нелепость, — прерывает дельца заместитель Протасова инженер Абросимов. — Подрядные работы, Нина Яковлевна, хотя и не в срок, а с большим запозданием, мы все-таки выполним. И вместо миллиона двухсот тысяч неустойки, мы понесем убытку, может быть, всего тысяч... ну, скажем... тысяч двести, от силы — триста.

— Господа, — откинув голову, сказала Нина, взасос затягиваясь папиросой (за последнее время она стала сильно курить). — Все дело будет зависеть от успеха переговоров моих представителей с Московским банком, и в Питере — с купеческим миром. Ежели нам удастся добыть оборотные средства, мы выплывем...

— Ха!.. Купеческим миром, купеческим миром, — продолжая по-хамски вести себя, подает реплику Приперентьев.

Юрисконсульт раболепно подхватывает мысль своего патрона и, угадав ее суть, развивает дальше:

— Извольте ль видеть, сударыня... Купеческий мир, да и вообще мир так называемых крупных дельцов очень шаток, и мощь этого мира сплошь, почти

сплошь под большим знаком вопроса. Например, был Рябинин, уж, кажется, туз, был Рябинин — и нет его...

— Как? Петр Герасимыч помер?!

— Нет, не помер, сударыня, а просто «крахнул». Захворал. Наследники — моты. А тут продолжительная забастовка, фабрики встали, а вскоре и с молоточка пошли. Словом... Как видите, сударыня...

Арзамасов сдернул со лба золотые очки и, как бы сочувствуя Нине, печально развел руками.

— Я, наконец, надеюсь, господа, — сказала взволнованно Нина Яковлевна, — что, после произведенной оценки наших затрат на прииск «Новый», вы расплатитесь со мною сразу, а не в пять сроков, как вы хотели бы...

— Простите, сударыня, — встал и расшаркался большеухий упырь Арзамасов. — По причинам, только что изложенным мною, мы этого сделать никак, никак не можем. У нашего акционерного общества почти весь капитал в обороте. Мы скупили прииски у семи золотопромышленников, мелких и крупных, мы развиваем дело в грандиозных масштабах, сударыня...

— Да, да... Вы развиваете, — вспылила Нина, и носовой платок в ее руках стал виться в веревочку. — Но вы не имеете права отбирать у меня золотоносные участки, открытые моим инженером!..

— Он открыл, а мы остолбили. Ха-ха... Не зевай! — подтянув и вновь распустив брюхо, брякнул нахал Приперентьев; ему было скучно, отечное лицо его смято, геморроидально, глаза подремывали.

— Да, сударыня. К сожалению вашему, а к нашему благу, мы в этом вопросе, простите, юридически правы. Закон на нашей стороне.

Понукаемый резким и властным взглядом хозяйки, вдруг с горячностью заговорил инженер Абросимов:

— Простите, господин Арзамасов! В этом грязненьком дельце вряд ли вы правы, даже юридически. О моральной же стороне вашего поступка не прихо-

дится и говорить. Это ничем не прикрытый разбой на большой дороге...

— Что-с, что-с?! — будто саблей в пол ударил голосом рвач Приперентьев, и губы его искривились в гримасе презрения.

— Постойте, дайте мне кончить! — по-таежному грубо крикнул инженер Абросимов. — Нам эти участки слишком дорого стоят. Во всяком случае, мы с вами будем по этому темному делу объясняться в суде.

Юрисконсульт Арзамасов, подперев подбородок сухим кулаком, сердито поджал тонкие губы и уставился на Абросимова, как на цыпленка ястреб-стервятник.

— Ой, проиграете, ой, проиграете, — нараспев, с торжествующей интонацией, протянул юрисконсульт. — Мы перенесем дело в Санкт-Петербург и... будьте уверены...

— Не знаю, не знаю, — замялся Абросимов. — Во всяком случае, у нас есть свидетели. А у вас кто?

— Какие свидетели?—бесцеремонно почесал себе спину и сладко зевнул во весь рот Приперентьев.

Этот невежливый жест показался хозяйке слишком нахальным. Взвинченным голосом, не в силах сдержать себя, Нина резко сказала:

— Вы, милостивый государь, спрашиваете, какие свидетели? Я вам отвечаю: горный инженер Александр Образцов, открывший те золотоносные участки. Вот кто! К вашему сведению, мсье Приперентьев... И вообще... знаете... Вам, кажется, хочется спать?.. Не желаете ль прилечь на диван?

— Нет, спасибо, — опять позевнув, ответил Приперентьев. — Но дело в том, что вышеозначенный инженер Образцов вчера подписал договор о переходе на службу к нам.

— Ах, вот даже как! — И щеки Нины вдруг покрылись красными пятнами. — Нет-с! Нет-с, — дважды пристукнула она в стол ладонью. — Золотоносные участки наши, они открыты нами, я их вам не отдам ни в жизнь!

— Были ваши, да сплыли, — пробасил Приперентьев, и пучеглазое лицо его сделалось злым. — Прииск «Новый» тоже когда-то был мой, а ваш благоверный оттягал его, ограбил меня... Вам известно это, мадам? Знаете, господа, сколько Громов давал мне за прииск? Тысячу рублей, ей-богу, ей-богу, ха-ха!.. А потом и так отобрал. Ну вот вам... Тогда он меня стукнул, а теперь я его. Вот и квиты, ха, ха... А вы, мадам, петушитесь. Напрасно, напрасно-с, мадам...

Тут вошел Тихон, на цыпочках приблизился к барыне и, поклевывая носом в драгоценную сережку, зашептал:

— Барин вполне приличны-с. Поставили возле кушетки стулья с креслами, а сами на кушетку изволили сесть. Рассуждают ручками и что-то негромко говорят.

— Надо бы Адольфа Генриховича...

— Будил-с. Запершись. Три раза стучал. Они завсегда очень крепко почивают...

Тихон уходит. Нина встает, говорит:

— Простите, господа... Я на одну минуту, — и тоже уходит. Утомленная, растерянная, Нина направилась в свой кабинет, горничная подала ей стакан холодной воды и портвейну. Нина села, закрыла глаза, стараясь призвать на душу спокойствие, но речи врагов все еще продолжали звучать в ее угнетенном сознании. Освежившись водой и портвейном, Нина погрузилась в раздумье... Как жаль, что муж ее болен. От одного его взгляда, наверное, смолкли бы эти разбойники. Он знал бы, что надо делать, он устранил бы опасность, он, как всегда, сумел бы и на этот раз стать победителем. Да, Прохор всесилен!..

И дальше — женская логика, идущая не от ума, а от сердца, пролагает путаный путь к инженеру Протасову. Ведь это он вел работы за время отсутствия мужа, ведь сколько ухлопано денег зря, на ветер, в угоду каким-то идеям и в непоправимый ущерб общим коммерческим делам. И вот результаты! «Так неужели милейший Андрей желал просто-напросто под благовидным предлогом разорить все дела, чтоб

насильственно вырвать ее из противной ему обстановки?»

Тут мысль ее леденела, а сердце скакало вспотык по ухабам собственной раздернутой надвое жизни...

Она приказала горничной позвать инженера Абросимова. Смягчая свой обозлившийся голос, сказала ему:

— Вот что, господин Абросимов. Я твердо решила все глупые свои затеи бросить. Теперь не до этого. Баня недоделана, школа недоделана, и черт с ними! Завтра же все мои работы приказываю прекратить. Рабочих перевести на общее положение с прочими. А недовольных немедленно же уволить, без всяких послаблений... Поняли? А и хорош гусь этот щенок, Сашка Образцов.

9

В бухарском халате, в золотых туфлях Прохор Петрович сидит на кушетке, и против него — гости. Их много: званых и незваных. Они все еще слетаются, как на маяк ночные птицы, выплывают из воздуха, падают с потолка, будто акробаты в цирке, чопорно садятся в кресла, иные же — прямо на пол.

Прохор Петрович ничуть не удивляется: все так понятно, так просто. Он ведет беседу с призраками, как с живыми: ему с каждым и со всеми нужно переговорить, он сейчас в хорошем настроении. Вот только этот старый болван Тихон то и дело сует свою лысую башку в дверь кабинета. Прохор отлично знает, что Тихон фискалит Нине, поэтому, чтоб не подслушал хам, он продолжает беседовать с гостями шепотом, сдержанно жестикулируя, а когда хам заглядывает в дверь, Прохор смолкает, смиренно поджимает руки в рукава, ловко притворяясь, что в комнате нет никого, что кресла пусты и что ему, Прохору, просто пришла фантазия наставить мебель полукругом возле кушетки. Что ж, разве он не вправе сделать это?

— Могу я или не могу? Могу или не могу?! — кричит он на вошедшего Тихона.

— Так точно, барин, можете, — топчется непонимающе Тихон.

Сидя на кушетке и зорко наблюдая за Тихоном, Прохор думает: «Интересно знать, видит он моих гостей или нет? Или только прикидывается, что не видит».

— Ты не мешай мне, старый дурак. Не шляйся! — опять кричит он. — Видишь, я занят делом. Ведомости проверяю... Я один. Так и скажи ей. А доктора, ежели придет, гони в шею: гости у меня. Ступай!

Тихон, опустив голову, медленно проходит из кабинета в коридор.

...И проходят долгие сроки. В замкнутом мире больного время шло быстро — в галоп, в карьер: минуты неслись, как часы, часы вырастали в годы.

И грезятся Прохору в туманных обрывках картины минувшего, именно то, что лежит на душе его камнем. Вот видит — бурю огня. То тайга жарко пылает, и пламя грозится пожрать все дела его. Вот там, из угла, где часы, шагают толпы рабочих, шумят: «Предатель, клятвопреступник! Мы спасли тебя от пожара, ты всего наобещал и обманул нас!» То видит безумец картину расстрела. Выстрелы, выстрелы, залпы: рабочие падают.

— Стреляй их, подлецов, стреляй! — горланит рехнувшийся Прохор, вскакивает на кушетку; глаза в страхе и в злобе, волосы дыбором, его треплет дрожь, он сплевывает густые, одолевающие его слюни.

Но вот, пых-трах: мрачная картина гаснет.

Юбилейный, какого мир не видел, бал. Блеск хрустальных люстр, изысканная пышность туалетов. Могущественный Прохор Петрович, скрестив руки на груди, говорит торжественное слово. Широко открыв глаза, болящий Прохор молча любуется собой, произносящим речь. — Глядите, глядите, — шепчет он сегодняшним гостям и тычет пальцем в пустоту, в себя — другого. Он любуется собой со стороны.

— Видите, он во фраке, в сорочке, он чисто вымыт, от него пахнет духами. Борода его подстрижена, и щеки выбриты... Вот, господа, каким я был... А теперь... а теперь я... грязный... — В его глазах — горькая жалость к себе. — Слушайте, что говорит

тот Прохор, настоящий... Не я, а тот. Слушайте, слушайте...

Прохор Петрович — во фраке — задыхался от слов, от мыслей, от бурных ударов сердца. Задыхался и Прохор — в халате — от терзавшей его болезни.

— Ровно чрез десять лет, — говорит величавый Прохор Петрович во фраке, — я сумею взойти на вершину славы и могущества. Я буду полным владыкой этого края... Но я чувствую: смерть идет на меня. Не хочу умирать!

— «Умрешь, умрешь!» — закричали стены, закричали окна, потолок. — «Умрешь!» — закричали гости. «Убивец! Клятвопреступник! — вскочил со стула гость-отец и застучал в пол палкой: — Смерть ему!»

Подобрав полы халата, Прохор спрыгнул с кушетки, зашатался как пьяный.

— Эй, Шкворень, исправник, казаки! Гоните всех вон. Я здоров... Жгите это логово помешанных!.. Нина, доктор!

В мозг безумного Прохора вломилось сознание: он окинул здравым взором пустынный кабинет и никого не нашел — ни гостей, ни отца.

— Господи! Что же это? — резким стоном разорвал он глубокое молчание, простирая вперед руки. Он искал Нину, искал живого человека, но кругом — пустыня. — Боже мой, боже мой! Какая галиматья лезет мне в башку! Галлюцинация, вздор, виденица.

В ответ — визгливый, раздернутый хохот, подобный ржанью жеребчиков, и — шорохи, а в шорохах — верезг осы.

Мозг Прохора Петровича сгорал, распадался. Сумбурная злая нелепица в его воображении крепла.

Безумец, в предчувствии какой-то беды, напряг душу, прижался к стене. И вдруг увидал — пересекая простор, к нему быстро полз небывало огромных размеров удав. Черная с желтыми пятнами кожа осклизла, лоснилась сыростью. Прохор съежился, замер. Глаза злобного гада взъярились; молниеносно он бросился к Прохору, вскинул тупую башку к лицу человека, дыхнул смрадом и кашлянул. Прохор выкрикнул: «Ай», — не помня себя, ударил удава по морде

и бросился к двери, к другой, к третьей; но все двери мгновенно скрывались; он — к окну, он — к другому, исчезали и окна. А змеища поспешно за ним: вот схватит, вот схватит... — Люди, Тихон! — С пронзительным воплем, подобным визгу свиньи под ножом, Прохор кидался на стены, бежал, падал, бежал, опрокидывал мебель. Наконец изнемог, повалился, как падаль, в ряд с мертвецами: весь пол кабинета покрыт смердящими трупами. От трупного запаха Прохору сделалось тошно. Возле него с простреленной грудью распростертый Фарков. — «Старик, страшно мне, страшно!» — Тихий Фарков ударил Прохора взглядом, угрюмо зажмурился, молвил: — «Ребята, подвиньтесь чуть-чуть, дайте местечко хозяину, ведь он расстрелял нас». — Прохор с разбегу вскочил на кушетку, забормотал перхающим голосом:

— Господи! Виденица... Что за вздор! В кабинете... покойники... Тихон! Микстуры! Горчичников!.. Ванну!

Но ветер гулял, хлопали окна, шалили сумбурчики, стужа лезла под рубаху, под кожу, под череп Прохора Громова.

Со всех сторон пер, нарастал потрясающий ужас.

Вот топот и ржанье, и звяк копыт: ворвался табун бешеных коней и скачет по трупам прямо на Прохора, скачет, храпит, ржет, скалит железные зубы. И — прямо на Прохора! Вот стопчут, раздавят. Надо пятиться, пятиться прочь, иначе — от Прохора — дрызг, и мозг вылетит. Но пятиться некуда: сзади стена.

Прохор Петрович дыбом на кушетке, руки раскинуты в стороны, он как бы распял себя на стене, затылок хлещется в стену. А кони все скачут, — их сотни, их тысячи, — скачут вперед и назад, вперед и назад и, повернувшись, мертвою лавой прямо на Прохора... Сме-е-рррть!.. С грохотом, с визгом, бьют копытами воздух, грызут удила, вот стопчут, вот стопчут, от топота стонет-трясется весь мир. И нет пощады безумному Прохору — сзади стена!..

Так где же, так где же спасение?!

Прохор стоял на грани могилы: он терял жизнь и сознание. «Спасите, мне страшно», — шептал он сухими губами. Хоть бы глоток студеной воды, или

воздуху, или хлопнул бы кто-нибудь дверью. «Милая, милая мама...» Но все двери исчезли, а матери нет, и нет ниоткуда защиты.

— «Батюшка барин, очнитесь, — послышался веселенький, словно бубенчик, голос собачки. — Не бойтесь, пожалуйста, это я, собачонка. Тяф-тяф».

— Клико, это ты?

— «Так точно. Я самая. Тяф!.. Барин голубчик, не бойтесь: жизнь ваша кончена. А к вам идут родные-знакомые ваши. Тяф-тяф-тяф...»

Тут собачка Клико подъелозилась к Прохору, заюлила, заползала, успела лизнуть в опаленные губы, и в сердце, и в свихнувшийся мозг... Ей стало вдруг скучно, ей стало вдруг страшно (так грезилось Прохору), она мордочку вверх, поискала слезливую ноту, завыла тоскливо и жалобно. Он взглянул на нее, восскорбел, запрокинул кудластую голову, содрогнулся и тоже завыл. Так выли в два голоса человек и невидимый песик. Гортань человека сотрясалась звериными хрипами, волосатый рот полон слюны, сбитой в пену, пена запачкала бороду — умирающий зверь, лишенный рассудка, издыхал навсегда в бывшем Прохоре Громове. «Вечная память, вечная память, — выскуливал жалкий невидимый песик, — батюшка барин, идут...»

Портьера задергалась, вход в другой мир распахнулся, Прохор Петрович вдруг ожил, передвинулся жизнью в жизнь. Вошли Нина и доктор, и другой доктор, и отец Александр, и старенький попик Ипат верхом на шершавой кобылке, весь в снегу, — должно быть, «брал город». Нина в белом, со звездою во лбу. Отец Александр в горящем, как небесный закат, облачении. А сзади вошедших, замыкая просторы, когда-то убитые Прохором, ныне ожившие рабочие, и убитый Константин Фарков, и убитый дьякон Ферапонт, и тот самый губастый парень ямщик Савоська, которого убил Прохор не топором, а мыслью, желанием убить его.

— Братцы, простите меня... — сказал Прохор Петрович, борода его затряслась, по желтым щекам — градом слезы.

Эти слова родились не в уме, а в сердце бывшего Прохора; они шли от самого сердца, они как бы светились голубоватыми вспышками. «Братцы, простите меня...»

— «Милый Прохор!» — нежным голосом, как шепот степных ковылей, сказала Нина. Припав к ее плечу, Прохор тихо завсхлипывал. Он уже успел позабыть только что пережитое: пред ним лишь Нина, лишь распятая жизнь его, пред ним последние, самые страшные, самые тихие грани безумия. — «Милый Прохор, начинай жизнь по-новому».

— Нина! Мне *нет* новых путей... Лишь бы *найти* хоть поганенький *выход*. Эх, жизнь!.. Нина! Я все отдаю тебе... Все, все, все. Ничего мне не нужно, ни славы, ни богатства. Ой, дайте мне воздуху!.. Трудно дышать... Окно! Окно! Воздуху!.. — Прохор облизнулся и сплюнул. И все облизнулись, все сплюнули.

— «Иди за мной», — сказала Нина и чрез окно, как легкое видение, выпорхнула на улицу подобно крылатой птице. Как неуклюжий медведь, вылез за нею и Прохор.

— Нина, родная, душа моя! Зачем ты сделала меня безумным?

— «Ты с башни передашь мне все, милый мой Прохор».

И вот идут торопливо, взявшись за руки. В душе Прохора боролись глубокие противоречия, но он теперь не замечал их глубины, и мысль скользила по ним, как по плоскому зеркалу. Он шел бездумно, подобно лунатику.

В небе месяц, в мире ветер. От месяца светло и жарко, от ветра веют полы халата, и одежды Нины вздуваются, как парус.

— Нина...

— «Не надо Нины... Не зови, не ищи... Я верная твоя Анфиса».

И видит Прохор — рука в руку идут они с Анфисой. Он видит прекрасную ее голову с тяжелыми косами льняных волос. Голова голубеет, брови чернеют, из виска на рубашку — кровь.

Было без двадцати минут три. А они уж на самой вершине башни. Умирала ночь. За горизонтами готовилось утро. Прохор дрожал холодной дрожью. Холод кругом и сияние жаркого месяца. В душе пожар, в душе горит тайга и не сгорает.

Под Прохором, стоявшим на башне, лежал весь мир и протекала угрюмая Жизнь-река. Над Угрюм-рекой, как белые бороды, трепетали туманы. Прохор глянул вниз, и голова его закружилась.

По берегам реки — люди. Они махали фонарями, невнятно переговаривались между собою.

Слышит глазом, видит ухом — мелькают во тьме фонари, люди кого-то ищут.

— «Бросайся со мной вниз, к людям, — шепчет сладко Анфиса, и меж обольстительных губ сверкают в улыбке белые зубы. — Бросайся... Ну!»

— Зачем, зачем?.. — стонет безумный Прохор.

...— Зачем все это, зачем?.. — в отчаянье говорит и Нина, поспешая по следу мужа.

И голос отца Александра:

— Кто в тяжком горе может утешить, кто может ответить на вопрос: зачем, зачем? Даже у тех нет ответа, кто горячо любил. — Отец Александр взмахнул фонариком и надбавил шагу. — А вы, простите меня, дщерь моя, не чувствовали к супругу своему любви духовной...

— Неправда! — болезненно, в смертельной тоске выкрикивает Нина. Гнет страданий плющит ее в лепешку. Она хочет сказать отцу Александру многое, многое, что в ее сердце, но не может.

Она едва довела ночное заседание и, вся разбитая, полчаса тому назад вошла в свою спальню. И там, при лампадах, вдруг осенила ее неизъяснимая нежность к несчастному Прохору. Ей вдруг стало страшно жаль его, так жаль, как никогда, никогда она не жалела!

И эта высокая любовь, и скорбь, и жалость повергли ее в прах перед иконой. Не имея сил облегчить свою боль слезами, она припадала лбом к полу,

крестилась, громко читала молитвы. Но они лишь шумели словами, как подсохшими листьями, они не трогали чувств, они были бесплодны.

И вот стук в дверь... Сразу выросший страх подхватил ее с земли, как пушинку, и, вся обомлев, она в беспамятстве кидается навстречу резкому стуку доктора.

— Скорей, скорей, Нина Яковлевна! Дело — швах... Прохор Петрович скрылся.

Окно в кабинете настежь, лакеи спят. Свалил сон и внезапно захворавшего старого Тихона.

— Люди!

И быстро во все стороны, кто куда, с фонарями: в проулки, к тайге, по дорогам и к башне.

— Туфля! — радостно вскрикнул Илья Петрович Сохатых. В такие минуты смятения он забыл про свои неудачи с крестинами сына, в такие минуты он всем и все простил. — Золотая туфля Прохора Петровича! — нагнулся, подобрал туфлю и, поблескивая фонариком, услужливо показал ее Нине.

— Надо предполагать, что болящий на башне, — умозаключил отец Александр. — Поспешим.

— Господи! Значит, он босой... В одном халате... — леденея от осеннего холода и душевной оголенности, теряла слова Нина.

— Прохор! Прохор!! — вопрошала она сумрак отчаянным голосом.

Шли поспешно, вздыхали, громко покашливали, чтоб сбить тугое молчанье природы.

Их неожиданно нагнал мистер Кук. Он трезв и встревожен. С ним, видимо, случилось несчастье. В его руке фонарь, в карманах два револьвера, патентованные пилюли против икоты и срочная телеграмма. Тусклый свет фонаря и голубоватые волны луны освещают его растерянное лицо. В прищуренных глазах отблеск душевной муки, в крепко сжатых прямых губах — решимость.

— Миссис Нина! О, какой самый огромный ваше несчасть... Вам очшень трудно путешествовать в такой потьме. Разрешайте, — нервно, приподнято сказал мистер Кук и взял Нину под руку.

— Спасибо, друг мой, — благодарно и грустно ответила Нина, ускоряя свой шаг. — Эта ночь для меня прямо ужасна. Все думаю: «Это сон, это сон», — и никак проснуться не могу.

— Миссис Нина! Я с этой момент больше не американски подданный, я ваш подданный до самая смерть.

— Благодарю вас, милый Кук... Спасибо, спасибо.

— Я самый близкий дня должен ехать в Нью-Йорк. Я только что получил эстафет, мой мамашенька очшень больной. — Мистер Кук передохнул, густые рыжие брови его взлетели на лоб, он выпучил в голубоватую тьму глаза и, ничего не видя перед собой, захлебнулся словами: — Миссис Нина! Я накопил здесь двадцать тысяч рублей. Половину всего я завтра же, завтра же передаю в ваше распоряжень для бедная народа. О да, о да!.. Решенье мое непоколебим... — Порывисто задышав, он повернул лицо к Нине: — Миссис Нина! Я вас незабвенно люблю... Как чистейшую, очшень лючшую женщин, как... как... как...

Нина необычайно удивилась. «До чего легко он... Половину всего, что накопил таким большим трудом». И больно упрекнула себя.

— Дорогой, хороший Кук! Я вас тоже люблю, давно люблю искренне. И спасибо вам за щедрое пожертвование ваше. Спасибо, милый мистер Кук! Вот только бы бог помог найти поскорее моего несчастного Прохора. О, боже мой!.. Я схожу с ума...

У мистера Кука задрожал подбородок. Он осторожно высвободил руку и вытер платком мокрые от слез глаза.

— Миссис Нина, — сказал он сорвавшимся голосом и почему-то покачал фонарем. — Надо надеяться, что мистер Громофф вполне благополученный... И надо надеяться, мы никогда, миссис Нина, больше не встретимся с вами. О, это совсем ужасно! — Уронив фонарь, мистер Кук приостановился и закрыл лицо холодными ладонями.

Нина Яковлевна растрогалась. Ее согревало живое участие к ней мистера Кука.

— Не печальтесь! Пойдемте скорей: мы отстали. — надсадно вздохнув, сказала она.

Три фонарика щурились впереди. Со стороны поселка вдруг послышался дружный, затушеванный расстоянием лай собак.

— Опять туфля! Вторая! — еще радостней выкрикнул Илья Сохатых, словно он сорвал с пана Парчевского крупненький карточный куш.

Башня перла к небу. Из каморки пушкаря с деревянной ногой долетал сонный, трескучий храп. Медная пушка, тускло светясь под месяцем, скалила в небо черный, глупо улыбчивый зев.

В башне темно. На самой верхней, открытой площадке башни — Прохор Петрович.

— Зачем мне бросаться? — шепчет Прохор самому себе. — Я жить хочу! Разве ты не видишь, что создано моим гением?.. — И снова повел он по пространству рукой.

Перед ним тек горизонт. И там, где-то в сферах, вставали, закатывались, уходили в ничто дни и дела Прохора.

— Надо жить так, чтоб горизонт твоих дел становился все светлее, все выше. Но жизнь твоя кончена, — шептал сам себе Прохор, а может, — Анфиса.

Призрак черкеса грозно, пронзительно глядел в глаза Прохора Громова. Призрак мрачно молчал, лишь кинжал чуть-чуть шевелился в руке его. Прохору скоробило спину морозом. Холодный пот облил все тело, и на впалых висках поднялись седые вихры.

...И вдруг там, у подножия башни, где фонари, узывчивый, такой родной голос:

— Прохор!

— Иду! — облегченное и радостное донеслось к Нине с неохватной высоты башни.

Час свершен, трепет и ужас исчезли, жизнь человека пресеклась.

Было без пяти минут три. За горизонтом зацветало утро. Выл осиротевший волк. Верочка улыбалась во сне.

По Угрюм-реке шел тонкий стеклянный ледок.

Угрюм-река — жизнь, сделав крутой поворот прочь от скалы с пошатнувшейся башней, текла к океану времен, в беспредельность.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Угрюм-река» был задуман и начат В. Я. Шишковым в 1918 году и окончательно завершен в 1932 году. В работе над ним автор делал значительные — по году и больше — перерывы, одновременно трудился над созданием других произведений (за упомянутый четырнадцатилетний период им был написан ряд очерков, рассказов, пьес, повести «Пейпус-озеро» и «Странники»), но всегда неизменно возвращался к начатому роману, — до появления исторического повествования «Емельян Пугачев» Шишков считал «Угрюм-реку» наиболее значительным своим произведением. Черновики первых частей романа (около 280 рукописных страниц) были готовы уже к 1923 году. Посылая их спустя три года П. С. Богословскому, Шишков указывал, что заново прошелся по черновикам своим пером, многое «сокращал, переставлял» и теперь продолжает начатый труд (см. письма к П. С. Богословскому от 8 и 17 марта 1926 года — в книге «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Ленинградское газетно-журн. и книжн. объед., Л. 1956, стр. 263, 265—266). Между 1926 и 1928 годом писатель был занят третьей частью «Угрюм-реки», а в 1928 году «начал четвертую часть» (письмо к П. С. Богословскому от 7 августа 1928 г., там же, стр. 271). «Работаю сейчас усиленно. Пишу четвертую... часть «Угрюм-реки», — сообщал он сестре Е. Я. Шишковой в письме от 13 августа 1929 года (Архив Шишкова). Именно с 1929 по 1931 год писатель трудился над романом особенно интенсивно, закончив за это время, помимо четвертой, наиболее значительные в идейном отношении пятую — восьмую его части. «Две последние части «Угрюм-реки» наконец

завершил (вчерне), — писал В. Я. Шишков К. А. Федину 26 июля 1931 года и добавлял: — ...Но над книгой, чтоб она заговорила высоким голосом, надо работать еще долгие месяцы, а то и год... властной рукой поставить все на свои места, вдунуть душу» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 274). Действительно, закончив произведение летом 1931 года, писатель больше года продолжал «доделывать» его, «фуговать, подстругивать, работать над фразой...» (Письмо к В. П. Петрову от 22 декабря 1932 г. Архив Шишкова).

Еще до завершения романа «Угрюм-река» отрывки из него публиковались в периодической печати: в 1928 году в журнале «Сибирские огни» (№ 3, 4) появилась первая часть под заглавием «Истоки»; в 1932 году в журнале «Красная новь» (№ 9, 10) — отрывок из шестой части под названием «Расстрел».

Первое отдельное издание книги вышло в 1933 году (ЛенГИХЛ), второе — в 1935 году (ЛенГИХЛ). В 1946 году (после смерти В. Я. Шишкова) появилось последнее авторизованное издание «Угрюм-реки» (Гослитиздат), по тексту которого печатается роман в настоящем Собрании сочинений.

Материалом для «Угрюм-реки» послужили богатые впечатления, полученные Шишковым за долгие годы его пребывания в Сибири (см. примечания к I тому настоящего Собр. соч.). Использовать их, обращаться к показу различных сторон жизни старой Сибири Шишков начал с первых шагов литературной деятельности. Еще в своих дореволюционных рассказах, очерках, повестях он создал колоритные образы представителей сибирской буржуазии, кулачества, типы таежных бродяг, изобразил быт и нравы сибирского крестьянства, бесправное положение национальных меньшинств Севера и т. д. Этот интересный, своеобразный и мало разработанный в русской литературе материал, почти весь обширный круг вышеупомянутых тем, но поданных гораздо более «крупным планом», присутствует и в «Угрюм-реке». Основной и ведущей среди них является прослеженная на судьбе трех поколений семьи предпринимателей Громовых тема становления, развития и гибели русского капитализма. В письме к А. М. Горькому от 20 апреля 1926 года, рассказывая о работе над «Угрюм-рекой», Шишков говорил о внешнем совпадении темы своего романа с «Делом Артамоновых»: «У меня тоже изображено семейство купцов-сибиряков. Данило Громов — дед, разбойник, умирая, оставляет наследство сыну, пьянице, Петру. Сын

Петра — Прохор Громов — гений-делец, на голом месте, в тайге, строит заводы, фабрики, оживляет огромный район и, в зените своей славы, гибнет. Сознание, что дело ради дела, что дело, не одухотворенное высокой идеей, а основанное лишь на эксплуатации другого, это сознание создает в его душе крах» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 267). По выходе романа писатель еще более точно определил идейный смысл своего произведения: «Главная тема романа, так сказать, генеральный центр его, вокруг которого вихрятся орбиты судеб многочисленных лиц, — это капитал со всем его специфическим запахом и отрицательными сторонами. Он растет вглубь, ввысь, во все стороны, развивается, крепнет и, достигнув предела могущества, рушится. Его кажущуюся твердыню подтачивают и валят нарастающее самосознание рабочих, первые шаги их борьбы с капиталом, а также неизбежное стечение всевозможных обстоятельств, вызванных к жизни самими свойствами капитала» (газета «Литературный Ленинград», 1933, № 13, 7 ноября).

Действие «Угрюм-реки» развертывается в основном в Восточной Сибири. За вымышленной Угрюм-рекой угадывается река Нижняя Тунгуска, тем более что автор сохранил в книге подлинные названия ряда населенных пунктов, расположенных по этой реке: деревни Подволочная, Ербогачево, Ербохомохля. Восстание рабочих на громовских приисках по времени и по фактам имеет много общего с ленскими событиями. Однако, допуская отдельные намеки, позволяющие судить о прикрепленности сюжета романа к определенной части Сибири, Шишков намеренно старался избегать прямых ссылок на определенные исторические ситуации, точные даты событий, место действия. «Роман захватывает примерно 1890 — 1913 годы, — писал Шишков в том же «Литературном Ленинграде» (1933, № 13). — Автору не хотелось пристегивать действие к какому-нибудь определенному месту, чтоб роман не стал областническим, автор желал изобразить жизнь в широких обобщениях». «Угрюм-река не просто река, — нет такой. Угрюм-река — есть жизнь. Так надо и читать». Угрюм-река — «Жизнь в широком понимании этого слова», — указывал Шишков и ранее в письмах от марта и апреля 1926 г. к П. С. Богословскому и А. М. Горькому («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 263, 267).

Задача изображения жизни в «широких обобщениях» требовала от писателя напряженного и углубленного труда, который усложнялся по мере того, как от истории личных судеб героев, развернутых в первых трех частях книги, Шишков обратился к событиям социальной и исторической значимости, к показу действительности «в общественно-политическом разрезе». «Дальше роман должен стать на какое-то философское обоснование — задача весьма трудная», — писал Шишков П. С. Богословскому, работая над третьей частью «Угрюм-реки» и собираясь приступать к четвертой. Именно в это время писатель ясно ощутил необходимость пополнить и расширить свой политический и философский кругозор; в середине — конце 20-х годов он упорно штудирует произведения классиков марксизма-ленинизма, труды по истории рабочего движения, книги по экономике и промышленности Сибири. Л. Р. Коган, профессор-литературовед, хорошо знавший Шишкова и всегда находившийся в курсе его литературных дел, писал в своих воспоминаниях: «На столе во время работы над ней («Угрюм-рекой». — *В. Б.*) можно было увидеть и книги по истории Сибири, и научные сочинения по психиатрии, которыми Вячеслав Яковлевич интересовался, когда писал о душевном недуге Прохора Громова, и том Ленина со статьей о Ленском расстреле, исторические материалы о рабочем движении и т. п.». В этих же воспоминаниях мы находим интересные сведения о том, как в процессе длительной работы над романом, постепенного осмысления тех больших идейных и художественных задач и требований, которым должно было отвечать это произведение, менялся и подход писателя к материалу «Угрюм-реки», отбор его, расстановка действующих лиц, освещение характеров, сама манера письма. «Вначале на первом плане была, так сказать, экзотика Сибири, таежная поэзия, местами превращавшая повествование в сказ и даже сказку. Сильные и мрачные характеры Громовых и самого Прохора, сложная и противоречивая душа Анфисы непосредственно вырастали из этой полусказочной чащи Сибири. Великолепный, сочный бытовой язык часто получал напевный ритмический строй и переводил рассказ в лирические сказания, в таежные легенды.

Это было очень красиво. Однако в работе над продолжением романа писатель постепенно устранял эти лирические и сказочные элементы, хотя и жалко ему было расставаться с некоторыми из них... Чем больше развертывал Вячеслав Яковлевич

историю жизни своих героев, тем... глубже и шире развивалась основная тема — борьба капитала и труд, тем громче звучал мотив хищнического капиталистического закона: человек человеку волк... Характеры персонажей получили крепкое социальное обоснование, и Вячеслав Яковлевич упорно работал над динамическим показом их противоречивого развития» (Л. Р. Коган, «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 202—203).

Обычно весьма строгий к тому, что выходило из-под его пера, сам писатель был удовлетворен результатами своего многолетнего труда, считал его завершение «большим подвигом». Незадолго до выхода романа в свет он писал брату, А. Я. Шишкову: «Угрюм-река» выйдет, вероятно, в июле, а может, и в конце мая. Эта вещь по насыщенности жизнью, по страданиям, изображенным в ней, самая главная в моей жизни, именно то, для чего я, может быть, и родился» (Архив Шишкова). В статье «Я не прочел еще своего романа» («Литературный Ленинград», 1933, № 13), кратко излагая идейное содержание «Угрюм-реки» и говоря о некоторых особенностях своего писательского почерка, Шишков признавался, что с нетерпением ждет «от нашей критики товарищеской оценки произведения». Действительно, отзывы о новом большом произведении крупного советского писателя не замедлили появиться.

Наиболее развернутый, содержательный и интересный, хотя во многом непоследовательный и противоречивый, анализ «Угрюм-реки» был дан критиком Ф. Бутенко в его рецензиях «Роман о капитализме» («Литературный Ленинград», 1933, № 13), «В. Шишков. «Угрюм-река» («Литературный современник», 1934, № 2) и в статье «Между Достоевским и Маминым-Сибиряком» («Литературный критик», 1934, № 5). Ф. Бутенко определял новый роман Шишкова, как «огромное художественное полотно», «широкую целостную картину, в которой даны генезис русской золотой промышленности, характер ее внутренних противоречий и назревание могучего рабочего революционного движения» («Литературный Ленинград», 1933, № 13). Считая основным недостатком «Угрюм-реки» отсутствие здесь индивидуализированных образов рабочих-революционеров, Бутенко в то же время отмечал реалистичность и живость многочисленных образов романа, которые выражали «те или иные черты капиталистической, самодержавно-полицейской России». Рецензент

особенно подчеркивал идейную значимость образа Прохора Громова, признавая создание этой «живой, яркой фигуры классического Разуваева» творческой удачей Шишкова. Бутенко справедливо определял образ Прохора как «воплощение черт и качеств, присущих всей буржазии» — «хищнически-эксплуататорской природы капитализма как общественной системы», с одной стороны, и «аморализма, духовной опустошенности, асоциальности... капиталистического человека» — с другой («Литературный Ленинград», 1933, № 13). Правильно оценивая образ Прохора Громова, Ф. Бутенко в то же время явно не понял всей сложности образа жены Прохора — Нины, тонкости разоблачения Шишковым этой либеральничающей барыни, цели которой едины с целями мужа, но которая по отношению к рабочим часто ведет еще более умелую и дальновидную политику, нежели он сам. По мнению критика, Нина Громова для самого автора является *положительной героиней* и в этом своем качестве прямо противостоит Прохору; в разряд положительных, с точки зрения Шишкова, героев романа Ф. Бутенко зачислял и инженера Протасова, хотя сам же приводил политическую характеристику, которая дается в романе этому персонажу и которая в конечном счете определяла отношение писателя к нему: «Вы, Протасов, не революционер, вы, Протасов, примиренец и ликвидатор, и больше ничего!»

Ошибочная трактовка образов Протасова и Нины, по-видимому, и явилась одной из главных причин противоречий и неувязок в оценке «Угрюм-реки», содержащихся в работах Бутенко, особенно в его третьей статье «Между Достоевским и Маминым-Сибиряком».

Считавший ранее, что события жизни Прохора развернуты в романе «в широкую эпопею о судьбах всего капиталистического класса в целом», что основа сюжета книги — трагедия Громова, коренящаяся в объективных свойствах, присущих капитализму как таковому, Бутенко в дальнейшем отошел от этой справедливой точки зрения. Исходя из собственной ложной посылки о внутренней враждебности друг другу образов Нины и Прохора, критик начал усматривать центральную идею романа во внутриклассовом столкновении Нины и Прохора. Главное в «Угрюм-реке» — «борьба «Христа» и «Антихриста», «диавола и ангела», столкновение «зверя», олицетворенного в образе капиталиста Громова, и «человека» — его жены Нины Яковлевны» («Литературный критик», 1934, № 5, стр. 135). Понятно, что такое превратное толкование основной коллизии романа обусловило на-

личие в статье «Между Достоевским и Маминым-Сибиряком» и ряда других ошибочных утверждений, прямо противоположных собственным же тезисам Бутенко о социальной значимости романа Шишкова. Начинавший свою первую рецензию с оценки «Угрюм-реки» как «крупного вклада в ...большую монументальную литературу о русском капитализме», критик заканчивал статью «Между Достоевским и Маминым-Сибиряком» словами о том, что действительность, воссозданная Шишковым на страницах романа, воспринята им «разобщенно, бессвязно», сущность ее не раскрыта, противоречия, свойственные развитию капитализма, не показаны, образы (в том числе и Прохора Громова) — далеки от подлинного реализма, а весь роман в целом представляет собою «помесь социально-политического романа либерально-буржуазной народнической окраски с романом религиозно-нравственным в духе Достоевского» («Литературный критик», 1934, № 5, стр. 137).

В неверном якобы освещении трех основных образов романа — Прохора, Нины, Протасова — упрекал Шишкова и критик М. Майзель, усматривая в этом причину, по его мнению, неудачи романа. В статье «Внеюбилейные итоги» («Звезда», 1935, № 4) Майзель, подобно Бутенко, утверждал, что Шишков «не разглядел неприглядного внутреннего облика Протасова», что образ Нины по воле автора олицетворяет собой «серафическое начало в романе», что «по своей идейной нагрузке» он диаметрально противоположен образу Прохора, а потому основным содержанием «Угрюм-реки» является не исторически и классово обусловленная судьба Прохора, а «внутриклассовое столкновение Прохора и Нины» («Звезда», 1935, № 4, стр. 253).

Анализируя «Угрюм-реку», Ф. Бутенко и М. Майзель касались не только идейного содержания романа, но и (правда, в гораздо меньшей степени) его стиля и художественных особенностей. Признавая целый ряд достоинств за Шишковым-реалистом в отношении языка романа, портретной и пейзажной живописи, мастерского воспроизведения быта и нравов сибирского купечества и др., оба критика считали неправомерным проникновение в реалистическую ткань произведения элементов романтизма, обилие, с их точки зрения, символики, а также «пантеизм» и «мистицизм» Шишкова. «Вдруг вы попадаете из мира действительного и материального в мир фантастический, мифологический. Реальные очертания мира... стираются», — писал

Ф. Бутенко, усматривая в этой «бесовской метафористике», в этом «смешении стилей» проявление двойственности, внутренней несогласованности мировоззрения писателя («Литературный критик», 1934, № 5, стр. 119—120). О «мистике», «пантеистической символике», которые «нарушают стилевую манеру писателя и вредят ей», о тяготении Шишкова к острым сюжетным ситуациям, «гипертрофии сюжета», — говорил и М. Майзель. Между тем ни «смешение стилей», ни ярко выраженная сюжетность, ни пантеизм, ни даже пресловутый «мистицизм» отнюдь не обусловливались несовершенством мировоззрения писателя или его досадной небрежностью. Шишков не раз обосновывал и объяснял все эти приемы своего письма в печатных выступлениях, в беседах с литераторами и близкими ему людьми. «Когда я пишу... я знаю только один закон: писать надо правдиво. И когда я пишу, я только и думаю о том, чтобы с наибольшей правдой выразить то, что я вижу и хочу показать... Реальная действительность и романтика мечты тесно сплетены в нашей жизни, почему же устранять их в художественном отражении жизни?.. разве символический образ подлежит запрету?» «Слишком уж наша литература стала хроникальной. Между тем увлекательно развитый сюжет захватывает читателя и значительно усиливает действие книги» (Л. Р. Коган, «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 204—205). «Я люблю оживлять природу, сливать ее в одно с описываемым действием» (В. Я. Шишков «Кое-что о труде писателя». Кн. «Как мы пишем», Профиздат М. 1934). — Подобные мысли не только декларировались Шишковым, но и претворялись им на практике, в частности и во время работы над «Угрюм-рекой». Правда, иной раз, увлекшись «острыми ситуациями или колоритным эпизодом», описанием великолепной природы тайги, ее бурной и яркой жизни, писатель, по справедливому замечанию Л. Р. Когана, «перекладывал красок: красочность превращалась в цветистость, выразительность сменялась подчеркнутой эффектностью», эмоциональность отдавала выспренностью, обычно легко разгадывавшийся символ становился загадочным и многозначным. Однако эти недостатки были прежде всего лишь частностями. Любым непредвзятым глазом роман воспринимался как единое, стройное художественное целое, и это являлось лучшим доказательством правомерности употреблявшихся писателем художественных приемов.

Если работы Ф. Бутенко и М. Майзеля, при всей ошибочности ряда высказанных в них положений, характеризовались тем не менее серьезным и добросовестным отношением авторов к анализируемому материалу, стремлением разобраться в сильных и слабых сторонах романа, то наряду с ними были опубликованы и рецензии, которые являли собой типичный пример уже отживавшего свой век грубого рапповского заушательства. Так, например, Н. Горский и Г. Мунблит совершенно бездоказательно упрекали Шишкова в том, что его книга «извращает эксплуататорскую природу капиталистического производства», окружает «образ колониальных хищников трагическим и мистическим ореолом» и даже относили роман к числу произведений «реакционных и вредных».

Подобные выпады против романа были, однако, единичными. Критика последующих лет сумела дать «Угрюм-реке» правильную, объективную оценку, указав на сильные и слабые стороны произведения. Такая оценка, основанная на анализе идейных и художественных особенностей романа, на всесторонней характеристике его центральных персонажей содержится в статьях Вл. Бахметьева, в его книге «Вячеслав Шишков» (изд-во «Советский писатель», 1947), в книгах о Шишкове А. Богдановой («Вячеслав Шишков», Новосибирское областное изд-во, 1947), И. Изотова («Вячеслав Шишков», изд-во «Советский писатель», М. 1956) и др. Но еще раньше определить истинную значимость «Угрюм-реки» помогло отношение к этому произведению самых широких читательских масс. Шишков оказался прав, утверждая, что выходом книги «дело сделано все-таки большое, ему надлежит надолго пережить своего творца» (Письмо к брату А. Я. Шишкову, 1933 г. Архив Шишкова). К моменту окончательного завершения романа Шишков писал: «Бесправие, насилие, варварство, ограбление трудящихся — все это в романе проклято, капиталу, всему старому эксплуататорскому строю пропета отходная. Угрюм-река замкнула свой круг, и сквозь мрак, сквозь тьму отживающего строя уже брезжит рассвет, звучат бодрые голоса грядущих битв и побед: там течет река Радости» («Литературный Ленинград», 1933, № 13). Именно эта плодотворная идея, лежащая в основе романа и реализованная в живом напряженном действии, в острой и занимательной фабуле, ярких запоминающихся образах, и обусловила успех романа у читателя, сделала два его толстых тома сразу же по выходе в свет «предметом читатель-

ских поисков и мечтаний» («Литературный Ленинград», 1934, № 38). Роман «Угрюм-река», дважды выходивший при жизни писателя, и после его смерти неоднократно переиздавался центральными и областными издательствами, много раз печатался за рубежом. Больше четверти века, прошедшие после появления первого издания «Угрюм-реки, целиком подтверждают слова К. А. Федина, сказанные им на вечере 28 марта 1950 года, посвященном памяти В. Я. Шишкова, о том, что «Угрюм-река» — классическое произведение русской литературы. Такие книги составляют гордость нашей художественной литературы».

СОДЕРЖАНИЕ

УГРЮМ-РЕКА

Том второй

Шишков

Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 5

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *А. Лепятский*
Технический редактор *С. Розова*
Корректоры *М. Муромцева* и *А. Стукова*

Сдано в набор 23/IX 1960 г. Подписано к печати 14/I 1961 г. Бум. $84\times108^{1}/_{32}$ = = 18,5 печ. л. = 30,34 усл. печ. л. 28,52 уч.-изд. л. Тираж 180 000. Зак. 1819.
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.